

Юрий
КАЗАКОВ

Юрий
КАЗАКОВ



Вечерний
звон

Вечерний
звон







**Мемориальная доска писателю Юрию Казакову
(скульптор – народный художник России Г. Провоторов).
Установлена 5 февраля 2008 года в Москве
на стене арбатского дома.**

Юрий
КАЗАКОВ

*Вечерний
звон*



МОСКВА

РУССКИЙ МИРЬ

2011

УДК 821.161.1-821
ББК 84(2Рос=Рус)6-4я44
К14

Серия основана в 2006 году

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям в рамках
Федеральной целевой программы «Культура России»

Составители и авторы комментариев
И. С. Кузьмичев, Т. М. Судник

Казаков, Юрий Павлович (1927–1982).

К14 Вечерний звон. [Собрание сочинений в трёх томах.
Том третий] : [повести, рассказы, путевые, дневнико-
вые, литературные заметки, письма] / Юрий Каза-
ков. — М. : Русский Миръ, 2011. — 640 с. : ил. — (Русский
Миръ классики). — ISBN 978-5-89577-120-4.

Агентство СІР РГБ

В третьем томе Собрания сочинений Юрия Казакова публику-
ются незавершенные повести, наброски рассказов, литературные
заметки, дневниковые записи, избранные письма, поэтические
посвящения писателю А. Вознесенского, Е. Евтушенко, письма
ему К. Паустовского, Г. Адамовича, статьи и воспоминания о нем
Ю. Трифонова, М. Рощина, Г. Семенова, В. Лихоносова и других
известных литераторов, друживших с Ю. Казаковым и ценивших
его неповторимый талант и высокие человеческие качества.

УДК 821.161.1-821
ББК 84(2Рос=Рус)6-4я44

Художник серии *С. Ю. Губин*

© Казаков Ю. П., насл., 2011

© Кузьмичев И. С., Судник Т. М.,
сост., коммент., 2011

© Панфилов А. М., предисл., 2011

ISBN 978-5-89577-120-4

© Издательство «Русский Миръ», 2011

«Написать рассказ о мальчике...»



Юрию Казакову досталась нелегкая посмертная судьба. Он умер «молчащим» писателем. Его произведения, написанные за последние пятнадцать лет жизни, можно было сосчитать по пальцам, и это «молчание» бросало многих критиков в недоумение, провоцируя «мифологические» оценки творчества Казакова. Сейчас, пожалуй, нет необходимости вспоминать все эти формулы — они были слишком временными, слишком социальными, слишком ангажированными, слишком нервными.

Но чуть позже случилось странное — писателя стали попросту забывать. Показательный пример: Юрий Нагибин, писавший вскоре после смерти Казакова, что его «рассказы будут жить, пока жива литература», уже спустя полгода в том же дневнике называл его «полузабытым». Впрочем, невероятным этот факт может показаться лишь на первый взгляд. Вспомним, что ушел Юрий Казаков 29 ноября 1982 года — за полмесяца до этого скончался Брежнев, и известной эпохе пришел конец. Совсем скоро страна вверглась в пучину катастрофического реформирования, пришло время тотальных переоценок, которые если и не отличались глубиной, то брали своей лихостью. Объявилась новая потребность в «рыцарях немедленного действия», и литература со страстью принялась выполнять социальный заказ, тут было не до лирической прозы, занятой постижением глубинных смыслов. В отечественной словесности прошумело несколько волн, а когда они схлынули, оказалось, что той русской литературы, которую во всем мире называли великой, которая нас вырастила, нас «построила», нас «направила», больше нет и, похоже, никогда не будет. Будут вот те мутные и навязчивые «тексты», что проходят сегодня под псевдонимом «литературы» и вполне безуспешно пытаются заинтересовать собой более или менее массового читателя.

Нет худа без добра. В этой ситуации как-то безошибочно определился ряд мастеров, завершающий двухвековой путь русской

классики. И в этом ряду одной из ярчайших звезд является Юрий Казаков. Сама ностальгическая нота, нота печального прощания с великой русской литературой, отчетливо звучащая во многих воспоминаниях, в статьях, посвященных казаковскому творчеству, неопровержимо свидетельствует об этом. О его удивительных рассказах теперь можно говорить спокойно, без полемического нажима — так, как мы давно говорим о художественных мирах Аксакова, Пушкина, Толстого, Чехова, Бунина или Пришвина. Тут не требуется с пеной у рта доказывать непреходящую ценность этих миров — нам остается только войти в них и попытаться вернуть себе вешнее зрение бессмертной человеческой души, потерянное в дурной ежедневной суете, в погоне за мыльными пузырями материального благополучия, в телевизионной трескотне и виртуальном компьютерном существовании.

Но спокойный обстоятельный разговор требует полноты владения материалами. Необыкновенно значимым становится, наряду с собственно художественными вещами, контекст — незавершенные казаковские произведения, наброски ненаписанных рассказов, путевые и дневниковые заметки, критика, эпистолярный, свидетельства жизни... К сожалению, многое из архива Казакова не сохранилось — на то были свои печальные причины. Однако и того, что мы имеем сейчас на руках, хватает, чтобы уточнить и по возможности откомментировать логику писательского пути, которая по прошествии почти трех десятков лет, отделяющих нас от последних выступлений Казакова в печати, проясняется все отчетливее. И эта логика ни в чем не противоречит тем органическим принципам, на которых стоит русская литература — литература, говоря «высоким штилем», религиозного оправдания жизни.

В самом деле, Казаков, по примеру любимого им тогда Хемингуэя, начинал с почти спортивного соревнования с писателями прошлого. «Года два я только и делал, что читал, — вспоминал он годы учебы в Литературном институте. — Читал по программе и без программы. И после долгих чтений и размышлений я пришел к выводу, что лучше всех писали наши русские писатели. И я решил писать так же, как они». Но буквально «так же» писать не имеет смысла, задачу повторения, дублирования чужих, пусть и высоких, миров не ставит перед собой ни один молодой писатель, казаковское «так же» здесь относится не к писателям, которых он читал и над книгами которых он размышлял, оно относится именно к фразе «лучше всех». Под всеми подразумеваются не только современники, но вся литература, тут нет никаких временных ограничений. Речь шла прежде всего о том, «как» писать. К началу 1960-х

годов этот вопрос был решен, и на смену «как» явилось более существенное «что».

В этой точке и родился тончайший лирик Юрий Казаков. В нашей литературе с ее сильнейшими традициями социальности, да еще в эпоху хрущевской оттепели, для которой были характерны эйфорические надежды на реальное изменение жизни с помощью честных книг, его позиция не всем нравилась. Известны строки Солженицына из его автобиографического «Теленка»: «Какой же сильный и добротный, — удивленно восклицал лидер тогдашней «протестной» литературы, — был бы Ю. Казаков, если бы не прятался от главной правды». Словно Солженицыну отвечал Казаков в статье «Не довольно ли?», направленной против нападок на «лирическую прозу»: «Русская литература всегда была знаменита тем, что, как ни одна литература в мире, занималась вопросами нравственными, вопросами о смысле жизни и смерти и ставила проблемы высочайшие. Она не решала проблем — их решала история, но литература была всегда немного впереди истории».

Акценты в этом фрагменте, если вывести за скобки некоторый «всемирно-исторический» его замах, расставлены на удивление точно. В споре литературных «теоретиков», неустанно формулирующих «последние» ответы на «последние» же вопросы, и «певцов», тихо прославляющих на своей дудочке негромкую красоту окружающего мира (а именно к ним относили Казакова его воинственные оппоненты, державшие коренным образом переустроить русский мир), четко разграничиваются два основных направления в классической русской литературе. В сущности, перед нами антиномия взрослого и детского сознаний. С одной стороны, взрослое сознание — коленопреклоненное перед логикой, требующее рациональной последовательности строгих формул и в конце концов запутывающееся в их дурной бесконечности, в нагромождении условий и оговорок; а с другой — сознание детское, которому ничего не надо доказывать, потому что для детского сознания всё давным-давно доказано; ему изначально ведома тайна мира, столь мучительно и безрезультатно взыскуемая взрослым сознанием.

К такому, условно «детскому», пониманию интуитивно подбирался Казаков в 1960-х годах. В этом смысле его творчество показательно и симптоматично для всей русской литературы. Истолкователи Казакова давно сошлись на том, что вершинами писателя являются два его последних рассказа — «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал». Совершенно верно. Но вот что важно — они появились вовсе не случайно, а стали закономерным итогом долгого

и на каких-то этапах страшно мучительного пути. Такой взгляд на мир нужно было выстрадать и оплатить. Зрелые рассказы Казакова полны трагизма. Они складываются в своеобразные «сериалы», серии которых практически совпадают по фабуле, но разительно отличаются друг от друга по настроению, по «выходам». Перечитайте, например, написанные один за другим рассказы «Осень в дубовых лесах» и «Адам и Ева». Всё похоже в них — мужчина и женщина вдали от цивилизации, в окружении воды и деревьев. Но отчего почти полное ситуативное совпадение оборачивается внутренней противоположностью — причем на всех уровнях? Отчего главный герой рассказов, к слову, сильно напоминающий их автора (а на автобиографичности, как неперменном условии творчества, Казаков всегда настаивал), в одном случае счастлив, а в другом — нет? Мотивировки столь резкой смены настроения у Казакова 1960-х мы не найдем. Тут звучит лирическое «не знаю». Тут многоточие. И многоточие трагическое. Эта вопросительность бьется и в сохранившихся набросках.

Казаков нашел выход из этого тупика. В один из февральских дней 1963 года он сделал две дневниковые записи. Сначала: «Написать рассказ о мальчике 1,5 года. Я и он. Я в нем. Я думаю о том, как он думает». И чуть ниже: «Джаз поет о смерти, все о смерти — какая тоска! Но жизнь. А он все о смерти». Есть смысл переставить местами эти две записи, и тогда мы получим пунктир казаковской эволюции. Потому что мысль о детском зрении, о детском сознании и есть путь преодоления мучительного противоречия. В двух своих последних рассказах Казаков возвратился в детство, откуда каждый человек, обманутый взрослой целесообразностью, уходит когда-то. Уходит, чтобы бродить в потемках («душа моя бродит в потемках...» — рефрен рассказа «Во сне ты горько плакал»). Но опыт этого бродяжничества необходим, чтобы придать возвращению окончательный характер. А детский взгляд на мир, детское мироощущение определено, в христианском смысле, религиозны, и отзвуков этой религиозности достаточно у позднего Казакова.

В свете этого по-новому предстают и все «фирменные» особенности казаковского творчества.

Например, тема дороги. Его рассказы — это рассказы странника; настоящие гимны дороге иногда напрямую вторгаются в его повествование. Тут все мешается: соответствующий быт, рюкзаки, гостиницы, тоска по новым людям и вместе с тем тоска по нерушимым навсегда устоям, сквознячок нового, «метафизические» искания, запах железной дороги, шум «пустынных волн», бесконечность пути... Его путевые заметки, его дневники, его письма, даже

его литературно-критические и мемуарные опыты — это во многом о стремлении к горизонту, за горизонт. Географические предпочтения тут налицо — еще в молодости Казаков влюбился в русский Север, обнаружив там чудом сохранившийся кусок исторической России, и сделал его «фоном» большинства своих рассказов. В «путевой» своей части все эти свидетельства географических привязанностей писателя вновь выступают ярчайшим симптомом, диагнозом и рецептом для всей нашей словесности. Ибо они чертят вектор, показывающий, как «охота к перемене мест» становится высоким странничеством — походом, по большому счету, за «последними» ответами. Если сделать жизнь сплошной непрерывной сменой декораций, то в какой-то момент это станет невыносимым. А это ведь знак. Знак того, что нужно ехать не вдоль жизни (назовем это туризмом, столь популярным в наше время), а выправляя свой путь под неким углом — вверх. Казаков начинал с пристрастия к туризму — это очевидно. Пафос: выбраться из опостылевшего города — в лес, к морю, к другим людям. А кончил тем, что купил себе дом в Абрамцеве (литературное эхо здесь только ленивый не услышит) и, лишь изредка отлучаясь куда-нибудь на охоту или «еще раз новгородские церкви посмотреть», просидел там последние пятнадцать лет жизни. Писал мало, да, но если писал — то как писал!

Или вот еще проблема, «измучившая» литературоведов, — жанровая узость Казакова. Действительно он был почти исключительно рассказчиком. И поначалу по этому поводу сильно переживал. Вся долгая история составления и пересоставления «Северного дневника» — это попытка преодолеть границы малого жанра и выйти к большой форме. В одном из писем начала 1960-х он, вспоминая «Героя нашего времени» Лермонтова, выспрашивал Паустовского, по верному ли пути идет: «Все мои рассказы и записки будут в этом романе как бы главами, частями. А почему бы и не роман?! Речь в нем будет вертеться всё вокруг одного и того же: вокруг Белого моря, рыбаков, времен года, которых будет почти все — осень, зима, лето (весны вот только нет). Кроме того, везде будет присутствовать личность автора». Этот сюжет писательской жизни очень напоминает мучения Чехова, во многих отношениях писателя невероятно близкого Казакову, связанные с созданием «Степи». Только роль советчика в чеховском случае исполнял убежденный сединами Григорович.

Фиаско, по собственному позднему признанию, потерпел Казаков и с повестью «Разлучение душ» (варианты названия: «Две ночи», «Возраст Иисуса Христа»), набрасывать которую он начал

в 1962 году и не оставлял попыток серьезно засесть за нее на протяжении нескольких лет. Повесть не получилась.

В 1970-х годах писатель, кажется, понял неорганичность своих устремлений. О большой форме он теперь практически не вспоминал, а больше говорил о том, что хочется писать «вещи ни к чему не обязывающие», и всякий раз цитировал при этом пушкинского Моцарта: «Вдруг: виденье гробовое, внезапный мрак или что-нибудь такое...» Его «страшные» сюжеты из предсмертной записной книжки 1981 года соотносятся с жанром такого «виденья». Все правильно: большая форма требует от автора идеологической «завершенности», но в рамках исповедуемого поздним Казаковым «интуитивного» взгляда такая «завершенность» немыслима. Казаков на закате жизни прекрасно понимал всю ложь стройных идеологических конструкций и сторонился подобного конструирования. Более того, он задумался вообще об оправданности художественного творчества. Точнее, о его естественных границах. Несколько горьких мыслей по этому поводу писатель высказал в большом интервью, данном в 1979 году журналу «Вопросы литературы». Оно было опубликовано под характерным названием «Для чего литература и для чего я сам?».

Последнее молчание Казакова, которое пытались объяснить бытовыми, физиологическими или социальными причинами, в действительности было в некотором смысле сознательным актом. Все упомянутые причины, наверное, имели место быть, но не они были главными. Главное же заключалось в том, что писатель тогда уже существовал в «другой» системе координат. В этой системе нужно не говорить, а воспринимать. Это пространство, если воспользоваться довольно затасканным за сотню лет термином, «несказанного». По большому счету, молчание Казакова было тоже текстом. Непонятым современниками текстом. Текстом о том, что есть пределы, за которыми кончаются власть, сила и смысл художественного слова. И назвать этот текст можно было бы «О целомудрии писателя» (по аналогии с эссе Казакова «О мужестве писателя», которое молодыми писателями казаковского поколения воспринималось, по свидетельству Глеба Горышина, как аннибалова клятва). Казаков своей судьбой дал пример такого целомудрия.

Александр ПАНФИЛОВ

Незавершенное



Две ночи



...Сосуд раздрася, безгласен, нечувствен, мертвен, недвижим... яко́в живот наш есть? Цвет и дым, и роса утренняя воистину. Приидите убо, узрим на гробех ясно, где доброта телесная? где юность? где суть очеса и зрак плотский: вся увядоша яко трава, вся потребишася... Велий плач и рыдание, велие воздыхание и нужда, разлучение души, ад и погибель, привременный живот, сень непостоянная, сон прелестный...

Иоанн Дамаскин

НОЧЬ ПЕРВАЯ

Их было четверо в ту ночь: две женщины и двое мужчин. Еще не было девяти часов, когда поодиночке, не торопясь, стали они подниматься на крышу.

После долгого летнего жаркого дня, после изнурительной и спешной работы на войну, после жужжания станков, запахов масла и металла там, где делали снаряды, или запахов ваты и новой материи там, где шили телогрейки и гимнастерки, или запахов лекарств, бинтов и гноя там, гдеправлялись и умирали раненые, после дня тревожных слухов и обсуждений, многократных объявлений по радио, боевых маршей и песен, после сводок Информбюро, в которых говорилось, что наши доблестные войска громили противника на всех фронтах, но почему-то оставили еще один город, после длинных очередей в магазинах, после немислимой летней красоты мрачного дня они должны были подняться на крышу своего дома, чтобы дежурить всю ночь, прятаться от зенитных осколков, слушать грохот выстрелов и взры-

вов, тушить зажигалки и смотреть сверху на немислимую красоту затемненной Москвы.

Поэтому они не спешили, поднимаясь по черной лестнице на крышу. И еще потому, что дом был высокий, старый, шестиэтажный, а они устали, и еще там, наверху, — они знали — опять, как и вчера, и позавчера, будет тянуться тягостное ожидание тревоги и отдохнуть нельзя будет.

Все они тогда, в то далекое время, были молоды, видели каждый день небо и улицы и, несмотря ни на что, никто из них не верил, что будет убит когда-нибудь или ранен. И хотя война, начавшаяся месяц назад, была войной, которую никто из них даже представить себе раньше не мог, — для каждого из них была война вообще: для всех, для других, а они, хоть и участвовали уже в ней, должны были уцелеть, что бы там ни было, — это каждый из них знал твердо.

И вот, поднимаясь по гулкой темной лестнице с железными перилами, с различными надписями на стенах, с запахом кошек и земли из засохших цветочных горшков на подоконниках, в темноте — стекла в окнах вылетели при первой же бомбежке и окна были забиты фанерой, — нужно было хоть пять минут побыть наедине с собой и подумать о том, что же все-таки делается и как жить дальше. Но сколько ни останавливайся, сколько ни клади лоб на холодное железо перил, лестница все равно выводила каждого на чердак, а от туда на крышу. И скоро они собрались все.

Их было четверо на крыше, над Арбатом, надо всей Москвой, в вечернем, уже мгlistом воздухе, а пятым был мальчик Коля.

Первой на крышу пришла Лена. Она была богиня, мотогонщица и амазонка. Все ребята с Арбата и из переулков знали ее красный с никелем «индиан-скаут», у каждого в душе, как сияющий образ, горели неугасимо ее нечеловечески красивое лицо и летящая фигурка в мужской ковбойке или в жакетике, прекрасные ноги в бриджах и крагах, нежно сжимающие ревуший звероподобный «индиан-скаут»!

Она ездилa по стене в парке культуры, каждый вечер, заездов по пятнадцать-двадцать в паре с красавцем Монтеко. Она выходила, сильным ударом откидывая занавеску в стене,

на круглую арену внизу, торопливо докуривала папиросу,правляла локоны и привычно вскидывала руку и глаза, приветствуя свесившихся сверху, с антресолей, зрителей. Потом восточной походкой выходил Монтеко, и они вдвоем, уже не обращая больше внимания на зрителей, начинали ощупывать свои мотоциклы. Потом мотоциклы по очереди встрескивали, Лена прыгала в седло уже на ходу и начинала набирать скорость на кругах, на арене, все больше смещаясь в сторону, выписывая эллипс своей судьбы, каждый раз поднимаясь все выше по закругленной внизу стене и тут же съезжая на арену. Когда мотоцикл ее уже тигрино рывкал и весь деревянный цирк начинал кряхтеть и подаваться, покачиваться в ритме ее наездов, она, выбрав момент, въезжала на стену и больше не спускалась на арену, а все прибавляла газу и поднималась по стене выше, выше — к самым лицам зрителей, и зрители качались вместе со стенами, как в море, и ветер бил им в лицо, и шевелились, подавались, стучали и скрипели под колесами доски, а внизу разгонялся, начинал въезжать на стену и съезжать, беря новый разгон, красавец Монтеко.

А потом они летели один за другим по стене, это было страшно и прекрасно, лицо ее бледнело, глаза расширялись, и длинные рыжеватые локоны ее развевались сзади, оставляя за собой золотой след, как бы медную спиральную полосу, медленно гаснущую, как след болида, — волнами мчались они друг за другом, и в извечной тоске она убегала, а он догонял ее, и весь цирк шатался и был окружен снаружи толпой, внимавшей треску и реву внутри, переминавшейся в нетерпении скорее попасть туда, наверх по крутой лестнице и увидеть это чудо.

Вечером, усталая, бледная, с кругами под глазами, она выводила свой «индиан» из цирка, улыбалась поздним зрителям, поджидавшим ее, и уносилась домой на Арбат. На огромной скорости мчалась она по Садовому кольцу, но милиционеры знали ее, козыряли и долго смотрели вслед.

И это было всего месяц назад! И уже две недели она не жила дома, училась на курсах медсестер, работала в госпитале, таскала вместе с санитарями раненых из палат в операционную и назад или выносила умерших в подвале. Ей уже выдали гимнастерку, юбку и сапоги, а она ненадолго заходи-

ла домой, злилась там в одиночестве, неохотно пила жидкий чай, смотрелась в зеркало, кривила рот — две недели она ждала ответа из военкомата, а ответ не приходил. «Надоело! — кричала она по телефону Пескову и даже стучала по столу. — Элька, ты ни черта не понимаешь! Ты забыл Испанию! У нас сейчас все горит, города горят, пойми ты это! Я туда хочу, я в авиацию хочу!»

Пескова звали Элигием, но имя его во дворе как-то не прижилось, и клички ему подходящей не придумали, так и звали с детства: Песков да Песков. Зато Василий как только приехал на Арбат лет двенадцати, как вышел первый раз во двор и увидели его ребята, увидели его припухшие губы и глаза, так сразу и решили: Губан! — и точка. И имени даже не спросили.

Ночь шла на убыль. Самолеты, частью отбомбившиеся, частью отогнанные, начали уходить один за другим на восток и на запад, прожектора стали гаснуть, зенитки умолкать — приходило время отбоя.

Но последний, одинокий самолет еще бродил, как заблудившийся, еще ныл и вибрировал на недосыгаемой высоте, в посоловевшем небе. На него уже не обращали внимания, хоть он с подозрительным упорством все возвращался и возвращался. Один только далекий прожектор вяло бродил по небу, в надежде на счастье, и одна пушка (с соседнего высокого дома) посылала в высоту редкие неохотные очереди. Все остальные молчали и ждали. Скоро угас и прожектор, и только пушка все стреляла. Внизу перекликались и громко ходили дежурные во дворах и на Арбате.

— Эгей! — заорал Губан, и стало ему весело, закрутил над головой клещами. — Давай все сюда! Отбой!

Когда все сошлись, топая по крыше, приглядываясь друг к другу в полутьме самого раннего рассвета, нервно и устало посмеиваясь над своими запачканными копотью лицами, Губан потянулся, снял рукавицы, положил за трубу клещи.

— Всё! Концерт окончен, пошли, огольцы, покурим! Ах ты, моя ягодка! — опять заорал он и лапанул Фаину. — Пойдем, погреешь!

— Уйди, дурак! — счастливо и устало сказала Фаина, но тотчас послушно пошла за ним к слуховому окну. За ними пошли и Песков с Колей. Уже занеся ногу в окно, Песков оглянулся на Лену.

— А ты что? — удивился он.

— Лезь, лезь, — грустно и нежно отозвалась Лена. — Покуришь, выходи, на рассвет посмотрим... Чинарик притащи, не забудь!

— Ладно, я сейчас, — сказал Песков и скрылся.

Последнее, что видел, залезая в окно, Коля, — это как Лена прилаживалась возле трубы, подбирая к подбородку колени и обтягивая на коленях узкую военную юбку. Между голенищами сапог и юбкой нежно светились ноги в шелковых чулках, и Коля, пристально поглядев на эти сапоги и ноги, и юбку, и на лицо Лены под пилоткой, почувствовал вдруг горячий толчок, царапину первой детской ревности к Пескову. А потом и он, с горящими щеками, нырнул в теплую темноту чердака.

Все собрались возле открытой двери черного хода, у бочки с водой, Губан и Песков уже курили, причем Губан сидел на корячках, спиной к притолоке, свесив руки, и плевал на шлак под ногами после каждой затяжки. Песков курил папироску, Губан — махорку, и дым, смешиваясь, пах сладко, вкусно.

— И чего он, зараза, летает? — спросила Фаина, подняв лицо к крыше и слушая ноющий звук.

— Разведчик, — сказал Губан, морщась и жарко затягиваясь. — Это он хочет поглядеть, чего они тут понаделали...

— Бомбу еще бросит, — опасливо сказала Фаина, нервно прислушиваясь к редким очередям пушки и вою в вышине.

Песков и Губан засмеялись:

— У него и бомб-то нет.

Улыбка еще не успела сойти с их лиц, когда это случилось. Резкий, молниеносный грохот, подобного которому не слышал никто из них ни разу за все ночи, потряс дом, раскидал всех, задушил и оглушил.

Если бы кто-нибудь в эту секунду посмотрел на Вахтанговский театр, он увидел бы, как в нежнейшем сиянии рас-

света к небу вздымается тугой толстый столб чего-то плотно-го, черного. Это плотно-черное будто до сих пор находилось в сдавленном, спертom состоянии, а теперь, освободившись, все время расширялось, распухало, росло вверх и в стороны, из него все время вырывались новые и новые перекрученные клубы и клубочки, и клубочки эти были уже не такие черные, как сердцевина, а посерее. И еще в этом громадном расширявшемся столбе черного мелькали, показываясь и пропадая, какие-то небольшие предметы, похожие на кубики и спички. Но это были не спички, а куски стен и балки, они были огромными, но на большой высоте казались маленькими, и только по тому, как медленно они переворачивались, выныривали из черного и опять прятались там, как в прибое, как в пене, можно было догадаться, по медленности их кувырканий, какие они огромные и тяжелые. Но они не только летели вверх и кувыркались, они еще распадались на более и более мелкие куски, а балки, мгновение назад еще прямые, вдруг оказывались уже скрученными, и все это разрасталось, распухало, умножалось, как лавина, как снежный ком, и по своей похожести на лавину это должно было падать вниз, а оно двигалось, поднималось вверх, будто стало легче воздуха, как аэростаты, и движению этому, удалению от земли, казалось, не будет конца.

Наконец все остановилось, какое-то время висело неподвижно, а потом стало неохотно валиться назад и далеко в стороны по каким-то странным траекториям, дым совсем поредел и стал расползаться шапкой и тоже оседать вниз, но еще медленнее, чем валились обломки.

Этой устрашающей красоты никто не видел, потому что не только там, наверху, но и тут, на земле, все падало, рассыпалось, съезжали и разрывались крыши, валились стекла и рамы, отбитые карнизы, текла кирпичная пыль из глубоких оспин, оставленных на стенах визжащими раскаленными осколками, и уже давно — секунды две — лежали без сознания или убитые люди, застигнутые взрывом на открытом месте.

Коля, который в момент взрыва стоял лицом к открытой двери черного хода, почувствовал, как по спине ему

изо всей силы ударили широкой доской, и, кувыркаясь, полетел на первую площадку. Очнувшись, он завозился, пытается встать, руки его попали в мокрое, и он с ужасом решил, что ранен. Но руки и ноги были целы, и, взглядевшись в полумрак, он понял, что опрокинулась бочка с водой, стоявшая на верхней площадке, перед дверью на чердак, и вода теперь звенела и лилась в тишине уже далеко внизу, стекая с пролета на пролет.

— А-а... а-а-а... — услышал он стон на чердаке, и тут же Губан громко позвал там же:

— Фаинка! Коля.... Живы? Эй!

Как пьяный, весь в белой пыли, Губан вышел на площадку и стал тупо глядеть, как встает на четвереньки и хватается за подоконник Коля. С трудом повернувшись к чердаку, он опять крикнул:

— Эй! Кто...

В этот момент, пригнувшись, с черным лицом, держась за живот, из чердачной темноты вывалился Песков, молча и сильно оттолкнул Губана и бросился через две ступеньки вниз. Ноги, наверное, не слушались его, потому что на втором пролете он упал, поднялся, загрохотал дальше, снова упал, опять загрохотал...

— А-а, не могу... — снова стон и такой низкий, что Коля не узнал голоса.

— Фаинка? — позвал Василий. — Где ты? Зацепившись за порог, он пошел на чердак, ходил там ощупью, скрипел шлаком и звал:

— Где ты? Где ты, ну где ты?

Потом стихло, и вдруг — почти рычание из глубины:

— Не трогай, ооу... уйди, оо...

— Давай, давай... Ничего, ничего... — тяжело дыша, бормотал Василий.

Они показались вдвоем, Губан закинул руку Фаины себе на шею, а она шла, цепляясь за стену, и стонала уже однообразно и тихо.

— Куда это попало? — бормотал Губан. — Колька, куда это попало, а?

— Лена где? О-о... Лена?

— Потихоньку... Вот так...

— Лена-а! Пусти...

— В наш дом засадили, что ли?

— А мы живы, Вася? Ты не бросай меня, больно мне...

Все тело больно.

— Ты на меня, на меня опирайся...

— Вот он летал-то, Вася, так я и знала...

— Что делают сволочи, а? Что делают гады?

— А вы смеялись...

— Куда это Песков кинулся?

— Где Лена-то? А Коля? Коля, где ты, я не вижу! Иди вниз... О-о!

Так они и сходили медленно, со стонами, держась за перила и стены, ничего еще не зная, что там снаружи, внизу, чувствуя только тупую боль и ярость.

Воздух был красным, когда Коля вышел во двор. За минуту перед тем уже отчетливое утро теперь померкло, и стало темно. Это стояла в воздухе, не осела еще кирпичная пыль, поднятая взрывом. То тут, то там в красноватом сумраке раздавались вопросительные и деланно-бодрые голоса дежурных:

— Куда попало-то?

— Стой! Где рвануло?

— Рядом тут, не знаю...

— Давай на Арбат!

— Стекол-то, стекол!

— Что? Эй, кто там? — куда, говоришь?

— В театр попало...

Из бомбоубежища в конце двора рвались на волю люди, думали, что их завалило, глухо барабанили в дверь, глухо визжали женщины. Туда побежали сразу несколько дежурных, стали кричать наперебой:

— Тихо, тихо!

— Спокойно, граждане!

— Ничего не произошло, все в порядке, сейчас отбой дадут!

— Это волна была, воздушная волна!

— Стекла? Стекла все целы!

Странно, но стекла все выбиты были наружу. Выбило и рамы, выбросило фикусы, кастрюли, аквариумы — всё это навалом валялось по всему двору, и всё хрустело и звенело под ногами.

Коля пошел было к воротам на улицу, но тут же остановился, побледнев и приоткрыв рот. Возле стены сидела и морщилась Фаина, немного поодаль, ближе к середине двора, стоял сутуло Губан, стоял на коленях Песков, а между ними лежало что-то изломанное, страшное, вовсе не похожее на человека.

Песков по очереди, молча и сосредоточенно, брал то руку Лены, то голову, то пытался выправить неестественно, как у тряпичной куклы, откинутую и вывернутую ногу, то принимался поправлять, одергивать юбку, потому что все было задрано до живота, но тут же оставлял все как было, только притрагивался — и оставлял. Губан, наверное, хотел закурить, шарил, хлопал себя по карманам дрожащими руками, но ничего не мог найти.

Коля глянул на это раз, другой, потом испугался, зажмурился. Хрустя стеклом, он начал обходить это, и опять остановился. Навстречу ему от ворот бежали люди в белом, много людей, как ему показалось, с сумками и носилками. Двое сразу же подбежали к Лене, нагнулись, перекатили ее навзничь, глянули и побежали дальше, молча, деловито. Песков вскочил с колен, догнал, схватил одного за ворот белого халата сзади, рванул так, что тот повалился, разрывая халат.

— Ты что? — Песков, не выпуская халата, попятился, поволок лежавшего. — Ты, гад, куда бежишь, а?

Его обхватил сзади Губан, кричал в ухо, навзрыд:

— Отпусти, отпусти... Она же... Элька! Песков! Слушай меня, она же... Отпусти! Брось, милый! Иди к ней! Иди к ней! Погляди на нее еще! Погляди на нее! Она же... Последний раз, Песков! Отпусти, слышишь! Иди к ней...

— А-а! — закричал Песков так, что эхо пошло по двору. — Пусти меня! Где? Лена! Леночка! Где? Где? А-а! Ленка же! Губан!

Фаина, бормотавшая что-то у стены, повалилась, завывала. Коля вдруг повернулся, побежал на Арбат, а сзади кричав-

ший Песков схватил Лену под мышки, хотел унести куда-то, и ноги ее вяло поползли по мусору и стеклу, а Губан стал отпихивать Пескова, вырывать у него Лену...

АРБАТ БЫЛ ЗАВАЛЕН ОБЛОМКАМИ...

...Арбат был завален обломками, провода троллейбусные были оборваны и повисали, несколько столбов повалено. Из магазина напротив театра полз удушливый желтый дым и растекался вверх и вниз по улице. Все стекла во всех домах, а в ближних и рамы были выбиты, всё это было настолько необычно и страшно, что Коля опять на минуту потерял сознание. Он не упал, но только ничего не понимал, как, бывает, не понимают ничего идиоты.

Он прошел еще немного и наконец увидел место, куда попала бомба. Театр был разрушен до основания. Осталась только часть сцены наверху и часть зрительного зала с креслами. Все остальное было уничтожено. Возле театра росли прекрасные старые липы в два обхвата — от них не осталось даже пней. В переулке стояла машина, осколок попал ей в багажник, пробил насквозь и вырвал мотор вместе с радиатором.

На обломках уже суетились люди, что-то приподнимали, растаскивали... От Арбатской и Смоленской площадей уже подъехали трактора, уже заводили тросы и тащили в сторону самые крупные обломки стен от подвального этажа. На тротуарах вверх и вниз лицом лежали несколько убитых, к ним не прикасались, бегло только заглядывали в лица и отворачивались. Пронзительно выли сирены «скорой помощи». Из переулка от родильного дома двое вели санитарку в белом халате. Осколок попал ей в лицо, сорвал шапочку, она шла, запрокинув голову, дыхания у нее не было уже, она могла только коротко, подстреленно вскрикивать: «А! А! А!» — и после каждого вскрика слышен был хрип. Кровавая масса на ее лице пузырилась. На ослепительно белый халат падали комки крови и слоями, слоями оставались на белом халате до самого подола. Две женщины, которые вели ее, качались от ужаса и дурноты. Всюду пахло кислым дымом тола.

Вдруг Коля вздрогнул и оборотился в ужасе. С хриплым чужим криком, страшная, старая, всклокоченная, с мокрыми от слез очками, спотыкаясь, подбежала к нему мать...

— Коля... Колечка... — И, налетев на него, сев возле него на дробленые кирпичи, сказала, обеспамятев: — Га! Га! Сы... Сыно-чек! Га! Жив? Жив? А мне сказали... Га! Сказали, понесли сыночка...

Коля затрясся, лицо его поплыло, ноги задергались, будто он все бежал, бежал, он зарыдал, ведь он был маленький, еще мальчик, Коля — с веснушками, с прозрачными ушками, худой...

Теперь Колю все зовут Николаем Петровичем. Ему тридцать три года, и когда его спрашивают, сколько ему лет, и он отвечает, то почти всегда он слышит одно и то же: «О! Возраст Иисуса Христа!» И ему делается почему-то стыдно. Как будто он виноват, что, дожив до тридцати трех лет, не совершил еще ничего легендарного.

Он давно женат, и сын у него есть, очень похожий на того давнишнего Колю, только звать сына Петей. Живет Николай Петрович по-прежнему в Москве, только не на Арбате, а на Юго-Западе в новой квартире. Работает он на заводе, любит ловить рыбу...

И вот уже сколько прошло с тех пор: кажется, целая жизнь прошла, и тогдашний Коля ушел навсегда во тьму времен, и его никогда больше не будет на земле — того Коли, в тот июльский вечер в Москве.

Теперь это рослый мужчина, и, кажется, ничего не сбылось, не развилось из того, что было тогда в нем. Он высок, груб, полноват, лицо у него широкое, шея толстая, и ему трудно поворачивать голову.

Живет он все в Москве, работает на заводе, и сколько в свое время перемечтал, сколько выбирал себе профессий — ни одна не сбылась мечта, а стал просто инженером, женился, и сын у него почти такой же, каким он был когда-то.

И только старые приятели зовут его Колей, а так всё чаще Николаем Ивановичем (так у автора. — *Сост.*), и он уж привык, и ко всему привык, и жизнь у него, если сравнить с какими-то неудачниками, очень хороша, и был бы он счастлив, если бы не бывали у него ночи...

Бывают у него ночи, когда снятся ему ужасные сны.

Снится ему, что опять война, только уже атомная. И что ночь, и он знает уже, что куда-то надо убежать, где-то скрыться, потому что сейчас это произойдет. Он выбегает из дому во двор, в страшный черный двор, потому что затемнение, нигде во всем мире ни проблеска света. И город вроде не Москва, а какой-то незнакомый город, чужой, и он не знает, куда бежать. Из других подъездов тоже бегут люди, их становится все больше во дворе, все рвутся на улицу, все сдавливаются, стесняются в подворотне, как под гробовой крышкой, кричат, и он тоже кричит, рвется на улицу, но не может никак вырваться, куда-то пропала вся его сила, но все-таки медленно подвигается к выходу вместе со всеми. И вот, когда он уже на улице, раздается крик всего города, все обращают лица свои кверху, а там, как новая звезда, разгорается и заливает все вокруг невыносимым зимним блеском атомная бомба.

Он никогда не видел взрыва атомной бомбы, и поэтому во сне она ему представляется как огромная осветительная ракета, такая же беззвучная, неподвижная, все пронизывающая.

Он бежит по улице, с кем-то сталкивается, ищет тени, укрытия, между тем как везде становится светлее и светлее, как при солнце, но это не солнечный теплый живой свет, это свет неестественный, и нет от него спасения.

Тогда он бросается в какое-то подвальное окно, разбивает стекло, режет себе лицо и руки, извивается, как червь, ломает раму, втискивается в какой-то коридор, ползет в темноту, но свет настигает его, и самое ужасное, что, ползя уже по сырой, пахнущей заплесневелой картошкой, утрамбованной земле подвала, лицом вниз и крепко зажмурившись, даже уткнувшись еще в сгиб локтя, он все равно видит этот беззвучный медленный свет, будто он просвечивает его насквозь или буд-

то он лежит навзничь, широко раскрыв глаза, будто он видит даже не глазами, а всем телом, спиной, затылком, ногами...

Просыпается он в поту, с мучительно колотящимся сердцем, задыхаясь, весь облитый холодом смерти, резко вскакивает, секунду сидит на постели, затаив дух, и слышит посапывание сына из другой комнаты, видит смутно-светлую, отвернувшуюся к стене фигуру жены, ощущает запах сна, запах ночной теплой, спокойной комнаты, и тогда только понимает, что это опять сон.

Торопливо он встает и, даже не надев ночных тапок, идет к буфету, в темноте нашаривает чайник, прямо из горлышка пьет настоявшийся холодный чай, потом находит на столе сигареты, закуривает и садится опять на постель. Бьет его озноб, болит сердце, как во время приступа, по телу еще пробегают волны страха, и, морщась, крепко затягиваясь, растирает он под рубашкой грудь и смотрит на прыгающий в левой руке огонек сигареты.

Жена его спит всегда чутко и тотчас просыпается и спрашивает ясным голосом:

– Ты что, Коля?

– Ничего, миленькая, спи, спи, это я так, курить захотел... – говорит он, стараясь, чтобы не дрожал голос.

В такие минуты является ему потребность еще и еще раз что-то решить для себя, решить, что же такое его жизнь, и он думает с некоторым испугом, что ему уже тридцать пять лет. Но что из того? Он еще молод, и, в сущности, все зависит от него самого. Обстоятельства, которые противостоят ему, все-таки преоборимые обстоятельства, потому что, как личность, он может что-то предпринимать, бороться, терпеть. Это не война, когда человек превращается в ничто.

Только что пережитый кошмар во сне, глубокая ночь над городом, эта неполная тишина Москвы, когда даже в самый глухой час все-таки слышен слабый гул, но зато особенная сонная тишина квартиры, ночные звуки ее, особенно какие-то приятные, звук воды на кухне, слабое гудение газовой горелки, запах кофе, дыхание сына в соседней комнате.

Он включает приемник, устанавливает самый тихий звук и слушает какую-то станцию, ночью мало помех, хоро-

шо, глубоко и отчетливо слышен джаз. Он любит джазовую музыку и сколько уже переслушал ее, и ему так хорошо всегда думается под джаз, но и досадно немного — опять и опять джаз поет о смерти, такая тоска в его мелодиях, в этих низких женских голосах, как в погребальной мессе, все о смерти... Но ведь жизнь на земле продолжается, и вновь с вековым упорством расцветают травы, и он под эту грустную музыку думает о жизни, о радостном.

...У него такое чувство, будто он поднялся после долгой болезни, и хоть за окном еще ночь, картины, которые он воображает, озарены солнцем, и он думает, думает, перебирает всю свою жизнь, возвращается в детство и тут же вспоминает, что было неделю назад, и эта беспорядочность доставляет ему удовольствие, хотя он знает еще, что эта дрожь возбуждения, это оживление его, воспоминания разные и вообще как бы раскладка всей жизни, пересмотр ее, потом кончатся другими мыслями, он это предчувствует, но не хочет сразу отдаваться тем мыслям, а сперва думает вообще, будто бы поднявшись, как космонавт, над Землей, а она перед ним поворачивается, и он, когда надо, сразу приближается и рассматривает пристально ту или другую картину, тот или иной день.

Но сперва он все-таки вспоминает ту далекую ночь на крыше, а потом пути всех, кто там был тогда. Он знает, что Т. убит под Вязьмой и В. тоже убит на Карельском фронте, а Ф. умерла в Ленинграде, она в августе уехала в Ленинград и умерла там.

И вспомнив все это, он начинает думать о войне и о тех, кто эту войну предвидит, готовит и планирует. Он думает о министрах, о президентах и генералах и так волнуется, что курит не переставая, облокотившись на подоконник и глядя на случайный поздний огонь в соседнем доме. Он воображает их всех так, как видел когда-то в кинохронике, на журнальных обложках, с раскрытыми ртами, перед микрофонами, в мундирах, над картами, на военных маневрах, на фоне задранных в небо чудовищных ракетных туш.

По какому праву все эти люди, родившиеся где-то на других континентах, задолго до того, как родиться ему, не знающие ничего о его жизни, тем не менее угрожают ему смертью. Они хуже его, они стары, они почти все старики! Он мстительно мысленно раздевает их и видит подагрические лодыжки, толстые вялые животы и худые старческие спины, жилистые шеи или, наоборот, апоплексические, с двумя подбородками. Они немощны и противны, их физическую слабость скрывают мундиры с наваченными плечами и грудью, фраки и рубашки, выпущенные манжеты, лаковые ботинки на плоских ступнях.

Он видит, как они едут в низких зеркальных машинах, и впереди них, по бокам и сзади мчится на мотоциклах полиция в мышиных мундирах, в белых поясах, в белых крагах и касках, они выходят из машин, и портфели с картами и планами и всяческими секретами прикованы у них наручником к рукам, какие-то люди в штатском прижимаются к стенам, пропуская их, и они потом где-то в глубине закрытых комнат курят, и пьют, и обсуждают, и решают его жизнь.

С ненавистью думает он об ученых, о всех этих «отцах» атомных и водородных бомб и всяческих ракет, об этом поистине особом и ужасном племени роботов, продавших свои жизни за деньги, за невысказанную роскошь, за виллы и яхты, за женщин — живущих где-то отдельно от всех, в своих специальных поселениях, в своем секретном уединении. И они даже не людьми представляются ему, а марсианами из страшных фантастических романов, существами, чуждыми всему живому, всем полям и лесам и тихим рекам, любви, рождению, не только чуждыми, но и враждебными всему этому.

Чего он добился в свои годы? Что сделал, как прожил все весны и зимы — он не думает об этом в высшем смысле, а просто, как человек, появившийся для чего-то в один прекрасный день в этом мире и обреченный уйти из него в конце концов. Но не о смерти своей он думает, и для него жизнь проста и естественна, смысла он в ней не ищет, смысл не ему решать, он просто чувствует, что если жизнь человечества бессмысленна, значит, бессмысленна и его жизнь. А если

жизнь всех неисчислимых миллиардов, прошедших и грядущих, наполнена смыслом, значит, и его жизнь имеет великий, таинственный смысл в цепи всех поколений.

Он не один в этой жизни. Рядом с ним жена, ровно и постоянно любимая им женщина, и его сын, в котором он с острой нежностью угадывает свои и ее черты, потом его друзья и родные, потом его работа, его детали из стали, бронзы и меди, простых и сложных конфигураций, которые, наверное, уже миллионами разошлись по всему свету и составляют различные чудесные машины, потом небо, земля, трава и ветер.

И УЖЕ ПЯТЬ ЛЕТ...

И уже пять лет работал Т. на метеостанции, на берегу Ледовитого океана, на Кольском полуострове. Долго тянулась там осень со своими затяжными штормами, с дрейфующими на горизонте сейнерами и траулерами, еще дольше тянулись бессолнечные зимы, холодные, черные. За окном мели метели, погукивали, гоготали, и дом весь так дрожал и стучал ставнями, что казалось, едешь на телеге по булыжной мостовой. В такие вечера Т., если не был на дежурстве, без остановки ходил из угла в угол, думал обо всем и вспоминал и время от времени совал в раскаленное жерло печки заиндевевшие, звонкие с мороза березовые поленья, и они сразу начинали шипеть, пускать пену, а потом занимались в жару багровым пламенем и давали много углей. Дым и пар из трубы срывало с крыши, и он сразу пропадал в гудящей мгле.

В такие вечера Т. думал, что довольно, хватит — надо менять профессию, надо жениться, и воображал Ленинград и Москву, тогда как вокруг этого маленького островка жизни на сотни километров была пустыня.

Каждый раз он с нетерпением считал дни, оставшиеся до отпуска, и думал, что больше никогда уже не вернется сюда, а пойдет в управление и переведется на юг или возьмет расчет. Но проходил месяц, и он все чаще начинал вспоминать этот берег, свою комнату, и все сильнее его тянуло сюда, и он ничего не мог поделать с собой.

Подошел к концу сентябрь, опять начинался очередной его отпуск, и последние дни он почти ничего не делал, а только ходил по берегу океана, или сидел над картой Крыма, или говорил о Крыме со всеми, спрашивая, где там лучше всего. Все говорили ему разное, называли Симеиз и Ялту, Феодосию или Алупку, и он, наслушавшись всего, решил однажды нигде в Крыму не жить, а пройти его весь за месяц. А решив так, совсем вроде посмурнел и никак не мог заснуть.

До ближайшего аэродрома идти ему нужно было два дня. Ночь накануне он почти не спал, а на рассвете ко всем постукал, со всеми распрощался, взял рюкзак и пошел.

За пять лет он привык к тундре, и путь не томил его и не пугал своим холмистым однообразием. Наоборот, он видел в пути этом свою прелесть, легко находил оленьи тропы, наиболее удобные подъемы и спуски, и обувь у него была хороша, и ничто нигде не давило и не терло, комары и гнус исчезли, идти было хорошо, покойно.

К вечеру он дошел до порожистой реки и решил ночевать. Быстро он развел костер, набрал в котелок воды, повесил над огнем, потом разделся и пошел мыться. Весь день перед этим стояло солнце, и розовые гладкие камни, между которыми текла, бурлила, извивалась и пенилась коричневая вода, были теплы, как щека любимого человека. И он, босиком, некоторое время просто перепрыгивал с камня на камень, оглядываясь, слушая шум воды и привычным взглядом высматривая, где больше плавника, чтобы потом перенести его к костру.

На одном из камней он разделся и умылся. Тело у него было хорошо, и он радовался, что свободен и одинок и что он такой сильный, но в то же время ему и грустно было немного, что никто не видит его здесь, среди пустынного безмолвия. Во сто крат лучше было бы, если бы с ним была теперь женщина, которая знала бы, что эти сильные руки и весь он — это ее.

Напившись чаю, Т. содрал с ближних камней сухой белый мох, набросал его на гладкий теплый камень возле самой воды, вынул из рюкзака спальный мешок, забрался в не-

го, застегнулся и стал смотреть вверх и слушать непрерывный и разнообразный водяной гул, идущий снизу, оттуда, где был порог.

Заснул он нескоро, потому что вдруг почувствовал, что чего-то недостает в его жизни, что он живет, в общем, не так, как мог бы жить, что есть на свете дела поважнее, чем его синоптика; но как узнать, какое дело самое важное и как переменить жизнь, чтобы безраздельно отдаться тому самому важному, — этого он не знал. Слова о том, что жизнь каждого все-таки не проходит бесследно, его мало убеждали, и опять к нему вернулось знакомое еще со времен юности, встревоженно-мечтательное состояние, когда немедленно надо решить, что же самое интересное и важное в жизни.

Он выпростал руку из мешка, нащупал в темноте сигареты, закурил и стал курить и глядеть на звезды, осыпавшие уже все небо, и думать, что пять лет на Кольском — это много и пора круто менять жизнь.

Потом он устал думать и волноваться и, уже успокаиваясь, засыпая, решив отложить решение вопроса на будущее, уже с некоторой долей уверенности подумал, что и его наблюдения за эти пять лет все-таки помогали морякам и летчикам и все-таки жил он не даром, и на этой мысли он заснул.

Проснулся он на другой день рано, едва встало солнце, от свежести. Опять разложил огонь, позавтракал, собрался и пустился в путь, уже вниз по реке, вдоль берега.

Часа в четыре дня он, еле передвигая ноги, добрался до аэродрома. По дороге было много плавника и валежника, и Т. устал. На аэродром он попал вовремя, ждали самолета.

Радостное волнение опять охватило его. На аэродроме было несколько человек из рыбацкой деревни, кое-кого он знал, один рыбак, старик Кирыч, даже вытащил из чемодана бутылку водки, налил ему, и Т. совсем стало хорошо, он разговорился, сразу узнал много новостей и сам порассказал о вещах, малозначащих для посторонних, но интересных для местных рыбаков. Не умолкал он и в самолете, а все кричал Кирычу и еще двоим, которые пристроились рядом и, вытянув шеи, слушали и сами тоже кричали и выпивали понемногу.

Линия эта была глухая, обслуживалась «антонами», самолет, на котором летел Т., был старый, садился у каждой деревни по побережью, и когда садился — дребезжал и громычал, как разбитый автобус.

Мурманский экспресс приходил на станцию Апатиты поздно ночью. И нет ничего мучительнее, чем ждать ночного поезда на вокзале, среди детишек, капризничающих от усталости, и в неуверенности, что будут билеты, но Т. и тут радовался, и его все подмывало на разговор с кем-нибудь — так он отвык и соскучился по людям, по поездкам, и он выходил на перрон, закуривал, ходил в уборную, становился на рельсы и смотрел на север — не идет ли поезд.

Наконец поезд пришел, Т. поднялся в вагон, нашел свое купе, забрался на верхнюю полку и опять заснул, в то время как поезд мчался по берегу Белого моря, проезжал Кандалакшу, Кемь, Беломорск, и проснулся только за Петрозаводском.

Бодрый и свежий вышел он в Ленинграде на площадь и сразу пошел на стоянку такси. Он поехал, и ему сразу, будто только ждало этого случая, открылось всегдашнее кипение Невского. Город встретил его бордовыми и зелеными великолепными домами, Аничковым мостом, Казанским собором, тусклым блеском асфальта.

Он недолго ездил, ему повезло, и он во второй или третьей гостинице нашел номер. Он вымылся в ванной и побрился, потом натянул свежую рубашку, и номер поразил его непривычной величиной и гулкостью. Потом он опять поехал на Невский, вошел в один из тех громадных прекрасных магазинов, которые всегда волновали его своим шумом, обилием покупателей и товаров, своими запахами кожи, резины, духов и материи, и долго, тщательно и радостно выбирал и покупал новые кеды, ласты, маску с трубкой, подводное ружье, короткие летние штаны и короткие модные рубашки на выпуск.

Он отвез все это в гостиницу, тут же вышел, но, спускаясь по закругленной, в зеркалах, лестнице, видя со всех сторон себя, подмигивая и улыбаясь себе, обнаружил вдруг на втором этаже буфет, тотчас зашел и взял коньяку. Он хотел посидеть подольше, делать ему было уже нечего, а москов-

ский поезд уходил ночью, но не высидел долго, быстро допил коньяк, вышел на улицу и пошел бродить.

Ленинград, хоть и осенний уже, какой-то дымчатый, сероватый при сухом, но пасмурном дне, все-таки потрясал его. Он прошел мимо Манежа, мимо Исаакия, Адмиралтейства, мимо арки Главного штаба, он поминутно сворачивал туда и сюда, на свои любимые места, прошел и по Мойке, впервые поражаясь гулкой темноте под мостами, миновал сумрачный Инженерный замок и вышел на набережную Фонтанки.

Слева был Летний сад, уже облетающий, темнели стволы лип и кленов, сквозь которые далеко просвечивали серо-желтые мраморные статуи. Впереди на серой воде Невы смугло и четко рисовался Прачешный мост. Еще дальше была дымчатая пустота реки, сизые низкие очертания противоположного берега.

Он остановился, задумался над бегущей прозрачной водой Фонтанки, над вытянутыми, прижатыми ко дну ржавыми водорослями. Коньяк слабо ударил ему в голову, и мысли его были веселыми, думал он о своем доме в Москве, о матери, об отце, как они обрадуются ему, и еще о том, как он поедет спустя дня три через необъятность всей страны, и Кольский, и его метеостанция будут оставаться все дальше на севере, пока не скроются совсем, а он приедет в лето и в солнце и пойдет пешком по Крыму, и с ним что-нибудь такое случится...

Постояв, он дошел до Невы, свернул назад к Дворцовому мосту, перешел его, побродил вокруг Биржи, потом перешел еще один мост, увидел на канале ресторан-поплавок, и ему захотелось посидеть, и он пошел туда.

Было прохладно, и он озяб немного в плаще, а когда разделся и поднялся по лестнице, похожей на трап, на верхнюю палубу, там было пусто, только блестели на скатертях металлические пепельницы, горками торчали белые салфетки, и было тепло. Он забрался на клеенчатое сиденье огороженного стола, будто в каюту, сел у окна, стал смотреть на воду, на дымы из труб, на Биржу и хотя и понимал, что ресторанчик этот — третьеразрядный, а все-таки было ему хорошо и

легко, когда он думал о тундре, о гудящем между мачтами и проволоками ветре, о гуле приборя, об однообразном рабочем распорядке и когда в который уж раз за эти дни думал, что у него два месяца свободных.

Он стал думать о счастье. Странно, но ему казалось, что наконец-то он ухватил свое счастье и знал теперь об этом. Обычно счастливая минута проходила для него незаметно, он и не догадывался о ней и только долго спустя спохватывался, вспоминая и догадываясь, что вот тогда-то он был счастлив, когда уже было поздно.

А теперь, сидя за чашкой кофе, потихоньку покуривая, посматривая за окно, в этой теплоте, тишине и чистоте, в этом «поплавке» на каком-то канале, он был счастлив и знал это, и чувствовал еще, что и тогда, когда два дня назад ночевал он в тундре, то и тогда был счастлив, и когда летел на самолете и выпивал с Кирычем, и когда спал в вагоне экспресса.

Он был один, но ему никого не надо было. У него в записной книжке были телефоны ленинградских приятелей, но он не хотел никому звонить, потому что — он знал — тогда его счастье пройдет. Ну позвонишь, ну встретишься с ребятами, и хорошие ребята, хотя, верно, уж переженились давно все и дети есть, ну, встреча, выпить, конечно, нужно будет, всякие такие разговоры пойдут, кто где устроился, кто сколько получает, и потом уже, окосевши, и разговаривать не о чем станет, и только все будут хлопать по плечам друга и говорить: «А помнишь, старик? Н-да...»

Нет, ему не хотелось звонить и пить не хотелось, хоть раньше он и пил здорово в отпуску, и теперь денег у него было до черта, полярник все-таки, а пить совсем не хотелось, так, разве немного, чтобы быть «на подогреве» и думать, думать, потому что мысли приходили в голову все важные, интересные, о том, когда же обзаводиться своим домом, и о том, что нужно что-то непременно сделать необыкновенно полезное, великое, но вот неизвестно, как за это взяться.

Так он сидел до темноты, а потом поехал домой в гостиницу и оставшиеся до поезда часы сидел в номере, рассматривал ласты, надевал маску, засовывал за губы мундштук трубки дыхательной, гляделся в зеркало, смеялся, а потом

принимался читать путеводитель по Крыму, который он успел купить внизу в киоске (уже).

Сначала он хотел было лететь в Крым на самолете, но потом подумал, что давно не видел лесов и полей Средней России, подумал, как будет проезжать Серпухов и Оку, Тулу, Орел, как радисты будут всю дорогу крутить эстрадные пленки, да и вообще можно будет отоспаться, поговорить с кем-нибудь, и все это медленно, не торопясь, а времени у него впереди целых два месяца, и спешить некуда — и решил ехать поездом.

И когда время подошло к двенадцати, он собрал свой потяжелевший рюкзак, расплатился внизу за номер и поехал на вокзал.

А через два дня его поезд уж подходил к Феодосии. И пошли, пошли справа какие-то полувосточные дома, кружевные ограды, пыльные кипарисы, а слева вдруг выпросталось море, ударило по глазам своим блеском, синевой, и сразу замолкли все разговоры в вагоне, стали собирать вещи, и уж каждый думал, как доберется до места.

И он пошел, пошел жарчайшими крымскими дорогами из Феодосии на запад. И все время слева то объявлялось в свете и славе море, то скрывалось, заслоненное палевыми, пепельными, старческими горами.

А ночью весь громадный купол неба над ним осыпался библейскими звездами...

«Для чего же был убит мой отец? — с холодом и звоном в голове думал он. — Для чего в Карелии погиб мой дядя, а в Кенигсберге двоюродный брат? Зачем были убиты Халов под Сычевкой, Василий где-то у Днепра, а Лена там, тогда, в ту ночь, на крыше? А эти тысячи и тысячи в шинелях, зарытые где попало, разбросанные по всей великой земле, уже превратившиеся в прах, в землю, уже ставшие планетой, Землей — они, убитые сразу и не сразу и умершие потом в жарких муках, убитые в жару, летом, зимой, когда их трупы неделями костенели в сугробах, осенью в грязи — за что?»

А за то, — яростно подумал он, — чтобы вот я сейчас сидел в каюте с этой женщиной, чтобы я, тогдашний мальчик, теперь встал на их место и чтобы был Крым, который им уже не увидеть, но который вижу я, чтобы была вот такая звездная ночь, чтобы люди ночью спали, а днем работали, чтобы я мог думать и любить кого-то, чтобы я зачал новую жизнь и сделал все, чего не доделали они!

Чем же я отплачу им за свою жизнь, когда я все больше забываю о них, как и вообще о всех предыдущих поколениях, каким же я должен быть умным, сильным и мужественным, чтобы жить теперь, чтобы знать все о своей земле, и быть верным моему отцу, моему великому рабочему, и не дать ему погибнуть в себе, хотя в его могиле от него, верно, уж и костей не осталось, а ведь я вышел из него, и я с матерью, с маленькой сероглазой тихой женщиной, был где-то далеко позади него, когда он, думая о Родине и включая и нас в эту Родину, перебежал где-то на Украине от ямки к ямке, от окопа к окопу, ползал, лежал, пережидая бомбежки и минометные шквалы, вскакивал, стрелял, рыл землянки, переобувался, писал письма и думал о мире, когда он наконец сможет снова начать свою бесконечную и великую работу, пока наконец не погиб, и неизвестно даже, пулей он был убит или осколком, и как умер — сразу или мучился, и о чем передумал за время между тем мгновением, когда металл разорвал его тело, и мгновением, когда вздохнул последний раз на земле?

Так вот, спасибо ему, спасибо, что встретил он мою мать и полюбил ее когда-то и когда решил, что мне быть, а ведь я мог и не быть, за то, что за свою короткую жизнь успел сделать столько вещей, столько успел переработать металла и дерева, что и сейчас, наверное, где-нибудь снует, вертится, ходит в масле какая-нибудь деталь, сотворенная им, или, крепко стиснутые в бетоне и кирпиче, хранят свой вечный покой рельсы и балки, сваренные, согнутые, склепанные им!»

Зависть



Мы уезжали тогда из Кракова в горы, и с этим нельзя было ничего поделать. Поезд стоял уже возле перрона, все вагоны исходили паром, кисло пахло перегорелым антрацитом, на туристском вагоне на стеклянных дверях наклеены были изнутри бумажки «Занято!», и нам нельзя было уже раздумать и остаться.

Была вторая половина дня в феврале, и понемногу темнело. На перроне лежал исследованный сырой снег, дул ветер. Туристы стояли кучкой возле зарезервированного для них вагона, подняв воротники, отворачивались от ветра, ждали свои вещи. Наконец вещи привезли, и все нетерпеливо полезли в вагон. В вагоне было тепло, и еще светло от больших промытых окон, и уютно от кресел с высокими откидными спинками.

Я, как всегда, сел вместе с инженером из Подольска. Хотя сейчас мне хотелось сесть с Зиной. Зина была учительница из Томска, и когда я думал о Томске и что я туда вряд ли когда попаду, и еще когда я вспоминал вчерашний вечер, — а вчера вечером я выпил сильно и что-то сказал или сделал этой Зине, что-то глупое и пьяное, — мне становилось жарко и стыдно. И потом я представлял себе Томск и думал: «А, черт с ним! Она в Томске, я на Севере... Да! И потом, стыдно за вчерашнее, и я скотина!»

Группа туристов была большая, я никого не знал, не сошелся ни с кем за две недели, потому что не острил, не хохотал и не пел в автобусах вместе со всеми массовых песен. Да и редко бывал с группой, больше все бродил просто по улицам — музеев я терпеть не мог. Но в гостиницах я все время оказывался в номере вместе с этим подольским инженером,

а инженер был прост, вежлив, не лез в душу, не дурак был выпить, и с ним было хорошо.

Но все-таки вчера вечером я не удержался, стало мне скучно одному, пошел я искать по гостинице эту самую Зину, повел ее в «Цыганерию», выпил там, и она мне вдруг страшно понравилась — такая была умная, кроткая, — и стал говорить ей всякую чушь про Север, про ездовых собак, и все хотел целоваться с ней во время танцев.

— Ну как Краков? — спросил инженер, как только мы запахнули чемоданы в сетки, разделись и сели. — Город что надо! На Таллин похож, верно? Ты в Таллине бывал? Я раз в командировке месяц прожил, все в «Старого Тоомаса» ходил, угрей ел. Да, ничего не скажешь, городок что надо этот Краков, только вот угрей тут нет. А мне, как увидел я эти разные улицы, вроде в Таллине, так сразу угрей захотелось. Ты где был сегодня, в каких музеях?

— Нигде, — сказал я. — Так я как-то сегодня — сидел...

— Это где же?

— Да так, в одном кафе.

— Иди ты! Так и просидел весь день? Небось с девочкой?

— Ну весь не весь, а всё же... Часика три. И один. Без всяких девочек. Нам, знаешь, при нашем с тобой туристском положении, с девочками некогда. Вот поглядеть на них — это да.

— Это ты верно, — обрадовался инженер. — Девочки тут что надо! Это мне правильно про полячек говорили. Это они могут. Братья поляки.

А я и верно тогда часа три просидел в кафе, пил там коньяк, думал о том о сем. Думалось мне хорошо, легко, да еще странно было от мысли, что вот я один, сижу где-то в Кракове, чисто выбрит и вымыт, за чистым столиком, лицом к окну, и какая у меня рубашка, а за окном бесшумная уличная толчея, машины, а у меня есть время, я теперь сам какой-то иностранец, черт его знает — даже познабливало меня слегка от всего этого. И оттого, что время от времени я смотрел на официантку, и она тотчас понимала, подходила и нежно шелестела свое приветливое «Прошем пана?» — и я говорил

ей тоже тихо и важно: «Коньяк. Еще сто», — и палец один слегка приподнимал, пошевеливал, показывая, что именно сто. — «И еще кофе». — «Кава?» — переспрашивала официантка. «Ну да, кава», — кивал я, выколупывая из пачки сигарету, и двигал под столом ногами, откидываясь на спинку стула, а официантка уходила с нежной озабоченностью и через минуту приходила опять, и мне было хорошо смотреть на нее.

Мне и на других приятно было смотреть, и еще приятно было, что в кафе не гаддели, совсем почти не было посетителей, сидело человека четыре по разным углам и еще две девочки возле окна. А за окном то в одну, то в другую сторону беззвучно проходили люди и что-то говорили, если шли не в одиночку, но слов не было слышно. Они появлялись и пропадали через короткий миг, но я и за это время успевал их разглядывать, и мне любопытно было соображать, кто они и что у них за жизнь.

Всю ночь перед этим шел снег, утром настала оттепель, на улице теперь была снежная каша, которую не успели еще убрать. Машины мягко двигались по этой каше, разваливая ее скатами, каждый раз заваливая колею, оставшуюся от уже прошедшей машины, и оставляя свою, — и в этих появляющихся все вновь и вновь колеях мокро, черно блестела брусчатка.

Я впервые был тогда за границей и так волновался, подъезжая к Варшаве, что почти не спал ночь, а когда вышел из вагона на вокзале, сразу увидел, что там все другое. Другое было в том, что на перронах полыхали жаровни с угольями, чтобы погреться, и запах вокзальный, который, казалось бы, должен быть одинаковым во всем мире, здесь был иной, иностранный какой-то, и кассы были иначе устроены, и переходы, тоннели и разные табло, и указатели, и носильщики — ничего не было похожего на наше. И я подумал с наслаждением в ту же первую минуту, что не зря поехал и что это надолго потом останется со мной — это первое прикосновение к чужой жизни.

Но прошло дней десять, и я как-то все больше стал подумывать о доме, о родине, все чаще вспоминал какие-то места и дни в России, и мне уже хотелось назад, с недоумением на-

чинал я думать о дипломатах, как это они выживают годы и годы вдали от дома.

И вот тогда, в кафе, я не то чтобы затосковал вдруг — нет, мне хорошо было и от коньяка, и от этого кафе, от польской речи, от мысли, что я в Кракове, что у меня есть еще злые, но другое приходило на ум — как я там жил когда-то, далеко отсюда. И хоть в Кракове была зима, вспоминалась мне почему-то одна осень, когда я плыл по делам на пароходе в Вологодской области.

День тот был пасмурен. Низкие равномерные облака обложили все небо, нигде не было света, лес по обоим берегам был красно-темен, а деревья сизы. Порывами налетал ветер с дождем, над рекой повисала водяная пыль, ивы на берегу кланялись, встряхивались, выворачивали листья и становились седыми, будто припорошенные снежком.

Была середина сентября, начал облетать лист, березы сыпали желтым, везде на лугах был поздний, северный сенокос, и маленькие стожки торчали там и сям на пожнях. И чем дальше на север, тем чаще попадались заколоченные, покосившиеся, обомшелые по крышам деревянные церкви, и церкви эти были как музыкальный грустный звук севера.

Что-то затягивающее, щемящее было в той осенней поездке по глухой реке, на старом пароходе. Моросил дождь, шаркал по палубам ветер, река была как-то темна, оголена и широка. Мы догоняли редкий молевой лес, внизу глухо стучало, потом бревна лениво выворачивались из-под бортов и уходили назад. И пароход был пуст, почти безлюден.

Пристаней давно не стало. Пароход давал на плесах длинный гудок, круто разворачивался и приставал к берегу против течения. На берегу, в тех местах, куда, налезая носом на гибкие ивы и кочки, приставал пароход, жгли костры, молча стояли и сидели ребяташки, бабы с ребятами на руках. С парохода сдвигали длинную доску-трап, сходили немногие пассажиры, еще реже всходили... Пахло горечью осенней земли, корою ивы, речной сыростью, дымом от костра. Стояли наверху по буграм большие северные избы с белыми наличниками окошек. Голоса были слышны громко, речь странна и необычна для приезжего.

А потом день сменила ночь, еще более сырая и холодная. Пароход стал идти медленнее, осторожнее, посвистывал чаще. Загорелись красные и белые огни на бакенах, берега казались далекими и безжизненными. И особенно уютным сделался в ту ночь пароход, его огни, его шипение и постукивание, его гулкие долгие свистки, от которых по телу проходил внезапный озноб, даже его грязный ресторанчик в корме, и как там пахло жареной треской, и водка в мутных графинах. Хорошо было смотреть на встречные буксиры, попыхивающие паром, на длинные темные баржи или на плоты с шалашами, с кострами и тенями людей возле них. И как тепло было возле кожуха, как крепко пахло дровами и паром! Да, вот оно что — там, дома, кажется, и не помнишь ничего, забыл, а вот и помнится все и приходит здесь, в кафе, в Кракове.

Я поглядел на официантку, и она как-то очутилась рядом, тихо задышала, и опять вопросительное «Прощем пана?» — и радостно-покорное: «О да, коньяк, кава, дзенькуе пану!»

Ну дальше, дальше! О чем я еще думал в кафе, разглядывая улицу и тех, кто сидел рядом со мной, приходил и уходил? И какой я все-таки был одинокий, и в какой же раз вспоминал я весну, когда познакомился со своей будущей женой. Ну что тогда было? Был тогда апрель с высоким бледно-голубым небом и размытыми быстроснесущимися редкими облаками. Потом еще пахучий резкий ветер, очень холодный, схватывающий ледяными кристаллами лужи по краям, а в середине морщинивший их. И встряхивание ветел, гул проводов, косяе, отчаянные какие-то пролеты грачей и холодное, очень яркое желтое солнце.

Тогда-то я и познакомился с ней в доме отдыха, тогда все и началось. А веселое было время, веселая компания — полное безделье, одна только забота, как бы не пропустить обед, зато целыми днями ходили по лесам, по ослепительным полям, по набухшим уже оврагам, загорали, доставали, проваливаясь в воду, распушившуюся вербу девочкам. А когда пошел лед, смотрели на ледоход, на то, как прибывала и прибывала вода, как заливала противоположный берег, жгли костры на берегу, жарили на огне колбасу и выпивали

из одного стакана. А вечерами танцевали или вдруг спохватывались и бежали рысью за водкой, мелко переступая по льдистой дороге, под луной, и мороз пощипывал уши и скулы. И потом пили с криками и смехом опять-таки на берегу реки, в лунном свете — все были такие красивые, и лица у девушек, когда целовались, пахли духами и морозом.

Ну, а потом что было? Сколько переговорено было, и куда мы только не забирались по разным моим делам! И в палатке жили, по грудь в цветах ходили, и расставания, и встречи, и все время:

— Коля, Коля! Любимый, хороший, добрый, Колечка, иди, иди ко мне, приезжай ко мне, скорей ко мне, не могу без тебя, Коля, Коля! — всюду: в Латвии, на Украине, на Кольском, в Москве, в вагоне, на байдарке, в каюте парохода, в каких-то избах, в белых ночах и в темных, и телефонные звонки — Коля, ну Коля же! Какой ты дивный, большой, сильный, мой, мой — Коля!

А ушла она от меня зимой, в феврале, — и сейчас вот февраль, Польша, Краков, и я тут вот, в этом кафе, в тепле, за столиком сижу, и сейчас сигаретку закурю, и сегодня мы едем в горы, в снег и тишину, и там еще лыжи будут, — в феврале она ушла, на Кольском. И как теперь ни думай, ничего не выдумаешь, два года прошло, не выдумалось, почему это случилось и кто тогда был виноват. Я? Наверное, и я — потому что не был я никогда ни дивным, ни замечательным, ни единственным я не был. Но той ночи и всех последующих дней не забыть мне вовеки. Как я был один там, как приходил домой и был один. Ведь все-таки хороша она была, добра, уступчива, — только, казалось, и думала, как бы услужить мне, и, может быть, как раз этим развращала меня. Потому что я думал, что это всегда будет так, потому что верил ей, поддавался ее мягкости, услужливости. «Не выпить ли нам кофе?» — спрашивал я иногда ночью, когда мне не спалось. Я и сам мог поставить кофе, но мне хотелось, чтобы она, тем более я знал, как радостно она вскочит, будто и не спала, а так только лежала, закрыв глаза, и ждала, когда мне захочется кофе. «У, какие мы счастливые!» — говорила она. И пока, накинув халатик, поцеловав меня, потершись о ме-

ня, притворив дверь на кухню, она жужжала там мельницей, звякала чашками, — я закуривал, кряхтел от счастья, ходил по комнате и думал, какая она у меня милая, прелесть и как мне легко с ней.

Зато какое в ту ночь ненавидящее, искаженное болью и отвращением, чужое лицо было у нее! Как она кричала и злобно плакала, как я — тоже дикий от ненависти — выскочил из дому в темноту, — а в тот вечер много намело снегу, и я, когда шел, глубоко проваливался, — и быстро пошел в магазин за спиртом, а жена кричала еще мне, когда я уходил: «Вернись!» — да где там было вернуться!

А потом, через час, уже успокоившийся, погрузневший, шел я домой, ветер дул мне навстречу, закаменело лицо, и слезы выдувало из глаз, все скулы были мокрые. Мне было стыдно, я ругал себя и думал, вот она увидит сейчас мое помягчевшее лицо и как я ей тихо что-нибудь скажу, не прощенья буду просить и не объясняться снова, не разбирать, кто первый начал, а так что-нибудь скажу незначительное, спрошу, например: «Где стакан?» — или что-нибудь еще, и выпью, и она со мной немного выпьет, все поймет, и все станет хорошо.

Я увидел свой дом издалека, окна светились во тьме, желтили полосами снег, и так все звало к миру, к согласию, что думалось: «Ссориться перед лицом этой жестокой природы? Когда человек так покинут здесь, так одинок под ледяными сполохами и так, в сущности, должен быть нежен к другому человеку!»

Ее следов я сначала не заметил, это потом я смотрел на них, когда побывал уже в доме. Едва взойдя, я понял, что ее нет со мной больше и что это навсегда. Дом зиял страшной какой-то оголенностью, как после мародеров, все было разбросано второпях, не стало многих вещей, какой-то ерунды, к которой привыкаешь, как к себе. Не было брошенного на спинку стула шарфика, туфель в углу, варезек на столе в кухне — ничего не было, а главное, не было ее. Некому было сказать мирным голосом: «Где у нас стаканы?» — потому что не было нас, а был один я. Я не стал спрашивать стакан, а как был, в пальто, в шапке, пошел на кухню, достал стакан, налил до половины воды, потом раскупорил бутылку, — а бу-

тылка заиндевели у меня в кармане, — и долил спиртом, глядя, как в стакане сначала слоисто мутнеет, а потом прозрачнеет, хотел выпить и не мог, так тряслись руки. Пришлось сперва отхлебнуть прямо на столе, а потом уже взять стакан, выпрямиться и допить. Вот тут-то я взял фонарь и вышел посмотреть следы.

Кругом смутно белели сопки, реденькие желтые огоньки мигали, чернела и рокотала внизу река. Все небо светилось звездной пылью, и только низко на востоке, над океаном, висела черная мгла, и в эту черноту грозно, медленно и ярко падали звезды.

А под ногами, в маленьком белом кругу света от фонаря, было три следа, три глубоких следа и комочки снега вокруг. И два следа были уже замечены поземкой, уже невнятные, те два, которые шли от дома — мой и ее, — только один след еще свеж, сахаристо поблескивал под фонарем, это был мой след, и вел он к дому.

На другой день, переночевав где-то, она улетала, и я знал это. Летом возле рыбозавода не было аэродрома. Но зимой, когда снег засыпал все кочки и ямы на тундровой поляне возле реки, трактор отволакивал туда дощатую будку с железной печкой, по углам поля устанавливали флаги, и раз в день начинал прилетать и улетать «антон», привозил кинофильмы, продукты, водку, письма, газеты. И еще привозил и увозил немногих пассажиров, потому что рыбозавод был последним пунктом на авиалинии, и прилетали сюда и улетали только местные.

И вот когда на другой день в полдень застрекотал, поднялся и стал разворачиваться самолет, я понял, что на этом самолете улетает она. Сначала мне стало нехорошо, что-то вроде короткой дурноты случилось со мной. Но потом отлегло, и я нашел в себе силы выйти на улицу. Я вышел и смотрел, как разворачивается самолет, как он накреняется. Я знал, что и она смотрит на поселок сверху и отыскивает наш дом, а если уже нашла, то и меня видит, как я стою без шапки, в своем грубом свитере и унтах. И тогда я попрощался с ней, что-то толкнуло меня, я задрал голову и попрощался, помахивая рукой. А потом повернулся и, не глядя боль-

ше на самолет, хотя глядеть можно было долго, пока тот не скроется за сопками, пошел к себе в дом.

Вот как тогда было. Но ей-то, конечно, пришлось полегче, потому что если она и любила меня, как я ее, если ей и было тоскливо и непоправимо, то она все-таки улетала куда-то в Москву, в город, в шум, к людям, которых ей предстояло встретить, к родным, которые, наверное, ей сказали: «А! Наплюй! Не стоит он тебя!» — это они умеют, любят говорить, наши родные и друзья. А может, тогда уже она не любила меня и легко уезжала, и забыла свои слова о верности до гроба и даже за гробом. Она когда-то говорила мне это много раз, потому что я был самый прекрасный и удивительный. А потом я уже перестал быть прекрасным. Но даже если и любила еще тогда, все равно ей было легче. Легче всегда тому, кто уезжает. А я оставался один в маленьких серых днях и длинных ночах, там, на Кольском, и стыдно мне было искать сочувствия, и так и не сказал мне никто тогда слова утешения.

И опять стояла рядом официантка и нежно смотрела на меня с таинственной полуулыбкой, будто она одна знала, как хорошо, как покойно сидеть мне в кафе, и я очнулся и вспомнил, что я в кафе, в Кракове, а не на Кольском, и покорновесело заказал еще коньяку, и на меня вдруг поплыл Краков, весь город, с узкими улицами, со стариной, и опять была мысль о том, что я уезжал в горы, в снег.

Я как бы пошел по Кракову, я был на Вавеле, я поднимался туда под стенами и башнями, по крутой дороге, пока не открылся мне весь город вокруг, пока не взошел я в ворота и не остановился, потому что Польша была передо мной во всех этих колокольнях и башнях, соборах и дворцах. Польша была передо мной, когда, побродив по сумрачному пространству Вавельского собора, сиренево освещенному витражами в стрельчатых окнах, спустился я потом в подzemелье, в тоннель, кончающийся камерой, и в этой камере стояли два надгробия, двух великих поляков Мицкевича и Словацкого.

Польша была передо мной, когда я заходил в какие-то дымные, красно освещенные пивные, битком набитые сту-

дентами, и шум, гомон, смех оглушали меня, и официантки с монистами носились там в дыму с кружками пива, ряженые пиликали на гармошке, и пели, и кувыркались, и выпившие ребята обнимали своих прелестных девочек с седыми волосами и черными глазами. А на улицах в эту минуту, в темнеющем воздухе, на темную черепицу громоздящихся крыш, на все эти мансарды, уступы, на наклонные какие-то стены, во дворы, на брусчатку — падал и падал крупный снег.

Польша была передо мной, когда я останавливался вдруг перед какой-нибудь нишей с распятием и видел измученного Христа, озаренного жарким светом многих свечей и лампад, и прохожие преклоняли колени, осеняя себя католическим крестом, — а тогда все ждали конца света, тогда, в феврале, какими-то йогами, какими-то умниками, мудрецами с Востока был предсказан конец света, и мглистое небо висело над Польшей, и все не верили и, наверное, вспоминали пепел Освенцима и Варшавы.

И был я еще в Марицком соборе, сидел, как и все, на дубовой скамье, и орган откуда-то с высоты грозно, устрашающе, томительно, нескончаемо пел мессу, и кругом меня сидели на дубовых скамьях, приблизив бледные лица с закрытыми глазами к огням свеч, которые розово и опалово светились изнутри. А слева от меня, как за конторкой, за ширмочкой зеленого шелка сидел пухлый ксендз и важно преклонял ухо то на одну, то на другую сторону, к маленьким окошкам в ширмочке, и ему оттуда, снаружи, из темноты, торопливо шептали что-то, исповедуясь, жалуясь, надеясь, и он потом небрежно высовывал в эти окошечки руку, и ее торопливо, благодарно целовали снаружи, из темноты.

Там, на этом соборе, наверху, на колокольне, под символически начертанными на стене солнечными часами была такая устрашающе безысходная надпись: «Дни человеческие как тень над землей, и ничто не в силах их задержать!»

Но еще видны были прорубленные в башенке четыре окошка — на север, на юг, на запад и на восток. И каждый час вот уже многие столетия к каждому из окошечек по очереди подходит трубач. Он трубит каждый час о том, что солнце светит и жизнь продолжается. Такая нежная, та-

кая восторженно-прозрачная труба раздается сверху ежечасно!

Вот о чем, приблизительно, думал я, сидя в одиночестве в милом кафе...

И вот паровоз тронул, и Краков стал уходить. Как-то странно ехали мы: некоторое время поезд шел вперед, потом останавливался, с ним что-то делали, лазили под вагонами сцепщики, сцепляли и расцепляли, паровоз свистел уже сзади, и поезд трогался назад. После новой остановки опять ехали вперед, потом назад...

Час проходил за часом, в вагонах было жарко, топились они паром от паровоза. За окнами было темно, но когда поезд, как бы запыхавшись, останавливался где-нибудь между снежными откосами и мы выходили подышать — все сразу чувствовали и тихо, радостно говорили об этом друг другу, что уже горы, что снега больше, и снег пушистый, и воздух чище. И эхо, когда паровоз, отдохнув, вскрикнул, — эхо было звончее и многократнее.

Один раз я выскочил на какой-то станции и пошел в буфет выпить пива. Сперва я смотрел, как мне наливали горькое светлое пиво, потом взял кружку и стал пить, отдувая пену, и поверх кружки глядел на людей, какие они необычные на наш русский глаз. Обувь у них другая, вся в снегу, грубая и толстая, — и понимаешь, что здесь так и нужно, в горах, чтобы была такая обувь. И лица другие, иные повадки, жесты, иначе носят шарфы, и шапки другие. И главное, иначе пахнет — запах иной, заграничный, пиво горячее, и столики какие-то такие, и как люди за столиками сидят, как смеются, и свет другой, а в буфете всякая там еда, закуски, бутылки — все расставлено не так, как у нас.

И тут я увидел Зину, как она вошла в расстегнутой шубке, как прищурилась, оглядывая буфет, как подошла потом к стойке, стала рассеянно думать, чего бы ей взять.

— Зина, — сказал я, отрываясь от кружки, подошел к ней и потише: — Зина! Не сердитесь на меня, больше ничего такого не будет. Вот увидите.

Она улыбнулась. Хорошая она все-таки была девочка.

— Это в горах-то! — и махнула рукой. — Да я давным-давно забыла! Как пиво — хорошее? Пить ужасно хочу от этой жары в вагонах...

Я ей заказал пива, и она, так же, как и я, глядела, как ей наливают. А потом мы отошли в сторону, я закурил, и мы стали прихлебывать пиво и прислушиваться к чужой речи, как много в ней было этих «пш» и «пс».

Допив пиво, мы вышли на платформу и остановились. Шел косой снег, крупный чистый горный снег, паровоз был окутан паром, вагоны тоже были окутаны паром, ветерок сносил пар в сторону, открывались светящиеся окна, потом опять скрывались в пару. Я поднял глаза — в горах там и сям виднелись домики, и там тоже светились окошки. И все это вместе — маленький поезд, пар, крупный косой снег, Зина, незнакомый говор, вкус во рту от только что выпитого пива, какие-то парни в грубых ботинках, со скрипом идущие по платформе к фонарю, под которым их ждали мохнатые лошаденки в санках, и девушки, выходявшие в облаках пара из буфета и бежавшие к поезду, все в брючках, в шапочках, все почему-то красивые — так это было все здорово! И я думал, что вон те ребята сейчас ввалятся в санки и поедут себе по каким-то темным дорогам к далеким домикам в горах, а мы поедем еще дальше на этом игрушечном поезде, и что-то там будет для нас впереди счастливое.

— Зиночка, — спросил я. — Как вы думаете, еще лучше будет?

— Не знаю, — сказала она. — Я бы и здесь осталась.

— И я бы, — сказал я, и мы побежали к вагону, вошли в тепло и свет, и я опять сел со своим инженером.

— Ну, как? — спросил он.

— Законно, — сказал я, утираясь. — Законно пиво выпил.

— Чего же ты, керя, меня не позвал? — обиделся инженер.

Поезд шел еле-еле, и я успел насмотреться из вагона, пока мы приехали на место. Бежала рядом дорога, шоссе — темное и прямое, — проносилась по нему машина с желтыми фарами, высвечивала по очереди все дорожные знаки, стрелы и надписи. Погукивали под нами мосты, а внизу горные ре-

чушки, черные на всем белом. Появились деревянные дома с острыми крышами, засыпанными снегом, с розовыми полосами света из окон, а вдали уже разворачивались огни городка, и сильнее всего сияли, многоярусно и бело-сине, два огромных отеля наверху, а над ними бежала в горы и пропала в облачках цепочка голубых огней — фуникулер.

Вокзал в этом городке был деревянный, резной. Мы вышли на небольшую площадь за ним, залитую мертвомолочным светом, и сразу увидели лошадей в санях, фонарики возле полозьев с правой стороны, промерзших извозчиков в белых штанах с вышивкой спереди и в шляпах. Пахло морозом, лошадьми, навозом, лошади мотали головами в торбах, хрупали овсом и позванивали колокольцами.

С сожалением забрались мы в автобус, автобус покатился, гид заговорил о гостинице, о расписании на следующий день, но я не слушал. Какие-то дома, пансионаты, в отдалении, за оградами, проплывают за окном, какие-то парки, сады, мы сворачиваем из улицы в улицу, заезжаем куда-то в темноту, останавливаемся, затем медленно поворачиваем направо и медленно пробираемся, протискиваемся между старыми липами. Слышно, как ветки скребут по крыше автобуса, снег сыплется мимо окон, и слышно, как внизу проседает и хрустит под рубчатými чугунными шинами.

Вот остановились, вот распахнули двери, но выйти нельзя, снегу по колено. Но все-таки вылезли и, набирая в ботинки снега, стали носить свои чемоданы в совершенной тишине и в темноте, в чистом горном воздухе. Потом кто-то спросил, где мы, и крикнули вперед, в сторону большого черного дома между липами, в сторону тепло светящихся окон и крыльца, — там кто-то из наших уже топал, обивал снег, там уже говорили, тогда как здесь, в темноте, мы еще брели и молчали, — оттуда к нам пришло: «пансион». И мы тогда опять крикнули, как называется, и опять это отсюда, из темноты, ушло туда, к крыльцу, и вернулось ответом — пансион назывался «Липовый двор».

Но вот и мы на крыльце, слабо освещенном плафоном, и там стояла хозяйка, какая-то женщина с нежным голосом,

лица ее как-то не разобрать было, и только голос тихо шелестел в который раз: «Прошем пана?» — и мы вошли внутрь, в тепло, в слабый запах старого дерева, лака, в полусвет холла. Там, в этом доме, были громадные — в обхват — бревна, покрытые коричневым лаком, декоративная конопатка из соломённых жгутов, были скрипучие лестницы, прелестные комнаты со скошенными, как в мансардах, потолками. И я опять был в своей комнате с инженером, а не с Зиночкой, как мне хотелось. Но и я ему тоже, наверное, был не нужен, он быстро ушел, я слышал, как он топал по коридорам, похотывал, помогал девочкам устроиться, весело ему там было. А я посидел, поглядел на стены, на потолок, попрыгал на пружинистой кровати, потом включил маленький приемник на тумбочке под окном, и тот сейчас же начал источать какой-то грустный джазик, начал светиться зеленой шкалой и грустно ворковать что-то о грустной, нежной и усталой любви — ай-яй-яй!

А на другой день все и началось. Сначала это не была еще зависть, а так — кольнуло что-то. Потому что настало солнечное утро. Потому что наш «Липовый двор» занесен был в предгорье, и с балкона виден был весь городок и все горы. Солнце уже взошло, но в долине его еще не было. Освещены были только облака и вершины гор. Свет был ярок, розов, но на облаках был он нежнее, одухотвореннее, а на вершинах — определеннее и тверже. Городок лежал как в чаше, подернутый синей пеленой, и над всеми домами, из тени к солнцу, поднимались вертикальные дымки.

Зависти настоящей еще не было и тогда, когда мы спустились в городок — мне только весело стало, я будто опьянел. А веселиться было от чего! Сновали и раскатывались на поворотах извозчицьи санки, фырчали на остановках автобусы, с сухим звонким стуком засовывались в них, в багажники, лыжи. Лыжники вскакивали внутрь, автобусы, поднимая снежную пыль, завывая, убегали куда-то вверх. На всех машинах, которые тоже мчались наверх, — на крышах были лыжи, а внутри красное, голубое, лимонное свечение спортивных курток и лыжных шапочек. Раскачиваясь, порявкая, ходили по городу на задних лапах белые медведи, обни-

мали нас, человеческими голосами предлагали сфотографироваться. Мулы и ослики катали ребятишек на маленьких санках. Во всех витринах были скрещены слаломные лыжи, куртки, оранжевые очки, тобогганы, коньки. Одни мы были в пальто, в брюках, в зимних шапках, все остальные — в лыжных куртках, в горных ботинках, все были загорелы, даже до какой-то лоснящейся смуглоты.

И мы взяли извозчика, уместились, запахнулись, поехали, как и все, наверх, к канатной дороге. Поехали мимо ресторанчиков, баров, кафе, пивных в тирольском стиле, мимо дач и пансионов. Белки перебежали через дорогу, волнисто летали по деревьям, за оградами следы зайцев и косуль, колокольчик бренькал впереди, под полозьями пищало. Нас обгоняли машины, автобусы, набитые лыжниками и лыжами, снег кисеей сыпался с высоких елей и сосен, все было пронизано солнцем, веерообразными его лучами. За большими окнами пивнушек неясно маячили люди, пили пиво, к стенам были прислонены лыжи. Я сидел спиной к извозчику, смотрел назад, вниз, на городок, на горы, оглядывался и думал, что там у нас, где-то за горами, могут быть всякие заботы и горе, а здесь только одно — спорт, любовь, тишина...

Под тпруканье и нуканье извозчика добрались мы наконец до нижней станции подъемной дороги, вошли, и сразу меня как-то отделило от своих, я попал в толчею, в смешение красок, лиц и глаз. Там было полным-полно разных шведов, французов, немцев и поляков. Все были с лыжами, все парами. И все загорелы до черноты, только зубы и белки глаз белели. Все одеты в простроченные нейлоновые куртки, и узкие брюки были у них, икры обтягивали, у всех ботинки с толстыми подошвами, все ходили, толкались, курили, проталкивались к кассам, и одна пара за другой уходили к подъемнику по лестнице в два марша наверх. А там крытая платформа, вагон, в который все набивались, набивались, и он провисал, оседал на канате. Потом дверь захлопнулась, и мы поехали. Внизу поплыли скалы и пропасти, заячьи следы, и мы были как на вертолете. На двухсотметровой высоте, на сильно выгнутом книзу канате мы медленно, тихо летели — и вверху было фиолетовое небо, внизу ослепитель-

ный снег и черные скалы. Лыжники проносились под нами, тормозили в облаке снежной пыли и опять летели вниз. Чем выше, тем все больше открывалась нам вся гористая страна, а внизу еще попадались рыхлые дороги, мохнатые лошадки везли возы с дровами, возницы в высоких шапках, увязая в снегу, брели рядом.

Гид наш вдруг заговорил, и мы все стали его слушать. И он небрежно так, вроде бы даже равнодушно от привычки, рассказал, как во время войны польский партизан-лыжник выбросился из кабины. Он ехал в горы, может быть, поразмяться, друзья сумели позвонить ему с верхней станции и предупредить, что его ждут эсэсовцы. Тогда он надел в кабине лыжи. Это был мировой парень, боец и первоклассный лыжник, и, наверное, в кабине тоже были у него друзья. Ему открыли дверь, и он уже в виду верхней станции прыгнул с двадцатиметровой высоты на крутую скалу, почти отвесно уходящую вниз.

Мы подъезжали уже, и гид показал нам, куда он прыгнул. Я увидел, немного сбоку, но в то же время под кабиной, извилистое ущелье, засыпанное снегом, с черно-серыми каменными обрывами, рваными бросками уходящее книзу.

— Видите кулуар? Вот тот, сбоку? Он сразу свернул туда. Вот это был слалом! Понимаете?

Я понял, конечно, — мне даже смотреть туда страшно было из кабины. Немцы стреляли по нему сверху из автоматов, потом ждали его внизу. Но он пересек горы и скрылся у друзей-партизан.

Потом мы достигли вершины, вплыли в кажущуюся темной со света, гудящую мотором верхнюю станцию, вышли, и я тут же сел на какое-то бревно. Тут-то меня и схватило настоящиму. Тут-то я и пропал. Я глядел на все подряд: как горы уходили вниз, в облака, как катились вверх и вниз вагончики подъемной дороги, как кругом меня надевали лыжи, проверяли крепления, прыгали, разворачивая во время прыжка лыжи направо, или налево, или кругом. Как они натягивали горные очки, как один за другим срывались вниз. А наши уже полезли еще выше, в какой-то отель, который все называли «Хижина». И я полез, набирая снегу в ботин-

ки. За скатом направо видна была тёмная поросль елового леса, затем, наверно, шел обрыв, потому что следующая поляна была уже далеко внизу, и по той поляне тоже катились крошечные лыжники.

Кто-то крикнул, что есть бар. И правда, в этом отеле из черных бревен был бар. И два бармена, веселых парня в тирольских шляпенках с перышками. Играла чудовищная какая-то машина из стекла и металла, наполненная люминесцентным светом, с ребристым диском, уставленным пластинками. Тепло было, горел камин, а на высоких табуретах сидели всякие шведы, обвинутив ногами ножки, и пили коктейли. Я тоже взял себе чего-то такого с сивушным духом, какой-то сливовицы, сел, глотнул, крепко утерся — ничего! Ах, черти, лыжники, спортсмены — и так мне печально стало, что я не с ними, не на лыжах.

В морозном облаке пара вошла в бар темноглазая печальная девочка. Она была несчастна, и одна почему-то, и сразу подошла к бару. Оба бармена засуетились, засияли. И оба сейчас же, оглядываясь на нее, стали делать ей коктейль. Она тем временем разглядывала всех в баре. Посмотрела на меня, наморщила лоб и отвернулась. Ей дали бокал, она кинула какие-то монеты на прилавок и ушла к камину. Там она села, стала постукивать ботинком, слушала музыку, без выражения глядела в окно.

А я летел между тем на лыжах по тундре, по холмам. Я долго, кружным путем взбирался на сопку, там отдыхал, вытирал пот со лба и начинал потом спуск. Лыжи ерзали, изгибались, свистели у меня под ногами, я тормозил, бросался опять вниз, чертя палками, и слезы выдувало у меня из глаз. Я это очень явственно видел, я как бы ушел туда, побывал на Кольском, вернулся и опять смотрел на эту девочку, как она тянула коктейль и грелась у камина.

Народу все прибывало, шли греться, пить кофе, коньяк. И даже те, кто не ездил с гор, все равно были в спортивном, и женщины с платиновыми волосами вбегали, закидывая головы, перебирая обтянутыми шерстяным трико ножками, ах, черт!

А я опять ушел, но уже дальше, в ту первую свою московскую ночь, когда я стоял на крыше под бомбежкой. Я увидел опять убитых и раненых и заваленные кусками стен улицы. Я увидел октябрь в Москве — баррикады, жирные туши аэро-статов по бульварам, редкие, отчаянно громыхающие, битком набитые трамваи. Пепел летал по улицам, временами где-то рвались снаряды. Листовки, как снег, с неба, и в листовках обещания сладкой жизни. И мы на загородных полях, за Потьлихой, ранние морозы, закаменевшая земля, неубранные вилки капусты, морковь, которую выковыривали палками. Противотанковые рогатки всюду, железобетонные колпаки, амбразуры в подвалах, патрули — полупустой город. Замерзающие дома, мрущие старухи, холод в квартирах, железные печки, и всю зиму потом темнота, коптилки, лопнувшие трубы водопровода и бледные грязные лица. И все эти годы изнурительная работа грузчиком — дрова, уголь, рулоны бумаги, кирпич, потом слесарные мастерские, потом снег на крышах... Телогрейка, старые штаны, разбитые сапоги. И постоянный голод. Как это говорил тогда Василий на крыше? А, вот как: «Люблю повеселиться, в особенности пожрать!» — все мы тогда любили повеселиться, да веселья не было.

Я смотрел в те годы картину «Серенада Солнечной долины». Я смотрел на экран, как на тот свет, мне не верилось, что люди так могут жить где-нибудь. Потому что каждый раз после кино я шел домой в свою темную грязную конуру.

И вот все те же молодые, веселые ребята, как в кино, ходят, танцуют, пьют. Вот они, сидят на верандах, голые по пояс, откинувшись в шезлонгах, зажмурившись, положив ноги в лыжных ботинках на перила.

Я еще взял сливянки, выпил тут же у бара и вышел. Я стал курить и глядеть кругом и увидел Зиночку. Она была румяная, красивая, и возле нее вертелись уже двое каких-то лыжников.

— Зиночка! — позвал я. — Брось ты их, давай ко мне! Она подбежала.

— Ах, как жалко! — тут же сказала она, переводя дыхание.

— Чего жалко?

— Через полчаса нам уезжать. А вот если бы с лыжами сюда, недели на две, вы бы хотели? Вон, ой, смотрите, как помчались!

Я обернулся и успел заметить, как девушка, оттолкнувшись палками, подпрыгнула, подобрала в воздухе ноги с лыжами, прижала колени к груди и бросилась комком вниз. И так же точно бросился за ней долговязый парень. По очереди стали они потом валиться набок, повернули в вихре снега, не снижая скорости, опять повернули, и сверху их повороты были похожи на снование челноков: вправо-влево.

— Вы умница, — сказал я. — Я тоже стоял тут и думал, вот бы лыжи!

И тут к нам опять подошли те два лыжника в шапочках. Все шапочки их были утыканы значками. Хорошие у них были шапочки, с помпончиками.

— Чего им надо? — спросил я.

— А я знаю? — а сама заулыбалась. — Они такие милые, правда?

Лыжники стянули свои шапочки и подали нам.

— Значков? — догадалась Зиночка.

И тут же порылась в сумке, достала и воткнула каждому по большому значку «Москва».

— О! Мерси! Данке шён! — сказали они разом. — Моску! Дрюжба! Мир!

— Мира захотели, — пробормотал я. — Конечно, мир! На фиг нам война. Они-то небось войны не нюхали...

— Нет, они молоденькие... — ласково сказала Зиночка.

— Ну и ладно, — я на них глянул, как бы мимо них, и они неохотно отошли. — Пойдемте, Зиночка, тяпнем чего-нибудь, а?

— Что вы! Тут воздух какой, пойдемте лучше к нашим!

— Пойдем. И правда, скоро назад...

И мы медленно пошли, разыскивая среди этих цветных спортивных фигур наших туристов. Мы их скоро нашли, да и нетрудно было — одни мы здесь, на вершине, были в пальто и зимних шапках. А через полчаса мы ехали вниз.

Вечером у нас была свободная программа, и мы с Зиночкой сидели в ресторане. Туризм наш кончался, завтра утром надо было уезжать, и мне стало весело. Очень мне хотелось домой. И потом, со мной была Зиночка. Я знал, что это на

один вечер, но мне было все равно, и я опять что-то врал, танцевал с ней, выпивал, слушал джаз, смотрел, как временами гаснет свет, все танцуют чарльстон, джазисты наигрывают что-то роковое, смертное. Сколько лет джазисты всего мира отпевают нас, а жизнь все равно идет. Какая тоска во всех этих джазах, а мы все живем, и ничего, даже весело живем, если вдуматься. И все-таки я завидовал джазистам. Почему я не пианист? — думал я. — Вон как тот маленький, сидит боком к роялю, топает ногой в ритм, весело скалясь, оглядывается на всех, сует свои аккорды, почему я не контрабасист, который, прикрыв глаза, как бы бредет куда-то вдаль, почему я не трубач, вон он как напряжен, вон поддерживает рукой сурдинку, прогнулся назад, труба поблескивает в сумерках, глаза из-под прикрытых век скошены вниз, на танцующих, почему я не саксофонист, и я бы так, вроде бы небрежно разваливаясь как-то, а между тем напряженно, стоял бы на эстраде, надо всеми, ныл бы и ныл свое грустное, синкопировал бы себе потихоньку, слушая других, давая и им прозвучать и опять вступая, сипловато так, как бы издалека?

Мы вышли поздно, и опять ослепительно горели молочные фонари, и сияли витрины, и везде кричали три буквы FIS!, FIS! — приближался там в горах мировой лыжный чемпионат. Мы взяли извозчика на последние деньги и поехали кружиться под звонкое бормотание колокольчика по улицам вверх и вниз. Я сидел, обнимал Зиночку, терся носом о ее меховое пальтишко и думал: «Ах, завтра домой! Хорошо!»

— Зиночка, вам хочется домой?

— Нет, я бы еще пожила тут, — тоненько так, грустно отвечала она.

— Глупая вы, Зиночка, — говорил я и закуривал. — Ну их всех на фиг! У нас дома-то сейчас здорово!

— А тут зато извозчики!

— Ну и что же? Давайте я вас поцелую, а?

— Прошем пана? — извозчик оборачивался, пар валил из него.

— Давай, дуй! — говорил я и крутил пальцем, показывая, чтобы подгонял. И извозчик опять цокал и чмокал и крутил кнутом, и колокольчик заливался, бормотал.

— Вам не холодно? Давайте я вас обниму, — говорил я.

— А вы на Кольском работаете?

— Ну да, там... Далеко.

— Брр! Там снега много!

— А в Томске мало? Дайте лучше губки, а? — Хорошая все-таки была эта Зиночка, и я стал думать, как опять приеду сюда когда-нибудь с лыжами, как буду спускаться с гор, загорать наверху, пить кофе внизу, бродить по улицам, а вечерами танцевать, как я однажды засяду в своей мансарде вечером, найду грустный джазик и буду писать длинное-длинное письмо этой Зиночке или все равно кому и опишу подробно, как я просыпаюсь, выхожу на веранду, приседаю, дышу, нагибаюсь и выпрямляюсь, потом пью кофе, потом беру лыжи и иду в город, к автобусу. Я опишу все это когда-нибудь со всеми подробностями, кого я встречу по дороге и взглянет ли он на меня, улыбнется ли или отведет глаза. И как будет пахнуть в автобусе, как я буду подниматься к фиолетовому небу, как буду потом мчаться, с шипением поворачивая направо и налево, по исполосованному лыжами снегу, как куплю себе оранжевые горные очки, как буду мазаться вазелином и загорать, загорать, чтобы стать в феврале черным, вернее, не черным, а шоколадным. И каким я стану сильным, отчаянным парнем, до того сильным и смелым, что, может быть, если будет надо, и я смогу прыгнуть вниз, на отвесную снежную скалу, как тот партизан-лыжник.

Долго буду я писать, прихлебывая какой-нибудь коньячок, а городок будет весь в лунном свете, и внизу будут всю ночь играть бары, в коридоре у меня будут стоять лыжи, прекрасные слаломные лыжи с врезанными сверху пластмассовыми полосками, со стальными обшивками на полозьях, черные или красные, и пусть тогда тот, кому я напишу, позавидует мне, как я завидовал всем этим счастливым лыжникам.

[1963–1964]

Пропасть



1

День этот, такой страшный, такой необычный день, начался для Агеева великолепно! Два с лишним месяца ездил он с геодезической партией и, возвратившись наконец в Ленинград, прекрасно выспавшись в темном купе, бодрый, свежий, вышел на площадь у Московского вокзала и сразу пошел на стоянку такси.

Конечно, до дому мог бы он доехать и на троллейбусе, но после двух месяцев бродячей жизни, ночевок в душных избах, шалашах, палатках, после запаха портянок и сапог, после грязи, пыли, жары и всевозможных неудобств и лишений, он непременно хотел приехать домой на такси! И когда подошла его очередь, когда шофер, преувеличенно суетясь, помог ему уложить вещи и особенным ленинградским говорком спросил: «Куда изволите?», когда машина мягко и сильно взяла с места, отваливая, прижимая его к спинке сиденья, он вытянул ноги в лыжных брюках, закурил и с наслаждением подумал, что он дома.

И ему сразу, будто давно ждало этого случая, открылось кипение Невского. Город встретил его знакомыми, бордовыми и зелеными, великолепными домами, Аничковым мостом, Казанским собором, тусклым сухим блеском асфальта, сверкающим впереди шпилем Адмиралтейства и левее — тяжелой золотой шапкой Исаакия. Город сразу предстал перед ним во всем своем немислимом великолепии, такой веселый, такой кипящий и нарядный при редком солнечном дне, что Агеев только вздохнул.

А потом он на целый день погрузился в счастье человека, готовящегося к встрече с девушкой. Он переоделся до

ма, и комната поразила его непривычной величиной и гулкостью. Он поехал на Невский, вошел в один из тех огромных прекрасных магазинов, которые всегда волновали его своим шумом, обилием покупателей и товаров, своими запахами кожи, резины, духов, табака, — и долго, тщательно и весело выбирал и покупал новый ремень, новый галстук, четыре пары носков и дюжину платков. Потом он с наслаждением и тревогой стригся и брился, и молодая парикмахерша, будто чувствуя, что у Агеева сегодня особенный день, с отменным удовольствием, с отменной, подчеркнутой медлительностью стригла и брила его и прыскала едким одеколоном.

Побрившись, он внезапно зашел в ресторан и, умиляясь от вида накрахмаленных салфеток, хрусталия, прекрасных старинных ножей и вилок, съел холодный салат, кровотокающий бифштекс, выпил чашку черного кофе. И салат, и бифштекс, и самый ресторан, пустой и сумрачный в этот жаркий день, и официант с пошлым лицом, шелковыми лацканами черного пиджака и вывернутыми ступнями, прихрамывающий, приседающий на ходу, — все это показалось ему восхитительным: давно не видел он ничего подобного и соскучился по хорошей еде.

А дома он опять мылся, гладил брюки, примерял рубашки, несколько раз перевязывал галстук и все больше нравился сам себе, все больше бледнел от волнения, все чаще взглядывал на часы, не в силах уже дожидаться вечера. Наконец он совсем оделся, в последний раз причесал и распустил волосы, в последний раз тщательно осмотрел себя в зеркале и вышел. В прекрасном пиджаке с покатыми плечами и разрезом сзади, в узких, почти обтягивающих икры брюках, в ослепительной рубашке с твердым холодным воротничком, с туго, узко затянутым галстуком, он медленно пошел по улице, отвернув полу пиджака, сунув левую руку в карман брюк, и на него тотчас стали оглядываться, так он был свеж, так молод, такая решительная влюбленность читалась на его загорелом побледневшем лице.

Странен, таинственен становится в конце мая Ленинград! Медленно заходит солнце, долго сияют, вспыхивают окна домов, стекла автомашин, шпили и купола соборов, синееет, густеет Нева, настораживаются сфинксы, — все глохнет, затаивается. Настает ночь, погружаются в тень каналы, смутны тогда силуэты зданий, пронзительны прямые линии проспектов... И только ползают, шипят по площадям тупые поливные машины, прыскают мертвой водой, и засыпает город очарованным сном.

Все изменяется! Все делается огромным, пустынным, призрачным. Небо светоносно, заря перемещается, зловещ пепельный силуэт тяжелых бастионов Петропавловки, мертвенно-бледен Зимний, пуста, громадна Дворцовая площадь, темен Исаакий, а его золотая шапка кажется серебристой. Как бред, как забытье тянется эта ночь. Любви, стихов, молчания требует она.

И на свое несчастье, на свою великую беду, подошел Агеев в такую ночь к Дворцовому мосту. Уже огороженный, уже готовый застыл этот мост, и бежали, прорывались под тревожные свистки опоздавшие с той и этой стороны. И, закинув голову, перелетела мост и остановилась, задыхаясь от испуга и усталости, та, ради которой через полчаса забыл уже все на свете Агеев.

А мост в ту же минуту дрогнул и стал беззвучно разываться, приподниматься, вздыбливая рельсы, вздымая шелковистые, темно-серые ленты асфальта, запрокидывая фонари, столбы с провисающими проводами, открывая под ногами столпившихся черный страшный провал. И вот уже он вздыбился, застыл, как актер, воздевший руки в немом трагическом жесте.

— Как страшно! — прошептала она и тут только перевела дух.

Агеев пристально взглянул на нее и похолодел. Она была так прекрасна в силе и блеске первой молодости, в шуршащем клетчатом платье, крепко перехваченном в талии, с обнаженными руками, которых она стыдилась, коротко постриженная, с сияющими, совершенно счастливыми гла-

зами, что Агеев сразу покорно, с радостной и отчаянной готовностью подумал: «Я погиб!»

Они вместе очнулись от оцепенения, вместе отвернулись наконец от моста, вместе пошли по набережной... Вдруг она замедлила шаги и с недоумением посмотрела на него.

— Куда же мы идем? — спросила она. — Мне совсем в другую сторону!

— Ах, пойдите куда-нибудь! — тотчас властно и радостно сказал он, зная уже, что она ему не откажет. — Давайте гулять!

— Да? — наивно отозвалась она и, быстро отвернувшись, перегнулась через парапет, стала вглядываться в воду. Агеев вдруг с восторгом увидел, как краснеют ее уши, понял, что она совсем еще девочка и не знает, как вести себя, что говорить, на что решиться и что ей так же, как и ему, хочется познакомиться с ним, хочется погулять, но она не знает, удобно ли это.

— Как вас звать? — спросил он.

— Леночка, — тоненько сказала она, все еще глядя на воду.

— Ну, пойдите, Леночка! — сказал он, взял ее за руку, и она послушно, робко пошла с ним мелкими шажками в своем тугом шелестящем, наверное, первом шелковом платье. Они свернули на Зимнюю канавку и опять остановились. Здесь было темно, чернели ровные, без украшений стены, поблескивали окна, зыбко струилась вода, а сзади светился пролет моста и арка перехода в Эрмитаж.

— Господи, что подумает мама! — сказала Леночка и с мольбой посмотрела на Агеева. И сейчас же застыдилась, заторопилась, пошла, постукивая каблучками по каменным плитам, — так понравился ей, так поразил ее Агеев, который в ту ночь был особенно хорош и молод, особенно решителен, взволнован и бледен той особенной бледностью, которую вызывает только любовь, только страсть и гибель!

Он догнал ее и снова взял за руку. Рука ее стала дрожать, а у него пересыхали губы, кружилась голова, и он уже ничего не чувствовал, кроме одного, что он погиб, что это невозможно, что этому никто не поверит, если рассказать. Они шли каналами, заворачивали, возвращались, переходили пу-

стынную светлую Дворцовую площадь, подходили к Исаакию, в вышине над которым бледно сияла, горела громада купола, стлыли темные страшные ангелы. Им встречались такие же, как и они, молчаливые пары, но они уже не видели ничего — начиналось между ними то, чему нет названия, что сотрясает все тело безумием, что может в один день перевернуть жизнь. Разговорились по-настоящему они только под утро и конечно же говорили о своей жизни, о своих мечтах, поражаясь тому, что они встретились, и ужасаясь при мысли, что могли никогда не встретиться.

А расстались они на рассвете. Она жила возле Таврического сада, и Агеев проводил ее до самого дома, до старинных дубовых дверей на втором этаже. Горели по обеим сторонам площадки цветные витражи, бросали странный розово-лиловый свет на лицо Леночки. И она показалась ему от этого незнакомой и печальной. Она сказала ему на прощание:

— Вы знаете, я боюсь... Я боюсь, у меня никогда больше не повторится такая ночь! Я так счастлива, что почти больна, и чувствую, что должна расплатиться за это... Это — как перед пропастью!

Он хотел поцеловать ее, но не осмелился, прикоснулся только сухими губами к ее руке. Он спустился вниз, постоял у подъезда и пошел домой, глядя себе под ноги, чувствуя одну только легкую печаль. Они условились встретиться в первую субботу, а через день он внезапно уехал в командировку. Уже собравшись, перед тем как ехать на вокзал, он имел время зайти к ней, предупредить, узнать адрес, но не пошел... Не пошел нарочно из-за какого-то мгновенного упрямства, с едкой радостью думая о том, как она огорчится, отчается, когда он не придет в субботу, когда пропадет, исчезнет для нее на много дней, и каким зато счастливым будет их свидание, когда, вернувшись, он придет к ней.

Как жалел он потом об этом! В какой сладкой тоске и муке прошли для него эти два месяца! Как часто просыпался он среди ночи в какой-нибудь душной избе и, не в силах больше лежать, вставал и выходил на поросший мелкой курчавой травой двор. Овцы вскидывались и стучали копытами по убитой земле, пока он пробирался сеньями. А на дворе

его встречала все та же таинственная, могучая красота ночных лугов, наливающихся ржей, росы на огородах, крепкого томительного запаха холодной картофельной ботвы, пыльных широких дорог, тянующихся, как ему казалось, через всю Россию... И присев где-нибудь на бревнах, чувствуя ноющую усталость во всем теле, натруженном за день, он курил, думал о Леночке, вспоминал ее голос, ее слова, ее глаза и руки, ночные здания, темноту и свет, и Неву, и свое безумие — дух захватывало у него, грудь стеснялась, а на глазах выступали слезы, и он тогда слабо и небрежно усмехался, как бы стыдясь перед кем-то этих слез.

И вот наконец он дома, в Ленинграде, и еще не кончились белые ночи, теплота камней, прозрачность и остекленелость неба. И целый день наслаждался он мыслью о свидании, нарочно ни к кому не заходил, никому не звонил, боясь растратить то великое, что узнал, накопил он в себе за эти два месяца. Только ей одной хотел он рассказать о туманных рассветах, о деревьях, о запахе жилья, о бесконечных русских дорогах, о полыхающих зарницах, о страшных лиловых грозах... Для нее он так тщательно одевался, наряжался сегодня, все больше возбуждался, холодел и горел, воображая ее прощение, ее доверчивость и любовь.

3

Он шел теми местами, где они гуляли в ту ночь. Такие привычные раньше, теперь они потрясали его. Он прошел мимо Манежа, мимо Исаакия, Адмиралтейства, мимо арки Главного штаба... Он прошел по Мойке, впервые поражаясь гулкой темноте под мостами, миновал сумрачный Инженерный замок и вышел на набережную Фонтанки. Слева был Летний сад, темнела его пышная летняя зелень, сквозь которую просвечивали бледно-желтые мраморные статуи. Впереди — на сиренево-светлой воде Невы — смутло и четко рисовался Прачешный мост. Еще дальше была теплая пустота, сизые, плоские очертания противоположного берега. И он остановился, задумался над бегущей прозрачной водой Фонтанки, над вытянутыми, прижатыми ко дну ржавыми водорослями. Потом свернул в переулок.

Какой это был странный переулочек! И странно еще было то, что Агеев раньше никогда не бывал здесь. Высокие серые дома почти смыкались наверху, и совсем мало света проходило вниз. Прохожих не было. Почти ужасная прямая линия панели переходила в смутно-сизую даль перспективы. Это безлюдье, эта полутемнота, предвещавшая долгую стеклянную застылость ночи, эти окна наверху, блестящие мертво и плоско, — все это молчаливое, сумрачное, затаившееся неприятно поразило Агеева.

Внезапно Агеев увидел пьяного. Он сидел, привалясь спиной к водосточной трубе, упираясь руками в землю и свесив голову. Ничего решительно не было ужасного в его фигуре — обычный пьяный, каких много бывает в большом городе, и все-таки Агеев вздрогнул почему-то. Пьяный поднял лицо и тупо, пристально, с пьяной упорностью и бессмысленностью проводил глазами Агеева. А через минуту Агеев услышал вдруг у себя за спиной шаркающие, припадающие, слабые шаги. Агеев нервно повернул голову и снова ужаснулся, сам не зная чему: пьяный теперь шел за ним в двух шагах, все так же тупо и бессмысленно глядя ему в спину. Некоторое время Агеев напряженно прислушивался, ожидая, что пьяный заговорит с ним, попросит папиросу или денег на выпивку... Но пьяный молчал, только слышно было, как тяжело он дышит, как торопится и шаркает ногами. Агеев пошел медленнее, думая, что пьяный обгонит его и пойдет своей дорогой. Тотчас, как будто благодарно, замедлил шаги и пьяный. Из всех сил стараясь казаться равнодушным, гуляющим, не замечающим преследования, Агеев перешел на другую сторону и прислушался: пьяный шаркал за ним.

Тогда Агеев остановился и повернулся к пьяному. Тот тоже остановился, тяжело дыша, помаргивая, клонясь и приседая на слабых ногах. Агеев близко рассмотрел его лицо. Оно было отвратительно своей полной бессмысленностью, потасканностью. Оно было несчастно и как-то мучительно, тупо и упрямо сурово. Агеев быстро оглянулся: ни впереди, ни сзади не было ни души, и снова странной показалась ему эта безлюдность в такой ранний еще час, эта серая безликость,

мертвые окна, чистые панели с черными пятнами луж от недавнего дождя.

— Ну? — грубо спросил Агеев. — Чего надо?

Пьяный молчал. Но быстрая, совершенно трезвая, насмешливая улыбка мелькнула вдруг у него на лице и в глазах. Смущенный Агеев отвернулся и пошел, уже по-настоящему испуганный, стремясь поскорее выбраться из этого узкого прямого коридора, и по-прежнему слышал, как задыхается пьяный, чувствовал спиной его упорный взгляд. Все это начинало походить на дурной сон, на кошмар... Что ему нужно? Почему так упорно преследует он его? И почему так трезво, с такой осмысленной хитростью улыбается? Почему так дик, угрюм и пустынен этот переулочек? Что за странная минута?

Агеев шел, все более нервничая, злясь, уже боясь оглянуться, боясь увидеть еще раз потасканное, ничего не выражающее, но вместе с тем нагло-вещное лицо. Он переходил на другую сторону, приостанавливался, торопился, и точно так же переходил, приостанавливался и задыхался, торопился за ним пьяный.

Наконец стали попадаться прохожие, стал слышен шум машин и трамваев на Литейном, и свистящее дыхание пьяного за спиной у Агеева прекратилось. Агеев облегченно вздохнул, ослабил напряженную спину и оглянулся: пьяного нигде не было видно. Агеев вышел даже на середину мостовой, чтобы посмотреть назад — пьяный исчез!

В глубокой задумчивости пересек Агеев Литейный и пошел по одной из трех прекрасных улиц со старинными особняками, которые ведут к Таврическому саду. Он скоро успокоился и забыл обо всем, и опять почувствовал радостный озноб при мысли о Леночке. Опять нахлынули на него воспоминания о далекой майской ночи и о своем одиноком двухмесячном житье, о своей сладкой тоске, которая особенно остра была при виде шафранных летних закатов и по ночам. И вот он подошел уже к ее дому, остановился и закурил, со страхом и любовью глядя на старинный подъезд. Ему казалось, что она должна вот-вот выйти, вскрикнуть, увидев его, кинуться ему навстречу или притвориться рассеянной,

равнодушной, спешащей куда-то. Что она? Как? Думает ли о нем, ждет ли его так же, как он ее? Или забыла? Или до сих пор не простила ему того, что не пришел он в ту далекую субботу?

Он не мог больше стоять и курить, бросил папиросу, отворил тяжелую дверь, вошел в прохладную темноту подъезда, стал подниматься по лестнице, прислушиваясь, не хлопнет ли дверь на втором этаже, и ничего не слыша, кроме стука своего сердца. Вот опять знакомая площадка, которую он так часто воображал, вот эти прекрасные витражи, льющие сумрачный гранатово-лилово-желтый свет, вот огромная дверь ее квартиры... И бледнея, сотрясаясь от стука сердца, чувствуя слабость и холод в животе и ногах, Агеев позвонил.

Ему долго не открывали. Переведя дух, он позвонил еще и слышал, как в глубине квартиры звякнул звонок. Но тишина была ему ответом, загадочно и сурово молчала тяжелая двустворчатая старинная дубовая дверь. Наконец раздались медленные шаги, дверь открылась, и первое, что он увидел — была крышка гроба темно-бордового цвета с серебристыми ромбами по бокам и в головах, на широком тупом конце, прислоненная к стене в коридоре. И еще что-то ужасное, нечеловеческое было в этой квартире: шепот и шаги в глубине ее, крепкий еловый, лекарственный и еще...¹

[50-е гг.]

¹ Рукопись обрывается; конец рассказа не сохранился.

Наброски рассказов



ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН

Пашка точит прокладочные кольца. Работа неинтересная, легкая, поэтому он может размышлять на досуге о чем угодно. Под равномерное гудение своего станка, под смачное шлепанье шкива и тонкий визг резца Пашка думает о том, что через два дня у него большая получка и он купит себе дорогую гитару. Потом надо будет купить галстук и билеты в консерваторию. В консерваторию он хотел сходить давно, но не было галстука, а без галстука, да тем более с девушкой, Пашка идти не решался. Галстук же он купит такой, как у Кузьмичева, — с розовыми переливающимися разводами.

Пашке исполнилось недавно пятнадцать лет. Вырос он в детдоме, год назад окончил ремесленное училище и работает теперь токарем по четвертому разряду. Живет он в общезитии и вечерами играет на гитаре. Гитара у него фабричная, дешевая, семиструнная, но играет он на ней хорошо. Правда, не всегда можно играть. Тогда Пашка вздыхает, ложится на кровать и читает. Читать он тоже любит.

Весной ему дали билет в Кремль. Он постригся, отмыл руки и пошел. В Георгиевском зале было так ослепительно светло, так много было девочек в нарядных платьях, в белых фартуках, с белыми воздушными бантами в волосах, что Пашка струсил и прижался к стене. Так бы он и простоял весь вечер, переминаясь с ноги на ногу, в каком-нибудь углу, но мимо пробежал какой-то мужчина с жирным бледным, неестественно радостным лицом. «В круг, в круг», — кричал он высоким голосом и хватал без разбора девочек и ребят за руки, толкал в середину. Он схватил и Пашку, Пашка моргнул, вылетел на середину зала, и тотчас его перехватили, поста-

вили в ряд, и в правой руке он ощутил чью-то такую нежную и слабую руку, что покраснел до испарины. Он скосил глаза и увидел рядом с собой девочку. Она была ослепительна и прелестна. Щеки ее были румяны, глаза сияли, волосы дымились от света, и в волосах был прозрачный бант. Она давно уже танцевала и теперь запыхалась, но хотела танцевать еще и еще.

Заиграла легкая головокружительная музыка, весь круг, все это враз двинулось, с гулом шаркающих ног, со смехом, со счастливыми лицами, в одну сторону, человек с жирным лицом забегал по середине круга и кричал сильнее, какая-то волна восторга, жара и света переполняла Пашку.

— Правда, замечательно? — крикнула ему соседка, заглянув в глаза своими сумрачно-счастливыми, с тяжелыми веками, необыкновенной глубины глазами. Пашка только кивнул и задержал дыхание. Он не мог ничего сказать.

Потом все кончилось, и Пашка опять стоял у стены. Горе охватило его, оттого что все кончилось и его прекрасная соседка куда-то ушла, исчезла, убежала. Он чуть не заплакал.

— Что же вы стоите? — вдруг спросили его. Он повернулся и похолодел: перед ним стояла давешняя его соседка. — У вас нет здесь никого? — участливо спросила она.

Пашка мрачно кивнул, сдерживая слезы.

— Девочки, идите, я потом, — закричала тогда она, повернувшись к кому-то. — Пойдемте со мной, хотите?

Пашка совершенно ступешевался, а она взяла его за руку.

— Я тут, знаете, который раз... Я тут пятый раз в жизни и все-все знаю.

И она его потащила в какую-то толпу, в толчею, там была какая-то очередь, писк, смех, все теснились и во что-то играли. Потом они пошли по залам, потом поднялись в сумрачные сводчатые комнаты Грановитой палаты...

АНГЕЛ НЕБЕСНЫЙ

Станный, странный человек был П.!

Ну начать хотя бы с того, что, дожив почти до тридцати семи лет, П. ни разу не выпил, ни разу не выкурил папи-

роски. Это ли не странность в наш быстрый и развращенный век?

Вторая странность П. заключалась в том, что как он ни старался, а не мог заставить себя хоть раз погоревать, пожалеть, слезу выдавить ни по ком из умерших своих родственников и сослуживцев. Вел он себя в таких случаях как и подобало: надевал темный костюм и темный галстук (черных у него не бывало), делал скорбное лицо, даже платок иной раз прикладывал к глазам и сморкался, в это время даже, случалось, и плечо подставлял под сырой, как правило, и тяжелый гроб, а сам думал в это время черт знает о чем...

МОЛОДОЙ ИНЖЕНЕР-ХИМИК САША СКАЧКОВ

Молодой инженер-химик Саша Скачков волновался необычайно: он ехал в Париж. Упоительны были эти последние перед отъездом дни в Москве! Была весна, а точнее, стоял на дворе март, 6 число, и Москва, как всегда, была погружена в праздничный <...> Кондитерские, магазины на улице Горького, ЦУМ и ГУМ, цветочные магазины, киоски и лотки, Столешников переулочек бралась с бою. Вся Грузия, вся ее мимоза переселилась на Центральный рынок.

Саша был молод, не женат, весеннее ликование не могло, значит, не коснуться и его, но главным теперь был для него Париж. Выйдя накануне отъезда ровно в полдень из здания Госбанка на Неглинной, он, не медля ни мгновения, устремился в ресторан «Арагат» на Неглинной же. Раздевшись в гардеробной, раздвинувши нежно, музыкально защелкавший занавес, он вошел в зал и чуть не улыбнулся от радости — зал был почти пуст в это время, чист и напоен смешанными запахами кавказской кухни и армянского коньяка.

Быстро сев за свободный столик у окна, он выложил на ослепительную, туго выглаженную скатерть сигареты и спички, заказав скоро подошедшему официанту графинчик коньяку, бутылку «джермука», салат из свежих огурцов, потом (подумав) салат из помидоров, порцию зернистой икры, суп-поти и цыпленка табака, подождал, пока официант поставил перед ним девственно-чистую тяжелую пепельницу, мелкую тарелку, положил нож, ложку и вилку и удалил-

ся, — Саша придвинул к себе пепельницу, жадно закурил и, воровато оглядевшись — не смотрит ли кто на него, — полез в карман за бумажником.

Сначала он достал свой туристский красный паспорт с золотым гербом на твердой негнущейся обложке, потом стал медленно перелистывать гладкие и тоже твердые, как новенькая сторублевка, страницы и узнал из паспорта, что зовут его Александр Иванович Скачков, что означенный Скачков является гражданином СССР и имеет жительство в самом лучшем городе на свете — Москве.

Пересчитав затем все лиловые визы, печати и штампы и подписи, а их было немало, Саша паспорт убрал и полез в другое отделение бумажника — за валютой, за франками. Разного достоинства купюры были непривычно большого размера и необычайно красочны. Все они были захватанными, тем не менее смотреть на них можно было бесконечно. Замки, реки и долины были изображены там, виноградники и холмы, и классически смотрели из овальных рамок портреты Мольера, Бомарше, Расина и прочих гениев, выгравированные тончайшей иглой!

Официант принес коньяк, «джермук», икру и салаты, и Саша принялся за обед. После обеда ему следовало ехать знакомиться с составом туристской группы и за инструкциями. Саша поехал, с группой познакомился, и так как он только что выпил графинчик и хорошо пообедал, а завтра его ждал Париж, туристы в группе показались ему людьми симпатичными, а некоторые были такие миляги и остряки, что сразу стало ясно: в Париже скучать не придется. Не только Саша, но и прочие, поприглядевшись друг к другу, обрадовались чрезвычайно, начали хохотать самой невинной шутке и над самым деловым вопросом (выставляется ли там, например, по ночам обувь за дверь?), обнялись, так сказать, духовно и чуть было тут же не спели «Я люблю тебя, жизнь» и «Сквозь...», но, подумавши, отложили до лучших времен, то есть до Парижа. <...>

Новое белье и ботинки, пальто, шляпа, галстук, чемодан — все самой последней московской моды! — были купле-

ны задолго до поездки и любовно лелеемы — обновиться все-
му этому суждено было в Париже.

Но все это было вчера и теперь осталось позади, и Саша, страшно удивленный тем, что московские таможенники, не заинтересовались содержимым туристских чемоданов, успевши уже позавтракать традиционным аэрофлотовским рахитичным цыпленком с недоваренным рисом и запив завтрак толстодонным овальным стаканом красного вина, сидел, с необычайным удовольствием курил — сигаретами он запасся московскими, чтобы не тратить в Париже на курево драгоценную валюту, — и предавался мечтам о парижанках. Подумать только, парижанки!

Его так возбуждала мысль о парижанках, что он даже и внимания не обратил на стюардесс — этих лакомых кусочков, этих образчиков красоты, элегантности решительно для всех советских писателей, ибо решительно ни один писатель не обошел их своим восторженным вниманием. Правда, Саша, к его сожалению, советских писателей не читал, равно как и классических, а читал он только справочники по химии, химические журналы и газеты «Советский спорт»...

НЕТ, БЫВАЕТ ВСЕ-ТАКИ СЧАСТЬЕ...

Нет, бывает, бывает все-таки счастье на свете! Шестнадцатого сентября, после сильного дождя, промокнув дорогой, простудившись еще накануне, шмыгая носом и морщась от головной боли, стоял Федор Конь, аспирант-историк, на подмосковной платформе в ожидании электрички.

Думать ему ни о чем не хотелось и в Москву ехать не хотелось, но он все-таки собирался ехать, горько нужно было, а думал, как и все последние три месяца, преимущественно о двух вещах: о своей жене, которая его бросила, и о своей диссертации «Роль случайности в истории русской цивилизации».

Случай, и, как теперь думал Федор, роковой случай, свел его с его будущей женой. Они ехали в метро в одном полупустом вагоне, сидели друг против друга и друг друга не замечали, и так бы и вышли из вагона на разных остановках, если бы у будущей жены Федора (как потом выяснилось)

не защеколало в носу. Она сморщилась, собираясь чихнуть, быстро выхватила платок, щелкнула сумочкой, затрясла кистью, держа платок за уголышек, расправляя, разворачивая его — и не удержала. Платок упал, Федор машинально вскочил, нагнулся за платком и сильно ударился лбом о темя нагнувшейся же своей будущей жены.

Удар был так силен, что у Федора слезы на глазах выступили, а о ней уж и говорить нечего было! Схватившись за голову, она даже разогнуться первое время не могла, потом ей стало нехорошо, она побледнела и, когда поезд начал притормаживать, встала, чтобы выйти на первой же станции, подняться на улицу, на воздух...

Федор поторопился поддержать ее под локоть, она позволила довести себя до эскалатора, но, ухватившись за поручень, руку у Федора вырвала. Федор не отставал. Стоя на ступеньку выше, склонившись над ней, он поглаживал ее плечо и бормотал: «Ради бога! Простите, ради бога! Я сейчас такси поймаю... Может быть, в клинику?»

Наклоняясь над ней, он близко видел чистый ее пробор, и завитки волос на нежной шее, и чистые ушки, шел от нее одуряющий запах чистоты, теплой кофты, волос и туалетного мыла.

На улице, прислоняясь к колонне, она впервые взглянула на Федора мокрыми глазами, страдальчески нахмурилась и попросила:

— В самом деле, поймайте такси, мне что-то нехорошо... Долго и безуспешно топтался Федор на краю тротуара, поднимая и опуская руку с торчком стоявшим большим пальцем: все такси были заняты.

— Господи! — сказала она, когда удрученный Федор вернулся ни с чем. — Хоть бы посидеть где-нибудь...

И беспомощно огляделась. Огляделся и Федор и вдруг увидел вывеску кафе наискосок на другой стороне улицы.

— Зайдемте в кафе! — обрадовался он. — Вы там посидите, а я в аптеку сбегая, может быть, анальгин?

Пошли в кафе, сели за чистый столик у окна. Федор уже и говорить не мог, смотрел только на нее, жалостливо шевелил губами. Она снова щелкнула сумочкой, достала платок,

внимательно осмотрела его, — не запачкался ли, — и крепко вытерла глаза.

— Не надо в аптеку! — решительно сказала она, снова щелкнула сумочкой и закурила. Зажигалка была газовая, дорогая, сигареты — американские.

— Тогда... тогда давайте выпьем коньяку? Болит голова? Я не пью, правда, но все говорят, первое дело от головы, когда выпьешь.

— О-о! О! Господи! — испуганно произнесла она, щупая себе темя и взглядывая на Федора расширенными глазами. — Ну и двинули меня вы... Как хоть вас звать?

— Федор Конь.

— Как? Как? Конь? — она в изумлении, забыв выпустить дым, поглядела на него, потом закашлялась, захохотала и, сквозь смех, сказала: — Какое имя! Это невозможно! Интересно, способна ли эта лошадь на что-нибудь еще, кроме как лягаться? Это я по привычке, простите...

— Я знаю английский, — пробормотал Федор и багрово покраснел.

— Ох, простите, я не хотела вас обидеть.

— Одну минутку... — пробормотал Федор и окликнул официантку...

ДЕВЯТЫЙ КРУГ

— Ну, ну, еще, а-а-а-и-и-и, повыше, повыше, а-ах, а-ах, давай, давай!.. — вопил Сергеев и стонал, хрюкал, фыркал, взвизгивал на полке, выгибал спину, перекачивал голову и возил красными ошпаренными ногами, а Зойка, присев от жара на корточки, стараясь пореже дышать, хлестала и хлестала его до тех пор, пока Сергеев, ухнув, вдруг не скатился с полка.

Чувствуя, как трещат от жара волосы на голове, ничего не видя сквозь залитые потом ресницы, Сергеев нашарил дверь, саданул в нее бедром, проскочил предбанник, пахнувший сажей, пробежал, балансируя, по приятно гладким, мокрым мосткам и нырнул.

Вода показалась ему совершенно теплой, когда он нырнул, и воздух, который он, вынырнув, жадно схватил откры-

тым ртом, показался ему горячим, как в жаркий июльский полдень, хотя уже совсем вечерело и было прохладно. Ему живо вспомнился жгучий итальянский день и Средиземное море возле Капри, где он однажды купался. <...>

Выехал из Москвы он еще вчера вечером, как всегда поругавшись перед этим с женой. Обычная история — жена, для которой он когда-то был, по ее словам, «все», теперь глядела на него со злобой, раскуривала трясущимися руками сигарету и говорила, отвратительно всхлипывая, что он загубил ее жизнь, что он никогда сам не возьмет ребенка из детского сада, а взваливает это на нее, что они не живут, «как люди», что «настоящий отец» поехал бы с ребенком и с ней к знакомым на дачу и что, она уверена, ни на какую рыбалку он не поедет, а поедет к какой-нибудь «твари»...

Сергеев же, зная, что ехать ему предстоит всю ночь, кипятил себе уже третью чашку кофе и, давно взяв себе насмешливый тон в ссорах с женой, только зло шурил глаза и говорил обстоятельно:

— Вот когда ребенок вырастет, будет ездить со мной на рыбалку. Если, конечно, будет достоин этого священного занятия...

НАВСЕГДА-НАВСЕГДА

Стояла на свете маленькая деревенская церковь. Видна она была далеко окрест, может быть, на десятки километров, потому что поставили ее триста лет назад над извилистой рекой, на холме.

И было прелестное ослепительное утро середины марта, когда снег везде подался, осел к земле, но казался еще более и уплотнился на полях, — и только обочины дорог были уже изрыты, изрезаны солнцем.

На осины на старом кладбище у церкви больно было смотреть, так туги и зелены они стали. И особенно почему-то черны были грачиные гнезда в высоте, в уже розовой паутине березовых крон.

Больно было смотреть и на церковь, на ее розовую белизну, на луковку, на новые зеленые скаты крыши, с которых снег уже сошел.

И на свежую, пустую еще могилу, вокруг которой глыбам была навалена оранжевая песчаная земля, и даже следы от нее по белой тропке были оранжевые.

А следы эти вели к лавочке поодаль у безымянного снежного холмика. На лавочке сидели, распахнув телогрейки и отдыхая под солнышком, два друга — Егор и Вантяй, — и мысли у них были сонные и приятные.

Еще позавчера была получена к вечеру из Москвы телеграмма с просьбой приготовить могилу для артистки, неизвестно почему пожелавшей лежать на кладбище именно в их деревне. Бригадир, сходя к попу, определил, где быть могиле, и нарядил на это дело Егора с Вантеем.

И вчера с утра они пришли на указанное попом место, разгребли снег и разложили костер. Земля после страшной зимы так промерзла, что дня не хватило и пришлось поддерживать огонь всю ночь, а с утра — рыть.

А теперь им хотелось спать. Они и ушли бы, но их поддерживала приятная мысль о том, сколько им обломится за трудовые успехи, и потом еще — как зайдут они к Клаве в магазин и возьмут чего надо, а потом, может, еще добавят и еще...

1978

СМЕРТЬ, ГДЕ ЖАЛО ТВОЕ?

В просторной пустой избе лесного объездчика умирал Николай Михайлович Акользин — бывший кандидат и доцент, бывший москвич и теперешний лесничий, не успевший даже вступить в должность. И эта изба, люди, жившие в ней, лес за окном, частые дожди, и ветер, и его смерть казались временами Акользину чем-то неестественным, диким, ненастоящим, хотя как раз все было вполне естественно, закономерно и вовсе не дико.

Приехал в лесничество Акользин месяц назад. Он был болен давно, но на пароходе ему стало так худо, что он даже заплакал раз, когда никого не было в каюте. Предсмертная тоска впервые охватила его.

А тот день, когда Акользин, с самого утра сидевший на палубе и жадно смотревший по сторонам, уже подъез-

жал, — тот день был пасмурен. Низкие равномерные облака обложили все небо, нигде не было просвета, лес по обеим сторонам реки был красно-темен, а деревни — сизы. Порывами налетал ветер с дождем, над рекой повисала водяная пыль, ивы на берегу кланялись, встряхивались, выворачивали листья и становились серебряными.

Была середина сентября. Начал облетать лист, березы сыпали желтым, везде на лугах был поздний сенокос, и маленькие стожки уже стояли на пожнях. И чем дальше на север, тем чаще попадались заколоченные, покосившиеся, обомшелые по крышам деревянные церкви. «Наконец-то! — со слабым восторгом думал Акользин. — Наконец я вижу это! Эти церкви — как музыкальный грустный звук севера. Ах! Куда все-таки меня занесло!»

Есть что-то странное, затягивающее и щемящее в осенних поездках по глухим рекам. Моросит дождь, шаркает по палубам ветер, река как-то темна, оголена и особенно широка. Плывет навстречу редкий молевой лес, глухо стучается о пароход, бревна лениво выворачиваются из-под бортов и уходят назад. А пароход пуст, почти безлюден.

Пристаней давно нет. Пароход дает на плесах длинный свисток, круто разворачивается и пристает против течения к берегу. На берегу, в тех местах, куда, налезая носом на гибкие ивы и кочки, пристает пароход, — жгут костры, молча стоят и сидят ребятишки, бабы с ребятами на руках. С парохода ссовывают длинную доску-трап, сходят немногие пассажиры, еще реже входят... Пахнет горечью осенней земли, корой ивы, речной сыростью, дымом от костра. Стоят наверху большие северные избы с высокими поветями, с маленькими окошками, со «съездами». Голоса слышны громко, речь странна и чудна для приезжего.

День сменяет ночь, еще более сырая, холодная и туманная. Пароход идет медленнее, осторожнее, посвистывает чаще. Загораются красные и белые огни на бакенах и створных знаках, берега далеки, темны и безжизненны. И особенно уютным кажется в такие ночи пароход, его огни, его шипение и постукивание, его гулкие долгие свистки, от которых по телу проходит внезапный озноб. Хороши встречные

буксиры, поплеывающие паром, хороши длинные темные баржи или плоты с шалашами, с кострами и тенями людей возле них. Хорошо это долгое задумчивое, спокойное плавание, хорошо пахнет дровами и теплом возле машинного отделения, особенно сладким и теплым бывает пар, пробивающийся из какой-нибудь трубы на палубу, и совсем не хочется уходить вниз, в каюту, а хочется сидеть всю ночь, пригревшись возле трубы, закутавшись в пальто, дышать чистым воздухом и думать о своей и чужой жизни.

И Акользин, видевший все это впервые в жизни, горько жалел, что не знал этого раньше. Что-то сдвигалось в нем, открывалась какая-то пустота, в которую он никогда не заглядывал раньше, и странные мысли о времени, о жизни появлялись у него в те короткие минуты, когда пароход останавливался, замолкал, и такой глубокой становилась тишина, так странно звучали голоса, так все жило и пахло, что ему становилось не по себе.

Он вспоминал свою жизнь и не только свою, но и жизнь страны — мысленно он быстро пробежал исторические повороты, революции, войны, и ему все это естественно и всегда казалось, что ничего важнее этого быть не может. Раньше он всегда волновался, читая газеты, следя за политикой, представляя себе те катаклические взрывы социального, которые происходили на земле. Он любил думать и говорить исторически, то есть пользоваться широкими категориями. Он слушал и сам говорил: «народ», «борьба», «революция», «пафос», и будто неведомая восторженная сила поднимала его высоко над земным шаром — он видел страны и революции, он видел бесчисленное колыхание народных масс, охваченных пафосом стремления к лучшей жизни.

И когда он жил в Москве, в своей хорошей квартире, когда он слышал по утрам радио, читал газеты, читал лекции студентам, говорил о будущем переустройстве земли не только в социальном, но и в физическом смысле, он свято верил во все это. Мало того, он совершенно отчетливо представлял все это.

А теперь что-то новое вдруг открылось в нем и удивляло его самого. Он смотрел на сизые избы, на людей, на реку,

на лес, он пристально вглядывался в мельчайшие подробности и думал со смутным и странным ощущением, что, может быть, и важно то, чем он жил раньше и чем жил его круг людей, его общество, но что все это как-то вдруг отходит на задний план перед тем, что его окружило и полонило сейчас.

Мысли эти смущали его и раньше, когда он читал книги. Он читал роман о жизни народа, и как бы жил той эпопеей, которую разворачивал перед ним настоящий художник, ему казалось, что все, что он читал до этого, — все это чепуха и что вот наконец-то он добрался до самой сути, до самого главного, и это главное есть жизнь нации, жизнь страны в ее необычном развитии. Он даже как-то сам вырастал вместе с художником, он сам становился мудрым судьей народа и себя и рассматривал, и изучал свою жизнь с совершенно особенной, бесконечно важной точки зрения.

Но через некоторое время ему попался крошечный рассказ о какой-нибудь девчонке, и он вдруг с похолодевшим лицом чувствовал, что жизнь народов и вообще все на свете ничего не стоит по сравнению с одним только взглядом, одним вздохом этой девчонки. И что если и стоит жить на свете и что-то делать, чему-то служить, то только этой девчонке с таким неистово сияющим взглядом.

Что же такое жизнь? Где она и в чем ее главное проявление? Такие вопросы доставляли ему всегда странное ощущение приятной тайны.

СТАРЫЙ ДОМ

1

Дом этот выстроил композитор.

Когда прошла черед его лет, когда круг жизни замкнулся и он узнал все, что положено было узнать ему, — счастливейшему и талантливейшему из смертных, — когда сердце его, утомленное овациями Вены, Лондона, Парижа и Петербурга, блеском концертных залов, любовью и обожанием лучших, прекраснейших женщин мира, когда усталое сердце его загорелось ровным огнем самой великой и самой нежной любви к родине, к далеким годам детства, к бесконеч-

ным печальным равнинам, — он затосковал, и, поражаясь и радуясь этой новой любви, он выбрал место на берегу Оки и стал строить себе дом.

Сказано в старой книге: «Выбери себе место на земле — ничего, если место это не будет дивным! Выстрой себе жилище и потрудись весь остаток жизни своей над украшением земли. Так создается красота мира!»

Гол, уныл и дик был холм на берегу реки, когда начали возить туда белый, сахаристый камень и оранжевый, звонко-каленный кирпич, желтые сосновые и палевые дубовые и кедровые бревна, гибкие доски, распространявшие запах скипидара и лаванды, легкую красную, с радужно-шоколадным отливом черепицу, пахнувшую почему-то тонкой сухой пылью аравийских пустынь.

Гол и сух был холм с едва заметными остатками древнейшего городища, когда пришли туда плотники, и столяры, и каменщики, и печники, и много разного рабочего люда из окрестных деревень, когда поставили они там шалаши и жгли вечерами маленькие экономные костры, и голубой дым, будто вновь ожила глубокая древность, начал тонкими струйками валиться вниз, в сторону реки, в сторону долгих закатов, в сторону прекрасных сизеющих заречных далей.

И все время жил в шалаше, ездил на далекую станцию, обгорал, рыжел на солнце хозяин будущего дома. Ни одного дня не провел он в праздности, совсем забыл музыку, рассылая по всем губерниям письма с просьбой прислать семян и саженцев, еще камня, еще лесу, ругаясь с подрядчиком, вычерчивая, сидя на корячках, мотая головой от дыма костра, протирая покрасневшие глаза, все новые и новые эскизы комнат, фасада и крыши.

Всю весну сажали лес на холме: ольховый, липовый, сосновый, березовый. Сажали яблони, сажали проклюнувшиеся желуди. А осенью, наконец, стали прибывать саженцы, с обязательными рогожей корнями, с уцелевшими на тонких прутиках последними желтыми листьями. Всю осень шли посадки, доделывался, украшался и топился новый, прекрасный дом, еще пахнувший досками, стружкой, глиной и дымом, еще сырой, необычно гулкий, пустой, необжитой, но

уже смотревший в багряные дали большими своими окнами, уже заманчиво белеющий издалека, краснеющий крутой черепичной крышей, уже сиявший светом далеко за полночь.

По морозцу, по хрусткой твердой дороге приехало духовенство на освящение, приехали певчие с сизыми носами, масляными волосами, с голодными и жаждущими глазами, приехали гости, и целый день с утра отворялись двери, снимались в передней пахучие шубы, накрывался в столовой стол, варили и жарили на кухне. А потом, в ранних ноябрьских сумерках, зажглись лампы и свечи, запахло по комнатам сладким ладаном, откашлялся огромный пучеглазый дьякон, гмыкнул несколько раз, пробуя октаву, — и началось великолепие богослужения, полились дивные древние слова, зазвучал прекрасный хор... А еще позже, до самой глубокой ночи, почти до света, звучали в доме горячие речи любви к хозяину, звучала музыка, все много ели, еще больше пили, радуясь теплу и свету, черноте за окнами, осеннему паводку на Оке.

Так началась долгая жизнь дома. Жизнь эта была спокойна и величава, с каждым годом она все больше устанавливалась, обогащалась, делалась все более деловитой и прекрасной. В дом приезжали художники, подолгу гостили, много рисовали, много спорили, а уезжая, оставляли каждый раз хозяину много картин и этюдов.

А иногда, устав от своей музыки, он уходил в парк и возвращался не скоро, надышавшись спиртовым запахом опавших листьев, насмотревшись на хмурую, пустынную Оку. Дом принимал его радостно, он знал, что сейчас же начнется нечто прекрасное. И композитор, потеряв руки, сзывал в гостиную гостей, садился к фисгармонии, несколько боком, закуривал жаркую сигару и начинал играть. Он играл «Пассакалию» Баха. Повторялась все время одна тема в левой руке, а в правой бесконечно чередовались все новые, новые вариации, и слушатели сидели затаив дыхание, чувствуя, как холодеют руки, как першит в горле.

— Да... — говорил композитор, кончив играть и отдыхая. — Да! Сколько имен, боже мой! Сколько музыки, а нико-

го, никого больше нет — всё они, вечные, одни и те же: Бах, Моцарт, Бетховен...

К нему приезжали гости. Приезжал знаменитый, черный, томный и все охорашивающийся художник. Он мало ел, капризничал, надолго уходил из дому, но когда приносил этюды и все сходились смотреть, — наступала торжественная тишина: такой дивной, пронзительной и русской печалью были пронизаны его картины.

Приезжал иногда великий певец. Он входил в дом свободно, вольно — огромный, с маленькой, откинутой назад головой, в распахнутой на груди шубе, с наглой, шелковистой, сытой собакой боксером. Как небрежно и изящно он кланялся, как целовал дамам руки, как разговаривал, слегка поворачивая свою волчью шею.

— Только не надо музыки! — капризно просил он. — Я так устал, а ну всё к чертям! Мишенька, пошли рыбу ловить!

А вечером вдруг спускался в гостиную, в которой собирались обычно гости. Он бывал бледен в такие минуты. В черном пиджаке, в ослепительной рубашке с открытым воротом, он подходил к роялю, опирался на лаковую крышку тяжелой, в перстнях, рукой. Мертвенная бледность заливала его лицо, ноздри короткого носа вздрагивали, на лоб падала золотистая прядь волос...

Все собирались в гостиной, садились в тень и замирали в томительном предчувствии великого, небывалого и потрясающе-возвышенного. Хозяин с кривой улыбкой подходил к роялю, открывал крышку, клал приплюснутые на концах пальцы на клавиши, брал несколько аккордов, с недоумением прислушиваясь к звучности рояля, будто в первый раз прикасался к инструменту. Певец окидывал потемневшими глазами комнату, картины на стенах, изумительные иконы в углу, взглядывал на лампу.

И начиналось... «Во сне я горько плакал», — пел он, и всем становилось душно, страшно и до головокружения прекрасно. И через короткое время уже никто не скрывал слез, а певец все пел, пел что-то древнерусское, разгульное и сладко-печальное, долгое, пел, то расширяя, то опуская безумные свои глаза, пел будто в последний раз, будто уж никогда, никогда не придется ему петь и он торопился теперь на-

сытиться, напиться, напитаться необычайным тембром своего голоса.

Но были и глухие времена, когда месяцами никто не приезжал к нему. Тогда он делался день ото дня молчаливее, прозрачнее лицом, все чаще приспускал ресницы на глаза, все чаще надолго уходил в лес, сидел там в одиночестве или ездил по деревням к знакомым мужикам, которых было у него уже множество. Возвращался он всегда похудевший, с новым выражением в лице и даже в фигуре, торопливо поздравившись, поцеловавшись с домашними, проходил к себе в кабинет, закуривал и думал, думал и писал торопливыми кривыми крючками на нотной бумаге.

Незаметно проходили зимы и весны, композитор старел, руки его сохли, спина сутулилась, и по утрам в своей спальне он кашлял совсем стариковским кашлем. Дом же терял яркость новизны, не бросался в глаза, как раньше, да и не виден был теперь, как раньше: со всех сторон подрастал буйный молодняк, тянулся верхушками кверху, загораживал дом, только уже темная черепичная крыша была видна над лесом, только две просеки пришлось прорубить к реке.

Но странно, чем старше становился композитор, чем дольше жил он среди нищих деревень, среди дымчатых лесов, необъятных равнинных далей, тем острее он чувствовал прелесть русской жизни, тем величавее и пронзительнее становилась его музыка, тем больше он писал прекрасных диковатых романсов, прелюдий, концертов и симфонических поэм. Наверное, только теперь он стал понимать свой народ, его историю, его жизнь, его поэзию, наверное, только теперь он понял, что если что-нибудь на свете стоит преклонения, стоит великой, вечной, до слез горькой и сладкой любви, так только это — только эти луга, только эти деревни, пашни, леса, овраги, только эти люди, всю жизнь тяжело работающие и умирающие такой прекрасной, спокойной смертью, какой он не видел нигде больше.

2

Дом стар теперь и имеет вид больного, умирающего. Не то чтобы он разваливался, нет! Стены его крепки еще, полы

тверды, холодны и блестящи, балки сухи и звонко-туги, окна чисты, мебель покрыта лаком, красива и безупречно протерта, суха и нова — одна только лестница, дубовая, с перилами, резанными московским краснодеревщиком, слегка скрипит, стонет под шагами. И не потому он стар теперь, что черепица его почернела, что на широком каменном крыльце, сбоку, проросли уже в трещинах молодые побеги березы.

Если войти в дом, сразу слева будет библиотека-гостиная. Все в ней как прежде: дубовые панели, клетчатый, из балок мореного черного дуба потолок, шкафы по стенам, и в шкафах — длинный ряд книг, сияющий золотом переплетов, над шкафами картины: подарки знаменитых художников, в углу несколько икон работы этих же художников. Камин расписан знаками зодиака, уставлен древнеримской медной посудой. В углу, у окна, стоит прекрасный рояль, а слева возле стены — фисгармония.

А комната налево — совсем иной мир. Здесь столовая, и полки в ней, и буфеты уставлены изумительными туесками вологодской работы, солонками олонцевской резьбы, великоустюжскими поставцами, золотистыми ложками из Сергиева Посада...

[Конец 50-х—начало 60-х гг.]

ЧИФ

...Он лежал на бровке, серебристо-белый, с рыжими пятнами по телу, и был далеко виден на зеленой траве. Ледяной комок появился у меня под сердцем и не таял. Ноги мои сделались как ватные, когда я присел возле него. Сначала я пригляделся к его бокам, к его влажному носу — не дышит ли? Потом потрогал его, он был уже холоден.

Сначала я решил, что его сшибла автомашина. Но лапы и ребра его были целы, шерсть не запачкана, и крови нигде не было, а я-то знал, что происходит с собакой, когда ее переезжает автомобиль...

Он лежал на левом боку, ровно и далеко вытянув лапы. Правое ухо его в момент падения вывернулось и так и осталось, розовея своей изнанкой. Глаза его, по-прежнему глубо-

ко темные, были сведены к переносью, и взгляд их от этого стал загадочным...

— Чиф! Что же это ты, Чифуля, как же это ты?.. — повторял я, сидя возле него на траве и трогая его уши и рыжие пятна на боках.

А какой теплый августовский день клонился тогда к вечеру! Какие царственные облака плыли по небу! Как наслаждалось, как торопилось жить все живое вокруг, по лесам и полям, по своим гнездам и норкам, как жадно хлопотало, не подозревая даже, что еще одна душа уже далече и смотрит на нас...как? Сострадавая? Любуясь всеми нами, сожалея, завидуя прежней своей жизни на земле?

— Ну вот и кончились и прошли наши с тобой двенадцать лет... — говорил я, разглаживая его лицо, стараясь, чтобы он посмотрел на меня, а он все смотрел себе на переносье, как бы созерцая нечто внутри себя, что-то навеки озадачившее его. — И каких лет! Ведь целая жизнь с невыносимыми страданиями, но зато и с таким изобилием счастья, которое нам и не снилось!

Одно было для меня утешение в ту горчайшую минуту, что умер он сразу...

Путевые заметки



Мне всё помнится...



Никакая это не Венеция, как тут говорят, — ни русская, ни украинская, — это просто Вилково, маленький городок, который основали беглые староверы в XVIII веке. Вот что это такое. Плоский, ослепительно белый, залитый солнцем, заросший цветами и виноградом, пересеченный десятками ериков городок.

Попасть туда не так трудно. Надо приехать сперва в Одессу и не проскакивать ее, а остановиться там хотя бы дня на два или три. И пойти на базар. А по дороге удивляться тенистым тихим улицам, брусчатке и обилию платанов.

Одесса описана достаточно. И я скажу несколько слов только о базаре. Не знаю почему, но рыбой на базаре торгуют только в Одессе. Я даже не хочу догадываться о причинах такой странности, пусть попробует догадаться министр торговли. Но только ни на Кавказе, ни в Крыму, ни в Гагре, ни в Сухуми, ни в Сочи, ни в Судаке, ни в Феодосии ни за какие деньги не найдете вы обыкновенного бычка. Свежего, еще почти живого, только что из моря.

Найти, увидеть, взвесить, пощупать его, выбрать темного или светлого, наконец, купить и притащить домой вы сможете только в Одессе. Но бычок без ничего — это не бычок. К нему надо лук зеленый, перец и помидоры. Заедать его надо виноградом, арбузом или дыней. И это вы тоже найдете в Одессе на базаре.

Итак, ни в коем случае не минуйте Одессу, поживите там и попробуйте бычков только что из моря. Или, если хотите, скумбрию. Или кефаль. Лобана, ставриду, саргана, петуха — словом, любую рыбу на ваш вкус. Помните, что на Черном море это небывалое явление — свежая рыба.

Потом садитесь на поезд, или в самолет, или в автобус и поезжайте в Измаил. Если вам захочется узнать, как живут люди, пойдите опять-таки на базар. Потому что в маленьких городах уровень жизни определяется уровнем базара.

А базар в Измаиле огромный. Прямо-таки грандиозный базар для такого небольшого города. Народ там в высоких бараньих шапках, в теплых безрукавках, все на мотоциклах или на телегах, запряженных битюгами. Или на грузовиках. Это уже какая-то Молдавия, что-то южное, незнакомое. И вас тут же потянет куда-нибудь в села, к ним, туда, где они живут, но вам нужно Вилково. Измаил — это только пересадка. И вам остается базар.

Вы увидите горы плоских корзин с виноградом, айвой, яблоками и грушами. Янтарные и изумрудные завалы дынь и арбузов. Красно-белые ряды — это мясо. Тускло-серебристые — это молоко, сметана и масло. И есть еще один ряд — вернее, улица, да и самый базар — это город какой-то, и там не ряды, а улицы. Так вот — улица, самая шумная и веселая на всем базаре. Это винный ряд. В глубине ларьков покоятся большие темные бочки, иногда в два-три ряда — с затычками или кранами. Вино бежит, хлещет розовой струей, вино нового урожая. Все вокруг вас пьют, задирая головы, гомонят, курят, смеются, окликают друг друга, ходят покачиваясь. И вы можете, как и все, как будто вы тоже из какого-нибудь молдавского села приехали, поторговали, навалили пустые корзины в кузов машины, и теперь у вас отдых.

Но вам нужно дальше, в Вилково, про который все говорят: «Венеция, Венеция!» — хотя это вовсе не Венеция. Вы садитесь в «Ракету» и мчитесь по Дунаю вниз, к Черному морю. На этой «Ракете» — двигатель в тысячу двести лошадиных сил. Вода под корпусом разбивается не в брызги, а в пыль. И покуда вы мчитесь, вокруг вас все время вспыхивают радуги. Семьдесят километров в час. И вот Вилково.

Я не люблю приморских южных городов. Они выросли там и сям — все эти Алупки, Алушты, Симеизы — не сами по себе, не в силу необходимости, а как пристанище курортников. И дома там строятся будто затем только, чтобы потом сдавать их курортникам, рубль за сутки одна койка, и ре-

стораны там, парки, кино, пляжи и все остальное — тоже для приезжих. Уедут курортники, и города эти закрываются, как театры после спектакля.

Но этот город, тоже южный — это настоящее. Здесь живут и работают во всякое время года. Вот уже двести с лишним лет эти люди обживают Дунай. Поколения и поколения прошли, отжили в одной заботе: сажать фрукты, виноград, кукурузу и ловить рыбу. Где-то вдаль от этих мест пьют вино и едят рыбу и, может быть, вовсе не знают и не думают о каком-то Вилкове, но все равно двести лет выращивается виноград и ловится рыба именно здесь.

Прямо от порта идет улица, вымощенная брусчаткой. Вдали две церкви. Они покрашены алюминиевой краской и далеко сверкают. Чистые дома. Вокруг каждого дома посыпано толченой ракушкой. Есть и базар, но маленький. Наверное, потому, что некому продавать. Тут почти у каждого все свое.

Я не пошел ни в какую гостиницу: надоели они мне хуже горькой редьки своими графинами с кипяченой водой, казенными запахами, своими отметками, прописками и анкетами.

Я зашел в один дом, в другой, а в третьем и остановился. Хозяина, Арефия Гнеушева, не было дома: он рыбалил под Измаилом. И вся родня его рыбалила. А родни у Арефия тут полно. Хозяйка рассказала мне про отца Арефия, сколько у него было детей. Три жены у него было, а детей — хозяйка все время сбивалась: не то двадцать один, не то двадцать три. И вот ее муж, этот самый Арефий, — один из них.

Сам Арефий приехал поздно в субботу. Хозяйки не было дома, и Арефий зашел ко мне. Загорелое, посеченное ветрами лицо было у него, очень доброе, открытое, и бирюзовые глаза. Совершенно бирюзовые при ярком свете, а если потемнее, то просто серые. И сипловатый голос. Рыбак как рыбак — в сапогах, в брезентовой робе, весь пропахший рыбой. Привез он с собой собаку. Приблудная была собака и ходила за ним по пятам. Низкая, кургузая и умная, какой может быть только дворняга. Арефий глаз с нее не сводил и весь лущился добротой.

— Шарик! Шарик! — кликал он и трепал ее по заливке. — У!.. Псина!.. Пристал, а нам домой ехать, — объяснял он мне, вроде как бы смущаясь немного. — Как его бросить? Та! — думаю. И взял, пущай живет. У!.. Шарик!

Посидели, поговорили о погоде, о рыбе. Арефий все слушал, не стукнет ли калитка, не придет ли жена. Он явно томился.

— Выпить бы... — наконец не выдержал он.

— Все небось закрыто? — предположил я.

— Та!.. — радостно поднялся Арефий. — Та зачем вам тьи ларьки! Я, конечно, рыбалка простой, у нас тут все просто... Если хотите по-нашему, пойдете до соседней хаты.

И мы пошли. И настроение у нас сразу поднялось. То слева, то справа от нас все ерики, а мы топаем по мосточкам, по двум проложенным доскам. Иногда мы переходим эти ерики. Тогда эти доски уже служат мостиком, и перильца есть.

— А ведь если крепко выпить, тут и не пройдешь, — говорю я, еле поспевая за Арефием. (Удивительно проворен русский человек, когда захочет выпить!)

— А мы привыкли, — смеется Арефий. — Та и мелко в ериках, не утопнешь.

Заходили в какую-то хату — вернее, во двор, мощный кирпичом.

— Хозяйка! — кричит Арефий. — Вино е?

— Немае, — растягивает в ответ хозяйка. — Неделю только стоит.

— А ну, давай послушаем, — сомневается Арефий. Хозяйка ведет нас куда-то в пристройку, к большой бочке. Арефий снимает шапку и принакает ухом к бочке.

— Гуляет, — спустя минуту разочарованно говорит он и надевает шапку.

Слушаю и я. И слышу в бочке отдаленный шум, как морской прибой, как симфонический оркестр, радостная далекая солнечная музыка бродящего вина.

Я потом пробовал такое вино. Оно розовое, пенистое, слегка мутновато, очень сладко и почти не пьянит.

Выходим и почти бежим уже до другой хаты. Но нам не везет и в другой и в третий раз: у всех вино еще «гуляет». На-

конец, забравшись что-то уж очень далеко, находим настоящее, созревшее, темно-рубиновое вино.

Во дворе темно, тепло, крупные звезды наверху. Нам зажигают свет в беседке, приносят кувшин вина, черного винограда и белого хлеба. Мы садимся, стаскиваем шапки. Арефию охота говорить, но говорить не так просто. А слегка выпивши, когда слова сами выговариваются, он торопится скорее привести все в соответствие. Выпивает стакан, два, заедает виноградом, закуривает. И пошел, и пошел разговор, слегка бессвязный, с пятого на десятое... О детях, например. Или о жизни при румынах, когда во всей Румынии было одно только русское село — вот это самое Вилково, и что за двадцать с лишним лет не были потеряны ни самостоятельность, ни обычаи, ни вера, ни образ жизни. Или о том, что в этом году на юге дождей совсем не было. Или как он раз бедовал в шторм. Или про отца своего, про мать, про дядьев — какие они были прекрасные, смелые, умные люди. И ему нравится о них говорить.

Сипловатый голос у этого Арефия, как я уже сказал, и скромность, приветливость, доброжелательство — все то, что делает человека добрым с виду. И вот я думаю: он ли один такой здесь простой рыбак, бесхитростный и в то же время умный и справедливый, или все Вилково такое?

Я не видел, как Арефий работает, не знаю, что думает он, когда ловит рыбу, — думает ли о народе, об обществе, во имя которого работает, или ничего такого в его мыслях нет, а просто разные хозяйственные соображения. Но вот он варит дома уху — на мой взгляд, странная это уха: с зеленым перцем, с капустой, с помидорами, нечто вроде рыбного борща, — варит, но не ест один, а идет меня звать и еще извиняется, что он простой рыбак и, может быть, ихняя пища мне не понравится. А казалось бы, что ему я? Снял на несколько дней комнату — ну и живи, не было бы только беспокойства от тебя.

В понедельник до свету он встанет. Зайдет к нему сын — женатый, живет отдельно, а работают вместе, — и поедут они опять под Измаил. И будут ехать на своей моторке часов восемь-девять. И будут потом неделю ловить рыбу и

сдавать ее, только в субботу или в воскресенье приедут ненадолго домой, к семьям.

Все Вилково стоит на ериках — такие узкие канальчики с мутно-зеленоватой дунайской водой, по которым с трудом пропихиваются лодки. Места мало в городке, тесновато — дай бог, если возле дома будет соток пять земли. Много тут не насаждаешь. Ну и растут возле домов цветы, да виноград, да айва, но это так просто, чтобы что-нибудь росло. Хоть и польза, но больше для красоты.

Основная же колхозная земля на островах в дельте Дуная; там у всех большие участки, там уже настоящие сады и виноградники.

Первая половина октября — время сбора урожая. И вот когда я утром пришел к рыбозаводу, а рыбозавод, как и всё здесь, стоит на берегу канала (только большого), и пахло на нем, как и на всех рыбозаводах, крепко рыбой, то по левую сторону моста мне открылось необыкновенное скопление лодок. А лодки всё шли и шли, на моторах, на веслах, под парусами — разные: маленькие, побольше и совсем большие, фелюги, — и все с задранными носами и кормой, на всех сидели старики, старухи, женщины, ребята, все лодки чуть не до бортов погружены были в воду под тяжестью плоских круглых корзин с айвой и яблоками. И штабеля точно таких же корзин заваливали весь берег за мостом, и коренной запах Вилкова, запах рыбы, перебивал теперь сладкий дух айвы и яблок.

И вообще, все Вилково в эти дни было переполнено айвой. Айва была всюду, ее возили на теплоходах в Одессу, в Килию, в Измаил. Горы корзин заваливали дебаркадер, и площадь в порту, и дворы, и берега канала. И машины не управлялись вывозить это добро.

Я пришел на рыбозавод, потому что хотел добраться поближе к рыбакам, туда, где они ловят. Я посидел, подождал на пристани, пока на маленький буксирный катерок «Сардель» грузили хлеб и всякие припасы для рыбаков. Потом мы поехали.

Странно ехать по Дунаю! Потому что едешь по ничейной воде. На левом берегу через равные промежутки видны

столбы государственной границы СССР. На правом — такие же столбы Румынии. А ты не там и не здесь. Направо Добруджа. Там, как и у нас, такие же хаты из камыша и ила, такие же заросли тростника, такие же люди суеются на своих пристанях, в своих садах. И можно даже покричать им. Мне говорили, что раз в неделю обе границы открыты, и люди, имеющие родственников на той или другой стороне, свободно ездят друг к другу в гости.

Рыбачий стан на острове Большом — это своего рода маленькая деревня, опять-таки на берегу протоки, в тростнике. И доски на берегу проложены, как в Вилкове. Только здесь еще лучше, потому что тише, и работа, и люди на виду. Возле хат горят костры, над кострами — котлы с варом. Рыбаки смалят снасти на белугу и осетра. Снасти состоят из капронового поводка, примерно в полметра, и большого стального крюка, острого, как жало. Этих крюков на поводках тысячи, и вот, прежде чем расставить их на поплавах под водой, их надо все просмолить и наточить — очень кропотливая работа.

Но сначала я должен в двух словах рассказать о рыбацком годе, о круге работ на Дунае.

С марта по май — три месяца — из Черного моря в Дунай идет дунайская сельдь. Три месяца сельдь владеет умами людей. Сюда, в устье Дуная, съезжаются десятки сейнеров из Килии, из Речи и Измаила, приходят сотни лодок, тысячи людей живут здесь гигантским табором, работают днем и ночью, чтобы поспеть, не прозевать, не пропустить такую редкую, дорогую рыбу.

В сущности, дунайская сельдь — это и есть основа основ дунайского рыболовства. Задолго до ее прихода все уже живут ею, готовятся к ней, как армия к великой битве. Потом три месяца сумасшедшей работы, когда день год кормит, а потом, уже много спустя, все равно вспоминают об этих весенних месяцах. И когда бы вы ни приехали сюда, вам скажут: «Ну что это! Вот вы приезжайте весной, когда сельдь идет!»

В остальное время года работа идет разбросаннее, спокойнее. Тут надо и о винограде думать, и о кукурузе, и об ай-

ве. Многие рыбаки вообще уезжают с Дуная: едут ловить скумбрию, кефаль, ставриду на Черное море, к берегам Кавказа; другие подаются на Азовское море; третьи остаются здесь и уже без азарта, но основательно промышляют осетра, севрюгу, белугу. Кроме того, ставят еще вентерю на всякую рыбу. В вентерю попадает щука, сазан, лещ, карась, сом, тарань — словом, всякая пресноводная рыба.

Рыбы этой порядочно, но платят за нее рыбакам мало, поэтому на нее смотрят просто как на какой-то приработок. Везде, по всем кутам день и ночь стоят эти вентери и стерегут рыбу. Раз я поехал на лодке под вечер, заехал в кут, потом вылез на песчаной отмели, пошел к морю и долго сидел там. А когда опомнился, ночь уже сошла на землю, ярко светила луна, а мне надо было переплыть кут и попасть в узкий проход в тростнике. Там была поставлена вешка с пучком на верхушке, чтобы легче было ориентироваться. Но в темноте ее не стало видно. Я сбился, заплыл совсем в другую сторону и вдруг увидел, что мне с непривычки совсем невозможно куда плыть, весла цеплялись за кольца вентерей, а колева везде было великое множество, и где-то подо мной уже стояла в вентерях всякая рыба.

Остров Большой плосок, порос тростником. На берегу протоки стоит холодильник, который здесь называют лабазом. Рядом дом, в котором живут приемщик и засольщик, в котором есть еще койки для приезжающих. По другую сторону лабаза, ближе к Дунаю, — небольшой магазин. Потом еще по берегу, по обе стороны протоки, под ивами, разбросаны глинобитые побеленные хаты. Вот и все. Дальше, куда хватает глаз, все тростник, тростник... На протоке, как и в Вилкове, полно красивых длинных лодок, каждая из которых стоит как бы в маленькой бухте. На берегах развешаны и разложены всевозможные рыбацкие снасти — сети, вентери, сотнями висят крюки на белугу, лежат весла, багры, под ноги попадают квадратные поплавки из пенопласта.

Днем тихо на рыбацком стане: почти все на работе. Все залито ярким солнцем. Тростник еле колеблется. Середина октября, но тепло, как у нас в августе. Раз в день зайдет на остров рыбозаводский катер, привезет продуктов, хлеба

в магазин и заберет рыбу. Иногда покажется лодка, послышатся голоса, рыбаки сдадут рыбу на холодильник — и опять тихо.

Первый раз пробыл я здесь полдня только, потом поехал с начальством смотреть подсобное хозяйство, ходил между бесконечными рядами яблонь, груш, айвы, винограда. Потом немного пожил в Вилкове, познакомился, поговорил с Арефием. Но этот стан на острове Большом как-то все манил меня, и я решил еще раз съездить туда.

Ехал второй раз я опять на «Сардели», но ночью «Сардель» везла на лабаз лед. При входе в протоку два раза садились мы на мель, но кое-как проползли все-таки устье, вошли и через пять минут пришвартовались. Часа два потом выгружали мы лед, загружали его в дробилку и забивали ледяной крошкой большие чаны.

Тут же на старом льду лежало, белело и желтело в неярком свете электролампы несколько белуг и осетров.

Мне показались они огромными, но рыбаки только улыбались. Говорят, попадают здесь белуги по полтора-два килограмма, и одной черной икры в такой громадине — килограмма двадцать пять. Еще там на льду лежали дикие гуси, убитые, как мне сказали, прошлой ночью. И я вдруг почувствовал, что заехал куда-то очень далеко, на край земли, к людям, которые ловят таких громадных дорогих рыб и бьют по ночам гусей...

Тени наши мелькали по стенам, жужжала и хрустела дробилка, лед искрился под лампами, а мы подцепляли крюками и волочили в лабаз с пристани по мокрым доскам все новые и новые корзины...

Много раз я бывал на Севере, ловил там семгу и писал потом о тамошних рыбаках. И здесь меня окружали рыбаки. Но здесь было все другое: иначе назывались ветры, иначе ловили, другие были лодки и говор другой. И ночь, когда мы, покончив со льдом, вышли на пристань, ночь была другая — южная, слабо шуршал тростник, и Большая Медведица стояла низко, почти касаясь горизонта, тогда как на Севере она чуть не над головой. Только люди были здесь такие же, как и там, так же пахли рыбой, такие же грубые, темные ру-

ки у них были и обветренные лица и такие же мысли о рыбе и о жизни на земле.

— Хотите гусей пострелять? — спросил у меня как-то молодой рыбак Миша. — Ну, так я вас разбуду часов в пять. Встанете?

Ночь была, когда в окно тихо пробарабанили. Я оделся, взял ружье и вышел. Было холодно, росисто, звезды блестели как начищенные. Медведица задрала свой ковш, стояла вертикально, опираясь ручкой о горизонт.

Мы сели в лодку, осторожно уложили ружья и патронташи, отпихнулись от пристани.

— На взморье поедем, — тихо сказал Миша. — Я там в море сети посмотрю, а вас высажу, покажу, где стоять. С рыбой справлюсь и сам к вам подъеду.

Минут через пять вышли мы в Дунай и повернули налево, в сторону моря. Помаргивали редкие бакены, ветер дул с моря. Парус нельзя было поднять. Я сидел на корме, огребался кормовым веслом. Миша закурил, стал попыхивать красным огоньком. Мерно, привычно гребя, сгибаясь и разгибаясь, он и разговаривать успевал, и говорил как-то особенно уютно, тихо. И я еще вчера не знал его совсем, а теперь во тьме мне казалось, как это иногда бывает на рассвете, что мы уже сто лет жили рядом, выходили в море, осматривали сети, а потом вместе стояли на гусей.

Миша рассказывал, как его молодым парнем призвали в румынскую армию, как он не хотел воевать, какой грубый, жестокий капрал был у них во взводе, как он мучил и бил новобранцев и как Миша, доведенный до слепого бешенства, однажды чуть не убил этого капрала саперной лопаткой. Говорил он хорошо. И когда по ходу рассказа появлялись у него румыны, он тотчас передавал их речь по-румынски и сам же переводил.

Потом он стал звать меня в Вилково весной, в апреле, когда идет дунайская сельдь.

— Тут у нас знаете сколько народу околачивается! — оживленно, вспоминая весну, говорит он. — Вот сейчас никто не ездит, нету никого. А как селедка пойдет, так и не знаешь, кого больше — рыбаков или начальства всякого. Все понаедут,

будто проследить, наладить там или еще чего, а у самих одна мысль: селедки побольше потрескать да с собой увезти.

— Ну вот, — сказал я. — Приглашаешь, а как приеду, так небось и скажешь потом: «И этот прикатил на селедку!»

— Та нет же! — живо возразил Миша. — Мы же понимаем: вы не начальство! У вас работа такая: вы приедете, напишете за Дунай — и нам приятно, и другие про нас узнают. Это у нас начальства много, а корреспондентов, тех почти и немає. А ели когда нашу селедку?

— Нет, никогда не приходилось.

— Скажи!.. — удивляется Миша. — Куда же ее девают? А ведь мы много ловим.

— Зато осетрина по городам есть, — говорю я. — Наверно, и та самая, какую вы здесь ловите.

— Ну, осетрина! Осетрина, она и на Дону есть, и в Амуре, и на Волге. А вот дунайская селедка...

Так за разговором выходим мы в море. Поворачиваем направо, в сторону Румынии. И тут я замечаю в полной тьме над самой водой светящееся пятно и долго не могу понять, что это такое, пока вдруг пятно это не открылось. В темноте навстречу нам под парусами двигались две лодки рядом, в одной горел фонарь «летучая мышь», освещал паруса. Человеческие согнутые тени что-то делали за бортом. Иногда в руках то одного, то другого на секунду мелькал живой серебристый блеск, и тут же слышался влажный шлепок о дно лодки.

— Здоров! — негромко, как бы про себя, сказал Миша. Но там услышали и отозвались.

— Сети смотрят, — сказал Миша и опять налег на весла. Высадил он меня на каком-то мыске и показал, куда идти.

— Как до камыша дойдете, так и становитесь. Утка валом через вас пойдет, с берега будет на море лететь, а то и гуси налетят.

Миша толкнул свою лодку в море, вскочил в нее и тут же пропал в темноте, только поскрипывание весел было еще долго слышно.

Я пошел на запад во тьму. Была по-прежнему ночь, но рассвет, если обернуться назад, уже начался. От того места,

где должно было над морем подняться солнце, протянулся к зениту едва заметный световой столб. И звезды еще блестя, но там, где обозначался световой столб, звезд уже не было.

Я шел и оглядывался, шел и оглядывался. Становилось все светлее, уже можно было различить темные листы и камышинки на воде кута. И мне хотелось идти назад, к свету, и мне трудно было держать направление во тьму, потому что там, куда я шел, была еще тьма. Теперь я шел уже по воде, ноги вязли. И как я ни старался, все равно сапоги чавкали. Впереди начали взлетать утки, спавшие на куту, резко, пронзительно засвистели срывающиеся бекасы, то и дело слышалось: «чш-чш-чш-чш» — поднималась одна утка, «чш-чш-чш-чш-чш» — другая.

Ничего не было видно, только слышно, и стрелять было нельзя. А уток все прибавлялось, и теперь все передо мной было заполнено плеском взлетающей дичи и неровным лопотом крыльев.

Совсем рассвело, когда я добрался до камышиного острова, подмял несколько корней, утоптался, попробовал повернуться туда и сюда, вскинул несколько раз ружье, осадил назад пальто, чтобы не связывало рук. По светлеющему небу везде уже летели к морю утки. Сильно пахло камышом, пресной водой и илом, а с моря доносился сладковатый запах водорослей. Там, вдали, все стало сиреневым, вода и песчаные отмели, а между отмелей двигался, стоя в своей лодке, Миша, и в миражах вдруг отрывался от воды, поднимался и плыл по воздуху. Ясно была видна воздушная прослойка между лодкой и горизонтом. Утки и гуси, черными плотными массами сидящие на отмелях, при его приближении поднимались и темными кисеями перетягивались на другие отмели. А близко от меня стояли и ходили, и били своими длинными шеями направо и налево цапли — серые и белые.

Никогда я не видел столько птицы зараз. Осень тут была мягкая, теплая, через море лететь никто не хотел, а с севера все подваливала и подваливала новая птица. И с каждым днем все больше перелетало ее над камышами, над морем, над плавнями, надо всеми протоками дельты Дуная.

Стоя возле камышей по колено в плоской воде, поглядывая иногда на море, которое так бугрилось в миражах, что странно было, почему же оно не заливает эту плоскую огромную низину, я на время позабыл обо всем, только пробовал патроны в патронташе, чтобы легче было вытаскивать, и все вертел головой.

Сначала прошли стороной очень быстро две кряковые. Мгновенный холод вступил мне в сердце, я вскинул ружье, повел, ударил раз и второй. И в момент выстрелов уже понял, что мимо, а по тому, как фиолетово и длинно блеснуло пламя из стволов, тотчас догадался, что еще темно, света настоящего нет, что еще утренние сумерки с малиновой полоской на том месте, где должно было встать солнце.

Тотчас очень низко и близко, над самыми камышами, пронеслись три чирка. Они летели так быстро, что отчетливо был слышен свист, а в глазах от их полета оставался какой-то сплошной темный след, как от трассирующих пуль. Я снова выстрелил дуплетом, даже не в чирков, а куда-то далеко вперед, в пустоту. И сейчас же один из них, не снижая скорости, на распушенных крыльях резко пошел книзу, ударился о воду и не шевельнулся больше, будто и не мчался только что с огромной скоростью.

Медленные круги пошли от него, и отражения камышей стали волнообразно изгибаться, изламываться.

Странное чувство овладевает тобой, когда, стреляя влет, бьешь куда-то в пустое сиреневое небо, предчувствуя только, что свистящая трасса чирков через секунду должна пройти именно по тому месту, куда ты бьешь. И потом уже, когда мелькнул огонь и дробь с визгом ушла вдаль, ты видишь чирка, который будто специально в этот момент подоспел и, мелькнув темной тенью, ударился о зеркало воды, а остальные, ни на мгновение не замешкавшись, будто даже не слышав выстрела, не заметив исчезновения одного из них, все так же стремительно и низко летят в море и через секунду пропадают из глаз.

Невдалеке где-то тоже стреляют, и своего выстрела в горячке как-то не слушаешь, зато завистливо вздрагиваешь,

когда долго, с потягами, со звоном раскатываются над морем выстрелы соседей.

Так я стрелял, пока совсем не рассвело и не встало солнце. На мелкой воде в камышах объявился вдруг Миша. Но перелет как отрезало, никто уже нигде не стрелял. И мы, пождавши немного еще, стали сходитьсь. Я брел, стараясь не набрать в сапоги воды и чувствуя теплую тяжесть убитых уток в руке. Миша толкался мне навстречу.

Мы сошлись. Я забрался в лодку. Вместе мы вытолкались из кута, попали в протоку, Миша поднял парус, расселся на корме, закурил, окунул в воду кормовое весло, обмотал вокруг сапога шкот, и мы беззвучно двинулись между стенами тростника.

На дне лодки шевелилась еще рыба. Тут была тарань, лунка, несколько кефалей, один белужонок, еще что-то... Возбужденно, но тихо почему-то мы стали говорить и курить. И опять говорили об охоте, о гусях, как их стреляют ночью в серебряном свете луны, о рыбе, как ее ловят и как потом солят, вялят или коптят. Ветерок гнал нас и гнал домой. Скоро мы вышли на зеленоватый простор Дуная и стали наискось пересекать его, чтобы попасть в протоку острова Большого.

Два месяца прошло с тех пор, как я там был, а мне все помнится солнечный теплый октябрь, мутно-зеленый Дунай, румынская загадочная Добруджа, белый городок Вилково, белые чистые дома, брусчатка на улицах, темно-багровое вино, виноград будто в серебряном пуху, огромные рыбы в ледяном лабазе, и смутные рыбаки, и солнце, и метелки тростника высоко над головой, и неисчислимые стаи всякой птицы, розовые и белые цапли и вертикально стоящая Большая Медведица.

Декабрь 1962

В первый раз попал я в Печоры...



В первый раз попал я в Печоры с приятелем. Взяли такси из Пскова и покатали. И как-то я мало помню из тех двух дней, которые тогда там прожил. Помню только — заехали мы на маленькую улочку возле монастыря, там остановились его знакомые, вылезли, поразмялись... Я оглянулся — деревяня и деревяня, домишки, заборы, яблони из-за заборов, и, когда еще въезжали в город, сразу как-то показалось в нем чисто, тихо, уютно, и сразу он как-то лег мне на сердце.

«Ладно! — подумал я. — Тихо, тихо! Я тут как-нибудь поживу. Один. Очень даже поживу, какой городишко!»

Знакомые моего приятеля богомольничали в этих самых Печорах. Остановились возле монастыря у старухи — у нее всегда странники останавливаются. И когда мы вошли, крепко мне запахло свечным воском, лампадой, старушечьими юбками.

— Не грязно вам тут покажется? — несколько иронически спросил меня знакомый моего приятеля. А был он старик старомосковский и говорил, как у нас теперь и не говорят, и в Бога верил открыто и даже несколько надменно по отношению к нам, как-то гордо и подчеркнуто, но был мил, по-качаловски обаятелен и тоже в пенсне, бритый был и чистый, в светлом старомодном картузе, ходил и разговаривал так громко, так отчетливо, звучно и вкусно, что многие оглядывались.

— Может, хотите в ДOME приезжих остановиться? — спросил он опять. — Или в монастырской гостинице?

«Ай-яй-яй! — снова подумал я. — И гостиница монастырская есть! Ай да город, ай да и забралась мы!»

А час спустя, попив чаю, пошли мы в монастырь. Был он тут же рядом, сперва церковь на зеленой лужайке, обнесенной низкой каменной стенкой, вся в деревьях, белая, с

голубым шпилем, как на ленинградских церквях, а чуть подалее и монастырская стена с башенками, с низкими воротами, с иконой над воротами, с нищими, какими-то калеками, убогими.

И надо видеть, с каким достоинством и вкусом отмахнул чаш старик свой старомодный картуз, как склонил твердый свой, большой, чисто выбритый подбородок на грудь, как перекрестился — медленно и важно, и прошел в темноту подворотни мимо привратника, мимо всех калек и нищих.

Этот монастырь в Печорах — странный какой-то монастырь. Все надо идти вниз и вниз, в овраг, и там внизу — древность, чистота, обилие цветов, там перемешана архитектура новгородская, псковская и киевская, там много церквонок и церквей и одна из них в пещерах — выведена только передняя стена и купола наверху, внутренность церкви в пещере — темнота была, хотя и стоял день, только рубиново и зелено мерцали лампы, только, жарко и желто горели нестройные ряды и пучки свеч.

И как-то сразу серьезно настроившись, полезли мы за нашим стариком, в глубину, туда, где слышалось прекрасное старческое пение, куда-то под своды, мимо теснящихся старух, женщин в черном, бледных стариков, мимо комков, приникших к полу, и эти комки были людьми, — а там в глубине, в сводчатом проходе, перед ракой святого Корнилия, покоящейся в глубине, стояли по обе стороны человек двенадцать древнейших монахов в клобуках и ризах, во главе их стоял и читал какую-то толстую книгу еще один монах, но самый важный, в митре, а кругом — впереди и сзади нас — теснились молящиеся с мокрыми от слез глазами и все разом, когда надо, дружно возглашали: «Радуйся, Корнилие, радуйся!» — служили акафист Корнилию.

А больше как-то ничего у меня не осталось от Печор, но осталось ощущение покоя, чистоты и музыкальности, потому что по утрам, и днем, и на закате звонили монастырские колокола, и куда бы ни уйти из города, хоть за десять километров в поля или в лес, звон этот был явственно слышен.

И вот на другой год, проболтавшись полтора месяца на Севере, я ехал домой, и мне хотелось писать о рыбаках и обо

всем, что я там увидел, и тут я вспомнил Печоры, и мне захотелось туда. Год прошел, и я забыл почти все, но тишина и чистота остались, и у меня даже сердце замерло, когда я подумал, как я там буду сидеть и вспоминать своих рыбаков и стараться получше их описать.

И вот дня через три я сел в автобус, всю ночь мчался, начало только рассмеркаться, я приехал в Псков, тут же нашел машину и поехал в Печоры. Я приехал туда, уже солнце поднялось, мост через Пачковку ремонтировали, мы поехали в объезд, к станции, Печоры поворачивались ко мне своими разными сторонами, и с какой стороны я ни смотрел на них, все было прекрасно, и я приехал на ту же улицу, где жил прошлый год.

А до этого меня захватило вдруг необычайно сильное ощущение русского, а это не везде случается, но тут эта моя сыновность вдруг объявилась, еще когда мы ехали мимо Изборска с его крепостью в развалинах, с круглыми башнями из сероватого камня, а потом пошли поля, поля с бабками сжатого хлеба, с желтой стерней, с хуторами, там и сям разбросанными в островках берез и осин, — и такая древность была в этой псковской земле, что я только вздыхал.

Я вылез из машины, оглянулся: все то же, и то же время года, и улица, и заборы, и яблони... а травка гусиная между булыжника выпирала, и тротуары были кирпичные, отшлифованные, стертые, и чистота была моя, и воздух, и монастырь был тут, хотя для меня монастырь этот был нужен, как музыка, своим колокольным звоном, и я уж разглядел за зеленью его башенки по стенам.

Зашел я в один двор, мест не было, зашел в другой — тоже, скоро должен был праздник наступить Успение Божьей Матери, много богомольцев везде стояло, и вот в одном доме простоволосая старуха сказала:

— А у Беянина Михал Михалыча вы не были? Так я вас сведу.

Накинула платок и подхватила в конец улицы, к угловому дому, ближе к монастырю. Вошли в узенький дворик, и только вошли — навстречу нам сам хозяин, сам Михаил Михайлович, пожилой такой, небольшого росточку, со склеро-

тическим румянцем на скулах, в старой кепке с большим козырьком, в сером плаще, собрался куда-то.

— Михалыч! — сказала моя баба. — У тебя комната-то свободна ли, вот человек из Москвы,пустишь?

— Комната? — Михаил Михайлович как-то растерялся, смутился, засуетился. — Что ж, пожалуйста...

И тут же повернулся назад, а баба ушла. Вошел я в комнату — дом старый, но окна большие, и комната большая, угловая, и окна на обе стороны — одно на улицу, два на монастырь. И диван был. И стол, и кровать хорошая, и даже приемник, и этажерка, а там книги какие-то зачитанные, толстые.

— Сколько же вы просите? — спросил я.

— А вы надолго приехали?

— Не знаю, недели на две, на три.

— Сто рублей не дорого? — сказал и сам покраснел до испарины, и тут же кепку сдернул, оказался совсем лысый, до затылка, и лысина покраснела у него от такого разговора. Голова у него была, как говорят, толкачом, или яйцом, нос остренький, брови рыжеватые, козырьками, глаза маленькие, серые, голос тихий, чуть сиповатый — и как-то он прелестен был, весь светился чистотой и тихостью, и так смутился, будто не я, а он пришел проситься пожить.

— Мои на юг уехали, в Крым, — поспешил он сказать. — Вот комната. Да, комната свободна... пожалуйста... Только удобно ли вам будет, двери ведь нет в мою комнату, видите, занавеска висит.

Я тут же начал чемодан распаковывать. <...>

— Магазины у вас далеко? — спросил я.

— Близко, на площади.

— И открыт?

— Сейчас восемь часов.

И тут же сказал доверчиво:

— Вот вам ключ, я в школе работаю, во вторую смену. А ключ я вам покажу, где мы кладем. А сейчас, извините, пожалуйста, я на рынок пойду. Грибы у меня, грибки вот...

Мы вышли в сени, и в углу увидел я целый короб грибов-лисичек. Так мы и пошли вместе — я в магазин, М. М. с ли-

сичками на базар. Я его потом видел, <...> стоял он в ряду, где ягодами да грибами торговали, в своей кепке, кротко поглядывал из-под бровей, а перед ним грибы эти, лисички, и тут я увидел, что лисички-то староватые, уж кое-где и побитые, потемнелые, и какой-то очень уж незаметный был этот М. М. в своем плащике, и никто не хотел у него грибы брать, зря-то он старался, в лес ходил, ноги свои старые бил.

Пришел я домой, <...> окно раскрыл в сторону монастыря. И еще высунулся, посмотрел туда-сюда и вдруг уловил запах, которым, как я уже потом понял, пахнут все западные города, в которых мне потом пришлось побывать, — запах каменной пыли. Не обыкновенной пыли, а именно каменной, когда люди идут и идут годы и годы все по одним и тем же каменным плитам и стирают их своими подошвами, и в воздухе стоит тогда такой едва уловимый острый каменный запах, похожий отдаленно на то, как пахнет, когда бьешь кремь о кремь, высекая искры. <...>

В каком году это было? Да в 1960-м — во второй половине августа, значит, уж два с половиной года прошло, а мне иногда кажется, что двадцать, и очень захотелось рассказать про этого М. М. <...>

1963

«И всё это два какие-то дни...»

Вот уж и год прошел, ровно год, как был я в Праге, летал в Братиславу, мотался по дорогам Чехии, окунал ноги в ледяную воду Влтавы. И это время не придет больше — ни для меня, ни для тех, кто был тогда со мной в те душные майские дни. Мы были там все вместе, а теперь уж мы не те, и только память, но и память как-то уже смещает, все смешивает, объединяет, и только, может быть, камни Праги, ее дома, черепичные кровли, может быть, только они всё неизменные, всё те же...

А ехали мы плохо, потому что ехали по молодежным путевкам «Спутник», нас пересадили на границе в чешский поезд, со стеклянными дверями в купе, с диванчиками, и это было сначала так хорошо... Но тронулись мы от границы в четыре часа дня, тронулись и помчались с непривычной быстротой, так быстро, что поезд даже накренился на поворотах, вагоны мотало. Наступал вечер, уже все попели, поговорили, пивка выпили, насмотрелись за окна, спать нам захотелось, а лечь было нельзя, и, изнывая уже, мы всё сидели. И ночь настала, мы сидели. Рассвет наступил, мы сидели — одуревшие, с припухшими глазами, а кто дремал сидя, бессильно отвалив голову или свесив на грудь.

Начался рассвет; преодолевая себя, я стал в вагонном проходе, загляделся в окно, потом открыл. Поезд остановился на какой-то станции: крытый перрон, каменные плитки, носильщики, незнакомые табло, киоски, запах железнодорожного пути, горячего металла от вагонных колес. Я перевел взгляд левее и за проволочной оградой вдруг увидел такое густое, тяжелое, росистое скопление сирени, что сонливость мою, отупелость будто рукой сняло, и я стал смотреть.

Поля проносились перед нами, и в полях прыгали кролики на резкой зелени озимых, деревни проплывали, так непохожие на наши деревни, — каменные, пустынные, с мощеными улицами, и дома какие-то все розовато-серые, а там трубы, корпуса, опять поля, деревни, опять чистые небольшие городки — и так до самой Праги.

А в Прагу мы приехали часов в шесть утра, но не сразу приехали, а сперва остановились на мосту над какой-то улицей. Верхние этажи домов этой улицы были с нами вровень, и думалось, вот тут живут какие-то чехи, и никогда они не были у нас, где-нибудь на Оке, и никогда мне не суждено прийти к ним в гости, посидеть, поглядеть, какие у них комнаты и как они завтракают перед тем, как идти на работу. И еще внизу была по-утреннему пустая улица, как и большинство улиц в Праге, брусчатая, а наш поезд как бы висел над ней, и было страшновато. Потом улица сдвинулась, пропала, еще пять минут прошло, и мы въехали на вокзал.

Что такое заграница для русского? Не знаю, как другие, но я как-то всегда довольно расплывчато воображаю ночные бары, хорошие отели, пойдешь туда, сюда, поплутаешь, выйдешь к фонтану какому-нибудь, к дворцу или к церкви, с детства знакомой тебе по открыткам, гомон, незнакомая речь, автомашины — бог знает что! Что-то такое отличное от чашей жизни, незнакомое, чужое, в чем тебе предстоит разобраться.

Но «Спутник» был верен себе — нас везли, везли, сперва мимо музея в конце (или в начале) Вацлавской площади, потом куда-то дальше по извилистым улицам, дома вокруг делались все скромнее, жизнь проступала в них, исчезало понятие «заграницы» — трамвайная линия, табачные киоски, пивнушки, магазинчики, громыхание трамвая, какие-то толстые тетки с сумками, пучки салата, редиски из этих сумок, рабочие в комбинезонах, с сумками, многие на велосипедах, старые, дымящие, с матерчатыми кузовами, с колесами со спицами трещащие автомашины, на остановках кондуктор выходит из трамвая, кричит что-то, поторапливает пассажиров, чмокает губами, улыбается при виде опоздавшей, бегу-

«И всё это два какие-то дни...»

щей девушки, потом громко свистит в металлическую дудку, трамвай гроыхает, лязгает, дергается, кондуктор вскакивает на ходу...

А мы все едем, едем по бесконечной улице, и вот уже проплыл над нами железнодорожный мост, за заборами видны кучи угля, маневровый паровозик чухает и беспричинно гудит тонко, опять магазины, овощные лавки, газетные киоски, перекрестки, и машины разворачиваются и едут куда угодно, совсем не по-нашему...

1963

Закарпатская проблема



Сначала я хотел написать только о деле, только о проблеме, с которой сталкивается турист в Закарпатье. Как говорится, без всякой лирики. Но потом я подумал: дела людские делами, а природа в Закарпатье прекрасна и народ тоже, и секретарь Раховского райкома В. В. Орос при встрече попросил хоть немного написать о красоте края. Так что чистосердечно говорю друзьям туристам: приезжайте в Закарпатье в любое время года, поживите там хоть немного, побродите по горам и долинам, и вы уедете очарованными, и Карпаты останутся с вами навсегда!

Я был в Карпатах в марте. А март — плохой месяц, осенний какой-то, беззащитный. Деревья голые, на ветках висят крупные светлые капли, под ногами — красные сырые листья. Грязные колеи на горных дорогах, серое низкое небо, порывами задувает холодный ветер сверху. По горам ползют облака, заваливаются в ущелья, переполняют их и выпирают потом вверх, как пенные шапки.

Если непогодится, то март в Карпатах — как ноябрь. Идет, идет мокрый снег, утром выйдешь — сырая зима, крыши белые, и белые горы уходят вверх, в туман, а вершин не видно. Асфальт черен и мокр, и велосипедисты едут с поднятыми, надвинутыми на голову капюшонами плащей, и на лошадях курчавится шерсть.

Но все равно — хорошо, потянет вдруг к теплу, зайдешь в кафе, а там пусто, тихо — не сезон, но горяча кафельная печь и горячо вино с лимоном и корицей, да, подумаешь: я же в Карпатах! Сядешь с горячим стаканом к окну, грустно и покойно глядишь, как быстро валится, камнем падает с темного неба темный снег и тут же тает на асфальте. Хорошо посидеть одному, сказать что-нибудь буфетчику про по-

году, и он, томимый одиночеством, тут же радостно согласится: да, да, худая погода, — а потом вдруг нанижет на кощережку ломтики сала, сунет в печку и начнет там вертеть и заглядывать туда. Хорошо подумать в такую минуту, как войдут в твою жизнь эти горы и люди, которых ты встречаешь, и этот март в снегах, и туманах, и в дожде с прозрачными каплями на голых деревьях. Хорошо еще потому, что все-таки весна и что непременно проглянет солнце.

А когда наконец покажется солнце, тогда не усидеть на месте. И увидишь тогда, как паром сходит снег с нижних склонов и из-под снега сразу объявляется зеленая травка. Увидишь, что почки давно набухли, вот-вот лопнут, и сережки тяжело повисли на ольхе. Скворцы прилетели и радостно волнуются, грачи орут, и неистовыми голосами, похожими на индюшачьи, воркуют дикие голуби.

Шумит, ворочается на камнях Черная Тисса, которая все не черная, а зеленоватая. Вдоль дорог везде деревни, дома с черепичными, тесовыми, плиточными крышами. Обгонит тебя телега — лошади в парке, с красными кистями на шеях, и у возницы на кнуте красная же кисточка. Или волы медленно бредут тебе навстречу. Велосипедисты катят туда и сюда, и почти каждый скажет тебе непременно: «День добрый!» Лесорубы идут кто с пилой, кто с топором на длинной ручке.

А то я поднялся раз в горы, брел потихоньку вверх, оставившись, поглядывал кругом — и вдруг увидел, как сверху, навстречу мне из-за оснеженных елок, оленьими какими-то прыжками, один за другим стали появляться эти самые лесорубы, и рядом с каждым стремительно несло вниз огромное ошкуренное желтое бревно, с шипением скользило по снегу, и каждое было заарканено, в каждое был воткнут топор, с каждым бревном, сдерживая его на бегу, гигантскими скачками неся вниз лесоруб.

Идешь дорогой в весеннем мареве, видишь прекрасные деревянные церкви с грустными кладбищами — побольше и поменьше — почти в каждой деревне. Или вдруг заметишь, как хозяин что-то поправляет у себя во дворе, далеко от тебя, взмахнет топором, сверкнет лезвие, опустится, а через минуту услышишь: «Тук!»

А солнце все светит, и уже жарко, в одной шерстяной рубашке жарко, хочется совсем раздеться, да неловко, деревней идешь. И тут хорошо остановиться, присесть где-нибудь, покурить и оглядеться. Кругом складчатые отлоги выпуклых красивых гор, а где-то далеко впереди, над дорогой вдруг обрыв, скалы, ущелье сужается, река там кипит сильнее, дома лепятся к самой реке, потом все распаивается, и опять широкие долины и пологие горы кругом.

Хорошо глядеть, как весна берет свое в деревнях, как хозеява копаются во дворах, сгребают прошлогодние листья, всякие сучья, жгут костры, и дымком тянет чуть ли не от каждого хозяйства, и обнажается черная земля на усадьбах, готовая снова родить.

Или едешь по дороге из Рахова в Великий Бычков, дорога все время вдоль Тиссы, и так красиво, что чуть не каждую минуту думаешь: вот тут бы пожить, — а инструктор спрашивает: «Кто знает, где центр Европы?» Никто не знает. «Тогда стоп! Выходите, центр Европы — вот он!» Выходим. Возле дороги торчит маленький каменный столбик. Нижнюю его часть дорожники выкрасили в белое, как деревья красят. На столбике выбита латинская надпись: «Постоянное (точное) вечное место. Очень точно, со специальным аппаратом, который изготовлен в Австрии и Венгрии, со шкалой меридианов и параллелей, установлен здесь центр Европы. 1887».

Вот, значит, оно что, вот ты и в центре Европы. Оглядываешься — кругом такие места, кругом такие милые горы, внизу река, по склонам леса, как запущенная щетина, в лесах, по черной земле белые запутанные бечевки горных речушек. А что вон там, в том ущелье?

А в ущелье на ручье стоит домик, повыше домика несколько бассейнов, в каждый бассейн по деревянному желобу течет вода. Возле домика на влажной весенней земле красная, только что забитая корова. Парок от нее поднимается. Себе на мясо забили? На мясо, на мясо, только не себе — рыбкам. Каким таким рыбкам? А форели, вон она у нас плавает, вон играет! И в этом ставке, в том тоже, вон, видите, вода прозрачная по желобам бежит, тут-то у нас и самая форель. Есть ручьевая, а есть и радужная. Радужная глубину любит,

большую воду. А ручьевая — та вот прямо в ручейках и живет. Мы ее в ставках кормим, мясо ей варим, отруби, крапиву подмешиваем. И икру мы здесь получаем, тут у нас икра и выводится. Много ли? А тысяч по полтораста мальков. А как малек подрастет, пузырь у него втянется, так мы его и выпускаем.

Мы переходим от ставка к ставку, разглядываем такую потаенную на воле рыбу. Здесь она на виду, человека не боится, плавает как в аквариумах.

Ну, а там вон что? На тех вон сверкающих вершинах? А там леса, полонины, летние избышки пастухов на полонинах... Там — царство туристов зимой, обилие света, там — награда усталому путнику. Там можно раздеться и загорать днем, загородив глаза темными очками, спускаться на лыжах с пологих склонов и вновь подниматься. Кругом, насколько хватает глаз, как сахарные головы, близкие и далекие, сияют округлые горные вершины и газурно блестят снежные поляны. По вечерам на необозримом темно-пепельном фоне гор, раскинувшихся под тобой, в провалах долин под высоким, резко отбитым небом дрожат красные звездочки — жгут костры. И кажется тогда почему-то, что и дымки видишь, как они ползут по складкам долин... И горько пожалеешь тогда, потужишь, что надо спускаться вниз, что нет в горах жилья, нет гостиницы, которая бы светилась во тьме окнами. Хоть бы одна! Нет, пусто и темно на десятки километров ночью в горах.

Давайте же поговорим теперь о закарпатской проблеме.

Карпаты — весьма удобные невысокие горы (порядка 2100 метров) с прекрасными спусками. Карпаты очень живописны. Они находятся сравнительно близко от многих городов европейской части Советского Союза. Если исключить Кавказ, приспособленный благодаря своему рельефу больше для альпинистов, и Кольский полуостров, находящийся в довольно суровых климатических условиях, то Карпаты для нас остаются наиболее удобным географически местом горного туризма. Если же говорить об Украине, на территории которой находятся Карпаты, то в смысле туризма и отдыха Украина имеет два района, поставленных в исключительные природные условия: Карпаты и Крым.

Прежде чем говорить о туризме, необходимо решить для себя вопрос: что же такое вообще туризм? С. Щербаков из Ужгородского облсовета по туризму считает, что журнал «Турист» должен печатать побольше маршрутных карт и рассказывать о методике походов. Журнал «Турист», вероятно, так и будет делать. Но разве туризм — это обязательная утренняя побудка на турбазах, построение на линейке, распорядок дня с некоторым казарменным оттенком, рапорты дежурному инструктору и глуповатая, я бы сказал, игра в вопросы-ответы: «Настроение?» — «Бодрое!» — «Аппетит?» — «Волчий!» Что-то уж очень примитивно понимают у нас в некоторых областных советах смысл туризма.

Нет, турист — это не обязательно тот, кто взваливает на плечи рюкзак с консервами, надевает кеды и лезет в гору до изнеможения, а по вечерам поет песни под гитару у костра или накручивает «Спидолу». А разве не турист старый человек, решивший провести какое-то время в горах? Или мать с детишками? Или целая семья, приезжающая просто отдохнуть и подышать горным воздухом, — разве они не туристы? А любители старины, рыболовы, охотники, байдарочники, лыжники, наконец, люди, жаждущие тишины и покоя, — разве не туристы? Человек может поехать за тысячу километров, чтобы просто пожить в хорошей уютной гостинице. Я видел старых и молодых женщин в Чехословакии, в Высоких Татрах. Днем они гуляли по окрестностям, по вечерам сидели в огромном холле «Гранд-отеля», разговаривали. Все они приехали в горы из Праги и были туристками. Всякий человек, которого любознательность позвала в дорогу, уже турист.

На турбазе в Ясинях встретили нас негостеприимно. Фотокорреспондентам не было разрешено внести в номер (даже на время!) аппаратуру. Корреспонденты звонили директору базы т. Бутенко домой, прося об исключении. Бутенко отвечал: «Никаких исключений!» И вот, чтобы не ходить за каждым пустяком в камеру хранения, стали мы на ночь глядя ходить по поселку и были в конце концов впущены на частную квартиру вместе с аппаратурой...

Меня тогда же, поздним вечером, в Ясинях стал занимать вопрос: почему Бутенко не обрадовал наш приезд? Ответ на этот вопрос я получил много дней спустя в Ужгороде от старшего инструктора облсовета по туризму С. Щербакова. Чуть ли не первыми его словами была фраза: «Нам рекламы не нужно!»

Вот, оказывается, в чем дело — не нужно рекламы. Не нужны корреспонденты. Без статей как-то спокойнее. Встретил туристов, устроил линейку, «физкультпривет!», и всё в порядке.

Но не будем обижаться на закарпатских туристских деятелей. Им действительно реклама не нужна. Нечего им рекламировать.

В самой высокогорной, а следовательно, и самой интересной части Закарпатья — на Раховщине всего несколько турбаз. Две из них я видел — в Ясинях и в Рахове. Обе небольшие, удобств почти никаких нет. В них могут жить только так называемые плановые туристы. Неплановые, как правило, ютятся по частным квартирам. Цена за койку на квартирах, как в Сочи или в Ялте, рубль в день.

Турбазы в Ясинях и Рахове являются как бы перевалочными. Турист проводит в них только первые и последние дни. Все остальное время он в походе, в горах. Ночевать ему приходится в приютах. Что представляет собой приют? Это бревенчатый, холодный и грязный дом, после вьюг, частых зимой, полузасыпанный снегом. Внутри тоже все переметено снегом. Печь разломана, топят по-черному, а проще говоря, жгут костер прямо в доме. Спят на двухъярусных нарах не раздеваясь. О санитарных условиях говорить, конечно, не приходится.

Давайте представим себе, что нужно маленьким городкам в горах, таким, как Рахов или Ясиня, — что нужно таким городкам, чтобы стать своеобразным центром горного туризма в нашей стране. Нужны гостиницы, пусть небольшие, а средние и даже совсем маленькие гостиницы, но числом побольше.

Нужны рестораны, бары, кафе, закусовые, столовые.

Нужны турбазы, хорошо, по-современному оборудованные, с достаточным количеством одноместных и двухместных комнат (сейчас поселиться на турбазе вдвоем с женой просто невозможно, вас разлучат на все время вашего отпуска).

Нужны подъемные канатные дороги, хотя бы на две-три вершины, расположенные вокруг города.

Нужны еще гостиницы и турбазы (и, конечно, рестораны и кафе) непосредственно в горах.

Нужны хорошие дороги к этим гостиницам и турбазам.

Нужны мотели, бензозаправочные колонки и ремонтные мастерские для автотуристов.

И нужно, наконец, достаточное количество магазинов для продажи туристам всевозможного спортивного инвентаря, одежды, сувениров.

Ничего этого в Закарпатье нет. Мало того, не предполагается! Не верите? В статье заместителя председателя Закарпатского облсовета по туризму Ф. Тарахонича я прочел, что в ближайшие годы в Закарпатье будет построено 137 четырехместных туристских домиков. А уже сейчас в Закарпатье приезжает несколько сот тысяч человек ежегодно, и количество приезжающих, надо думать, будет неуклонно расти.

Но не много ли всего я перечислил — всяких там отелей, турбаз и прочего? Думается, что не много. Мне довелось побывать в Закопане, на польском горном курорте. Встретили нас там настоящие извозчики. Сновали и раскатывались на поворотах извозчицьи санки, фырчали на остановках автобусы, с сухим, звонким стуком засовывались вниз, в багажники, лыжи. Лыжники вскакивали внутрь, автобусы, поднимая снежную пыль, бежали вверх. Раскачиваясь, порявкивая, ходили по городу на задних лапах белые медведи, обнимали нас, человеческими голосами предлагали сфотографироваться. Мулы и ослики катали ребятишек на маленьких санках. На всех витринах были скрещены слаломные лыжи, нейлоновые куртки, оранжевые очки, тобогганы и коньки. Везде по склонам гор разбросаны были пансионаты, санатории, отели. Вовсю работали подвесная дорога и фуникулер. Маленькие ребятишки под руководством инструкторов до-

вольно шустро съезжали с горок на лыжах. Всю ночь в барах и ресторанах не утихала музыка, всю ночь танцевали там туристы и пели лучшие эстрадные певцы Польши.

Нет, нет, я перечислил лишь самое необходимое для хорошего отдыха в Рахове или Ясинях.

Нас принимал первый секретарь Раховского райкома партии В. В. Орос. Вот краткая запись нашей с ним беседы.

– Рабочая сила? У нас ее больше чем достаточно. В районе у нас всего 1700 гектаров посевных площадей, тогда как на Украине у некоторых колхозов по 10 тысяч гектаров земли. Так что у нас наберется тысяч двадцать народа, не полностью занятого в сельском хозяйстве. Все эти люди рады будут получить работу на строительстве. Мы – за развитие у нас туризма. Чем больше будет турбаз, гостиниц, мастерских, дорог, тем лучше.

Кто должен строить дороги? Думаю, та организация, которая станет строить у нас турбазы и гостиницы. Это проблема, которую необходимо решить, иначе у нас ничего не выйдет. Центральный совет по туризму собирается строить турбазы, но строить дороги к ним не хочет. А нашему району средств на строительство дорог в горах не отпускают. Мы вынуждены поэтому проектировать свои турбазы внизу, возле дороги, связывающей нас с Ужгородом. Кстати, у нас на очереди строительство большой турбазы и подъемника на гору Менчул. За полчаса можно будет птицей взлететь вверх, и все Карпаты будут как на ладони.

Вообще из-за отсутствия дорог мы вынуждены отказываться от прекраснейших мест в горах. У нас есть где построить все, что необходимо туристу. У нас прекрасная охота. Мы могли бы продавать лицензии на отстрел оленей и кабанов. По рекам полно форели. Много памятников старины. Прекрасные национальные традиции, музыка, песни. Карпаты могут очаровать людей самых различных склонностей и увлечений.

Экономические выгоды от туризма? Безусловные! Есть много стран, где доходы от туризма играют чуть ли не главную роль в государственном бюджете. Судите сами – строительство и эксплуатация зданий и подъемников, занятость

населения, развитие торговли, развитие дорог, транспорта... Сразу и не перечислишь, А нам, между прочим, навязывают финские дома, тогда как у нас есть своя закарпатская архитектура, есть в изобилии лес и все что угодно для строительства. Лес нам доставляют из Архангельска. Ну ничего, мы, наверное, скоро начнем свой лес возить в Архангельск, и будет все хорошо...

Так, невеселым смехом закончилась наша беседа. А на другой день мы попали на Раховскую картонную фабрику. Я не стану здесь описывать работу цехов фабрики, об этом следовало бы написать отдельно и весьма подробно, а знакомство наше с производством было слишком бегло. Но мне хочется сказать о любви и уважении к рабочему, так сказать, вне производства. Фабрика со своим поселком — это как бы маленький город в городе. Видели мы там и водолечебницу, и поликлинику со всевозможной терапией, и Дом культуры, и оранжерею, и многое другое. Все это построено добротно, везде много цветов и зелени.

В том же Рахове, кстати, наискосок от турбазы, открыто в этом году прекрасное кафе «Эдельвейс». Такому кафе может позавидовать любой город. Значит, можно все-таки что-то делать и собственными силами. Понятно, большие работы должны производить мощные организации. Построить целый комплекс общественных зданий, сооружений и дорог не под силу и областному центру, не говоря уже о районном. Но хотя бы сохранить то, что уже было построено, содержать то, что есть, в образцовом порядке, в каком содержит, например, фабрика свой поселок — районные власти, безусловно, могли бы.

Давайте послушаем старшего инструктора Раховской турбазы И. В. Петкова, большого знатока края и энтузиаста развития туризма.

— Кто виноват в создавшемся положении? Самое странное, что никто в отдельности, а скорее, все мы вместе. Тут было несколько десятков небольших гостиниц в горах, каждая в среднем человек на двадцать. Уютные теплые гостиницы, где можно было посидеть у камина, принять горячую ванну, поужинать, выпить кофе. Все они одна за другой

пришли в полную негодность и теперь совершенно разрушены. Было у нас много асфальтовых дорог, чуть не на каждую вершину. За дорогами не следили, не ремонтировали, весенние воды их постепенно разрушали, и сейчас все они находятся в неисправности.

Были и постановления о строительстве новых турбаз, были и ассигнования. Но все это утоплено в бесконечных комиссиях, в выборе мест для турбаз, в невыносимо долгом составлении технической документации. Кажется, легче построить, чем составить документацию на строительство. Все сроки прошли, ничего не было сделано, и ассигнования нам закрыли.

Как обстоит дело со спортом? А никак. С 1965 года Украина устраивает в Закарпатье горнолыжные соревнования. Но соревнования эти у нас совсем не популярны. Ведь для того, чтобы совершить спуск с горы, спортсмен должен на эту гору взобраться. Несколько часов уходит только на подъем, о каком спорте можно говорить?

У нас есть заброшенная еще с войны обсерватория на Черной горе (2026 метров). Черная гора делится пополам между Ужгородом и Ивано-Франковском. Пока решали, какая область должна превратить это брошенное добро в турбазу, обсерваторию просто разломали и растащили. А там было несколько десятков прекрасных комнат, большой зал наверху, чуть не весь из стекла, дубовые панели внутри, дивное отопление. Все это разрушено. И асфальтовая дорога туда была, но она тоже разрушена и нуждается в ремонте. А между тем что может быть лучше турбазы или гостиницы прямо на вершине горы! Снегу там полно, для отдыхающих и туристов – раздолье... Я считаю, что и сейчас там можно построить турбазу, причем весьма дешево. Это будет, скорее, не строительство, а капитальный ремонт здания и приспособление его под отель или турбазу.

Мое отношение к канатным дорогам? Они нужны в горах как воздух. Любая, даже самая большая дорога оправдывает затраты на строительство в первый же сезон. Дорога может функционировать и летом, а ведь, не забывайте, у нас гостит по несколько сот тысяч туристов в год!

Итак, не только мне, но и всем, с кем я разговаривал, было совершенно ясно: в Закарпатье ничего почти не строится, а строить нужно много. Так почему же закарпатская проблема долгое время не привлекает внимания и не решается?

На меня в первый момент, признаться, напало уныние. В самом деле, чем может помочь Карпатам писатель? Но по дороге домой я представил себе одну яркую картину, и мне сразу полегчало. Я вообразил, что журнал с моей статьей попадет на глаза кому-нибудь из Совета Министров Украины. И что там за решением очередных государственных задач подумают и о Карпатах, вспомнят, что Карпаты – это жемчужина Украины. И будет послана в Закарпатье авторитетная и быстрая в решениях комиссия. И комиссия эта сделает свои выводы, которые доложит Совету Министров и Совету профсоюзов Украины. А эти уважаемые организации вынесут деловое решение, и закипит работа в Закарпатье!

Ведь пятилетка в действии, в действии директивы XXIII съезда партии!

Мне хочется закончить свою небольшую статью тем, с чего я начал: приезжайте в Закарпатье, там бродит в горах ваше счастье, ловите же его, торопитесь – теперь лето в разгаре, скоро золотая осень, а там и зима...

Есть ли у вас хорошие лыжи?

1966

Румынские впечатления



Начну с известной всем истины: люди не похожи друг на друга. У меня есть дядя, который терпеть не может путешествовать. Он вполне доволен тем, что его окружает. Что же касается меня, то я вполне доволен своим ремеслом. Но иногда я говорю себе, что родился слишком поздно и что, родись я столетием раньше, я бы непременно сделался путешественником.

Мне не присуще чувство предпочтения какой-то определенной страны или какого-то народа. На меня производят равное впечатление все страны, в которых я бывал и чье небо хотя бы на несколько дней оказывало мне гостеприимство.

Что могу я сказать о Румынии? Что могу сказать я, русский, румынскому читателю о его земле? Я могу лишь поблагодарить тех, кто дал мне возможность увидеть реки и озера Румынии, ее поля, ее города и деревни.

Чувство грусти не покидало меня все время, пока я находился в домике Крянгэ в Хумулешти. Грусти? Да, — потому что я испытывал неизъяснимое желание остаться там на несколько дней, в этом доме, который не был ни дворцом, ни помещьем, в простом дворе с плетеной изгородью, с сараем, колодцем, — потому что в доме были книги и обитала такая богатая душа...

А Пятра-Нямц — что за чудесный городок! Там я видел свадьбу, а на главной улице повстречал военный оркестр; день был жаркий и солнечный, музыканты, раздувая щеки, играли марш, и в его звуках, казалось, искрились солнечные лучи. Какое удивительное смешение прошлого и настоящего!

Потом я очутился в монастыре Воронец. Наружные его фрески были для меня настоящим откровением, никогда не забуду яркую синеву стен, неба — единого синего фона. Я

взобрался на колокольню и, как в детстве, ударил в колокол. И стоял и слушал, как тает неуверенный звук... Все незабываемо: деревня, лежащая в долине медленной, с плавными изгибами, реки, домики, похожие на наши, русские... Я попросился в дом к одному крестьянину: во дворе лаяла привязанная к сараю собака, пахло навозом, хозяин угощал кислым молоком — его вкус я ощущаю и теперь...

Что еще было во время этого путешествия? Мы подъехали к монастырю Агапия. Вечерело. В церкви шла служба, и, уж не знаю почему, служили пять священников. Стояли симметрично разделенные на две группы монахини, по очереди пели, тихо мерцали поставленные в кукурузную муку свечи...

Было уже совсем темно, когда я вышел из церкви... Откуда-то сверху, со стены, слышался стук, можно было подумать, что кто-то звонит в деревянный колокол (десять лет назад я слышал точно такой же стук у нас в России, ночью, в одном провинциальном городке — сторож стучал в колотушку). Мне сказали, что это «тоака». Звуки шли откуда-то издалека, из давних времен, и я почувствовал, как на меня нахлынули сладостные воспоминания; однажды в мае, во время белых ночей, где-то под Архангельском, в редком ельнике на болотистом берегу я услышал глухариное токование. Звуки, которые издавали эти древние птицы, в точности походили на «тоаку».

Кеиле Биказулуй... Скалы сходились, нависали над нашими головами, сердце у меня сжималось, единственным желанием было — скорее выбраться из этих «адских врат»... а внизу поток... Стикс... и лодочник — не кто иной, как Харон.

Красное озеро напоминает кладбище. Мертвые деревья! Это место наводит ужас: из воды торчат верхушки деревьев, будто кресты, стерегущие могилы, а на берегу неожиданное веселье — туристы, молодые девушки, транзисторы, все танцуют, поют, едят и пьют!

Я путешествовал не один. Со мною была — настоящая героиня! — моя беременная жена. В день нашего приезда в Бухарест Захария Станку и его жена пригласили нас на обед. И первый гост, который произнес Захария Станку, был за здоровье того, «кто незримо присутствует среди нас». Я не

сразу понял, кого он имел в виду. И только потом оценил, какой это был чудесный тост — за здоровье еще не родившегося человека.

Не знаю почему, но мы с женой были уверены, что родится мальчик. И в то время как наша машина мчалась со скоростью 120 километров в час, пока мы скитались по горам и весям, пересекая горы и долины, мы мучительно подыскивали ему имя. Моей жене нравилось имя Иван, мне оно не нравилось, но ничего другого я не мог придумать. Через две недели после того как мы вернулись из Румынии, родился наш сын. И я, пользуясь правом отца, назвал его Алексеем, Алешей.

Двенадцать часов дня, я у себя на даче в Абрамцеве. Под окном моей комнаты цветет шиповник, чуть дальше красные маки, в лесу поет дрозд. А через девять часов с Киевского вокзала уходит поезд Москва — Бухарест. Этим поездом еду и я. Снова увижу Румынию и опять почувствую себя счастливым. А пока Алеша, которого привлекает стук и вид пишущей машинки, дергает меня за ногу — хочет тоже постучать на машинке. Алеша — прелестный мальчик, с волосами пшеничного цвета. Так говорят все, не только я, его отец.

Несколько дней назад я сказал своему отцу, что мне хотелось бы, чтобы все вместе мы поехали на машине в Литву, чтобы он увидел, какой это прекрасный край. Он неожиданно вздохнул, поглядел в окно и сказал, что не хочет ехать в Литву. «Я знаю, что Литва — прекрасный край, как, впрочем, и другие замечательные места. Но после того как их увидишь, тяжелее будет умирать».

— Как так? — спросил я.

— Да так! Чем больше прекрасного в жизни увидишь, тем труднее будет с этим расстаться.

— Это верно! — сказал я.

Я задумался. Сначала я с ним согласился. Потом передумал. Я решил для себя, что умирать в любом случае — плохо, независимо от того, видел ты или нет в жизни прекрасное. Поэтому лучше, пока живешь, бродить по свету. Любить всех людей. Любить всю землю.

Четыре времени года



ОДА АРХАНГЕЛЬСКУ

В дорогу! В дорогу!
Я хочу говорить о дороге.

Среди всевозможных моих занятий, писаний, увлечений, волнений бывает минута, когда я как бы останавливаюсь вдруг с разбега. Это долетает до меня тихий зов Севера. Ослабленный расстоянием и временем, он все-таки глухо тревожит меня, и нет в ту минуту для меня сладчайшего занятия, чем достать «Путеводитель по Северу России», изданный еще в 1899 году, и приняться за чтение. Знакомо ли вам то грозное ощущение, когда про себя уже звонко и твердо решил: «Поеду!» — но путешествие еще впереди, в каком-то счастливейшем будущем, а пока... Да вот посудите сами:

«От Онеги по западному берегу залива начинается Поморье — перл Архангельского края, колыбель исконно-русского торгового флота, сокровищница русской народности. Из Поморья крестьяне и судовладельцы снаряжают «покруты» на Мурманские промыслы и ходят на своих судах в «Нордвегу» и на «Финмарку» для меновой торговли. Поморы живут светло и богато. Их дома, одежда и стоящие по поморским селам, деревням и посадкам старинные, времен тишайшего царя Алексея Михайловича, деревянные церкви служат образчиками русского вкуса и русского зодчества, самобытно развивавшихся на нашем Севере».

Или:

«Кроме Малых Кармакул на Новой Земле, залив Моллера образует много бухт и становищ: к югу от М. Кармакул лежит губа Корельская, становища Таранцево и Гусиное; к северу Большие Кармакулы в Кармакульском проливе и залив Пуховой».

В становище М. Кармакулы в 1877 г. основано постоянное поселение самоедов, которых в настоящее время живет здесь 16 семейств. Для них выстроена здесь русская церковь, школа, дом для священника-иеромонаха и для фельдшера...»

Читая такие вот разные разности, отыскивая все эти места на карте, знаешь, конечно, что чуть не 70 лет прошло с тех пор, когда писалась эта книжка, что все на Севере переменялось, но не переменялась география: реки, заливы, скалы остались, и льды остались, и по-прежнему только в июле можно трогаться на шхуне в Карское море, и по-прежнему, уже твердо решив ехать, путешественник все равно будет волноваться: куда ехать?

Но куда бы вы ни поехали, не миновать вам Архангельска! Не важно, что город этот славен и описан множество раз, сегодня я пишу ему Оду. Сегодня думаю я о всех своих друзьях-архангелогородцах как о лучших людях на свете. Я бывал в Архангельске во все времена года (не видал я только весеннего ледохода и разлива на Двине) и каждый раз испытывал глухое мощное и постоянное волнение при мысли об истории этого города и об обилии дорог, открывавшихся передо мною.

ГОЛОС ИЗВНЕ: А! Да что это за город! Вон про него говорят: «Доска, треска и тоска...» — слышали небось?

Это говорят дураки! Это говорили всегда всякого рода вербованные, забравшиеся на Север за заработком, озабоченные только рублем и сроком, когда они, набив карман, уедут восвояси. А вот вам сначала немножко истории, самой ранней истории:

«В 1553 г. Лондонское общество *Mystery Company and Fellowship of Merchant Adventures for the Discovery of Unknown Lands* по настоянию знаменитого мореплавателя Себастиана Кабота снарядило для отыскания северного морского пути в Китай экспедицию из трех кораблей: «*Вона Esperanza*», в 120 тонн, под командою начальника экспедиции адмирала сэра Гуго Виллоуби, «*Вонаventure*», 160 тонн, под командою Ричарда Ченслера, и «*Вона Confidentialia*», 90 тонн, под командою Корнелия Дурфорта. Сильная буря в Северном Ледовитом океане разъединила эти суда. Виллоуби и

Дурфорт с экипажем в 65 человек погибли на Мурманском берегу в губе Варзина, а Ченслер, тщетно прождав своих товарищей в норвежской бухте Варде, отправился на восток, вошел в Белое море и 24 августа 1553 г. бросил якорь в Двинской губе у Ненокского Усолья против Никольского устья, на котором уже существовал Корельский монастырь Св. Николая. Об его прибытии было донесено чрез Холмогорского воеводу царю Ивану Васильевичу Грозному, который вызвал Ченслера в Москву, осыпал его милостями, полюбил его за ум и за длинную бороду и отправил с ним в Англию послом к королю Эдуарду VI вологжанина Иосифа Непею.

Прибытие англичан к устью Двины имело громадное значение для Московского государства. С этого времени открылись первые ворота в Европу, которая также пришла в немалое волнение при виде возникших отношений Московии с Англиею. Шведский король Густав Ваза писал датскому королю о необходимости препятствовать этим сношениям, вредным для всех окрестных государств и городов Балтийского моря и могущим дать России преобладающее значение в Европе. Сам Ченслер в своих записках говорит, что если б Россия только осознала свое могущество, никому бы с нею не совладать».

Я приехал в Архангельск 403 года спустя после Ченслера, в 1956 году. Моста через Двину тогда и в помине не было, московский поезд останавливался на левом берегу. Не знаю, какой погодой встретила Двина Ченслера, а я шел тогда, в конце августа, в мокрой толпе, по мокрым грифельным доскам перрона, справа тянулись какие-то заборы, пакгаузы, носильщиков не было, да и со снабжением, как я сразу понял, дело было швах — чуть не до земли сгибаясь, тащили пассажиры всякую продукцию, круглились в авоськах арбузы, помидоры краснели на ватных спинах и грудях, баранки и белые батоны выпирали из кирзовых сумок. Жалкая какая-то провинциальность и тридцатилетняя, по крайней мере, отсталость глянули на меня через все эти чулки в рубчик, ватные стеганые бурки, телогрейки, кепочки без козырьков, которые вошли в моду в Москве весной 1942 года, сквозь все эти штаны шириной в 45 сантиметров, пиджаки

с плечами, выделанными как будто из жести на березовых колодах, темно-серые прорезиненные плащи... Бог ты мой! Как редакторы потом вырубали из моих рассказов все эти приметы северного быта пятидесятых годов, как изгалялись потом надо мной критики, обвиняя в отрыве от жизни!

Но вот вместе с толпой протиснулся и я на пароходик, построенный в Гамбурге в 1871 году, протиснулся к борту, вдохнул ветряной запах мокрых опилок и торфа, запах речной воды... Все на пароходике были свои, переговаривались, шутили, чуть не каждого встречал кто-нибудь, и каждый, как мне с завистью думалось, ехал домой чай пить, целовать кого-нибудь, жену или просто свою девочку, а я был одинок в этой толпе. Да, дорогие мои братья туристы, тогда не было на всем Севере человека, который приехал бы сюда просто бродягой-поэтом, просто поглядеть, что же стало с Белым морем и со славным городом Архангельском со времен Ченслера. А если кто и приезжал в командировку, так по своим командировочно-толкаческим делам выбивать всякие там досочки и брусочки.

Но не в этом дело. А дело в том, что, как только свистнул наш пароходик, как только, забурлив и залопотав, откачался от родной земли-матушки, как только пошел он в великий свой поход на другую сторону, так я и погиб во цвете лет, пропал навсегда, потому что увидел я нечто!

Увидел я Двину во всем ее размахе, в широте главного рукава дельты, увидел неисчислимые пароходы, стоявшие на якорях по всему фарватеру — от Исакогорки до Соломбалы, увидел буксиры, мотодорки, катера, лодки, буи, боны, пирсы, пристани, ледоколы, спасатели, шхуны, масляные пятна на воде, пространство вширь и в высоту, хоть и было сумрачным небо, светлую, красивую издали линию домов, растянувшуюся на десять, или двадцать, или даже тридцать километров, трубы, радиомачту, тянущиеся к аэродрому на Кег-острове самолеты, портовые краны, горы угля на левом берегу и цепочку серебристых баков с горючим для теплоходов... И все это открылось передо мной сразу, захватило меня врасплох.

С тех пор прошло десять лет — целая эпоха в жизни человека, минута в жизни города. Но за эту минуту Архангельск

успел измениться и расшириться. Вот только не знаю, стал ли он красивее, как-то я не уверен в этом, уж очень неказисты (и не в одном только Архангельске) все эти так называемые типовые проекты, пятиэтажные коробки все на один манер и «без излишеств», то есть — плоские и невыразительные.

Нет, нет — я тут же одерну себя! — конечно, эти невыразительные коробки во сто крат лучше недавних бараков и развалюх, в которых жили люди, получившие теперь квартиры в новых домах! Кто спорит? И кто посмеет сказать, что новые каменные дома хуже домов на Опытном поле возле Фактории? Жалко только нынешнего труда и денег, потому что через десять — двадцать лет эстетические критерии градостроительства изменятся, надо думать, и в Архангельске, и куда тогда будет девать эти нынешние коробки? Опять ломать?

А эстетика Архангельска изменится на глазах. Куда подевались все эти прорезиненные плащи, чудовищные костюмы и прочее образца 1956 года? По улицам шествуют пижоны — и рубашечки у них нейлоновые, и пиджаки с разрезами, и все такое, и девочки с прическами, и обувь там современная, хорош, хорош все-таки город, хорош с его трудом, со всеми его заводами и лесобиржами, портами и кораблями, хорош лицами людей и их одеждой, с магазинами, в которых есть уже товары. Есть товары, братья туристы, а ведь если вспомнить — что было? Водка-сучок всегда была, не стану врать, что было, то было, и спиртиска был, спички были, конечно, и соль была. А насчет всего прочего — извините, не было ни колбасы, ни мяса, ни рыбы свежей, ни овощей... Плоховато жили в Архангельске. Значит, есть перемены?

ГОЛОС ИЗВНЕ: Ну, есть... Давай дальше.

А что дальше? Что сказать мне о городе, который полюбил я до того, что даже завидую писателям, которые там родились, — Е. Коковину, например, или С. Писахову. Да вот, кстати, великий путешественник Степан Григорьевич Писахов, позавидуйте ему, туристы! Родился он в Архангельске, занимался живописью в художественном училище барона Штиглица, был исключен в 1905 году за революционные настроения. Неистребимая любовь к земле бросила его в странствия. Он пошел паломником в южные страны (па-

ломничество позволяло ему путешествовать на льготных условиях, т. е. подешевле). Он побывал в Константинополе, Смирне, Бейруте, Яффе, Иерусалиме, на Мертвом море, в Александрии, Порт-Саиде, Каире и в Нильской долине. Он обошел и объехал Италию и Грецию. Два года он жил в Париже, занимаясь живописью в Свободной академии. Этих поездок уже вполне достаточно для одного человека, не правда ли? Но Писахов плавал еще со знаменитыми исследователями Арктики Д. Рудневым и В. Русановым. Он принимал участие в поисках экспедиции Г. Седова, спутников Нобиле и потом экипажа Р. Амундсена. Он много раз плавал на зверобойные промыслы в Карское море и с первыми экспедициями по установке радиостанций на Севере (Югорский Шар, Вайгач, Маре-Сале). Он побывал, наконец, на Земле Франца-Иосифа, на о. Колгуеве и, кроме того, на Онеге, Мезени и на Печоре. И целый год он жил на Новой Земле, в становище Малые Кармакулы. Ненцы любили его.

Писахов не был путешественником-профессионалом, ученым, хотя такой «послужной список» составил бы честь любому землепроходцу. Он был художником, а в конце жизни писал сказки. Сказки его написаны поистине с раблезианским размахом, картины его можно увидеть в Архангельском музее. И картины, и сказки его — только о Севере! Теперь он умер.

Отцы города! А что — много ли у вас таких художников и писателей, как Писахов? При всем уважении к талантам Архангельска, я сам отвечаю: нет, не много! И как хорошо было бы оказать старику хоть посмертный почет, назвать его именем какую-нибудь, хоть самую маленькую, новую улочку. Только обязательно новую! А то вон у нас в Москве переименовывают вековые улицы, а новые называют, например, так: «Мазутный проезд».

ГОЛОС ИЗВНЕ: Нашел чем упрекать! Я тебе говорил, там доска одна, одной доске почет. У них и музея-то порядочного нет, и памятники старины они все разрушили, нет у них историзма никакого!

Тут я молчу, нечего мне возразить этому чертову ГОЛОСУ.

А что, дорогое начальство, разве такой музей нужен городу, какой есть теперь у вас? Разве у Архангельска нет славы и истории, начиная с петровских времен и до сегодняшнего времени?

А где ваш «Святой Фока», дорогие северяне? На дрова пошел. А пробивался же «Фока» к Северному полюсу когда-то, как и норвежский «Фрам»! Но «Фрам» стоит в стеклянном павильоне, весь мир об этом знает — «Фрам» стоит. А где ваш «Юшар», добрый старый милый «Юшар» — пароход, который знали по всему Северу, по всем деревням и становищам? Да что «Юшар» — теперь вот собрались и «Георгия Седова» разрезать.

Сколько было экспедиций в Арктику за последнее столетие, сколько славных имен, кораблей, самолетов, сколько сделано открытий, сколько раз мир с восторгом и трепетом следил за русскими, а потом и за советскими подвигами в Арктике! Все эти подвиги начинались, подготавливались в Архангельске, все экспедиции выходили из Архангельска.

Где теперь найти лады, на которых русские поморы еще лет шестьсот назад хаживали туда, куда Макар телят на гонял? А вот в Норвегии ёлы викингов нашли! Какой-нибудь даже второстепенный норвежский путешественник становился национальным героем, проведя в Арктике всего одну зимовку. А сколько зимовок — и где! — прожили наши мужики во тьме и хладе! Значит, не лаптем щи хлебали, значит, герои были, а и были-то их движителями холодный ветер, да Никола-угодник, да дерзость и пытливый ум.

Может ли сравниться в славе с Архангельском какой-нибудь другой северный край? Но то море и льды и далекие дикие острова. А земля? Сколько было понастроено всего, сколько написано, вырезано, нарисовано там и сям по всему архангельскому краю. Какие церкви, избы, амбары, какие лады, шхуны и карбаса! Немного же уцелело, прямо надо сказать.

Славу Богу, есть разговор об устройстве под Архангельском огромного музея северного зодчества под открытым небом.

Архитекторы! Отцы города! Позвольте слово молвить! Был я лет пять назад в Румынии. И вот в Бухаресте повезли

нас в такой вот открытый музей народной архитектуры. Чего теперь скрывать, стыдновато нам было ходить среди всех этих хат и церквей — у нас-то такого и в заводе не было. Да и принцип музея хорош был: все дома были открыты, в каждом доме вся обстановка собрана, вплоть до чашек и ложек, и печки стояли, и даже веник в сенях непременно был. Взойди и сядь на лавку, щупай что хочешь, а в церквях можно было и в колокол позвонить, и то там, то тут по всему парку звонны раздавались — туристы любопытствовали, названивали.

Но и не в этом еще, не в собранной обстановке домов, не в незапертости их главная прелесть была, а в том, что парк-музей этот своими очертаниями в точности повторял карту Румынии, и церковь, перевезенная с юга страны, ставилась на юге этого музея. Турист как бы путешествовал по Румынии, посещал разные ее области. По-моему, отличная идея разбивки парка-музея по географически-этнографической карте!

Но где же обещанная ода Архангельску? В самом деле, какой город без недостатков? Где времена года, обещанные в заглавии? С чего начать, с зимы, что ли?

Я был в Архангельске зимой, и все дни, которые я там провел, слились у меня в один морозный красный день. Впервые я приехал в Архангельск зимой, впервые переходил Двину пешком — мост тогда был еще не достроен, он рос на моих глазах, сначала из воды торчали только верхушки устоев, потом они поднимались все выше с каждым годом и уже обрастали стальными фермами, но в ту зиму мост еще не был готов, — шел я пешком по заледенелой тропе вечером к далеким огням города, и так была широка Двина, что мне временами казалось, что я никогда не дойду до огней. Слева на меня все подувало морским ветром, и было тепло, сыровато даже. А утром грянул мороз.

Город был завален снегом. Деревья были толсты от инея. Трамваи почти не ходили, редко-редко красный храбрец, подпрыгивая и визжа, влачилсЯ по нескончаемой улице Павлина Виноградова. У остальных перестали открываться двери и вертеться колеса от мороза. Автомшины шли каждая в облаке пара, как паровозы. Девушки снимали свои модные пальтишки, надели валенки и полушубки. Больше двух-

сот метров нельзя было пробежать по улице, и в магазинах было особенно много народа — отогревались. На замерзшем ледяном поле Двины, на его белизне впаяны в лед были желтые, белые, черные туши парашютистов. Все корабли извергали к небу розовые облака пара. И то один, то другой начинали вдруг задумчиво, густо гудеть. Почему они гудели зимой? Я этого и до сих пор не знаю...

Солнце было красное и в полдень висело где-то над Кегостровом, над самым горизонтом. И все дома, все деревья в инее, все заснеженные снегом крыши были красны. Солнце стояло в полдень так же низко, как летом в полночь где-нибудь под Амдермой. Воздух состоял из тончайшей розовой пыли. Это была ледяная пыль. Над головой то и дело рокотали пролетающие вертолеты, но их не было видно за ледяной дымкой. Голубое небо просвечивало сквозь розоватость, но вертолеты не были видны... Зима! Я потом улетел на Белое море, на зверобойку, две недели летал с вертолетчиками надо льдами, две недели видел, как бьют тюленей, видел сверху кровавые тропинки к ледовым лагерям, потом высажен был на льдине возле шхуны «Моряна», перебрался на шлюпке через разводье, влез через борт на скользкую от жира палубу, и для меня началась новая жизнь.

После каждого приезда я писал что-нибудь о Севере. Мои очерки стали переводить на всевозможные языки. Чего скрывать — писателю приятно, когда его читают в Италии, в Америке, во Франции. Но тут, честное слово, мне было более радостно за моих героев! Северные фамилии их — Малыгин, Котцов, Жуков, Попов — появлялись на шведском, датском, немецком и прочих языках, и как же мне приятно было думать о том, что сидит сейчас где-нибудь в Праге или в Марселе какой-нибудь мой читатель, попивает себе там бордо или кальвадос и читает про поморов, на свой испанско-английский лад выговаривая наши имена.

Я не мог пользоваться всем этим богатством, которое каждый раз открывалось передо мной, мне нужно было приобщить к своему счастью кого-нибудь, и я в очередную поездку на Север взял с собой Женю Евтушенко. Ах, думал я, пусть он напишет о Севере стихи! Мы были вместе в Архангель-

ске два раза, и оба раза на нас обрушивалось столько впечатлений, что мы прямо-таки стонали от наслаждения, клянясь друг другу не забывать Север. И я рад еще был просто за поэзию, потому что Евтушенко после многих своих американских и парижских стихов написал потом обширный цикл стихов о Севере. «Ночи Архангельска — сплошное быть может...», «Она из Амдермы кричала, сквозь ветер, льды и лай собак...» Будь моя воля, я бы посылал по очереди на Север всех самых талантливых московских поэтов и прозаиков.

Никогда не забуду нашего ночного отхода в Карское море на зверобойной шхуне «Моряна». В час ночи отошли от Холодильника, и во все время, пока она шла двинским фарватером, мы не спали. Как сначала тихо, почти нежно двигалась она, как потом развила ход до полного, как плавно поворачивала, следуя фарватеру, как капитан Саша Матвеев, нахохлившись, в дождевике почему-то, хоть небеса были чисты, стоял наверху, на ходовом мостике, и похаживал и поглядывал, вперед, то с одной, то с другой стороны, и как время от времени покрикивал в переговорную трубу в рубку: «Лево руля!», «Еще левей!», «Одерживай!» — и как печально и важно гудели нам то от одного, то от другого пирса огромные корабли, гудели нашей крошечной шхуне, идущей во льды, к Новой Земле и Диксону, прощались с нами, желали попутного ветра, и мы им отвечали!

Проснувшись на другой день, я подумал сначала, что мы еще по Двине идем, так ровен и плавлен был наш ход. Но уж мы были в море, давно прошли Зимнегорский маяк, прошли Вепревский...

— Гляди, Юра, скоро Золотица, где мы с тобой зимой были, — сказал прекрасный наш стармех, Илья Николаевич Попов. — А вы еще не завтракали, ребята? Так идите скорей, на камбузе, едри его мать, пошарьте!

Так началась наша жизнь на водах. А помнишь, Илья Николаевич, как мы с тобой сидели на льдине в Карском, как стреляли по несметным уткам, как орали на весь ледовитый океан: «Попал!» — «Нет, это я попал, едри ее мать!»?

И все-таки нету времени в Архангельске лучше лета! Какое солнце, какие розовые ночи, какая жара! В Двине купа-

ются ночью, на вокзалах столпотворение, время летних отпусков, на рынке, в магазинах помидоры, яблоки, черешня, асфальт плавится, все ищут тени, весь архангельский рейд занят судами всех стран, грузят лес, приходят из Атлантики тральщики, уходят в море экспедиционные суда.

В июле трогаются в путь рыбаки и зверобои — туда, во льды, к вечному солнцу. Как летом многолюдно в ресторанах, какие прощания за столиками — еще бы, многие уходят на два, на три месяца! — какие встречи: «Здорово, откуда? Куда?» — витают в воздухе головокружительные названия морей, островов и портов! И вы можете подкатить с компанией друзей-моряков к ресторану «Север», уже отрешась от берега, уже простившись мысленно со всем любимым и дорогим, но поднимите немного глаза — мемориальная доска: от этого пирса пятьдесят лет назад уходил на «Св. Фоке» к Северному полюсу Георгий Седов! И сидят потом моряки за чистыми столиками, в кителях, в рубашечках, при галстуках, еще бы — не на вахте! — чокаются нежно друг с другом, любят друг друга, впереди долгая дорога, и впереди еще два часа до отдыха. А потом мчатся по городу такси, ах, куда же они мчатся ночью или на рассвете? — на Факторию, к Холодильнику, на другую сторону, к угольному порту или в Соломбалу; выскакивают на берег, зорко выглядывают свое судно, свой дом. А потом уходят на Север, в свет, в чистоту — и по всей Двине то тут, то там раздаются долгие прощальные гудки кораблей, и просыпается тогда оставшийся на берегу, и сердце его мучительно сжимается от грусти, от зависти, от зова дальних далей...

Нет! Не ездите вы на Север, не губите себя! Всю жизнь тогда не будет он давать вам покоя, всю жизнь будет то слабо, то звонко манить к себе, всю жизнь будет видеться вам просторный город — преддверие неисчислимых дорог. Эх! Маху дал наш Петр Великий — не на Неве ему строить надо было свой парадиз, на Двине!

*Литературные
заметки*



Северный волшебник слова



Современная советская литература щедра талантами. Но мы не всегда любопытны к нашему словесному богатству. В самом деле, стоит начать считать, как одних только первостепенных талантов наберутся у нас десятки.

Вероятно, то, что я напишу сейчас о Писахове, не будет открытием. Вероятно, о нем писали уже, но писали, по видимому, редко и очень давно. Наши литературоведы забыли о сказках Писахова, будто их нет давно, будто они когда-то были, как был когда-то князь Владимир Красное Солнышко.

В Архангельске я пошел к Степану Григорьевичу Писахову. Дом его мне показали — все знают. Вышел — маленький, с желтыми усами книзу, страшными бровями, с длинными густыми волосами — помор, поэт и художник. Вышел человек редкого дара — дара, почти исчезнувшего у нас: человек, сумевший почувствовать тончайшие переливы народного сказа, народного склада речи.

Он ввел меня к себе, сразу заговорил, засмеялся, стал необычайно привлекательным. И подарил мне свежую книжку своих сказок, написав на ней: «С приветом не от того Севера, которым пугают людей юга: моржи, медведи, льды, дикие люди, наполняющие город Архангельск... — от Севера, красой своих просторов венчающего земной шар!»

Потом я уехал на Белое море. Я давал эту книгу рыбакам, поморам, морякам, ее читали вслух с таким вкусом, с таким упоением, какого достаиваются, право же, немногие писатели.

Писахов — гиперболичен. Он буен в поэзии точно так же, как в жизни. Писахов летал с польским летчиком Нагурским на Новую Землю. Было это в давние времена. Я видел этот самолет на картине Писахова. Он похож на этажерку.

Писахов мог в полном одиночестве отдаться творчеству на крохотном островке в Ледовитом океане. Стоит вообразить этот островок в двадцать метров шириной, седой мох, камни, океан вокруг, тускло-красный диск незаходящего солнца, оторванность от всего мира — есть от чего похолодеть! Писахов же провел время на этом клочке земли в сладком волнении — он писал картину.

Писахов мог купаться в полынье. Он мог ходить на паруснике в страшные северные штормы, мог зимовать в таких условиях, о которых теперешние поморы знают только по рассказам стариков.

Может быть, поэтому его сказки так пронзительно озорны, так жизнерадостны и так богаты необычными поэтическими смещениями.

Герой его сказок Сеня Малина — всемогущий. «Простое дело, — говорит он, — снег уминать книзу: ногами топчи, и все тут. А я кверху снег уминаю, — когда снег подходящий да когда в крайность запонадобится». Он пьет звездный дождь, саркастически смеется над всем злым и спит на берегу, натянув на себя море.

Язык Писахова — явление первородной мощи. Язык этот, может быть, и есть тот самый язык, на котором говорили вольные новгородцы, заселившие четыреста лет назад Белое море. Язык Писахова древен и чист по складу своему, по ритму, по выразительности — и он же весьма современен по социальной заостренности, так как почти все сказки Писахова социальные.

Сказки создавались у нас десятилетиями, создавались объединенными усилиями сотен и тысяч словотворцев. Сказки «обкатывались», шлифовались, канонизировались, пока, наконец, не получалось песни, из которой слова не выкинешь.

Написать сказку, равноценную народной, пустить ее в народ — труд великий, и может сделать это только большой поэт, только человек, безмерно знающий дух и характер своего народа.

Этими качествами Писахов обладает вполне. Но он не только поэт-сказочник, но еще и поэт-художник. И так же,

как в сказках, вечной темой для своих картин Писахов избрал Север. Полотна его по своей тончайшей прелести, по настроению, по выражению национальному стоят, на мой взгляд, в одном ряду с полотнами Поленова, Нестерова, Левитана!

Если скандинавы, главным образом норвежцы, открыли всему миру свой Север, то наш русский Север — Белое море, побережье Кольского полуострова, острова в Ледовитом океане — поэтически еще, к сожалению, мало тронут. Мало, мало поэтов видели наш Север: Пришвин, Шергин... и тем дороже должно быть всем нам творчество Писахова.

Степану Григорьевичу Писахову исполняется в этом году восемьдесят лет. Юбилей редкий и дата славная, и должна она быть отпразднована не только архангельцами, но и всеми нами, всей страной.

Необходимо издать наиболее полный сборник сказок Писахова. Необходимо устроить в Москве выставку полотен этого оригинального художника. Нужно бы, по примеру Павла Радимова, издать альбом картин и сказок Писахова.

Нужно поклониться этому северному волшебнику слова, этому редкому таланту пера и кисти.

1959

Вдохновенный певец природы



В 1843 году Сергей Тимофеевич Аксаков купил подмосковное имение Абрамцево и переселился туда со всем семейством.

Он был далеко не молод к этому времени — ему шел пятьдесят второй год, — он часто болел и начал слепнуть. Давно тосковал Сергей Тимофеевич по спокойной деревенской жизни. Хотелось послушать перед смертью токование тетеревов, ржание кобылиц на рассвете, плеск рыбы в розовом тумане.

После переселения в Абрамцево страсть рыболова и охотника вспыхнула в нем с новой силой. Он уже не видел поплавок и мог ловить только на донные удочки с колокольчиками. Но опять, как сорок лет назад, дрожали у него руки и кружилась голова от восторга, когда он слышал нежный звон колокольчика после поклевки, когда вываживал крупную рыбу, ощущал ее тяжесть и ее упругую силу.

После переселения в Абрамцево произошло чудо, немало удивлявшее впоследствии историков литературы. Воспоминания детства и юности, проведенных в Оренбургской губернии, в диких степных краях, нахлынули на него с необычайной силой. Он оглянулся на прожитое и, пожалуй, впервые понял, что всю жизнь делал что-то не то, что-то не главное. Тогда Аксаков начал писать книгу. Он начал писать ее в таком возрасте, в каком другие уже откладывают перо. Книга называлась «Записки об ужении рыбы». Аксаков писал о самых счастливых минутах своей жизни, о повадках рыб, о насадках, о характере рек, о рыболовных снастях. Это была книга натуралиста, книга-пособие, но дышала она такой любовью к закатам и восходам, к росистой земле, таким восторгом перед родной природой, что выход ее ошеломил со-

временников. Книгу читали даже те, кто ранее был равнодушен к природе, кто никогда не держал удочки в руке, никогда не выезжал дальше Охты в Петербурге или Сокольников в Москве.

А старый Аксаков между тем, побуждаемый, одобряемый восторженными письмами читателей, начал новую книгу, еще более удивительную и прекрасную, — «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии».

Память его оказалась удивительно свежей и острой. Он закрывал глаза — и к нему прилетали милые кулички и юркие бекасы. Он чувствовал запах ружейного дыма и дурманящий дух болот, видел дрожащую на стойке собаку, слышал нервный взлет тетеревов, гром выстрела и торопливое шуршание своих сапог по траве.

Аксаков плохо видел и не мог писать. Он диктовал домашним в своем покойном, несколько сумрачном кабинете. Сердце его билось от воспоминаний. Ему хотелось смеяться и плакать, голос его срывался от волнения. Но он диктовал глуховато и размеренно и находил удивительные по поэтической точности и выпуклости слова. Неоспоримой достоверности описаний его мог бы позавидовать любой ученый-натуралист.

Талант Аксакова был своеобразен. Ничего «сочинить» Аксаков не мог, он писал только правду, только то, чему сам был очевидцем. Все творчество его поэтому автобиографично.

Книги «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова внука» — яркий пример того, как биография одного человека перерастает в биографию целого края, в биографию общества. Жестокость и буйство помещиков, красоту степей, жизнь крестьян, обычаи и порядки, изустные легенды — всё это Аксаков описывает, не упуская ни одной мелочи, на всем подолгу задерживая свой взор.

Он будто заново учится писать — непритязательно, спокойно, великолепным народным языком. По остроумному замечанию одного из современников, Аксаков пишет так, будто не прочитал до этого ни одной книги.

Новые его произведения ничем не похожи на статьи о театре и литературе, в которых ранее с таким блеском проявлялись его ум и разностороннее образование.

Ему все кажется, что он мало помнит, мало может сообщить читателю. О каждой своей вещи он думает как о последней и вкладывает в нее всю свою душу. И каждый раз, заканчивая книгу, Аксаков с изумлением убеждается, что не рассказал и десятой доли того, что знал, что воспоминаний хватит еще на целую книгу. И он начинает следующую книгу, уже как самую последнюю, — и опять оказывается, что он спел еще не все свои песни.

Умер Аксаков в ночь на 30 апреля (12 мая) 1859 года. За четыре месяца до смерти он продиктовал дочери последнее свое произведение — «Очерк зимнего дня».

Влияние Аксакова на всю последующую литературу было огромно. Пейзаж стал неотъемлемой частью русской литературы. Певцами родной природы стали потом многие прекрасные поэты — от Тургенева до Пришвина. Но первым певцом ее был Аксаков, и тихие песни его звучат для нас через столетие.

Щедрость души



Герои рассказов молодого писателя Глеба Горышина, как правило, немногословны. Да и сам автор будто бы немногословен. Точнее — он экономен. Нет нужды говорить, сколь завидно это качество. Качество это завидно вдвойне еще потому, что, обогащенное внутренней поэзией, пульсирующим подтекстом, оно позволяет писателю выражать то, что трудно выразимо словом.

«Хлеб и соль» — так назвал Горышин свою первую книгу. Это название символично. Мы богаче, конечно, но хлеб и соль все равно первородны, а Горышин ищет в жизни настоящее.

В рассказах Горышина приходит и уходит любовь, льют дожди, текут реки, гонят по рекам плоты, валят лес и сажают яблони... Все обыденно, все просто. И говорится об этом как бы небрежно, как бы вскользь. Но в самой своей сути эти рассказы туги и наполнены ощущениями мощными. Люди у Горышина очень обыкновенные: иногда слабые, простые, часто неуверенные в себе, совсем не героические внешне, но обладают они чем-то таким, что делает их неизмеримо выше любого героя западной литературы. Это высшее обязательно присутствует в каждом рассказе, независимо от того, печален он или радостен. Это высшее — государство, народ, партия. Во имя народа, во имя партии живут и борются эти люди.

У героев Горышина есть цель. И всегда эта цель — главная. Хлеб и соль жизни. Люди Горышина — строители. Каждый из них закладывает по камню в фундамент будущего.

Может быть, начало строительства в Сибири будет иметь потом такое же значение для человечества, как открытие новой части света. Увидеть и запечатлеть это нача-

ло — долг литературы. Показать пионеров Сибири еще необжитой, девственной — задача для писателя увлекательнейшая.

Почти все рассказы Горышина — о Сибири. Горышин пишет о том, что знает не из вторых рук о тех местах, где сам был, о тех людях, с которыми сам ел хлеб и соль. Он пишет свои рассказы, наполняя их внутренним восторгом перед героями, не потому, что писать рассказы о Сибири — модно, а потому, что Сибирь томительно взяла его за сердце.

Над рассказами Горышина хочется думать. Их хочется перечитывать — первый признак таланта. А прочитав их, хочется самому сделать что-нибудь настоящее. Хочется научиться гонять плоты по холодным рекам, хочется не спать ночи, убирая хлеб. Или вести машину по степи. Или посадить хоть одну яблоню в своей жизни.

Рассказы Горышина мобилизуют. Есть книги, судьба которых — срывать людей с места и бросать их в далекое. Есть книги, прочитав которые люди едут на Белое море или на Камчатку или становятся моряками или охотниками... Авторы таких книг представляются мне людьми щедрыми на красоту и добро. Они проходят, одарив вас улыбкой, поманив вас куда-то, так что сожметса от глухого волнения сердце.

1959

Добрый талант



Два года назад Детгизом была издана книжка «Подслушанный разговор». Она была изящна, украшали ее гравюры, полные тончайшей лирической прелести. Мало было стихотворений в этой миниатюрной книжечке, но в каждом из них присутствовало то, что сразу позволило выдвинуть автора их в число поэтов — не забавников, не рифмачей, донельзя довольных своей малолетней аудиторией, но редких людей, обладающих счастливым даром быть детским поэтом в самой своей сути. Автором этой книжки был Юрий Коринец, тогда еще студент Литературного института.

Юрий Коринец выпустил новую книгу стихов — уже по-настоящему детгизовскую, большого формата, с яркой обложкой, с заманчивым названием «Триста тридцать три жильца». В этой книге уже новые стихи, и содержание их, и форма таковы, что можно уже с совершенной уверенностью сказать: в детской литературе появился новый талант!

Стихотворение, давшее название книге, написано с такой изобретательностью, наполнено таким современным содержанием и в то же время так просто по форме, так легко запоминается, что, несомненно, станет надолго одним из любимейших стихов нашей детворы.

Оно полно доброго юмора и бесконечной любви к старому дому и его жильцам.

Но это лишь зачин книги, лишь одна сторона многообразного дарования поэта — легкая, полная неожиданностей и прекрасной «детскости», идущей от считалки, от детских игр, от детского фольклора.

А вслед за ним следуют еще и еще стихи, в которых поэт-то добр, то грустен, то ироничен, то весел, то серьезен. И в каждом стихотворении – особый мир, глубокая, интересная мысль.

В стихах «Где лучше?» сталкиваются философия сидня, лежебоки и философия поэта и труженика. Стихи «Тишина» напоены таинственностью ночных шорохов, загадочностью мира, светом радостных звуков. В «Лесном состязанье» – четкий ритм считалки, калейдоскоп сценок, суматоха движений, звериный крик и шум. А стихотворение «Лапки» – полузагадка, написанная с той безыскусственностью, которой владеют только мастера.

В поэме-сказке «Колесо» (удостоенной, кстати, премии на всесоюзном конкурсе) Ю. Коринец разворачивает перед юным читателем глубоко поэтическую картину рождения и развития колеса. Поэта упрекали за то, что он не вывел в этой сказке героя. Но герой в сказке есть, и герой этот – народ. Тот изумительно талантливый народ наш, который и английскую блоху подковал когда-то, и вот теперь создал и атомную электростанцию, и спутники, и многое другое – поистине чудесное. Народ этот отменно талантлив, богат на выдумку, изобретателен, щедр и весел, – и сказка написана именно в народных интонациях:

Земля вертелась,
Время шло.
Стояло на земле село.
Окружено лесами,
Отражено в воде –
Угадывайте сами,
В каком году и где.

Наконец, в книге есть стихи, в которых поэт наиболее серьезен, в которых с наибольшей силой ощущается глубина мысли и широкий взгляд на жизнь. Одним из лучших в книге стихотворений такого плана является «Сеть»:

Она была растением в поле
И нитью плотного клубка.

И сетью станет поневоле
В искусных пальцах рыбака.
Петля к петле,
Петля к петле —
Он вяжет нить суровую.
И вот однажды на земле
Раскинет сеть
Готовую.
Сеть попадет в морскую глыбь
И оживет, задышит,
Когда впервые стаю рыб
Внутри себя услышит!
Потом сушиться будет сеть,
Сеть будет в воздухе висеть
На длинных кольях, над землей,
Блестящая рыбьей чешуей.
Порой в ней промелькнет звезда
Иль водорослей борода...
Но старятся и сети,
Как все на этом свете!
Вода морская сеть разъест,
В ней нити станут рваться,
И с глубиной подводных мест
Придется ей расстаться.
Всю сеть порежут на куски
И сделают половики.
И, непривычная к теплу,
Задавленная горем,
Сеть будет сохнуть на полу
И долго пахнуть морем.

Я привел это стихотворение полностью как яркий пример того, какой проникновенной может быть современная детская поэзия, как далеко ушла она от сладеньких дореволюционных стишков, с какой высокой серьезностью может говорить такая поэзия со своим маленьким читателем.

Почему-то принято заканчивать короткие рецензии поспешными и невнятными перечислениями недостатков книги — перечислениями, обычно ровно ничего не говорящими читателю.

Добрый талант

Я не хочу делать этого прежде всего потому, что знакомство с поэзией Юрия Коринца ничего, кроме радости, не принесло мне. И потому, что сам он о своем творчестве думает, вероятно, больше и мучительней, чем кто бы то ни было.

1960

Песнь человеку и природе



В прошлом году я больше месяца пробыл на Севере, на Белом море, видел незаходящее солнце, мрачные, пустынные берега, блеск моря, сильных людей, жизнь которых проходит в постоянной опасности, в борьбе с суровой природой. И по мере того, как я узнавал все это ближе и ближе, я все больше огорчился, что я не художник и не могу увезти с собой эту красоту запечатленной на полотне. Потому что героические деяния заражают, потому что жизнь мужественных людей возбуждает желание стать лучше и хоть чем-то походить на них.

И вот когда я увидел картины Рокуэлла Кента, мне стало радостно, что на свете живет художник, любящий Север, думающий о людях как о борцах и видящий мир наполненным чистыми красками жизни.

В картинах его нет тематического разнообразия — все они как одна песнь человеку и природе, солнцу и морю, горам и вересковым долинам, домам и шхунам. На его картинах горят могущественные солнца, окруженные багровыми световыми кольцами; ослепительной белизной сверкают снега; страшные ледники обрываются в изумрудные моря; работают у моря на берегу люди, и у людей этих ноги как столбы, плечи широки, лица мудры и спокойны; дома этих людей строены навек — не только для себя, но и для правнуков.

Север — страшный, ледяной и немой и первозданно прекрасный, завораживающий — дышит на нас с картин Кента. Чтобы так писать о земле, надо чувствовать ее всем телом — ногами, глазами, ушами, руками, — надо падать на нее в изне-

можении, надо строить на ней дома или рубить лес, надо ходить по ней, смотреть на нее неустанно, надо плавать по ее морям и рекам, ловить рыбу, есть и пить с ее обитателями и вместе с ними страдать или петь песни, когда уходит горе и приходит радость.

И Рокуэлл Кент все это познал. Родился он в 1882 году в США, в семье фермеров — потомков ранних переселенцев. Кончил школу в Нью-Йорке, изучал архитектуру в Колумбийском университете и занимался живописью у художника Роберта Генри. Жизнь его была полна приключений и борьбы. Он был ловцом крабов, чернорабочим, плотником и моряком. Жил в суровых краях: на острове Монхенган у побережья штата Мэн, на Ньюфаундленде, на Аляске, на Огненной Земле.

Он сам построил шхуну и отправился на ней в плавание по Северной Атлантике. Потерпев кораблекрушение возле берегов Гренландии, больше года жил у эскимосов. Он влюбился в этот народ и приезжал потом в Гренландию еще два раза.

Но Рокуэлл Кент не только ловил рыбу, строил дома и лодки, рыл землю и укладывал кирпич, — натруженными руками он еще рисовал и писал книги, потому что видел, как прекрасны люди и мир, и не мог остаться равнодушным к их красоте. Он писал картины и книги о том, что видел и чем жил. И это были настоящие картины и книги, потому что, наверное, нет на свете ничего прекраснее, чем человеческая жизнь на нашей такой крохотной в мироздании, но в то же время и такой великой планете.

Рокуэлл Кент принадлежит к числу величайших гуманистов нашего века не только потому, что он прекрасный художник и писатель, но еще и потому, что высшей своей гражданской целью поставил он борьбу за мир. Он не уединился на ферме в Адирондакских горах, которую выстроил своими руками, нет, он смело вступил в бой и одержал немало побед в борьбе за самое святое право человека — жить мирно на земле.

Сейчас Кенту семьдесят девятый год. Он отец пятерых детей, дед шестнадцати внуков и прадед трех правнуков.

Картины его находятся в лучших галереях мира. Рокуэлл Кент — член Всемирного Совета Мира и председатель Национального комитета американско-советской дружбы.

Вместе с супругой Рокуэлл Кент гостил недавно в Советском Союзе. Он уехал с надеждой снова побывать у нас, оставив нам жар своей дружбы и свой прекрасный дар — восемьдесят картин, свыше восьмисот рисунков и гравюр и большое собрание книг.

И советские люди, которые смотрят теперь эту замечательную коллекцию, с уважением и признательностью думают об этом мудром и большом человеке, который своими произведениями учит верить в жизнь, правду и красоту.

1961

Памяти Хемингуэя



Жизнь великого американца Эрнеста Хемингуэя оборвалась. Он погиб 2 июля у себя дома в Сан-Вэлли, рано утром, собираясь на охоту.

Произведения Хемингуэя издавались во всех странах огромными тиражами. Миллионы американцев, итальянцев, русских, французов, немцев, англичан читали и перечитывали его книги. Статьями и книгами о нем, вышедшими на всех языках, можно было бы заполнить отдельный зал крупнейшей библиотеки.

Почему же всем честным людям на земле так дорого имя Хемингуэя? «Нет на свете дела труднее, чем писать простую, честную прозу о человеке, — говорил Хемингуэй. — Сначала надо изучить то, о чем пишешь, затем нужно научиться писать. На то и другое уходит вся жизнь».

Людей и жизнь Хемингуэй изучал на всей планете. Его всегда влекли те события, при которых человек вынужден победить или умереть, при которых человек обнажается весь — во всей своей красоте или мерзости.

Не так уж часто случается, когда писатель, даже гениальный, бывает во всем подобен лучшим своим героям. Хемингуэй был как раз таким писателем. Это был крепкий, мужественный человек — солдат и охотник, боксер и рыбак. Он сражался в Италии в первую мировую войну. Он был свидетелем испанской трагедии 1936 года. Он исколесил бесчисленное множество боевых дорог, попадал в катастрофы, падал с самолетом в джунглях Центральной Африки. Тело его было исполосовано шрамами от десятков ран. Он дружил с бойцами-матадорами, рыбаками, охотниками, рабочими, матросами, потому что сам был бойцом.

Больше всего Хемингуэй ненавидел фашизм и войну и именно поэтому участвовал в качестве солдата или корреспондента почти во всех войнах первой половины XX столетия.

«Те, кто сражается на войне, — писал он, — самые замечательные люди, и чем ближе к передовой, тем более замечательных людей там встречаешь; зато те, кто разжигает, затевает и ведет войну, — свиньи, думающие только о неприкрытой экономической конкуренции и о том, что на этом можно нажиться».

Он знал цену и крови, и человеческому мужеству, и поэтому не было для него большего счастья, чем похвала солдата, матадора или рыбака.

Своим творчеством Эрнест Хемингуэй открыл новую страницу в истории мировой литературы. Он стал писать в начале двадцатых годов и никогда не мечтал о легкой писательской доле, — он мечтал только о долгой жизни, чтобы успеть написать обо всем, что видел и думал.

Его рассказы, романы и пьесы написаны в принципиально новом стиле — стиле двадцатого века. Он жил и писал в мире, потрясаемом катаклизмами, в мире, где человек одинок и несчастлив. И потому многие романы и рассказы его наполнены такой едкой горечью, а герои его — настоящие люди, жаждущие счастья для себя и других, — так часто умирают. Произведения Хемингуэя полны большой правды о человеке и веры в него.

За послевоенные годы значение Хемингуэя как писателя и антифашиста выросло еще более. Особенно любили его произведения у нас в СССР, любили и думали о нем, и жадно ловили слухи: «Хемингуэй приветствует революцию на Кубе!», «Хемингуэй вручает Фиделю Кастро кубок за победу в рыболовном соревновании!», «Хемингуэй принимает Микояна!», «Хемингуэй собирается к нам», «Хемингуэй на своей моторной лодке бороздит воды Гольфстрима!..»

Мы гордились им так, будто он был наш, русский писатель. Мысль о том, что Хемингуэй живет, охотится, пишет по тысяче прекрасных слов в день, радовала нас, как радуется мысль о существовании где-то близкого, родного человека.

Его загорелое лицо, твердые серые глаза столько раз смотрели на нас со страниц газет и журналов. Его борода, белая и широкая, напоминала нам бороду Льва Толстого.

Радостно было сознавать, что этот человек живет в одно время с нами и так же, как мы все, напряженно размышляет об этом времени.

Герои Хемингуэя часто умирают трагической смертью. Такой же смертью умер на 62-м году жизни и автор книг об этих героях. Он как-то написал: «В молодости смерти придавалось огромное значение. Теперь не придаешь ей никакого значения. Только ненавидишь ее за людей, которых она уносит».

К счастью для нас, живых, смерть не уносит с собой всего человека. Остаются его дела — дома, которые он построил, или книги, которые, он написал...

Почему нам не нравится критика



ОТВЕТ АЛ. ДЫМШИЦУ

22 декабря в газете «Литература и жизнь» Ал. Дымшиц напечатал статью «Работать дружно». В этой статье Дымшиц обижается на писателей за неуважительное к критике отношение. Дымшиц пишет, что писатели не любят критику, не понимают ее, не признают. Что писатели нападают на критику. Что критики становятся «жертвами беспринципной полемики».

Нам действительно не нравится критика. Но не вся критика, а та ее часть, которая вот уже многие годы занимается дискриминацией молодой литературы. Нам не нравится небольшой, но назойливый отряд критиков, которые видимо, поставили перед собой одну цель: ругать. Ругать во что бы то ни стало — и не стесняясь в наборе выражений.

Я говорю о дискриминации именно молодой литературы, так как выругать писателя заслуженного, старого у этой части критиков не хватает смелости, хотя, может быть, и хотелось бы.

Все те немногие годы, которые я занимаюсь литературой, я беспрестанно читаю оскорбительные, уничижительные статьи о молодых писателях. Я все время слышу одни и те же слова: «отставание», «незнание», «уход от действительности», «антинародность», «клевета» и так далее. В своей неприязни к молодым писателям критики эти доходят до такой? откровенности, что часто статьи о литературе принимают вид фельетонов, все время чувствуешь, что пишут эти критики не о поэтах и писателях, а о проходимцах, рвачах, о стилягах и преступниках.

Не успел я напечатать свои первые рассказы в 1956 году, как меня тотчас назвали «натуралистом», затем я стал «декадентом», «неореалистом», «эпигоном», «антигуманистом», «абстрактным гуманистом», писали, что я смотрю на жизнь «из темного угла», что я «клевету на действительность», что я «серый нытик», что рассказы мои «идейно порочны», наконец, совсем недавно на страницах «Крокодила» критик Назаренко написал, что моей рукой водит «дух Смердякова»!

Я не привел здесь и десятой доли тех оскорблений, которые сыпались на меня по мере опубликования моих рассказов, да и не стал бы я писать об этом, если бы дело касалось одного меня. Дело, к сожалению, касается всей молодой литературы — всех талантливых поэтов и прозаиков, появившихся у нас после XX съезда.

Много лет пишет Евтушенко и много лет его имя с прибавлением оскорбительных эпитетов не сходит со страниц печати. «Духовная нищета», «кумир московских стилияг», «порнография», «порочность», «безыдейность», «буржуазный душок», «северянинский душок» — не критики ли писали все это? Стоило Евтушенко написать хорошее стихотворение «Считайте меня коммунистом!», как тотчас услышал он оскорбительный вопль критика: «Я — против!» Со страниц «Сибирских огней» обливают грязью поэта Вознесенского за прекрасные стихи о Сибири. Ему угрожают даже физической расправой. Так прямо и пишут: «Если узнают якуты о поэме Вознесенского, ему не поздоровится!» Прозаика Аксенова называют «фальшивобилетчиком». Прозаиков Бондарева и Бакланова, которые дали нам сильные и мужественные картины Отечественной войны, называли «ремаркистами», «натуралистами», «смакователями грязи» и так далее. Не было у нас талантливого молодого писателя или поэта, в которого тотчас не вцепился бы этот маленький, но назойливый отряд критиков, о котором я пишу. Ругали и ругают прозаика Конецкого, ругают Гладилина, стоило поэтессе С. Евсеевой выступить с первой подборкой стихов в «Юности», как тотчас обрушилась на нее критическая дубинка. Поэтесса Б. Ахмадулина за всю свою жизнь напечатала, наверное, стихотворений пять, а из оскорблений по ее

адресу можно составить целую коллекцию. Здоровый, очень русский поэт Цыбин обвиняется в национализме, в сермяжничестве, в грубости!

Это ли критика?

Дымшиц обижается в своей статье на «Тарусские страницы». Там было сказано, что литератор, который не видит, как пушист снег на Никитском бульваре, — не литератор. Дымшиц считает, что Кочетов получил «оскорбительный укол». Оскорбления здесь я никакого не вижу, во-первых, а во-вторых, Дымшиц почему-то не обижается на Кочетова, который пишет буквально следующее: «Сейчас в литературе толчется кучка пижонов. Пишут они о том, что увидели из окна троллейбуса на московских тротуарах, о том, как пушист снег на Никитском бульваре, — чирикают, выходят со своим чириканьем на подмостки «творческих вечеров», аплодисменты девиц со средним образованием принимают как знаки всенародного признания и, «упоенные дешевым успехом, все дальше отстраняются от большой народной жизни».

Кого подразумевает Кочетов под пижонами? Чьи стихи называет он чириканьем? Да все тех же молодых поэтов Вознесенского, Ахмадулину, Евтушенко, Цыбина, Окуджаву... «Богема», «будуарные поэты» — пишут о молодых. А эти молодые читают свои стихи в огромных аудиториях — в МГУ, в Политехническом музее, на площадях и в магазинах, по телевизору, в школах и институтах, у памятника Маяковскому, наконец! Стихам этих поэтов аплодируют тысячи рабочих, студентов, инженеров, геологов, все ищущие, жадные, молодые, любящие слово и мысль. На вечера этих поэтов почти невозможно попасть, и кто-то уже печатно признавался, что если бы объявить вечер стихов Евтушенко и Вознесенского в Лужниках, то дворец Спорта был бы переполнен! Это ли «будуар» и «богема»? Это ли «пижоны» и «чириканье»? А «девицы со средним образованием» и «дешевый успех»? Оскорбляются уже не только поэты, но и их читатели — огромная, разноликая, горячая аудитория, но это Дымшицу не кажется странным.

Для чего же пишется все это? Зачем на протяжении многих лет шельмуется творчество каждого мало-мальски та-

лантливого поэта или прозаика? Что и кому хотят доказать эти критики, оскорбляя молодую литературу?

Между тем новое поколение писателей и поэтов, пришедшее в литературу после XX съезда, — талантливо, звонко и сильно. Разнообразие форм у этих писателей удивительное, знание и использование русских и западных прекрасных традиций (то, что критики называют «эпигонством» и «подражательством») — великолепное.

Радостно, что литература наша завоевывает все большее признание на Западе, что книги наши не только переводят там, но что книги эти все чаще становятся в центре внимания, рождают целые литературные бури.

Не нужно мешать этому мощному потоку талантов, довольно уличать в «безыдейности», в «отрыве от народа» всех подряд — и Конецкого, и Тендрякова, и Аксенова, и Гладина, и Вознесенского, и Евтушенко, и многих, многих других.

«Работать дружно» — призывает Дымшиц. Но ведь мы только отвечаем неприязню на неприязнь. Мы пишем о любви, о труде, о дождях, о весне, об одиночестве и содружестве, о страданиях и о преодолении страданий, о великом и о низком — мы сами не всегда довольны своей работой, нам хочется лучше и больше, мы ошибаемся и исправляемся. И во всей нашей работе нам всегда помогала и нас ободряла настоящая критика, та критика, в которой мы находим страсть и нежность, философию и гнев, и тонкость мысли, и глубокое понимание дела, которому мы все служим.

А те критики, которые пишут о нас неуважительно, злобно и несправедливо, которые приклеивают к нам одни оскорбительные ярлыки, — такие критики нам только мешают. Они напоминают нам горькую чеховскую шутку насчет слепня, который жалит работающую лошадь. Так кто же виноват, что между нами и этими критиками нет дружбы?

Уж во всяком случае не писатели!

25.12.61.

Ответы на анкету журнала «Вопросы литературы»

(1962, № 9)¹



1. Опыт мой, вероятно, тот же, что и у большинства моих сверстников. В детстве и юности — война, жизнь мрачная и голодная, затем — учеба, работа и опять учеба... Словом, опыт не особенно разнообразен.

Но я склонен отдавать предпочтение биографии внутренней. Для писателя она особенно важна. Человек с богатой внутренней биографией может возвыситься до выражения эпохи в своем творчестве, прожив в то же время жизнь, бедную внешними событиями. Таков был, например, А. Блок.

Печататься начал я в 1952 году. В каком-то сборнике вышла у меня одноактная пьеса «Новый станок».

2. До сих пор я не выделял себе какую-нибудь проблему особенно. Мне кажется, что каждый писатель, имеющий смелость причислять себя к настоящей литературе, занят всю жизнь одним и тем же кругом проблем.

¹ Анкета «Молодые — о себе» содержала следующие вопросы: 1. Какой жизненный опыт предшествовал началу Вашей литературной работы? Когда и где были опубликованы Ваши первые произведения? 2. Какие проблемы, характеры, конфликты современности Вы считаете актуальными? Как Вы изучаете жизнь, как собираете материал для своих произведений? 3. Как Вы понимаете долг писателя в формировании в людях новых, коммунистических качеств? 4. Какие традиции в классической и современной литературе близки Вам? Какие искания в области художественной формы представляются Вам наиболее перспективными? 5. Кто из писателей старшего поколения оказывал Вам творческую помощь, в какой форме она выражалась? 6. Ваши ближайшие творческие планы. — *Сост.*

Счастье и его природа, страдания и преодоление их, нравственный долг перед народом, любовь, осмысление самого себя, отношение к труду, живучесть грязных инстинктов – вот некоторые из проблем, которые меня занимают. Эти же проблемы, по-разному поставленные, я постоянно встречаю в произведениях всех наших наиболее талантливых прозаиков и поэтов.

Жизнь специально я не изучаю и материалов не собираю, кроме тех случаев, когда едешь по заданию редакции. Я вообще не понимаю этого термина – «изучение жизни». Жизнь можно осмысливать, о ней можно размышлять, но «изучать» ее незачем – нужно просто жить.

Я много езжу, и после каждой поездки выходит у меня рассказ, а то и два, – иногда много времени спустя после поездки.

Но это выходит как-то само собой.

3. Я не думаю, что литература сразу и непосредственно влияет на жизнь человека и на его нравственное состояние. Тому пример хотя бы многие несправедливые, нечистоплотные критики, которые, конечно, прочли и Толстого, и Чехова, и Хемингуэя, – прочли и ничему не научились.

И все же я верю в воспитательную силу литературы. И думаю, что писатель, всю жизнь свою проповедующий добро, правду и красоту в человеке, все-таки возвышает нравственные качества своих современников и потомков – тех, конечно, кто имеет охоту читать и думать над прочитанным. А насколько глубоки бывают качественные изменения в человеке под влиянием литературы – не берусь судить. У каждого по-разному, вероятно.

Важно только, чтобы писатель совершенствовался нравственно сам – тогда он сможет и будет иметь право учить чему-то других. Низкий духовный уровень писателя неумолимо сказывается на его книгах. Читать эти книги или неинтересно, или грустно. А иногда стыдно.

4. Традиции честности перед собой и читателем.

Что же касается исканий, то форма должна служить идее. И наиболее плодотворны те искания, в которых «взыскующий» стремится с наибольшей полнотой и силой высказать свой замысел.

А в общем, каждый ищущий, если он талантлив, приходит в конце концов к простоте.

5. К. Паустовский написал мне года четыре назад совершенно ошеломляющее письмо. Кроме того, много хорошего говорили и писали мне и В. Панова, и Е. Дорош, и В. Шкловский, и И. Эренбург, и М. Светлов... Я уж не говорю о том, сколько доброго сделал мне покойный Н. И. Замошкин, в семинаре которого я был пять лет.

И я эти добрые слова хорошо помню и радуюсь, что в свое время были у меня такие талантливые наставники. Спасибо им!

6. Со страхом и надеждой я приступаю теперь к антивоенной повести. Вот, кстати, важная проблема, может быть, самая важная сейчас, и страшно, что можешь написать об этом недостаточно сильно.

Как я хочу написать об этом честно и сильно!

1962

О Лермонтове¹



В 1958 году мне захотелось написать рассказ о Лермонтове и Пушкине. Меня заняла мысль, почему Лермонтов, который боготворил Пушкина, не был знаком с ним. Мне нужно было посмотреть на Неву, на Мойку, и я поехал в Ленинград. Темен этот город в конце декабря, быстры в нем слабые дни и медленны ночи. И вот в один из таких дней я долго сидел в гостинице, смотрел на Исаакий, ждал, пока рассветет, но все не рассветало, а когда настал день, я пошел в дом Пушкина на Мойке.

Не знаю, как сейчас, а тогда лежали там на подоконниках, в папках, похожих на обложки ресторанных меню, отпечатанные на машинке записки, выдержки из дневников и писем тех, кто был возле Пушкина в последние его часы на земле.

Обо всем было там написано — о том, как Пушкин забывался и опять приходил в себя, как просил пить и морошки, как звал друзей, прощался. И кто что говорил, и кто приезжал.

Это не литература, это просто торопливые, краткие записи друзей, которые понимали, кто умирает на красном диване в кабинете.

В доме, в квартире все теперь приблизительно. Книги не те и диван не тот, мебель не та, что была при Пушкине. Но одно там не приблизительно. Есть там небольшой стенд, под стеклом — жилет, наполовину спаленная свеча и светлая лайковая перчатка. В жилете этом стрелялся Пушкин, свеча горела возле гроба при отпевании, а перчатка — Петра Вяземского. Другую он бросил в гроб Пушкину.

¹ Название дано составителями. Ответ на анкету журнала «Вопросы литературы» (1964, № 10).

У всех русских есть какое-то горькое, вековое сожаление о Пушкине, даже вроде бы чувство вины... Пушкина убили, а он был молод, около тридцати восьми лет — это ли возраст для писателя! Тридцать восемь лет ему было, вот что страшно, вот что нас мучит и сейчас.

Лермонтову же было неполных двадцать семь.

Образ его смутен, загадочен для нас. Это потом уже, когда стал он мертв и гениален, как о далекой звезде, говорили о нем, что был он хорош, обаятелен и велик во всяких своих поступках. Потом, когда друзья и не друзья кинулись припоминать, то припоминали только хорошее и много при этом привирали.

Зато когда он был мальчик еще, когда он был гвардейцем, гусаром, поэтом только для друзей, всерьез его никто не принимал. Упоминания о нем в письмах и дневниках его знакомых были редки и почти всегда неприязненны. По этим дневникам и письмам выходило, что сумрачен он был, желчен, некрасив, хром, неблагодарен, циничен...

Царь его ненавидел, причем ненавидел откровенно, открыто. Почему? Не любил царь и Пушкина, но тому он многое спускал. По отношению к Лермонтову он был жесток. По одной версии, узнав о смерти несносного поручика, он сказал: «Туда ему и дорога!», по другой — «Собаке собачья смерть!».

Лермонтов собирался выйти в отставку. Он был гусар в полном смысле этого слова. Он устал к двадцати шести годам и жаждал заняться литературой.

Не то удивительно, что он устал от службы. Удивительно, как он успевал, таскаясь по российским дорогам, по Кавказу, стоя в нарядах, пируя с друзьями, — как он успевал писать свои высокие, горчайшие стихи!

Как бы между делом он закончил и беспрестанно улучшал, отделявал своего «Демона». Он написал множество стихотворений, чуть ли не каждое из которых было поводом для статей Белинского. Он создал, наконец, своего «Героя» — все эти разнообразные главы дотоле невиданной в русском языке прозы.

Мало того, он задумывал уже исторический роман. Эпоха Екатерины II, Отечественная война 1812 года и современная ему жизнь — вот было содержание его будущего романа. Он хотел эпопеи. Это о нем с восхищенным испугом говорил долго спустя Лев Толстой: «Если б жив был Лермонтов, то не нужны были бы ни я, ни Достоевский».

Все это хорошо известно, и я лишний раз напоминаю об этом, потому что действительно страшно подумать, что бы написал еще этот изжелта-смуглый поэт с сумрачными глазами.

Но какой бес сидел в нем, какой рок, какая судьба гнала его все ближе, ближе к обрыву на Машуке? Зачем, едва прощенный, опальный армейский офицер тотчас по прибытии своем в Петербург появляется на балу у Воронцовой, в присутствии Михаила Павловича? Зачем почти тотчас дерется он на дуэли с Барантом? Мало ему было Кавказа на первый раз? А он знал ведь из «Свода военных постановлений», что участники дуэли и их секунданты рассматриваются как «умышленные убийцы» и им грозит, как крайняя мера, «лишение всех прав состояния, наказание шпицрутенами и ссылка в каторжные работы»!

Наконец, что ему был Мартынов? Неужели в нем он видел врага, неужели в Мартынове для него слились и российское крепостничество, душливое самодержавие, цензура, жестокий свет — словом, все, что он ненавидел?

А эти условия дуэли — непременно стреляться до трех раз и пистолеты самого крупного калибра! Был ли враг ему Мартынов? Если был, то зачем стоял Лермонтов у барьера с пистолетом, поднятым вверх? Или он хотел еще раз испытать свою судьбу, уподобиться своему странному герою-фаталисту?

Совсем не то было в деле с Пушкиным. Тому Дантес был враг, враг личный, и недаром, уже смертельно раненный, лежащий на снегу, он все-таки стрелял в Дантеса и, когда попал, подбросил в радости пистолет и закричал: «Браво!» А тут? «Ведь и Мартышка, Мартышка здесь!» — радостно говорил Лермонтов Столыпину в первый же день свой в Пятигорске. А в день дуэли — вишни в картузе... Почти мирная беседа, когда ехали они верхом к обрыву бок о бок.

И опять, опять, как в случае с Пушкиным, друзья не смогли удержать его от рокового шага. Да и были ли у него там, в Пятигорске, друзья, то есть люди, которые понимали бы, на кого они все вместе, по выражению того же Лермонтова, «в сей миг кровавый» поднимали руку? Нет, конечно, не они поднимали, не они, — поднимал Мартынов, и нехотя поднимал, ведь они дружили когда-то, и если даже он не понимал, какой человек стоит перед ним на обрыве, все же Мартынов не Дантес был. И еще прибавим — не установленная, но весьма вероятная, умелая, скрытая рука жандармов, направляющая, ставящая эту трагедию, сделала свое дело.

И никто не написал о нем тогда, как Одоевский о Пушкине: «Солнце русской поэзии закатилось...» Глухо дошла в Петербург весть о смерти поэта. А между тем Лермонтов был именно солнцем русской поэзии. И после смерти Пушкина не было на Руси поэта блистательнее, чем Лермонтов.

Ему шел двадцать седьмой год. Убийство — всегда убийство, и нет для него оправдания. Но, убивая Лермонтова, убивали не только человека — вычеркивали блестящую главу из русской национальной истории.

Звон брегета



1

Еще далеко было до солнца, еще в темноте скрипели и пищали возы, в немногих магазинах со скреготом отворялись двери и ставни, еще безжизненно-холодны были огромные окна дворцов и особняков.

Но по темным, с редкими пятнами тускнеющих фонарей улицам торопился уж мелкий чиновный люд. В подвалах, на чердаках, в обшарпанных бедных домах загорались слабые желтые огни, и свет из окон сквозь замороженные стекла туманно падал на снег, а по лиловому небу летели первые черные галки и все в одну сторону, все молча. И колебался над городом — далеко и близко, явственно, густо и отдаленно, еле различимо, — колебался ровно и ритмично колокольный звон: звонили к заутрене.

Чуть ли не к десяти часам взошло наконец солнце, и поднималось оно медленно — свирепо-холодное, дымное, к десяти часам только засияли под ним розовым серебром купол и колонны Исаакия, замглилась тусклой иглой Петропавловская крепость, неестественно выпрямился Медный всадник, восстал Зимний дворец, и бросила на Дворцовую площадь тень свою шестерка коней на арке Главного штаба.

Солнце взошло будто затем только, чтобы взглянуть, не исчезла ли, не рассыпалась ли прахом за ночь великолепная столица. И увидев, что не исчезла, тут же подернулось мглой облаков. Так начинался этот ослепительный с утра и тотчас померкнувший зимний петербургский день.

В этот день Лермонтов положил себе ехать к Пушкину.

Давно уж болел он смертельной тоской бесцельности. Да и что было любить ему! Парады и разводы для военных? Придворные балы и выходы для кавалеров и дам? Награды

в торжественные сроки именин государя, на новый год и на Пасху, производство в гвардейских полках и пожалование девиц во фрейлины, а молодых людей в камер-юнкеры?

Мерный шаг учений, пустой пронзительный звук флейты, дробь барабанов, однообразные выкрики команды, награнная ярость генералов, муштровка и запах лошадиного пота в манеже, холостые офицерские пирушки — это была одна жизнь.

А другая — женщины, молодые и не очень молодые, с обнаженными припудренными плечами, с запахами кремов, духов и подмышек, карточная игра, балы с их исступленной оживленностью, покупная нагло-утомительная любовь и притворно-печальные похороны, и так всю жизнь!

Одно он любил еще, мучительно и жарко, — поэзию. А в поэзии царствовал Пушкин — не тот, маленький и вертлявый, уже лысеющий Пушкин, которого можно было видеть на раутах и о жене которого в последнее время дурно говорили, а другой — о котором нельзя было думать без слез.

Болезненно завидовал он людям, знакомым с ним, и краснел при одном только имени его. Он тоже мог бы познакомиться — и уж давно! — но не хотел светского пустого знакомства. Он хотел прийти к нему как поэт и не мог еще, не смел, не был уготован.

И только сегодня наконец какой-то вещий голос сказал ему: «Иди!» — и чувство веселости и страха охватило его. Было что-то странное в его решении, будто вдруг лопнула со звоном, распрямилась и повелительно засвистала стальная пружина — резкий, жаркий толчок ощутил он в сердце: ехать!

И он встал, хоть был болен, велел заложить лошадь, выбежал на снег, на мороз, сел и поскакал — пустился в роковой свой путь.

Встреча должна была произойти, и казалось, ничто не могло предотвратить ее, но случиться должно это было не тотчас — еще не пора было! — а потом, позже, к вечеру.

А теперь, в час полудни, похудевший от решительности, от тайной лихорадки, сжигавшей его, с пятнами румянца на скулах, Лермонтов был в ресторации Дюме, на углу Горховой и Морской.

2

В час пополудни приехал он туда, закиданный снегом, румяный с холоду. И едва взошел, едва разделся, как его обдало горячим запахом соусов, жаркого, вина и душистого табаку. Сквозь стеклянные двери видел он великолепие зала с низкими овальными окнами, крахмальные скатерти, внушительных лакеев, блеск хрусталя, синий воздух и слышал гул говора.

— Пожалуйте-с! Давно изволили не быть. Ваши в кабинете! — сообщил метрдотель и отечески пошел впереди Лермонтова.

Вытирая влажные брови, ресницы и усы, оправляя ментик, подрагивая ногами в синих рейтузах, бренча шпорами, Лермонтов шел за ним и только дергал головой, только мгновенно улыбался, когда его окликали. Метрдотель открыл дверь, откинул бархатную занавесь, согнулся в поклоне, и Лермонтов вошел в кабинет.

— А! Майошка! — разом вскричали гусары, — Ты ли это?

Кабинет был полон дыма и озарен блеском свечей. Здесь был Монго-Столыпин и еще два-три гусара. Все сидели с расстегнутыми воротами, все курили, у всех были раскрасневшиеся лица и блестящие глаза.

Увидев Лермонтова, красавец Монго вскочил и поцеловал его холодное лицо.

— Уже выезжаешь? — радостно спросил он. — Господа, место ему! Что будешь пить?

Все задвигались, потребовали шампанского, еще свечей и трубку. Маленький белокурый гусар с голубыми, туго выкаченными глазами кричал:

— Майошка! А мы сговариваемся ехать вечером к цыганам — нынче Стеша петь будет! Ах, прелесть! — он зажмурился и помотал головой. — Смерть моя! Едешь с нами, Майошка?

— Еду, хоть к черту! — быстро отвечал Лермонтов, принимая от Монго стакан лафита. — Если только лихорадка не уложит меня до вечера.

— Ерунда! — прохрипел мрачный черный гусар и выпустил облако дыма. — У меня тоже лихорадка, но в постель она уложит меня только с цыганкой! Ха-ха!..

Тотчас все торопливо отхлебнули по глотку, усиленно затянулись из длинных чубуков, тотчас еще ярче заблестели у всех глаза, и продолжался разговор о женщинах, который за стаканом вина в холостой компании может длиться бесконечно,

А Лермонтову после приступа первой радости стало вдруг как-то не по себе, как-то скучно и одиноко. Он вздохнул и опустил глаза.

— Что с тобой? — спросил Монго, делая серьезное лицо, заглядывая Лермонтову в глаза, но в то же время невольно слушая, что говорили гусары. — Ты еще болен?

— Нет, просто я много думал это время, — тихо сказал Лермонтов.

— Ха-ха! — сказал, прислушавшись, мрачный черный гусар. — Гусар не должен думать. Все дело в случае. А как выпадет случай, сразу сорвешь банк. И любовь — тоже случай! — сказал он уже всем. — Выпьем за случай!

— Случай? — Лермонтов обвел всех глазами. — А кто порокою, что наша воля...

— Ах, опять философия! — уныло сказал гусар с тугими глазами. — Ты делаешься несносным, Майошка! Может быть, ты уж и женщин не любишь? А?

Все захохотали, засмеялся и Лермонтов.

— Нет! С вами невозможно хоть минуту побыть серьезным, — сказал он, весело приподнимая усы и блестя зубами. — Дайте мне трубку, давно не курил... И стакан шампанского! Ах, Монго, — понижая голос, быстро добавил он, — как я рад тебя видеть, если бы ты знал! Сегодня ты мне приснился. Я потом тебе расскажу, как ты мне приснился. Вообще со мной случалось много странных вещей, и я сам не знаю, какой путь выберу — путь порока или путь глупости. И тот и другой в наш век имеют одинаковый конец! Значит, господа, едем нынче к цыганам?

Он заговорил, засмеялся, поворачивая во все стороны желтое лицо, расстегнул ворот, стал потягивать вино, стал пускать кольца голубого дыма.

Свечи трепетали, маленький камин жарко топился, трещал, и Лермонтов с большим наслаждением чувствовал этот

свет и это тепло. Мигом стали ему известны все полковые новости, и что сказал позавчера великий князь, и что давали и будут давать в опере. Мигом включился он в этот бессвязный разговор и начал, по обыкновению своему, острить и неприятно хохотать, закидывая лицо.

Вдруг он вспомнил о Пушкине и смолк на полуслове. Торопливо посмотрел в окно, вынул брегет и нажал. Брегет позвонил два часа. Лермонтов встал.

— Куда? Куда? — закричали гусары.

— Не могу, господа, у меня нынче свидание.

— Черт! — завистливо промолвил Монго. — Новая любовь? Когда же ты успел?

— Наоборот, старая! — сказал Лермонтов. Быстро, ни на кого не глядя, прошел он залом, оделся, поправил саблю и вышел к саням. Он сел, приподнялся, запахнул шинель, отвалился — напряглась, округлилась ватная спина кучера, визгнули полозья, глухо, мелко застучало впереди — и навстречу ему полетел Петербург.

Надвинув на лоб кивер, уткнув лицо в воротник, дыша морозным ветром, помаргивая, он думал о Пушкине. Он вообразил его точно таким, каким видел издали во время дежурств своих во дворце.

Горели окна, ярко сияли фонари вокруг Александрийской колонны и у подъезда. Подъезжали и подъезжали по снегу кареты, возки, вкатывались с плотным скрипом по торцовому подъезду, останавливались на минуту возле дверей — новые, на рессорах, блестящие лаком, и старые, низкие, покойные... Широко распахивались двери вовнутрь, в пышущую светом и жаром глубину и высоту, проходили генералы с плюмажами, посланники, екатерининские старухи, сенаторы.

Но вот подъезжала еще карета, и камер-юнкер Пушкин — в шубе, в высоком лоснящемся цилиндре с загнутыми спереди и сзади полями — высаживал жену свою, закутанную в меха. Особенно блистательна, молода и ошеломляюще красива была в такие вечера Натали Пушкина, но почти не смотрел на нее Лермонтов, а смотрел во все глаза на маленького ловкого человека с желчным цветом лица и серыми губами.

Он воображал все это сейчас, днем, под шум города, под мягкие рывки лошади, под крики кучера, и ему делалось страшно.

А в небе было борение: серые, сумрачные облака то расходились слегка, то сходились, и город наполнялся по очереди то фантастически-смутным, то буднично-зимним светом.

В половине третьего Лермонтов подъехал к дому Ростопчиной. Ростопчина была стройна и молода — с обнаженными плечами, с узким лицом и серыми большими глазами, которые она царственно переводила с предмета на предмет и которые одинаково ничего не «выражали ни при виде замерзшей Невы за окнами, ни при виде дворецкого, или матери, или теток, или неслышных старух-приживалок.

И только при взгляде на Лермонтова глаза эти темнели, в них появлялся трепет и разгоралось тайное сияние. А Лермонтов был в эту минуту особенно утл, некрасив, низок, сутул и большеголов — будто нарочно выказывал все свои недостатки. Был он особенно нервен, быстр и небрежен — и не сидел на месте, а все ходил, замирая возле окон и взглядывая на Неву, все переступал своими кривыми ногами в рейтузах, прихрамывал и позвякивал шпорами.

— Вы, верно, не оправились еще от болезни и потому злы, — сказала наконец Ростопчина и вздохнула. — У вас припасены новые стихи? Доставьте мне удовольствие — почитайте...

Лермонтов подошел к окну и стал смотреть на Неву. Он сложил на груди руки, и плечи его приподнялись.

— Вы любите разгадывать сны, графиня... — сказал он.

— Молчите! — прервала его Ростопчина. — Что же, стихи, Мишель? Вы будто нарочно заехали расстроить меня!

— Разгадайте мой сон, — настаивал Лермонтов. — Я отворил дверь и вошел в большую комнату, но за ней была другая, третья. Я шел по комнатам, каждую минуту ожидая увидеть что-то, что меня поразит, боясь увидеть и, кажется, уже нетерпеливо желая. Наконец я дошел до комнаты, в которой стоял гроб. Я увидел бабушку, Она лежала в гробу и смотрела на меня. Я подошел и заговорил с ней — уж не помню, о чем,

она села, и мы обнялись. Она жадно смотрела на меня, а я целовал ей холодные руки. Она тоже стала целовать мне руку. Я почувствовал, как она старается прокусить мне кожу — вот здесь!.. Почему вы побледнели? — спокойно спросил вдруг Лермонтов. — Этот сон предвещает дурное?

— Я убеждена в том, что дурные сны всегда к счастью! Но обещайте мне никогда не рассказывать такие ужасные и удивительно неинтересные сны. Я вас прощаю только по одной причине.

— По какой?

— Я знаю, вы стремитесь к бедному Пушкину.

— Откуда вы знаете?

— Женщина угадывает не тогда, когда она любит, а когда ее любят.

— Вы правы, графиня. Пусть свет зол, но сегодня я счастливее, чем когда-либо! — Лермонтов притопнул ногой. — Я веселее любого пьяницы, распевающего на улице.

И он чуть не бегом пустился вниз, в швейцарскую, пахнущую кофеем и шубами.

При поворотах, на раскатах казалось ему временами, что сани застывают, хотя и заваливался вбок зад кучера, хотя храпела и мелькала ногами лошадь, хотя и неслись по сторонам дома, блистающие витрины, фронтоны с колоннами, львы, решетки, народ, сани, вывески, хотя и заводил с верхов и все понижал неудержимо, со звериным восторгом и сладострастием, свой крик его кучер: «Пади-пади-и-и!..»

— Стой! — закричал он кучеру после третьего или четвертого визита и вынул брегет. — Поворачивай на Мойку, к Певческому мосту! Пошел!

И в пять часов он подъехал к дому княгини Волконской на Мойке.

3

В пять приехал он на Мойку, в пять, жарко покраснев, будто мальчик, зацепив шпорой за полость, выскочил у ворот дома Волконской.

— Нет дома! — сказали ему, а на вопрос:

— Скоро ли будет? — отвечали:

— Скоро!

Он вышел опять на мороз, вытирая лицо платком, испытывая даже некоторое облегчение от того, что еще не сейчас произойдет встреча, опять сел в сани и медленно тронулся, раздумывая, к кому бы еще заехать.

Но, перевалив Певческий мост, поворотив было на Миллионную, он вдруг велел остановиться и ждать, а сам вылез и стал медленно ходить по Зимней канавке, выходя каждый раз на Мойку.

Думал ли он о поэзии?

Или думал о том, как поедет вечером в Павловск, как будет мчаться на тройке по пустынной дороге, а потом в красном жару свечей и лампад слушать песни цаган?

Стало темнеть, стало все блекнуть, мертветь, глхнуть — и пошел редкий, медленный пушистый снег. Лермонтов миновал Миллионную и прошел далее к Неве. Он увидел черные стены Эрмитажа, синюю прямую полосу льда и снега на Зимней канавке, уходящую под мост, на Неву, и прощальную последнюю светлоту на западе, пересеченную чернотой горбатого моста и аркой перехода в Эрмитаж.

Фонарщики уже зажигали фонари на улицах. В окнах загорались огни, и теплым и милым был их желтый свет на всем холодном и синем.

Ветер, несколько раз задувавший днем, улегся совсем. Снег падал отвесно и был так пушист и сух, что не держался на кивере, на шинели, слетал от малейшего движения.

Отовсюду слышался визг и хруст снега, храп лошадей, покрики лихачей, голоса седоков, смех женщин... Раза два Лермонтова окликнули, но он не отозвался, не поворотил головы.

Опять подошел он к Мойке и взглянул на дом Волконской. В квартире Пушкина тоже зажигали свет. Золотистое пятно свечи плавало из комнаты в комнату, из окна в окно, и они начинали светиться от разгорающихся канделябров. Но шторы тотчас задернули, окна погасли и стали отливать синим холодом,

В последний раз он вынул брегет и нажал замерзшей рукой. Брегет прозвонил шесть. В ту же минуту Лермонтов увидел черную карету, переезжавшую Певческий мост со стороны Дворцовой площади. Он вздрогнул. Это была карета ба-

рона Геккерена, он сразу узнал ее, и у него занялся дух. Мигом вспомнились ему все разговоры последних дней о предстоящей дуэли Пушкина и Дантеса.

Карета показалась ему катафалком. Он двинулся к мосту. Он пошел сперва нерешительно, затем все быстрее, путаясь в полах шинели.

Он почти бежал, когда перешел на другую сторону, и все-таки опоздал! Подъезд в подворотне был уже открыт, люди что-то проносили, что-то тяжелое, неудобное — слышалось их надсадное дыхание, слышен был слабый, прерывающийся голос, виден был колеблющийся свет изнутри. А из-за спин людей видна была еще короткий миг откиннутая, пытающаяся держаться прямо, дрожащая голова Пушкина.

— Что? — как сквозь сон спросил Лермонтов у высокого военного, торопливо что-то делающего возле кареты. — Убит? Скажите, ради бога!

Секундант Пушкина Данзас ничего не ответил.

— А! — хрипло сказал Лермонтов, схватил Данзаса за обороты шинели и потряс так, что у того покачнулась шляпа. — Убили! — и увидел лицо Данзаса.

Данзас плакал, тряслось все его большое тело, прыгали щеки обезображенного болью, потерявшего облик человеческого лица.

Лермонтов, хромя, пошел прочь. Не доходя до моста, он остановился, положил руки на перила и стал смотреть вниз, на лед Мойки. «Так вот оно что! — как будто произнес кто-то в нем. — Так вот оно что!»

Он пошел дальше, через мост, к лошади, скользя на ослабших ногах, глядя прямо перед собой. Один раз он упал и долго и неловко поднимался потом. Он облизывал усы — они были холодные и соленые. Обросший снегом кучер взглянул в лицо ему, торопливо свалился с саней и стал усаживать его, испуганно подтыкая тяжелую полость.

— Домой! — низко и хрипло сказал Лермонтов, откидываясь, яростно толкая ногой тяжелые холодные ножны сабли, — и сани понеслись. Кажется, никогда еще не было у него такой скачки, а ему все было мало — свет Невского слепил его, он закрывал глаза и сквозь зубы злобно и жалобно вскрикивал:

— Скорей! Скорей!

А прискакав, даже не взглянув на всю в морозном дыме запаленную лошадь, тяжелым неверным быстрым шагом пройдя к себе, едва успев раздеться, он стащил ментик, дернул ворот и повалился на диван.

Зажмурившись, он молча лежал в неудобной позе, дышал редко и, не желая, все-таки воображал весь свой сегодняшней день: ресторацию Дюме, все визиты, все залы и лестницы, и разговоры, и смех, и улицы, и себя среди всего этого.

И опять вспомнил он Зимний дворец, дальнюю свистящую музыку, повторяющую неестественно-радостный однообразный мотив мазурки, и шумящую толпу, идущую все в одном направлении с мягким и почтительным шумом, шелестом и говором.

И среди всех, точно такой же, как и все, так же отдавший руку чему-то яркому, бледному, сверкающему, что было искусно одето во что-то светлое и пышное и что было женой его, так же шел, как шли впереди и сзади него, вглубь дворца по бесчисленным анфиладам залов — шел камер-юнкер с усталым лицом и пепельными африканскими губами.

Стихи на смерть Пушкина Лермонтов написал в ту же ночь.

А спустя полтора месяца, отсидев уже под арестом в Ордонасхаузе, допрошенный военно-судной комиссией, посланный на Кавказ, — в новой драгунской форме, в мохнатой бараньей шапке, ехал он на перекладных.

Звенели бубенцы под дугой коренника, чернели и серели по сторонам деревни, торчали вытаявшие из-под снега голые лозины, дрожали на ветру. Дорога вспухла, снег на ней был темен и зернист, кибитка осаживалась, двигалась тяжело, медленно.

Позади оставался Петербург, совсем уже пустой без Пушкина. И было у Лермонтова смутно на душе. Он ехал далеко, ехал, чтобы через пять лет, точно так же, как и Пушкин, пересказав и описав смерть свою, быть убитым из пистолета выстрелом в сердце.

Предисловие к роману А. Нурпеисова «Сумерки»



Абдижамил Нурпеисов родился в Кызыл-Ординской области, на берегу Аральского моря в семье рыбака-охотника. В 1942 году он кончает среднюю школу и воюет на фронтах Великой Отечественной войны, после войны работает и учится, в 1956 году оканчивает Литературный институт имени М. Горького, став уже к этому времени писателем-профессионалом.

В 1950 году в Алма-Ате выходит его роман «Курляндия», удостоенный затем республиканской премии, в 1958 году – роман «Желанный день», а в 1961–1964 годах – первая и вторая книги трилогии «Кровь и пот». Роман «Сумерки», впервые переведенный на русский язык, является началом трилогии.

А. Нурпеисов, таким образом, принадлежит к молодому поколению казахских писателей, пришедших в литературу в 50–е годы. Я думаю, нет нужды говорить здесь, какими сдвигами в жизни всего нашего общества ознаменованы именно 50–е годы. Кроме того, развитие казахской литературы за последние полтора десятка лет – слишком серьезная и большая тема, чтобы говорить о ней вскользь. А я хочу лишь сказать несколько слов о романе «Сумерки» и его авторе, хотя еще Лермонтов заметил, что предисловие к роману – последнее дело...

После «Абая» Мухтара Ауэзова казахскому писателю нужен не только талант, но и смелость, чтобы взяться за исторический роман. Потому что «Абай» для казахской литературы стал тем эталоном, которым всегда будут измеряться эпические произведения других писателей. И может быть,

А. Нурпеисов не взялся бы писать свою трилогию, но любовь его к своему народу, к жизни рыбаков из бедных аулов, его восторженное пристрастие к степям своей родины были так велики, а история казахов — как древняя, так и новая — освещена в литературе еще так скупо, что Нурпеисов решил стать на какое-то время писателем именно историческим.

Шесть лет жизни отдал автор своему роману, а прожил за это время шестнадцать лет. Он встретился со своими героями в глухом 1914 году, а расстался — в 1930-м. Вместе с ними он ощущал грозные зарницы надвигающихся перемен, вместе с ними воевал и любил, многих он недосчитался к концу романа, многих похоронил. Всего несколько рыбаков, несколько несчастных женщин были сначала с автором на берегу моря, в сумеречной, элегической степи, как бы в доисторические времена. Но с каждой новой главой, с каждой частью романа герои всё множились, степь всё раздвигалась, и уже города — сначала как миражи, видения — все чаще появлялись на страницах романа. Приходили, оживали баи, мурзы, студенты, урядники, русские купцы, караванщики, конокрады, колчаковцы, большевики, белогвардейцы, солдаты, восставшие рабочие, ссыльные, генералы... И автор любил их, и сострадал им, презирал, смеялся над ними и оплакивал погибших.

Теперь роман дописан. Теперь герои ушли от автора, и он ничего не может больше для них сделать, они отделились от него. Герои всегда живут сами по себе, автор может забыть их или даже отказаться от них, они все равно будут жить уже в сознании читателя — и тем дольше и ярче, чем больше любил их, чем ярче их видел в свое время автор. Я бы мог многое рассказать читателю о героях Нурпеисова, но боюсь быть пристрастным — слишком долго я в них вчитывался и о них думал.

Целую зиму провел я в горах под Алма-Атой, в ущелье Медео. Там было много тишины и много солнца. Снег таял на обрывах, обращенных к югу, и всю зиму в горах пахло весной. Черные и серые дрозды, которые улетают от нас на всю зиму, там бегали по вытаявшей земле и перелетали в кустах

барбариса по ущельям. Иногда по целым дням валил крупный снег, шоссе в горы заваливало, машины не ходили, деревья под снегом тяжелели и цепенели, и если с ветки срывалась нахохлившаяся птица — снег долго тогда сыпался кисеей. Мир вокруг меня как бы глох, только одна Алматинка внизу все рокотала и несла клочья пены и завитки пара.

Приезжал ко мне наверх Нурпеисов, мы выходили из теплого, тихого дома на мороз, на снег, и Нурпеисов рассказывал, как душиста и зелена бывает степь весной, как горько и сочно пахнет полынью на Арале и как нескончаемо звенят в вышине жаворонки.

В ту зиму я работал над переводом романа «Сумерки». Непривычны и чужды сначала были мне мир казахов, их жизнь и их обычаи, но каждый день я снова и снова как бы уходил туда, в 1914 год, на берег моря, к рыбакам и баям, свылкался с ними, и скоро все они стали мне как давние знакомцы, и мне было весело работать.

Итак, А. Нурпеисов впервые предстает перед русским читателем и, я думаю, очень волнуется. Я понимаю его — ведь он автор, а русский читатель — читатель требовательный. Но я верю, что эта неторопливая жизнь, эти вспышки народной ярости, доброта и усмешка, обычаи родов, праздники и битвы, с такой обстоятельностью нарисованные автором, тронут сердце русского читателя точно так же, как трогали они сердца казахов.

Несколько слов о В. Лихоносове



У Виктора Лихоносова сейчас счастливое время – у него выходит, можно сказать, первая книга. Правда, две книжечки у него уже вышли, но эта – самая полная, таким большим тиражом и в таком большом издательстве – все равно как бы первая.

Поэтому я пишу это предисловие с дружеской завистью к моему младшему собрату. Мне представляется, как дни его сейчас наполнены ожиданием книги и мыслями о том, как она появится в книжных магазинах, как ее будут раскупать, читать, как кто-то задумается над ней, кому-то станет грустно или радостно от общения с этой книгой и какой у нее будет переплет, какая бумага...

Виктор Лихоносов – писатель молодой. Про таких, как он, принято даже говорить: «начинающий». Ему всего 29 лет, а писать он начал каких-нибудь три-четыре года назад, и литературная судьба его сложилась счастливо. Я не люблю слова «начинающий». В нем есть плохой привкус, хотя «начинающим» быть, безусловно, лучше, чем «кончающим». Начало всего сулит нам много встреч впереди.

Каждый писатель проходит известный искуc, прежде чем утвердиться во мнении издателей и читателей. Часто ожидание признания растягивается для писателя на долгие годы. Гораздо реже оно приходит быстро. К Виктору Лихоносову оно пришло быстро.

Едва написав несколько рассказов, он начал печататься в московских журналах, затем почти одновременно вышли у него две книжки, приняли его и в Союз писателей, и вот те-

перь выходит его новая книга, в которую уже, кроме рассказов, входят маленькие повести.

Произошло это в первую очередь потому, что Лихоносов талантлив. Все, что он написал, написано свежо, музыкально, очень точно, и все пронизано острой, даже какой-то восторженно-печальной любовью к человеку. Любовь к миру в его географическом понятии — к закатам и восходам, к медленным рекам и полям — и к людям, живущим среди этой прекрасной русской природы, к людям, которые, несмотря ни на что, все-таки достойны самой нежной, сильной и постоянной любви и самого пристального внимания.

Я хотел бы обратить внимание читателя на то, что почти все герои Лихоносова — странники в самом высоком смысле слова. Они в постоянном поиске, в охоте к перемене мест, но не в той мучительной охоте, от которой страдал Онегин. Их уносит вдаль тоска по красоте, они не потому едут, что жизнь вокруг них особенно мрачна и безысходна. Жизнь в общем, по Лихоносову, везде одинакова, но героям его все кажется, что где-то будет лучше. Просто они, пока молоды, пока не прилепились, не прижились на одном месте, хотят подольше побродить по свету в поисках своего счастья.

«Что-то будет...» — так назван один из рассказов Лихоносова. Это «что-то будет» постоянно преследует чуть ли не всех персонажей Лихоносова, да, вероятно, и самого автора: Лихоносов еще не устоялся, еще жаден на дорогу, на встречи, на новые места.

Как писатель Лихоносов влюблялся по очереди в прозу Чехова, Бунина, Платонова, Паустовского. В этом смысле он прошел хорошую школу. Его собственные длительные поездки по стране помогли ему взглянуть на мир широко, его собственная тоска по странствиям заводила его далеко.

Писатели не выдумывают своих героев. Все, что происходит в их рассказах и романах, происходит и с самими писателями, только в другой последовательности. В самом деле, откуда бы взялись все эти люди, их говор, такой естественный, живой, такой колоритный, местный и в то же время такой общерусский, откуда бы взялись их судьбы, горе и радости, откуда бы взяться всем этим ночам, звездам, ночным

звукам, ярким дням, поездам, вокзалам, пристаням и пароходам, если бы все это в свое время не увидел и не пережил Лихоносов?

Благословенно же это, по выражению Пришвина, родственное внимание ко всему, что происходит на земле!

Благословенна любовь к людям, звучащая в лихоносовских рассказах, берущая в плен своей элегической музыкальностью, настоянной на огромных пространствах наших русских полей.

В стремлении приободрить начинающего писателя авторы предисловий так часто прощают ему неудачные места, слабые скороговорки, все внимание свое и читателя обращая на те «искры божии», которые, конечно же, есть в любой книжке даже не слишком одаренного автора.

К счастью, в данном случае мне нет нужды лукавить ни перед собой, ни перед читателем. Один рассказ Лихоносова может понравиться больше, другой – меньше, но это вовсе не значит, что один рассказ написан лучше, а другой – хуже. У него нет серых произведений, это я говорю смело, потому что читатель, конечно, тут же может проверить мои слова.

Виктор Лихоносов не только талантлив, он вооружен еще той требовательностью к себе, без которой не бывает настоящего мастерства, а он, безусловно, мастер. Поэтому каждый его рассказ написан тщательно, без компромиссов и скидок.

Стремление к совершенству видно в каждой строчке всего написанного Лихоносовым. И еще во всех рассказах Лихоносова виден подступ к чему-то большему, напряженные поиски того главного, самого главного, о чем должен написать каждый настоящий писатель.

Что-то будет – не только в жизни героев рассказов, но и в труде их автора. Что-то будет – вся книга убеждает нас в этом.

В Лихоносовым написано не так много. В скобках мне хочется заметить, что русский писатель нетороплив в работе – не то что западный. Многие западные писатели пишут по сотне рассказов в год!

В эту книжку вошли три повести и три рассказа. Ранее Лихоносовым были напечатаны еще восемь рассказов. Вот и всё, что этот писатель может пока предложить читателю. Но и этого немногого, по моему глубокому убеждению, достаточно для того, чтобы поздравить нашу литературу и читателей с новым хорошим писателем.

1967

Рассказчик Олег Кибитов



Заранее условившись, что Олег Кибитов писатель одаренный и те немногие рассказы, которые впервые выходят у него отдельной книжкой, интересны, поговорим сначала о русском рассказе, о его национальных корнях.

Тема бесконечная, что и говорить, и, не затрагивая бесчисленных граней этой темы, мы всё же можем выделить для себя хотя бы одну: отличие русского рассказа от западной новеллы.

Один и тот же жанр, казалось бы, но там логика, здесь поэзия, там события, здесь жизнь.

Западную новеллу, написанную даже не слишком талантливым автором, почти всегда выручает острота сюжета. Остроумный, захватывающий сюжет, необычайные ситуации, в которые попадают герои, внезапный, часто парадоксальный конец — вот главные особенности западной новеллы.

Ничего или почти ничего этого нет в русском рассказе. Сюжетная линия его, как правило, тщательно затушевана, как бы убрана вовнутрь, и очень часто на первый взгляд в рассказе ничего не происходит.

Герои сидят и разговаривают, приезжают и уезжают, встречаются, расстаются... Едут на сенокос, например, как в рассказе О. Кибитова «Большие белые птицы». Много этого или мало для рассказа? Кажется, банальные все истории и ничего не происходит, нет захватывающих дух событий. Всё так, конечно, и всё же...

Разве не банально все то, что происходит в «Даме с собачкой» Чехова? Курортное знакомство, переходящее в легкую связь, расставание, а потом обыденная, налаженная годами жизнь у него и у нее, редкие свидания тайком, любовь,

слезы... Попробуйте пересказать содержание человеку, не читавшему рассказа — тот, скорее всего, пожмет плечами: о чем только пишут? Ничего интересного!

И сколько таких рассказов у Чехова, Бунина, Короленко, Горького и у советских писателей Паустовского, Нагибина, Лихоносова, Битова, Белова...

Дело, следовательно, не в случае, послужившем основой для рассказа, не в его оригинальности или неоригинальности, а в том, с какой душевной мерой подошел к этому случаю автор. Дело прежде всего в том, что автор, наделенный в высокой степени ощущением родства со всеми людьми, делает этих людей как бы соучастниками всего происходящего в его рассказе.

Дело в том, наконец, что русский рассказ кроме основного тона имеет, как правило, множество обертонов, кроме одного чистого и ясного звука — множество призвуков. И чем чище взята основная нота, чем больше призвуков слышится в ней, тем лучше рассказ — от этого никуда не уйдешь.

Говоря о достоинствах русского рассказа, я вовсе не хочу, так сказать, выпятить эти достоинства за счет западной новеллы — нет, речь идет о различии сюжетов — внешнего и внутреннего.

Когда писатель почувствует вдруг необычайность повседневной жизни, если у него дрогнет сердце от вида какой-нибудь осенней лужи или от синего клочка неба в серых тучах, если тут же нахлынут на него воспоминания о счастливых или несчастливых днях, минутах, пережитых им, его близкими, если ощутит он вдруг связь времен и братство людей и захочется ему обо все этом рассказать, и если есть еще у него талант, чтобы рассказать об этом хорошо, тогда сразу явятся и герои, и заговорят с ним, и покажут ему свои лица и души — тогда и получается настоящий рассказ, — не для вагонного чтения, не нуждающийся в остром сюжете или ловкой композиции.

И опять же, повторяю, чем сильнее наделен автор универсальной общностью со всеми остальными людьми — общностью не низшего порядка, конечно, не в питье, еде и то-му подобном, — а общностью в высокой области духа и серд-

ца, тем нужнее будут его писания людям, лишь бы хотели слышать имеющие уши.

Написавши уже два-три предисловия к книжкам моих товарищей по ремеслу, я все больше прихожу к выводу, что вступления или предисловия, если они так уже необходимы, — должны писать сами авторы.

Правда, скромность почти всегда мешает высказаться откровенно. Но кто, как не автор, лучше и полнее может раскрыть перед читателем свой замысел? Историю написания своего произведения? Наконец, мысли, ощущения, которые владели им во время работы?

И конечно же, кому, как не автору, знать тайные причины, побудившие его писать именно о том, о чем он пишет, а не о другом — причины, так часто ускользающие даже от профессиональных критиков, не говоря уж об ином торпливом читателе?

Все-таки, от какого бы лица ни выступал автор, он пишет о себе. Даже если он пишет о лошади или о собаке. Не будем бояться высоких примеров: вряд ли Толстой был бы тем Толстым, каким мы его знаем, сложись жизнь его иначе. О чем писал бы он, если бы не вырос в усадьбе, не служил бы в армии, не участвовал бы в Севастопольской обороне?

Или вот свидетельство И. Бунина о происхождении рассказа «Косцы»: «Когда мы с моим покойным братом Юлием возвращались из Саратова на волжском пароходе в Москву и стояли в Казани, грузчики, чем-то нагружавшие наш пароход, так восхитительно сильно и дружно пели, что мы с братом были в полном восторге... И все говорили: «Так могут петь, свободно, легко, всем существом, только русские люди». Потом мы слышали, едучи на беговых дрожках с племянником и братом Юлием по большой дороге, как в березовом лесу рядом с большой дорогой пели косцы — с такой же свободой, легкостью и всем существом.

Написал я этот рассказ уже в Париже, в 1921 году, вспоминая Казань и этот березовый лес».

Точно так же и в рассказах Олега Кибитова отражен его душевный жизненный опыт. Олег Кибитов писатель молодой — достоинство в данном случае немаловажное. Начинает он довольно уверенно, и потому годы, которые у него впереди, сулят, быть может, читателю еще немалые радости.

Биография Кибитова типична для всего поколения 50–60-х годов. Окончил школу, потом техническое училище. Три года работал токарем-карусельщиком на Уралмашзаводе. Затем учеба на факультете журналистики, работа в редакциях... И вот теперь — первая книжка.

В этой книжке собрано не все, конечно, что написал Кибитов. И она не может дать полного представления о нем как о писателе. Но и в этих немногих рассказах уже проглядывают цепкость писательского взгляда, хорошее чувство слова и верность традиции русского рассказа. А традиционный русский рассказ, как я уже сказал, особенно труден, потому что требует простоты, ясности, но в то же время и некоего иного звука, призвука, который долго потом отдается и дрожит в душе читателя, уловившего этот призыв.

Первая книжка рассказов, особенно если рассказы интересны, — всегда загадка: что же нам даст автор во второй, третьей, десятой? Или, может быть, обещание останется невыполненным? Может быть, автор, овладев ремеслом, махнет рукой на поэзию и покатится по легкой дорожке?

Читая первые удачные рассказы молодых писателей, всегда испытываешь тревогу: знает ли этот молодой автор, в чем его сила и в чем слабость, не даст ли он слабости побороть силу?

Читая О. Кибитова, почему-то думаешь, что он стоит на верном пути и знает, куда ему идти, какой дорогой ему идти.

Пожелания доброго пути начинающим писателям стали у нас своеобразной традицией. Ну что же, с Богом! — скажем и мы Кибитову, как, бывало, говаривали наши деды, умащаясь в саних и подтыкая под себя полы тулупа перед дальней дорогой...

О Владимире Солоухине



Веселье и грусть всегда соседствуют в русской осени. Весело оттого, что урожай собран, идет везде засолка капусты на зиму, уже запаривают бочки, везут и везут к избам белосизые хрустящие кочаны — и сколько же кочерыжек и морковки переедят ребятишки за эти дни!

И мешки с картошкой везут в каждый дом, ссыпают под пол, и грибов, если год грибной, позасолено в кадушках и банках, и рябина ворохами рдеет на верандах, и яблоки зарыты в сено по чердакам, чтобы дозрели, выжелтились.

А если ясный день, то такое вдруг ударит по глазам сильнее небо, какого и весной не увидишь, так прозрачны, отчетливы дали, такая радостная желтизна на жнивье и такие зеленые, почти изумрудные квадраты озимых по склонам холмов!

В такие дни особенно весел частый стук топоров на поляне. Это плотники строят мне баню с каменкой, по-северному, под тесовой крышей. Плотники стучат, баня растет венец за венцом, и я, откровенно сказать, боюсь, что она будет готова раньше, чем я допишу эти несколько страниц, — так споро идет работа, что даже глядеть на это радостно.

Ну а грусть — оттого, что сыплет и сыплет лист, все чаще натягивает дожди, и птицы улетают на юг.. И нехорошие мысли, что вот еще одно лето прошло.

Коротко в России лето, но всегда, когда ждешь его, предвкушаешь — таким бесконечным, жарким, светоносным кажется оно, а придет — то погода никак не налаживается, то холода, циклоны, ветры... Мелькнет, и нет — это Пушкин заметил — оттого и грусть.

Что же сказать о Владимире Солоухине?

Совсем неспроста начал я свою речь о нем с бани, с капусты да с картошки.

Потому что, доведись строить баню самому Солоухину, уж он не упустил бы такого случая, а сел бы тут же за стол и подробнейшим образом написал бы о том, какие бывают бани, откуда пошли на Руси. И как их рубят — в угол, в лапу или еще как, — и как кроют, и что такое охлупень, перевод и так далее... В ход пошло бы все: и древние русские летописи, и история русского деревянного зодчества. А еще написал бы, как выбирал он и возил себе бревна и доски, как доставал дубовые плахи на сваи, как рядился с плотниками и печником, да какие были плотники, откуда родом, да как работали — все бы описал! Ну а в заключение не преминул бы написать, как созвал он друзей, когда баня была готова, как подавали они пылу-жару, как хлестались на полке березовыми вениками, а потом — как сидели чисто умытые, сбросившие с себя груз годов, в сладкой послебанной истоме сидели за столиком, и какие же были грузди на столе, какие рыжики и какая водка, настоящая — на чем? — ну, скажем, на черносмородиновых почках!

И получился бы прекраснейший рассказ, а то и целая книга. Книга о русской бане.

Не знаю, есть ли на свете счастливые писатели, но если под писательским счастьем понимать внутреннюю свободу в выборе любезного твоему сердцу сюжета, прибавить еще свободу выбора образа жизни, ну и не забыть, конечно, прочного успеха у русских и зарубежных читателей, то есть, иными словами, сознание, что то, что ты делаешь — делаешь хорошо, то Владимиру Солоухину можно только позавидовать.

Есть у него родная деревня, есть дом «осемнадцати окон», как он любит говорить, и не покупной дом, а родовой, есть у него собрание старопечатных и рукописных книг, икон, есть множество чудесных увлечений, и чуть ли не каждое из этих увлечений превращается со временем в интереснейший рассказ или книгу.

Каждый талантливый писатель — единственный в своем роде, потому что пишет лишь себя, лишь о мире, который окружает его небывалую, отличную от всех личность.

Что там ни говори, а герои Чехова — все эти бесчисленные врачи, художники, учителя, землемеры, генералы, мужики, помещики и прочие, и прочие, — это он сам в разных ипостасях, это круг его родных и знакомых, люди, встреченные им в жизни, это, наконец, его душа, воспринимающая мир по-чеховски, душа, любящая, сострадающая одному и презирающая другое, душа, вовсе не напрасно пришедшая в этот мир, мелькнувшая в нем кратким сиянием, нет, не напрасно, если не напрасен вообще наш труд, мир.

Владимир Солоухин, какое бы место в нашей литературе мы ему ни отводили, тоже единствен, как Чехов.

Кстати, о месте В. Солоухина в нашей литературе. Как было бы соблазнительно, если бы каждый писатель шел под номером: номер один, номер два и т. д. Хоть и скучновато, зато сразу знаешь, кто чего стоит.

Так вот, совсем не желая братья за определение номера Солоухина, я уверен в одном: у В. Солоухина совершенно особое место в литературе, особая область, и соперников у него в этой области нет. Можно бы, конечно, вторгнуться и в его область, да что толку? Солоухина в его деле не перещеголяешь.

В писательской манере Солоухина самое, пожалуй, интересное то, что ему как-то нет надобности дробить свое писательское «я», награждать частицами этого «я» своих героев или выдавать его за «я» какого-нибудь Петра Ивановича.

Обычно писатель, пишущий какое-то произведение от первого лица, придумывает ему профессию, жену или любовницу, место действия, сюжет... И читатель получает, с одной стороны, как бы исповедь самого автора, с другой стороны, автор всегда может сказать: нет, любезный читатель, это все-таки не я, это мой герой вам рассказывает свою жизнь.

Солоухин же никогда не прячется за своего литературного героя. Если он пишет: я — это значит: я, Владимир Солоухин.

Если он пишет: «Стол в нашей деревенской избе стоит таким образом, что, когда обедаешь, смотришь прямо в окно. А так как я садился обедать всегда на свое место, то и видно мне было во время обеда одно и то же...» Это значит,

стол в солоухинской избе, в деревне Олепино, во Владимирской области, и на свое постоянное место садится не герой рассказа, а автор В. Солоухин.

Если Солоухин пишет об отце, матери, о сестре, о соседях — это его, В. Солоухина, отец, мать, сестра и соседи.

Этот прием (если это вообще можно назвать приемом) придает всем солоухинским вещам необычайную достоверность.

Но тогда что же это, мемуары? — может спросить догадливый читатель. В том-то и дело, что не мемуары, а рассказы и повести, то есть новеллы и романы, как их называют на Западе, со всеми присущими их жанру чертами.

Но достоверность достоверностью, а пора сказать наконец и о таланте. Талант — вещь трудно определяемая, но легко ощутимая. О нем вернее всего можно было бы сказать словами шуточной поговорки: «Талант, как деньги — или они есть, или их нет».

Так вот, именно талант позволяет Солоухину, дает ему смелость и, не побоюсь сказать, право писать о разных случаях из своей жизни так поэтично, так незамысловато, что щемит сердце от ощущения поэзии и правды, и жизнь человека и писателя Владимира Солоухина становится — как бы это поточнее сказать? — заразной для его читателя.

Солоухин закладывает у себя в деревне сад, я читаю об этом и ловлю себя на том, что и мне уже хочется копать ямы, ездить в плодовые питомники, выбирать там молодые яблоньки.

Солоухин едет на зимнюю рыбалку — а я вдруг начинаю думать: «Где-то и у меня были валенки, ватные штаны, зимние удочки, надо бы съездить!»

Солоухин горюет — и мне горько.

Солоухин любит родину — мне хочется любить ее еще больше, чем я любил ее до прочтения его книг.

У Селинджера в его «Над пропастью во ржи» герой — мальчик Колфилд — всех писателей разделяет на тех, кому хочется позвонить и кому позвонить не хочется. «Вот Фолкнеру я бы позвонил!» — говорит он.

Юрий Казаков

Владимир Солоухин как раз тот писатель, кому хочется позвонить. Хочется приехать к нему в деревню. Хочется посмотреть на жизнь, о которой он так хорошо пишет, на людей, которых он так любит.

1974

*Из английского сборника
«Писатели высказывают свое
отношение к войне
во Вьетнаме»¹*

Хотя неисчислимые протесты разнообразного характера людей из всех уголков земного шара против американской агрессии во Вьетнаме, по-видимому, не достигают ушей американского правительства и, следовательно, до сегодняшнего дня как будто напрасны, я считаю, что писатели должны протестовать еще более активно, еще более громко.

Я считаю, что американская агрессия во Вьетнаме является преступлением против человечества.

Когда в далекой стране одна половина народа подстрекает другую, а сотни тысяч молодых американцев пересекают океан, чтобы убивать и быть убитыми, когда напалм и всевозможные бомбы сбрасываются на деревни из бамбука и, вместо того чтобы закатать рукава и взяться за работу, чтобы сделать жизнь на земле лучше, молодые американцы стреляют, вешают и жгут, когда они по приказу своего правительства творят то же самое, что немцы творили на нашей земле и на земле Европы всего лишь немногим больше чем двадцать лет назад, тогда президент и его советники лгут, лгут пасторы, напрасно призывая благословенье Божье, молясь о победе американского оружия. И генералы, журналисты и политические деятели лгут, превознося «подлинную

¹ Authors take side on Vietnam. Woolf C., Bagguley J., eds. London, 1967.

демократию» своей страны, потому что, когда демократия творит зло, она перестает быть демократией.

Однако, несмотря ни на что, я верю в силу слова, в силу честных, мужественных слов, ибо, определенное словами, любое событие получает свою подлинную оценку. Временами слово бессильно остановить зло, потому что писатель не стоит у власти, писатель не может давать приказы и не может остановить кровопролития. Но словами писатель может заклеить каждое злое действие, даже когда злое и грязное деяние побеждает.

Тридцать лет назад во время гражданской войны в Испании режим Франко одержал победу, но величайшие писатели того времени, включая американцев, честно и громко сказали свое слово об этом режиме.

Режим получил наименование фашизм, и как бы долго ни правил Франко, он уже получил оценку словом, он фашист. Его правительство уже получило оценку истории. Оно получило свою оценку еще до прихода к власти.

Я твердо убежден, что точно таким же образом теперешнее американское правительство получит, и даже уже получило, свою должную оценку в протестах всех народов.

Не довольно ли?



Говоря о сегодняшней лирической прозе, нам необходимо помнить, какой мужественной ей нужно было быть, чтобы отстоять самое себя. Лирическую прозу стегали все, кому не лень. Иной маленький рассказ вызывал, бывало, такую злую реакцию в критике, что количество написанного об этом рассказе в сто раз превышало объем самого рассказа.

Мы еще не настолько оскудели памятью, чтобы забыть версты проработочных статей, сопровождавших лирическую прозу на протяжении многих лет. Каких только ярлыков не навешивали на нее! «Очернительство» и «клевета» были еще не самыми сильными литературоведческими терминами. Дело доходило до того, что статьи-фельетоны появлялись даже в «Крокодиле», подверстанные к фельетонам о жуликах и рвачах. Иные статьи недавнего времени надолго отбивали у авторов охоту работать в области лирической прозы, а у редакторов — иметь с ней дело.

И все-таки лирическая проза выжила и процвела. Произошло это потому, что лирическая проза пришла на смену потоку бесконфликтных, олеографических поделок и принесла в современную литературу достаточно сильную струю свежего воздуха. Она не могла не вызвать ожесточение известной части критиков, потому что сначала робко, а потом все смелее начала ломать установившиеся каноны как в самой прозе, так и в критике. Да, и в критике, — потому что писать о лирической прозе набором штампов и газетных прописей, составлявших лексикон рецензий о «производственных» романах, уже нельзя было, нужно было подтягиваться до уровня нового писателя.

Если чувствительность, глубокая и вместе с тем целомудренная, ностальгия по быстротекущему времени,

музыкальность, свидетельствующая о глубоком мастерстве, чудесное преображение обыденного, обостренное внимание к природе, тончайшее чувство меры и подтекста, дар холодного наблюдения и умение показать внутренний мир человека, — если эти достоинства, присущие лирической прозе, не замечать, то что же тогда замечать?

Конечно, не добротой одной жива литература, но разве доброта, совесть, сердечность, нежность так уж плохи по нынешним временам? И вздох может пронзить...

— А дальше? А дальше? — спрашивает В. Камянов.

Что же дальше, и дальше что-нибудь будет, будут сожаления и радость, будет поэзия, а я что-то не слышал, чтобы поэзии грозила когда-нибудь опасность перепроизводства. А потом, почему, собственно, В. Камянов спрашивает об этом современных писателей? С этим вопросом надо было бы обратиться еще к Тургеневу и Чехову, к Пришвину, к Толстому, наконец, ибо что же такое, как не лирическая проза, его «Детство», «Отрочество» и «Юность».

Отрицая значение лирической прозы в целом, В. Камянов рассматривает почему-то только произведения о деревне (Шуртаков пошел еще дальше и все свое выступление посвятил деревенской прозе). Условимся поэтому о терминологии: деревенская проза — еще не лирическая проза. Очевидно, что лирическая проза — это и «Родные» Лихоносова, и «Неотправленное письмо» В. Осипова, и произведения В. Конецкого, Г. Семенова, Ю. Смула...

Лирические прозаики принесли в нашу литературу не только вздох и элегию, как утверждает В. Камянов, они принесли еще правдивость, талантливость, пристальное внимание к движениям души своих героев. Они дали нам если не широкие в каждом отдельном случае, то многочисленные картины жизни нашего общества, картины поэтические и верные.

Не довольно ли требовать от лирической прозы того, что ей не свойственно, и не пора ли, наоборот, заметить ее заслуги? Ратуя за глубокую эпическую литературу, нужно ли унижать лирическую прозу и вступать с ней в «принципиальный спор», как это делает В. Камянов?

Не соглашаясь с В. Камяновым в его оценке возможностей лирической прозы, тем не менее, если перейти к литературе вообще, придется всем нам поставить перед собой один-единственный главный вопрос: о чем нам писать, о чем говорить и думать нашим героям?

Ответить на этот вопрос — значит создать произведение великое. И решить эту задачу в высшем смысле может только талант сильный и смелый.

Активный герой, которого предлагает нам В. Камянов, не выход. Да и что такое активный герой? Если герой живет в произведении, значит, он активен, поскольку активна сама жизнь. Пьер Безухов и князь Андрей — такие разные образы, но разве оба они не активны?

Русская литература всегда была знаменита тем, что, как ни одна литература в мире, занималась вопросами нравственными, вопросами о смысле жизни и смерти и ставила проблемы высочайшие. Она не решала проблем — их решала история, но литература была всегда немного впереди истории.

Мы потому и оглядываемся постоянно на наших великих предшественников, что современных писателей такого масштаба у нас нет или, говоря точнее, почти нет. Мы потому и всматриваемся в них с такой ненасытностью, что велики они не тем только, что прекрасно писали, а тем еще, что писали о самом главном, что составляет сущность жизни общества.

Многое из того, что волновало их, теперь для нас несущественно и нас теперь не взволнует, но критерий, с которым должно подходить к настоящей литературе, важен и для нас, но нравственные проблемы — и для нас проблемы, от этого мы никуда не уйдем.

Литература наша развивается интересно. Худо-бедно, но мы все многое сделали, и поэтому можно с оптимизмом смотреть вперед в ожидании произведений более глубоких и важных, нежели те, которые мы сейчас имеем.

Конечно, легко сказать: поднимемся до вершин литературы! Кто откажется... Кто скажет: не хочу? Но все мы по одежке протягиваем ножки, так стоит ли нам хлопотать осо-

бенно? Не есть ли все наши призывы к совершенствованию звук пустой и сотрясение воздуха?

Лучше, чем я могу, я не напишу, разумеется, но вера в высшее предназначение писателя, постановка важных вопросов, серьезнейшее отношение к задачам литературы даже и при малом таланте помогут мне стать писателем настоящим. Так что напомнить друг другу об ответственности перед талантом и перед словом никогда нелишне.

В. Камянов хочет видеть нашего современника в литературе «личностью духовно значительной». Я тоже. Думаю, что этого же хотят и писатели, упомянутые в статье «Не добротой единой...».

Что же нам мешает? Наша робость? Время? Отсутствие душевного опыта или недостаточный талант? Или в самом деле засилье бедной лирической прозы?

На этот вопрос так же трудно ответить, как и на вопрос, почему Толстой был эпическим писателем, а Чехов — лирическим.

Итак, подождем, потерпим. А пока что будем принципиально уважать лирическую прозу!

О Бунине¹



Вы задали так много вопросов, что отвечать на них я просто не могу из-за времени. Отвечу только на один – хуже ли стал Бунин писать в эмиграции.

После «Братьев» и «Господина из Сан-Франциско» Бунин стал самым могучим, самым прекрасным русским писателем. Конечно, десятки лет ему приходилось писать о России только по памяти, и это не могло не отразиться на его писаниях. Но как художник, как мастер слова – он, безусловно, вырос.

Я действительно намереваюсь написать книгу о Бунине. Что это будет за книга? Есть у Стефана Цвейга цикл повестей о великих людях под общим названием «Звездные часы человечества». Такой же примерно представляется мне и моя будущая книга, если сподоблюсь я ее написать...

[Начало 1970-х гг.]

¹ Ответ на вопросы составителей тома «Литературного наследия» (т. 84, кн. 2), посвященного И. А. Бунину.

Беседа с Б. К. Зайцевым в Париже

Б. Зайцев: Познакомился я с Буниным приблизительно в 1902 году, в Москве. Чаще всего встречались на таких собраниях литературного кружка «Середа», где главными действующими лицами были Андреев Леонид, вот Бунин, Телешов, иногда приезжал, когда проездом был в Москве, Чехов заезжал, но редко очень. Ну, и вот, этот кружок был, собственно, писателей реалистов. В какой-то момент, когда появился мой рассказ «Волки», более или менее обративший на себя там внимание, меня приняли в этот кружок. И вот там я встречался с Буниным. И надо сказать, что первое же впечатление у меня было такое: так сказать, он мне сразу очень как-то понравился непосредственно, внезапно, если так можно сказать. Я его и боялся как-то, с одной стороны, а с другой стороны — очень к нему так относился... мне нравилось его писание, очень нравилось писание. И вот, я помню, на одном из таких вечеров он мне подарил свою книжку — перевод «Песни о Гайавате» Лонгфелло. Это было в 1902 году, издание «Знание». Ну вот... Я студентом был тогда Московского университета. Пришел я домой, сел читать эту «Гайавату» самую. Я маленькую комнату снимал, жил один, тогда еще женат не был, и вот всю ночь... как раз утром уже дочитал, солнце вставало уже, светать начало. И дальше отношения так сложились... Постоянно я с ним встречался. Он был старше меня на одиннадцать лет, и та литературная богема, в которой я вращался, — это были гораздо более молодые люди, чем он, но были дамы там разные молодые и вообще такие энтузиастки, в том числе моя жена, и вот она втянула в это и Веру Муромцеву, его будущую жену. И они и

встретились-то впервые у нас в доме, на чтении. Молодежь читала, читал и Иван Алексеевич там стихи. И вот Вера в своей книжке — у нее есть книжка о Бунине, — вы знаете, вероятно?

Ю. Казаков: Да, да, я знаю.

Б. Зайцев: Вот, вот... Она там говорит, что вот... Она была очень такая пунктуальная, основательная... Она там написала: «Четвертого ноября 1906 года я в первый раз встретила с Иваном, этот вечер был для меня, так сказать, фатальным...» И действительно фатальным, тоже *coup de foudre*¹ — понимаете ли, да? И... Она была из такого дворянского серьезного дома, — барышня очень... Она не была богема, она была курсистка, она химию изучала, там всякую такую штуку... И представьте себе, что через несколько месяцев он — не женившись на ней — увез ее в путешествие в Палестину. Это было весной 1907 года. Она просто сбежала, можно сказать, из дому. Так.

Ю. Казаков: Хорошо!

Б. Зайцев: Как там переживали родители это, я не знаю. Но вышло это так, что они потом сорок семь лет все-таки прожили вместе. А жениться он не мог, потому что он был женат. Был женат, но с женой разошелся, фактически разошелся. Уже несколько лет он жил один, но нормального развода не было. И они формально обвенчались и, так сказать, узаконили только здесь в 1922 году, в Париже. Ну вот. А затем, значит, жизнь шла довольно так близко, параллельно. Вот, в 1910 году он «получил» академика. О, это были большие празднества в Москве, но не сравнимые с тем, что потом произошло, когда он получил Нобелевскую премию — это уже было в эмиграции...

Ю. Казаков: Да. Ну вот, значит... О Нобелевской мы потом с вами поговорим... А вот интересно, как вы с ним увиделись здесь, в эмиграции уже, в Париже? И где вы с ним увиделись?

Б. Зайцев: Видите ли, увиделся я с ним в первый же день, как я приехал из Италии сюда.

Ю. Казаков: Из Италии? А вы сначала были в Италии?

¹ Как удар молнии (*фр.*).

Б. Зайцев: Сначала мы жили в Германии, в Берлине. Но потом, знаете ли, в 1923 году, в Германии началась инфляция, страшно расти цены начали, невозможно уж было жить. И тут случилось так, что у меня оказались некоторые деньги. А Италию я всегда чрезвычайно любил, и мы, значит, попали вот в Италию. Несколько месяцев там пробыли. А потом, куда деваться? В Париж. Центр эмиграции был тогда Париж, как он, собственно, и сейчас для Европы остался, но сейчас уже остатки эмиграции, вымирающей. Так... А тогда было очень много. И в первый же день я к нему именно на ту самую квартиру, где теперь живет Зуров, вот через улицу от нас перейти, rue Offenbach, 1, я как раз к нему и попал.. И потом, значит, мы постоянно встречались...

Ю. Казаков: Но вы уже знали, что он здесь?

Б. Зайцев: Знал, знал, да, да, да, конечно!

Ю. Казаков: Нет, а я думал так, что каждый из вас добрался отдельными сюда путями, а потом...

Б. Зайцев: Нет, он раньше меня попал в Париж. Он попал в Париж, кажется, в 1919 что-то году.. Он в 1918 из Москвы уехал в Одессу, и потом через Болгарию там, Сербию добрался до Парижа.

Ю. Казаков: Вот, пожалуйста, какой-нибудь характерный случай, пожалуйста... Понимаете, когда люди знают друг друга очень много лет, то, естественно, у них бывает много всяких интересных – неожиданных вдруг или странных случаев. Если только у вас происходили такие, то, пожалуйста, расскажите.

Б. Зайцев: Да что вам сказать? У нас отношения всегда были такие... Я был младший, он был старший, и он вообще такой властный был человек, а я несколько всегда на втором плане, что естественно. Но тут вот в эмиграции мы у них гостили сплошь и рядом, в Грассе там, на юге. И вот там он иногда плакался мне, так сказать. Ну... Не особенно удобно, понимаете, для обнародования<...>¹ Так что он очень стра-

¹ Опушено несколько фраз, о которых Б.К. Зайцев спустя несколько месяцев после этой беседы – 16 января 1968 года – писал Ю.П. Казакову: «Да, еще: я тогда слишком много разболтал Вам о Бунине, о его сердечных делах<...> – очень прошу, держите это про себя, сведения такие не для публики, слишком личное. Так что надеюсь на Вашу сдержанность».

дал. У него это было очень большое чувство. Но в то же время по отношению к своей жене он все-таки тоже был жесток, это надо сказать, это надо сказать. Ну, и положение их было, конечно, довольно аховое. Судить в этих делах, знаете ли нельзя, это очень трудно судить.

Ю. Казаков: Ну вот, интересно, какие были и у вас, и у Ивана Алексеевича перспективы в жизни впереди, т. е. на что вы надеялись, о чем вы думали? Все-таки жить здесь, вдали от родины, конечно, плохо... Я очень как-то понимаю, и мне больно думать о тех годах, которые вы провели здесь вдали от русского народа... Вот какие в этом смысле были у вас настроения вообще, мысли, надежды?

Б. Зайцев: Вы знаете, произошла странная, собственно говоря, вещь. Почти все писатели старшей группы, за исключением Куприна и Бальмонта, которые были уж очень пьяные такие, остальные почти все в эмиграции дали как раз наиболее зрелые свои произведения, — конечно, связанные с Россией, явно. С этим миром у нас ничего, собственно, общего нет. Вот я, например, живу свыше сорока лет во Франции, читаю я свободно по-французски, но говорить я по-французски — очень плохо говорю, не решаюсь... Пустяки там какие-нибудь спросить иногда, но чтобы что-нибудь рассказать или... Это я не берусь за это. Да. Так, конечно, жили, собственно, Россией — внутренне Россией, но не Россией революционной, нет, это нет. Это нам был чуждый мир, все-таки далекий, да.

Ю. Казаков: Да... А вы не помните подробностей, связанных с присуждением Ивану Алексеевичу Нобелевской премии?

Б. Зайцев: О, помню очень хорошо.

Ю. Казаков: Пожалуйста, расскажите.

Б. Зайцев: Ну, видите ли, Нобелевская премия — это не такая простая штука. Борьба за эту Нобелевскую премию для Ивана шла годы. Так же, как она шла и для Шолохова — советское правительство много раз выставляло его кандидатуру подряд, отказывали, отказывали, а потом дали. А Иван попал в другую полосу. В то время еще эмиграция русская здесь имела гораздо больший престиж, чем сейчас. Сейчас это не

модно, совершенно, а тогда все-таки... Да. Ну, и несколько раз кандидатура его выставлялась, но не проходила. Однако настал момент — это было в 1933 году, да, а он был в это время в Грассе, — когда ему присудили эту премию. И вот я знаю обстановку эту уж, так сказать, достоверно вполне — жизненную, пустяковую, собственно, так... Иван очень волновался в этот день — известен был день, когда присуждают премию, И он пошел с Галиной в سینта. Днем. Такой сеанс: от четырех до семи что-нибудь... В Грассе, он в Грассе был в это время... Так. Вдруг телефонный звонок из Стокгольма, к ним, в Грасс. Вот. Трудно даже разобрать, далеко. Это Вера слушала, Вера Бунина, но все-таки поняла, что вот ему присудили премию. Зурова отправили, она отправила в سینта сказать Ивану. Ну и вот Зуров... и какая-то прислуживавшая с фонариком искали, где Иван сидит, и наконец вот нашли. И ему сказали, что он получил Нобелевскую премию. Ну, он ушел сейчас же домой, а пока он пришел домой, тут уже началось что-то такое, со всех сторон телефоны, из Ниццы там... И все... К вечеру уже, Бог знает, набилось сколько разных корреспондентов, знаете ли, интервьюеров. А Вера рассказывала потом моей жене: «Голубчик, а, ты знаешь, а нам и угостить нечем было!» Они жили действительно очень бедно, это верно. Да. Иван Алексеевич был человек, конечно, такой стародворянской замашки: когда деньги есть — спустил мгновенно, а потом вот на бобах. Вообще заработки, конечно, ничтожные были, это неудивительно. Ну вот. И начался такой туман какой-то славы, и всё в Грассе, и потом он, значит, приехал сюда, в Париж. Когда он сюда приехал, это уже тут эмиграция просто с ума сошла, в том числе и я. Нам это казалось... Видите ли, что же — мы были какие-то последние люди там, эмигранты, и вдруг писателю-эмигранту присудили международную премию! Русскому писателю! Да. И присудили не за какие-нибудь политические писания, а все-таки за художественное, да? Ну вот, я помню... Я в то время писал в газете «Возрождение», тогда «Возрождение» была газета — вот тут я вам показывал журнал, но это позже газета перешла, после немцев; когда немцы закрыли газету, то по-

сле них уже журнал, — так... Так мне экстренно поручили написать передовицу о получении Нобелевской премии. Это было очень поздно, я помню, что было десять часов вечера, когда мне это сообщили. Значит, в первый раз в жизни я поехал в типографию и ночью писал такую небольшую передовицу в «Возрождение», которая называлась что-то вроде не то «Победа Бунина», не то «Победа эмиграции» — я уж хорошенько не помню. Писал в типографии. Эта типография около Place d'Italie, это далеко очень отсюда. Я помню, что я вышел в таком возбужденном состоянии, вышел на Place d'Italie и там, понимаете, обошел все быстро, и в каждом бистро выпивал по рюмке коньяку за здоровье Ивана Бунина!.. Ну, приехал домой в таком веселом настроении духа, ну, все-таки поздно, я думаю, часа в три ночи, в четыре, может быть... Да... И потом тут началось! Тут началось! Всякие банкеты, выступления, одно было даже немножко курьезное... Тут было такое одно общество, такое очень православное, которое тоже Ивана чествовало, и был митрополит Евлогий... Ну, значит, молебн, всё... И вот. Было довольно много народу. И Иван к нему подошел и... Ну, когда подходят к митрополиту, то обыкновенно он благословляет, целуют руку. Но Иван тут почему-то так воодушевился, что он встал на колени, встал на колени перед митрополитом... Это совершенно ни к чему, конечно, было, но такое какое-то было возбужденное состояние, что никто этого ничего... Так все хорошо было, да. А потом громадное собрание было в Théâtre des Champs-Élysées, и там уже русская эмиграция его чествовала. Ну, ряд ораторов был, в том числе и я читал о нем такую статейку, заранее написанную. Все это было очень торжественно. Вера Бунина сидела с митрополитом в ложе. Моя жена там где-то тоже околачивалась... Театр огромный. Устраивали это вот «Современные записки» как раз — этот журнал — этот вечер. Но они до последнего момента не были уверены все-таки, будет ли этот театр полон, и принимали героические усилия — просто загонять людей. Но все-таки действительно театр был полон... Да, Иван снял в Hôtel Majestique — один из дорогих, великолепных отелей, он снял там себе такой

апартамент в две-три комнаты, и вот там с ним Галина жила, понимаете, там Галина с ним жила — вот это, конечно, да... И.. А Вера еще оставалась в Грассе, понимаете, Вера Бунина. Но потом позже она приехала. И после всего этого вот угара, я не знаю, дней десять продолжалась эта вот такая штука вся, — и уехали в Стокгольм. Ну, мы их провожали, друзья там, все были на вокзале, на Северном. И в Стокгольме, там тоже все было чрезвычайно парадно. Но это двадцать раз описано, понимаете... Вот, вы не видели — есть воспоминания Галины Кузнецовой? Да. Вероятно, это вы не читали?

Ю. Казаков: Нет, нет. Вы знаете, я читал — такой есть у вас, был, вернее, репортер по фамилии Седых...

Б. Зайцев: Андрей Седых, да. Вот он тоже описывал это. Он с ним ездил туда.

Ю. Казаков: Это его псевдоним, у него еврейская какая-то фамилия,

Б. Зайцев: Да, да, да.

Ю. Казаков: Ну, он, значит, написал... Я это читал. Я читал, как там он был его на это время секретарем...

Б. Зайцев: Да, да, да. Он был секретарем Бунина, совершенно верно.

Ю. Казаков: Я читал, как он там уронил медаль, медаль эта покатила, и они там ее ловили все. И как он потом папку, когда он ловил эту медаль, положил папку там куда-то, которую дали — медаль и папку, — а потом Бунин у него спросил: «Слушай, а где же чек?» А тот: «Какой чек?» — «Как, говорит, какой чек? В папке который?» Тогда тот побежал искать эту папку. Это я все читал.

Б. Зайцев: Да, да, это все верно,

Ю. Казаков: Ну, вы его, значит, провожали... А потом вы не встречали его?

Б. Зайцев: А потом я его уже не видел, они проехали через Дрезден, я вам уже рассказывал, в Дрездене совсем неожиданная штука произошла — встреча Галины с этой Мартой. И потом они остались в Грассе. Ну, а потом, потом мы иногда бывали там, на юге Франции тоже, в Ницце жили с женой, там я иногда читал, кое-что подрабатывал. Знаете, ведь мы жили так... со дня на день.

Ю. Казаков: Конечно...

Б. Зайцев: Никакой обеспеченности, ни малейшей не было...

Ю. Казаков: А скажите, пожалуйста, были у вас какие-нибудь вот литературные разговоры, то есть Иван Алексеевич как-то делился с вами своими замыслами?

Б. Зайцев: Да, ну постоянно мы разговаривали...

Ю. Казаков: А вот интересно еще, как он думал о собственном творчестве, как он думал о себе самом? Как писателе...

Б. Зайцев: Знаете, о себе самом он мало говорил, но он, конечно, себя очень высоко ставил, в этом нет никакого сомнения. И он имел к этому основания, он имел к этому основания. Но... других писателей, он кроме... Он обожал Льва Толстого. Вот это — да.

И кроме Льва Толстого, он, собственно говоря, он никого... и себя... Вот Чехова он любил, Чехова любил, но, знаете ли, самые последние его воспоминания — там все-таки даже и по поводу Чехова есть немножко так... Он очень не любил его театра, чеховского, так же, как Толстой. Толстой говорил Чехову: «Знаете, вы пишете... Ваш театр, ваши пьесы еще хуже Шекспира!..»

Ю. Казаков: Да, это известное его высказывание. Ну а какие-нибудь литературные разговоры...

Б. Зайцев: Да! Литературные разговоры. Видите ли, литературные разговоры у нас в течение, можно сказать, всей жизни продолжались в таком направлении, что я был все-таки гораздо моложе его, и я находился на грани между вот... декадентством, символизмом, с одной стороны, а другим концом как-то более к реалистическому лагерю принадлежал. Так что мое положение было такое, что все мои приятели, многие, и знакомые левого крыла, литературного, они на Бунин всегда нападали как на реалиста, и я всегда защищал его с этой стороны. Так. С другой стороны, Бунин всегда их ругал, понимаете, вот Блока там, Белого — и тут я ему возражал. Так что мне приходилось и туда, и сюда, на оба фронта, так сказать, действовать, да. Но Иван Алексеевич вообще, в разговоре и в жизни, он был чрезвычайно таким — ну, как

сказать, — красочным и образным, вообще, человеком. Он говорил очень метко, очень своеобразно, в особенности, когда он сердился, это ему придавало какое-то такое... Ведь у него есть книга, которую, вероятно, вы не читали...

Ю. Казаков: Нет, не читал. Это, по-видимому, единственная книга, которую я не читал, — это воспоминания его, да?

Б. Зайцев: Воспоминания, да... Нет, вот — «Окаянные дни». «Окаянные дни» — ну, это вроде уже памфлета такого, но это, так сказать, на вас... то есть, не на вас лично, но... против советского правительства. Это что-то невероятное! Понимаете ли, да...

Ю. Казаков: Да, я слышал даже здесь вот — я встречался уже, вот с Кириллом¹, и он тоже мне сказал, что Бунин здесь просто злобен, злой, он несправедлив уже...

Б. Зайцев: От Ивана Алексеевича ждать какой-то объективности — это, конечно, невозможно, это невозможно, нет.

Ю. Казаков: Как раз вот, понимаете ли, он как художник, ведь он очень объективный.

Б. Зайцев: Ну да, когда он спокоен, когда он пишет о том, что он любит, что он знает. Но и в писании его есть все-таки много такого, как вам сказать... Ну «Деревня», например. «Деревня» — все-таки такая очень обличительная штука, страшное изображение деревни, и тоже одностороннее все-таки, очень одностороннее.

Ю. Казаков: Ну, как вам сказать, — нет, он там все-таки справедливый. Я вот знаю деревню, нашу уже, ну, современную деревню...

Б. Зайцев: А из каких краев вы вообще сами?

Ю. Казаков: Я из Москвы, я, как вам уже сказал, я родился на Арбате.

Б. Зайцев: А деревню — каких мест...

Ю. Казаков: Я ездил в разные деревни — я ездил в деревни на Смоленщине, в Смоленскую область, в северные деревни, Архангельская область, и потом в Ярославскую область...

Б. Зайцев: Да, но в общем вы все-таки горожанин, да?

¹ Кирилл Ельчанинов — парижский знакомый Казакова, сын протоиерея Александра Ельчанинова.

Ю. Казаков: Горожанин, да, да.

Б. Зайцев: Вы были в деревне, а Бунин вырос в деревне...

Ю. Казаков: Я понимаю.

Б. Зайцев: ...так же, как и я. Все мое детство и ранняя молодость вся связаны с деревней, понимаете, так... кровно, то есть, конечно, не с крестьянской деревней, но все-таки.... С детства, мальчики и девчонки все мои были приятели из деревни нашей. Так что я...

Ю. Казаков: У вас было, наверное, какое-нибудь имение, у ваших родителей?

Б. Зайцев: Видите, мой отец был горный инженер. Он, собственно, не был таким помещиком. Но внутренне он не любил вообще это своё дело. Да, у него было имение под Калугой, но недолго — он его потом продал. А потом, уже когда он стал старше, уже ослабел и работать не мог, кое-какие деньги были — он купил имение, тоже небольшое очень, в Тульской губернии, верстах в шестидесяти от Ясной Поляны, но в Каширском уезде. И вот там он, и до конца дней уже, пробыл, как бы в отставке... И вот мы там с женой постоянно жили тоже, в этом Притыкине, летом приезжали, а во время войны жили зимой... Ну вот... Этот вот вопрос об участии или неучастии писателя в общественных делах, это вы вполне можете и на меня обратить, и понимаете ли, острее неким, потому что действительно я был чрезвычайно далек от всякой общественности всегда. Ну, просто характер такой, понимаете ли.

Ю. Казаков: Нет, нет, когда я говорил, я говорил не об участии или там неучастии в общественных делах. Писатель может не участвовать в общественных делах, то есть, не выступать на собраниях...

Б. Зайцев: Ну да. Но переживать...

Ю. Казаков: ...не писать статей, не быть там председателем разных комитетов и так далее. Но писатель не может отстраниться от жизни своей страны, своего народа. Не только своего народа, но вообще всего мира. Писателя, как и любого человека, не могут не волновать какие-то события в мире, которые происходят. Я вот вам говорил о том, что, ког-

да мне сказали здесь французы, что они вообще свободны от ответственности перед обществом...

Б. Зайцев: Это неверно, нет — все ответственные.

Ю. Казаков: ... и они этим гордятся, то я не понимаю вообще достоинства этой самой свободы.

Б. Зайцев: А какие это французские писатели?

Ю. Казаков: Вы знаете, я вчера говорил... Я забыл его фамилию, потому что у меня очень плохая память на эти самые французские имена, тем более я ни слова не знаю по-французски. Это молодой французский писатель, очень известный, как мне сказали здесь, он...

Б. Зайцев: Позвольте, а как вы с ним — вы по-французски говорите?

Ю. Казаков: Нет, я через переводчика, конечно. Вот мы сидели в кафе... Он здесь представляет какую-то там школу или отряд авангардистов этих самых, «новый роман»... Он говорил о «новом романе» и говорил вообще о писателях французских и об их настроении. И вот он в этом самом разговоре сказал, что французские писатели, они независимы...

Б. Зайцев: Вы не с Кириллом были там?

Ю. Казаков: Нет, нет, это у меня есть переводчица, моя переводчица, которая перевела две мои книги¹. Она прекрасно говорит по-французски и прекрасно говорит по-русски, потому что у нее бабушка русская. И вот, значит, — правда, у нас было мало времени — мы с ним недоспорили, то есть недоговорили, мы решили продолжить этот разговор и встретиться еще раз.

Б. Зайцев: Скажите, а эта все вертится штука?

Ю. Казаков: Да, вертится, конечно. Вы знаете... Эта штука, она, как вам сказать... Я не могу записывать быстро, стенографически, я боюсь забыть, боюсь наврать, если вы мне что-то расскажете, понимаете. Поэтому я решил просто — с вашего разрешения, с вашего согласия — записать наш разговор о каких-то давних уже годах, о вас, об Иване Алексеевиче Бунине. Что-нибудь вы вспомните, расскажите, чего не было в печати о нем, потому что вы его долго знали. Я это потом использую в своей работе...

¹ Лили Дени. В ее переводе в Париже вышли книги Казакова «La belle vie» (1964) и «Ce Nord maudit» (1967).

Б. Зайцев:... А вот этот француз — не Роб-Грийе, нет?

Ю. Казаков: Нет, нет, нет, нет. Как раз о Роб-Грийе шла речь. Но это другой француз, забыл фамилию... Я вам скажу в следующий раз, специально запишу и скажу вам. Но мне сказали, что это очень известный какой-то здесь и очень уважаемый..

Б. Зайцев: А у кого было дело? Где вы встречались?

Ю. Казаков: В кафе. Он один, а со мной была переводчица... Да, так, значит, вернемся все-таки к Ивану Алексеевичу... Ну, что-нибудь расскажите о нем: какой характер у него, как он вообще жил...

Б. Зайцев: Характер у него нелегкий был, его многие не любили, потому что у него, действительно, были черты, которые все-таки трудно, трудно было переносить. Но у меня лично, не знаю, с самых ранних лет, у меня так, как было, так и осталось к нему какое-то такое... Вот и моя дочь то же самое, она его очень защищала... Его многие ругают тут, многие ругают, не за что-либо, там политика — это другое дело, — вот за резкость, за... иногда и грубость, он мог быть очень груб, это и говорить нечего, да. И вообще у него характер был такой... Вот он мне рассказывал, например... Собственно, наследственность... Отец его был — ну, совершенный уже русский, понимаете ли, такой... барин времен Николая I, я не знаю.... Между прочим, с Толстым вместе воевали под Севастополем, вот Бунин, отец Бунина. Да.... Ну, сильно пил, и вообще такой взбалмошный, довольно дикий человек, именно такой помещик глухого Елецкого уезда. У Ивана много этих черт осталось. Вспыльчивость крайняя, неудержимость, иногда резкость манер. Но при этом огромная одаренность и какая-то такая талантливость непосредственная, которая, понимаете ли... подделать ее нельзя, это человек так рожден. Рассказывал он замечательно, народ русский знал превосходно. И когда он рассказывал про простонародье, — это, понимаете ли, просто картина! Я помню, мы с женой раз уезжали из Граса, и он и его жена провожали нас до Тулона, это часа полтора езды в поезде. И он нам, понимаете ли, — ну просто это было театральное представление, он изображал каких-то мужиков, баб русских, все эти полтора часа мы сплошь хохота-

ли. Да... И был момент, когда Станиславский предлагал ему в Художественный театр, — конечно, не стать профессиональным актером, но сыграть роль.. Какая-то, по мнению Станиславского, я уже не помню, в какой пьесе, что-то очень было подходящее. Вот. Но Иван сказал: «Нет, дорогой мой, я не дурак, чтоб в театр идти, нет». Он терпеть не мог театр, между прочим. Хотя в нем самом актер был. Не в плохом смысле актер, а в смысле умения и способности изображать что-то вот в словах, в жестах и так далее... Рассказчик был первосортный, первосортный, и при этом такой рассказчик, который не надоедал, так сказать, — бывают такие, что вот заведет что-то без конца... Нет, у него этого не было. А вот последние годы были очень горестные, очень горестные..

Ю. Казаков: А что, очень он бедно, наверное, жил в последние годы, да?

Б. Зайцев: Нет, дело не в бедности. Видите, это вот опять-таки по барскому такому размаху эту Нобелевскую премию он довольно быстро прожил. Хотя надо сказать, что он, когда ее получил, он по-ветхозаветному десятую часть роздал своим сотоварищам, в том числе и мне. Устроено было так научно все, был комитет собран, который распределил... Из его там друзей, но незаинтересованный в деньгах...

Ю. Казаков: А вот интересно, сколько — я так, в общем, собственно, и не знаю, много ли денег Нобелевская премия?

Б. Зайцев: Да, это порядочно.

Ю. Казаков: Вы не помните точную сумму?

Б. Зайцев: Нет, помню, помню. Это около восьмисот тысяч франков — тогдашних, это с теперешними франками ничего общего, теперь это двадцать миллионов франков...

Ю. Казаков: А если в долларах, я больше понимаю в долларах, — сколько?

Б. Зайцев: Я вам сейчас скажу, сколько. Доллар — пятьсот франков старых, значит... сорок тысяч долларов, должно быть.

Ю. Казаков: Это много. Не так уж, в общем, много, конечно... Это хватит на несколько лет очень хорошей жизни.

Б. Зайцев: При разумной можно... Собственно, старость

обеспечена. Но он быстро растратил, уже, я думаю, лет в семь-восемь он все просадил, да. К началу войны он оказался совсем на бобах уже, да.

Ю. Казаков: Пожалуйста, расскажите — вы тут в разговоре уже упомянули о его, ну, странном что ли, или, как это сказать — поведении в последние годы, когда он переругался со всеми здесь, вышел из Союза. Расскажите, пожалуйста.

Б. Зайцев: Это очень печальная история. Да, я расскажу. Для меня самого печальная, потому что он меня, так сказать, тоже возненавидел в некотором смысле, хотя я ничего против него не делал решительно. Ну вот, эта история была, понимаете ли, такая. Когда кончилась война, тут в эмиграции, что вполне естественно, конечно, очень такое патристическое настроение проявилось. Вот. И на советское правительство многие эмигранты возлагали надежды гораздо большие, чем оно оказалось в действительности. Так. Думали, что вот будет поворот, более либеральный такой в политике, больше свободы, больше, ну, терпимости и так далее. В эту струю в значительной степени попал и Иван Алексеевич. Кроме того, материальное его положение было уже плохо. Он по временам сотрудничал в здешней, советской газете. Были такие «Русские новости», они до сих пор существуют. Газета, которая поддерживается Советами, и они сразу берут большое количество экземпляров. Ну, он там кое-что печатал. А потом, главное-то вот, это наш Союз, у нас Союз эмигрантских писателей, — которого я в то время был председателем...

Г о л о с : Обедать, пожалуйста!

Б. Зайцев: Да, сейчас, сейчас. Но я скоро договорю, да... И там, понимаете ли, возник такой очень тяжелый тоже вопрос. Часть членов...

Ю. Казаков: Нет, вы, пожалуйста, поподробнее, мы потом пойдем обедать. А вы все-таки расскажите. Это очень интересно. Нет, я говорю, вы не торопитесь рассказывать...

Б. Зайцев: Может быть, мы пока прекратим, а потом добавим, или как?

Ю. Казаков: А, ну конечно!..¹

¹ На этом запись беседы обрывается.

Вилла Бельведер



Почему не спросил я адреса этой виллы? Не знаю. Скорее всего потому, что не думал попасть в Грасс. Все-таки ехал я не по своей воле, а по заранее расписанной программе.

И вдруг оказалось, что Грасс совсем близко от Ниццы, — и мы поехали. Был яркий весенний день, от синевы небес весело ломило душу, дорога струилась, складчатые отроги гор поворачивались беспрестанно своими гранями, хотелось ехать, но иногда шум машины внезапно утомлял, и тогда думалось, что лучше бы побыть в тишине. И такие прелестные кафе со снежно-белыми столиками во дворах, залитых солнцем, проносились мимо, так было везде пустынно и малоллюдно в этот мартовский день!

Мы не выдержали и остановились возле одного из кафе, вошли во двор, поднялись на веранду, сели за тугую скатерть, выложили сигареты, вольно облокотились... Как жарко и нежно светило солнце. Как потягивал вдруг ледяной ветерок с гор!

Внизу, во дворе за одиноким столом пиновала какая-то семья, дети возились, собака прыгала вокруг стола. Быстрый носовой французский говор вспыхивал там, как блески на волнах.

А я вдруг стал воображать эту виллу Бельведер — и подумал, что, в сущности, это первый дом, где Бунин жил многие годы подряд. Что это был первый его дом!

Странно все-таки, что Бунин, которого критики не называли иначе как барином, помещиком, — никогда не имел своего угла. Вечный бродяга, жил он то у родственников в Орловской губернии, то по отелям, гостиницам...

Трудно понять человека, дожившего почти до старости и нажившего два чемодана рукописей и любимых вещей. Не говорю уже о Толстом — скромнейший Чехов всю жизнь мечтал стать домовладельцем и стал им.

И не беден был Бунин, нет, по тогдашним временам получал он высокие гонорары, любил жить широко — это досталось ему, наверно, от отца — любил путешествовать, побывал чуть не во всем мире, а возвращался каждый раз не к родным палестинам, а в гостиницу Лоскутнюю.

Жалел ли он, что нет у него детей, родного угла, где все свое, родное, привычное, где все настраивает на рабочий лад, на ежедневный постоянный труд?

Никогда не говорил он об этом.

И странно еще, что всю вторую свою половину жизни провел он оседло, почти никуда не ездил, будто потерял вдруг тягу к новым местам. Или это потому, что жил бедно? Даже слишком бедно...

Каюсь — не люблю мемориальных музеев, до сих пор не был во многих знаменитых усадьбах. Но по дороге в Грасс мне вдруг так захотелось увидеть эту виллу, это печальное пристанище, где Бунин проводил свои, может быть, самые страшные ночи в мыслях о мимолетности славы и о скорой неминуемой смерти, так мне стало горько, будто ехал я на дорожную могилу.

И еще я думал, что и этот дом был, в сущности, чужой ему дом. Все в этом доме было ему чужое, и сами стены хранили память о многих поколениях чужих людей.

Все-таки и в этом доме был он минутный гость, странник, присевший на минуту перед дальней дорогой, только вот дороги у него как раз и не было. Даже эфемерного утешения, что дом твой станет когда-нибудь родовым гнездом для твоих детей и внуков — у него не было.

И мне не хотелось в «благоговейном молчании» ходить по комнатам этой виллы, а хотелось только взглянуть на стены, оглянуться вокруг, увидеть то, что долгие годы видел из окна и во время прогулок он.

Я думал, Грасс — небольшое местечко, а увидел большой город, как наша Ялта, с крутыми улицами, со множеством домов, рассыпанных по склонам.

Внизу сильно пахло духами от парфюмерной фабрики, как и везде, было скопище тигрино рывкающих автомобилей, кафе, ресторанов и кинотеатров.

Мои дамы стали спрашивать о вилле Бельведер, оставляли прохожих, сначала всех подряд, потом стали выбирать стариков, мы колесили вверх и вниз, заезжали в кафе и табачные киоски — никто не знал такой виллы...

«Как же так, — растерянно думал я, — странно, что никто не знает, неужели не найдем?» Наконец одна из дам вспомнила, что в богадельне живет какой-то русский старик и уж он-то, наверное, должен знать.

Долго крутились мы по узким улочкам, искали богадельню, наконец нашли. Немного отступя от дороги, стоял большой дом, за домом виднелся парк. Мы вошли в прихожую. Вышла бесшумно нам навстречу сестра в шелестящей черной одежде, выслушала, что ей говорили, молча повернулась и пошла впереди нас.

Я шел последним, и случилось так, что, закрывая растворенную дамами дверь, я вошел на галерею, глядящую громадными окнами в парк; я не сразу обернулся, а когда обернулся — оцепенел на миг: на галерее в креслах, на диванах, на стульях сидело множество старух, все глядели на меня, и все молчали.

Были среди них милые благообразные старушки, но были и страшные, лет за девяносто, с мертвыми лицами, тусклыми глазами, восковыми носами, совершенно лысые, с трясущимися головами! И все они молчали, уставившись на меня. Я слегка поклонился, проходя, — только две или три молча кивнули мне в ответ.

Я вошел в столовую, где уже сидели мои дамы в ожидании сестры-хозяйки, присел за стол и вдруг отчетливо вспомнил детский сад, в который я ходил бог знает когда: так же пахло манной кашкой, компотом, клеенкой и стиранным бельем...

Вышла сестра постарше, тоже в черном и в белом рогатом чепце. Поговорив с полминуты, дамы мои опечалились.

— Что? Умер? — спросил я со стеснившимся сердцем.

— Нет, но два дня назад увезли в госпиталь...

Последняя надежда исчезла. Больше, по-видимому, никто не мог нам указать адреса. Мы поднялись, вышли.... Вы-

ходя, я опять кивнул старухам. На этот раз мне не ответил никто.

Медленно поехали мы по улицам Грасса, а я думал о старухах. О том, что когда-то все они были девочками, девушками, любили и их кто-то любил, даже из-за некоторых из них, может быть, кончали самоубийством. Были у них мужья, любовники, дети, дома. А теперь им только ждать: чья теперь очередь, кого раньше повезут в госпиталь, а потом на кладбище.

Я уж не надеялся попасть больше когда-нибудь в Грасс и увидеть дом Бунина. Я ехал назад по той же прекрасной горной дороге, между пепельными вершинами гор иногда синело море. Рестораны, отели, бензозаправочные колонки, рекламные щиты, развлекавшие раньше, — вдруг надоели.

Я вдруг вспомнил, что уж самый конец марта, что у нас на Оке, в Тарусе, может быть, пошел уже лед, что скоро разлив, по вечерам красно будут гореть там и сям по берегу костерки, бакенщички и рыбаки начнут смолить лодки. Недавний мой Париж...

И вот вечером в богатом отеле, мгновенный гость, стал я вспоминать все, что знал о нем, силясь представить его жизнь в чужой провинции. «Нерадостной была его старость». Это, конечно, неточные слова. Когда человеку шестьдесят и за шестьдесят, радостного в этом мало. Еще меньше ее в семьдесят, в восемьдесят лет. Конечно, не о радости следует говорить в данном случае. Но о покое.

Я еще не знал, какие два грустных дня предстоит мне провести, когда вечером входил под своды парижского вокзала, чтобы ехать в Прованс.

Вспомнил я совершенно ободранную, тысячу лет не ремонтировавшуюся его парижскую квартиру на рю Оффенбах, представил, в какой — даже не бедности — нищете доживал он последние дни, как ослабевшей рукой писал неуверенное свое завещание: «Если будет после меня издание моих литературных работ...», вспомнил кладбище Сен-Женевьев с прелестной церковкой, с березками и приземистый серо-

каменный крест на его могиле. Тут же почему-то пришло на ум мне и другое кладбище, здесь, в Ницце, как ехал я туда мимо королевских дворцов в парках — как изумленно, даже оторопело входил я в этот поистине «город мертвых» — с улицами и проулками, где вместо домов возвышались гробницы и склепы с бесчисленными ангелами скорби и опрокинутыми светильниками на фронтонах, как, нагулявшись, наплутавшись, намучившись, вышли мы наконец к могиле другого изгнанника, полжизни прожившего в Лондоне, умершего в Париже, а похороненного почему-то здесь, под южным солнцем, среди желтого мрамора, исполосованного птичьим пометом.

1968–1969

Поедемте в Лопшеньгу



Перечитывая книги Паустовского, вспоминая разговоры с ним, я теперь думаю, что страсть к литературному труду всю жизнь боролась в нем со страстью к путешествиям.

Вот некоторые выписки из одной только его книги «Золотая роза».

«Еще в детстве у меня появилось пристрастие к географическим картам. Я мог сидеть над ними по нескольку часов, как над увлекательной книгой.

Я изучал течения неведомых рек, прихотливые морские побережья, проникал в глубину тайги, где маленькими кружочками были отмечены безымянные фактории, повторял, как стихи, звучные названия — Югорский шар и Гебриды, Гвадаррама и Инвернесс, Онега и Кордильеры.

Постепенно все эти места оживали в моем воображении с такой ясностью, что, кажется, я мог бы написать (и писал очень много! — Ю. К.) вымышленные путевые дневники по разным материкам и странам».

«Я возвращался на пароходе по Припяти из местечка Чернобыль в Киев».

«Однажды я плыл зимой на совершенно пустом теплоходе из Батума в Одессу».

«Старый пароход отвалил от пристани в Вознесенье и вышел в Онежское озеро.

Белая ночь простиралась вокруг. Я впервые видел эту ночь не над Невой и дворцами Ленинграда, а среди северных лесистых пространств и озер.

На востоке низко висела бледная луна. Она не давала света. Волны от парохода бесшумно убегали вдаль, качая куски сосновой коры».

Сознание, что он едет куда-то, всегда потрясало Паустовского. У него есть очерк, который он называл «Ветер

странствий». Без этого ветра ему трудно было бы жить и писать. Почти все счастливые минуты в его жизни связаны с путешествиями.

Когда он ехал, он думал о той минуте, когда наконец сядет за стол, чтобы написать обо всем, что увидел и о чем думал в дороге.

Когда он работал, сидя где-нибудь в деревне или на заброшенной даче, новая дорога уже звала его и не давала покоя.

«Поезд грохотал, гремел, в пару, в дыму. Пылали, догорающая, свечи в дребезжащих фонарях. За окнами пролетали по траектории багровые искры. Паровоз ликующе кричал, опьяненный собственным стремительным ходом.

Я был уверен, что поезд мчит меня к счастью. Замысел новой книги уже родился у меня в голове. Я верил в то, что напишу ее».

Он написал потом знаменитую свою книгу «Кара-Бугаз».

И — как минута наивысшего счастья:

«Я писал в каюте, иногда вставал, подходил к иллюминатору, смотрел на берега. Тихо пели в железной утробе теплохода могучие машины. Пищали чайки. Писать было легко...

И еще очень помогало работать сознание движения в пространстве, смутное ожидание портовых городов, куда мы должны были заходить, может быть, каких-то неутомительных и коротких встреч.

Теплоход резал стальным форштевнем бледную зимнюю воду, и мне казалось, что он несет меня к неизбежному счастью. Так мне казалось, очевидно, потому, что удавался рассказ».

Таких воспоминаний о счастье дороги в его книгах сотни.

Как-то осенью сидел я в теплом тарусском доме Паустовского. Как всегда, говорили о том, кто из общих знакомых что пишет, куда уехал или откуда вернулся...

— Да, Юра! — оживленно сказал вдруг К. Г. — Я не показывал вам подозрительную трубу? Нет?

И торопливо встал, подошел к полке и подал мне потертую подозрную трубу.

— Посмотрите! Замечательная вещь. И знаете, откуда она? С фрегата «Паллада»!

Потом сел опять за стол, стал смотреть за окно.

— А вы знаете, кому из писателей я больше всего завидую? Бунину! И совсем не таланту его. Гениальности, конечно, всегда позавидуешь, но я сейчас не об этом... Вы представьте только, где только он не был! Какие страны видел еще в молодости! Палестина, Иудея, Египет, Стамбул... Что там еще? Да! Индийский океан, Цейлон... Счастливей человек! Знаете что?.. Давайте с вами поедем в следующем году на Север. Как это там у вас? Лопшеньга... Поедемте в Лопшеньгу?

— Татьяна Алексеевна не пустит, — сказал я.

— Не пустит... — согласился он и вздохнул.

С Паустовским познакомился я в Дубултах весной 1957 года... Прошло, значит, с тех пор четырнадцать лет, и та весна, как и любая другая весна, случившаяся раньше или позже, все будет удаляться от нас, пока не споткнется о нашу гробовую крышку... Странно, как подумаешь, соотношение времени истории с личным временем каждого из нас.

Весной же 1967 года сидел я в Париже в гостях у Б. Зайцева, и говорил он мне об И. Бунине. А начал свой рассказ так:

— Познакомился я с Иваном... кха... познакомился я с Иваном Буниным в 1902 году...

Я даже вздрогнул от какого-то страха — тогда еще Чехов был жив! Восемь лет еще было до смерти Толстого, Горький, Куприн, Бунин были молодыми, едва ли не начинающими писателями, а мой отец еще и не родился! Сколько великих и страшных событий случилось с тех пор во всем мире, какие эпохи миновали, а собственная жизнь, может быть, и не кажется Б. Зайцеву столь уж долгой. Я даже уверен в этом!

Значит, четырнадцать лет прошло с той весны, как впервые увидел я Паустовского и услышал его голос. Я был влюблен в него тогда. Не любил, а именно влюблен. До того, что помню даже, какое пальто тогда у него было, — ратиновое,

с пристежной подкладкой, простеганной ромбиками, — и шапка пыжиковая.

Вообще атмосфера влюбленности и связанного с ней некоторого трепета окружала Паустовского в последние его годы.

В 1963 году, в самый разгар славы Е. Евтушенко, поехал я с ним на Север и могу засвидетельствовать: от поклонников его отбою не было. Но то была качественно другая слава. К Паустовскому же отношение было, как бы это сказать... Да вот пример. Осенью 1960 года собрались мы с Федором Поленовым, внуком художника и директором музея, в гости к Паустовскому. Дошли до ворот, и тут Поленов даже как-то по-детски забоялся и дальше идти отказался. Пошел я один.

— Константин Георгиевич, — говорю, — там за воротами еще гость.

— А почему же за воротами?

— Стесняется вас.

По правде говоря, я тоже стеснялся каждый раз, наведываясь к Паустовскому.

Я не знаю, когда именно заболел Паустовский астмой. Но уже тогда, в Дубултах, болезнь крепко захватывала его, он все переменял комнаты, никак не мог устроиться, чтобы было тепло и солнечно. Иногда в погожие дни он одиноко бродил по песчаным дюнам, фотографировал что-нибудь, посматривал на белок, выходил к морю, но ненадолго — с моря дул сырой ветер, чуть не до горизонта громоздился ледяной припай, и пахло снегом.

Я не бывал в Дубултах летом и осенью, но весной там прекрасно! Почему-то много солнца, легкий морской воздух, заколоченные дачи, дома отдыха закрыты, кругом безлюдно, да и в Доме творчества обычно человек пятнадцать народу. Ранней весной там хорошо работается. Говорят, Паустовский именно в Дубултах написал чуть ли не всю «Золотую розу».

Но за тот месяц, когда видал я его каждый день, он, моему, почти не работал — много гулял, читал что-нибудь. Редко бывал он один, чаще был окружен собеседниками, смеялся и говорил, говорил своим слабым, сильным голо-

сом — чаще всего что-нибудь смешное. Любил рассказывать и слушать хорошие анекдоты. Вообще юмор, ирония были присущи ему в высшей степени.

Так он мне и запомнился тогда — сутулый, маленький, в очках, — и всегда возле него три-четыре собеседника.

Очков своих он как-то стеснялся, что ли, не подберу лучшего выражения. Во всяком случае, почти никогда не фотографировался в очках, торопился снять.

Прочитал он тогда мои первые рассказы и своей восторженной оценкой так смутил меня, что я несколько дней стеснялся к нему подходить. Рассказа три он отобрал и написал письмо для передачи Э. Казакевичу.

Любопытная деталь! В письме, в конце, кажется, он писал о весне и что на рассвете слышны с моря крики гусей... Так вот, дело было в начале марта, в море широкой полосой тянулся ледяной припай, — и для гусей было еще рано. Но была солнечная весна, закаты долго зеленели над морем, проступала яркая Венера — гуси должны были прилететь. Они тут же и прилетели в воображении Константина Георгиевича.

В следующий раз увидел я его ровно через год, тоже весной. Тогда впервые я попал на Оку, в Поленово. Была середина апреля, по оврагам еще белел снег. Ока стояла высоко, заливала все луга окрест, по лесам шуршали вороха прошлогодних листьев, закаты были широки, зелено-желты, и Ока по вечерам долго и выпукло сияла отраженным светом среди темных берегов.

А в Тарусе было парно, грязно, все бежало, булькало, лилось, Ока лежала внизу мутным необозримым морем, в облаках случались голубые просветы, тогда столбы света падали на окрестные холмы и становился виден прозрачный пар над оголенной черной землей, над перелогами.

Паустовский, нахохлившись, сидел у себя в саду над разлившейся Таруской, и мне даже страшно стало — до того худ он был, бледен, так глубоко завалились у него глаза и такой тоскующий был взгляд куда-то вдаль, за Оку.

— А, Юра! — силло выговорил он, подавая слабую ручку. — Просили чехи у вас рассказов? Я им хвалил вас... Вас по-

ра переводить... Вы сейчас из Москвы, да? Сергея Никитина знаете? Очень талантливый...

Заговорил, будто только вчера мы с ним виделись, но говорил трудно, отрывисто, слабо, дышал так жадно, нервно, часто, что плечи ходуном ходили.

— Астма вот... Душит...

И улыбнулся застенчиво, будто извиняясь, и опять заговорил о литературе, о новых именах, о весне, о Болгарии... Подошла Татьяна Алексеевна, работавшая в саду, погнала нас в дом.

Не знаю точно, когда поселился Константин Георгиевич в Тарусе. Купил он сначала полдома с верандочкой, потом пристроил порядочную бревенчатую комнату, из веранды сделали столовую, а внизу, как бы в полуподвале (как почти у всех тарусян), — кухню и к кухне еще прируб, нечто вроде амбарчика, через который и был вход.

Счищая возле амбарчика грязь с сапог, я успел сказать К. Г., что собираюсь летом на Север, на Белое море, стал рассказывать о поморах. И, едва взойдя в теплую бревенчатую комнату, он тут же полез на полку, достал географический атлас, снял очки и, поднеся атлас близко к глазам, начал отыскивать места, куда я собирался ехать.

— Яреньга... Лопшеньга... — бормотал он. — Какие названия! Юра, возьмите меня! Возьмете? Я вот поправлюсь... Врачи пустят — возьмете?

И с тоской поглядел за окно, на заливные луга, на Оку.

За все время — с той, далекой теперь весны в Дубултах и до рокового июльского дня 1968 года — бывал я у Паустовского и говорил с ним раз двадцать, не больше. Все-таки я стеснялся его всякий раз почти как в начале знакомства, боялся помешать ему, утомить, попасть не вовремя, хоть, наверное, все это я и навывдумывал и К. Г. был бы рад всякому моему приходу... Ведь расспрашивал же он у всех обо мне, где я, что пишу. Да и не может писатель быть все один да один. Одному хорошо работать, но ведь не работаешь же все двадцать четыре часа. Писателю нужны люди, новости, пустяки всякие, мало ли что. Помню, как удивил меня напор Катаева.

— Приходите, приходите! — звал он нас с В. Росляковым. — Утром, днем не зову, днем я работаю, а вечером приходите! Поговорим...

А в последние годы мне и видеть-то Паустовского было почти невозможно: то он лежал в больнице с очередным инфарктом, то жил в Ялте или в подмосковном каком-нибудь санатории, то, слышал я, уехал во Францию, в Италию...

Так что мало встреч было у нас с ним, и было бы поэтому непростительной самоуверенностью с моей стороны говорить, что я хорошо знаю его как человека.

И все-таки хочу отметить, что Паустовский-человек удивительно соответствовал Паустовскому-писателю. Бывают, и не так уж редко, прекрасные писатели и плохие люди... Паустовский же был хороший человек, с ним было хорошо. Он почти не говорил о своих болезнях, а жизнь его, прямо сказать, была мучительной в старости. Большой силой духа надо обладать, чтобы месяцами, а если все сложить, то и годами лежать в больницах и не потерять себя как человека, человеческое в себе не растратить.

Писал он в последние годы много, издавался широко, не только издавался, но переиздавался, его перечитывали, а это, по словам Льва Толстого, первое дело, когда перечитывают. Я в Москве не мог подписаться на его собрание сочинений, а подписался в Ленинграде, купил очередь у барышника за сто пятьдесят рублей старыми деньгами. А брат моей жены, студент-физик, дежурил всю ночь по очереди с приятелем в Минске, чтобы подписаться на последнее собрание сочинений.

В этом смысле Паустовский был счастлив, конечно, — мало ли даже и очень талантливых писателей заканчивало у нас свою жизнь никем не читаемыми.

Но я почти не слышал от него, чтобы говорил он о своих книгах, о своей работе, один раз только сказал, что хочет составить книгу из читательских писем с комментариями.

То и дело, бывало, слышишь от него:

— Вы Вознесенского знаете? Хороший он человек? А правда, чудесная поэтесса Ахмадулина? Картины Юры Васильева видали? А как вы относитесь к Конечкому? А Окуджава вам нравится?

Литературу он любил страстно, говорить о ней мог без конца. И никогда не наслаждался, не любил в одиночку — топился всех приобщить к своей любви. «Юра, вы Платонова знаете? — спросит и сразу начинает волноваться от одной только мысли о Платонове. — Нет? Непременно достаньте! Это гениальный писатель! Вот погодите, он у меня в Москве есть, я вам дам, вы приходите. Какой это писатель — лучший советский стилист! Как же это вы не читали?»

Он был смугл, с хорошим лбом с залысинами, уши у него были большие, щеки втянуты от болезни, и от этого отчетливее и тверже скулы, тоньше и больше казался горбатый нос и резче морщины, рассекавшие лицо от крыльев носа.

Происходил он с одной стороны от бабки-турчанки, была в нем польская кровь, была и запорожская. О предках говорил он, всегда посмеиваясь, покашливая, но было видно — чувствовать себя сыном Востока и запорожской вольницы ему приятно, не однажды возвращался он к этой теме.

Сидел он чаще всего сутулясь, и от этого казался еще меньше и суше, смуглые руки держал всегда на столе, все что-нибудь трогал, вертел во время разговора, смотрел на стол или в окно. Иногда вдруг поднимет взгляд, сразу захватит тебя целиком своими умными темными глазами и тотчас отвернется.

Смеялся он прелестно, застенчиво, глуховато, возле глаз сразу собирались веера морщинок — это были именно морщинки смеха, глаза блестели, вообще все лицо преображалось — на минуту уходили из него усталость и боль, и я не раз ловил себя на желании рассмешить его, рассказать что-нибудь забавное. Это же стремление подмечал я во всех почти собеседниках Паустовского.

Трудно представить себе более деликатного человека, так сказать, в общезитии. Если болезнь не укладывала его в постель, обязательно выходил в сад навстречу гостю, и разговаривал час и два, и провожал всегда до ворот. И если гость был не неприятен ему, непременно на прощание скажет что-нибудь очень ласковое. «Очень я вас люблю!» Или: «А знаете, я о вас все знаю — постоянно у всех спрашиваю!»

Однажды в октябре пробирался я в деревню Марфино, километрах в пятнадцати от Тарусы, по Оке. У меня тогда только что вышла книга в Италии, и, конечно, не утерпел, заехал по дороге к Паустовскому похвастаться. Он был один, видимо, скучал и очень обрадовался. Книжку взял он торопливо, почти схватил, снял, как обычно, очки, близоруко щурясь, стал рассматривать обложку, перелистывать страницы и так радовался, будто это не мои, а его рассказы впервые вышли на итальянском. И во все остальное время, пока я у него сидел, говорил, как красиво в Марфине, и как там работает, и какая вообще чудесная осень, — он все косился, поглядывал на книжку (она лежала на столе), все брал ее и начинал снова перелистывать, разглядывать вновь и вновь, глухо посмеивался, что на обложке помещена была рыночная картинка с лебедями, которых рисовали у нас в то время на обратной стороне клеенки.

...Паустовский был добрый и доверчивый человек. К сожалению, иногда слишком даже добрый и доверчивый. Свое хорошее мнение о каком-нибудь человеке он часто распространял и на писания его. Зато скольким действительно талантливым писателям он помог, сопровождая добрыми словами их первые книги, неустанно повторяя их имена во многих своих интервью, как у нас, так и на Западе.

Я не был учеником Паустовского в прямом смысле этого слова, то есть не занимался у него в семинаре в Литинституте, да и литературно я, по-моему, не близок ему. Но он так часто говорил обо мне с корреспондентами и писателями разных стран, что во многих статьях Паустовского называли моим учителем.

В высшем смысле это правда — он наш общий учитель, и я не знаю писателя, старого или молодого, который не воздал бы ему в сердце своем.

Как я сказал уже, Паустовский был очень доверчив. Жил в Тарусе прекрасный старый врач и замечательный человек Михаил Михайлович Мелентьев. Как-то Паустовский был у него со своими болезнями, и Мелентьев вдруг предложил ему бросить курить.

— Вы знаете, Юра, — с некоторым даже изумлением говорил мне Паустовский, — Мелентьев тайный гипнотизер. Предложил мне бросить курить... Ну, потом заговорились, я и забыл о его словах насчет курения. Выхожу на улицу, по привычке достаю папироску — чувствую, не хочется, противно даже... Так и бросил!

Я потом приставал к Мелентьеву, чтобы и меня загипнотизировал.

— У вас не выйдет! — смеялся Михаил Михайлович. — Я же терапевт! А Константин Георгиевич решил, что я и гипнозом промышляю, уверился в этой мысли и курить бросил...

Я написал как-то о Паустовском, что «...то, что он любит, когда-нибудь будет любимо всеми, как любимы у нас сейчас левитановские, поленовские и прочие места». Написано это было в 1962 году, а через пять лет поехал я в Болгарию, добрался до приморского старого городка Созополя, случилось там что-то много поэтов и прозаиков, уговорили меня заночевать, и вот ночевал я в том же доме, где ночевал Паустовский, сидел в старом дворике, где сидел Паустовский, пил вино, которое понравилось Паустовскому... Глеб Горышин был в Болгарии года за три до меня, и в путевом очерке у него тоже есть мысль, что надо стараться стать таким человеком, который оставляет после себя прекрасный след, — Горышина в Болгарии тоже преследовала память о Паустовском.

К слову сказать, много человеческой радости принесли Паустовскому заграничные поездки в последние годы жизни. С юности зачитывался он книгами о европейских цивилизациях, и воображение его разыгрывалось до того, что он в изобилии писал заграничные рассказы. И Андерсен ехал по Италии, Григ гулял по лесистым фиордам Норвегии, шли корабли из Марселя в Ливерпуль, парижский мусорщик высеивал золото из пыли... Герои Паустовского жили чуть ли не во всех странах мира, тогда как автор всю жизнь видел эти страны только на картинках. И только в старости удалось Паустовскому увидеть те страны, о которых он когда-то писал. Он совершил поездку на теплоходе

вокруг Европы, побывал в Болгарии, в Польше, во Франции, Англии, Италии. Эти поездки, я думаю, укрепили любовь его к Тарусе, к Оке, к родине. Это Паустовский написал, побывав в Италии: «Все красоты Неаполитанского залива не променяю я на ивовый куст, обрызганный росой». Не слишком ли красиво сказано? — подумал я когда-то. А теперь знаю: не слишком! Потому что сам пережил подобное чувство, когда в апреле в Париже вообразил вдруг нашу весну, с громом ручьев по оврагам, с паром, с грязью, с ледоходом и разливом на Оке.

Лето 1961 года было для Паустовского счастливым. Болезнь как-то отступила, редко напоминала о себе, погода стояла все время хорошая, жаркая, и Паустовский махнул рукой на режим, на свое положение больного, начал курить, каждый день ездил на рыбалку, все время был на природе, был постоянно весел и по утрам хорошо работал.

А народу перебивало у него в то лето великое множество: приезжали авторы, привозили стихи, рассказы, то приступала, то откладывалась поездка в Италию, на съезд Европейского сообщества писателей, постоянно приезжали журналисты, всех надо было принять и со всеми поговорить.

В такое время рыбалка становилась просто необходимым отдыхом для Паустовского. Часа в два мы с писателем Борисом Балтером обычно сходились на берегу, вытаскивали из сторожки бакенщика мотор, устанавливали на лодке. Бакенщик Коля тащил бензин. Минут через пять подходил Паустовский. Одышка его мучила. Он пристраивался где-нибудь тут же, стыдливо доставал стеклянную штуку с резиновой грушей и несколько секунд дышал каким-то составом. Отдышавшись, он подходил к лодке, и начинался разговор о моторе. Бакенщик Коля относился к мотору мистически.

— Это вам, Константин Георгиевич, не что-нибудь! — заикаясь, кричал он. — Это вам мотор, так? Агрегат. Так? Его понимать надо, а не просто дернул, сел и не поехал...

После глубокомысленных разговоров о моторе лезем в лодку. Коля с берега еще раз клянется, что мотор — как часы!

Едем обычно в сторону Егнышевки, Марфина — на тот случай, чтобы легче потом было грести вниз по течению, когда мотор сломается. Паустовский с удочками, в простых штанах, в сандалиях, загорелый — доволен беспредельно. Балтер уступает ему место на руле. Паустовский газует, щурится от ветра. Видит он плохо, и Балтер по временам кричит ему:

— Прямо по носу бакен! Правее! Левее!

Исполнять команды для Константина Георгиевича наслаждение. Лодка-казанка идет быстро, ветер теплый, солнце сильно светит, река сверкает, а высоко в небе рассеянно стоят редкие облачка. Прелестна Ока в этих местах, прелестны ее мягкие плесы, мягкие холмы кругом, леса, подходящие к самой воде, сочно-зеленые берега, и бронза основных стволов, и беспрестанно открывающиеся новые и новые дали.

Где-нибудь между Велегожем и Егнышевкой мотор обычно глохнет, и мы пристаем к берегу. Балтер, чертыхаясь, возится с мотором, я купаюсь, Паустовский в стороне ловит рыбу. Потом гребем вниз. Я на веслах — весла железные, короткие, неудобные, мотор на корме задран и безмолвен. Паустовский с Балтером загорают. Иногда Паустовский смущенно предлагает:

— Давайте, Юра, я погребу...

У Велегожа мы с Паустовским выходим, идем на пристань ждать попутного катера. Балтер остается с лодкой. Вокруг него уже несколько специалистов ожесточенно обсуждают мотор.

И так почти каждый день.

Мы сошлись однажды втроем — Паустовский, Балтер и я — на площади в Тарусе, чтобы ехать на рыбалку, и только собрались идти на берег, к избушке бакенщика, как нас обогнала серая машина.

— Вон машина Рихтера, — тут же сказал Балтер.

— Да? — Паустовский близоруко прищурился вслед машине и вдруг тихо засмеялся, опустив глаза и покашливая. — А вы знаете, Юра, что Рихтер здесь, у нас, дом себе строит? Замок! И машину себе специально купил в Америке, чтобы туда ездить...

— Вездеход, — уточнил Балтер.

— А что! — Паустовский оживился необычайно. — А что вы думаете! Туда ведь к нему только на вездеходе и ездить, иначе не проедешь. Вы знаете, ведь он сначала привез рояль в избушку бакенщика, так и жил — рояль и больше ничего...

И опять засмеялся. Было видно, что такая жизнь в сторожке и мысль, что Рихтер решил поселиться и строился тогда на Оке под Тарусой, очень нравились ему.

Места между Тарусой и Алексинем открыты давно. В разное время жили тут Чехов и Пастернак, Заболоцкий и Бальмонт, А. Толстой, играл Игумнов, десятками наезжали художники на этюды, поленовская семья устраивала спектакли в Тарусе. Ираклий Андроников жил, вез вещи из Серпухова на телеге и потерял пушкинскую трость. Хотел пошеголять в Тарусе и чуть с ума не сошел. Потом трость нашли...

Я еще застал вымирающее уже поколение старых интеллигентов, верных Тарусе десятилетиями, верных до гроба, — умерла Цветаева, умерла Надежда Васильевна Крандиевская, умер сын ее, скульптор Файдыш-Крандиевский, умер врач Мелентьев, у которого в доме двадцать лет подряд звучала музыка.

Но если раньше Тарусу знали и любили сотни людей, то Паустовский создал Тарусе всесоюзную славу, и Таруса избрала его своим почетным гражданином.

Своими ушами слышал я, как в автобусе, который встряхивало на выбоинах в асфальтовом шоссе, разглагольствовал подвыпивший тарусянин.

— Во! Видал? — говорил он, валясь на кого-то после очередного толчка. — Паустовский два миллиона на дорогу пожертвовал, так? Построили шоссе. А теперь? Одни ямы... Еще, значит, два миллиона давай!

Нет, не давал Константин Георгиевич миллионов на дорогу. Но благоустраиваться Таруса стала после статей Паустовского.

Популярность тарусянина Паустовского была велика. К нему в гости пытались водить даже экскурсии. Влади-

мир Кобликов, калужский писатель, рассказывал, что выходит будто бы однажды Константин Георгиевич из бани, идет себе потихоньку с чемоданчиком, вдруг обращаются к нему приезжие люди, по виду не особенно образованные, и спрашивают: «Скажите, а где тут могила Паустовского?» И что будто бы страшно понравился Константину Георгиевичу этот вопрос и он потом любил рассказывать об этом случае.

Могила Паустовского теперь действительно в Тарусе. Над рекой Таруской. Недалеко от Ильинского омута.

1975

Ф. Поленов и его рассказы



На Оку, в поленовские места попал я впервые десять лет назад в апреле. Мне повезло в том смысле, что ехал я не вообще на Оку, а именно в Поленово, вместе с внуком художника Федором Поленовым. Весна — везде весна, половодье на Оке, залитые луга, снег в оврагах, пустынность (не было еще на реке ни дебаркадеров, ни бакенов), простор, кипы белых облаков, опрокинутые в воде, дымки от костров, возле которых смолились лодки, — все это сразу и навсегда взяло меня в плен. Михаил Пришвин очень верно заметил как-то, что Ока — самая русская река из всех русских рек.

И уже в тот первый весенний вечер поразила меня в Федоре Поленове горячая любовь и, я бы сказал, сыновняя преданность родным местам. В тот первый вечер, едва поздоровавшись с отцом, едва жадно обежав музей и погоревав возле «Аббатства» с обгоревшими после пожара стропилами, закатился он в ближайшую рощу на тягу, а потом, уже в темноте, побежал к какой-то ему одному ведомой березе, чтобы напоить нас с утра березовым соком. А на другой день позвал он меня в Тарусу, и долго бродили мы по весенней парной жиже, и неутомимо показывал он мне разные тарусские достопримечательности. Я понимал его тогда: то, что сильно любишь сам, так радостно показать другому...

Я думаю, что стремление заразить своей любовью как можно большее количество людей и побудило Ф. Поленова взяться за рассказы. О Поленове написано очень много, слава этих мест разошлась далеко по стране. Но не только красотой своей дороги нам эти места, а еще и тем, что тут жили и работали в разное время чуть ли не все наши писатели, музыканты и художники: Чехов, А. Толстой, Бальмонт, Пастернак, Заболоцкий, Паустовский, Прокофьев, Игумнов, Рих-

тер — называю первые пришедшие на память имена, о художниках же вообще не говорю, потому что, наверное, нет русского художника, который с конца прошлого века не побывал бы в Поленове и в его окрестностях и не увез бы отсюда поэтических картин.

Поленовские места поэтому не только красивы сами по себе, но еще одухотворены в нашем сознании присутствием высокой поэзии, которая столько лет рождалась и рождается на берегах Оки.

Но не о художниках или писателях пишет Федор Поленов. Мир его рассказов географически очень мал. Пьяный луг, речка Любосна́, деревни Страхово и Бёхово, сосновые, дубовые, березовые боры и рощи — вот, собственно, и всё, о чем решил поведать нам автор. Мало этого или много? Для меня было «мало» в том смысле, что мне хотелось читать еще и еще о том, как косят сено в лугах, вместе с автором пройти не только по долине речки Любосны, но и по другой речке, словом, мне было жалко расставаться с поленовскими местами и с людьми, населяющими их.

Как я уже сказал, о музее В. Д. Поленова и о местах, окружающих его, написано очень много, но написано, как правило, людьми заезжими, у которых не всегда хватало терпения узнать эти места лучше, и поэтому во многих писаниях так много скороговорки и так много общих мест. В самом деле, разве все эти «величавые спокойствия реки» или «шумы столетнего бора» не приложимы к любому другому краю? Красивых мест у нас много, и любви и поклонения достойно каждое из них. Но нужно родиться и вырасти в каком-то краю, чтобы досконально узнать его историю и все скрытое от постороннего глаза, чтобы быть верным этому краю до конца. В самом деле, любовь автора к месту, которое когда-то называлось Борок, а потом стало зваться Поленовом, может показаться преувеличенной, но вот что пишет по этому поводу Ф. Поленов:

«Я прошел по таежным путям сопок Сихотэ-Алиня, видел не раз феерии океанских закатов, помню изумительную красоту шведского побережья и Або-Аландских шхер Ботнического залива, знаю, как четкими тонами Рокуэлла

Кента красят свой небосвод заполярные широты... Сказочна красота развалин средневековых замков на балтийских побережьях, не оторваться от переливчатой игры сполохов полярного сияния! Я счастлив, что видел все это, и никогда не смогу забыть увиденного. Но ничто, ничто, даже непревзойденная красота Заонежья и Северной Карелии не заслонит от меня берега тихой Любосны на ее последней излуцине у Пьяного луга!»

Много раз бывал я в Поленове во всякое время года, и мне уже казалось, что я хорошо знаю эти места. Но вот я прочел эти немногие рассказы, составляющие книжку, написанные протяжно и обстоятельно, подробно и возвышенно, и понял, как, в сущности, мало я знал о поленовских местах и как меня обогатил автор.

Будем надеяться, что Ф. Поленов не все успел сказать нам, что знает, и что к этим семи рассказам со временем будут прибавляться новые и новые, прославляющие один из поэтических уголков нашей Родины.

Опыт, наблюдение, тон



Литературоведение многие термины заимствует из соседних областей. Пластичность – это вряд ли точное понятие применительно к искусству слова, так же как и музыкальность. Тем не менее мы все знаем, что такое пластичность и что такое музыкальность, и можем оперировать ими в обсуждении.

Насколько я понимаю, пластичность прозаического произведения достигается тем, что автор преподносит нам обилие совершенно точных, поэтических деталей той жизни, которая у него происходит в рассказе или в романе. Это обилие деталей в своей совокупности и дает нам ощущение как бы нашего присутствия в этой жизни. Чем произведение пластичнее, тем оно сильнее нас затягивает в себя, и мы как бы начинаем быть по очереди всеми героями, которых нам показал автор.

Убеждая в чем-то читателя, я должен писать так хорошо, чтобы читатель мне поверил и полюбил то, что я люблю, и возненавидел ненавидимое мной. Хотя я говорил, что музыка и слово это два разных понятия, но сейчас для подтверждения своей мысли сошлюсь на музыку. Существует так называемый абсолютный слух. Абсолютный слух – это такое явление, когда музыкант правильно слышит тональность и слышит решительно все звуки любых инструментов в самых сложных аккордах оркестра. Таким абсолютным слухом должен обладать писатель для того, чтобы писать пластично. Абсолютным слухом на все явления жизни. И еще, как уже сказал Г. Березко, абсолютным зрением. Возьмем любой пример: женщина берет ведро и идет доить корову. Обыкновенное действие. Но когда я пишу, я в своем воображении иду вместе с ней доить эту самую корову. Я вместе с ней вы-

хожу на крыльцо, вместе с ней оглядываюсь и смотрю, какая погода, какое небо, какие тучи. Вместе с ней потом иду я по двору, вижу, какой двор, какая земля, вместе с ней слышу какие-то деревенские звуки, вместе с ней вхожу в сарай, чувствую запахи хлеба, сена, навоза, вместе с ней начинаю доить и слышу, как бежит молоко...

Если я все это увижу, пронзительно и подробно опишу, то одно только описание, как женщина вышла на крыльцо и пошла доить корову, могло бы составить целую книгу.

Мы взяли элементарный пример, но важен самый метод.

Из закона абсолютного зрения и слуха вытекает закон абсолютного вкуса и чувство гармонии. Не менее важно из обилия объектов, которые писатель увидел, выделить те, которые создадут полноту картины и в то же время не перегрузят страницы обилием материала, который утомляет читателя.

Язык персонажей далеко не всегда дается писателям. Создается порой впечатление, что пишет глухой человек. Между тем я боюсь сказать, что важнее для произведения — авторская речь или язык персонажей. Одно неверное слово в прямой речи способно исказить образ.

Если я люблю природу, я предполагаю такую же любовь к ней и в читателе, и если я пишу рассказ или роман и действие происходит на природе или в городе, на улице, я никогда не упущу случая, чтобы дать пейзаж. Тем более что пейзаж помогает в создании настроения.

Произведения всех авторов автобиографичны — автобиографичны в том смысле, что все, чем их произведения наполнены, — события, детали, пейзажи, вечера, сумерки, рассветы и т. д., — когда-то происходило в жизни самого автора. Не в той последовательности, в какой описано в рассказе или в романе, но автор это должен был пережить сам.

Каждый рассказ, который мной написан, имеет свою историю, свое начало и конец и свою судьбу. И придумывались они, конечно, по-разному.

Сначала просто едешь, просто смотришь, что-то тебя поражает, чем-то ты наполнен — какими-то впечатлениями,

какими-то воспоминаниями. Приезжаешь в Москву, начинаешь рассказывать друзьям о том, что ты видел, слышал, что тебя поразило. Потом задумываешь сюжет... Содержание всегда образуется из той суммы жизненных воспоминаний, впечатлений, которые сразу являются к автору, когда он начинает писать. Если рассказ хорошо задуман и хорошо «пошел», то к тебе является вдруг все то, что раньше видел, и тогда огромное наслаждение — наполнять страницы картинами, которые ты любишь.

В разное время пишешь по-разному. Есть рассказы в совершенно разных тональностях. Я помню, как писал рассказ «Некрасивая» — рассказ довольно жестокий: о девушке, которую никто не любит, и первый парень, который ее провожает, очень грубо, «по-деревенски» к ней относится (хотя то, что он делал, покажется грубым для человека более или менее вежливого, интеллигентного, для него же это обыкновенное отношение). Закончив этот рассказ, я скоро сел за другой — «Голубое и зеленое» — рассказ о первой любви. Я хотел его писать, используя те же самые приемы, что и в «Некрасивой». Начинал его раза три. И чувствовал, что у меня ничего не получается, потому что там очень молоденькие, очень наивные герои и любовь их весьма романтическая — школьная любовь. Поэтому я интуитивно понял, что писать в том же ключе, в каком я писал предыдущий рассказ, нельзя, теперь надо писать в виде лирической исповеди, несколько сентиментальной, наивной. Материал диктует стиль. То, о чем хочешь сказать, тебя направляет.

Слух должен быть не только на то, о чем пишешь, но и на то, что ты сделал. Иногда рассказ не получается с самого начала: написал две-три страницы — и чувствую, что нет того звука, который мне нужен. В этом случае я просто не доканчиваю, бросаю, считая, что рассказ мне не удался, и все. И наоборот бывает. Начинаешь рассказ, напишешь один-два абзаца и чувствуешь: пошло, тебя схватила какая-то власть, и ты попал в гармонию с тем звуком, тоном, который единственно необходим данному произведению. Поэтому я пишу очень быстро, на рассказ трачу день-два, на некоторые — три.

Мне кажется, самое главное в рассказе это начало и конец. Середину можно как-то продлить или сократить. Но правильно начать и кончить — это важнее и труднее всего. Между прочим, я обратил внимание, что почти все стихотворные строчки, которые мы помним, как правило, являются началом стихотворения или его концом — это строчки, являющиеся «ключом» или подводющие итог стихотворения. Так же, мне кажется, и в рассказе: конец и начало — это самая важная вещь.

1968

«Вот и опять Север...»¹

«Северный дневник» — книга для меня несколько необычная. И потому, что писалась она больше десяти лет, и потому, что составляют ее очерки.

Впервые на Белое море я попал в 1956 году. Полтора месяца шел я побережьем от деревни к деревне (а они друг от друга километрах в сорока — пятидесяти), где пешком, а где на карбасах и мотоботах. Вы только представьте себе старенький мотобот, груженный мешками с мукой (где, в каком затоне дотлевают теперь его многострадальные ребра?), и как остановился он среди стекленеющих вечерних вод, и как якорь плюхнулся, и круги от него пошли по всей бухте, и заколыхалась опрокинутая, отраженная в воде деревня. Мы долго ждали, и мотобот несколько раз принимался сиротливо завывать сиреной, пока от темного берега не отделилось черное пятнышко карбаса с мерно пошевеливающимися усиками весел по бортам.

Когда позабылся уже шум мотобота, а потом прекратились и скрип уключин, и плеск весел и я ступил на твердый песок, другие звуки обступили меня. Вот с шуршанием и шелестом боков кинулись в сторону овцы, вот проехал верхом парень с растопыренными локтями, и фырканье его лошади, мягкий топот копыт по песку долго были слышны между избами, и детские голоса с разных сторон прилетели ко мне, и бульканье случайной волны с обнаженных отливом камней...

Там и сям на берегу красно горели и дымили костерки, дети пекли картошку, перебежали от костра к костру, а другие копались в песке, выковыривая себе морских червей для завтрашней рыбалки, и, когда я выбрался на берег с колотящимся от предвкушаемого счастья сердцем, они не остави-

¹ «Литературная газета», 1973, 4.VII.

ли своих занятий, но зоркие взгляды их и внимание к себе я сразу почувствовал, а один белоголовый мальчик, когда я проходил мимо его костерка, предложил вдруг доверчиво:

— Дядь, а дядь! Картох печеных хочешь дак?

Так начался для меня Север. Я был тогда один — чужой, приезжий, но это было прекрасное одиночество: лучше слушалось, думалось и смотрелось. Я ездил на Белое море еще и еще, пока наконец не взялся за «Северный дневник».

Сидя осенью в чудесной деревушке на Оке и дописывая последние главы «Дневника», я думал, что северные мои странствия — и открытия, и восторги, и печали — уже позади, но как же я заблуждался! Север не отпускал меня, а притягивал все сильнее. Мне хотелось глубже проникнуть в жизнь края, где все было необычным — и быт, и язык, и характеры. Потомки древних новгородцев, пришедших несколько столетий назад осваивать этот суровый, прекрасный край, поморы сохранили чистоту и образность истинно русского языка, своеобразие быта. Они не знали крепостного права, не испытывали иноземного ига... География моих дальнейших поездок на Север все расширялась, из каждой поездки я привозил один-два очерка, печатал где придется, пока вдруг не обнаружил, что, собранные вместе, очерки составляют картину северной жизни (разумеется, далеко не полную) за доброе десятилетие.

Я взялся за очерк неслучайно. Жанр этот — весьма емкий и гибкий. То, что твой герой — живой, конкретный человек, а не собирательный образ, конечно, представляет для писателя определенные трудности, но в то же время здесь заключена и сила жанра. На Севере я иногда ловил с рыбаками рыбу, был на тюленьем промысле, при случае работал наравне со всеми, и люди становились мне ближе, будто и я родился на Севере. В то же время я со скрупулезностью исследователя (а вдруг пригодится будущему историку?) узнавал и сколько стоит килограмм выловленной семги, и сколько зарабатывает рыбак за сезон, и многое-многое другое.

В каждой поездке случались мгновения, когда я ощущал, что вот эта минута, этот день являются для меня как бы наградой за что-то. Я попадал в такую обстановку, где все было прекрасно: и море, и звуки, и запахи, и люди... И тогда я не

видел необходимости в рассказе, в выдумывании героя — герой был рядом со мной, я мог любоваться им. У меня была иная задача: получше запомнить этот день и час, этого человека и мир вокруг него — море, тундру, белую ночь... Я не сочинял ничего. Я даже фамилии своим героям не придумывал, все они у меня живут под своими именами...

Думаю ли я о романе? Конечно, я хотел бы написать роман... Но что делать, если сюжеты мне приходят очень локальные, в которых один-два персонажа и действие происходит в течение одного-двух дней. А на этой почве ничего «романного» не взойдет. Да и о сюжетах в точном значении этого слова говорить не приходится. А так, однажды помечтается тебе река, пароход, мужчина и женщина, они веселы, и вдруг «виденье гробовое, незапный мрак иль что-нибудь такое...», как говорил пушкинский Моцарт. Вот вам и рассказ... Роман же мне по-прежнему не дается. Одно только я твердо знаю: над романом работать приятнее. Это как долгое путешествие, полное всяких неожиданностей, тогда как рассказ — всего-навсего однодневный переход.

Что я пишу сейчас? Вот летом поеду в Архангельск, буду собирать сведения для повести о Тыко Вылке. Я уже написал о нем очерк, но мне кажется, что в биографии этого замечательного ненецкого художника, полярного исследователя и общественного деятеля заключено еще очень много интересного, и пока живы люди, знавшие его, нужно торопиться. Вот и опять Север...

Кроме рассказов, сочиненных недавно и ждущих своего часа, у меня собралось много набросков, кусков, черновиков, которые предстоит окончить и отделать.

Сейчас работаю над небольшой повестью, герой которой занимается тем, что размышляет о своей жизни — сначала в Кракове, потом в Закопане. Некоторые свои воспоминания об июльской Москве сорок первого года, свои ощущения в грозные те дни я хочу отдать своему герою. Но хотя повесть будет написана от первого лица, она, конечно, не автобиографична.

«Единственно родное слово»¹



«Шел по обочине шоссе, глядя вдаль, туда, где над грядой пологих холмов стояли комковатые летние облака. На встречу ему туго бил ветер, раздувал мягкую, выгоревшую на солнце бородку. На глаза часто набегали слезы, он вытирал их грязным заглубевшим пальцем, опять, не моргая, смотрел вперед, в слепящее марево. Его обгоняли автомашины, бешено жужжа шинами по асфальту, но он не просил подвезти, упрямо чернел на сером, блестящем посередине от масла шоссе».

Так Юрий Казаков начал один из своих ранних рассказов. Лет двадцать назад. Его проза сразу же обратила на себя внимание. И пока критики выясняли, что здесь от Бунина, что от Чехова, рассказы и очерки складывались в сборники — «Северный дневник», «Голубое и зеленое», «Двое в декабре», «Во сне ты горько плакал»... И их язык поражал уже не только преданностью классической традиции, но и еще чем-то, только ему, Казакову, свойственным...

Мы разговариваем у него дома, в Абрамцеве.

Комната кажется маленькой. И еще отгороженной. От дома, от улицы, от шума и суеты. Едва доносится из сада детский смех, да за стеной слышны шаги матери, которая так и не вошла...

— Моя мама, — говорит Юрий Павлович, — хоть и прожила жизнь в городе, родом из деревни, и когда еще живы были ее братья и собирались все вместе здесь, в Москве, то тут же в разговоре их начинали проскальзывать деревенские словечки и выражения. Позднее каждое лето я отправлялся в деревню, в Горьковскую или Ярославскую область,

¹ Беседа с корреспондентом «Литературной газеты» (1979, 21. XI).

и постоянно ловил себя на мысли, что все это уже видел: забыл, а тут вдруг вспомнил.

Я когда-то Далем увлекался. Боже мой, думалось, сколько слов перезабыто! А попадаешь, как у нас говорят, в глубинку, тут не только Даль... Недаром наши фольклористы до сих пор ездят «за словом».

Он тушит папиросу, вдавливая ее в тяжелую чугунную пепельницу и продолжает неторопливо:

— И вот — я на Севере. Окунувшись в поток настоящей, живой речи, я почувствовал, что родился во второй раз. Бога ради, не воспринимайте это как красоту. В жизни каждого человека есть момент, когда он всерьез начинает быть. У меня это случилось на берегу Белого моря, терпкого от водорослей, от резкого, непривычного, неповторимо морского запаха. В этих краях каждое слово обживалось веками.

— Смотрите, как точно, — Юрий Павлович листает «Северный дневник»: — «Первый тюлень, который родился, дитя, на ладошке поместится, — это тебе зеленец...

А потом он белеет, шкурка-то белеет, и называется тогда белёк...

Потом пятны идут по ней, по тюлешке-ти, и это у нас серка, серочка...

А на другой год он, тюлень-ти, большой-большо-о-ой... И называется серун... А на третий свой год самый настоящий лысун. Понял ты? не серун — лысу-ун! Лысун, а самка — утельга».

Зеленый — не цвет, а примета, еще и сказать-то нечего, только обозначить ласково — зеленый, и возраст — птенец. А потом белёк — как малёк. И вот уже: серка, серочка — свое, родное, изгибающееся в руках. Уже личность, а заматерел — и лысун. Не просто тюлень — самец. А вот самка — утельга, нежнее, беззащитнее...

Здесь о погоде говорят — «отдавает». Это конкретно: отпускает, как грехи отпускает, на волю выпускает, и можно снова идти: в море, берегом — за добычей. А о дюнах говорят «угорья», «у-горья», почти горы... Но вот интересно: в Новгородской области, на прародине нынешнего северного языка, говорят теперь совсем иначе, более на общерусском, если можно так выразиться.

— И в городских ваших рассказах речевой поток скорее новгородский, чем беломорский.

— Это, кажется, неизбежно. Островки, сохранившие для нас неприспособившийся язык, — глухие, труднодоступные деревни с их различными наречиями, от мягкого южного до сурового сибирского. А «городское эсперанто», на котором все и со всеми могут общаться, — символ индустриального города. Конечно, никто не спорит, такой язык удобней, экономичней... Без лишних затрат. Но они-то и были главным в общении.

Впрочем, язык живет по законам времени. И в том, что он стал автоматизированным, — своя правда. Хоть это и обидно. Сами посудите: вот идет человек по городу, по своей улице, открывает дверь своим ключом... и попадает в чужую квартиру. «Ирония судьбы...», не правда ли? Теперь представьте телефонный разговор: голос вроде знаком, слова обычные, и смысл — как всегда. Поговорили, а потом выясняется: не вам звонил человек. Вот и сюжет для небольшого рассказа, слегка фантастического, правда...

И все-таки то, что в жизни отдельно, — язык города и язык деревни — в литературе может синтезироваться, взаимообогащаться. Я не ощущаю резкого языкового различия между своими деревенскими и городскими рассказами, потому что источник их тот же: чувство, настроение, впечатление. И слово как некий объем должно вмещать запах, цвет, движение.

...Есть в Абрамцеве тихая речка Яснушка. Ее не видно из окон, но она — неподалеку. Спокойный бой часов медленно наматывается на ленту магнитофона... «Ничего нам с тобой не досталось от прошлого, сама земля переменялась, деревни и леса, и Радонеж пропал, будто его и не было, одна память о нем осталась, да вон те два коршуна ходят кругами, как и тысячу лет назад, да, может быть, Яснушка течет все тем же руслом...»

— Юрий Павлович, на упомянутых вами островках неприспособившегося языка выросла целая литература — «деревенская проза». И, завидев ее рождение, сразу же заговори-

ли о том, что наш нынешний обиходный язык по-прежнему выразителен и разнообразен, по-прежнему индивидуален. Иначе откуда бы такое языковое богатство?

— Да нет, для меня современный язык, безусловно, усреднен. А стилевое разнообразие — от мастерства писателя, от великой его способности оживить слово. Но только — настоящего писателя. Десятки же книг написаны будто одной рукой — нивелированным языком и по его правилам: удобно, экономно, без лишних затрат. То же самое получается и на основе языка местного, самобытного, когда он искусственно обыгрывается.

— А вам не кажется, что язык «деревенской прозы» намертво привязан к определенной местности даже в том случае, когда не надуман, и писатель чувствует на этом языке? Не обрекает ли местный язык писателя на провинциальность?

— Ну, это не о настоящем таланте. Шесть страниц нового рассказа Лихоносова — зрелая проза. О Распутине заговорили с первой же его крупной вещи. И иного языка, кроме деревенского, я у них не представляю. Или — Бунин. Ведь он писал об Орловской губернии, в которой провел детство. И жестокость его прозы — от особой, жестокой нищеты Орловщины. И бунинская деревня из нее. Хотя, увиденная его глазами, она стала символом всех деревень России.

— Да, но язык Орловской губернии отражался в языке бунинских героев; авторская же речь (то, что вы однажды назвали «ремарками») строится по иным законам. И не может быть привязана к какой-либо местности.

— В этом-то вы правы, конечно. Все же хороший рассказ похож на театр: и без ремарок должно быть понятно, кто, что и почему в данный момент говорит. А там — лишь добавить «текст от автора», всю собственно изобразительную сторону сюжета. Для этого существует испытанный литературный язык. Однако почему не допустить возможность стилизации, когда смешение речи автора и персонажа задано определенной целью, творческой «сверхзадачей»? Для произведений, построенных на иронии и сарказме, стилизация необходима. И Зоценко без своей «корявости» — не Зоцен-

ко. А ведь он был превосходным стилистом. В свое время попробовал написать еще одну повесть Белкина. Представьте себе, написал: точно воспроизвел пушкинскую стилистику, некую таинственность сюжета... Или – распутинская стилизация, вы послушайте. – Юрий Павлович снимает с полки синий томик – и наугад из «Живи и помни»:

– «Каждый пойманный ельчик, пескарь, а пуще того – хариус незамедлительно, еще живой, доставлялся на столы и прыгал на них, то заскакивая в чашки, то обрываясь на пол. Окна распахнули, на подоконнике наяривал на всю ивановскую патефон...»

– Понимаете, – книга захлопнулась, – это же кадр. На одном дыхании, залпом! Ни слова чужого. И патефон «наяривает», ведь «играть»-то ему никак нельзя, потому что – изба, а в ней жаркие, полные плечи, и стаканы граненые, и – радость. Настоящая, безыскусная. И слово, единое на рассказчика и героя, дыхание в унисон, для меня понятно и оправданно.

– А не ограничивается ли деревенская тема, не уводит ли в прошлое, не толкает ли к простому бытописательству?

– Хлеб и земля не только образы – конкретика философского мышления. Поэтому деревня, по-моему, у талантливого писателя и не может стать прошлым, преходящим. Ведь происходит не описание, а познание основ, осознание.

– Но ведь «поздний» Казаков – прежде всего городские рассказы?

– Писатель не часто обращается в новую веру. Если я вернулся в город и новые рассказы мои – не рассказы «деревенщика», то и город у меня не очень-то урбанистический.

«Почти отвесными столпами прорывалось к нам солнце, в его свете медово горели волнистые потеки смолы...»

Это – «Во сне ты горько плакал», один из самых абрамцевских рассказов Юрия Казакова. И – один из последних. Рассказ по-прежнему остается его главным жанром.

– Юрий Павлович, чем дорог вам рассказ?

– Рассказ дисциплинирует своей краткостью, учит видеть импрессионистически – мгновенно и точно. Навер-

ное, поэтому я и не могу уйти от рассказа. Беда ли то, счастье ли: мазок — и миг уподоблен вечности, приравнен к жизни. И слово каждый раз иное.

В «Голубом и зеленом», например, слово светлое, цветное, ясность мира, увиденного впервые глазами подростка, а в «Некрасивой» — постоянная безысходность, слово — рукой зажатое в горле. Каждому сюжету соответствует определенный стилевой ключ. Вот совсем недавно закончил рассказ несколько неожиданный. Он вырос из поездки к другу, из случая в дороге. Я попал в туман, а туман всегда рождал во мне ощущение потерянности. Но никогда еще — столь полную иллюзию неподвижности. Я понимал, что машина движется, но не мог оторвать глаза от стрелки, показывающей, что бензин на нуле. И вот возник сюжет: некто едет, видит на дороге дом за странно непрерывной оградой, входит — так начинаются чудеса. Этот рассказ, поскольку он несколько фантастический, написан в иронической манере, совершенно не свойственной мне. И слова как будто стали другими. Очевидно, стиль в рассказе — это не просто человек, но и сегодняшнее состояние твоего восприятия, и то, что именно ты сейчас пишешь. Сценарий для кино совсем другая работа, и ты в ней чувствуешь себя другим.

— Вы не первый раз обращаетесь к кино. Была экранизация «Голубого и зеленого»... Значит, кино не случайный эпизод?

— Если бы не было рассказа, я бы сказал, что сценарий для меня — лучший способ выражения. Крупный план, дополнительное акцентирование деталей... Это импульс, галерея мгновений. Но, признаться, сценарий — работа неблагодарная: слишком много людей над тобой, слишком много поправок, и отказаться нельзя, так как от тебя уже зависят другие люди, и к зрителю выходит в конце концов не то, что ты сначала написал. А вот с романом я пока терплю фиаско. Наверное, роман, который, в силу своего жанра, пишется не так скупно и плотно, как рассказ, а гораздо жиже, — не для меня. В свое время я взялся за перевод одного большого романа в надежде, что сам вдохновлюсь на роман. Да так, видно, и суждено умереть рассказчиком. Кста-

ти, вот уж где искусственный язык, так это в наших исторических романах...

— Вы ведь тоже обращались к истории — в «Звоне брегета» — рассказе о Лермонтове, о его несостоявшейся встрече с Пушкиным.

Юрий Павлович пожимает плечами: что делать?

— У нас уже выработались некие обязательные атрибуты прошлого. Да вспомним хотя бы фильм «Дворянское гнездо»: мраморные колонны, зеркальные полы, утонченные выражения... Все это было, но только у нескольких семейств в России. А в общем, жили и думали проще, грубее. И я своим «Брегетом» отдал дань искусственности, хотя и работал над языком долго. А точнее — не над языком, в том-то и дело, а над деталями языка: как описать гусарский мундир, что такое «выпушки», как подзывать лихача. Специально ездил в Ленинград, чтобы увидеть, каким путем мог Лермонтов идти к дому на Мойке... С деталями как будто справился, а вот говорят мои герои напряженно и слишком изысканно. И рассказ вышел наиболее деланный из всех.

Это еще раз доказывает, что к речи надо иметь вкус, слово чутьем находить. И беда, когда писатель не видит спрятанный свет слова, не чувствует его заглушенный запах, когда в ладонях слово не отогревается, не начинает дышать, жить. Тогда дело совершенно безнадежно. Значит, это в тебе самом нет того изначального, единственно родного и настоящего слова.

Для чего литература и для чего я сам?¹



— Юрий Павлович, давайте начнем беседу с вопроса, как говорится, «в лоб»: что такое хороший писатель?

— Мне кажется, что хороший писатель — это прежде всего писатель, думающий над вопросами важными. Талант талантом, но если даже и талантливо написано, например, о том, как молодой парень неожиданно для окружающих стал дояром, и как над ним смеялись девушки-доярки, и как он вызвал одну из них на соревнование и победил ее... Хотя нет — талант не позволит его обладателю заниматься подобной чепухой. У хорошего писателя всегда ощущается что-то еще помимо того, о чем он пишет. Это как в звуке: есть основной тон и есть обертоны, и чем больше обертонов, тем насыщенные, богаче звук.

Так что серьезность мыслей, которые вызывает рассказ, — главное в определении таланта. Затем следует умение расположить слова так, чтобы они составили максимально гармоничную фразу. Писатель должен обладать абсолютным внутренним слухом. Тут необходима память на речь, на то, как говорят люди. Чтобы авторскую ремарку — кто говорит: полковник, купец, крестьянин, доктор, — всегда можно было опустить. Писатель, этим качеством не обладающий, пишет как глухонемой. Знает, что должен в данный момент сказать герой, но не чувствует слов — берет первые попавшиеся, стертые, казенные.

Как гармонична и точна фраза в русской классике XIX века!

¹ Интервью журналу «Вопросы литературы» (1979, № 2).

— Вероятно, внимание писателя к классике порождается и его стремлением к тому, чтобы видеть мир именно своими глазами, воплощать его в своем слове.

В предисловии к собранию сочинений Бунина А. Твардовский писал о его творческом опыте, который «не прошел даром для многих наших мастеров, отмеченных — каждый по-своему — верностью классическим традициям русского реализма». «То же, — заметил далее А. Твардовский, — можно сказать и о более молодом поколении советских писателей, прежде всего о Ю. Казакове, на чьих рассказах влияние бунинского письма сказывалось, пожалуй, в наиболее очевидной степени».

Согласны ли вы с этим замечанием А. Твардовского?

— Бунин после большого перерыва был издан у нас в 1956 году. Тогда я и прочел его впервые. Может быть, и не было бы такого потрясения, если бы лет за десять до этого не побывал летом в деревне, на севере Кировской области, где влюбился в эти стародавние избышки. Был я в ту пору двадцатилетним музыкантом и повлекся туда, обуреваемый охотничьей страстью. Вспоминаю, как я ходил-бродил там один с ружьем — наивный, юный, робкий. Никакого во мне неверия тогда не было, была только светлая юношеская вера в будущее (несколько лет спустя я от имени того арбатского мальчика и написал рассказ «Голубое и зеленое»).

Помню, как увидел я идущего по пашне мужика — с коробом на левом боку, с ремнем через правое плечо, — который бросал зерно так, что оно билось о край короба и рассыпалось веером. Мерно шагал он, и в шаг — вжик, вжик — летело зерно... По радио, в фильмах тогда все пели про комбайны, технику и так далее. А тут идет мужик в портках и босиком (ведь то был, кажется, 1947 год).

Об экономических проблемах сельского хозяйства я тогда не думал. И тем более я не думал, что стану писателем. Но мне захотелось внимательнее присмотреться к человеку с коробом. И вот когда десять лет спустя я стал читать Бунина, мне все виделся этот босой мужик, серые избы, слышался вкус хлеба с мякиной.

Да, когда на меня обрушился Бунин с его ястребиным видением человека и природы, я просто испугался. И было

чего испугаться! Он и то, о чем я бессонными студенческими литинститутскими ночами столько думал, волшебным образом сошло. Вот вам истоки этого влияния.

— Вы говорите о повлиявшем на вас бунинском «видении». В свое время критика находила в ваших произведениях влияние и Чехова. Но не мешала ли вам порой сила любви к учителям? Не возникало ли иногда желание, наоборот, в чем-то оттолкнуться от них?

— Чехов не «мешал» никогда. Он вошел в мою жизнь, как говорится, с молодых ногтей, вместе с Толстым. Знакомство с ними, когда я не помышлял еще о писательстве, было плавным и как бы не обязательным... Когда же я стал расти в литератора, только-только расправил крылышки, по мне и ударил Бунин. Резко, внезапно, неестественно сильно. Недаром в ту пору Катаев говорил пораженно, скольких молодых робких талантов сгубил Бунин: как начали они писать под него, так и не выбрались потом.

Конечно, я подвергся самому откровенному влиянию, и несколько моих рассказов — ну, например, «Старики» — написаны явно в бунинской манере. Но вот что мне обидно: когда я-то из-под Бунина выбрался, стал самим собой (ведь последующие мои вещи написаны вообще вне этого влияния), мои критики продолжали твердить как заведенные — Бунин, Бунин, Бунин... (Ну разве «Осень в дубовых лесах» — Бунин?)

— В произведении любого современного писателя можно найти влияние той или иной традиции, каким бы нетрадиционным оно ни казалось. Но, наверное, нельзя увидеть современную жизнь строго по-бунински, по-чеховски и так далее, не впадая в противоречие с самой жизнью, предлагающей писателю бесконечное количество тем, которые требуют нового осмысления. Если говорить о таком качестве произведения, как «современность», то какую роль, на ваш взгляд, играет здесь современность самой темы?

— Художник всегда пишет о главном в жизни человека. Когда писатель говорит: я пишу о строительстве водонасосной станции, — жалко и его, и читателя. Это ведь задача в первую очередь газетного репортера, очеркиста. Если писа-

тель ориентируется только на тему, на материал, книга устареет быстро. Была в свое время очень известная писательница, темой владела, не халтурила. Но каждый раз целью ее было «попасть в точку», выбрать актуальную тему. Реакция читателя была непосредственно бурной, но стоило измениться жизненной ситуации, как вещи ее становилось малоинтересным читать. Другие стали колхозники, другие жизненные проблемы, другие экономические условия. Скучно читать: МТС давно нет и проблемы не осталось. Сейчас вы мне возразите: а Овечкин?

Он, конечно, истинный писатель. Но перечитайте его очерки — как многое с той поры переменялось! Заслуга Овечкина прежде всего в том, что он первый стал честно, остро, проблемно писать о состоянии сельского хозяйства, но сама его критика, мне кажется, сейчас уже не представляет особого интереса...

Думаю, что задача литературы — изображать именно душевные движения человека, причем главные, а не мелочные. Потому до сих пор для нашей литературы главная фигура Лев Толстой. Дворянство, помещики, крепостное право — все это ушло, а читаешь с прежним наслаждением, как сто лет назад. Не ушли описанные им движения души. Толстой современен.

— Мы ведем речь о темах, действительно важных, понимаемых не конъюнктурно и решаемых художественно выразительно. В таких случаях остроактуальное и долговременное неразделимы... Ну, а кто особенно интересен из современных наших писателей?

— Трудно ответить. Я несколько отстал от журнальной литературы за последние годы и не читал многих новых книг. Так сложилось, что 340 дней в году я живу на даче в Абрамцеве, анахоретом. Грустновато, но я нахожу отраду в одиночестве. Одиночество тяжело, когда не о чем думать. Если есть о чем, то оно только помогает.

Вспоминаю свою молодость и бесконечные наши разговоры в Доме литераторов. Говорили, спорили, а как мало осталось в памяти! Основное, что осталось: как читали стихи. Я получал от этого не только душевное, но и слуховое на-

слаждение. Прекрасные голоса читающих, богатство оттенков и тембров — от шепота до гула. У меня есть полурассказ-полуочерк — сам-то я считаю его рассказом, хотя писал как очерк, — «Долгие крики» (стихотворение того же названия есть и у Евтушенко), о том, как на северном перевозе мы кричали по очереди, чтобы нас услышали.

— Это что, продолжение классической темы столичного витийства и тишины во глубине России?

— Нет, я в данном случае имею в виду мощь голоса. И то, как теперь вспоминается мне наша молодость.

Конечно, и наши споры были не праздными. Случались у меня в молодости и прекрасные встречи, когда я молчал и восхищенно слушал. На всю жизнь в памяти беседы с Твардовским, он говорил о литературе по-народному, поражал внезапными оборотами, сравнениями. Доводилось мне знать Светлова. Застал я еще и Юрия Олешу...

Потом вышла его книга «Ни дня без строчки», и, честно говоря, мне было больно ее читать. Видно, как художник страшно хочет написать просто рассказ, просто повесть, но вынужден записывать образы, метафоры...

Это поэт может писать даже за столом в кафе. Мне Винокуров говорил, что письменный стол ему нужен, чтобы записать стихотворение, а сочиняет он его, гуляя. А прозаик садится за стол и чем дольше сидит, тем больше и лучше пишет.

— Обязательно? А неужели вы никогда не писали залпом?

— Пожалуй, редко, но бывало. Так я написал половину повести «Разлучение душ» — повесть о мальчишке, который пережил войну, бомбежку, 1941 год. Писал я ее влюбленный, в разлуке, в Крыму. Писал дней шесть, потом сорвался, уехал в Москву, так и не кончил... Действие происходит в Кракове и в Закопане. В 1961 году, когда я был в Варшаве, мне рассказали о каком-то теологическом «предсказании», что, мол, надо ждать конца света 13 февраля 1961 года. В своей повести я использовал это как условный прием, перенес в нее ту атмосферу, — герой бессонной ночью подводит итоги своей жизни.

— Эта повесть, кажется, еще не опубликована?

— Да вот все никак не окончу. Я вообще с некоторой боязнью отрываю от себя написанные вещи. Часто звонят мне из одного журнала, из другого. «Нет, — думаю, — это отдавать еще рано, пусть отлежится».

— А если говорить об уже опубликованных произведениях, — вы часто к ним возвращаетесь? Правите, доделываете, шлифуете?

— Я никогда не создаю новых редакций, вариантов уже напечатанного, ибо этому все равно не будет конца. Доведу, как мне будет казаться, до блеска, а через год-два попадетя на глаза — и снова решу, что надо переписывать. Но не править же всю жизнь!

— Рассказ появился... И пошли оценки, мнения, замечания, наверное, и советы — друзей, редакторов, критиков. Как вы ко всему этому относитесь?

— Друзья... Судя по надписям, которые они делают мне на своих книжках, рассказы мои им весьма нравятся. Редакторы? Если вещь принята, никаких замечаний не делают. А критики, хоть они и редко теперь обо мне пишут, тоже сменили гнев на милость, так что грех жаловаться.

— И все же: чего вы ждете от критики?

— Кто ж его знает, чего от нее ждать? Тут уж какой критик попадетя. Это во-первых. А во-вторых, как правило, если критик ограничен площадью, то трудно ему и развернуться, поневоле скомкаешь, читателя, может быть, и заинтересуешь, а автору-то не откроешь ничего.

Вообще же, на мой взгляд, наиболее плодотворна такая критика, когда произведение рассматривается как часть общественной жизни, как выражение сознания общества, а не просто — хорошо ли, плохо ли написано, удался ли образ, нет ли...

— Представляете ли вы себе своего читателя?

— Не представляю. Никогда не видал ни в электричке, ни в поездах, ни в читальнях, чтобы кто-нибудь читал мои книги. И вообще что-то странное происходит с моими книгами, их как будто и в помине не было.

Я участвовал в нескольких литературных декадах, ну и, как правило, книжные базары, распродажа. К моим колле-

гам подходят за автографами, даже толпятся вокруг, а я один как перст, будто все мною изданное проваливается куда-то.

— Вы говорили о компаниях прошлых лет. Что-то, наверное, ваших ровесников объединяло...

— Климат был общий.

Я учился тогда в Литературном институте. Пришел туда человеком, прямо скажем, малограмотным. Тогда такие были условия жизни — военные и послевоенные трудности, работа о хлебе, одеже. Интересы упирались вот во что: обменяют ли такие-то талоны на такие-то продукты. Второе: когда я занимался музыкой, то главным считал не культуру музыканта, а технику, то есть чем лучше ты играешь, тем больше тебе цена. А чтобы играть хорошо, надо 6–8 часов заниматься. Потому-то многие прекрасные музыканты инфантильны, чтобы не сказать больше...

Словом, мое занятие музыкой сыграло и такую роль: в Литературный институт я поступил, литературу художественную зная на совершенно обывательском уровне.

В юности я любил шляться по Арбату. Друг у друга мы тогда не собирались, как сейчас: квартир отдельных не было, дач. Коммуналки, где в комнате — по семье. Вот мы и бродили...

Мы считали, что мы — лучшие ребята в мире! Родились не только в Москве, в столице нашей Родины, но и в «столице Москвы» — на Арбате. Мы друг друга называли земляками.

Раньше еще существовало целое понятие «двор», теперь его нет. Мой десятилетний сын, живущий в высоченном новом доме, в своем дворе никого не знает.

— При словах «Арбат», «двор» сразу же вспоминаешь песни Булата Окуджавы. Многие из них именно об этих уходящих понятиях нашего двора, нашей улицы. Когда-то говорили, что песни Булата Окуджавы — однодневки. И вы утверждали в нашем разговоре, что если явление, лежащее в основе литературного произведения, преходяще, его со временем становится скучно читать.

Как же по-вашему: долговечна поэзия Окуджавы? Или нет?

— Долговечна, поскольку за этими ушедшими реалиями у Окуджавы всегда стоит нечто большее. Судьба поколения... Да и дворов в Москве еще весьма много. Ну да разве дело в этом?..

Помню, как Окуджава только-только начинал...

Перед вами человек, который один из первых услышал его едва ли не самую первую песню «Девочка плачет...». Помню, как я случайно встретил Вознесенского, и тот, зная, что я бывший музыкант, сказал мне: «Появился изумительный певец. Жаль, у меня нет слуха — я бы тебе напел...»

Помню, чуть позже, большой дом на Садовом кольце, поздняя компания. Окуджава взял гитару...

Потом всю ночь бродили по улицам, по арбатским переулкам. Чудесная огромная луна, мы молодые, и сколько перед нами открывалось тогда... 1959 год.

Господи, как я люблю Арбат! Когда я из своей коммуналки переехал в Бескудниково, то понял, что Арбат — это как бы особый город, даже население иное.

Вы, наверное, не раз видели мой дом на Арбате, где «Зоомагазин». Удивляюсь сейчас многотерпению моих соседей: каждый божий день играл я на контрабасе. К счастью, это не скрипка, звук глухой — и не жаловались. Понимали, что человек «учится музыке». Кстати, в нашем дворе жил Рихтер со своей женой Ниной Дорлиак. И когда летом, с открытыми окнами, он играл на рояле, а она пела, я бросал все и слушал. Правда, тогда я не знал еще, что он — Рихтер.

— А все-таки: что толкнуло вас к писательству? Была ли для вас тяга к литературе желанием высказать нечто конкретное или это была страсть писать «вообще»?

— Если вам это очень интересно, скажу. Я стал писателем, потому что был — заикой.

Заикался я очень сильно и еще больше этого стеснялся, дико страдал. И потому особенно хотел высказать на бумаге все, что накопилось.

— Вот интересно: ваша любимая атмосфера — арбатская. А рассказов о ней у вас раз-два — и обчелся. Критики склонны причислять вас скорее даже к «деревенщикам»: странник, Манька, старуха Марфа...

— О городе я зато начинаю писать теперь. А тогда все получалось по контрасту.

Так сложилось, что в детстве я никогда далеко не уезжал, жили мы плохо, трудно. Потом война — не до поездок было. Потом — учился, учился. Некогда разъезжать...

Во время студенческих каникул, в 1956 году, я поехал на Север. И это было огромное для меня впечатление. До этого я очень долго носил свои рассказы в журнал «Знамя», получая отказ за отказом. Нет, не то чтобы рассказы были плохие (все они потом вышли в свет), а, знаете, «настроение не то» и прочее. И так я им надоел, да и неудобно, наверное, стало, что как бы в виде «компенсации» меня от журнала решили послать в командировку, чтобы, что называется, «приблизить к жизни». Предложили выбрать любой край Советского Союза. А у меня уже сложилась такая, несколько умозрительная, схема. С одной стороны, давно хотелось написать очерк, с другой — я в ту пору очень увлекался Пришвиным, его, в частности, одной из лучших вещей «За волшебным колобком». И вот, думаю, поеду-ка я по следам Михаила Михайловича и погляжу, что осталось, что изменилось. Ведь интересно: он там путешествовал в 1906 году, а я ровно через пятьдесят лет. Ну и махнул я туда.

— Так зародился «Северный дневник»?

— Нет, это потом, позднее. «Северный дневник» я решил писать в году 60-м. А первыми рассказами о Севере были, кажется, «Никишкины тайны», «Манька»...

Как москвича, никогда никуда не выезжавшего, Север меня просто-напросто покори́л. Белое море. Эти деревни, ни на какие деревни на свете не похожие. Люди здесь жили крепко. Я ввел в «Северный дневник» экономические данные (может быть, даже в ущерб художественности, но все равно для будущего историка интересно): кто сколько зарабатывает и так далее. Большинство наших колхозников в 50-х годах получали трудовни. А тут — деньги, и хорошие деньги. Ловили и сдавали государству рыбу...

Что поразило еще? Быт необыкновенный. Избы двухэтажные. Представьте, там не было вообще замков. Если кто-

то уходил в море — избу он не запирали. Ставил палку к двери, — значит, хозяев дома нет, и никто не заходил. Помню, надо мне было добираться берегом из села Зимняя Золотица в Архангельск. Разговаривая с одной старушкой, я спросил ее: «Как же я один доберусь? Безопасно ли?» Она мне отвечает: «Я вот уже восемьдесят лет на Севере живу, и ни одного случая не было, чтобы отняли у кого что...» Патриархальный — но не в плохом, а в хорошем смысле слова — быт. Часто я там ночевал по избам, и, если лез в карман: сколько, мол, с меня? — очень удивлялись, обижались.

Мне казалось, что я был едва ли не первым странствующим человеком на Белом море. Это сейчас путешествовать стало модно... Я тогда за полтора месяца не встретил там ни одного приезжего.

В одной избе я — опять же старухе — сказал, что я литератор (слово «писатель» по отношению к себе употреблять было неловко). А она мне говорит: «Была у меня тут одна, тоже литературой занималась». У меня сердце упало, обскакал, думаю, меня кто-то! Оказалось: то была исследовательница Севера Озаровская и речь шла о 1924 году.

Поразили меня северная природа, климат, белые ночи и совершенно особые серебристые облака, высочайшие, светящиеся жемчужным светом. Знаете, белые ночи, они ведь даже психику человека меняют. Там маленькие дети бегают по улицам до часу, до двух ночи.

В общем, заболел я Севером и стал ездить туда часто.

— Чем вы объясняете вспыхнувшую в те годы у ваших литературных сверстников любовь к странствиям, путешествиям, поездкам? Должно быть, не только модой?

— В ту пору начали возводиться стройки, Братская ГЭС, поднимали целину. Туда и поехали все мои друзья. Великие стройки были действительно веянием времени. И еще одна причина: тогда был в большом почете среди нас Хемингуэй, который, как известно, часто писал от первого лица: он и путешественник, и охотник, и рыбак, и корреспондент. «Географически» богатая личность. И этот хемингуэевский настрой («зараза» — слово грубое) дал тонус многим нашим писателям, находившимся под его влиянием, и вообще много

хорошего. Страна-то у нас вон какая огромная: тут тебе и экзотика, и социалистическое строительство, — и все побежали: чем дальше, тем лучше.

Вот и я побежал...

— Вы вспомнили Хемингуэя. Теперь, когда повальная мода на этого писателя прошла, некоторые критики склонны сводить его значение только к тому, что принесла и унесла мода. То есть к манере: диалог с подтекстом, рубленая фраза, культивирование «хемингуэевских» качеств личности. Что же для вас в его творчестве плодотворно и сейчас?

— Подтекст и прочее («Старику снились львы» — как пароль!) — это для нашего брата, писателя. А мода на Хемингуэя коренилась в другом и для нас, и вообще для читателя. Хемингуэй был и остается антифашистом, человеком, ненавидевшим войну, писателем, давшим всем нам незабываемые картины Европы военной и послевоенной, республиканской Испании. Он был писатель не просто хорошо писавший, а хорошо живший.

— В статьях последнего времени критика почти единодушно причисляет вас к зачинателям деревенской прозы. Согласитесь, довольно парадоксальный путь: к деревне — через Арбат и Хемингуэя!

— Хемингуэй повлиял на меня не стилистически — он повлиял на меня нравственно. Его честность, его правдивость, доходящая порой до грубости (так и нужно!), в изображении войны, любви, питья, еды, смерти, — вот что было мне бесконечно дорого в творчестве Хемингуэя.

— Чем бы вы объяснили такую вашу привязанность к старикам и старухам? Это ведь ныне излюбленные образы в нашей прозе.

— Старики — то, что меня на Севере тоже изумило.

Учтите, что двадцать лет назад это были другие старики, чем сейчас. Нынешние уже «моложе». А тогда я имел возможность беседовать с людьми, которые родились в 70–80-х годах прошлого столетия. То есть они полжизни прожили до революции.

Как хорошо помнили они и песни, и сказки! Они помнили время, для нас уже легендарное. Смотрю сейчас на ваш магнитофон, и сердце слезами обливается: если б он у ме-

ня был в те годы! Сколько бы я за этими стариками записал! А потом лучшее бы обработал, и «Северный дневник» мой был бы куда подробнее, пристальнее. Ведь когда разговариваешь с человеком, записывать в блокнот не всегда удобно, да и не успеешь. Манера-то говорить у каждого своя. А был бы магнитофон... В общем, упущено много.

— По-видимому, многие герои «Северного дневника» — это реальные люди, за которыми вы записывали?

— Нет, как правило, они «придуманые». То есть встречались мне, конечно, чем-то похожие типы, — взял одного, другого, третьего и слепил в уме... Вообще писатель никогда ничего не выдумывает: в любом замысле так или иначе трансформируется живая жизнь.

— То есть сперва появился очерк «Северный дневник», а потом вы уже часто пользовались лишь формой очерка, писали рассказы, только имитирующие записки очевидца, путешественника. Вы следовали каким-то жанровым образцам, создавая «Северный дневник»? Почему вам показалось необходимым писать весь его от первого лица?

— Ну, не в третьем же лице писать о своих странствиях? Вообразите: «Вышел из карбаса молодой высокий симпатичный человек с рюкзаком, в плаще «Дружба». «Здравствуйте», — говорит...»

— Отмеченная критикой связь ваших рассказов с русской классической жанровой традицией, — ощущаете ли вы ее сами? Что вы думаете о роли сюжета в рассказе-характере, рассказе-настроении (в их отличии от зарубежной сюжетной новеллы)?

— Фабульность, занимательность, по-моему, чужда русскому рассказу (за исключением, может быть, «Повестей Белкина») — попробуйте пересказать, например, содержание «Дома с мезонином». Ну а сюжет — как же без сюжета! Герой, как правило, покидает страницы рассказа иным, изменившимся по сравнению с тем, каким он появился. Вообще же придумывать сюжет для меня всегда намного труднее, чем писать.

— Внутри каждого вашего сборника обычно ощущается единство. Похоже, что рассказы образуют цикл. Взять хотя бы вашу последнюю книгу «Во сне ты горько плакал». Оче-

видно, за таким построением стоят какие-то осознанные принципы?

— Ну, единства-то, на мой взгляд, нет совсем. Какое же единство, когда я пробовал писать так и сяк за два десятка лет. «Никишкины тайны» — нечто сказовое: чуть не в каждой фразе инверсии; «Голубое и зеленое» — исповедь инфантильного городского юноши; «Некрасивая» — «жестокий» рассказ, и уж совсем по-новому написан «Во сне ты горько плакал».

— Юрий Павлович, а как вообще возникает у вас замысел того или иного рассказа?

— Вы хотите, чтобы я говорил конкретно? Давайте возьмем книгу «Во сне ты горько плакал» и посмотрим прямо по оглавлению.

«На полустанке». Этот рассказ возник из воспоминаний о крошечной, заброшенной станции на севере Кировской области, которую я запомнил еще с тех пор, когда студентом Гнесинского училища, запасшись нотной бумагой, ездил записывать песни. Рассказ «Вон бежит собака» начался с названия. Давным-давно, стоя у окна со своим знакомым, я услышал простую его фразу: «Вон бежит собака!» Был в ней какой-то ритм, застрявший во мне и лишь через некоторое время всплывший и вытянувший за собой замысел. И еще: ехал я на автобусе в Псков, ехал всю ночь, очень мучился, не спал, ноги нельзя было вытянуть. Ну, а потом муки позабылись, а счастье ночной дороги осталось.

История «Кабиясов» сложнее. В 1954 году я впервые попал на мамину родину. Вот где страшно сохранилась память о войне — сожженные, вообще стертые с лица земли деревни. Место, где я жил, было в пятнадцати километрах от Сычевки, куда мне приходила корреспонденция до востребования. И я часто совершал такие прогулки: шел на почту, получал письма, там же отвечал на них, — и обратно. Однажды я возвращался очень поздно по едва белеющей тропе, и меня вдруг охватил неизъяснимый страх. Да еще вдруг по распаханному полю мне наперерез в звездном свете стало двигаться темное пятно — не то человек, не то животное. Это

ощущение запомнилось. Плюс: я знал одного самоуверенного мальчишку, заведующего клубом, которого и вывел в «Кабиасах». И еще: в детстве мать часто рассказывала мне сказку о кабиасах — самую страшную из тех, что я знал.

— А что это за сказка?

— Разве не знаете? Вышли кабиасы на опушку и запели: «Войдем в избушку, съедим старика и старушку». Услыхал это пес и залаял. Кабиасы убежали. Вышли старик со старухой на крыльцо, смотрят, там никого нет, значит, пес зря лаял. И они отрубили ему лапку. Когда на следующий день все повторилось, пес снова отогнал кабиасов, а старик со старухой отрубили ему хвост. На третий раз — отрубили ему голову. И тогда снова прибежали кабиасы и запели свою жуткую песенку. Ворвались в избушку — пса же в живых уже не было — и старика со старухой съели. (Еще страшнее только сказка, как медведь ходит вокруг избы, а его лапу старик со старухой варят в горшке.)

Вот так, из трех разных воспоминаний, и сложился замысел.

— А каково происхождение слова «кабиасы»?

— Точно не знаю. Вообще мать много рассказывала мне сказок в детстве. Язык у меня в основном от матери. Хотя отец мой тоже из деревни (они оба со Смоленщины, и у меня, кстати, есть еще и такой неопубликованный рассказ: о том, как они познакомились), но, приехав до революции в город, он как-то очень быстро «пролетаризировался». А у мамы речь совсем крестьянская, с самобытными оборотами.

Между прочим, диалектизмы в произведениях, написанных о деревне, считаю явлением абсолютно естественным: а как же обойтись без них, если хочешь описать речь мужиков? Другое дело — авторская речь, ремарки. Тут язык должен быть чисто литературным (на мой взгляд, это правило нарушал, например, В. Шишков). Диалектизмы в создании образа персонажа необходимы, но самому лучше под это не подпадать. Единственный мой упрек астафьевской «Царь-рыбе», которую считаю великолепной книгой, — это злоупотребление диалектизмами в авторской речи...

Но вернемся к нашей теме. О каких еще рассказах вы хотели бы услышать?

— О «Трали-вали».

— Когда я с внуком Поленова странствовал по Оке, мы часто ночевали у бакенщиков, знакомство с которыми и легло в основу создания образа Егора. Когда я уже сел за этот рассказ, то все время почему-то крутил пластинку Рахманинова «Вокализ», работая над ним...

— А вы вспоминали тургеневских «Певцов», когда писали этот рассказ?

— Нет, прямой зависимости я тут не вижу. У меня — о другом. И еще, в рассказе «Трали-вали» я сделал попытку профессионально — как музыкант — описать песню (обычно тут сталкиваешься со штампами, — говорю это опять же как бывший музыкант, — типа: «Песня взмывала ввысь...» и т. д.)... Любопытная история предшествовала рассказу «Странник». Студентом был я на практике в Ростове. Кстати, — опять отвлекусь чуть в сторону, — руководил практикой Ефим Дорош, прекрасный писатель, которого я тогда как-то не оценил: длинноносый, темноглазый, довольно невеселый человек, он в ту пору казался мне чуть ли не стариком. А ему было всего лет сорок. То есть теперь я уже намного его старше. Между прочим, как раз он очень советовал мне писать очерки (сам он тогда работал над «Деревенским дневником»).

Можно было поехать куда угодно, хоть на Камчатку, но я полагал, что мое дело изучить Россию. И вот мы — в Ростове.

Товарищ мой — он сочинял стихи — писал (ведь практика же) поэму про раскопки, которые велись в окрестностях Ростова. Надо было отчитываться и мне. Пошел я в местную газету. «К чему лежит ваша душа?» — спросили меня там. Я почему-то ответил: «К фельетону». Тогда из газеты меня направили в городской суд, оттуда послали в милицию, где можно было взять на выбор — убийство, грабительство, поджог. Но это же для фельетона не тема. И вот попалось мне такое дело: был арестован некто, под видом странника ходивший по городам и весям. Я, что называется, ознакомился с фактами: этот хмырь с бородой (а бородатые экземпля-

ры тогда еще редко встречались в России) пришел в церковь, где, упав на пол, истово молился (во спасение России). Подошла к нему старушка и, узнав, что он странник божий, предоставила ему ночлег. Со старушки взять было нечего, но она сдавала угол каким-то молодоженам, чьи небогатые пожитки он и присвоил. Поймали его на базаре, где он, уже выпивши, торговал ворованным.

Ну и биография у него оказалась! Сначала учился на художника, а потом обворовывал церкви, бродяжничал... Я написал о нем небольшой фельетон, который с удовольствием опубликовала маленькая районная газетка...

...А когда я вернулся в Москву, то вдруг померещилось мне в фигуре странника нечто большее, чем простой мелкий жулик, — наверное, и какая-то неясная мысль влекла его вдаль. И я написал рассказ.

— Когда вышел «Странник» и некоторые другие ваши рассказы, населенные подобными типами, кое-кто из критиков упрекал вас в любовании иррациональными, темными сторонами человеческой души. Но ведь вот что интересно: странник — пустой, недобрый, вороватый парень, а именно через его восприятие открывается нам мистерия полей, эти подбегающие к дороге березки, вообще красота мира. А видим мы ее глазами жулика.

Кстати, многим вашим героям (вспомним и Егора из «Трали-вали») присуще смутное влечение к дороге. Вот и в «Северном дневнике» звучит гимн дороге, и произносите его — вы... Почему же вы так любите странников? Чем они близки вам?

— Да нет, у меня далеко не все рассказы о странниках. Если же говорить о значении дороги, странничества, то для писателя нет ничего лучше. Масса новых впечатлений, глядишь на все жадно, запоминаешь ярко, характеры встречаются такие, что хоть сейчас в рассказ! Только нужно ехать обязательно одному, а если трое-четверо, ничего не выйдет, — приедешь бог знает куда, сядешь с друзьями за само-

вар, — и опять пошли московские разговоры, будто и не уезжал. А одному скучно, когда один, тянет на люди, поговорить хочется, разузнать, как живут, — ведь каждый человек так глубок, так интересен.

Сказать по правде, я только теперь принимаюсь за городские рассказы, а раньше: поехал на Волгу, в Городец — написал два рассказа, поехал на Смоленщину — три, поехал на Оку — два, и так далее.

Люблю свой дом в Абрамцеве, но и жалею, жалею, что купил когда-то, очень держит дом — ремонты всякие, — не стало прежней легкости, когда за полдня собрался и был таков!

Хочу на Валдай! Хочу опять стать бродягой, думаю все время, как я когда-то одиноко ездил, никому не известный, никем не любимый... Чем не жизнь?

Хочу ехать на пароходе. Можно бродить ночью по палубе. Говорить с вахтенными матросами, слушать машину.

Можно проснуться на рассвете от тишины, — потому что стоишь возле пристани у какой-нибудь деревеньки, — и жадно увидеть и увезти с собой какую-нибудь милую подробность. Чтобы потом вспомнить.

Помню, как когда-то мы, молодые писатели, ездили в гости к Илье Григорьевичу Эренбургу, который писал тогда «Люди, годы, жизнь». Интереснейшая была встреча. У него оказался мой первый, и тогда единственный, сборник «На полустанке». Не припомню уже, что я написал на нем Эренбургу, а он в ответ написал мне на своей книге: «Все мы живем на полустанке». То есть в пути...

— Вы пишете и детские рассказы, и даже являетесь членом редколлегии журнала «Мурзилка». Однажды на страницах этого журнала вы выступили в очень необычном жанре — написали статью для самых маленьких о Лермонтове. И вот вышли ваши новые рассказы «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал», построенные в форме обращения к маленькому сыну. Дети интересуют вас как собеседники, в обраще-

нии к которым вы испытываете особую потребность. Так ли это?

— Одно дело рассказы о детях, а другое — для детей. Вы упомянули «Мурзилку». Так вот, если иметь в виду самого маленького читателя, то рассказ для него должен быть предельно прост, лаконичен, интересен и поучителен. (Это, кстати, большое искусство; есть писатели, посвятившие этому свою жизнь.) Рассказ же о ребенке, написанный для взрослых, может быть сколь угодно сложен. Во всяком случае, свои рассказы о маленьком сыне («Свечечка» и «Во сне ты...») я бы ни за что не посмел предложить маленькому читателю.

— Юрий Павлович, в одном из ваших очерков, написанных более десяти лет назад, вы говорили о том, что мужество писателя — это мужество особого рода. Как бы вы сейчас могли развить эту мысль?

— Очень ярко помню свою фамилию под своим первым рассказом, — мало того, что я испытывал счастье, но в глубине души думал: «Вот кто-то прочтет, и мой рассказ на него подействует — и человек этот станет иным!» Я уж не говорю о той вульгаризаторской критике, отзвуки которой я еще застал и по которой выходило так: стоит только написать положительного героя — и сразу, немедленно весь народ пойдет по его стопам. А отрицательный герой обязательно деморализует общество. Если писатель изображал отрицательного героя, он, таким образом, «предоставлял трибуну врагу». Вот ведь до чего договаривались!

Но по мере того как я знакомился с величайшими образцами литературы, по мере того как сам писал все больше и по мере того как оглядывался на современную нам жизнь, вера моя в силу слова начала таять. Дошло до того, что я стал не дописывать свои рассказы, оставлять их в черновиках, думал: «Ну, напишу я еще несколько десятков произведений, что изменится в мире? И для чего литература? И для чего тогда я сам?»

Что толку в моих писаниях, если вот даже вся страстная громовая проповедь Толстого никого ничему не научи-

ла? Когда говорят о Толстом-моралисте, о Толстом как о нашей нравственной совести, подразумевают прежде всего его этико-религиозные произведения, его публицистику, его «В чем моя вера?», его «Не могу молчать». А разве его художественные сочинения не есть (в какой-то мере — не с религиозной точки зрения) то же учение, — все эти описания бесчисленных состояний человеческой души, весь мир, предстающий перед нами на страницах художественных, разве это не возвышает нас, не учит нас добру, не говорит нам бесконечно убедительно, что мы не должны грешить, не должны убивать, а должны бесконечно любить мир с его облаками и водами, лесами и горами, с его небом и — человека под этим небом?

С какой горечью писал Ленин о ничтожно малом круге читателей Толстого в неграмотной России! За границей же Толстого при его жизни — я имею в виду широкого читателя — знали недостаточно. И тем не менее Толстой ведь едва не сделался основателем новой религии! Во всяком случае, если с Христом его не сравнивали, то с Буддой же равняли.

С тех пор, кажется, не стало в мире ни одного истинно грамотного человека, который не читал бы Толстого, не думал бы о нем и его учении. Что ж! Казалось бы, слова столь убедительные, столь разумные должны были бы переродить нас, и мы, по выражению Пушкина, должны бы, распри позабыв свои, объединиться для всеобщего благоденствия...

А между тем с перерывом в тридцать лет мы пережили две страшные войны. Мало того, если сейчас на земле нет войны мировой, глобальной, то ни на минуту не прекращаются войны мелкие, и кто же сосчитал и считал ли кто, сколько сотен тысяч или сколько миллионов людей погибло в разных точках земного шара за все «мирные» годы после мировой войны? Дня не проходит, чтобы газеты, радио не приносили нам страшные вести об очередных зверствах расизма и фашизма разных мастей в Азии, в Африке, в Южной Америке... Господи, да Сахалин времен Чехова, столыпин-

ская реакция детскими игрушками кажутся по сравнению с массовым уничтожением людей в XX веке!

Я говорил о Толстом. А разве один Толстой звал людей к добру? Нет, решительно нет ни одного писателя великого и невеликого, который бы не возвышал свой голос против зла. Читают ли этих писателей все нынешние политики, президенты, премьеры, адмиралы и генералы, все те, кто отдает приказы идти и убивать? Теперь, наверное, не читают, теперь им некогда, но ведь читали же. Читали, когда были студентами — а они все обязательно были! — всевозможных Сорбонн, Оксфордов и Гарвардов. Читали, и ничто не шевельнулось в их душах? Об исполнителях уж я и не говорю...

И вот перед писателем, относящимся к своему делу серьезно, нет-нет да и возникнет вопрос, вопрос гибельный: кому я пишу? зачем? и что толку в том, что книги мои переводятся на десятки языков, издаются в сотнях тысяч экземпляров?

Уныние охватывает тогда писателя, уныние надолго: что уж говорить обо мне, если такие властители дум ни на йоту не подвинули вперед человечество, если их Слово для людей вовсе не обязательно, а обязательны только слова приказов: «В атаку!», «Огонь!»

Значит, бросить все? Или наплевать на все и писать для денег, «для славы» (какая там слава!) или «для потомков»...

Но почему же мы тогда все пишем и пишем?

Да потому, что капля долбит камень! Потому что неизвестно еще, что бы было со всеми нами, не будь литературы, не будь Слова! И если есть в человеке, в душе его такие понятия, как совесть, долг, нравственность, правда и красота, если хоть в малой степени есть, — то не заслуга ли это в первую очередь и великой литературы?

Мы не великие писатели, но если мы относимся к своему делу серьезно, то и наше слово, может быть, заставит кого-нибудь задуматься хоть на час, хоть на день о смысле жизни.

Хоть на день! — это ведь так много...

— Последний вопрос. Когда-то вы входили в «обойму» молодых писателей. Критика долго не могла от этого отвыкнуть. Вас и хвалили, и ругали, и воспитывали, все продолжая обращаться к вам как к молодому. Теперь ваше время давать советы. Что бы вы сказали нынешним молодым?

— Ни в коем случае не посылать свои произведения на отзыв маститым писателям. Не нужно козырять — такому-то понравилось... Пусть ходят сами по редакциям: волка ноги кормят. Я именно так и старался поступать. Это делает писателя закаленным и самостоятельным.

1979

Дневниковые записи



Автобиография



Родился я в Москве в 1927 году в семье рабочего. Отец и мать мои — бывшие крестьяне, выходцы из Смоленской губернии. В роду нашем, насколько мне известно, не было ни одного образованного человека, хотя талантливы были многие. Таким образом, я — первый человек в нашей родне, занимающийся литературным трудом.

Писателем я стал поздно. Перед тем как начать писать, я долго увлекался музыкой. В 1942 году в школе, в одном со мной классе, учился музыкант. Одновременно он посещал и музыкальную школу, где занимался в классе виолончели. Его одержимость музыкой в значительной мере повлияла и на меня, а мои природные музыкальные данные позволили и мне в скором времени стать молодым музыкантом. Сначала я стал играть на виолончели, но так как заниматься музыкой я начал довольно поздно (с 15 лет) и пальцы мои были уже не столь гибки, то я скоро понял, что виртуозом-виолончелистом мне не стать, и перешел тогда на контрабас, потому что контрабас вообще менее «технический» инструмент, и тут я мог рассчитывать на успех.

Я не помню сейчас, почему меня в одно прекрасное время потянуло вдруг к литературе. В свое время я окончил музыкальное училище в Москве, года три играл в симфонических и джазовых оркестрах, но уже где-то между 1953 и 1954 годами стал все чаще подумывать о себе как о будущем писателе. Скорее всего это случилось потому, что я, как, наверное, и каждый молодой человек, мечтал тогда о славе, об известности и т. п., а моя служба в оркестрах, конечно, никакой особенной славы мне не обещала. И вот я, помню, стал тяготиться своей безвестностью и стал попеременно мечтать о двух новых профессиях — о профессии дирижера сим-

фонического оркестра и о профессии писателя или, на худой конец, журналиста. Я страстно хотел увидеть свою фамилию напечатанной в афише, в газете или в журнале.

Тяга к писательству все-таки пересилила, я стал более внимательно читать очерки и рассказы, стараясь понять, **как они сделаны**. А через некоторое время стал и сам писать что-то. Не помню теперь уже, как я тогда писал, потому что не хранил своих рукописей. Но уверен, конечно, что писал я тогда и по отсутствию опыта и вкуса, и по недостаточной литературной образованности — плохо. Все-таки, видимо, было нечто в моих тогдашних писаниях симпатично, потому что отношение ко мне с самого начала в редакциях было хорошее, и в 1953 году я уже успел напечатать несколько небольших очерков в газете «Советский спорт» и в том же году был принят в Литературный институт...

15 декабря 1965

Господин редактор, благодарю Вас...



Господин редактор,
благодарю Вас за намерение включить мою автобиографию в издание «Современные авторы». На анкету я не буду отвечать, потому что не понимаю английского и, кроме того, сведения о себе, которые я Вам сообщу, наверное, также будут и ответом на вопросы анкеты.

Я намерен говорить только о своей литературной деятельности, т. к. это и есть, в сущности, моя жизнь за последние десять лет.

В 1953 году я выкурил полпачки папирос на лестнице Литературного института, прежде чем осмелился зайти в учебную часть. Я тогда держал конкурс на поступление в институт. Конкурс был очень большой, примерно сто человек на одно место. Естественно, что я страшно волновался. Mimo меня все ходили вверх и вниз, и когда спускались, то редкие спускались счастливыми. Наконец и я взошел наверх, и мне сказали, что я принят. Так я стал студентом Литературного института. Тогда я написал два или три рассказа. Наверное, это Вам покажется странным, но первые рассказы, которые я написал, были рассказами об американской жизни. И вот с ними-то я и поступил в Литинститут. Тогда же мой руководитель, прочитав эти мои рассказы, навсегда отбил у меня охоту писать о том, чего я не знаю.

Родители мои, простые рабочие люди, хотели, чтобы я стал инженером или врачом, но я стал сначала музыкантом, потом писателем. И отец, и мать до сих пор не особенно верят, что я настоящий писатель. Потому что для них писатель — это что-то вроде Толстого или Шолохова.

И вот тогда, на первом курсе института, а мне было тогда уже двадцать пять лет, тогда как моими товарищами стали люди гораздо моложе меня, но уже настоящие поэты и прозаики, т. е. уже печатающиеся, уже писатели, как я думал, — тогда-то я испугался. Я понял, что я ничего не знаю, я не знаю, как писать и что писать. И я еще не знаю, смогу ли я вообще когда-нибудь напечататься. И тогда я хотел даже уходить из института. Потом очень скоро моя робость прошла, мало того — она перешла как бы в свою противоположность. Я стал думать, что я непременно стану выдающимся писателем. Сначала для меня нужно было выяснить, кто вообще писал лучше всех. Года два я только и делал, что читал. Читал по программе и без программы. И после долгих чтений и размышлений я пришел к выводу, что лучше всех писали наши русские писатели. И я решил писать так же, как они. Ни у кого в особенности я не учился, я просто уловил нечто общее, присущее всем нашим лучшим писателям, и стал работать.

Писал я мало. Вообще наши русские писатели мало писали и пишут. Сведения, например, о том, что Уильям Сароян написал за 10 лет 1500 рассказов, десятки повестей и романов — кажутся нам невероятными. Я не помню, сколько именно написал я до сегодняшнего дня, но, кажется, что-то около сорока рассказов.

Очень скоро (после первых четырех-пяти рассказов) я стал ходить уже в гениях. Мне прочили славное будущее. Многие и тогда еще называли меня лучшим рассказчиком современности. Нужно сделать скидку и на тогдашнюю нашу молодость и на студенческую среду вообще. Студенты всегда любят преувеличивать, как в своих симпатиях, так и в антипатиях. К счастью, все эти громкие слова не повредили мне, т. е. не заставили меня относиться к делу небрежно.

Все годы я много ездил. Вообще мне кажется, что я хорошо жил, что так и надо жить писателю. Тогда я почти не пил (теперь я выпиваю, но хочу бросить, это мешает, когда много пьешь, и вообще писателю нужно быть здоровым), так вот, я не пил, занимался альпинизмом, охотился, ловил

Юрий Казаков

рыбу, много ходил пешком, ночевал где придется, все время смотрел, слушал и запоминал. Многие критики потом упрекали меня за то, что я якобы выискивал осколки прошлого. Они были неправы, потому что не видели того, что видел я...

23 февраля 1964

Из дневника 1949–1953 годов



1949 г.

Бывает, спрашивают у меня в разговоре, кого я из советских писателей люблю больше других. Каждый раз я отвечаю: Пришвина.

Пришвин – писатель совершенно особого склада. Читать его – наслаждение, почти равное наслаждению живой природой.

В каждом человеке есть свое тайное, запрятанное, и, по моему, ни один из советских писателей не трогает так это тайное, как Пришвин.

Бывает, идешь дорогой среди ржи, страшная жара, мучит жажда, и вот видишь в стороне небольшой островок леса, жизнь которого успокаивает глаз... Пьешь холодную ключевую воду и чувствуешь, как в тело возвращается жизнь. Так и Пришвин – ручей среди пустыни.

23. VII. 49 г. Луза

Подушка пахнет козьим молоком и сеном. На дворе пряный запах подсыхающих березовых веников, вдали крик пегуха.

Вот обстановка, в которой я живу. Природа на Севере бедна, но гораздо сильнее жизненной цепкостью, чем южная.

Сенокос в самом разгаре. Косят литовкой и горбушей. Подсыхающее сено кружит голову ароматом. Все лето трава вбирала в себя жизненные [силы] земли, свет солнца, <...> и лесов, и вот теперь, скошенная, прощаясь с жизнью, отдает людям запах. Скоро охота.

Юрий Казаков

2. VIII. 49 г.

Погода самая осенняя. Моросит мелкий дождь. Холодно. Под крышей сиротливо висит паутина, а хозяина нет. Сбежал от холода и ветра.

6. II. 50 г. Москва

Найти себя в творчестве, ощутить пульс жизни своей — в этом вся задача.

22. VIII. 50 г. Луза

Никогда еще не испытывал такой тоски. Через два-три часа уезжаю из Лузы. Казалось, нужно было бы радоваться, а у меня что-то все скребет и скребет на сердце.

Сегодня уехал человек, к которому я очень привык и испытывал хорошее человеческое чувство. Он уехал, а я остался и вот, укладываясь в дорогу, с грустью думаю о превратности судеб человеческих.

21. IV. 51 г.

Написал пьесу «Новый станок». Не приняли. Печально. Неужели всем моим произведениям предстоит такая же судьба?

16. V. 51 г.

Слушал передачи о Шаляпине. Что за человек! Что за судьба! — Когда окидываешь взором всю жизнь его, невольно ставишь вопрос: мог ли где-нибудь в иной стране родиться такой человек? И отвечаешь: нет, не мог! Не мог! Ибо колоссально талантлив наш народ, и, кажется, нет границ его таланту.

Много было у нас певцов. И вот Шаляпин, вобрав в себя все лучшее, поднялся во весь свой исполинский рост и поразил мир. Уверен, что его песня, его голос будут жить, и особенно у нас, русских, вечно. Быть может, людям доведется увидеть и услышать не менее великих артистов, но таких, как Шаляпин, не будет.

Странно смотреть на моих коллег. Стоит спросить о впечатлении о той или иной книге, картине, симфонии — и услышишь стереотипный ответ: ничего! Ну, как новая картина, интересна? — Ничего!

Это «ничего» просто убийственно. Где критика, где споры, где понимание искусства? Вот нравы моих знакомых. Особо о контрабасистах. Ни разу не слышал похвалы от чистого сердца какому-нибудь контрабасисту. Спрашиваешь: как играет Чертович? — Плохо, фальшиво. Техника богатая, звук плохой. — Рахов? — Звук хороший, техники нет. — Кусевицкий? — Неважно. — Дмитриенко? — Часто фальшивит. — Фокин? — Рубит. Трещит.

29. VII. 51 г.

Сегодня приехал из Солги. Гостил у отца. Там сейчас находится мама. С легкой душой оставил я Солгу. Не очень-то понравилось мне там. Но вот приехал в Москву, и что-то тяжело на душе. Там остались мои родители.

Очень плохо складывается жизнь. Отца вижу раза два три в год. Мама тоже часто и надолго уезжает к нему.

Сегодня узнал, что экзамены в консерватории начинаются 2. VIII, а не 8-го, как раньше предполагалось. Это тоже нехорошо. Ведь я с 14 июня не брал инструмента в руки. За десять дней я бы еще подготовился, а вот за четыре — вряд ли. Что делать, если не примут в консерваторию? Какой удар маме!

В Солге я познакомился с Лилей Г. Девушка ничего особенного из себя не представляет, но... полюбила меня. И вот я, в сущности, равнодушный к ней, почему-то очень тронут этим, и грусть тонкой пеленой затягивает сердце. Жалость это? Нет? Может быть, сожаление, что не полюбила меня девушка, которую и я мог бы полюбить? Она обещала помнить меня всю жизнь. Смешно! И ведь когда давала это обещание, наверное, и сама верила ему, была искренна. Но пройдет месяц, может быть, два, и все позабудется... И такие же клятвы будут даваться другому...

Сейчас второй час ночи. По радио поет Козловский... А на меня навалилось какое-то плохое предчувствие. Вот

прошло и еще одно лето. Еще одно лето моей жизни. 8 августа мне исполнится 24 года. Порядочный возраст. Грустно...

24. VIII. 51 г.

Как и следовало ожидать, я никуда не попал. Почему, спрашивается? Неужели я такой уж неспособный чурбан? Не думаю. Нет. Просто все еще слишком легко отношусь к жизни. Это в мои-то годы! Когда Добролюбов 24 лет умер знаменитым. Лазо 23 лет командовал фронтом. Что же это за люди? То ли гении, то ли люди с железной волей, которая все сокрушает на своем пути.

26. IX. 51 г. 0 час. 30 мин.

Когда я с таким позором провалился в трех институтах, передо мной встал вопрос: что делать дальше? И вот я начинаю искать работу. Ищу, ищу... И по сей день ищу. Правда, мне довелось пробоваться в театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, но вряд ли из этого выйдет что-нибудь путное.

В общем, неутешительная картина для меня и для моих близких, особенно матери.

Но есть и небольшая, правда, но отрадная сторона в моем существовании. Это то, что я разрешился наконец от своего годового почти писательского кризиса.

Удивительно, как влияет на творчество (я говорю о себе, конечно) неудача. В прошлом году я написал пьеску. Небольшую по размеру и скромную по таланту. Написал я ее, и пошла она, бедняга, мыкаться по редакциям. И брать не берут – и отказывать не отказывают. Так до сих пор и блуждает. Правда, пока она нашла себе пристанище в «Трудрезервиздате», и мне даже пообещали ее напечатать, но дело опять застопорилось, и, вероятно, снова возвратят. Вот это и отбивает охоту писать еще что-нибудь.

Итак, об отрадной стороне. Я все-таки понемногу сейчас разрешаюсь от молчания и начинаю пописывать. Пишу пьесу (одноактную) и два очерка о природе. Пишу тяжело,

по многу раз исправляя написанное, но все же пишу. Природа и рассказы о ней — старая моя страстишка. Вот и сейчас закончу запись и начну снова копаться в рассказах, ворошить слова и переделывать фразы. Интересно, так ли пишут свои вещи большие писатели?

6. X. 51 г.

Наступил необычайно оживленный период в моей писательской деятельности. 2-го числа закончил одноактную пьесу, вчера — рассказ, а сегодня — еще один. По плану нужно будет до 15. X. написать еще один рассказик, вернее, очерк «Просторы Родины» и публицистическую статью в «Литературную газету». Это первый очерк (статья), что я напишу, и не знаю, как мне это удастся...

Вот скоро три месяца, как мама живет с папой в Солге. А я тут один. Отца я вообще не вижу годами. Как плохо устроена жизнь! Вот 15.X. 51 г. день рождения мамы. А как я могу его отметить? Что подарить ей? Я ведь сам не работаю, и денег нема. Хоть бы сгорели эти деньги!

В Москве определенно неурядица с оркестрами. Оркестров мало. И много музыкантов, особенно из молодых, ходят без работы. А в том числе и я. Когда же это кончится? Я уж столько денег разъездил, обивая пороги различных муз. учреждений, и все без толку. Хоть специальность меняй.

Писательство же мое пока не дает ни гроша. Вот окончу все свои намеченные вещи, разнесу их по редакциям и буду ждать ответа. Хорошо, если хоть дядя Федя поможет отпечатать их на машинке. А то вообще — гроб!

А вот еще неурядица и неприятность: я так ждал отца в Москву, так хотел с ним увидеться, а теперь ему и остановиться негде. <...> Приедет ли он вообще? Мама наконец-то скоро приезжает. Как я ее заждался.

14. X. 51 г.

Сегодня снова получил отрицательные отзывы о моей пьесе. Снова и снова злоба и отчаяние охватывают меня. Ведь я отлично понимаю, что, например, будь автор этой

пьесы не Юрий Казаков, <...> ее с огромным удовольствием напечатали бы. Ведь то и дело я читаю вещи гораздо более плохие, нежели моя пьеса. Но все равно я буду писать. Я чувствую, что могу написать и напишу нечто очень яркое, свежее и талантливое. Пусть мне отказывают. Пусть! Но победа будет за мной!

Я сегодня очень расстроен. В понедельник пойду устраиваться на кондитерскую фабрику и в фотохронику ТАСС. Надо же биться за жизнь — за деньги! Неужели сидеть безработному?

Задумал повесть. Нечто оригинальное. Посмотрим, как она получится! Год! Два! Буду работать над ней, а закончу ее.

22. X. 51 г.

Начал писать повесть. Интересно узнать бы, как работают над крупной формой писатели. У меня что-то плохо клеится. Черт знает как ее писать. Очень трудная штука — повесть. Много действ. лиц, и всех их нужно обрисовать, показать развитие характеров и т. д. Кроме того, нужно воплотить в повести какую-то идею. А как это сделать? Ну ладно, узнаю еще. Не все ведь сразу. Я успокаиваю себя мыслью о том, что и крупные писатели работают над повестью или романом несколько лет.

Временами же мне кажется, что я вовсе не способный к этому делу человек, и тогда наступает вялость мысли и вообще не хочется браться за перо.

Пробовал устроиться грузчиком на ф-ку «Красный Октябрь». Ничего не получилось. <...> Что же теперь делать? Ох, деньги, деньги! Деньги — это эквивалент счастья. Под счастьем в данном случае я подразумеваю удобства, хорошую одежду, обильное питание и т. д., и т. п. Хотел бы я пожить немного, не думая каждодневно: «Где взять денег на хлеб, на квартиру, на питание?» Деньги и средство их добывать — вот что пока занимает меня непрерывно.

Мать пока еще не приезжала из Солги. Безобразие!

25. X. 51 г.

Сегодня несколько часов сидел над рассказом. Пытаюсь склеить его из уже ранее написанного мной. Временами испытываю некий творческий подъем, а временами прихожу в отчаяние, что ничего не получается.

С новой пьесой «Большое дело» у меня ничего не получилось — не берут, а жаль, такие симпатичные у меня получились человеки (на мой взгляд, конечно). Вот завтра буду звонить в «Молодую гвардию» относительно этого дела. За этим же зайду в ВДНТ¹.

Откровенно сказать — хоть я и считаю это дело пропавшим, однако где-то в глубине моей оптимистической души еще шевелится надежда. Совсем малюсенькая, правда, но шевелится. Что делать? Человек живет надеждами.

А матери с отцом все еще нет. С ними было бы легче и морально и материально.

17. XI. 51 г.

Сегодня уехал отец в Шарью. Очень как-то тяжело от этого и пусто на сердце. Тем более под поезд, которым уезжал папа, попал какой-то парень. Раздавило его, и, наверное, насмерть. Мы услышали об этом и, страшно перепуганные, пошли смотреть, думали — не отец ли? Да, вот жил с нами папа, и мы частенько ссорились по поводу моей безработицы. А вот уехал — и грустно. Ведь я его год не увижу теперь. А может... и совсем. Очень тяжелая судьба у моего папы, очень тяжелая, и я его жалею всем сердцем, но помочь, к сожалению, не могу.

27. XI. 51 г. 0 час. 30 мин.

Позавчера проводил маму. Уехала в Батуми — на край света. Очень я беспокоюсь за нее. Не случилось бы с сердцем плохо. Дело в том, что мы опаздывали на поезд и бежали как сумасшедшие. А с ее сердцем это не игрушки.

¹ Всесоюзный дом народного творчества.

Вот и опять я остался один. Из ВДНТ получил пьесу на доработку и даже с весьма положительной рецензией. Зато из «Молодой гвардии» так ответили, что ужас. Сейчас работаю над пьесой.

11.XI.1952 г.

...Со времени последней моей записи прошло несколько месяцев. Прошло лето. Прошла осень... И вот стучится уже в сердце зима.

Погода нынче стоит плохая, т. е. самая обыкновенная ноябрьская погода: дождь, снег, слякоть, туман... Я все это время пользуюсь всеми жизненными благами, т. е. работаю в оркестре, получаю башли¹ и постепенно разочаровываюсь во всем понемногу. И в первую очередь — в себе. Опубликована первая моя пьеса. Дало ли мне это радость? Так... чуть-чуть... совсем немного.

Все лето пришлось играть мне на танцверанде. До чего же осточертели мне все эти танцы! И я сейчас одному рад — тому, что не слышу более всех этих па-де-грасов и прочих «па-де...».

Во всей моей идиллической обстановке, наверное, наступит скоро перелом. Дело в том, что меня увольняют — и я снова остаюсь безработным. Но теперь это долго продолжаться не будет, т. к. я надеюсь найти работу на периферии. Так что даже такая резкая перемена в моей жизни не вызывает теперь во мне беспокойства. В общем, все должно решиться 15 ноября. Посмотрим...

20 ноября 1952 г.

Решилось! Я — уволен. И снова я вольная птица без гроша в кармане и с ужасной скукой в душе. Уманский пока хлопочет (или уверяет меня, что хлопочет), не знаю, что выйдет из этого, но пожалуй, ничего не выйдет. Придется сматывать удочки из благословенной богом Москвы и искать пристанища где-нибудь подальше. Был я в Комит. по дел. искусств. Там определенного ничего не сказали. Но был слу-

¹ Башли — деньги (слово из жаргона музыкантов). — *Ред.*

шок, что нужны-де контрабасисты в Улан-Удэ. Вот это я понимаю, места, что называется, не столь отдаленные.

Странно, но я берусь за эту тетрадь тогда, когда мне туговато приходится.

3 января 1953 г.

...Скоро два месяца, как я без работы. И временами дохожу до страшного отчаяния и зверской тоски... Скоро должен прийти ответ из Свердловска, из театра оперы и балета, и если условия там будут мало-мальски подходящие, я, не задумываясь, поеду.

...Окончил недавно рассказ об Америке, о неграх. Кончаю рассказ об измене (любовной). Пишу рассказ о слепом музыканте. На очереди стоит переделка старого моего рассказа о ребятах и доканчивание еще двух рассказов о природе. Ну, а в будущем — Лит. институт. Я очень стремлюсь попасть туда, так как там можно многое узнать о литературе, о творчестве, кроме того, там — «среда». Именно та литературная, пишущая среда, от которой я сейчас совершенно оторван. Сейчас же настроение пакостное... Со старинным другом своим поругался и разошелся, наверное, навсегда. Конечно, обидно это, но, видно, такова уж жизнь, постоянного — нет.

16 января 1953 г.

Почти четыре года прошло с тех пор, как я начал эту тетрадь... Еще в 49 г. я мечтал о литературе, хотел быть писателем. Сегодня то же самое. Но дела мои становятся хуже... Омерзительно чувствовать себя все на том же уровне знаний и возможностей. Временами мне нравятся мои творения, временами же я теряю всякие надежды на какой-нибудь хоть мельчайший успех на поприще литературы. Отчего это происходит? На мой взгляд, по двум причинам. Во-первых, конечно, все мои творения (многие, большинство в набросках) далеко не прекрасны, если не сказать более. Ну, а так как у меня все же есть какое-то критическое чутье и способность к самоанализу, то и получается так, как будто я просы-

паюсь вдруг и с ужасом и тоской убеждаюсь в несовершенстве своих начинаний. Вторая причина — это недоступность, недостижимость редакций. Еще бы! Ведь ни одной моей вещи до сих пор не напечатано, если не считать пьески. В этом даже иногда начинаешь подозревать какой-то злой рок... Откровенно говоря, давно нужно было бросить это занятие. Но если бросить, то что же остается? Музыка? Я до сих пор все без работы... Как все противно! Не писать я уже не могу. Пусть неудачны все мои произведения, пусть каждый раз отказывают мне в редакциях, я снова и снова буду браться за перо! Может быть, время вылечит меня от этой болезни. Пока же передо мной стоит основная задача: знание! Знания мне нужны, как столяру рубанок, их у меня, скажу откровенно, маловато. А сейчас мне предстоит окончить четыре рассказа. И две пьесы. Рассказы о спорте в мире капитала, в мире наживы, о сборщике подписей в Америке, о подвиге (слепой) и о любви. Пьесы: о бюрократе-подхалиме Култышкине и о сборщике подписей (вариант рассказа). Рассказ мой о полисмене все не печатают. Он мне уже не нравится, и я взял бы его из редакции, если б не нужда в деньгах и в напечатании.

2. III. 1953 г.

Чуть-чуть было мне не повезло в жизни. Но все дело сорвалось. Рука судьбы беспощадно карает меня. В конце февраля я окончил рассказ о боксерах в Зап. Германии. Понес в газету «Сов. спорт». Там прочли, одобрили и... предложили переделать. Кроме того, мне предложили, даже без всякого намека с моей стороны, стать их постоянным, штатным сотрудником, т. е. корреспондентом. Я не знаю, как мне удалось удержать в себе весь восторг, который охватил меня. Еще бы! Четыре месяца без работы, а тут вдруг как с неба счастье. Я уже было подумал, что наконец-то Бог и судьба сжалились над бедным человеком. Ан нет! Не тут-то было! И тут жизнь подставила мне подножку. Я заполнил анкету, написал автобиографию, повели меня к зам. ред. Тот встретил меня с шикарнейшей улыбкой. Но заметив, что я заикаюсь, как-то увял, поблек... Когда я осторожно намекнул ему о ра-

боте, он весьма вежливо сказал: перерабатывайте пока рассказ, а потом договоримся.

Рассказ я переработал, принес ему, он его взял, но о работе уже ни слова. Так и пропала моя корр. работа ни за поюшку табаку. А я-то уж было размечтался...

За это время я написал след. вещи: пьесу о подхалиме «Култышкин», рассказ о любви («Персидская песнь»), рассказ о боксерах («Триста долларов»), рассказ о слепом музыканте («Подвиг»). Рассказ «Обиженный полисмен» напечатали в «Московском комсом.» 17 января. Я его немножко отшлифовал и отнес в издательство «Молодая гвардия» (Альманах молодых). За это время я претерпел столько неудач, столько мытарств, столько отказов, что могу с уверенностью сказать, что и на все эти вещи получу отрицательный ответ.

6 марта 1953 г. Ночь

Не спится. Сижу и размышляю над своей судьбой и вообще обо всем. Последние дни мне упорно «везло». Рассказ мой о боксерах соглашались взять сразу две редакции — «Московский комс.» и «Сов. спорт». Кроме того, был согласован вопрос о принятии меня на работу разъездным спец. корреспондентом в газету «Сов. спорт». Я написал автобиографию, заполнил анкету, с великим трудом достал справку из домоуправления, с работы... и все эти документы сдал 5 марта секретарю редакции. Редактора не было. Он должен был быть вечером и провести меня приказом. 6 марта, т. е. сегодня, я должен был уже явиться в редакцию за назначением. Но сегодня утром над страной разнеслась тяжелая весть — умер Сталин... И я не поехал в редакцию: до меня ли там сейчас! На душе тяжело. Сегодня весь день по радио передавали трагические мелодии, и Левитан читал правительственное сообщение о смерти вождя. В Москве объявлен траур на три дня. Траурные флаги, афиши заклеены белой бумагой, кино не работает. Завтра я все же пойду в редакцию. Быть может, меня уже провели приказом. Если же нет, то тогда, значит, вообще не примут на работу. Сегодня стали известны резуль-

таты совместного заседания ЦК, Совета Министров и Президиума Верховного Совета. В правительстве большие изменения. Вполне вероятно, что изменения эти коснутся и Комитета по делам физкультуры и спорта, а следовательно, и газеты. Будет другой редактор, другая будет и обстановка.

В общем, завтра в моей личной судьбе все выяснится. Я почему-то уверен, что мне не повезет и на этот раз. Так уж паршиво складывается жизнь моя. Что делать?

Дневник пребывания в г. Ростове-Ярославском и окрестностях. Июль 1956 г.



2 июля. С. сошел в Остове, я поехал дальше, до Ярославля. Ярославль — город. Стоит на Волге. Волга шириной не более Москвы, — прозрачности такой же. Я приехал рано утром, сел в битком набитый, тупорылый, странный трамвай, поехал в центр. Долго искал обком. Никто не знал, где обком, посылали меня по разным направлениям. Я был в Ярославле рано утром. Он показался мне тих и сонен. В центре — прямые улицы, ровные дома, церкви. Есть липы. Но все время не оставляло впечатление заброшенности. Казалось, город, из которого ушла жизнь, медленно сыпается.

Я уехал из Ярославля днем. Ехал на ЗИМе по шоссе. Скорость доходила на хороших участках дороги до ста километров. Тогда кузов машины начинал гудеть, дрожать. Стекла были закрыты, когда открывали маленькое боковое стекло, возникал дрожащий заунывный свист, слышнее становилось бешеное шуршание шин по асфальту.

Полтора часа езды, и вот Ростов! Город, незнакомый мне, город, который, м. б., станет потом вспоминаться как нечто очень прекрасное и светлое. Церкви, пожарная каланча, кремль и, наконец, нелепая уездная площадь. Все! Я в Ростове. Здесь мне предстоит прожить месяц, что-то делать, о чем-то думать. Скучно!

3 июля. Пошли с С. в Пужбол, село старое, где живет руководитель нашей практики — Дорош. Несколько лет назад

самое слово «Пужбол» произвело бы на меня сильнейшее впечатление. Я оглядывался бы с жадностью, стараясь постичь чужой смысл жизни, историю, старался бы угадать, кто и как здесь живет, и жил, и будет жить. Теперь не то. Теперь — немножко любопытства, немножко равнодушия, немножко досадной скуки. Пужбол так Пужбол — идем! Километров пять шли по шоссе, потом свернули, пошли по мощеной дороге. Впереди маячила церковь. Говорили о литературе, о том как и что писать. В разговорах незаметно дошли до деревни. Деревня крепко стоит. Домишки хорошие, крыты железом, высокие. Отыскивали дом, в котором живет Д., вошли и сидим за столом, говорим об истории края и тому подобном. Нас угощают молоком, пьем это молоко. Томимся.

Вот история. Впервые край этот был заселен южной ветвью финского племени — мери — в VI–VII в. Первые поселения принадлежат им. Потом пришли славянские племена, тоже стали селиться по берегам озера Неро. В XII столетии здесь уже был довольно густонаселенный край. Позже образовалось ростовское княжество. Ростов подвергся набегам татар. Сохранились валы, находятся остатки деревянного кремля. На месте теперешних сел были городища. В XVI–XIX веках в Ростове началось усиленное строительство соборов, кремля, церквей. В кремле был митрополичий двор. Отсюда родом Глинские — предки Ивана Грозного. Здесь были раньше поместья Шереметевых, Мусиных-Пушкиных, князей Ростовских и др. Население — бойкое торговое. Занимались рыбным промыслом, существовало исстари товарное производство, пахали лучишко и огурчишко (т. е. на продажу), жили крепко и еще до реформы стали освобождаться от крепостной зависимости.

Озеро Неро лежит в большой котловине, окруженной грядой холмов. Видимо, раньше вся котловина была озером.

По решению Совета Министров на озере Неро будут произведены большие работы по выкачиванию донного ила на удобрения. (На дне озера лежит семиметровый слой ила.) Также планируются большие мелиоративные работы во всей котловине озера, т. к. она сильно заболочена и все

больше земель становятся негодными для сельского хозяйства. Из тридцати тысяч гектаров в районе, шесть тысяч не используются.

Д. человек суховатый внешне, похож на птицу. Несколько тенденциозен, говорит прищурясь, находит все более или менее в порядке вещей, положением литературы, по-видимому, не очень обеспокоен. Мы долго гуляли по окрестностям Пужбола, разговаривали. Есть в Д. некоторые симпатичные черточки, но все-таки что-то в нем мешает быстрому сближению, мешает доверчивости и ставит немного на официальную ногу. Он старался убедить нас в этом, что заинтересован прошлым, и настоящим, и будущим района, причем, заинтересован, так сказать, социалистически, т. е. как советский писатель. Но когда он говорит о старине, помимо его воли в голосе его слышатся теплые нотки, и мне сильно кажется, что он просто-напросто очарован здешней стариной, любит ее, питает к ней слабость, ревностно изучает ее. И эта любовь вовсе не продиктована какими-то государственными интересами, а существует сама по себе, как, например, у меня — любовь к Шаляпину и Пришвину.

Обратно шли в сумерках. Луга медово пахли, в придорожных кустах щелкала какая-то птица. Удивительно, но до сих пор я не слышал соловья, поэтому не мог судить: кто? С. говорил — соловей, я слушал, сомневался. Пока мы разговаривали с Д., участок шоссе, длиной примерно километра два, совершенно заасфальтировали. Эта мысль, т. е. то, что пока мы, думая, что занимаемся делом, разгуливали и разговаривали, а люди в это время работали, производя какие-то материальные ценности, мысль эта повергла в некоторое смущение. Все-таки литература и всякие высокие, духовные материи не всегда дают уверенность в том, что занимаешься делом.

Вдоль дороги растет ельник, солнце село, осталась узкая кровавая полоса заката, эта полоса светилась сквозь черный ельник, и смотреть на это свечение и одновременно черноту было жутковато.

Домой пришли в совершенной темноте.

4 июля. С утра пошли в редакцию. Познакомились с редактором. Человек в смысле литературы, на мой взгляд, совсем малограмотный. О задачах литературы имеет смутное представление. Еще меньше понимает в литературной технике. Повел нас в типографию. Знакомиться с наборным цехом. Смотрим кассы ручного набора, на сверстку и пр. вещи. Долго и подробно толкались возле линотипа. Прельщали нас как линотипы, так и линотипщики. Линотип — машина умная и чудо, конечно, и очень помогает наборщикам. Потом спустились в переплетно-резальный цех. Смутный вздох из глубины времен донесся до меня. Снова смотрю на резальные машины, снова дышу запахами бумаги, клея. Как хорошо! Почти год — десяток лет назад — отдал я бумажному делу, и вот сейчас снова все вспомнилось, многое что пережил, все, что достиг и что думал достичь когда-то...

Познакомившись с типографией, узнали, что линотипщик получает пятьсот руб., резальщик — триста. Маловато по временам, а для нас, писателей, даже слишком. Триста — за месяц настоящей работы! Можно легко себе представить бюджет такой семьи. Если писать рассказы о рабочих, то, разумеется, надо помнить и о бюджете?

Пошли на озеро, взяли лодку и поплыли к острову, который находится примерно в километре от берега. Лодка, простор, солнце, неудобные тяжелые весла, блеск куполов вдали, чего больше? Часа три плавали, говорили о том, о сем, купались, маленько загорели.

5 июля. Снова идем в редакцию. Нас просили прийти к девяти часам. Но мы не такие люди, чтобы подчиняться редактору — темному здешнему человеку. Мы люди высшего порядка, думающие, совесть и мысль эпохи, поэтому к девяти мы не идем, а заявляемся в одиннадцатом часу. Нам дают задание. Мне — написать о соревнованиях двух доярок. С. — написать стихи о свинарке и свиньях. Я задание принял. С. отклонил. Пошли на пароход. Пароход здесь старый, колесный буксир, приспособленный для перевозки человек. Сели мы на верхней палубе и поехали, побежали, как говорят волжане. Опять солнце, мерные вздохи машины, шум плиц,

плывем по озеру, слегка разворачиваясь и держа курс на церковь в Угодичах. Пятикилометровое расстояние покрываем минут за сорок,ходим в Угодичах, идем по мощеной камнями, заросшей травой дороге. Угодичи – старое село, люди здесь поселились еще в XI веке. Дома раскинулись просторно, нет скученности, нет той нищей сжатости, которую наблюдаешь, например, в Смоленской области. Дома крыты железом, некоторые двух этажей. Вообще, здесь интересно строить: пол находится на уровне примерно человеческого роста, внизу разные хозяйственные помещения. Печи выложены кафельными плитками, не белятся. Наверху в каждой избе устроены полки на балочьях для сушки лука. Еще деталь: здесь почти нет плетней, заборов и т. п. У каждой избы большой огород: лук, огурцы, помидоры. Лесу нет, кое-где кусты да болотца. Рек тоже не видно. Хотя в озеро их втекает, как говорится, немалое количество. В Угодичах большая церковь с красивой колокольней, постройки, на наш взгляд, века XVII–XIX. В церкви теперь мастерские.

Я с С. учусь вместе второй год. Сидит он в аудитории, молчит. Думает. Не знаешь человека, да и трудно так, со стороны узнать. Так разве, кое-что схватишь, характерное, если есть. Тут я его начал понемногу узнавать лучше. Он циничен, как и все, впрочем. Но циничность его не проявляется наружно. Напротив! Он весьма совестлив, тих, даже робок. Узнавать о дороге, расспрашивать о чем-либо, искать кого-то для него – задача. Он взваливает все эти дела на меня. Я искал, например, квартиру, бродил по городу, останавливал чуть ли не каждого встречного и нашел, и договаривался насчет платы и прочего тоже я. Теперь я решил посмотреть на все со стороны и предоставил С. самому искать доярок и говорить с ними. Как он мучился и как сердился на меня. Я в свою очередь сердился на него. Так, злые, мы пришли в другую деревню, Вожа. Но об этом потом, сейчас закончу о С. Он худ и слаб на вид, хотя и не так уж слаб, как кажется. Он страшно мнителен, любит себя, любит свое, слабое, как ему кажется, здоровье, прислушивается к отправлениям своего организма. Сейчас у него что-то стрельнуло от уха к

шее, и он целых полчаса испуганно слушает себя и думает, что это такое и почему этого раньше не было. Потом у него заболит глаз, и зуб, и лоб одновременно, и он опять мучится в уверенности, что не сберег и где-то простыл. Он любит выпивать и это странно наряду с его самовлюбленностью и боязнью заболеть. Пьет он тоже странно, т. е. не пьет для того, что быть выпившим или пьяным, а берет сто грамм перед обедом, иногда заходит и выпивает сто граммов красного вина. Что это ему дает, я не знаю. Водку пить противно, но если уж пить, так для того, чтобы почувствовать себя пьяным, т. е. испытать те довольно приятные ощущения, которые испытывает обычно крепко выпивший человек: веселье, бодрость духа, кажущуюся свободу, смелость и т. п. Что же дают ему его ежедневные сто грамм? Не пьет ли он их потому, что когда-то где-то какой-нибудь врач-шарлатан сказал, что пить по сто граммов перед обедом полезно? И не есть ли это его питье тоже следствие великой и осторожной любви к своему хрупкому сосуду-телу?

Ест он... Ах, как он ест! Страшно разборчив, копуша, ест медленно, тщательно пережевывая, глотает и слушает, как глоток проходит по пищеводу в желудок. Порядок, т. е. последовательность в еде у него необычна. Он выпивает водку, потом начинает пить сметану, потом пьет сырые яйца. Он любит сырые яйца, потому что они полезны. На рынке он берет от двух до четырех штук, разбивает каждое о свои зубы и выпивает. Больше он их не пьет, опять-таки потому, что большее количество не полезно для него. В столовых от тщательно изучает меню. Когда блюда, означенного в меню, не оказывается, лицо его темнеет, становится жалким. Он искренно огорчен тем, что приходится есть невкусное, а так как в районных городках не до вкусов, а жри, что дают, то обеды и завтраки превращаются для него в мучения.

Он все время хочет познакомиться с девушкой, чтобы иметь предмет, долго высматривает в парке, на улицах, толкает меня, но заговорить, познакомиться не решается.

Несмотря на все это, он кажется тихим человеком, очень хорошим и мечтательным. Как, впрочем, и многие сволочи на этом свете. О достоинствах его я не буду гово-

рить, их у него тоже довольно. Взять хотя бы, что у него характер не скандальный и с ним можно жить (на первых порах хотя бы). Я, может быть, во многих отношениях хуже его, но о себе писать — наивно и глупо, поэтому о себе не буду много распеснячивать.

Итак, мы пришли в Вожу. Конечно, С. страшно мучился, робко искал доярок, робко, почти неслышно стучал в дверь. Постучит, послушает и стремится уже уйти, не может громыхнуть в дверь, чтобы люди, живущие в доме и, возможно, обедающие (когда я ем — глух и нем), услышали и открыли. Доярок мы не нашли, куда-то ушли они, в дальнейшие поиски отправиться мы постеснялись. Пошли обратно. На обратном пути я ему рассказывал содержание «Пер-Гюнта», которое плохо знал, и пел из Грига. Он слушал, молчал по своему обыкновению, и не понять было, нравится ему или нет. До отхода парохода оставалось около часа, и мы решили пройти к другой церкви вдали. Пришли. Совершенное запустение, все разорено и проходит прахом. У церковной стены валяются несколько надгробий, бог весть откуда снятых. На них старомодные трогательные и наивные надписи. Надгробия старые, некотором по сто с лишком лет. Видеть такое всегда печально, слушаешь тишину, нарушаемую только воркованием голубей, думаешь о тленности и т. п., в общем обычные мысли, которые к нам приходят разве только на кладбищах... С. зашел в притвор церкви и поссал. Я был очень рассержен на него. Независимо от Бога, церкви строены не для того, чтобы ссать в них, и последнее служит доказательством нашей дикости, нашего грязного варварства.

Когда мы ходили еще в Воржу, заметили возле одной избы невеселое веселье, догадались: проводы в армию. Когда мы шли на пароход, туда же шли десятки пьяных, странно веселых людей с гармошками, дикими похабными песнями, матом и пьяной любовью к друзьям и родным. На пароходе началось купание. Призывники разделись, стали нырять с палубы, потом с мостика, потом уже с перил мостика, ныряли по-разному, стараясь, чтобы было красивее: на палубе толпились девки. Затем снова начались частушки,

расставания, излияния. Пароход отвалил, целовались, кричали, играли на гармошке. Все это производило на меня тяжелое впечатление. Думалось: что есть правда в наших писаниях? Разве так идут в армию в наших рассказах и романах? Разве об этом пишут в стихах? Нет! Может быть, так и нужно — не писать об этом?

Пароход отвалил, один из провожающих, пьяный и отчаянный, прыгнул за борт и поплыл к берегу. На палубе смеялись — вот вам и Веселов! Я устал от всего этого шума, был зол на С., спустился в трюм, превращенный в общую каюту с лавками, сел там в одиночестве и думал о разных разностях. Наверху играла гармошка, по железной палубе топотали, за стеной дышала машина, в иллюминаторы с левой стороны бил солнечный блеск от воды, блики плясали на потолке, пахло пароходом, водой, смолой и всеми поколениями мужиков, которые плавали на буксирных пароходах в трюмах, именуемых каютами. Снаружи, за бортом, плескала вода и шлепали и шлепали колесные плицы...

Думаю о дневнике, думаю, напишешь ли обо всем том, что почувствовал и подумал? Нет, конечно.

Мы вернулись, не выполнив задания. Но нас это не очень удручало. Что в самом деле путное можно написать при такой поездке, даже если бы мы увидели тех, кого нужно! Но нас еще ждал Д. Встретились с ним, поговорили немного о том, как провели эти дни, пошли в райком. В райкоме по предложению Д. нам должны были рассказать о принципах и структуре партийного руководства района. Но все это оказалось засекреченным, мы ушли восвояси. Пошли в кремль, познакомились с архитектором, проводящим реставрацию кремля. Договорились с ним о встрече на следующий день и пошли домой. Д. остался. Наверное, станут выпивать с архитектором.

6 июля. Утром погода была неважная, перепал дождь, мы ленились, лежали, смотрели на небо. Наконец, часам к пяти, кажется, собрались и отправились в кремль. Архитектор повел нас переходами по стене, остановился в угловой

*Дневник пребывания в г. Ростове-Ярославском
и окрестностях. Июль 1956 г.*

башне и стал доказывать, что писатель должен хорошо знать и чувствовать архитектуру. Пример: «Собор Парижской Богоматери» Гюго. Сказал, что хочет показать и объяснить нам секрет понимания архитектуры, т. е. почему то или иное архитектурное сооружение нам нравится...

Путевой беломорский дневник 1958 года

7 сентября 1958

Вчера и сегодня на море шторм. Ходил я вчера на море — по берегу мелко песок, мутные волны и низкое осеннее небо — больше ничего. Ветер Ю-З. Не знаю, сколько баллов, но сильный. Вечером усилился чрезвычайно, бил в стену комнаты, где я живу. Стекла звенели, и трясся пол, стол, лампа мигала. Вечером за чаем старик-хозяин Василий Дмитриевич Пахолов рассказывал мне о промыслах на Мурмане. Был он там в 1928 г. Пришвин описывал эти промыслы подробно в «Колобке» (1906), и вот за 23 года ничто не изменилось, все так же поморы выходили в море за 20 верст в шняке, иначе — ёла, норвежск.? и выкидывали ярус до 10 верст длиной на треску. Ярус — шнур с крючками. Выкидывали и ждали «воду», т. е. от прилива до прилива или наоборот, от отлива до отлива. Народу гибло много, т. к. погода на Мурмане неустойчива, часто штормит, шняк не открытый, без палубы, легко заливается, за раз вылавливали до 200 пудов трески... Иногда, как говорит Пахолов, после шторма на берег выносило до 40 рукавиц с одной руки — т. е. до 40 жертв, и утопленников считали, верно, по рукавицам?

Я должен уехать отсюда в конце сентября — начале октября, и вот, оказывается, отсюда не так просто выбраться: хорошо, если будет относительно спокойно и карбасы и доры смогут выйти в море к пароходу. В шторм пароход не останавливается, и карбасы в море не выходят. Говорят, что едущим в Н. Золотицу иногда приходилось делать по три конца, т. е. идти до Мезени, оттуда обратно, до Н. Золотицы; если же опять шторм, а так бывает, то ехать до Архангельска и

от Архангельска со след. рейсом опять в Золотицу — накачаешься, наболтаешься — тошнехонько.

Сегодня погода разошлась, солнце, но ветер не утих совсем, и море по-прежнему бушует. Сегодня с утра на тони должны были идти доры, но не пошли, и я опять в деревне, скучно.

Вчера шел по деревне к зав. рыбоприемным пунктом Александру Евдокимовичу, смотрю, крест на колоде возле избы. Я остановился посмотреть, вдруг сзади голос: «Наблюдают?» Оборачиваюсь — рыбак в сапогах-броднях, бродни — сапоги по пояс, пьяный. Рекомендуются бригадиром, фамилия Шумилов, зовет к себе на тоню, близко, всего километр от деревни. Говорит, поймали восемь семг. «Я тебе всю правду обскажу, о том можно написать, приходи, я тебе все обскажу».

Я подумал сейчас, что северный промысел, вообще жизнь поморов чрезвычайно мало изучены — писатели тут бывали редко. Больше всех, конечно, взял здесь Пришвин. Шергин и Писахов — сказочники, у них, м. б., много поэзии, но серьезной жизни в связи с экономикой и пр. нет; тут жила в Золотице М. Крюкова, тоже песни и былины. Да, наверное, и нельзя со всей глубиной взять — писатель если и придет, так наездом много ли узнает? — все больше внешнее, а жить тут не живут, как жили, например, у нас на Руси в центре Бунин, Толстой.

Приехал я ночью. Когда спустился в карбас, то не было волны, не швыряло, не валяло, а только так — как дышало глубоко — поднимало и опускало; борт черный высокий, вдоль борта натянута веревка, чтобы цепляться карбасам, спущен трап. Когда шторм, то, говорят, трап основной не спускают, а штормтрап, т. е. веревочную лестницу и потом еще канат, обвязывают пассажиров по поясу — так поднимают на борт и спускают с борта в карбас. По трапу в карбас и ждали долго. Наверху над бортом горели желтые во тьме лампы, светились иллюминаторы, и мы то вздымались вверх к свету, к иллюминаторам, то спадали вниз, во тьму, и тогда стена борта казалась очень высокой. Наконец отошли на катере. Разыгралось северное сияние, я такого еще не

видел. Что-то мистическое, страшное. От зенита во все стороны зеленоватые полосы, переходящие в брусничный, кровавый свет; все это подергивалось зеленью с желтизной и голубишной — очень сложная гамма. Луна была слева, окружена ореолом. Сквозь сияние видны были крупные звезды. В катере говорили: «К холоду!» И верно, в ту же ночь похолодало, на другой день — дождь с ветром. И так все дни, прорвется иногда солнце, но тепла уж нету. Но пока лес не покраснел еще, держится. Скоро, верно, начнет желтеть, опадать. Скорей бы на тоню!

8 сентября 58 г.

Вчера к вечеру, истомившись, решил пойти в лес: хозяин сказал, что недалеко есть озеро. Наладил спиннинг и отправился, хозяин перевез через реку, немного проводил показал рукой, говорит: «Видишь угорья? Так на право угорья не ходи, а иди на ляжку. Видишь ляжку? Иди берегом, по реке, а там болотом, а там лесом, да в гору, а подынешься, тут тебе назад деревня будет видна, а вперед да вниз — озеро. Место красиво, по бокам-то угорья, а в середине внизу озеро».

Пошел я, как он указывал, да наткнулся на ручей, хотел повыше перейти, пошел влево — болото, чавкал, чавкал — вернулся назад и решил половить в реке. Погода была холодна, с сильным западным ветром, рыба не клевала совершенно, назад идти не было смысла. Развел я костер, поел немного брусники и прилег рядом.

Место, если так глядеть, дикое совершенно, нет нашего обжитого пейзажа, нет полей, лугов. Сенокос поздний, стожки маленькие, с нашу хорошую копну, только не круглые. Косят всё бабы, мужики не косят, вообще мужиков на с/х работах нет совсем, все рыбачат.

В лесу начинает облетать лист: береза сыплет желтым, но еще зелено; рябина же краснеет, багровеет под цвет брусники. Вообще, у рябины очень теплые тона. Грибов нет почти совсем. Река поднялась, ветром забило, не выпускало воду в море, вода дошла до склада-амбара возле реки.

Вчера вечером, когда переехал обратно, пошел проулком и зашел в место очень характерное для севера теснотой

построек, видом своим — сизое от древности и много глухих стен. Надо сфотографировать. Вообще, я открыл, что и в деревне, как и в городе, есть свои уголки, так сказать, свои прелестные архитектурные ансамбли. Хозяин собирается ехать на тоню в пятницу, буду ждать его.

9 сентября 58 г.

Завтра едем или идем пешком на тоню.

Сегодня был у меня хозяин и снова говорил, что ему следует пенсия, а вот не дают. И снова я перебирал с ним возможности получения пенсии.

В то время как он говорил, в голосе его, в лице, в глазах виделась мне скрытая ненависть к тому строю, который, вот не дает ему пенсии; виделось страстное тоскливое желание этой пенсии, сознание, что он заслужил ее всей своей жизнью, всем своим 50-летним трудом; и еще, что он все-таки не имеет права, т. е. **законного** права ее получить, а только свое, личное, внутреннее право, неверие в то, что он получит ее, древняя мужицкая опять-таки недоверчивость и боязнь всяких судов, адвокатов и т. п. и даже недоверие ко мне, разочарование и пренебрежение ко мне за то, что я, по-видимому, не могу решительно ничем ему помочь.

День сегодня тихий, на море спокойно. Утром уехал на тоню напарник хозяина — придурковатый парень.

К рассказу: то он вдруг принимался внутренне напевать неизвестно откуда пришедший ему на ум романс старой графини из «Пиковой дамы», и эта мертвенная, страшная музыка, как он слышал ее где-то глубоко со всем оркестром и томительными паузами — начинала страшить его. То ему вдруг остро, до боли, как воздуха, хотелось вдруг услышать запах чая — и не в стакане, а запах сухого чая, как он любил нюхать из чайницы. И ему тотчас вспоминалась чайница, знакомая и родная с самого раннего детства, из матового стекла с трогательным пейзажиком вокруг, и как открывала и сыпала с тихим шелестом туда мать и как потом заваривала ложечкой.

И он тотчас вспоминал мать свою, ее к нему любовь, всю ее жизнь в нем и себя самого такого быстрого, подвижного,

с такими приступами беспричинной радости и живости, что даже не верилось, что он мог быть таким. И с ненавистью к себе он думал о том, как часто был груб с матерью, как не хотел слушать ее рассказы о детстве, о жизни своей, пока можно было слушать, как в молодой эгоистичности не мог понять и оценить того редкого чувства, той любви, которой постоянно нехватало ему в жизни потом.

И тут же вспоминал он жену свою и всю жизнь с ней — с тех первых дней, когда он с ней познакомился. И опять упрекал себя в том, что недостаточно любил ее, так часто был не чуток к ней, раздражителен или холодно-насмешлив, и что, если взглядеться, как другие живут, и вообще в человека с его недостатками, пороками, то она-то была одной из тех редких женщин. Он думал, что не хватало ему какой-то основной идеи, идеи коммунизма, что часто он был равнодушен и вял ко всему и вовсе не хотел жить, тогда как будь у него идея — все было бы по-другому. И он опять с ожесточением вспоминал свои споры с М. и думал, что он не может убедить его, разбить и направить на верный путь потому, что сам не одухотворен идеей.

11 сентября 58 г.

Вчера наконец выехали на тоню. Перед этим, вечером, был вскользь разговор о том, что хорошо бы взять на тоню водки, так сказать, отметить — вечером, сварив ухи, выпить на новом месте. Утром я забыл об этом, но хозяин не забыл, но молча терпел, думая, что я вспомню. Эта мысль о водке, видимо, мучила его, я укладывался, он тоже суетился, сказали, что мотор застучал, мы заторопились, вышли — в самом деле на реке стучал мотор и вроде даже двигался по звуку, а мотодора должна была взять нас. Мы выскочили на берег между домов, но это оказалась моторная лодка, не то совсем, что нам нужно было. Мы спокойно пошли уже к рыбоприемному пункту — туда пристают и оттуда отходят мотодоры и боты. И тут хозяин не выдержал, мысль о водке опять вернулась, он посунулся ко мне, когда уже положили вещи, и скороговоркой напомнил о водке. Я не понял его. Он повторил

уже с каким-то тайным озлоблением, с надеждой и в то же время боязнью, что я откажу. И вот интересна зависимость берущего от дающего. Я вынул деньги, и само собой у меня получилось, что я, молодой парень, сказал ему, старику, «сбегай!». И так же просто, само собой, и даже с радостью, он взял деньги и побежал, т. е. быстро пошел. И вышло, что я его **послал** за водкой и он пошел.

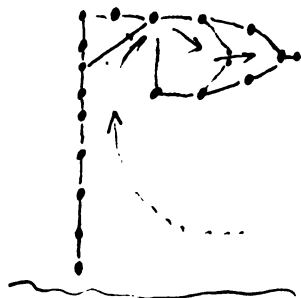
Дора вышла с опозданием против того, как должно. Интересно мне было смотреть не мотористов: их два на доре — один старый, второй молодой, мальчишка еще. Вообще, как я заметил, люди в деревне, да и в городе, связанные с техникой, от которой как-то зависит передвижение и т. п. всех прочих, — мотористы, трактористы, шоферы — все они с презрением относятся к этим «всем прочим». Так и здесь — терпение русское, да возвеличит его аллах, общеизвестно. Я ехал из Углича в Ростов по страшной дороге, и никто из едущих со мной не возмутился, не посетовал вслух на дорогу — терпели. Я ехал по Рыбинскому морю на **прогулочном катере** — вечер, ночь и утро — все мучились и не могли лечь, а только сидели, и опять никто не ругался — терпели.

Так и здесь, пассажиры уселись в доре, пассажиры были: работник маяка с женой и дочкой, мой хозяин, еще какой-то рыбак, колхозный счетовод и я. Моториста не было. Едем 10 минут, 15, 20, 30... «Где моторист?» — спрашиваю. Пожимают плечами с таким видом, будто моторист бог по крайней мере, и отчета никому давать не должен. Наконец, пришел моторист пожилой, за ним спустился мальчишка. Моторист сперва со скукой оглядел всех нас. Затем стал по борту доры и задумался, будто думал, ехать или нет. Потом закурил. Потом сел на какой-то ящик. Когда он пришел, никто не упрекнул его за опоздание, только все выжидательно при молкли. Затем опять занялись разговорами. Моторист сидел, курил и плевал за борт. Мальчишка стоял на пристани, пренебрежительно прислушиваясь к нашему разговору. Наконец моторист встал и завел мотор. Мотор завелся, и моторист опять сел курить. Минут 15 по крайней мере тарактели мы у пристани, наконец мальчишка отдал концы, прыгнул на дору, и мы поехали.

Через полтора часа мы были на тоне у маяка. Хозяин узнал, что снасть, которую он оставил на берегу и которую разорвало штормом, как ему сказали, снасть эта цела — это ему сказал напарник, тот, который уехал накануне, очень обрадовался, как-то по-мужицки, мелкой, эгоистичной радостью и все приговаривал: «Вот спасибо-то, вот спасибо-то...» Верно, благодарил Бога или море.

Избушка, в которой я теперь живу, очень мала, закопчена и грязна. С тремя окнами на три стороны. Спим мы на каком-то тряпье, укрываемся одеялом, которое так тяжело, так грязно, что, наверное, не меньше трех поколений рыбаков и зверобоев укрывалось им и оно впитывало в себя их дух и пот.

У них тут два тайника. Семга идет вверх, т. е. в сторону Архангельска. Она стоит в ямах, в водорослях, там и гуляет.



Но в водорослях живут клопы — особые паразиты, которые вцепляются в семгу и начинают ее мучить. Тогда она идет к берегу и тут, двигаясь вдоль берега, трется о песок, освобождаясь от паразитов. На пути ее и ставятся тайники следующим образом (рисунок). Иногда на помощь рыбакам приходит белуха, я видел этого зверя — он на минуту показывает из воды белую спину и опять ныряет. Он охотится за семгой, и она, спасаясь от него, скорее заходит в тайник.

Выстал, выстанет — встал, встанет, *пригонил* — пригнал.

13 сентября 58 г.

Я спутал числа: вчера было 12, а не 11. Не знаю, может ли долго жить здесь настоящий интеллигентный человек, а если будет жить, то не отупеет ли? И ссылка раньше, как я ее понимаю, состояла именно в выключении сознательного человека (*homo sapiens*) из общественной жизни. Тут живут

рыбаки, и все разговоры их вертятся вокруг того, запала вода или нет, побережник ветер или шалонник, «пригонила» белуха семгу или нет. Свободное от ловли рыбы время проводится в приготовлении ухи, плетении сетей, во сне с пердежом и храпом.

Кажется, самая здоровая и естественная жизнь? Кажется, этот вопль «интеллигентности» является просто слюнтяйством. Однако, если принять во внимание современность да и вообще все века борьбы за культуру, если вспомнить, что за 40 лет выпущено 1млн. 400 тыс. названий книг и посмотреть на рыбаков, у которых я живу и которые не читали ни одной книги, то становится грустно.

Придешь: взводень не опал; дожджа пошли.

14 сентября 58 г.

Вчера поднялась волна, взводень по-местному. На юго-западе была узкая нежно-зелено-голубая полоса над горизонтом. Хозяин предсказывал, что сегодня стихнет. «Я погоду знаю, — хвастал он, — мне только на небо глянуть...»

Но сегодня весь день шторм. Ходил по берегу. Опять на юго-западе светло. Ветер от Ю.-З. до З. дует с постоянной силой, с бешенством. Провода на столбах звенят, поют. Гудит море, но к гулу его привыкаешь и скоро перестаешь замечать. Настроение у рыбаков плохое, при разговоре ругаются матом. С утра я должен был пойти на охоту, да был дождь и ветер — не пошли. Рядом с нашей стоит еще избушка, в ней живут моряки, они ремонтировали здесь кое-что на маяке, теперь упаковались и ждут судна, оно должно было прийти вчера еще, но не пришло. Один из моряков занимается гимнастикой. Хозяин мой смотрит на это его занятие с насмешливой неприязнью. Под окном на земле, прижатый бревнами, лежит черный просмоленный перемет, и, когда замечаешь, как он шевелится от ветра (боковым зрением), кажется, это тень.

Ходил сегодня по берегу. Накат здоровый, мутно-беложелтый. На песке кучами лежит пена, она дрожит от ветра, похожа на желе, на воздушный крем, от нее ветром отрываются хлопья, очень быстро катятся по песку. Берег от наката стал горбом (песчаный берег), волна, разбившись вни-

зу, медленно всползает на греб и растекается большими лужами. В лужах отражается свет от просвета над горизонтом, они одни яркие на всем темном фоне, в море свет, но оно грязно-лохматое.

Очень скучно. Рыбаки плетут сети. Сегодня хозяин с усмешкой рассказывал мне, как гостила как-то на тоне у него женщина и сначала все «чистюлилась», мыла стаканы, блюда, просила полотенца почище. Странна эта усмешка, направленная на требование чистоты. А здесь очень грязно.

P. S. Ветер усилился необычайно. Шторм 12 баллов. Трудно выйти на улицу. Провода уже не стонут, не звенят, а визжат, все повышая тон, и неизвестно, где он оборвется, хватает за душу. Море в бинокль ужасно, даже на горизонте видны беспрестанно встающие горбы, и по-прежнему чист, но уже смутло-ал горизонт — неширокая полоса под синевато-коричневым в тучах небом. По этому смутлому, розовому поднимаются в страшной дали из-за горизонта лиловатые холодные пепельные облака, фантастически-грозных очертаний.

Топим печку, сегодня буду спать на верхних нарах, под потолком.

Как страшно сейчас в море, особенно на небольшом судне.

15 сентября 58 г.

Утром. Рано утром шел град. Вчера я долго не мог уснуть — все прислушивался к реву волн и вою ветра. Даже вышел один раз на минуту. Я не писал еще о маяке. Здесь маяк с проблесковым огнем. Вращающаяся установка с чередующимся зеленым и красным светом. Лучи этого света захватывают и часть берега, т. к. сектор маяка градусов 215–220. Говорят, да я и сам видел, что с моря свет маяка успокаивает, придает бодрости и т. п. Здесь же на берегу не то. Когда видишь мертвый зеленый свет, лучом бегущий по лесистым холмам, когда видишь на секунду вырастающие из тьмы мертвые неестественные деревья, и потом, когда луч, глянув и тебе в глаза, перескакивает на море и как мяч бежит по волнам, — делается неприятно, неудобно, жутко; и тут

же вслед за зеленым в глаза тебе заглядывает сияющее красное око, луч его еще призрачнее, еще невещественнее. И так всю ночь кругами ходят немые лучи и по очереди устремляются в море.

Есть здесь и радиомаяк. Он автоматический. Устройство его таково. В одной комнате домика стоят батареи аккумуляторов; в другой — два электромотора, соединенные с генераторами, и в третьей — аппаратура. Главное здесь часы, соединяющие, когда нужно, аккумуляторы с моторами. Подходит время, раздается внезапный щелчок, взывает мотор, еще щелчок, включается аппаратура, еще щелчок — включается передатчик и начинает посылать пеленг кораблям. Все это гудит минуты две, потом опять щелчок — и все замирает. Что-то вроде летучего голландца.

Маяк называется — Вепревский.

16 сентября. 6 ч. утра

Рыбаки тосковали, тосковали, не выдержали и ушли пешком за 20 верст в деревню, причины тут такие: во-первых, шторм все продолжается и о ловле не может быть речи; во-вторых, перед штормом было поймано четыре семги, которую не сдали, должны были на другое утро сдать, но начался шторм, и дора не пришла; так вот понесли домой семгу. Семгу сдавать теперь нет смысла: потеряла сортность; в-третьих, тут дни проходят в безделье, тогда как дома все что-нибудь да заработаешь; ну и, в-четвертых, дома жены, баня, самовар и водка — чего здесь, увы, нет.

Таким образом, я остался один в избушке, растопил сейчас печь, дрова трещат, греется чайник. О такой жизни я мечтал когда-то. Она и хороша, но не надолго.

Шторм все продолжается. Сегодня небо мутно и серо, не различаешь отдельных облаков, а так все монотонно, по-прежнему свирепый холодный ветер, лес даже на глаз стал желтеть, земля — краснеть. Тут растет какая-то трава лепесточками, названия никто не знает, я спрашивал, она делается осенью кроваво-красной или, вернее, багрово-красной. Очень красиво, когда пойдешь по лесу, по холмам: беловато-серый мох ягель, темно-зеленые, лакированные листики

брусники и черники, багровые пятна этой травки, светло-зеленые островки стелющегося можжевельника и на всем этом золотистые листья берез, и полыхающие пурпурно-бархатистые листья рябины.

Я попил чаю. Когда стал доставать колбасу и чай из рюкзака, вдруг запахло прекрасно чем-то родным, милым, будто детством. Я очень хорошо помню этот запах — запах дороги, вещей, среди которых долго лежали конфеты, чай; будто утренним кофе пахнет, бабкой моей, когда она приезжала, всегда с ней, от рук ее, из чемодана был такой милый запах — она привозила всегда мне конфет, печенья, а себе чаю, ужасно любила чай и пила большими чашками, у нее была старинная темная большая чашка — внизу по дну шире, вверху уже, пила чашек по пять утром и садилась гадать. И днем, ела мало, больше чай пила, глядела на меня, лезла в укладку к себе доставала мне конфету — никогда сразу не отдавала гостинцы, всегда понемногу.

И какое же наслаждение было мне знать, что у бабки есть что-то для меня. А у нее денег не было, купить она не могла, а то, что привозила мне, откладывала, если ей давали, угощали ее, и уж как любила

Хозяин сегодня сказал: «Погода отдавает» в смысле «шторм стихает», т. е. если погода будет «отдавать», он вернется на тону. «Тонщик» — рыбак, живущий на тоне.

В тот рейс, когда я приехал, на обратном пути пароход в Золотицу не заходил — был шторм. Позавчера в следующий рейс он снова прошел мимо. Мотодора, говорят, хотела выйти к нему, но дошли только до устья реки и вернулась. Теперь пароход выходит из Архангельска и ночью должен быть в Золотице. Обрато будет идти 20-го. Если я 20-го не попаду на него, придется жить здесь до следующего рейса. Если же и в следующий рейс шторм не даст возможности взять пароходу пассажиров на борт, тогда уж не знаю что.

Вчера был разговор насчет того, чтобы идти мне пешком до Архангельска — 190 км. Идти нужно берегом совершенно пустым временами на 20–30 км. В иных местах на расстоянии 5–10 км друг от друга будут попадаться тони. По дороге, не доходя до Зимнегорского маяка, будут горы, подходящие к самой воде. Берег — камни сажени в две шириной.

При спокойной воде и во время отлива перейти можно, но в шторм не пройдешь берегом, нужно лезть горами, а горы имеют несколько ущелий — *ручей*, как тут говорят. Значит, надо подниматься и спускаться. Горы протяженностью км 30. Такое расстояние, считая в среднем по 5 км в час, и так-то будешь 6 часов идти, а по горам... Говорят, страшно. Говорит хозяин, что обошел все Белое море, был на Летнем берегу и на Терском берегу Кольского п-ова, но такого страшного места не видал.

Мне и хочется пойти: эти 190 км пешком мне много бы дали. Мне и хочется пойти, и страшно. Не горы меня пугают и не расстояние, а то чувство великого одиночества, забытости, которое я уж раз испытал осенью 56 года. Боже мой, как тосковал я, когда шел пешком от тони Кашина до Яреньги, когда ехал верхом от Лопшеньги до Летнего Наволока, когда снова шел от Наволока до Кеги и потом 15 верст по острову Анзер (Соловки). Какая пустыня, какое одиночество и какая тоска. Неужели и сейчас снова придется испытать это? Если бы кто-нибудь пошел тоже, я бы с радостью отправился вместе. Неделя пути, разве это страшно? Нет, конечно, но неделя одному, когда знаешь, что никого, никого нет вокруг, когда одинокое тоже солнце садится в море, когда перед тобой только камни, только мох, кривые елки, кресты черные, это ах как нехорошо, будто весь мир вымер и ты остался один.

Или пойти и выпить всю тоску этого пути до дна?
Зачем я заехал сюда? *Вода запала* — отлив полный?

17 сентября 58 г., утро

Вчера в одиночестве я решил идти пешком до Архангельска, если даже будет хорошая погода, и отправил телеграммы маме и Т. — так что теперь уж и отступать некуда.

Вчера же с радистом Вепревского маяка отправились на охоту. Вышли мы поздно — после 12. Погода была пасмурная, с нами была еще собака. Мы шли, собака пропадала где-то впереди. Пейзаж тут прекрасен, хотя смотря с какого взгляда. Много кочковатых болот. На болотах клюква, но еще не созрела: у корешка, т. е. где ягода прикрепляется к ветке, уже клюквенного цвета, а с другой стороны — цвета пузика щенка — опалово-розовая.

Сейчас выпил стакан чаю, налил второй и пока пил, подумал: что если бы так вот роман писать или рассказы — по неск. страниц в день, как я записываю сюда все, что в голову взбредет, — можно было ежегодно выпускать по увесистой книге. Еще пока пил, прошла мотодора, поплеывавая дымком и паром — у нее выхлоп и выход горячей воды в одной трубе — пустая, не останавливается. Обычно мотодора бежит до тони Спасской и обратно идет возле берега. Если на тонях есть пойманная семга, рыбаки выходят на карбасе к доре и сдают семгу; если нет — дора идет мимо. А так, все эти дни был шторм, то вот она и идет все мимо, мимо, и тони безмолвствуют. Выпил еще стакан. Вообще хорошо пить чай в избушке, хорошо, когда есть чай, сахар, хлеб и сухая колбаса, которую режешь экономно, тонкими пластиками, которая остра и суха и которую долго-долго жуешь. А колбаса моя покрылась уж сухой солью по шкурке, а теперь я вообще буду ее экономить, т. к. впереди будут переходы по 35—40 км и надо что-нибудь пожевать в лесу.

Итак, вчера мы охотились. Вдруг чудом каким-то вернулся я на 10 лет назад — такие же места, много малины, смородины, черники и брусники. Положив ружья, забыв про охоту, мы часа полтора лазили по малиновым и смородиновым кустам и ели, и еще радист клал малину в шапку, чтобы снести жене и дочке маленькой. Я тогда же с некоторой горечью подумал, что вот у меня нет ни жены, ни дочки, и поэтому ел малину с некоторым ожесточением.

Проходили мы удивительными местами — гривами, полянами со скошенной и смётанной в стожки травой. Места были тетеревиные, но ни одной птицы не попало нам.

Потом допишу, пришли рыбаки.

Итак, мы шли на охоту, места были глухие, редко попадались покосы с крохотными стожками сена. Наконец вышли к озеру. Оно лежит в котловине между двумя холмами крутыми, «горами» по-здешнему. Озеро окружало болото, кочкарник, крохотные елки и березки; ива росла кустами. За весь день убили мы двух уток, порядком вымокли, ходить приходилось почти по колена в воде. К вечеру пошли домой уже по берегу моря. У нас была, кроме ружья, еще винтовка, наша русская трехлинейка системы Мосина, но изготовле-

на, видимо, в Америке или Англии, клеймо на стволе: «Ремингтон», «Армор». Прекрасный бой у этой винтовки. Были еще патроны с разрывными пулями. Два раза стреляли мы на озере по гагаре, и оба раза мимо. А когда шли по морю, увидали на волнах недалеко от берега нырка. Он качался на волнах, нырял под гребни, выныривал, встряхивался и снова качался; долго я целился в него, ударил, нырок исчез и через секунду опять появился, встряхнулся и закачался как ни в чем не бывало. Бездымный порох пахнет кислым и долго держится запах. Когда я пришел домой и стал стаскивать по очереди одежду, то и куртка, и рубашка, и джемпер пахли порохом. Ночевал я один. Сварил каши, вскипятил чаю, славно поел, попил, несколько раз выходил на улицу: было холодно, но море изумительно спокойно, гладко, только волны по очереди ш-ша, ш-ша — «копается», как выразился хозяин. Лег спать, заперся, обычно мы не запирались, все слышалось, кто-то ходил вокруг избушки. Море было не черным, а туманно-сизым — это горело северное сияние, но были облака, сияния не было видно, а свет его проникал и освещал море. На рейде далеко в море, м. б. против Золотицы, стояли пароходы — два — их огоньки четко были видны в бинокль.

Рано утром пришли рыбаки из деревни — радостные, с крошнями, свежие какие-то, мылись в бане, скорей поехали ставить тайники. А теперь опять будет крупная волна. Пришел днем мотобот — он должен забрать моряков, которые были здесь, и привез продукты на маяк. Продукты на берег перевозила мотодора. У нее испортился мотор. У берега ее ударило волной, захлестнуло, она пошла на дно. Хорошо, никто не утонул, воды было по грудь, но замочило все продукты, лук, макароны, картоф. муку.

Дора, оказывается, финского происхождения, корпус сделан по финскому образцу и слово финское — дора.

Все прекрасно, но для моей «Птицы Сирина» как-то мало материала. И вообще ничто еще не кольнуло меня в смысле сюжета. Точно так же неясен дальнейший путь моего старика в Норвегию, а он должен туда съездить. То, что рассказывал мне Пахолов, все отрывочно и неясно.

Сейчас пришел матрос. Хозяин сидел, вдевал шнур в перемет.

— Здравствуйте! — бодро сказал матрос или капитан, бог его знает, словом с мотобота, которой стоит у нас на рейде. — Здравствуйте! — усиленно бодро сказал он, — не дадите ли нам карбаса-то вещи на борт перевезти (это уезжают моряки).

А хозяин перед этим ругался матом и обещал посылать всех к е. м., если кто придет за карбасом. Теперь он молчал.

— Не дадите карбаса ли? — повторил моряк, уже гораздо тише.

— Да как бы... не разобьете ли?

— Нет, что вы? Свои-то не бьем ведь!

— Да взводень на море, опять волна разыгралась.

— Ничего! Как-нибудь, мы осторожно,..

Хозяин вышел с ним. Через минуту вышел, вернулся и стал ругаться.

— Ну их под такую мать, — смело сказал он, — не дал! Дождались погоды, ране надо было грузить. *Зарыть* тайник — поставить. *Вырыть* тайник — снять, выбрать.

18 сентября 58 г. Н. Золотица

Вчера ночью было душно на полатях, я долго не мог заснуть, поневоле стал думать о себе в настоящем смысле, и мне стало грустно, тяжело и безвыходно. Обычно я перед сном думаю о себе в некотором экстравагантном роде, буд-то, скажем, я бог знает какой гений, живу один, у меня была несчастная любовь, еще не прошедшая совсем, на берегу Б. моря, ловлю рыбу и пишу вещи вроде «Старика и моря» Хемингуэя, и пр. и пр.

Тут же впервые я серьезно задумался о своей жизни, т. е. жизни этого года и будущей в новом свете, т. к. думаю о себе я постоянно, конечно. Так что же я и для чего живу? Будто рок какой-то тяготеет надо мной, да и не то: рок — слишком пышно, слишком романтично. Тут другое, именно, что у меня нет цели. Вся моя поездка бесцельна и не нужна никому и прежде всего мне; то, что я вижу здесь, узнаю, я все уже знаю и видел, нового ничего; те препятствия и преодоления, которые я перед собой возвожу, как, например, идти пешком в Архангельск, мне не нужны, опять-таки пусты. Не знаю, соображу ли я сейчас и напишу ли, выскажу точно то,

что думал вчера, а это надо, т. к. потом еще надо к этому вернуться и пересмотреть.

Часто я вспоминаю тут Пришвина с его «Колобком», но главным укором мне служит то, что Пришвин, отправляясь в свой путь, восходя на Голгофу в дух. смысле, имел перед собой цель, идеал что ли, словом, сумму определенных философских и эстетических взглядов, которые ему надо было разрешить и, видимо, только здесь.

Он жил в эпоху другую совсем, в эпоху переходную, тревожную, когда одни шли в революцию, другие искали бога, Пана, слияния с нечто, символов, видели смысл жизни в мистических откровениях. Пришвин бежал от города, от общества, это болезнь его, это молитва его, и он здесь многое понял.

У меня лично этого нет. М. б., кое-кто и видит во мне кого-то, окружает меня каким-то ореолом, но я этого ничего не знаю и не чувствую, а знаю одно: «Мне скучно, бес!» Я еду сюда, зная заведомо, что это не нужно, что и мне-то не нужно это, я еду сюда даже не в народ, т. к. к этому народу, т. е. северному, я ничего не чувствую, кроме некоторого экзотического любопытства: поморы чужды мне, тогда как смоленские мужики не чужды, там свое, т. е. мое.

Зачем же я здесь? Я хотел писать «Птицу Сири́н», но теперь и этого не хочу, я хотел ехать в Москву, но и там все пусто — только мать, отец, только еще надежда слабая на Т., а если и она изменится ко мне, тогда уж совсем ничего.

Искренно говорю, что выходит у меня книжка в Москве или нет, не важно для меня, искренно говорю, что все литературное мне чуждо: надежды, споры, движения, симпатии и антипатии, соцреализм и проч. Мне надоело, и я не вижу смысла жизни своей в литературе, жить для того, чтобы раз в году испытать сладкое чувство творчества — это, увы, занятие архинеприятное. В самом деле, что дала мне поездка в Ленинград и по Мар[иинской] системе? Ничего, если не считать одного вечера на пароходе.

Я шел пешком до деревни — 17 км берегом, по песку около прибоя — очень тяжело. Один раз, когда я отдыхал, мне показалось краем глаза, что к берегу бегут не волны, а мчатся люди в карбасах и поют гимн (шум моря), бесконечные полчища людей в карбасах, поющие гимн.

В некоторых местах береговая полоса была так узка, что волной мне захлестывало сапоги и я бежал.

Печальный путь предстоит мне.

19 сентября 58 г.

Что застал здесь Пришвин – уже смерть, уже умирание, овеванное дымкой поэзии старых традиций, старых патриархальных отношений. Еще была жизнь в смысле творческом, т. к. каждый был предоставлен себе и должен был что-то делать и часто не совсем заурядное, чтобы жить богато и счастливо. Была еще предприимчивость, была поэзия выгодного, иногда опасного труда. Сейчас не то совсем, а все хуже. Не знаю, вряд ли я ошибусь, если скажу, что в творческом отношении теперешний северный народ, теперешние поморы – мертвы. Дело в том, что каждый в отдельности лишен перспектив обогащения чрезвычайного, а поэтому во всем проглядывает некоторая лень, летаргия. Мне попался акт, вернее черновой набросок акта, который тут составляли, пока я жил на тоне. Перепишу его дословно. «Акт. Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что в ночь с 14-го на 15-е сего месяца был оставлен дежурный т. Пахолов Я. Д. по причалу Нижняя Золотица для охраны карбасов груженые печурой принадлежащие колхозу «Сев. рыбаки», стоящие у причала. Во время ночного дежурства в 0 ч. 30 м. 15-го с/месяца разразился нордовый ветер до 11 баллов. Ввиду изложенного т. Пахоловым Я. Д. были приняты все меры для спасения груза колхоза «Сев. Рыбак», находящиеся в карбасах. Дежурство происходило суточное в течение 14, 15 и 16 сентября, в чем и составлен настоящий акт».

Этот акт говорит как раз об отношении теперешних поморов к труду. Уж во всяком случае, если бы шторм разразился 50 лет назад, этот Похолов принял бы действительно все меры для спасения своих или даже одного своего карбаса и не стал бы писать никаких актов. А этот акт одно только – шаг по рублю.

Я живу в деревне, говорю с рыбаками, и от многих слышал, что раньше было лучше, деревня была больше. И никто

не говорит о планах и соревнованиях, никто особенно не перенапрягается.

Жизнь поморская совсем теперь не та, что была когда-то.

20 сентября 58 г.

Вчера начал я было мысль об упадке жизни здесь, на Б. море, да не кончил, ну да не важно, важно ощущение, а ощущения кипучести нет, предприимчивости нет, азарта нет.

Сегодня серый день, я мажу сапоги и подбил каблук, собираясь в дорогу, и весь пропах дегтем, купил сегодня бутылку. Вычистил также и смазал ружье, которое не чистили, наверное, лет пять.

Был сегодня у старухи 80 лет, старой девы, святой души, которая вдоволь почитала священных книг, вдоволь их потолковала, которая толкует их и сейчас и предсказывает скорый конец света. Земля будет сожжена на десять локтей. Города разрушатся, и в них останется по 10 человек, а в деревнях по два — люди станут искать друг друга, чтобы соединиться, вместе начинать новую жизнь.

Старуха эта Пелагея Тимофеевна горько плакала о том, что разорили все, церкви поломали, что справных поморов пораскулачили — вот уж тридцать лет прошло со времени «раскулачки», как она выражается, а она все помнит и все тужит о той прежней живой жизни. Дом у них чудесный, в два этажа, с лесенками, со множеством комнат. Вообще, здесь любят комнаты, и редко кто строит избу просто, как у нас на Руси. В доме, где я живу, четыре комнаты и кухня.

Старуха не видит уже 17 лет — у нее бельма, зрачки сосались. С удивлением она говорит: «Во снах вижу всё, людей вижу, улицу, иконы, как в церкви служат, и море часто вижу, а встану — и прошай всё, а так во снах всё вижу».

Прялки у нее (я хотел купить) оказались неинтересными, иконы она не согласилась мне продать, я смотрел, кажется, есть одна очень древняя, а старуха потом встала и стала руками щупать — не украл ли я...

Когда я сидел у нее, на море бархатно, задушенно пророкотал гудок парохода — сегодня был пароход, ушел в Архангельск, и у меня сердце сжалось, так захотелось вдруг в наш, цивилизованный мир.

А погода все не устанавливается, доры все не выходят в море, и я не могу выбраться отсюда, и скучно, скучно...

М. б., завтра? Хорошо бы!

Зачем, зачем я здесь?

22 сентября, Зимогорский маяк

Вчера ничего не писал, не мог, ужасный, ужасный путь. Утром пошел на пристань с радостью: море утихло, и должна была по тоням идти дора. Но дора пошла «вниз», т. е. к северу, вдоль берега, а мне нужно было «вверх». Т. к. я собрался, расплатился с хозяйкой, распрощался, то так стало нехорошо, что решил идти пешком.

Я шел берегом, море было спокойно, позванивали, булькали волны, и казалось, кто-то говорил что-то несколько удивленно и протяжно или окликал меня,

На мне был джемпер, куртка, плащ, зимняя шапка, рюкзак килограммов в 20, ружье, удочки, в кармане черные позеленевшие патроны.

Через версты три я уж взмок, но, пользуясь отливом, быстро шел по самому краю воды, здесь особенно плотен песок и легко идти. На тоню к хозяину (16 км) я пришел через три часа — весь мокрый, немедленно разделся, развесил все сушить, снял сапоги, ноги я уже сбил до мозолей, лег, закурил и задремал незаметно.

Проснулся я через час, мне нужно было дойти как можно дальше, стал собираться. Зашли пограничники, они шли на Зимогорский маяк — и мы пошли вместе. Шли быстро, ноги мои горели, рюкзак, ружье и удочки казались неимоверно тяжелыми, но я терпел. Только когда пошел каменистый берег, я не выдержал и повалился отдохнуть. Пограничники ушли, я остался один, и началась для меня великая мука. Идти нужно было камнями 4 км. Камни попадались крупные и величиной с кулак. Ноги, подвертываясь, дрожали, я шел из последних сил, оступался, ругался, 4 км я шел два часа. Цель

моя была тоня Травнова. Я пришел туда, когда начало темнеть, сделав за первый день 27 км.

Избушка была закрыта. Я открыл ее. Я увидел внутренность избушки 17 века. Топилась она по-черному. Внутри было холодно, на нарах какое-то тряпье. Я разыскал воду, чайник, развел на улице костер, подвесил чайник, затопил в избе печь. Сразу стало дымно — дым плавал под потолком, внизу чистый воздух, а вверху — сизо-зеленый дым. Если выпрямиться, то дым доходил по грудь — приходилось все время ходить и сидеть скорчившись. На потолке и стенах сажа в два пальца хлопьями.

Я пил чай, в печи догорали угли — сквозь дым она была как пещера гномов. Я закрыл отдушину наверху, заложил палкой дверь и лег спать, укрывшись плащом.

23 сентября 58 г.

Итак, я заснул в избушке на парусе, под которым была еще телогрейка и мотки веревок. Заснул я в девять, в два часа ночи проснулся, закурил в полной тишине, во тьме — чуть светились окна, внизу по камням звенела волна чуть слышно. Я находился будто в глубокой, глубокой древности, в этой избушке с запахом рыбы и дыма, в этой холодной темноте, одетый, под плащом на жестких нарах.

Я проснулся снова уже утром в 7 часов, собрался и продолжил путь. Опять я шел по камням на разбитых ногах, страдая, и думал, зачем я принимаю эти муки?

Еловый ручей прорезает горы; в устье его на берегу моря навалены громадные камни. Я стал подниматься вверх по камням. Звенела, бормотала коричневая прозрачная вода.

На полпути я сел отдохнуть, внизу, в ущелье, было видно море, оно тоже будто поднималось — горизонт его был на одном уровне со мной. Это прекрасное дикое ущелье, красный лес по его склонам опять навели меня на мысль о доме здесь — выстроить дом и приезжать сюда на лето.

Дойдя вверх по ручью до телефонной линии, я свернул вправо на тропу и стал карабкаться вверх. Через полчаса я был наверху, подобрался к обрыву — огромное пространство моря открылось мне, внизу распадок — и справа и слева — горы.

Тропа шла болотами, сбегала вниз к ручьям и опять вела вверх. Я так устал, что через каждые километр-два садился отдыхать. Восьмикилометровый путь от тони Травнова до Зимнегорского маяка я прошел за пять часов.

Берег моря в некоторых местах был чрезвычайно узок, и пройти можно только в тихую погоду и во время отлива. А слева — стена песчаника. Внезапно над лесом я увидел темно-красную башню маяка, вышел к ней, оттуда мостками добрался до жилых строений и хорошо устроился у начальника маяка.

Вчера вечером заходил мичман с морского поста — сплошные рассказы про охоту на медведей.

Какое наслаждение выпить чаю крепкого из самовара, снять сапоги, расправить плечи! Дальше горами идти невозможно: четыре глубоченных ущелья, через которые надо перебираться. Значит, опять берегом и опять камнями — Господи! Еще 10 верст такого берега, а дальше песок. За два дня я прошел 35 верст, до ближайшей деревни еще 31 верста. Тут работают трое Голубиных: отец Петр, сын Альберт и дочь Диана — все из Золотицы.

Вечер 24 сентября, дер. Козлы

Боюсь, записи мои теперь станут кратки и маловыразительны. Когда идешь, шаг за шагом отдаваясь тяжело-му ритму, внимание все поглощено дорогой, камнями, которые попадают под ноги, тяжестью рюкзака, стертymi ступнями...

Сегодня опять тяжелая дорога, спокойное море, мелкий дождь и низкое холодное небо. Спустившись с огромного обрыва, на котором стоит маяк, снова ступаешь на каменистый берег, и снова слева скалы, справа море, сумрачное, холодное, но спокойное. У меня попутчик на этот раз — племянник нач. маяка — молоденький косолапый парнишка с худеньким остреньким лицом, идет он до деревни Куя и там 26-го сядет на пароход в Архангельск. Ближайшая наша цель — дер. Козлы.

На этот раз все идет легче: не так болят ноги, не так ноет тело и не так тяжело идти.

25 сентября

Главная особенность всех этих мест — отсутствие быстрой и удобной связи с центром. Можно жить в 100 км от Архангельска и чувствовать себя по крайней мере за 1000 верст от цивилизации и в прошлом веке. Сообщение морем крайне ненадежно и непостоянно: отсюда и некоторая патриархальность жителей побережья и видимость некоторого подвига в передвижении в ту или другую сторону.

Давеча на маяке я разговорился с рабочим о качестве своих сапог, привел в пример свое весеннее путешествие по Оке и вдруг понесся, ярко вспомнил дом Поленова, вечер 1 мая, когда мы, продрогшие, грязные, заросшие бородами, сидели вечером в столовой, топили камин, пили доппелькюммель, наслаждаясь светом большой старой лампы с фарфоровым колпаком, светом и теплом камина и как бы светом иной, старой, культурной жизни, чувствуя, что вот здесь бывали Левитан и Репин и бог знает кто еще, чувствуя даже спины их картины, этюды, висящие на стенах.

И вспомнив это, вспомнив окские дали, леса и луга по берегам Оки, я вдруг почувствовал такую отдаленность от всего этого, такую зависть ко всем прежним своим редким счастливым дням, так захотелось мне не видеть больше этой угрюмости и дикости, не слышать местного говора, не спать больше по древним избушкам с запахом дыма и рыбы, что просто ах!

А во сне мне приснилось вдруг далекое-далекое, кусочек самого раннего детства, когда мама работала в амбулатории завода им. Бадаева и я часто бегал и играл там один по вечерам. Амбулатория помещалась в мрачном здании готического стиля, там же, где были цеха разлива и внизу подвалы. Вечерами она была особенно сумрачна и страшна своими запасами, своим светом и тишиной. А пахло там сложно: сиропом, пивными дрожжами, лекарствами, асфальтом — залы этого здания были покрыты асфальтом, и он впитывал в себя многолетние лужи — пахло йодом, кислотами и еще чем-то вроде анатомического театра — жутко мне было бегать и лазить там одному, тогда мне было 5 лет.

Вчера я прошел 21 км, дошел до тони Терецкой. Там двое рыбаков, один молоденький, другой постарше — глухонемой. Я передохнул, помолчал, молчали и рыбаки. Изба, как везде, грязна, спят, как и везде на тонях, на каком-то тряпье. Один раз только молодой рыбак сказал скороговоркой, глядя в окно:

Чайки ходят по песку,
Нагоняют нам тоску...

Гляннул на меня, улыбнулся и замолк — принялся выделывать ножны для рыбацкого ножа.

Через полчаса должна была идти в сторону деревни дора. Глупо было не поехать на ней. Я стал ждать — час проходил за часом, доры не было, мы все молчали. Один раз рыбаки вышли из оцепенения, поехали посмотреть тайник, вернулись с одной кумжей (род форели), забрались каждый на свои полаты и опять — сонное молчание. Изредка глухонемой зажигал спички и жег на окне сонных осенних мух. Лицо его при этом немного оживлялось.

Наконец показалась дора. Мы сели в карбас, выгребли. Дора приостановилась, и вместо семги в нее ввалился я со своим рюкзаком, ружьем и удочками. На доре все были пьяны: капитан, моторист, рыбак с тони и пограничник.

Темнело, и вскоре настолько потемнело, что берег виден был узкой чернильной полосой. В полных сумерках подошли мы к деревне, поставили дору на якорь, подтянули карбас, погрузились, пошли к берегу, но был отлив, и метрах в 100 от берега мы сели на мель. Подошел еще карбас, часть народу пересела в него, толкались веслами, ухали, на берегу молча стояли темные фигуры баб, смотрели на наши усилия.

Здесь я впервые встретился со своей читательницей. Пожилая баба читала мой рассказ «Манька» и сказала: «Так это не у нас было, это был такой случай на Летнем берегу, в Летней Золотице, я знаю». Высшая похвала! Завтра с утра пойду в Кую.

Архангельск, 27 сентября

Прощальный, слабый свет солнца в окне, Двина за окном, мачты пароходов над крышами и гудки — то низкие,

то высокие... а в бинокль видны чайки над Двиной, противоположный берег в дымке, клубочки пара над буксирами, мелкая золотистая рябь на воде.

Опять я в той же гостинице, что и месяц назад, но уж другим полно сердце — на юг, на юг — лениться, загорать, думать...

Сегодня ходил за билетами, на почту и все спешил, волновался почему-то, разглядывая город, но уже не жадно, как тогда в 56 г., а мельком, рассеянно.

Денег у меня осталось 70 руб., но все-таки кое-что покупал, и не удержался, купил гравюры «Пушкинские места».

И конечно, Петербург, Царское село, и тотчас заныло, заболело сердце, снова вспомнил Л-д, прошлогоднюю жизнь там и сумасшествие свое, любовь свою, веру во что-то, сладкую муку. Что со мной, что со мной? И что было тогда — будто и не жил совсем, а горел все время, таял, изнемогал от счастья. И теперь опять эти дали невские, эти перспективы проспектов, решетки каналов, Летнего сада, силуэты мостов — разве не будет у меня этого больше, не заплачу я что ли, не стеснится сердце?

И что это, странно как, в наше, в теперешнее ужасное время, когда все кругом идет к войне и, как старухи говорят, к концу света, — теперь-то это безумие и над чем, о чем? Дождь *переидет* — перестанет.

Ваймуга, 30 сентября

Вчера из Обозерья пришел в Ваймугу.

Шел прекрасной дорогой. Лес весь горел. Рябины на фоне берез — как красные флаги, как знамена. Когда кругом сплошной желтый лес, не видно неба, но вдруг в березах откроется просвет, как окно, и на небе тоже в тучах окно, как раз сойдется окно на окно и глянет вдруг таким голубым, таким неожиданно весенним, что встрепенешься и, как при звуке рога, валторны вспомнишь все ранние весны и то счастье, что когда-то было. Дорога — то черная, то бурая, жидкая, в колеях густая глинистая вода, а в низинках и лужи, которые нужно обходить стороной. В лужах отра-

жается вся бледная осенняя светлость неба, все золото берез, и от этого они такие стеклянно-зовущие на темной дороге.

Лист падает неравномерно. С некоторых берез лист весь облетел, и черная дорога в таких местах перекрыта вся листом. Есть что-то особенно едко-остро-печальное в золотом листе на черной дороге. Среди золота вдруг белая корова и черный теленок с ней. От коровы свежо, ярко, далеко пахнет парным молоком, и скорее не от нее молоком, а от молока коровой, здоровым деревенским запахом.

Из дневников 1959–1966 годов

20–22 августа 1959 г.

В окно машины летит сенной дух, смешанный с пылью.

Под дождем старая, заросшая подорожником дорога загорелась красно-коричнево (цветы подорожника).

Сухой лен, ставший уже рыжим, с шоколадным отливом наверху, звенит под ветром, сухой звенящий шелест (или шелестящий звон).

Обратно (были в дер. Пустынь) шли вечером. На полях туман. Множество запахов, в осиновом и березовом лесу на дороге пахло то баней, то марганцовкой, а когда шли мимо льна – мокрым бельем.

Все время стоит <...> жаркая погода – хлеб, лен, клевер, горох – все горит. Во всем чувствуется неподвижная истома засухи. На дорогах пыль в два-три пальца. Но уже конец августа, и в солнце нет пыла и жара – только видимость силы. И есть во всей природе что-то лихорадочное, что-то болезненное и тайное, торопливое, как в бабьем лете, хоть и далеко еще до него.

А ночи холодные, туманные, росистые, луна всходит над лесом, и туманом полная, красная, будто крови напившись. Сумерки торопятся, уже в 8.30 наступают. Вот и еще одно лето отошло, отмерло и отпало с души навсегда.

Сейчас думал опять о Л[енингра]де 57 года, и опять ударило по сердцу. Господи, Господи, за что такая мука мне? Другие если и счастливы, так хорошо, а я на всю жизнь болен. А главное в том, что не могу стряхнуть с себя это, и хоть рассказ написать впору тому счастью, чтоб уж и крест поставить. А все, как моль, кружусь вокруг огня.

24 августа 59 г.

Сегодня несколько часов провел в дер. Новоселье. Бесконечно милая деревенька в 7 дворов, затерянная, заглушенная перелесками. Обратной дорогой хорошо думалось о ней, о том, что вот если бы жил кто-нибудь в этой деревне близкий, помнил бы, думал, а ты знал бы это и возвращался иногда сюда из гула городов.

Думал также и о большом рассказе. Надо, чтоб герой не был бы старым — лет 42–43, и не он болел бы всю жизнь, а жена, и из-за нее не мог он жить, как должен был. Жить — значит вспоминать, жизнь — воспоминание. У нас впереди пустота, мы будто спиной туда идем, оборотив лицо назад, и всё видим, вспоминая себя в прошлом.

Денек сегодня замглился во второй половине, посоловел, но теперь на закате опять солнце. Красное. Душно было весь день с утра, но и ветер налетал порывами, и ветер уже не летний, прохладный. Льяное поле, что давеча звенело, — вытеребили, стоит снопиками.

Не давать сердцу своему раскрываться, не позволять радоваться, говорить: «Не сметь! Не сметь!» — тогда хорошо, легче переносить страдания. А поверишь — и погиб, пропал.

9 мая 60 г. Голицыно

С востока почти черной стеной вставала грозовая туча, а с запада солнце лило свой последний свет, и все освещенное им (деревья, дома) казалось по сравнению с тучей особенно зловеще красным.

В апрельском, еще сквозном, лесу все было так напряжено, так переполнено, что пень от спиленной зимой березы был покрыт розовой шапкой пены, а рядом корень этого пня пустил по земле целый ручей сока, и к этому ручью со всех сторон слетались пчелы, шмели, первые бабочки и ползли муравьи.

6 июня 60 г. Голицыно

После грозы. Все пыльное, струящееся, и в то же время застывшее. Налетают короткие пыльные вихри. Небо об-

кладывается. Гроза с молниями и водяной пылью над крышами, над дорогами. А потом желто, робко выглядывает солнце предвечернее сквозь тучу, и все темно-зелено, все блестит, всюду каплет, и уже орут радостные по дворам петухи, и кошка вышла под небо, осторожно обходит лужи. Да, еще пустынно, все живое, попрятавшееся от грозы, еще не опомнилось, еще затаено, но петухи орут, и кошка вышла, и мокрая собака уж катается по мокрой траве — высшее наслаждение.

13 мая 61 г. Коктебель

До поездки на Север нужно написать: 1. Ночной разговор. 2. Вон бежит собака. 3. В ту далекую ночь. 4. Один час на Контемпоранул.

14 мая 61 г. Коктебель

Сегодня вечером под грозу за 3 часа написал «Вон бежит собака!».

24 апреля 62 г. Таруса

На тяге. Из оврага тянет снежным холодом — такой чистый родниковый воздух. По дну оврага бежит ручей, он залил кусты, и голые лозины дрожат, сгибаются и медленно выпрямляются в борьбе с течением. Где-то ниже ручей журчит на камнях, и такой звук, будто бьют сырое полено о полено, то будто кто-то вытащил с чмоканьем ногу из болота.

В полете вальдшнепа есть что-то неземное, как у пришельца из мира птеродактилей, кажется, у него перепончатые крылья, и летит он волнами, и хоркает ни на что не похоже, ни на какой земной звук. И вот уже горит Венера, чистой блестящей каплей сверкает между черных ветвей, между бархатно-черными стволами дубов. А на востоке уже висит белая яркая и маленькая луна.

Подбитый вальдшнеп шуршит листвой под кустом, упруго подскакивает на одном месте, подпираясь крыльями, глаз у него огромный, и вся грудь, клюв, изгиб шеи устремлены ввысь в тоске смертной. И еще что-то везде раздавалось, то

заунывно и постоянно: у-у! у-у! у-у..., то загадочно — в разных местах — тррр, тррр... А уж весь низ неба между голыми красными лозинами, торчком густо стоявшими в человеческий рост на вырубке, шоколадно просвечивал сквозь них.

Видел только что токующего воробья. Самочка неподвижно сидела наверху, а самец, слегка развалив крылья, опустив концы их вниз, сделав спину корытцем и торчком подняв хвост, прыгал по веткам вокруг нее и чирикал изо всех сил.

10 января 63 г.

С нового года наконец сел за повесть о военной Москве. Написал всего три страницы, и все кажется не то — очень много тяжелых рассуждений о войне и некоего раската, — того самого, который так удавался Толстому. Т. е. прежде чем подойти к сюжету и взять быка за рога, долго описываешь вообще — настроение того времени и т. д.

Это, пожалуй, первая вещь, которая сразу мне не дается, но которую писать все-таки надо. Почему — не знаю, но уже года три-четыре она сидит во мне...

21 января 63 г.

Еле кончил первую главу — 6 стр., очень плохо идет. Мороз 35° (вечером).

23 февраля 63 г.

Написать рассказ о мальчике 1,5 года. Я и он. Я в нем. Я думаю о том, как он думает. Он в моей комнате. 30 лет назад я был такой же. Те же вещи.

Джаз поет о смерти, все о смерти — какая тоска! Но жизнь. А он все о смерти.

10 марта 66 г. Ясиня

Весна тут. Шумит Черная Тисса, которая вовсе не черна, а зеленовата. Вдоль дорог деревни, деревни с черепичными, тесовыми, плиточными крышами. Волы бредут. Ло-

шади все парами, с красными кистями, а у возницы на кнуте у основания красная кисточка. Деревянные церкви с кладбищами, больше и меньше. По сторонам складчатые отлоги невысоких гор. В горах там и сям разбросаны хутора. Вечерами на черно-пепельном фоне гор, под высоким смутным, резко отбитым небом дрожат красные звездочки – жгут костры, и даже кажется тогда, что видишь дымки, ползущие по складкам.

Еще выше уже никто не живет, начинаются леса. Потом и леса пропадают, и, как сахарные головы, сияют снежные округлые вершины. Когда солнце спускается за горы – снежные поляны гламурно блестят.

Вахтенный журнал шлюпки «Вега»



**ВАХТЕННЫЙ ЖУРНАЛ МОТОРНО-ПАРУСНОЙ
ШЛЮПКИ «ВЕГА». ПОРТ ПРИПИСКИ — МОСКВА.
Начат: 30 июня 1968 г. Окончен...**

30 июня, 68

10. 30. Идем километров 10 ниже Калязина. Левый берег обрывистый, красно-глиняный, правый — низкий, лесистый.

Над левым берегом вдали тучи и лохмами дождь. Ветер слабый. Увидели слева лесистую зеленую бухту, а за ней — крыши деревни. Попробуем зайти на ночевку...

2 июля

Прошли на третьи сутки 296 км. За два часа мотор глох четыре раза. Решено в Угличе купить свечи... В карбюраторе обнаружено 300 гр. грязи!

«Мотору объявляется благодарность за то, что он — весь в говне — тащил нас 300 км».

3 июля

В 14 часов вышли из Углича. Встречный ветер до пяти баллов. Через два километра — возвышенный обрывистый берег и правый — низкий, с лугами, рожью и сосняком вдали.

Поискать бы грибов, да капитан старается уложиться в график. График превыше всего!

7 июля

Рыбинское водохранилище севернее Пошехонья. Записей не было все эти дни, потому что как-то все разладилось...

Мы, видимо, ошиблись, завернув (когда вышли в водохранилище) на юг в Переборы, — никаких караванов там и в помине не было, чтобы тащить нас в Череповец. Еле-еле взяли нас на буксир и затащили в Пошехонье.

Пришли туда почти ночью. В губу входили — солнце садилось, багровело, сплющивалось. Волна, если смотреть на закат, была мрачная и рваная какая-то, беспорядочная.

Удивительно, с детства как-то запало в душу смешное слово — пошехонцы, что-то вроде странников... А это всегонавсего река Шехона и места в низовьях реки — Пошехонье.

Городок маленький и, как все наши города такого рода — Ростов, Углич и пр., — купеческий, мещанский. Дома то каменные — старые, безо всякого стиля или поновее, в стиле русского барокко с фризами, виньетками и прочим, то деревянные — с резьбой по наличникам и карнизам, и пахнет выгребными уборными, пылью, травкой-муравкой, прорастающей между камнями, огородами, старым деревом. И тут же асфальт в центре, автобусная станция, почта, банк, кафе, торговый центр. Как напомнило мне все это Ростов! Только нет тут ростовского кремля. Все поломано — зимний собор и остальные церкви...

Когда читаешь и слышишь все время: Волга — великая, могучая, матушка и проч., то досадно становится, думаешь об этом, как о надоевших штампах, но когда идешь день за днем по реке, минуя шлюзы, города, деревни, леса, поля — и идешь не час, не два, а дни, недели, то вдруг со щемящей гордостью осознаешь себя сыном страны великой, и действительно знаешь уже сам, что Волга — и матушка, и могучая! А ведь мы прошли только 300 километров примерно, прошли, в сущности, только верхней Волгой, да и то не всей, а захватили ее только около Дубны... Но главное — сам, сам убеждаешься в ее полноводности.

В таком походе, как наш, есть одна беда — нужно идти все время вперед и вперед, путь длинный, больше 2000 км, времени — месяц, даже поменьше, и невольно спешишь — дальше, дальше, вперед, впереди счастье... А как все-таки печально расставаться с заливчиками, в которых ночевали, как думается потаенно: «Вот пожить бы здесь! Вот отыскать бы человека, поговорить, послушать, что тут было и как жилось».

Проходим мимо острова Бабинского. Какая все-таки мука эти старые моторы! И не только для тех, кто с ними возится, но и для всех остальных, потому что когда мотор задыхается, стреляет поминутно, сбрасывает обороты, то и ты с ним как бы вместе работаешь, помогаешь ему душой. И когда мотор останавливается, в наступившей тишине ощущаешь, что и сам измучен.

Ночевали на безымянном островке недалеко от Коприна, уже в водохранилище. Островок — за 10 минут обойдешь, песчаный, поросший мелким сосняком — был прелестен и чем-то (соснами? песчаными пляжами?), всем напомнил Прибалтику, вернее Балтийское побережье.

Ночью на островке было тепло, так нежно дул ветерок, что не было никакой возможности спать под телогрейкой. В костер на ночь положили корни, и дым, который слегка наносило на меня, пах ладаном.

11 июля

Второй день холода, северный ветер, волны — впереди у нас Кубенское озеро, довольно большое, и при таком ветре пройти его на нашей посудине мудрено.

Впрочем, поживем — увидим, а пока нужно описать, как сложился наш переход в Череповец. Мы выгребали на веслах, на Рыбинке был мертвый штиль, горизонт на западе и севере затронут был мглой. Как сонные мухи продвигались мы от буя к бую по схеме, вычерченной нам накануне в Пошехонье добрым капитаном буксира «Дельфин». За весь день (с 11 утра до 5 вечера) прошли километров пятнадцать, и неудобство наше заключалось еще в том, что на ночлег трудно нам было куда-нибудь пристать. По слухам, все бе-

рега Рыбинского моря представляют собой пни затопленного леса, торчащие из воды.

Но часов в пять потянул вдруг юго-восточный свежий ветер, мы подняли мачты, выставили все паруса и пошли довольно быстро...

Тут нужно несколько остановиться на наших парусах, или «вооружении», как любит выражаться командор Леша. Паруса, наверное, хороши, когда мачты все время поставлены, такелаж в порядке и спустить или поднять парус — действительно дело одной минуты. Но у нас...

У нас все это — стеньги, мачты, шкоты, фалы, паруса и прочее — лежит в лодке... Сколько раз оно выносилось на берег и снова укладывалось в лодку, сколько было недоделанного или сделанного на живую нитку, сколько раз, подняв мачты и укрепив их вантами и наладив было уже к подъему и сами паруса, мы тут же все это «рубили», так как мотор, с которым тем временем возились Слава, Витя и Коля, вдруг начинал подавать признаки жизни, — а мачты имеют большую парусность и мешают мотору тянуть нас при всех его дряхлых силах. На реке вообще, видимо, парусом пользоваться нельзя — негде развернуться, а при извилистом речном фарватере направление ветра все время будет меняться.

Зато как прекрасны все-таки паруса — в них есть что-то от птицы, от полета, парения, и при свежем устойчивом ветре идти под парусами одно наслаждение.

Ночь с 13 на 14 июля

Деревня Усть-Вологодская. Надо записать все, как шли мы через Кубенское, как вышли в него и сразу пошла волна, а мы были на корме теплохода, и жар из машины, тепло из камбуза нам в спины, и ветер с носа, и в пятидесяти метрах от нас — зарывающаяся в воду «Вега», и тонкий, такой ненадежный, на взгляд, трос, и как мы подтягиваем «Вегу» под самую корму и заводим еще конец, а потом для верности еще и стальной трос.

И какие мрачные по ночам волны, как враждебно это пространство, и — церковка белая на далеком темном берегу, на которую хочется перекреститься. Все это описано

1000 раз, но, как сказал Щипачев, счастлив, если к этой книге прибавлю хоть одну строчку — мысль, что товарищи твои, вахтенные, там, в лодке, под холодным ветром, в качке, в брызгах, под брезентом, тяжелым, как доска...

Мутно брезжащее небо, темное, хотя знаешь, что выше туч нежно и уже на этой широте слабо-слабо, чуть-чуть небо налито светом, и подступают воспоминания о зеркальной дали озера, о чудовищных грозах...

Шум винта, стук, лязг где-то глубоко внутри... медленно придвигаются буи красные и черные — страшные в полумгле.

Только вспомнить, как бы пережить заново восторг от беззвучного полета над волнами, шипение разваливаемой не носом даже, а всем пузатым днищем воды в Рыбинском водохранилище, и огонек на палочке, как свечка на носу, и свечение стакселя, когда огонек этот за ним.

Как мы стукнулись о мель на малой уже скорости, как полетели бы ребрышки нашей «Веги», если б шли мы под всеми парусами...

Это как месть оскорбленной, попанной святыни (церковь!), ее страшные во тьме арочные проемы на месте бывших паперти и алтаря, кроваво мерцающий знак, шум на отмели, волны, летящие почти горизонтально брызги от разбивающихся о борт лодки волн, лица, белыми пятнами глядящие как бы на меня из-за борта из кипящей тьмы, баханье ракетницы, звучное, несмотря на свист и шум, лопанье наверху, и багровый свет, озаряющий нас свет ракеты, и наши крики, уханье, вопли, а потом бьющий меня по лицу мокрый стаксель и врезающийся в ладони фал.

Тьма! Крик чаек...

Было это? Надо вспомнить, что еще было...

14 июля

Старик 79 лет — бабка топит ему баню, купила пуэрториканский ром. Старик вождедеет, но терпит.

— Опосля бани, — говорит, — выпью.

— С чаем? — спрашиваю.

Старик поколебался, потом твердо:

— Так. Я ее так, оно горячее пойдет.

15 июля

Отошли от Тотьмы, так толком и не осмотрев ее. Редкие облака, но не белые, не высокие, а — свинцовые.

Тотьма — красивый город, прекрасно смотрится с реки, много колоколен... без крестов, но издали это уродство незаметно, и потому вчера в предвечернем свете все эти колоколенки горели, как свечечки, над серой массой деревянных домов.

По Сухоне, почти во всех деревнях, народ прихорашивает дома, обивают тесом, красят — веселый нарядный вид у этих домиков. И весело думать, что люди живут здесь неплохо и собираются еще жить (а не уйти), раз подновляют дома.

Но старая архитектура исчезает, а вся прелесть северной деревянной архитектуры в том, что и церкви, и дома были рублены из мощных сосен, с окошками высоко-высоко, с резьбой по карнизам и наличникам.

Берега (особенно правый) все выше, появилась сосна, песчаные обрывы, по откосам пасутся овцы, иногда на отмени, на оранжево-светящемся песке, черно-белые неподвижные коровы. Горизонт на северо-востоке мрачен. На бонах мальчишки ловят рыбу. Течение так скоро, что рвет воду, выворачивает блинами, завитушками, мгновенно гаснущими водоворотами. Наклоненные вешки вдоль фарватера вздрагивают, вспарывая воду.

На обоих берегах попадает много леса распиленного, готового к сплаву, километрами иногда тянутся мимо боны, забитые мокрыми пахучими (еловая кора!) бревнами.

Леса тут густые, так и видишь в них рябчиков, тетеревов, глухарей...

На Волге так часто деревни стоят к реке задрами, окнами на улицу, удивительно это и как-то противоречит народной сметке и эстетическому чувству. Зато здесь все деревни стоят обязательно возле самого обрыва и окнами на реку. Сенокос...

20 июля. Деревня Зимняк

Вышли дальше к Устюгу. Правый берег уже очень высок и обрывист, видны прослойки разных пород. Серо-желтые

прерываются зелеными ущельями, идущими перпендикулярно реке. Левый — тоже высок, но мягок, кустист.

Дождь мочил нас два дня. Теперь дождя нет, но небо мрачно, и сильный холодный встречный ветер. Боже мой, и это вершина лета, июль. Как возле Новой Земли!

У меня мозоли на жопе от сидения на банках.

В 17 часов отошли от Нюксеницы.

Нюксеница прелестна в своей — как бы получше сказать? — неопрятной неожиданности, домишки разбросаны на горках, между оврагами — выше, ниже, впрочем, домишки — не то слово, дома! Из таких добротных бревен выстроено все, даже бани, причем все овеяно старостью, сизым румянцем, коричневатостью стен, черными, без окон, протяженностями, дровами в поленищах.

Слева и справа берега все выше и все гуще поросли лесом — сосной, елью, осиной...

21 июля

Забыл записать, что ночевали в Бобровском. Село грязное, грязь смешана с мазутом, валяются всюду покрышки, какие-то ржавые детали, проволока — техника!

Церковь, как и везде, ободрана, в алтаре стоит движок электростанции.

Погодой, по-моему, довольны одни гуси, да я видел еще поросенка, с наслаждением лежавшего под забором...

Может быть, я неправильно смотрю на жизнь, на окружающие человека предметы — дома, проулки, заборы и пр. — т. е. на все то, что создано человеком и является таким образом как бы отражением его, — и даже, наверное, неправильно я на это гляжу, но вот не милы моему сердцу села вроде Бобровского с грязью, теснотой, а местным людям, наоборот, хорошо — есть свет, есть клуб и кино, два магазина. По мне куда милей и трепетней видеть глухую деревушку в 5–6 домов, привольно раскинувшуюся по холмам, с пряслами, поскотинами (такие прихотливые геометрические переплетения этих поскотин!), где народ живет полунатуральным

хозяйством, где рады еще приезшему человеку, где в баньке можно помыться, где печь и хлев и запахи всякие исконные русские, такие, что когда вдохнешь, то кажется, так пахло на Руси еще при Иване Калите.

Они как бы печальны, эти деревеньки, видишь в них былой шум, бывшее обилие людей, видишь эти сизые от старости дома такими, какими они были, когда их еще строили; жизнь из них почти ушла, но теплится и мощно пробивается, иногда давая миру писателей, актрис, ученых, которые сейчас бегают босые, вихрастые мальчишки и девчонки. Деревенское детство! Стожки сена, ячмень, клев рыбы на перекатах, горячие картошки...

Один старик — о «Веге»:

— Вега... Гм... Вега... Плохая названия, непонятно.

— Отец, прекрасное название. Понимаешь, Вега — это такая яркая звезда в созвездии Орион, самая яркая, вот мы и решили идти под Вегой, как будто идем к этой звезде.

Страшный дождь, и ветер, и холод, дошли до деревни Копылово и не вытерпели, пристали, ворвались к какой-то старушке и теперь отогреваемся. Старуха напугалась, девять человек все-таки.

Был разговор о зарплате. Никто не доволен своей зарплатой.

22.30. Пишу без лампы. Дождь шумит по брезенту... Всегда меня убивали эти белые ночи. Чернильные облака в разрывах, как бы это сказать, в зебровых полосах, параллельные горизонту, и верхняя полоса бесцветно-голубая, а потом следуют полосы синие, зеленые, склоняются к оранжевому и у самого горизонта — клюквенные.

Река, как небо, в пятнах — черное, вернее пепельное, оранжевое и на оранжевом — черный силуэт лодки с человеком на корме.

22.40. Обошли танкер «Дон», на котором мы отогревались после штормовой ночи.

Нарочно не зажигаю огня, пишу на коленях, белая ночь!

[Последняя запись на обратном пути]

Дураки, дураки! Все уехали в Москву, идиоты! Не понимают, что жизнь, как воздух, думают, в Москве прекрасно, ах, какие дураки! Как поглядишь, сколько жизней не сбывается из-за глупостей... Ну денег нет, ну отпуск кончится... и когда смотришь в бессмертное небо, думаешь: отпуск? деньги?

К черту! С чем мы будем умирать!

Чайки... Бросил хлеб. Не дают коснуться воды, схватывают на лету.

Летят за нами всю ночь.

Где живут?

Фенологический дневник.

Абрамцево, 1972

6 марта

Алёшка внезапно заснул, а мне захотелось вспомнить, как я проводил Т. и А. 1 марта в Москву, а сам, таща за собой такие полегчавшие санки, пошел домой. Как щемящи все-таки проводы, даже на подмосковной платформе, даже на 2—3 дня, если ты дорожишь теми, кого провожаешь.

Шипение, стук дверей, прощальное, уже смутное сквозь нечистое стекло, уже отрешенное от тебя лицо, подвывание моторов, мелькание вагонов — чем дальше, тем все более скорое, и вот уже вспыхнул красный огонь на светофоре, вот уже ты один на платформе — пора идти домой. Но я не сразу пошел домой, а решил по дороге свернуть на какую-нибудь улицу, поглядеть на пустые дачи, на заброшенность, на сады.

Попал я на ул. Горького и пока шел, пока глядел на все эти поэтически заколоченные дачи, — так горько было мне от воспоминаний, от мыслей о своем житье десятилетней давности. Господи, чего бы я не отдал, чтобы перезимовать на какой-нибудь даче, сколько бы я наработал тогда!

Сыпал мелкий снежок, будто март поменялся с февралем, было тепло, пасмурно. Я тихо брел по улице, разглядывая дома, яблони. В одном саду большая яблоня вся была в замороженных темных яблоках — что это? Умер кто-то, и не до урожая стало, или уехали все раньше времени, или какая-нибудь немощная старуха жила и не смогла снять яблоки, а соседей попросить не захотела?

Шел я, шел и вышел на кладбище. Давно я знал про это кладбище, но попал на него впервые. Могилки в лесу. Тиши-

на, усугубляемая сеющим снежком, две-три свежие могилы, ограды, ограды... Отчего-то мода пошла последние лет двадцать на ограды — вглубь, бывает, не только гроб не пронести, пройти и то трудно. И так не хватает церковки! Зато лес кругом, и на кладбище лес, а это теперь так редко, всё мы хороним дорогих своих покойничков на пустырях каких-то.

На солнце капель, в тени -3° . Ходил сегодня с А. на лыжах, т. е. он ходил, а я его поддерживал за руку. Так он уморился, что, пообедав, пошел в свою комнату, полез на кровать и не залез — заснул — одна нога на полу, другая на кровати.

Вчера ночью мороз был 30° . Луна встает поздно и на ущербе. И дивно сияет по вечерам Венера. Так и знаешь — как объявилась Венера на закате, так, значит, весна.

1 час ночи на 7 марта. Мороз 20° . Звезды.

10 марта

Вчера увидел, как пьют синицы. Садятся боком и несколько вниз головой на кончик сосульки (и не соскальзывают!) и подхватывают срывающиеся с сосульки капли. По-прежнему солнце, и по-прежнему ночью 23–25, днем 3–4°.

У забора и под елкой у окна показалась земля. Странно на всем буром и неживом видеть блеклую зелень листочков земляники.

Сойка к кормушке подкрадывается воровски. Садится в отдалении, затем перелетает за одну елку, через минуту за другую поближе, и так еще раза два, и наконец, убедаясь, что опасности нет, распутивая всякую мелкую тварь, бросается на кормушку. Жадность неимоверная.

11 марта

Ночью было 27° , сегодня в полдень 14° . Морозы устойчивы, как в крепкую зимнюю пору. И все-таки во всем весна — в обилии света, в синеве неба, в винном цвете ветвей дерева.

15 марта

Сегодня первый настоящий, прямо апрельский, весенний день. В ночь с 12.03. на 13 поднялся вдруг ветер, да такой сильный, что у нас на трубе свалило флюгарку, и я удивляюсь, как не упало ни одно дерево (они тут довольно слабо стоят и часто валятся). На следующее утро термометр полез вверх, днем было 4°, ночью на 14.03. — +2°. В доме стало сразу жарко, захотелось открыть все форточки, я в своей комнате отключил одну батарею, и все равно было жарко. Котел впервые за 2½ месяца переведен был на тихий режим и теперь еле топится, отдыхает.

Вчера было солнце, и все таяло, но ветер по-прежнему гнул и встряхивал ели и березы. Какой-то яркий пронзительный тепло-холодный день.

Зато сегодня тихо, днем было +6°, южная часть крыши вся освободилась от снега и подсохла. Снег в лесу и на полянах сразу оскудел, посерел. Еще два дня назад, засыпанный сбитой ветром еловой рыжей хвоей, он потерял всю свою весеннюю яркую прелесть, а теперь уже его и жалко как-то — вместе с ним уходит еще одна наша зима — не самая лучшая в жизни, но и не худшая.

Удивительное состояние было у меня в 1962 г. Как много я работал, но как много же и ходил по окрестностям Тарусы — ни одного дня не пропустил, а теперь кажется, что и ни одного часа! И какое особенное чувство первой в моей жизни настоящей весны было тогда у меня! Запахи подтаявшего на дорогах навоза, вытаявшей земли, набухающие леса, розовеющие сверху ветви берез...

И вот сегодня утром, когда я вышел подсыпать птицам семечек, тишина, весенний воздух, небо, деревья, все ввергло меня в пучину времени, и на минуту опять я вернулся в весну 62-го. Но только лишь на минуту.

Страшно хочется куда-то поехать, чтобы не пропустить чего-нибудь, что, может быть, запомнится на годы.

Несколько дней назад посадили зеленую брокколи (неизвестный у нас сорт капусты), вчера проклюнулись пять росточков, сегодня уже одиннадцать.

Вчера с Алешей собирали на солнце чашечки от желудей. «Это с дубка!» — не уставал повторять он.

22 марта

Все эти дни — солнце. Снег горит! Днем +5–6°. На косогорах, обращенных к югу, снега нет. Пора бы прилететь грачам. М. б., уже и прилетели, да я не видел? Собираюсь через неделю в Арх-ск.

21 апреля

Вечер. Молодая луна.

Уезжал в Архангельск, и вся весна здесь прошла без меня, т. е. таяние снега, ручьи, разлив Яснушки и т. д.

Но весна все-таки не кончилась. Она сейчас в каком-то срединном состоянии — ни то ни се. Снег сошел, весь хлам выпер наружу, грязная жухлая трава, запустение и серость на земле. Именно серость, грязность, все то, что выпадало пылью, сажей и прочим всю зиму, — все это теперь, когда снег ушел, осело мельчайшими порошинками, на былье, на сохлых листьях, на самой почве. Должна появиться зелень, чтобы скрыть все это, дожди — чтобы смыть.

Зато когда переведешь взгляд вверх... Почки совсем лопаются, небо даже как-то давит глаза своей умытостью, чистотой, елки страшно зелены и пушисты, каждая иголочка сама по себе. Птицы прилетели все.

Два дня назад было совсем по-летнему — +19°.

Зато вчера и сегодня еле к 2 часам дотягивало до +7–8°, а вчера ночью было –6°. Сегодня опять заморозок.

Два дня видел в изобилии первые живые цветочки, не знаю, как по имени, как крошечные подсолнушки. А сегодня у забора увидел лиловато-розовенькую медуницу. На огороде проклюнулись (видимо, уже дня три) ревень и многолетний салат. Вчера посадил в ящик огурцы. Теперь надо копать, рыхлить, удобрять...

19.04. посажены огурцы.

21.04. посажена свекла.

Из записной книжки 1981 года

20 марта

Сюжеты. Юнкер Шмит.

Журналист Ш. возвращается из полярной командировки, был у буровиков. На станцию везут на тракторе. Ночь, жгут костер из шпал. Поезд заиндевелый, пахнет антрацитом. Стучит «тете Клав». Проводница пьяная, помещает в купе к женщине. Ш. неловко. Мохнатые ресницы, потрескавшиеся губы, курит. Волосы черные, с каштановым отливом, прямые, отчего лицо узкое, запястье тонкое, с браслетом, обручального кольца нет, стеганый халатик, запах духов. Ш. быстро засыпает. Просыпается от ослепительного матового зимнего света за окном, чистейшие снега. Жидкий чай, пахнувший хлоркой. Женщина одета, в юбке, Ш. лежа смотрит на нее, перехватывает ее взгляд... Задремывает, просыпается, опять свет. Идут обедать. Пьяный ресторан, бормотуха в трехлитровых баллонах. Идут назад.

На Яр. вокзале Ш. просит телефон – визитная карточка ст. н. с. к. техн. н. Написав очерк, едет в отпуск под Сухуми... Тоска по спутнице, звонит ей, зовет, наконец, вымаливает приезд. Ночь, ждет на шоссе. Показывается такси. Он следит за фарами, такси срывается в пропасть, загорается. Ш. кажется, что он сам горит, сбегает к морю, раздевается, кидается в прибой. Вода холодна, луна вышла из-за туч, снег на горах бело-голубой, от одного взгляда знобит, но Ш. горит, тело, душа как в огне...

Записать:

1. Ангел небесный
2. Жизнь и смерть С. П., о кларнетисте
3. О Чифе.
4. Яснушка.
5. Об Абрамцеве.
6. То Гамбринус, то Праздрой.

*Избранные
письма*



К. Г. Паустовскому

9 октября 1957

Дорогой Константин Георгиевич!

Я пишу Вам просто на Тарусу и не знаю, дойдет ли до Вас это письмо.

Пишу же я Вам потому, что хочу сказать, что я очень Вас люблю. Все лето я хотел приехать к Вам или написать, но постеснялся. Сейчас я получил I том Вашего собрания, читаю «Романтиков» (я их раньше не читал), и вот хочу, чтобы Вы знали, что в Москве сидит на Арбате человек, читает Вашу книгу, поминутно растрогивается и любит Вас.

Я не хочу ничего говорить о Ваших книгах, хоть мог бы, наверно, многое сказать. Одного я хочу – встречи с Вами, хочу послушать Вас и, каюсь, задать Вам несколько вопросов, касающихся литературы. Вопросы эти мучат меня и ослабляют, а ответить на них может только честный человек. Я горжусь Вашей честностью, Ваш гуманизм дорог мне и, естественно, только у Вас хочется мне спросить совета.

Этим летом я испытал большое потрясение – первый раз был в Ленинграде. Я застал еще последки белых ночей, сходил с ума, хотел что-то писать об этом насильственном городе, но, приехав домой, перечел «Медного всадника», поревел немного и писать ничего не стал.

До свидания, Константин Георгиевич, дай Вам Бог здоровья!

9. X. 1957 Очень Вас люблю!

Ю.

P. S. Я рад, что написал Вам об этом. Так сказать бы побоялся, а сказать мне было необходимо. Может, это сентиментально выглядит? Ну и пускай – Вы же довели меня до этого!

<1957>

Многоуважаемый, дорогой, милый Константин Георгиевич!

Я послал Вам уже одно письмо, адресовав его так: «Таруса, К. Г. Паустовскому», т. е. на деревню дедушке. Я решил быть до конца бессовестным и, узнав теперь, что Вы в Ялте, пишу Вам снова.

Говорят, Ваше собрание соч. разошлось чудовищным тиражом! Ура! Радуюсь и благоговею. Радуюсь я вдвойне: во-первых, за Вас, во-вторых, тому, как посрамлены будут Ваши враги.

Вы великий писатель, классик, и мне страшно Вам писать.

Хочется сказать Вам много разных великолепных слов, но я стесняюсь и боюсь впасть в лиризм, который является настроением несовременным.

Я не видел еще второго тома, говорят, что там опубликована «Золотая роза» (первая часть). Между тем Вы пишете вторую часть. Разве нельзя было подождать и напечатать в одном из последних томов *всю работу*?

Летом с детским поэтом Ю. Коринцом я ездил на Север — реки Сухона, Сев. Двина, Онега, Белое море, Кольский п-ов. Сперва я жалел, что Вас нет с нами (помните, я соблазнял Вас?), потом же стал радоваться. В наш век надо ездить так, как А. Сурков или Долматовский, заранее известив официально все руководящие инстанции, чтобы они с машиной встречали высокого гостя. Ездить так, как мы, т. е. диким способом, значит сто раз быть заподозренному в шпионаже, сто раз приволакиваться в милицию или КГБ и сто раз быть допрашиваемому с пристрастием.

Все это происходит потому, что все областные и районные газеты нафаршированы Шпановым, Брянцевым и т. д. В каждом проезде видят шпиона, применяют против него хитрые действия, указанные в означенных повестях, и в удобный момент судорожным голосом кричат: руки вверх!

Потом на Севере страшно много пьяных и нет от них никакого спасения. Пьют все и везде: на поездах, на пароходах, в городах и деревнях. И лучший способ ограждения от пьяных — самому быть пьяным.

После Дубулт я написал три рассказа. Два из них опубликованы, третий захряс: не то настроение! Приняты у меня в разных издательствах три книги. Так как это противоестественно для начинающего автора, т. е. такая удача — явление ненормальное, то я со дня на день жду пропасти и даже написал длинное стихотворение о грядущем возмездии белым стихом (на рифму пороку не хватило).

В Архангельске вышла у меня книжка, которую я со страхом посылаю Вам. Книжка оч. хорошая для обл. издательства (я говорю о внешности). Содержание же ее неважно, и Вы ее не читайте. Я бы не послал Вам ее, но это первая моя книжка, и мне, признаться, ужасно приятно всем ее дарить. Извините!

На Севере пьяные начинают с вами разговор так:

— Я человек русский, конечно... Извините!

Сейчас во мне сидит целый пуд сюжетов, но приняться за них как-то не могу, разучился писать за лето. Начну, выходит такая унылость, что хоть вешайся. Я уж пугаться начал. Вообще я стал мистиком и фаталистом.

В институте у нас сейчас тоска. Озерова сняли за «либерализм», все присмирели, в том числе и Ваша Галка... Впрочем, Вы, наверно, все знаете от нее о наших институтских делах. Я рад, что кончаю институт, надоело.

В «Комс. правде» раздолбали наш «Журнал молодых», многим досталось, и от моего «Дыма» только дым пошел. Редакторша моя (из «Сов. писателя») напугана до смерти и хочет выкинуть «Дым» из книжки. Я вяло сопротивляюсь.

Очень хотелось бы повидать Вас и поговорить. Как Вы себя чувствуете? Как Вы работаете? В Ялте, наверно, хорошо сейчас, а в Москве холод собачий и свирепствует вирусный грипп.

Константин Георгиевич! Пришлите мне, пожалуйста, Вашу карточку! Ведь я Вас пятнадцать лет люблю, примите во внимание срок, т. е. постоянство мое и снизойдите! Я был в Ленинграде, видел Ричи, она показывала Ваше письмо к ней, хвасталась книжкой своей и смотрела на меня с презрением. Пленку, на которой Вы сняты в Дубултах и Риге, кто-то у них стащил, так что карточкой я Вашей не мог раздобыться.

Ленинград — совершенно ненормальный город, и я рад, что поехал туда в первый раз в 29 лет. Поехал бы я мальчишкой, наверно бы, не понял, а так — умирал и рыдал от восторгов.

Ричи с Игорем живут на фантастической улице — бывш. Фурштатской, возле Таврического сада. Счастливицы! Москва и мой Арбат как-то померкли для меня, и я страшно жалел, что «Голубое и зеленое» было в то время уже опубликовано, я бы все перенес в Ленинград, и рассказ от этого только выиграл бы.

До свидания, будьте здоровы! Простите за беспокойство.

Ваш Ю. Казаков.

Ужасно хочется с Вами поговорить, много вопросов. Можно ли надеяться на встречу с Вами?

Окончательно ли развалилась «Лит. Москва» и где можно теперь прочесть последнюю часть Вашей трилогии?

Видел Д. Гранина недавно, возле ССП. Улыбается. Приглашал чай пить (в Ленинград).

В конце ноября в Ленинграде будет семинар молод. русск. прозаиков. Меня удостоили чести и пригласили. Не будете ли Вы руководить одним из семинаров на этом совещании и вообще не собираетесь ли осенью в Ленинград?

<Декабрь 1957>

Дорогой Константин Георгиевич!

Простите, я к Вам с просьбой! М. О. СП¹ решило принять меня в члены Союза, не дожидаясь появления на свет моей книжки.

Не могли бы Вы написать рекомендацию?

Если Вам трудно или неудобно по каким-нибудь причинам это сделать, не стесняйтесь с отказом, ради бога! Если Вам вообще не до писем, то даже можете не отвечать мне вовсе, я опять-таки в обиде на Вас не буду ни в коем случае. Подождав Вашего ответа числа, скажем, до 15 февраля и не получив его, я уразумею, что Вы заняты или больны, или не в настроении — мало ли что!

Будьте здоровы, бодрости и легкости Вам в работе!

Ваш Ю. Казаков.

¹ Московское отделение Союза писателей.

Адрес мой: Москва Г-2, Арбат, 30, кв. 29.

Летом поеду в Приозерский р-н. Говорят, там скиты есть. Любопытно! Не хотите ли с нами?

3 марта 1958. Дубулты

Дорогой Константин Георгиевич!

Спасибо, спасибо Вам за письмо и рекомендацию! Я даже долго писать не осмеливался — так был смущен и обрадован.

Вы представить себе не можете, как помогли Вы мне своим теплым словом. Мне было очень тяжело весь этот год, и уж месяцев восемь я забросил литературу. Когда видишь каждый день, как на литературной арене вновь и вновь появляются старые бойцы бездарности, жирные волкодавы Софроновы и проч., как бьют они направо и налево, как распоясываются, доходя до наглости и нельзя их укротить, — так делается тошно на душе и так, в конце концов, равнодушно!

А этот пленум — Боже мой! Ни одной интересной речи, ни одной мысли, зато бездна общих слов и странные, дикие призывы не дипломатничать с писателями Запада, т. к. это, мол, унижает советскую литературу. Как будто настоящую литературу можно унижить!

А нелепые требования в издательствах! У меня в «Арктуре» был абзац о цыганах. Потребовали: снять цыган, т. к. был указ о запрещении бродяжничества! В «Никишке» было выражение «мертвый лес». Потребовали: заменить «мертвый» другим словом, т. к. слово «мертвый» придает рассказу нехороший социальный оттенок.

И т. д. и т. п.

Впрочем, черт с ним, теперь я снова начал работать. Снова я в Дубултах, опять здесь солнце, снежок, сосны, белки, лед у берега, прелестные дачи, чистота и тишина. Народу в доме творч. совсем мало, не в пример прошлому году. Дух Ваш витает здесь. То и дело вспоминают, как Вы жили тут, как писали «Золотую розу»... Глядя на это море, на эти сосны, мне вдруг захотелось написать что-нибудь дико приключенческое, романтическое и ужасное. Сюжет: старые пираты появляются в наши дни и совершают кучу всевозмож-

ных превосходных преступлений. Если я начну эту вещь, я буду писать так: «Звезды раскрыли свои мохнаты ресницы, сизые сосны дохнули туманом, с глухим топотом пронеслись траурные конницы сумерек, и в закопченном очаге таверны Слюнявого Боба запылал жаркий огонь, когда в залив вошел Черный Корабль Джима-Вшивого-Носа». Увы! Вместо того чтобы заниматься этой сладостной работой, я пишу все про разных подлецов, они меня одолевают.

Как Ваше здоровье?

А летом, правда, давайте поедем на Север – какие народы там, какая рыба, какие церкви! Мы будем таскать рюкзаки, спать в сырых оврагах, питаться грибами и укреплять свое здоровье, расшатанное литературой. Мы будем дышать запахом водорослей, стрелять тюленей, плавать на шхунах, писать стихи, петь и скорбно думать о величии мира. В лесах за нами будут следить старички-лесовички, на полянах попадутся нам заколоченные, сизые от старости деревянные церкви, брякнемся мы на коленки лицом на восток и забормочем: «Стану я, раб божий, благословясь, пойду, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота, выйду в чисто поле...» Ах, ах! Поедмте, Константин Георгиевич!

А пока будьте здоровы, низко Вам кланяюсь, а я здоров, чего и Вам от Господа Бога желаю! Галку же поздравляю с женским праздником номэр восьмь! (казахск.)

Ах, да! Карточку! Когда же карточку, Константин Георгиевич?!

Дубулты, 3 марта 58 г.

Ваш Ю. Казаков.

10 апреля 1958. <Москва>

Дорогой Константин Георгиевич!

На днях вернулся из Дубулт. Погода была прекрасная, работалось мне еще лучше (все Ваше письмо!) и написал я пять рассказов.

А в Москве сюрприз: письмо из Чехословакии, журнал которой «Мировая литература» мной «интересуется». И опять Вы! Спасибо, спасибо Вам большое за доброе мнение обо мне, дай Бог его оправдать!

Константин Георгиевич, что Вы скажете, если я один из новых своих рассказов посвящу Вам? В Дубултах его читал Штейнман (ленингр. критик) и все просил его у меня для «Звезды». Да я не отдал. Так вот, если и здесь он всем понравится, то разрешите ли Вы посвятить его Вам? А мне так хочется! Рассказ о Севере.

Мама моя слышала от одной знакомой о человеке, который лечит астму. Хотя это «религия и опиум», но не попробовать ли Вам полечиться у него? Такие люди часто действительно хорошо лечат — это факт. Мама попытается узнать адрес этого человека, и если это ей удастся, я Вам напишу его.

Очень хочется повидать Вас и поговорить, но это когда-нибудь, а сейчас я жду Вашего разрешения на посвящение. Напишите всего две строчки.

Еще раз большое спасибо Вам за все, будьте здоровы, легкой Вам работы и прекрасного настроения!

10 апреля 58 г.

Ваш Ю. Казаков.

30 мая 1958

Дорогой Константин Георгиевич!

Поздравляю Вас с днем рождения.

Стук-стук!

— Кто там?

— Это я, новый год твоей жизни. Впусти меня.

— Не хочу впустить. Ступай к кому-нибудь еще.

— Впусти, пожалуйста! Я буду хорошим, я буду веселым и здоровым. Мы с тобой поедим куда-нибудь в дальние дали, в прекрасные края. Мы увидим, как падают звезды в реки и как расходятся по черной воде серебряные круги. Мы узнаем, что снится девушкам. Мы встретим так много добра и красоты, что нужно взять с собой пузырек валерьянки на всякий случай.

Сердце ведь иногда болит и от счастья... А скажи-ка, много ли принесли с собой счастья твои прошлые годы?

— Гм... Не так уж мало, я думаю.

— Ха! Не так мало! Смотри, какой большой и красивый мешок! Он весь набит счастьем. Впусти же меня, я добрей, я лучше и я столько ждал...

И его впустили. Он вошел, смеясь, и сел за стол. Глаза его были полны свежестью ветра, лицо его было крепко и молодо. И у него не было совсем астмы, он дышал глубоко и ровно, и сердце его билось крепко и часто.

Ему налили вина, он выпил его, засмеялся и встал, встряхивая мешок со счастьями.

— Сейчас я выйду в другую комнату, — сказал он, — покопаюсь в мешке и посмотрю, что бы подарить вам всем на первый случай. Ах, какие у меня там есть штучки! Вы посидите немножко...

И он вышел с таинственным выражением на лице.

А впустивший его вдруг потер руки, вскочил, хотел подглядеть в замочную скважину, потом почему-то покраснел, опять сел и искоса посмотрел на телефон: он боялся, что в этот день ему позвонит вдруг Софронов или «Огонек» предложит выбросить еще один эпизод из статьи о Луговском.

Но никто не звонил, и торжество не было испорчено. Новый год человеческой жизни уже начал выполнять свои обещания.

Будьте здоровы, Константин Георгиевич, и да раздадутся вакхальные припевы на Вашем празднике.

30 мая 58 г.

Ваш Ю. Казаков.

20 августа 1958. Москва

Дорогой Константин Георгиевич, здравствуйте!

Был я в Питере, испытал там сильнейший испуг в связи с Ливаном (в квартире, где я останавливался, уже поговаривали о повестках из военкомата), потом несколько дней слушал разговоры о похоронах Зоценко, потом уехал и поплелся по Мариинской системе, был в Вытегре, в Белозерске, в Череповце, Угличе, Ростове и поездом вернулся в Москву.

А в Москве пусто и скучно, дела литературные совсем дрянь. «Октябрь» дает мне командировку на Север, и я еду, хоть одному ехать не хочется. Коринец, не дождавшись меня, уехал один, в Каргополе встретился с Тендряковым и еще двумя ребятами, теперь они вчетвером шатаются по Онеге, а я к ним не хочу, хочу поехать на Белое море в поморскую деревню, забраться на тоню к рыбакам и пожить с ними не-

дели две-три, поглядеть попристальнее на их житье-бытье и, может быть, самому поработать с ними, половить рыбу.

Как Вы себя чувствуете? Не зудит ли у Вас на душе? А то давайте поедем вместе — дорога нетрудная, до Онеги поездом, а там день на пароходе и все. Уеду я числа 26 августа.

Уже много дней у меня тоска, совсем не хочется писать, руки опускаются, и никуда не подашься. Хотел было несколько раз приехать к Вам в Тарусу, да все откладывал, куда уж — у Вас, небось, своих хлопот полон рот. Книга в «Сов. писателе» еще не пошла в набор, хотя в июне мне говорили, что уже все — идет. Я туда и показываться боюсь, скажут: ага, вас нам и надо, вот тут у вас рассказ подозрительный, не исправите ли... Ну их!

Только один Вы и поддерживаете тем, что вообще где-то живете, пишете. Вспоминаю Ваше лицо, голос и — легче, а то кругом рыла кувшинные.

Очень хочу написать о Вас для «Охотничьих просторов». Попробую осенью, будет прилично получаться, отдам Смирнову Н. П., не будет — пусть уж кто-нибудь еще напишет.

Рассказ («Манька»), посвященный Вам, вышел в «Крестьянке», но его страшно обкорнали и посвящение Вам сняли, так что Вы не читайте его пока, вот выйдет в книжке, тогда уж почитаете. А тут Дорошу давал читать его и еще для проверки спросил о «Маньке» — Дорош похвалил, а то я все боюсь, что вдруг рассказ окажется не слишком хорошим и недостойным Вас.

В Архангельске книжка пошла в набор, и я даже боюсь о ней думать, как, знаете, на охоте крадешься к тетереву или утке и смотреть на них боишься. Там редакторша что-то по мне с ума сходит, т. е. по моим рассказам, подняла шум на весь Архангельск, и тамошние троглодиты чуть меня не слопали, книжку затребовали в обком, я уж на ней крест поставил, вдруг ничего, идет понемножку и довольно хитро: по договору 4 листа, а фактически 7–8, и «Некрасивая» там, и «Дым», и «Манька», и прочие рассказы, которые здесь у меня все парятся.

Так что с одной стороны не так уж плохо у меня, но все равно все не то, не то, бесишься, жизнь-то коротка. Терпеть да ждать веку не хватит.

Я Вам все пишу, Вы не отвечаете. И я не знаю, доходят ли мои письма к Вам, а даже если не доходят или Вы их не читаете, все равно я буду писать — как в космос, пускай, мне приятно Вам писать, только простите, я хочу, да и надо бы вообще писать бодро, интересно, как полагается мужчине, а я нет-нет да и заную, захнычу. Ну очень уж туго приходится, шутка ли, сами посудите, за последние дни только получил нотацию от Панферова, рецензию с выговором от Твардовского, что, мол, и кокетничаю я, и захвален, и упиваюсь собственным художеством, и жизнь вижу односторонне, и влияние стариков чувствуется, и т. п. Кроме того, еще в «Литературе и жизни» отказали двум рассказам, Зубавин в «Современнике» тоже отказал, С. Баруздин все меня бить собирается — поневоле закричишь.

Ну, ничего, авось у рыбаков отдышусь и что-нибудь привезу оттуда соленое, крепкое. Вот бы Вы поехали! Хоть напишите, если не поедете, я ждать буду.

Я сейчас пожаловался Вам и вспомнил, мать рассказывала, у них сосед в деревне был, лодырь и пьяница, так он корову свою соломой кормил. Корова у него была — кожа да кости, нюхнет солому, и есть не хочет, а сосед приговаривает: «Съесь, матуска, съесь! Ницем права будес!» Так вот и я — ничем прав буду, съем все и все переживу.

Ну, будьте здоровы, поклон Татьяне Алексеевне!

Уеду я месяца на полтора, если выдержу. Я хочу зимой в Дубулты поехать, поработать. Вы туда не собираетесь?

Ну, до свидания. Как Ваше здоровье?

Ваш Ю. Казаков.

Р. С. Зошенко, говорят, умер от нежелания жить, иначе — от черной меланхолии. На похоронах не обошлось без юмора: жена его, облокотившись на гроб, сказала: «Позвольте мне пару слов...» А Прокофьев с кем-то затеял дискуссию: «...мог ли Зошенко стать эмигрантом?». Похоронили его в Сестрорецке, в Питере по каким-то причинам не разрешили хоронить.

20 августа 58 г.

Юрий Казаков

9 марта 1959

Дорогой Константин Георгиевич!

Наконец-то я дождался книжки и могу послать ее Вам. Многие рассказы Вы знаете, незнакомы Вам, пожалуй, только «На острове», «Манька», «Поморка» ну и, может быть, еще что-то.

Я очень счастлив послать Вам книжку. И буду благословлять небо, если Вам понравится «Манька». В Архангельске, как мне пишут, книжка имеет шумный успех: ее разбирают и о ней говорят.

Московская книжка еще не вышла. Она в основном состоит из этих же рассказов, прибавлены только «Голубое и зеленое» и «Старики» — зато отсутствуют «Поморка», «На острове», «Некрасивая».

Засим позвольте пожелать Вам здоровья и еще раз уверить в своей постоянной любви! Простите за краткость письма, очень тороплюсь на почту — сегодня уезжаю в Дубуты, где пробуду до начала апреля.

С «Оленьими рогами» — это я у Вас хлеб отбиваю! Ай-ай, до чего докатился!

Как Ваше здоровье? Как работается? Напишите мне в Дубуты.

Низкий поклон Татьяне Алексеевне!

9 марта 59 г.

Ваш Ю. Казаков.

<Май 1959>

Дорогой Константин Георгиевич!

Не зная, где Вы сейчас, я на всякий случай пишу в Тарусу, авось это письмо достанет Вас когда-нибудь.

Ну, Вы небось догадываетесь, что со мной стало, когда я прочел Вашу статью! А другим она много крови испортила, и, как я думаю, Соболев не столько на меня налетел, сколько мною хотел Вас под ребро поддеть.

Милый Константин Георгиевич, если только есть в литературе понятие отцов и детей, то вот, ей-богу, я Вас не подведу, крест святой, буду писать все лучше!

А я очень сперва тужил, что Вы ничего не написали мне, тем более, как я слышал, другим Вы писали. Я думал, Вам «Манька» не понравилась: хвалить Вы не хотите и ругать тоже. И мне было грустно. Ну, а потом получил телеграмму и повеселее стало.

Я звонил Вам, Татьяна Алексеевна сказала мельком, что до Вас дошли слухи какие-то насчет Малеевки. А в Малеевке было вот что: сперва я ругал разных серяков за антихудожественность (не мог терпеть, дурак!), ну а потом серяки во главе с Карцевым сплотились и решили меня разгромить. И тут я схулиганничал, бросил им рассказ о Лермонтове («Звон брегета»), они и понеслись и воздали мне полной мерой, веселое было дело, но я выдержал.

На днях ездил я на Оку, у меня был план снять на лето там халупу какую-нибудь, работать, ловить рыбу и изредка принимать женщин. Поехал и набрел на изумительную деревушку, вы знаете, я немало проболтался последние годы по разным прелестным местам, но когда я обнаружил эту деревушку, у меня дух заняло, так хороша. Деревня эта Марфино, на левом берегу, чуть повыше Егнышовки. Знаете что? Продайте мне Ваш дом в Тарусе, а себе постройте в этой деревне — я Вам дарю это место. Серьезно, съездите как-нибудь туда просто так, хоть на день, не пожалеете.

Так вот, снял я себе там пол-избы на лето, хотел маму привезти в дом отдыха в Егнышовку и вообще зарядился, как электрон, вдруг звонок из «Лит. Газеты», предлагают ехать в Сибирь с вагоном писателей, причем не просто предлагают, а настаивают. И кому ни скажу, все советуют ехать, так что я уж, наверно, поеду, а на Оку уже потом, к концу июля.

А чудные вещи творятся на свете. Недавно написал я рассказ «Трали-вали» про бакенщика на Оке и вообще про Русь и русский характер, а больше всего про себя. Отнес его в «Октябрь», Панферов отказал, т. к. нашел ущербность. А после выступления Соболева Панферов вдруг разозлился, попросил снова рассказ и хочет напечатать в № 7 или 8 (уже сдали в набор). Я прямо боюсь думать об этом, шутка ли, два года не печатался в журналах!

Юрий Казаков

Будет время, прочтите его, он ничего себе.

Поздравляю Вас с днем рождения, дай Бог Вам радости и сил, и счастливые дни и ночи!

Спасибо Вам!

Ваш Юрий.

Р. С. Чехи наконец напечатали три рассказа моих в журнале, а потом еще в газете «Культура».

30 августа 1959. Ленинград

Дорогой Константин Георгиевич!

Где-то Вы? Пишу Вам на Москву, но может быть Вы в Ялте опять или в Тарусе?

Я жив-здоров, настроение более или менее бодрое, часто вспоминаю Вас. Давно хотел я написать Вам вот о чем. Меня как-то пригласили на «Мосфильм» насчет сценария и т. п. Там я узнал, что ставят фильм по Вашей повести. Так вот, умоляю Вас, *будьте жестоки и люты аки тигр, но не давайте им портить вещь. Следите сами за всеми делами, не уступайте им ни пяди*, пусть из кожи лезут, а сделают настоящий фильм. Иначе Вам же первому потом будет плохо, душно и мерзко. Как я рад все-таки за вас!

И еще просьба: прочитайте, пожалуйста, мой последний рассказ в № 7 «Октября». Только называется он не «Отщепенец» (это Панферов выдумал) — какой отщепенец! — а «Трали-вали».

Меня ругают сейчас все, но Вы не расстраивайтесь, пока есть люди, подобные Вам, нам, молодым, не страшно жить.

Я сейчас в Питере с Коринцом. Питер встретил нас холодом, дождем и ветром. Фонтанка шла вровень с берегами. Отсюда мы двинем в Карелию или в Новгород.

Будьте счастливы, дай Вам Бог всего! Поклон Т. А.

Ленинград, 30 августа 59 г.

Ваш Ю. Казаков.

8 января 1960. <Москва>

Дорогой Константин Георгиевич!

Простите меня, но это не я, а Вы меня забываете! Это я Вам правду говорю. И давно хотел сказать, да все как-то не

говорилось. А тут мама переслала мне Вашу телеграмму, где написано: «Не забывайте».

Я о Вас все время помню, но ведь Вы трудно уловимы. Вот в Болгарии жили, я же не знал Вашего адреса!

И потом Вы почему-то не пишете мне ничего, не отвечаете на мои письма, хоть и пишете другим, я знаю, той же Ричи Достяну, хотя бы.

А Вы пишете, знаете, не всегда как-то ловко младшему быть инициатором в разных отношениях со старшим. Разные появляются мысли: а вдруг не вовремя, вдруг не к месту, вдруг не до меня и т. д.

Знаете, чем я сейчас занимаюсь? Сценарием для кино. Сценарием по рассказу «Манька». (Кстати, я так и не знаю, понравился ли он Вам? Ведь я его Вам посвятил!) Теперь почти его кончил, на днях сдам на «Мосфильм», а потом начнутся настоящие муки, я думаю — переделки всякие, придирки.

Живу я теперь в Голицыне, в Доме творчества, т. к. дома совсем нельзя работать.

И день и ночь мечтаю об Оке, как туда поеду летом, как буду писать, ловить рыбу, изредка видаться с Вами. Будете Вы в Тарусе летом?

Славно мы повидались с Вами тогда, в сентябре. Я дурно жил этот год, как-то растерянно, пил много, не писал ничего. Надоела мне вдруг литература. И когда я с Вами поговорил, то есть кое-что Вам рассказал о себе, стало мне лучше, спокойнее.

И потом вся Ваша семья на меня действует очень. И Татьяна Алексеевна, и Галя.

А я все не женился, не задается мне как-то личная жизнь, просто беда! А писательская жизнь фиговая все-таки, нету ничего хуже. Я вот сижу уже два месяца, сперва в Малеевке, теперь в Голицыне. Сидишь, гнешься над машинкой, пишешь, стучишь, иной раз на улицу не выходишь — чего хорошего? Вообще, не складывается жизнь у писателя. Если просто живешь, т. е. как все люди — с ними или без них, — ну, шляешься, рыбу ловишь, ямы для яблонь копаешь, ездешь, охотишься, <...>, — все время мысль, что

не пишешь ничего, что время идет, что забываешь, упускаешь такие слова, такие мысли, образы! А сядешь за работу, стучишь, куришь, не встречаешься ни с кем, думаешь все о фразах и прочем, тоже тоска.

Да еще и не понимают, да еще шпыняют, и все твои открытия ни к чему. Вон Чехова поняли наконец, слава Богу! — чуть не через сто лет, что же, и нам надеяться на будущее, утешаться: ах, потомки... А ведь неохота потомков ждать, человеку нужна немедленная реакция на все, что он сделал. Правда? Я вон пишу, например, что странник идет, а его с бешеным ревом машины обгоняют. Пишу и думаю, что это я не так просто пишу, а вроде символично. Странник — машины. В нашем веке все: прошлое и будущее. И вот ни одна собака не обращает внимания на мои машины, на мой этот символ, а все кричат: «Ага, странник! Ага, отщепенец. Пессимист! Абстракционист!»

Встречали Вы когда-нибудь разбор Ваших вещей? Я имею в виду настоящий разбор, настоящее, понимаете, когда этот аналитик каждую вашу строчку повторит, рассмотрит, решит, к чему она, зачем Вы ее написали, почему Вы поставили именно это, а не другое слово. То есть, объяснил ли кто-нибудь Вам Вас? А это ведь так нужно, чтобы уверенней работать и жить, чувствовать, что ты не задаром работаешь.

Ну вот. Так что теперь я почему-то страшно хочу проплыть по Оке, на солнце повалиться, посадить чего-нибудь у Вас в саду, поймать какого-нибудь дивного леща.

Влюбиться в кого-нибудь! Это, Константин Георгиевич, страшное дело — влюбиться. Чтобы тоска хватала. Даже пусть безответно, все равно здорово.

Недавно написал я новый рассказик. Почитайте его, будет он напечатан (если ничего не случится) в № 3 «Огонька». Рассказик короткий очень — 5 стр. И написал я его как-то сам по себе, не знаю для чего.

А над чем вы работаете?

Меня в Польше стали переводить. И в Братиславе.

Ну, до свидания! Я Вас очень, очень люблю, только Вы пишете мне. Ей-богу, надо Вам подбрасывать хоть корявое полено в мой огонь.

Адрес мой: Голицыно, Моск. обл., Коммунистическая, 26, Дом творчества писателей.

Крепко обнимаю Вас!

8 января 60 г.

Ю. Казаков.

Как живет Галя? Она как-то исчезла из писательского общества, нигде ее не увидишь.

<Зима 1960>

Дорогой Константин Георгиевич!

Сим извещаю Вас, что мною получен № 1 венгерского журнала «Надьвилаг», в котором напечатан «Арктур».

Снова должен благодарить я Вас, т. к. из письма переводчика явствует, что напечатали они рассказ по Вашему совету.

Журнал очень приятный на вид и пахнет хорошо, но только ни одного слова, кроме своей фамилии, я не понял — очень уж чудной язык.

В журнале же оказалось содержание за прошлый год, а в содержании есть Вы и Ваша вещь: «Остап Бендер». Долго я размышлял, что бы это значило, но так и не догадался.

Тут у нас завернули морозы, правда, пока несильные, градусов на 15–20. Выпало много снега. Вечером дым падает вниз, а дым березовый, и снег под ногами хрустит, а от холода в носу щекотно.

Когда вы приедете в Москву? Я очень хочу Вас видеть. И еще: половим ли мы с Вами рыбу когда-нибудь?

Я получил одно письмо, в котором есть несколько прекрасных слов о Вас и которое я кладу вместе с моими.

В марте предполагается очередной тур. Поездка в Чехословакию. Я собираюсь поехать, не хотите ли и Вы? Право! Встретят Вас там, как бога, я думаю.

Ну вот и все. Сценарий свой я закончил, перечитал и вижу, что я абстрактный гуманист, как назвал меня Гус.

Буду теперь писать рассказы. Есть у меня один замысел, похожий на Вашу «Телеграмму», но только в другом плане.

Вообще, чертовски хочется мне Вас видеть.
Будьте здоровы, крепко обнимаю Вас, напишите мне!

Ю. Казаков.

28 марта 1960

Здравствуйте, дорогой Константин Георгиевич!

Отбыл я свой срок заточения в Голицыне, да едва ли не зря отбыл: написал всего с гулькин нос, ибо посетила меня некстати любовь...

Ну, в общем, все это позади, т. к. для любви я решительно не гожусь по своему несчастному образу жизни, любить меня может только женщина с нервами кардинала Ришелье. Уезжаю вот на днях в Дубулты — и на сколько бы Вы думали? — на два месяца. Как живет нормальный человек? Нормальный человек едет на Оку весной или еще куда-нибудь, охотится, ловит рыбу, ночует у костра, выпивает с друзьями, поет хриплые песни, любит женщин и делает массу разнообразнейших и приятнейших вещей.

Ненормальный человек покидает родные пенаты, покидает друзей и женщин и свой Арбат, и всё, и едет в Дубулты (или в Ялту), садится в комнатке, курит, злится, стучит на машинке, мельком только взглядывая за окно, на природу, на солнце, на белок, страдает бессонницей и живет так месяц, два, три — и все только для того, чтобы потом в тоске ходить по редакциям, предлагать сотворенное в эти три месяца и получать везде отказы. Ах, ах!

Очень долго возился я со сценарием, сделал раз, потребовали поправок, сделал второй раз и забастовал: душа с них вон! Я ведь хитрый, возьму и уеду в Дубулты, там они меня не достанут, а ведь фильм ставить надо, вот и поставят, поскрипят зубами, а поставят. Режиссер у меня дипломник ВГИКа, ему обязательно нужна картина.

В Дубултах ждет меня механическая и довольно приятная работа: буду переписывать все свои рассказы для сборника. Некоторые написаны года два-три назад, и теперь, на свежий взгляд, я в них замечаю много лишнего, что надо

убрать. Боюсь я за свой новый сборник, т. к. процентов 80 в нем будет рассказов в духе «Странника» и «Отщепенца», редактор может многое выбросить.

А какой я недавно рассказ написал, если б Вы знали! Называется он так: «Запах хлеба». Маленький рассказик, но я им страшно доволен, так, как не был доволен почти ни одним. Его тут в Москве все читают, но печатать, наверно, никто не будет. В числе двух других он должен был пойти в «Октябре», но Панферов со свойственной ему странностью вдруг переменял мнение и отказал.

А как Вы поживаете? Как продвигается работа? В Ялте сейчас, наверно, все цветет...

Я все хотел как-нибудь махнуть в Ялту, поглядеть на Вас, поговорить, да все не судьба. Ну, авось, летом в Тарусе увидимся. Очень я соскучился о Вас.

Всего доброго Вам, держитесь, не болейте!

Крепко обнимаю.

28 марта 60 г.

Ю. Казаков.

Да! Был недавно в «Литературке», говорил с работником отдела писем. Так вот, по письмам, т. е. по количеству писем от Вас — Вы сейчас стоите на первом месте. На зло всем нам. С чем Вас и поздравляю, тая в душе, как Вы догадываетесь, черную зависть.

10 сентября 1961

Дорогой Константин Георгиевич!

Спешно пишу Вам вот по какому поводу. Я здесь виделся и даже выпивал с Левитом. Его настроение мне очень не понравилось. Исполняя его просьбу, я сообщаю Вам положение дел в Калуге.

Как гл. редактору, Левиту обещана в Калуге квартира. Должностью своей он дорожит. И еще в изд-ве у него выходит какая-то диссертация. Всего этого он боится лишиться, о чем прямо и сказал мне в присутствии Панченко.

Далее. На Левита жмет секр. обкома по пропаганде. Речь идет о стихах Д. Самойлова, повести Окуджавы и моих рассказах. Все это, по словам Левита, под угрозой.

Левит сказал следующее: если Паустовский будет твердо стоять на составе сборника, не соглашаясь на изменения, если Паустовский будет ставить вопрос так: или сборник идет целиком, или не идет вообще, тогда он, Левит, тоже будет стоять на этом. Но ему нужна уверенность, что Вы не дадите себя уговорить на изменения сборника.

Такие вот дела.

Мне это не нравится, но я не знаю, что лучше — подождать или сразу вмешаться. Ясно только одно: со сборника глаз нельзя спускать и нужно что есть силы торопить и двигать вперед дело, чтобы сборник вышел в задуманном виде. Тогда это будет победа и такая вещь, которой можно даже и погордиться. Общипанный сборник никому будет не нужен.

Галку я видал и деньги отдал. Большое Вам спасибо! Галка прелестна, сидит дома и слушает джаз на своем агрегате. Андрея разругали в «Сов. музыке», Галка сбегала вниз, достала журнал, читала статью и тоже ругалась.

В «Московском литераторе» у меня просили «выбить» из Вас некое заявление. Они там затеяли серию выступлений известных писателей под рубрикой «Планы. Свершения. И еще что-то». Напишите им, как Вы рыбу ловите, ругаетесь с бакенщиками, пьете го-сотерн и небрежною рукой пишете гениальные вещи и создаете эпохальные «Тарусские страницы». А то про свои планы все так уныло пишут, что хочется поехать на Север, к тюленям и поговорить с ними за жизнь.

Будьте здоровы, самых лучших успехов в работе!

10 сентября 61 г.

Ваш Ю. Казаков.

Польский PIW¹ прислал мне письмо, просит телеграфировать тотчас по выходе сборника.

26 сентября 1961

Дорогой Константин Георгиевич!

Здравствуйте! Как у вас в Тарусе погода? Здесь чудо, такая теплынь, так обильно пауки летят, такие красоты кругом, душа мрет, прибавьте к этому еще колокольный звон,

¹ Издательство «Polski Instytut Wydawniczy». — *Сост.*

осеннее мое писательское настроение, и вы получите представление о моем здесь житье-бытье.

Константин Георгиевич! Теперь-то уж Вам придется мне написать, хоть две строчки. Я к Вам за советом. Дело в том, что забралась ко мне одна мыслишка и не дает покою. Всегда страшно завидовал я романистам. И все сам собирался роман написать — да где там! И вот что надумал. Помните мой «Сев. дневник»? Так вот, я решил все цифры оттуда выкинуть, еще поднатужиться, чтобы лучше в смысле словесном получилось, к этому куску прибавить еще кусок мурманский, калевальский, кусок с Зимнего берега (там у меня кулак один великолепный!), потом кусок зверобойный (для этого я специально поеду в феврале со зверобойной командой на шхуне к берегам Гренландии). Но и это еще не все, а придумал я прошпиговать все это еще своими же рассказами — «Манькой», «Никишкиными тайнами», «Поморкой» — и кончить весь этот, с позволения сказать, роман «Осенью в дубовых лесах».

Я подсчитал — получается увесистая книга, листов на 13–15. Все мои рассказы и записки будут в этом романе как бы главами, частями. А почему бы и не роман?! Речь в нем будет вертеться все вокруг одного и того же: вокруг Белого моря, рыбаков, времен года, которые будут почти все — осень, зима, лето (весны вот только нет). Кроме того, везде будет присутствовать личность автора.

Я вспомнил и примеры, Лермонтова с его «Героем» — роман это? Или у Вас — почему «Золотая Роза» *повесть*? Ведь у Вас тоже есть отдельные рассказы в ней, например «Ночной дилижанс».

Очень мне нужен совет и поддержка, и Вы, пожалуйста, напишите мне — будет это роман или нет, все это собрание очерков и рассказов.

Сию сейчас над мурманским очерком, чертовски трудная штука, а хочется сделать что-то очень поэтическое, сильное, чтоб лицом в грязь не ударить, пишу я его как-то ненормально, кусками из середины, из конца, а потом стану склеивать.

Я писал Оттену, просил у него первый вариант «Осени в дуб. лесах», у меня почему-то нет, да он что-то не шлет, на-

помните ему при случае, чтобы поискал и прислал мне сюда, я тут побуду еще с месяц.

Как там сборник поживает? Очень хотелось бы узнать. Напишите мне, Константин Георгиевич! Особенно про мой роман.

Будьте здоровы, крепко Вас обнимаю!

Адрес мой – Псковская обл., г. Печоры, почта, до востребования.

26 сентября 61 г.

Ваш Ю. Казаков.

29 декабря 1961. Голицыно

Дорогой Константин Георгиевич!

С Новым годом, с Новым Счастьем!

Я сам видал, какая очередь стояла за «Тарусскими страницами», и смело теперь говорю всем вам – делавшим их – хорошее вы сделали дело, ура всем вам и еще раз ура!

Дошло до меня, что мои последние рассказы Вам не понравились. И я вообразил, как Вы читали их, как выходили на двор и плевались, и фукали, и крутили головой, и как Вас потом успокаивал запах снега.

Извиняюсь, больше не буду!

Вы едете в Ялту? Самая страшная зима прошла – ноябрь, декабрь – теперь настает сплошное удовольствие, весна света и прочее. А в Ялту ехать весной, в марте-апреле, когда у нас сыро.

Я собираюсь в Тарусу в конце января, отсижу еще срок и поеду. Буду ездить в Поленово на санях в гости.

А какие морозы-то вдарили, давно ничего подобного не было, снег под ногами визжит, солнце мутно-красно, серебристая пыль, и хочется писать зимние рассказы.

Ей-ей, посидите-ка Вы январь и февраль в Тарусе, буду я ходить к Вам в гости, буду крикать и сморкаться с морозу, топтать валенками, а потом, надевши тулупы, будем ездить мы по гостям, и сидеть там у печек и каминов, и нюхать, как пахнет с кухни щами. Какая там Ялта! А? Тем более что вы поедете весной куда-нибудь в теплые страны – в Италию или в Чехословакию.

А я тут написал еще рассказ. Когда-то каждый новый рассказ был для меня событием, а теперь я уже несколько оша-

рашен их бесконечностью и, как Тригорин в «Чайке», думаю: до каких же пор! Сколько можно!

И я мечтаю, как Федя Поленов запряжет свою сивку-бурку, наложит в сани сена, мы сядем, запахнемся, подоткнемся, отворотимся от ветра, захрупают подковы, запоют полозья, и поедем мы куда-нибудь в дальнюю тульскую деревню, и поночуем в избе, попьем топленого молока и потом напишем что-нибудь вкусное, как молоко.

Ну — еще раз с Новым годом, и да будет всем нам мир и в человецех и в чем-то там таком благоволение!

Очень я рад, что Вы здоровы и бодры!

Галицыно, 29 декабря 61 г.

Ваш Ю. Казаков.

22 августа 1964. <Москва>

Дорогой Константин Георгиевич!

Со дня на день все собирался прикатить в Тарусу, повидать Вас и наговориться всласть, да разные мои дела и делишки все препятствуют этому моему благому намерению. Теперь уж не выдержал и пишу.

До меня доходят слухи, что вы благополучно здравствуете, чему я рад очень. И что даже в Англию собираетесь, правда ли?

А я с Женей Евтушенко, как и в прошлом году, месяц провёл на Севере. На этот раз мы ходили на зверобойной шхуне на белужий промысел. Забрались далеко — из Архангельска всё на север, к *Канину* носу, потом мимо острова *Калгуева* еще дальше на северо-восток, к Новой Земле. Потом прошли мимо о-ва *Вайгач*, проливом Югорский Шар — в Карское море и там уж занялись смертью и кровью.

Мощное это зрелище, когда в белуху стреляют из винтовки почти в упор разрывной пулей, в голову — и из нее начинает бить фонтан крови толщиной в руку и зеленоватая вода вокруг окрашивается красным. А вдали низкий тундровый, совершенно дикий на сотни километров берег со снежными языками.

Здорово было идти возле Новой Земли почти в сплошных льдах, под солнцем и видеть разных нерп, чаек, уток, морских зайцев. Иногда мы попадали в туман и тогда шху-

на наша была окружена радугами. Часто нам сопутствовали миражи — тогда льды на горизонте поднимались столбами, и столбы эти висели в воздухе, не касаясь линии воды.

А потом *Амдерма* — ужасное место, тусклое и страшное. Представьте себе небольшую реку, впадающую прямо в океан (т. е. без залива), невысокие голые холмы по сторонам и сотни барачков и сборных домиков по берегам, да десяток радиомачт. Два-три судна стоят на якорях напротив устья реки. Вот и весь пейзаж. А в самой Амдерме — ездовые собаки, солдаты да вербовочные.

Нас провожали. Почти половина команды съехала с нами на берег. Мы заняли номер в четыре койки, без стола, с двумя стульями. В магазинах было только шампанское и одеколон. Поэтому комсостав — капитан, старпом, стармех — и мы пили шампанское. Прочие — одеколон. *Неразбавленный*. И произносили длинные красивые речи в нашу честь, и в этих речах были бури и льды, и полярное ночное солнце, и отвага, и чего только в них не было!

С тем мы и отбыли назад в Архангельск. Женя написал десяток стихов, а я вот сейчас сижу и шлепаю последние главы моего «Северного дневника». В конце августа — начале сентября заканчиваю — и с плеч долой! Хватит! Надоел мне Север.

Мечтаю о рыбалке, об охоте и прочих прелестях нашей средней полосы.

Слыхал я, что у вас есть «Тарусские страницы» на английском. И даже переведенное предисловие. Нельзя ли мне как-нибудь получить это предисловие? У Вас один экземпляр? И потом — напишите, пожалуйста, мне адрес издательства, выпустившего «Страницы». Я им напишу. Денег не платят, так пусть хоть книгу пришлют!

Будьте здоровы, большой привет Татьяне Алексеевне и всем, кто с Вами сейчас. Обнимаю и целую.

22 августа 1964 г.

Ваш Ю. Казаков.

Мой адрес: Москва Г-2, Арбат, 30, кв. 29.

Н. И. Замошкину



5 июня 1954. <Москва>

Дорогой Николай Иванович!

Сегодня взял на кафедре творч. характеристику, написанную Вами. Характеристика эта так удивила меня, что я хотел уже и не подавать заявления о переводе на о<чное> отд<еление>, но, так как выхода другого у меня не оставалось, то я подал заявление с приложением Вашей характеристики. Николай Иванович! Конечно, все написанное Вами обо мне — правда. После неоднократных бесед с Вами я почувствовал основные свои недостатки и буду воевать с ними. Но все же для официального основания моего перевода такая характеристика явно недостаточна. Скорее всего она создаст у дирекции отрицательное обо мне мнение. В самом деле — «штампы», «ремесленничество» и т. п. вряд ли прельстят кого-либо.

П. В. Таран-Зайченко, прочитав характеристику, поморщился и сказал, что сильно сомневается в благоприятном исходе моих хлопот. Дело осложняется тем, что в случае отказа, я остаюсь без работы и все мои планы разлетаются по всем швам! Я был настолько уверен в переводе, что за полмесяца до экзаменов ушел с работы, а совсем недавно отказался от весьма соблазнительного предложения — стать зав. лит. отделом газеты «Сов. спорт». Теперь Вы понимаете, в каком я расстройстве. Может быть, я, по глупости своей, чего-то не понимаю? может, мне не нужно было начинать этого дела? Во всяком случае спасти положение можете только Вы.

5 июня 54 г.

Уважающий Вас Ю. Казаков

13 октября 1957. <Москва>

Дорогой Николай Иванович, здравствуйте!

Очень я соскучился по Вас, хочется поговорить и Вас послушать. Но, наверно, опять не приду на семинар. Одолела меня глухота: после вирусного гриппа — катар евстахиевых труб.

Сижу дома и немного пописываю. После семимесячного перерыва сделал на этих днях два рассказа.

Но сначала хочу преподнести Вам нечто вроде творческого отчета. За это время у меня вышло два рассказа — «Арктур, гончий пес» («Москва», № 8) и «Никишкины тайны» («Знамя», № 8). «Арктур» Вы знаете — это новый вариант «Гомера», я его почистил, выбросил девочку с роялем и изменил композицию. «Никишкины тайны» — северный рассказ, Вы его не видели, т. к. закончил я его летом.

Вышел у меня «Тэдди» отдельной книжкой в Архангельске. Эка, куда меня занесло! Кроме того приняты сразу три книжки: 1 — в «Сов. писателе», 2 — в Детгизе, 3 — опять-таки в Архангельске.

Я пустил в ход все рассказы, кроме первых, «американских», вот эти рассказы: «Тихое утро», «Ночь», «Дым», «Некрасивая», «Лешак», «Голубое и зеленое», «На полустанке», «Странник», «Дом под кручей», «Никишкины тайны», «Арктур», «Розовые туфли», «Тихон Бешеный» (сильно переделан!), «Тэдди».

Все рассказы, конечно, будут в разных книжках в разных пропорциях. Так, например, в Детгизе у меня выйдут: «Ник. Тайны», «Арктур», «Тэдди», «Ночь», «Тихое утро», «Роз. туфли», в «Сов. писателе» они же (за исключением «Тэдди» и «Роз. туфель»). В Архангельске не идет «Голубое и зеленое» и что-то еще, но зато я буду туда досылать до декабря все, что напишу нового за это время (2 рассказа уже написаны). Словом, книжки будут отличаться друг от друга процентов на 50–60, и даже больше.

Забыл еще сказать Вам, что несколько моих рассказов переведено в Италии. Летом я с ними (итальянцами) встречался, и этой новостью ошарашил меня Витторио Страда.

Издат. «Сов. Россия» предлагало мне издать в 68 году новый сборник, но увы, не было у меня рассказов и я, рыдая

в душе, отказался. Теперь о материальной постановке дела. В Детгизе договор со мною уже заключен, аванс получен и книжка сдана на иллюстрацию.

В Детгизе все в порядке!

В «Сов. писателе» есть только принципиальное согласие И. Козлова, три оч. хороших рецензии и всё. Договора пока нет, т. к. не утвержден еще план.

Также нет договора еще с Архангельском.

Меня это начинает очень беспокоить, т. к. есть люди, которым интересно, наверно, пугать, и они путают меня во всю. Трепещу! Но надеюсь, ибо не хлебом единым жив человек, но и надеждой.

Теперь об «Октябре». Не подумайте, пожалуйста, что я специально помимо Вас отдал в «Октябрь» свои злосчастные вещи. Падерин подошел ко мне во дворе института и попросил рассказов, я сказал, что нет, а есть старые и что старые Вы уже показывали Храпченко и он не взял их. Падерина однако это мое заявление не остановило, т. к. он надеется на иное отношение к этим рассказам со стороны Панферова.

Раньше я не видел Вас и не мог Вам об этом сказать, и мне было весьма неудобно, когда Вы, открыв папку, узрели в ней старых знакомых. Теперь я виню себя и думаю, что мне надо было дожидаться Вас, но Вы знаете авторское нетерпение и, надеюсь, извините меня.

Сейчас пишу довольно активно, но все написанное как-то не удовлетворяет меня и мало нравится.

Николай Иванович, очень прошу вас разрешить мне поехать в Дом творчества! Я помню Ваше недовольство в пр<ошлом> году, когда я Вас поставил, так сказать, перед совершившимся фактом, теперь я прошу Вашего согласия заранее. Мне все-таки хочется подготовить к диплому побольше нового, дома работать трудно, а сюжетов целый пуд.

На этом позвольте закончить.

Будьте здоровы! До свидания!

13 октября 57 г.

Ваш Ю. Казаков.

Если есть у Вас, что сказать мне, поругать (хвалить пока не за что особенно) и если будет время, напишите мне, пожалуйста, очень Вас прошу! Адрес мой: Арбат, 30, кв. 29.

Не знаю, сколько я еще проболую, врачи ничего толком не говорят.

15 января 1958. <Москва>

Дорогой Николай Иванович!

Простите, никак не могу к Вам собраться: экзамены; и особенно последний, история философии, — невысказанно ужасная вещь.

На кафедре творчества решили, что я должен сдать дипломную работу к 20.1. Но т. к. у многих срок — 1.П., то я думаю, мне можно задержаться со сдачей диплома дня на 3–4.

21-го я кончаю экзамены, свободен, как птица, сразу берусь за дело и числа 23–24 тащу Вам на подпись свои рассказы.

Николай Иванович, я долго размышлял над содержанием диплома и решил, что нужно включить в него следующие рассказы: № 1 — «Некрасивая», 2 — «Дым», 3 — «Лешак», 4 — «Арктур — гончий пес», 5 — «Легкая жизнь», 6 — «На острове», 7 — «На полустанке».

7 — счастливое число!

Все эти вещи наиболее удачны и наиболее выявляют меня как автора их. «На острове» я перепису еще разок, немножко сожму. Из этих рассказов. Вы не знаете, вернее, плохо знаете одного «Арктура». Остальные Вам довольно знакомы, и каждый в свое время встречался Вами хорошим словом. Наконец, в пользу этих именно рассказов говорит то, что они прошли все большой искус, так сказать, были прочитаны многими, в том числе такими мастерами слова как Паустовский, В. Шкловский, Казакевич, Панова и т. д. и многими ребятами. Все отзывались о них оч. хорошо, так что я со спокойной душой отдаю их в диплом. Если Вы не будете возражать, к ним можно подключить также «Странника».

Жаль, что нас так торопят с дипломом, т. е. что диплом нужно сдавать именно сейчас. У меня есть интересные сюжеты, кот<орые>, м. б., в феврале я реализую... Ну да бог с ними.

Будьте здоровы, Николай Иванович!

15 января 58 г.

Ваш Ю. Казаков.

Н. И. Замошкину

Кого бы Вы посоветовали мне в оппоненты? Или положиться на Провидение и доверить это дело кафедре?

Будьте благодетелем, Николай Иванович, подумайте! Вы ведь лучше знаете вкусы и настроения писателей.

5 ноября 1958. <Москва>

Дорогой Николай Иванович!

Меня приняли в СП, и я спешу поблагодарить Вас за Вашу рекомендацию. Спасибо Вам также за ту долгую науку, которую неустанно преподавали Вы мне в течение четырех институтских лет.

Наверно, своими писательскими успехами я все-таки больше всего обязан Вам, ну а мои недостатки остаются на моей совести.

Я посылаю Вам свою книжку. Посылаю ее не для чтения — Вы эти рассказы читали уже, да они здесь и поободраны порядочно, — а просто как отчет ученика перед учителем.

Я рад, говорю это искренно, что мне пришлось заниматься у Вас — такого, как у Вас, чувства слога, стиля, слова, конечно, не было ни у кого из институтских преподавателей, за исключением, м. б., Паустовского.

Скоро я принесу в «Октябрь» новый рассказ — не знаю, понравится ли он, но сижу я над ним со сладостью и довольно долго уже.

Будьте здоровы!

5 ноября 58 г.

Ваш Ю. Казаков

В. Ф. Пановой



11 января 1958. <Москва>

Дорогая Вера Федоровна!

Спасибо Вам большое за Ваше неожиданное и хорошее письмо. Мне, правда, очень хотелось поговорить с Вами перед отъездом, да я подумал, что и так утомил Вас (вкуче со своими коллегами) и постеснялся прийти.

Сейчас у меня экзамены, время ужасное, все время готовлюсь, только свалю одно, как накидывается и душит другое. В общем, состояние обычное для студента. А страшно хочется писать. Не знаю, но кажется, писать теперь я стану как-то иначе: лучше, строже и серьезней. У меня большой перерыв, ничего я не делал, а только скорбел, изъязвлял свою душу, ругался с врагами и т. д. Думаю, перерыв этот должен пойти мне на пользу, и тогда хоть немного оправдаю я все те хорошие слова, которые сказали Вы мне на мой счет.

Вера Федоровна! Я свинья, только вчера вспомнил, что обещал прислать Вам стихи Пастернака, которых, Вы говорили, у Вас нет. Спешу исправиться и посылаю Вам три стиха. «Снег идет» мне нравится чрезвычайно: такой ритм, звук, мысль — Боже мой!

Хороши и другие два. Странно, почему их не печатают.

Знаете, сейчас все мало-мальски способные, умные ребята очень как-то хандрят. С кем ни поговоришь — сплошной мрак! Конецкий был в Москве, заходил ко мне — тоскует... Полуянов пишет из Архангельска мрачные письма. Девчонки-поэтессы рыдают у меня на груди в фигуральном и прямом смысле. Прямо не знаю, куда приткнуться. И так тяжело, не знаешь порой как быть, а тут еще жару подбавляют.

В Москве у нас было все голо и мерзко, на Новый год — водичка, а последние дни метели «с остервенением налетели», настоящая зима, морозец, хорошо!

До свидания, будьте здоровы!

11 января 58 г.

Ваш Ю. Казаков.

1 февраля 1958. <Москва>

Дорогая Вера Федоровна!

Обстоятельства вынуждают меня писать Вам, хотя Вы и устали от меня.

Дело в том, что наше М. О. СП вдруг обнаружило, что я существую на свете, радостно распростерло объятия и готово принять меня в свое лоно, т. е. в члены Союза. Причем я не напоминал им о себе, разрази меня Господь, и у меня нет книжки. Но это им нипочем, они готовы принять меня так, по рассказам, печатавшимся в журналах.

Нужны рекомендации, Вера Федоровна, и — простите! — я сразу вспомнил о Вас... «Непечатанные» рассказы мои Вы знаете, но, верно, не читали печатавшихся. Вот они: журн. «Молодая гвардия», № 3, 56 г., «Октябрь», № 6, 57 г., «Москва», № 8, 57 г. и «Знамя», № 8, 57 г.

Если же для Вас достаточно тех пяти рассказов, которые обсуждались на семинаре, то, ради бога, не читайте журналов, мне совестно Вас затруднять лишний раз.

Будьте здоровы, Вера Федоровна, дай Вам Бог легкости в работе. Только напрасно Вы себя причисляете к старикам и сдаете позиции нам, молодым. (Это я говорю о последнем Вашем письме). Эти мысли, вероятно, навеяны были смертью Шварца, которого я, кстати, очень люблю, люблю с детства. И совестно Вам приbedняться перед нами, странно было даже читать, честное слово!

И Буниным Вы меня напрасно укорили. Что ж Бунин? Бунин олимпиец, бог — таких, как он, у нас на Руси 3–4, не больше. Но если я обожествляю Бунина, то это вовсе не значит, что я слеп и глух к остальному. Я многих люблю, я и Вас люблю, Вера Федоровна, и над Вашим «Сережей» я слезу пустил, и загрустил, и решил бросить писать, что со мной всегда бывает, когда прочту что-нибудь великолепное. Вот так!

И насчет XX века Вы, извините меня, не правы. Конечно, у нас XX век, но и XVI хватает. У нас может стоять в глуши ракетная космическая установка, и — попади туда, подумаешь: сон, фантазия. И тут же рядом в деревне бабы пьяные дерутся, и это уж, увы, не фантазия. Мы считаем, что Горький — святая правда. Однако Горький хотел и мог писать о пьяной бабе, т. к. пьяная баба была ему противна, больна, она разрушала его представление о женщине. Тогда был XIX век, скажете Вы! Но ведь и тогда были успехи громадные, и тогда Горькому могли сказать — смотрите, у нас строят заводы, шахты, ж. дороги и т. п., у нас прогресс в науке, у нас век великих открытий, а Вы пишете о бабах.. Ну пишите, наконец, но скажите же и о положительном! Иначе клевета выходит. Ведь Россия не только баба, Россия это и Толстой, и Шаляпин, и МХАТ, и то и се...

Вот это, примерно, говорят нам. А м. б., теперешним писателям больней, когда в наш век и вдруг — тоже эта баба.

Знаете, меня очень ударил однажды факт засеивания колхозных полей из лукошка. Это было в Кировской области в 50 году, в год укрупнения колхозов, в год, когда все критики и публицисты писали о переходе к коммунизму, когда у Корнейчука конфликтовали председатели колхозов социалистического и коммунистического. Скажите, разве не надо было честному писателю возопить: братцы! Какой же коммунизм, когда лукошко! — пусть даже лукошко это было последним в России. Однако же не вопили писатели об этом... Интересно: Горький всячески восхвалял в 30-х годах сов<етский> строй. Но восхвалял в статьях, а вот рассказа настоящего не написал об этом же. Рука не поднялась, верно?

Простите, что я так пространно пишу Вам об этом, но я понял Вас так, что Бунин изображал XIX век, а коль скоро я последователь этого Бунина, то, значит, и я погряз в прошлом веке. Не знаю, прав ли я, но думаю — вся наша беда в том, что совр. литературу лишают такого качества, как обобщение. Нам нельзя обобщать! За нашими героями не могут стоять тысячи и миллионы героев, как это было в старой литературе. Гончаров написал «Обломова». Добролюбов вывел термин «обломовщина». Отнюдь не вся Россия состояла

из Обломовых, как это показывали Гончаров и Добролюбов. Однако умные люди сделали вывод: мы Обломовы — и следствие: надо просыпаться.

А теперь? Если Вы создадите образ, или тип, или характер героя положительного, обобщите его, Вам скажут: правильно. Но стоит Вам с такой же силой написать героя отрицательного, скажут: клевета! А спутник? Вот тут и попробуйте «отображать». Видите, как затянулось мое прощание с Вами. Еще раз будьте здоровы и счастливы и, несмотря на эти мои, м. б., неверные высказывания, рекомендацию все же мне дайте, очень Вас прошу. Я когда-нибудь исправлюсь, честное слово! И не уступайте никому своего места. Его у Вас может взять женщина более талантливая, чем Вы, а пока таковой у нас на Руси нет, верьте моему слову.

Ваш Ю. Казаков.

Р. С. Кстати, где же вы будете печатать Ваш «Сентиментальный роман»? Закс клянется, что в «Н. мире» «Октябрь» — что у него, «Знамя» — тоже... Так где же?

1 февраля 58 г.

10 апреля 1958. <Москва>

Здравствуйте, дорогая Вера Федоровна!

Большое спасибо Вам за рекомендацию! Если бы Вы знали, как приятно мне было ее отдавать и как стыдно, что я Вас тотчас же не поблагодарил — свинья несчастная!

Но, голубушка, Вера Федоровна, было у меня время мрачного пессимизма, и куда уж там писать! Теперь это все прошло, опять я способен на добрые чувства и на что хотите.

Надеюсь, Вы не приняли близко к сердцу выпад, кот<орый> сделала «Литературка» против Вас в связи с Чубаковым?

18-го состоится защита моя диплома в институте. Оппоненты: Н. Замошкин, Поспелов, Исбах и Панков. Панков это мой рок и фатум, и нет мне от него никакого спасения. Ну, а я спокоен, помня Ваши наставления. И потом, за последнее время я вдруг разошелся и написал пять новых рассказов. Работал я в Дубултах. Там чудесно, и, если Вам захо-

чется хорошо поработать, поезжайте туда! Особенно хороши там месяцы февраль и март. Много солнца, слабый морозец, какая-то во всем отрешенная иностранность, и кругом все латыши, которые держатся особняком, в знакомство не лезут и, следовательно, не мешают.

Посылаю Вам для соблазна открытку со старой Ригой.

Будьте здоровы, дорогая Вера Федоровна, не поминайте меня лихом. А я буду Вам писать (очень редко!).

10 апреля 58 г.

Ваш Ю. Казаков.

7 июня 1958. <Москва>

Дорогая Вера Федоровна!

Поздравляю Вас с летом, с белыми ночами, с теплом и окончанием романа. Я слышал, Вы его кончили и даете в «Новый мир».

Дай-то Бог, чтобы его хорошо приняли, чтобы не надели на него Панковы. Впрочем, читатель до того уж Вас знает и верит, что чем пуще Вас будут ругать, тем большей любовью Вы будете пользоваться у всех.

А я кончаю институт и все никак не кончу. Диплом защитил на тройку. Панков, Исбах и Лаптев все-таки упекли меня и поставили низкую отметку. В Союз меня еще не приняли — приемная комиссия самораспустилась на каникулы. Будут принимать осенью.

Я слышал, Вы в разговорах очень меня хвалите. Можете себе представить, как радостно мне это и как волнуется! Спасибо Вам, милая Вера Федоровна!

Посылаю Вам свою книжку.

Будьте здоровы, всяческих Вам успехов и радостей!

7 июня 58 г.

Ваш Ю. Казаков.

2 января 1959. <Ленинград>

Дорогая Вера Федоровна!

Поздравляю Вас с Новым годом, желаю в этом году Вам еще больших радостей, большей славы, здоровья, бодрости

и т. п. приятных вещей, словом, всего того, что нужно такой прекрасной женщине и писательнице, какой являетесь Вы!

Верьте, что эти слова мои не просто от вежливости сказаны и что я Вас очень хотел видеть. Кстати, Н<овый> Год встречал я в Комарове, часов в 5 утра шел на станцию, забрел в Дом творчества, хотел увидеть Вас, но Вы, конечно, давно ушли к себе и я печально побрел дальше...

Вера Федоровна! У меня к Вам есть поручение. Приехал я сюда от «Огонька», буду, наверно, писать рассказ о Лермонтове, и в «Огоньке», узнав, что Вы взялись за рассказы (это я сказал им, извините, если я не к месту сказал), очень просили у вас рассказа. Н. Н. Кружков (зав. отделом) кланялся и просил выручить, т. к. у них плохо с рассказами.

Если у Вас окажется рассказ и если Вы верите в «Огонек» — шлите им его.

Кроме того, Вам передает привет и извинения Н. Емельянова. Она хотела принять Вас с «московским радушием» (ее слова), но не пришлось, о чем она сожалеет.

Наконец поклон и новогодние поздравления Вам от Володи Бжезовского.

Вот и все. Вам, наверное, чудно работается — Комарово место очень хорошее. Но еще лучше в Доме композиторов, у них там по коттеджу на брата — просто болезненная роскошь! А я так хотел видеть Вас еще в Москве и проводить, но заболел. Что-то у меня с сердцем вышло, я понервничал: прислали мне сверку со страшными иллюстрациями — совершенно халтурными и гнусными, я задрожал, отказался печатать книгу с такими рисунками, наделал полоху в изд-ве, и свалился. Думал помру, но отошел и ничего. Зато рисунки сняли!

Последняя московская новость (хотя, м. б., Вы ее уже знаете): Кочетова снимают, редактором «Литературки» будет Б. Полевой. Так говорят, во всяком случает, а там бог их знает!

Всего доброго, Вера Федоровна! Не забудьте, пожалуйста, подарить мне свою книгу, когда выйдет, — Вы обещали. Будьте здоровы!

2 января 59 г.

Ваш Ю. Казаков.

6 марта 1959. <Москва>

Дорогая Вера Федоровна!

Примите мои самые искренние и сентиментальные поздравления!

Когда женщины затыкают за пояс мужчин в творчестве — они могут радостно праздновать 8 марта!

Желаю Вам большого счастья, удачи в литературе и здоровья. Скоро пришлю Вам свою книжку и напишу подробно. Всего доброго!

Ваш Ю. Казаков.

P. S. На днях уезжаю в Дубулты.

6 марта 59 г.

11 марта 1959. <Дубулты>

Здравствуйте, дорогая Вера Федоровна!

Я долго не писал Вам, хотя и получил книгу, но не отвечал сознательно, и вот почему. Со дня на день я ждал выхода своей книжки в Москве, и мне хотелось к своему письму присокупить и книжку.

Но поворотливость наших издательств Вам известна — книжки я не дождался, махнул на нее рукой, собрался в Дубулты, как вдруг получил накануне отъезда, но не московскую, а из Архангельска.

Ее я Вам и посылаю. Во-первых, московская книжка мало отличается от этой по содержанию, во-вторых, ту легче достать, а эта в некотором роде уникальное издание...

Вот. Читайте и судите об успехах Вашего подопечного члена СП.

Ваша книга — чудесная! Хорошо издана, язык — все претотменно! Большое спасибо, я очень рад, что Вы не забыли меня отметить таким дорогим подарком.

Есть у меня и замечания по роману, вернее, одно замечание, на мой взгляд, — существенное. Касается оно романа в целом, т. е. его законченности. Но я не буду сейчас писать: это трудно, субъективно и почти не доказуемо. Лучше поговорить как-нибудь при встрече об этом. Кроме того, очень

подозреваю, что Вы наслушались стольких мнений о своем романе, что мнение еще одного читателя не столь уж и важно для Вас. Тем более, что роман издан и изменен, по видимому, быть не может.

Я рекомендован на семинар рассказчиков, кот<орый> состоится в апреле. А в списке руководителей семинара я видел Ваше имя. Если Вы не будете возражать, я очень хотел бы опять заниматься у вас.

В Дубултах земля обнажилась. Белки валяются на дорожках. Солнце светит. А земля еще не оттаяла. И не поймешь — не то весна, не то осень. Что-то противоестественное.

Мне было плохо весь прошлый год — даже ужасно. Но все ничего — вытерпел. И понял наконец причину Вашего спокойствия и своей нервности. Я Вам ее расскажу, если увидимся в апреле — Вы удивитесь.

Как Вы довольны своим портретом в «Октябре»?

Мне даже писать Вам страшно, ей-богу! Но все равно я Вас люблю и даже не стыжусь в этом признаться. Мало у нас настоящих поэтов в литературе, и тем дороже настоящие.

А как у Вас получаются рассказы? Вы не покажете мне их в рукописи? Или Вы не показываете?

Будьте здоровы! Всего Вам доброго, дай Бог Вам здоровья!

11 марта 59 г.

Ваш Ю. Казаков.

23 ноября 1959. <Москва>

Дорогая Вера Федоровна,

Поздравляю Вас с прекрасными рассказами. Они прямо-таки великолепны, ей-богу, и они бесспорны, т. е. цельны. От них круглое впечатление, душа не саднит, никакой нет неудовлетворенности. Это очень чувствуется, это чувствовалось в «Сент<иментальном> романе», но там как раз была какая-то неудовлетворенность, никто не мог попасть в точку, все говорили равно, но все как-то поеживались, а тут все в один голос: превосходно!

Я очень рад Вам об этом сказать, так как — простите — Вашу победу считаю и своей победой, вообще победой всего талантливому, что у нас есть.

Оба рассказа без конца, один переливается в другой, и я подумал даже, что не будет ли это просто повесть, когда весь смысл заключится в последнем рассказе, все развяжется и разъяснится.

Но это ведь и не столь важно — повесть, рассказы, — пусть критики подыскивают название жанра, важно, что это настоящая проза.

Опять пахнуло войной. Я в Москве был всю войну, и уверен, что война в огромном городе имеет особенный привкус, особенную страшность, потому что, когда миллионы людей катастрофически попадают из нормальной жизни в ненормальную, это что-то более гнетущее, чем взрыв бомб и снарядов в поле, в лесу, по деревням, словом — война пространственная. Да, когда большой город погружается во тьму, а дети в муках сравниваются со взрослыми, это потрясает.

Живу я сейчас в Малеевке, пишу для «Костра» рассказ, очень как-то трудно, манера у меня в этом рассказе сказовая, нельзя с тона сбиваться, бросил бы, да аванс взят, надо расплачиваться.

Всего доброго, большой привет Д. Я.

23 ноября 59 г.

Ю. Казаков.

Телеграмма. 29 ноября 1959

Принят СП. Очень благодарен за рекомендацию. Горячо поздравляю опубликованием «Сентиментального романа».

Казаков.

Ф. И. Панфёрову

4 августа 1959. <Москва>

Дорогой Федор Иванович!

Вас нет в Москве, и я скоро уезжаю и не знаю, когда Вас увижу. И потом, в разговоре я, наверное, не скажу того, что так хочется Вам сказать.

Сказать же мне хочется вот что. Вы по-настоящему помогли мне в самую злую, трудную минуту – и это не забудется. Мне особенно радостно, что рассказ все хвалят, меня поздравляют, и выходит, что я уже как-то отблагодарил Вас как редактора. Мне было бы хуже, если бы рассказа не заметили.

И мне хочется принести Вам еще что-нибудь настоящее, хорошее, чтобы Вам понравилось, чтобы еще и еще оправдать Ваше доброе внимание ко мне. И еще хочется, чтобы и Вам что-нибудь сделал хорошее, когда Вам будет тяжело.

Будьте здоровы и удачи Вам во всех Ваших делах!

4 августа 1959 г.

Ваш Казаков.

Л. В. Никулину



18 августа 1959. <Москва>

Уважаемый Лев Вениаминович!

Пишу Вам как человеку, долго занимавшемуся Чеховым, как человеку, понимающему, что такое русская культура и ее история для нас.

Молодой ленинградский писатель Виктор Конецкий написал рассказ о Чехове. Скажу Вам прямо – среди современных молодых писателей нет такого, который бы вызывал у меня зависть. Но этот рассказ написан так пронзительно-поэтически, что мне до точки жалко стало, почему не я его написал. Есть такие великолепные вещи, о которых нельзя без зависти думать.

Содержание рассказа – мелиховский период, любовь к Лике Мизиновой, написание «Чайки», провал этой чайки в Петербурге, и петербургская ночь Чехова, когда, помните, он пропадал где-то, а утром уехал. Момент в жизни Чехова важнейший! Вы знаете, как мы беспомощны обычно, когда пишем, как человек поет, или играет, или сочиняет стихи. Сплошной штамп и выпренность! «Звуки рвались ввысь». А Конецкий сделал процесс писания «Чайки» так, будто я сам пишу – прелесть! Точно и внятно.

Пишу я Вам затем, чтобы Вы помогли Конецкому. Рассказы такого рода необычайно трудно пробить в свет, знаю это по собственному опыту.

Помогите ему практически, пожалуйста! Вы старый писатель, и авось Вас послушают. Сделайте божескую милость! Нельзя пропадать таким вещам. Да и о Конецком надо подумать – он-то писал эту вещь трудно, я знаю, и, если она света не увидит, это ему подобьет крылья.

Л. В. Никулину

Адрес его: Ленинград, канал Кронштейна, 9, кв. 19.
И. О. — Виктор Викторович.

Напишите ему, он Вам пришлет рассказ. У меня есть экземпляр, да взял его один поэт, а теперь уехал.

Будьте здоровы!

С уважением Ю. Казаков.

18 августа 59 г.

Арбат, 30, кв. 29.

Ю.А. Файту

3 ноября 1959. Москва

Милый Юлий Андреевич!

Вы, наверно, ругаете меня последними словами – и стоит! Совсем разучился работать, не тянет. Вместо предполагаемых 3-4 дней возился с рассказом для «Костра» я почти две недели, работал урывками, больше бродил, спал, играл на бильярде.

Я посмотрел здесь несколько итальянских фильмов, и стало мне грустно очень – так здорово. Сомневаюсь в себе и вообще в Мосфильме.

С завтрашнего дня, обещаю Вам, засяду за сценарий¹. Срок у меня до 12-го, но я, вероятно, продлю еще на месяц, т.к. много работы.

Будьте здоровы. Как только напишу черновик, тотчас извещу Вас.

Малеевка, 3.XI.59.

Ю.Казаков.

¹ Сценарий фильма по рассказу «Манька». Фильм должен был быть режиссерской дипломной работой Ю.А. Файта.

Т. А. Жирмунской

15 ноября 1957 <Москва>

Как нехорошо! Ай-яй-яй...

Я сперва глаза вылупил, не понял, что от тебя записка, передала Майка, я думал — от нее. Читаю, судорожно вспоминаю, может быть, я ей когда то объяснился в любви, а она только теперь среагировала! Потом все-таки уразумел автора, а, уразумев, крикнул.

Разве можно такие вещи делать! А если бы я поверил тому, что ты написала — какой ужас! Человек я нервный, фанатист, мне работать надо, я сейчас пишу мистический рассказ, там любовь и смерть, внезапные, как взгляд вора, такое напряжение, такая мука, я рад страшно, что спокоен, а тут ты такое пишешь.

И вообще, если я хороший человек, как ты говоришь, меня разыгрывать не надо, о боли своей так говорить не следует. Я знаю, что тебе больно, знаю, почему больно, т. е. думаю, уверен, что знаю. Черт вас всех возьми! Мог бы я — всем вам счастья и радость на веки веков преподнес бы на блюдечке, столько на свете развелось страждущих душ, хоть богадельню для них открывай. А что я могу? Гляжу только, понимаю... Единственная радость моя — могу как-то выразить, зацепить то с одного, то с другого края, да и то слабо, и одно теперь желание: лучше, лучше! А лучше-то, знаешь, кусается, тяжело, мозги выворачиваются, хорошо здоров я от природы, так уж рассыпался наполовину только, еще держусь, был бы послабее (вроде Симоненка), давно бы кровью плевал, так тужусь и томлюсь. А с другой стороны — на кой мне все это? Чужие страдания и т. п. Наплевать мне на них! Так вот и валишься то на один бок, то на другой.

Впрочем, все это мура, а вот скоро Н. Першин будет читать мое «Голубое и зеленое». Читать будет и романсы петь по ходу действия, трио будет играть Чайковского, Рахманинова, чудно, я уж и сам себе не верю. Пришел ко мне хлюст какой-то, начал очаровывать, то, се — говорит, вы да мы... Оказалось — какой-то Гришин. Набрал рассказов у меня, дает теперь своим ученикам, те на память зубрят, и скоро по Москве пойдут литературно-танцевальные вечера из моих вещей. Каково? Небось, завидно? То-то, а вот жалко мне одного: разучился играть, так вообще могу, но техники прежней нету, а то бы сыграл в трио. У Чайковского изумительное трио есть «На смерть великого артиста», знаешь? Мне часто во сне снится, что я играю. Проснусь, так жалко. А я, может, если б занимался, каким бы музыкантом был!

Мне в институте скучно что-то. Скоро в Ленинград уеду, на две недели, уж там я поброжу! Слушайте себе тут Зарбабова, а я в Ленинграде буду пьянствовать от восторга, какой год! Какие стихи я написал о нем, ого-го!

И вот уж вздыблен мост,
Застыл, воздевши руки,
В трагическом актерском жесте,
Как царь толпы и будни жизни раб...

Это кусок моего большого стиха «Грядущее возмездие». Катька читала, отдала назад, вся красная. Ничего не сказала, убил я ее своей гениальностью.

Поедем в Ленинград? На л-ских поэтов с презрением бы посмотрели..

Ну, пока. И не думай, что я тебе серьезно пишу, так я это, дурачусь, у меня сегодня рассказ немножко захряс, а я, когда захряснет, письма пишу, вот и тебе написал, благо причина есть, без причины не напишешь. Будь здорова и не кашляй. В понедельник можешь последний раз полюбоваться мной, во вторник уеду. А Коринец-то! В Ялте кайфует подлец! Я знаю теперь, только что подумал — ты его любишь! Не даром летом ему такое письмо написала. Мне, небось, не написала. Ну я прощаю тебя и все равно люблю! Вернее, «Памяти вел. Артиста».

15 ноября 57 г.

Ю. Казаков.

22 марта 1958. Дубулты

Здравствуй, Цапля! Сегодня День весеннего солнцестояния! Поэтому настроение у меня прекрасное и голова моя теперь — как бильярдный шар — отражает солнце и празднует весну света. Еще сегодня твой день рождения, и это тоже немножко влияет на мое настроение. Но только чуть-чуть. А главное, конечно, то, что я сегодня закончил новый (пятый по счету!) рассказ. Ты даже сообразить не можешь, о чем я в нем пишу. Я и сам не знал ничуть. А было так. Есть тут один парень, не лишенный элементарного чувства красивого. Однажды, когда мы с ним гуляли, он сказал: «Здорово здесь! Домики чудные, так и ждешь, что из окошка покажется тролль и заиграет на серебряной флейте!» Так эти тролли и запали мне в душу. А три дня назад я пошел к морю и забрел в прелестный уголок — огромные пустые участки и заколоченные дачи. На одной из них к стене прибиты олени рога (снаружи). Домой я пришел уже обалдевшим, с мыслью писать рассказ о девочке и троллях. И в два дня накатал его. Называется «Девочка и тролли», но это пока условно, м. б., придумается лучше. Я его перепишу еще раза два и пошлю в Москву на радио. И если там не будут идиотами и хлюстами — недели через две я буду лежать на диване, дрыгать ногами и слушать свой рассказ. Музыка будет Грига!

Кроме этого я еще наваял 4 рассказа, один из которых, правда, посмертный (о Ленинграде, пьянице, дикой любви, белых ночах, подъемах мостов и смерти в конце, как вопль рока в симф<онии> Чайковского — внезапный и страшный). Вообще я здесь опозитизировался, живу ловко, о вас, чертях, не скучаю, и Москва — вещь для меня вовсе не обязательная.

О том, как я пишу, т. е. о качестве написанного, можешь судить по моим прежним вещам. Но теперешние — лучше. Доказательство тому тот факт, что лдский критик Штейман, прочтя мой рассказ стал рыдать и просил его у меня для «Звезды». Но я сказал: накося, выкуси! Ведь меня ждут «Знамя», «Октябрь», «Огонек», «Москва» и пр. журналы, которым я и раздам свои вещи по приезде.

Вообще же, тут весна, причем не то что в Москве, т. е. я могу видеть настоящую весну. И как бы хорошо, если б она длилась долго и я мог бы долго отсюда не уезжать.

Итак, тебе пошел 23-й год? Ах, ах! Старуха ты! А мне пошел с этой весны 29-й год — я теперь буду расти назад к 18 годам. Ты выйдешь замуж, состаришься и страшно располнешь, а я буду все холостой, все буду праздновать весну и свободу и писать мистерию.

Больше я тебе ничего писать не буду — нечего. Жизни здесь никакой — спишь, встаешь завтракаешь, работаешь и шляешься. Событий нет. Самые важные события те, что я наконец пробудился от спячки и стал работать. Талантливых писателей здесь тоже нет — одна вшивота и хлюсты. Один я тут, и немного скучно. Удовлетворить мою эстетическую душу можно только коньяком, да я не пью, не с кем. Ну будь здорова, напиши мне об институтских делах, кто защитил уже и скоро ли у тебя защита, возьмусь за пиратскую повесть. Письмо посылай авиапочтой. Если ты защитишься до моего приезда, телеграфируй — как?

Ю. Казаков.

Я выпил сегодня за твоё здоровье сто граммов рому. Тут продается ром. Я его выпил и почувствовал себя пиратом.

Дубулты. 22 марта 58 года.

27 июля 1958. <Ленинград>

Мамаша, я протаскал вчера весь день письмо в кармане, так и не опустив его. Причины были следующие: не было денег. Буквально, ни копейки не было денег, не на что было купить конверт. Потом я занял, но уж вечером, так и не отправил. Но это ничего. Зато я хочу тебе написать кое-что еще про праздник. Сегодня в Питере морской праздник. Во вчерашнюю ночь вошли в Неву военные корабли. Они прикрепилась к плавучим барабанам и встали носами вверх. Вечером они разиллюминизировались. Загорелись на ростральных колоннах багровые факелы. А сейчас, когда я тебе пишу, с Петропавловки салютуют. Сейчас идет дождик, не знаю, какой вышел праздник при такой погоде. Я тороплюсь, т. к. до отъезда мне надо выяснить, где пристань и пр. и кое-что купить на дорогу. Я ведь сегодня уезжаю, погода, кстати, испортилась и не так жалко уезжать. А вчера был прекрасный вечер, свет, как я тебе писал, зажг-

ли в 11 часов, а до этого — сумеречная Нева и огонь на ростр. колоннах. Огонь живой, что вообще странно в городе. Днем же по Неве носились торпедные катера со страшной скоростью, поднимали огромные волны, которые к удовольствию ленинградцев переплескивались через парапеты.

Ах, мамаша, почему тебя нет со мной, почему в это странное, тяжелое время мы особняком каждый и где-то, когда-то мы соединимся или уж никогда? Это будет грустно для меня, т. к. почему-то я не хочу более никого знать. Ну да ладно, прочь печаль, как поют цыгане.

Будь здорова, не болей, по мне не скучай, не думай, пиши себе стихи, решай себе кроссворды, стой на боевом посту в деле боевой и идеологической подготовки.

Ю. К.

Ух, как, наверное, Коринец сердится на меня (воскл. знак). Ведь я не еду с ним, как обещал, а еду сам тосковать, молиться, радоваться и бог знает, что еще перечувствовать. А думаю об одном, все об одном — не пропало бы это для меня, не исчезло бы, не застыла бы кровь, а то зачем все, зачем я еду? Написать бы чего-нибудь.

Итак, решительно еду, и знаешь куда? В Кижы, в Повенец, в Петрозаводск и бог знает, куда еще занесет меня нелегкая. Сегодня измучился, все бегал и вот перед самым отъездом сижу на почте и отправляю тебе письмо. Еще бы неделю такой жизни — и ты получила бы от меня полное собрание писем в 5 томах, т.к. я все собирался бы отправить и все дописывал бы, дописывал... Подыщи мне что-нибудь о Лермонтове (37 г.), где жил, кого посещал и т. д. (это если ты ходишь в Ленинку).

27 июля 58 г.

Ю. К.

5 сентября 1958. Нижняя Золотица

Мамочка моя, куда меня занесло! Что-нибудь одно: или я дурак совершенный, или самый мудрый и хитрый человек — или я уеду отсюда, проклиная Север и себя, или привезу в Москву полный мешок поэзии и счастья.

Пишу тебе сейчас потому, что нечего совсем делать — погода на дворе страшная, с ветром и дождем, температура, верно, —1. Но вчера я хватил-таки добрую стопку поэзии. Начать с парохода. Ну, пароход черный, погребальный, мрачный, 3-го класса, в котором я ехал, — грязный и жесткий, под потолком вечером тлели четыре лампочки, было сумрачно и нехорошо. Ехали на нем все местные и солдаты, шел он в Мезень. Солдаты и гражданские как начали пить в Архангельске, так не перестают, наверное, и сейчас, — все это довольно обычно, знакомо и противно. (Вот она, «легкая-то жизнь»!)

Но на пароходе ехала девушка одна, я заметил ее еще в Архангельске и, грешным делом, крикнул тогда же — такие глаза, как у нее, — редкость великая, даже трудно подыскать определение: ленивые, странные, сумрачные, загадочные... все не то! Они такого, знаешь, лиловатого цвета, с темными длинными ресницами, м. б., тут ресницы играют роль, черт ее знает. Словом, я ошалел. По цвету они похожи на твои, но слегка выпуклые, помнишь Наташу Тарасенкову? — так вот примерно такие. Но у тебя в глазах что? — у тебя ум и внимание, дух, душа, у тебя глаза переменчивые, но интеллект в них виден всегда, и сострадание, и нежность, бог знает что еще, много, а у этой не то, у этой — сумрачная загадочность, как, м. б., у Маньки моей, я примерно такими воображал глаза Маньки, только зелеными, а у этой — фиолетовые.

Так вот, оказалась она моей соседкой, ну, я был мрачен, скучен и не помышлял, конечно, чтобы ухаживать за ней, к тому же ехали с ней ее знакомые ребята, и в ухаживателях недостатка не было. Но я все хотел еще и еще окунуться в ее глаза — тра-ля-ля... Почему бы не насладиться, не воспарить душой? Только сперва ничего не получалось — ни разу не взглянула она на меня хотя бы мельком. А потом как-то разговорились, уединились, на меня нашел стих — плотина лопнула, я стал оживлен, поэтичен и даже почти не заикался — представь! — голос мой играл и переливался, вздрагивал в нужных местах и пр. и пр. И все я чувствовал на себе ее взгляд, все боялся взглянуть, но потом внутренне подби-

рался, взглядывал — и прощай все! — готов был, если б так глядеть, плыть с ней хоть на Чукотку (она плыла далеко, в Мезень). Ну вот, это, так сказать, первый глоток — ты не реву, глоток чисто писательский, наблюдательный.

Приехали в Золотицу ночью, ах, я забыл еще сказать, вечером я торчал на палубе и думал, вспомнил, вернее, как фосфоресцирует Черное море, и только подумал, как гляжу, в струе у борта зажглось ярко-зеленое пятно и медленно стало отходить назад и гаснуть, потом еще и еще... так я и не понял, что это светилось, м. б., медузы, сталкиваясь с корпусом парохода, вспыхивали. Но бледный их мертвый свет вспыхивал все время то ярче, то глуше, верно, от того, на какой глубине вспыхивал. Было холодно, и я думал еще, что, если прыгнуть в воду, то больше двух-трех минут не продержишься, заколенеешь и утопнешь, и долго будешь идти ко дну — глубина, наверное, была метров 400–500.

Ужасный ветер, прямо изба дрожит и замерзли ноги (я живу в отдельной комнате, довольно прохладной, со скрипучими половицами). Еще наслаждение: я ел арбуз. Знаешь, что-то есть сладкое и необычайное, что на севере, в холодном море под северным сиянием ты еще ешь арбуз и бросаешь корки за борт. Дул сильный ветер, выдувал из глаз у меня слезы, слезы текли по щекам, попадали на арбуз, арбуз тек по подбородку и охлаждал, а я все равно ел. Блаженство!

Итак, мы подъехали ночью, загредел якорь, зажгли бортовые огни, спустили трап и стали ждать. Минут через 20 подъехал первый катер, за ним мотодора. Стали слезать. Я сел в катер, кому-то сказали, чтобы он меня проводил к какому-то Пахолову, он обещал, я сел в катер и закачался. Перед нами был черный борт, мы то поднимались вверх к желтому свету ламп, то опускались вниз в черноту, желтые иллюминаторы то оказывались на одном уровне с нами, то уносились в высоту. Потом мы отчалили от трапа, мотор затарахтел, и мы понеслись куда-то в темноту к берегу, вдали мигал проблесковый огонь — красный и зеленый. Вдруг мотор наш стал барахлить, и мы вынуждены были останавливаться и ждать, когда в карбюратор наберется горючее.

Над нами полыхало сев. сияние. Небо было чисто и черно, луна окружена мутным ореолом, а в зените стояло пятно света, и от него во все стороны чуть не до горизонта тянулись не лучи, не полосы, а какая-то стремительная ткань, имеющая, однако, направление к зениту <...>. Похоже было, что мы сидим в центре гигантского шатра. Все постоянно менялось, самые различные оттенки, но больше всего гранатовых, кровавых, мрачных, но и передергивалось также зеленым, голубым, белым... И сквозь этот свет были видны звезды.

— К холоду! — говорили в катере, и вот, пожалуйста, холод. Меня вели вчера темной деревней, привели в дом; я дрожал и посинел, так замерз.

Только что заходил хозяин и оторвал меня от письма. Зовет к себе на тоню, на которой он живет с каким-то парнем, по-видимому, с придурком — он неясно как-то сказал. Значит, поеду — там же и маяк есть, и радист: м. б., как-нибудь брякни тебе оттуда телеграмму. А завтра я поеду в Верхнюю Золотицу — это десятью верстами выше по реке. Там я посмотрю, как и что, проживу несколько времени, потом спущусь вниз и уже на море. «Птица Сириин» скоро запоет свою песню.

Я послал тебе из Архангельска смурное письмо. Теперь уж я успокоился и взыграл духом: прочь, прочь все! Гранки я отнес, моей возлюбленной не было — она заболела. Испытал я некоторый укол, стеснение, хотел даже зайти к ней домой, да, слава богу, не было времени — в 13 часов уходил пароход, а мне надо было написать письма и т. п.

Тут, говорят, где-то рядом (км в 50) кочуют со своими оленями ненцы. Если мне повезет, я, м. б., заберусь к ним. Не знаю, дрожит у меня в душе что-то, какой-то зайчик солнечный прыгает иногда, мелькнет, вздохнешь только и не поймешь, что же это такое с тобой. Но есть ли это, я думаю, тайное предчувствие удачи?

Да, был я сегодня на погранпункте. Пошел туда с тяжелым сердцем. Ты знаешь мою старую неприязнь и боязнь всяческих таких объектов, зон и т. п., т. е. тех мест, где тебя перестают рассматривать как человека и начинают глядеть на тебя как на объект, кот. должен находиться под наблюде-

нием. Так вот, пошел представляться. К счастью, капитан попался хороший, похвалил, что я приехал изучать жизнь поморов, сам пошел познакомиться меня кое с кем и даже предложил вымыться в бане...

Ура! Отлегло немного от сердца. Я сказал ему, что есть у меня фотоаппарат и бинокль, и теперь могу снимать и глядеть в бинокль и чихать на всех.

Не знаю, когда ты получишь это письмо. Отсюда оно пойдет долго.

Во всяком случае, в моем распоряжении еще дней десять, пока я тебе могу писать, а потом ты уедешь, и мои письма тебя не застанут.

Пиши мне на Золотицу. Адрес: дер. Нижняя Золотица Архангельской области. Посылай авиапочтой.

Ну, будь здорова, целую крепко, молю Бога, чтоб эта поездка дала мне духу на что-нибудь хорошее, чтоб и тебя обрадовать.

А жалко, что ты не со мной! Тут много на берегу пустых тонь. Можно жить в какой-нибудь, ловить рыбу и молиться Богу.

Скоро, скоро попробую я ухи из семги. Ай-яй, ты бы с твоим аппетитом умерла бы от счастья.

Привезти тебе подарок? Привезу!

Будешь писать, пришли мне свои стихи. Ладно?

Нижняя Золотица, 5 сентября 58 г.

Юрий.

26 сентября 1958. Архангельск

Сегодня прикатил в Архангельск и получил сразу целую кучу писем! Они жгли мне карман, но я терпел: пришел в гостиницу, спустился в ресторан, заказал шикарный обед (первый обед за месяц!) и, выпив рюмку коньяку, принялся за письма.

Ну, конечно, я страшно расстроен и удивляюсь, как вы втроем не могли сообразить (или вспомнить), что при наличии (простите за канцеляризм) бюллетеня путевка продлевается и пр. и пр., а билет можно купить всегда. Зачем было отдавать путевку!

Ужасно, я так расстроен и прямо не знаю, как быть, — ведь я еду отсюда в Пицунду, ведь мама уже там и ждет меня. Ну да ладно, потом что-нибудь выяснится.

Я перся пешком по берегу, и бывали моменты, когда я напоминал сам себе джеклондоновского героя. У меня был рюкзак 25 кг, ружье, патроны, удочки и спиннинг, сапоги, джемпер, куртка и плащ, и шапка зимняя: со всем этим и во всем этом я топал берегом моря, увязая в песке, или спотыкался на камнях и скалах. Бывали моменты, когда я валился отдыхать через каждые полчаса; ноги я разбил в кровь, несколько раз блудил, но все кончилось благополучно.

Дошел я до Куи (есть такая деревня), и тут как раз пришел пароход, я глянул на него, не выдержал, схватил рюкзак — и вот сегодня я уже в Архангельске.

Спасибо тебе за письма, вернее за то, что ты думаешь обо мне. Поездка моя оказалась совсем не тем, что я воображал себе. Т. е., к ужасу своему, я понял, что или я прав, или я совсем не туда забрался. Если все писать, как я чувствовал здесь, то это гроб, а по-другому писать, т. е. не то, а как надо — тоже гроб.

Я, м. б., покажу тебе дневник, я тут от скуки плел чего-то, ты увидишь, что я совсем зарыпался и того, что мне нужно бы, я не увидел, проглядел что ли, а всякие ощущения — это все эфемерно и, м. б., неверно. С чем я приду к Панферову! Наверное, мне надо бы съездить на Кубань или еще куда, где люди получают ордена за урожай и живут, вероятно, поиному, чем здесь. Здесь же умирание, хуже, чем было, если верить, скажем, Пришвину и прочим. Я не могу тебе писать всего, что я тут увидел и подумал и пр. — я тебе говорил уже, прочитай «Колобок» Пришвина, сделай поправку на сегодня, т. е. преобразуй деревни в колхозы и т. п., и вот тебе точная картина жизни теперешних поморов, а мысли и ощущения Пришвина — мои мысли и ощущения!

Ты пишешь, что читать Гамсуна — мука для тебя. В каком смысле? В плохом или в хорошем, т. е. сладкая мука? Неужели он не нравится тебе?

Милая, прости, чувствую, что письмо мое и сухо, и невразумительно, но ярче и толковее писать я не в силах, м. б.,

отупел, а м. б., всегда таким был, только притворялся тонким и глубоким.

А точнее: цельное впечатление — не для письма, а деталей разных, тонкостей, довольно много и всех не выскажешь в письме.

Хотя бы вот: я провел часа 4 на этой тоне. За окном пасмурно — море спокойно, на берегу чайки. На тоне было двое рыбаков. Один помоложе мастерил ножны для ножа, второй постарше, глухонемой, курил и глядел в окно и опять курил. Изредка он зажигал спичку и палил на окне вялых осенних мух — тогда лицо его немного оживлялось. А я сидел мокрый возле холодной печки и зябко дремал. За 4 часа, кроме «здравствуй» и «до свидания», не было сказано ни слова. Какова картинка? Готовый рассказ — а попробуй-ка напиши, какой вой подымут! Забыл! — молодой рыбак изредка прекращал свое занятие (ножны), смотрел тоже в окно на чаек и бормотал:

Чайки ходят по песку,
Нагоняют нам тоску...

Потом снова принимался стругать и примерять. Вообрази-ка месяцы такой жизни.

Ну, миленькая, ты уже, верно, поправились, как нехорошо, что случилась эта ангина, — да и больно-то как и мерзко. Вот ты меня предупреждала, а сама свалилась.

Как же мы с тобой теперь?

А диким образом ты не поедешь, верно? Не пустят? Ну ясно, не пустят.

Завтра или послезавтра я, верно, уеду из Архангельска в глушь, но теперь уже в «материковую» глушь, в какое-нибудь лесничество. Там я пробуду несколько дней, наверное, недолго, а потом буду уже подаваться к солнцу, на юг — как удав, проглотивший слишком много, буду лежать на солнце, дремать и переваривать скопленное на севере.

Поправляйся и не беспокойся обо мне, поздравляю с «Коллекционерами», а я-то! В атеисты попал! Господи, прости меня дурака грешного и помилуй и не оставь своими милостями! Вот не думал, не гадал.

До свидания, спасибо за все, целую крепко!

Архангельск, 26 сентября 58 г.

Твой Юрий.

29 октября 1958. Пицунда

Тамарка!

Я получил твою телеграмму, полную материнской нежности и подписанную так: мама (доехала благополучно лучше катером целую спасибо = мама). После того, как ты уехала, я получил еще два письма от Баруздина — одно сюда, а другое мне переслали из дому, получил также и твою прошитую записку от третьего октября. Бедная, бедная ты, а я жестокий зверь.

Баруздин пишет, что меня приняли в СП, но еще не утвердили президиумом. Президиум должен был состояться 27-го октября.

Но это не главная литературная новость. Главная, что Пастернаку за роман «Доктор Живаго» и за лирику дали Нобелевскую премию. Скандал страшный. Не знаю, чем кончится, наверное, его вышлют из СССР. Из СП во всяком случае исключат. Сегодня или завтра получится следующий номер «Литературки», я тебе потом привезу.

Погода стоит ужасная, и я захандрил, причем жестоко. В комнате холодно. А позапрошлую ночь была луна и снег в горах сиял.

Сегодня пробовал писать и вчера тоже, но ничего не выходит, хоть волком вой.

Я все подумываю, не смыться ли мне в Москву и тут же вопрос: а в Москве что?

Словом, паскудство. Единственный мой собеседник (инвалид) уехал, и я теперь совсем один. Мама сегодня ушла к знакомой, оставила меня, чтобы я работал.

Тамарка, ей-богу, я ничтожество.

До свиданья, моя детка. М.б., до Москвы, т. к. я не знаю уже, приеду ли к тебе, как хотел, уж очень нехорошо со мной. Вдруг я сорвусь еще раньше тебя.

Но ты все-таки поглядывай в окошко.

Целую и обнимаю.

Читаю Блока.

Пицунда, 29 октября 58 г.

Юрий.

Ради бога, хоть ты-то пиши! Нам надо работать. Мысль, что ты пишешь, м. б., и меня подтолкнет и пристыдит. А то нельзя же, надо писать, причем сценарий и проч. не в счет — чисто денежные работы, надо писать для будущего.

Очень хочу, чтобы ты не зря провела эти последние дни здесь, хочу гордиться тобой. А на меня не обращай внимания, это со мной теперь почему-то почти постоянно. М. б., это болезнь, но она не должна превращаться в заразную.

А я должен ее преодолеть. И преодолею — вот тебе слово!

М. б., мне не приезжать, если ты работаешь? Телеграфируй мне. А то выйдет как со мной. Я было вздохнул, уперся, задрожал, хотел что-то написать, но ты приехала и все нарушила. Хоть и сладкое нарушение, но я не хочу быть тебе помехой. Это все, если ты здорово взялась, а если нет, тогда прикачу. Я все-таки хочу приехать электричкой, т. к. где я буду искать машину из города.

17 марта 1959. Дубулты

Тамарочка, милая!

Спасибо за письмо и за хлопоты (с Баруздиным), хоть я не верю в их полезность. Рад я твоему бодрому письму и хочу думать, что эта бодрость не напускная. А?

Год прошел, а как ничего не было — опять ты в Москве, я в Дубултах.

А здесь все то же, только снегу нет давно, давно пахнет апрелем. И так все странно, пойдешь вечером на станцию письмо опустить, зайдешь в буфет за папиросами, будто вернешься к старой забытой жизни, поглядишь на людей. А домой идешь — сумерки, зеленая заря, черная кирха, безлюдье, пустота, странное очарование. Где я?

Вечерами здесь жгут листья. Кучи багрово тлеют, и все пахнет дымом — лес, дом и даже руки. Я почти не работаю, переписал только рассказ для «Мурзилки» да с грехом пополам нацарапал для «Крестьянки» статейку об Аксакове.

Все собираюсь сесть за повесть, да как подумаю, что повесть — вещь большая, работать над ней долго надо, то и думаю: успеется еще. Насчет рассказов — ни-ни! В голове блаженная пустота. Много хожу, рассказываю и выслушиваю разные случаи.

Тут у меня есть постоянная собеседница и спутница, дама лет под 60. И поделом мне!

В самом деле, в первый раз мне так приятно не работается. Хоть бы хны! И писать тебе нечего. Одно только могу сказать, что часто о тебе думаю и в смыслах самых положительных и приятных. Ну да это старая история.

А как ты поживаешь? «Как живется вам, бедняк, ежится, поется как?»

Ты хотела несколько строчек — вот они, получай. «Их есть у меня».

Как тебе показалась «Манька»? Я, знаешь, не удержался-таки, кое-кому ее всучил почитать, впечатления самые высокие, меня ругают и хвалят, но это как-то мало трогает и зря все-таки давал, не надо бы...

Ну, до свиданья! Целую крепко, не скучай. А у меня настроение прекрасное, самое курортное.

Дубулты, 17 марта 59 г.

Твой Юра.

1 апреля 1959. Дубулты

Дорогая унд любимая моя! Унд — это «и» по-немецки.

Вчера придумал, а сегодня наконец начал писать новый рассказ. Рассказ о Пасхе, о пасхальной ночи, о благовесте, о любви, о весне, о добре и вечной жизни — и да поможет мне Господь Бог! Я так рад теперь — главное, чтоб не растерялось то, что вчера подкатило и так ясно встало и вообразилось, что у меня аж мурашки по коже пошли.

Какая удача: и мой старый дом с его запахом пыли арабийских пустынь от черепицы — все пойдет в рассказ, и так естественно: девочка ночью выпрашивает ключ и ведет моего Павлика в этот дом. Ах! А свечи, а крестный ход, а пение, а крик: «Христос воскрес!» А Ока внизу, а запах дыма от

листьев, которые жгут в парке возле дома и... бог знает, что еще. Кончается же все березовым соком, который брызжет, капает в темноте — всюду.

Акции моих двух книжек все повышаются. Их тут читают и если бы ты знала, как смешно мне и любопытно. Давеча сосед мой какой-то милый еврейчик Соломон Константиныч ворвался ко мне и закричал:

— Аха-ах! Чудо, что за рассказ «Никишкины тайны» — лучше всего вашего, лучше «Арктура» и «Маньки»!

И «Никишка» в моем собственном мнении сразу подскочил на 20 пунктов. Я вспомнил, с каким стыдом я его писал. Не знаю почему, но этот рассказик мне было стыдно писать, будто я раздеваюсь.

И так постоянно — кто-нибудь похвалит вдруг неожиданно какой-нибудь рассказ, выделит его, вознесет, и я страшно начинаю им любоваться.

Новостей у меня почти нет. На днях только получил неожиданно договор с «Совписом» на 15 листов. И — предать! — воспринял это, как нечто вполне естественное.

Погода все хорошая стоит, море великолепно. Вчера в 2 вечера мы вышли на море: низко над морем, на С.-З. стояла звезда. От нее к берегу была дорожка света. Мы поразились. Тем более что этой звезды ранее никто не видел. Мы пошли в сторону Дзинтари, к маяку, все время оглядываясь на звезду. Она вдруг начала опускаться за горизонт, все тускнела в дымке и через минут 30 скрылась за горизонтом. Мы поняли, что это была не звезда. Но что это — воздушный шар? Мы долго гадали, потом разошлись и легли спать.

Я купил себе австрийское пальто. Короткое, сероголубое. И берет. Теперь я хлюст вполне. Ты меня должна отвергнуть.

Приеду я в Москву числа 10–12, только вот кончу рассказ и быстро закружусь, повесть пока моя не идет.

До свидания, целую тебя крепко, в губы твои — кровь и смоль — и в глаза твои — ярь и жарь!

Дубульты. Вечером. 1 апреля 59.

Твой Юрий.

7 апреля 1959. Дубулты

Ух ты моя крошка! Милашка! Ах ты молоток! Как это ты меня ругаешь за эти слова, когда я тебя называю любовно? Как это вообще ты едешь куда-то в Калинин, когда я сижу в Дубултах, причем окончательно одубултенный?

Ты знаешь, меня таки раздолбали уже в Архангельске. Статья называется «Тени прошлого» — а? Тон и содержание этой поносной статьи я тебе не стану цитировать, только конец, а он вот каков: «На наш взгляд, выход в свет книги рассказов Ю. Казакова, грубо искажающей нашу действительность, облик наших современников — строителей коммунизма, — ошибка Архангельского издательства».

А сама статья такова, что пусть меня повесят, если архангельские аборигены уже не расхватали мою книжку, чтобы постараться узнать, что же за собака этот Казаков.

Как видишь, я бодр и спокоен. Жалко только Одинцову, ей бедной, наверно, достанется.

Разноса же в Москве, по-видимому, тоже не избежать, хоть московская книжка по составу своему несколько мягче архангельской.

Но это не суть, а суть, что я получил договор на новую книгу в «Совписе» — объем 15 листов. И получил уже аванс. Как тебе нравится? Причем, если ты помнишь, я пальцем не пошевелил в пользу этого договора — ни ходил, ни кланчил, ни переживал — заявку только написал.

Я пишу тебе и слушаю радио — изумительная программа! Шуберт, Корелли, Витали, — а за окном серенький денек, мотаются на ветру ветки, и они как-то в ритме музыки мотаются, и мне очень от этого хорошо и уютно. Все-таки я напишу скоро нечто такое, чем буду страшно доволен. Хотя я тебе, кажется, зря в последнем письме похвалялся: рассказ о Пасхе что-то захряс, покрылся пленкой, и я его нащупываю.

От Коринца получил грустное-грустное письмо. Как помотришь, так мы с тобой счастливые люди!

Все будет хорошо, моя крошка, мой молоточек!

Любишь ли ты меня? А я тебя прямо ужасно и чем далее, тем более, — хорошо, что мы с тобой тогда не расстались, а то было бы очень паскудно мне сейчас.

У меня в Кремле купола горят,
У меня в Кремле колокола звонят...

Это из Цветаевой. Но у меня тоже есть кремль, так вот в нем то же самое.

Ну, будь здорова и благословенна! Все-таки хорошо, что ты собралась в Калинин, наверно, будет интересно.

Целую тебя — всю!

Будешь ли ты 14–15 в Москве?

Будь! А то я снова уеду. Я, когда приеду домой, сразу позвоню маме твоей.

Юрий.

Я для «Крестьянки» написал-таки маленькую статейку об Аксакове, и взяли ее без звука — ни одного замечания, хотя, сказать по секрету, я там наврал много. А когда писал, то вспоминал наш дождливый день в Абрамцеве. Помнишь? Ах, как я тебя люблю, ту!

Посылаю тебе кусочек янтаря, кот. тут после шторма находят на берегу. И плюс к нему поэт. образ: море бьет янтарными бусами в берег! А? Гениально!

Дубульты, 7 апреля 59 г.

2 июля 1960. <Тайшет>

Здравствуй, Тамарка! Извини, что долго молчал, но право не было ни времени, ни особенного настроения для писем. Вообще на письма я что-то охладел, послал только одно письмо домой. Пишу это дело я где-то возле Тайшета, разница с московским временем — пять часов. Вон куда забрались! Ну, ты уж знаешь из газеты, что мы были в Омске, в Красноярске, на Назаровской ГРЭС, теперь подаемся в Братск. Там мы пробудем два дня, потом Иркутск и Байкал — и домой.

Я опять попал впросак, но ничего, не слишком унываю, и, наверно, все-таки потом пригодится все то, что я здесь видел. Видел же я до позорного мало и, как ты, наверно, догадываешься, — не по своей вине. Мы тут все ездим организованным порядком по стройкам, по заводам и тому подобным объектам. Все интересно, но мои рассказы гуляют...

Единственное наслаждение, причем громадное, получил я на Столбах в Красноярске. Это что-то необычайное, небывалое, дивное. Были мы там в ночь на воскресенье, ночевали в горах, причем я дико ругался с Захарченко и Берестовым и всеми остальными, с презрением козыряя своим талантом и проч. и проч. Все это дело поливалось обильно выпивкой. Но ничего, вроде озлобления настоящего нету пока. Ну а утром отправились на Столбы, и тут началась сказка! Столбы — это такие скалы разных форм, невысокие, но все-таки на нашу меру этажей этак по десять и выше. Там есть секта или вольница, или ярманка, кто ее знает, в общем, ребята-скалолазы. Одеты они черт те во что, похожи на арлекинов, — в женские блузки, с талисманами, с перстнями, в шапочках, вышитых бисером, с кисточками, с гитарами, голорукие, в портках с желтым и красным задом, с большими крестами на груди, в галошах и резиновых тапках, с красными кушаками, с нарисованными усами, и бородами, и бровями — все поющие, забирающиеся на самые верхушки скал, играющие там на гитарах. Виды оттуда великолепные, в бинокль того больше, солнце сверкало, жарко, вольно, воздух смолист, кругом совершенно дикие рожи, все это движется, пляшет, выпивает, щупает девочек, и сам делаешься немного хмельным и самому хочется к ним. Одним словом, что-то невиданное и сплошной восторг. Хотя есть много и гадкого, это что пьяные лезут на Столбы и разбиваются, что бьют потом бутылки после выпивки и вообще между настоящими спортсменами есть подонки, которые являются на столбы только пошухарить.

Поездка эта все-таки обернется хорошей стороной, когда забудется плохое. А пока плохого много. Вагонная жизнь, теснота, жара, пыль и дым, грязные рубашки, невысыпание. Жара стоит все время невыносимая — 30–35 градусов. Жара эта меня изматывает вконец, неохота ничего делать и ни о чем думать. Кроме того раздражает неправильная организация всего дела — бесконечные совещания, встречи, поездки всем гуртом, спешка и небрежность в работе — ты можешь судить хотя бы по материалам, опубликованным до сих пор в газете. Я ничего почти не сделал для газеты, т. е. мы вместе — Берестов, Захарченко и я — написали первый путевой

дневник. Вся поэтическая мура принадлежала мне. Мы наивно предполагали, что, т. к. в газете и так будет много технического и фактического материала, то дневник должен быть поэтическим. Но ты можешь посмотреть, что с нами сделали, напечатав фитюльку «В пути», — там сплошная информация — из 10 страниц сделали едва ли три, оставив только, так сказать, «технику»: поезда, нефтепровод и т. п. Ну, после этого мы разочаровались, объявили забастовку и только сейчас снова начали кое-что стряпать в таком же духе, т. е. «поэтичном». Не знаю, что выйдет.

Вот, миленькая моя, такие дела. Время сейчас много — третий час, мы, кажется, прилопотали уже в Тайшет. Письмо это я пошлю тебе уже из Братска. А ты напиши мне в Иркутск на вагон-редакцию так: Иркутск, вокзал, вагон-редакция «Литгазеты». В Иркутск мы приедем числа шестого и пробудем там до 10-го, так что пиши, не откладывая, и авиапочтой.

Обнимаю и целую тебя. Очень плохо, что мамы нет дома, я с ней говорил один раз, когда она оказалась у дяди Феде — приходится звонить ему. Вообще, я как-то одинок теперь. А тебе не звонил, хотя и мог, потому что забыл телефон. Помню Б 9-14... а дальше никак не вспомню.

Ну, теперь уж недолго осталось, скоро увидимся. Будь здорова и радостна, не скучай. Крепко целую! Я нарочно многого не пишу, чтобы потом было что рассказать.

В ночь на 2 июля.

Твой Юрий.

22 марта 1978

Милая, милая Тамара!

Поздравляю тебя с днем рождения и не вижу тебя теперешнюю, а вижу в панамке с пепельными косами, с удивительно синими глазами, какой я тебя запомнил на всю жизнь с лета 1954 г.

Обнимаю, целую ручку, всегда твой

22 марта 1978 г.

Ю. Казаков.

В. В. Конецкому



23 сентября 1959. <Москва>

Привет, бродяга, кэп!

Мне хочется еще раз поздравить тебя с рассказом — прочитал я его в журнале, и он мне понравился очень. Ты молоток. И тебя печатают на последней странице обложки, преподносят тебя как рахат-лукум читателям и читательницам. Меня вот нигде не преподносят, не могу я никак соответствовать.

Новости: был в «Октябре», говорил со всеми, изливалось на меня масло и миро и разные вообще клейкие слюни, и ушел я оттуда липкий и сладкий — хоть мухам садиться. Рассказы мои идут твердо — это в сборнике молодых: «Легкая жизнь» и «Звон брегета». А твой Чехов, зануда, идет, но не твердо. Он под сомнением. В нем (не в пример моему Лермонтову) слишком выпирают источники. Слишком нету своего взгляда на этого хмурого представителя светлой литературы. Я, конечно, тебя защищал. Я говорил, что взгляды есть, а что, наоборот, источников нету. Я говорил, что ты вообще ничего не читал о Чехове, что ты и Чехова не читал, что там все придумано — как же могут выпирать источники?

Не знаю, чем дело кончится. При следующей встрече я опять буду вопить за тебя. Но если саморазоблачаться, то я вообще худо верю в выход этого сборника. Что-то они долго слишком собираются. Вообще такого рода сборники — вещь маловероятная.

И еще новость — мне из Польши письмо: перевели моего «Отщепенца» в журнале «Современность». Попросят фотографию и биографию. И вообще будут издавать сборник.

Ну вот, старик, груз новостей сброшен на твои плечи, теперь мне осталось только сказать, что девочка моя прие-

хала в Петрозаводск и мы с ней уединились на десять дней в Кижях, питались рыбой, молоком и картошкой. Так что, значит, не зря я терпел все эти муки с Коринцом, бог меня пожалел и вознаградил.

А скоро, наверно, уеду в Пицунду недели на две. Буду там говорить по-французски с твоей мамой.

Как твои тигры и львы? Небось, уже операторы протирают свои окуляры, чтобы снимать их?

Ну вот. Нагибин бросил пить.

Я тоже.

А старику снились львы.

23 сентября 59 г.

Твой Ю. Казаков.

Напиши мне о себе, а то скоро уеду.

9 ноября 1959. Москва

Здравствуй, старина! Жажду узнать о твоих успехах: как здоровье матушки, как шла работа в Малеевке, как с книжкой и т. д. Отпиши мне, дядя!

А я в Москве, пустой — в смысле продукции, — но с боевым настроением. Скоро поеду в Малеевку, как раз сегодня иду проходить для этой цели разные комиссии.

Видел Поженяна и поругался с ним на почве нашей любви к тебе. Он говорил, что любит тебя за силу, а я — наоборот. Он этого не понимал и говорил, что ты сильный человек. А я говорил наоборот. Потом я ушел.

Читаю Ремарка «Триумфальную арку» — очень, очень сильно, очень красиво, но и страшно узко для романа, по моему. Уверен и радуюсь, что наши могут лучше и даже иной раз доказывают это. А Ремарк начисто лишен подтекста. Современный же поэт-писатель без подтекста (после незабвенного А. П. Чехова) немислим.

Это я пишу тебе потому, чтобы ты не особенно обольщался этим Ремарком.

А я, дядя, задумал нечто грандиозное, валяясь на Пицундском песке. Задумал я, не более, не менее, как возродить и оживить жанр русского рассказа — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Задача гордая и занимательная.

Рассказ наш был когда-то силен необычайно — до того, что прошиб даже самонадеянных западников.

А теперь мы льстиво и робко думаем о всяких Сароянах, Колдуэллах, Хемингуэях и т. д. Позор на наши головы!

Давай, дядя, объединимся в этом благородном порыве. Давай напряжем наши хилые умишки и силишки и докажем протухшему Западу, что такое советская Русь!

Меня начали переводить в Польше. Переводчица моя обалдела (она так и пишет) и собирается обалдить мною поляков. Мне это радостно, а то они там закаменели в грехах разных измов.

Читал ли ты Панову в № 10 «Октября»? Очень хорошо. Только это не рассказы, конечно, а главы повести, еще недописанной. А вообще, пахло на меня войной от ее вещичек.

Вообще, появляются у нас приятные штуки, и от этого хочется что-то делать и вообще жить.

Ты пьешь? Я бросаю, т. е. возвращаюсь к состоянию, которое было у меня года два назад — выпивать изредка с друзьями, но не пить.

Позвони, пожалуйста, Торопыгину и скажи, чтобы он не волновался насчет рассказа. Рассказ будет — и хороший. Он у меня ворочается. Пришлю я им его во второй половине ноября. Это твердо. Как приеду в Малеевку, так и займусь.

Режиссер моего будущего фильма был на Севере, на месте, так сказать, происшествия. И — представь! — его там тоже арестовали как шпиона. Очень любезный народ, эти самые поморы!

Решил я опубликовать мои северные дневники. Сия мысль меня страшно занимает. Вообще — обилие планов.

Будь здоров, целую, кланяйся матушке. И пиши скорее, как дела!

Москва, 9 ноября 59 г.

Ю. Казаков.

Погляди на Пицунду (на конверте).

16 мая 1961. Коктебель

Старик, спешу поделиться с тобой своей радостью — ибо больше не с кем. А ты поймешь ее, эту мою радость, где-то ты ее поймешь. Кстати, ужасно заразное слово это «где-то», его

у меня вдруг обнаружилось в рассказах — как вшей на покойнике. И я его давлю. Так вот, повторяю, ты поймешь, почему я сижу сейчас за тремя бутылками пива и за таранью, рву ее зубами, жую, пускаю на грудь себе слюни, подбираю их и пью пиво, круто посоленное. Кстати, не задумывался ли ты как писать: «посолённый» или «посоленный»? Из-за этого загадочного слова появление на свет моего рассказа «Траливали» задержалось ровно на три дня. Я ходил вокруг машинки, изредка бегал в клуб выпивать и все думал, как написать? Там у меня в первой фразе есть слово «недосоленный». Так вот, я не знал, как его посолить.

Короче говоря, собака прибежала! Она прибежала, вернее пробежала, и это произошло за рекордное время — три часа! Ура! За три часа, старик, я отгрохал рассказ и тарактел на машинке так, что под моим окном собралась вся улица. Размер этого шедевра 13 стр. Но этого мало! На другой день, разъярившись, я сел за новый рассказ и затьмутараканил его за шесть часов. Мало того! Сегодня я сел за машинку и, стуча на ней, как на кастаньетах, нащелкал еще пять тысяч слов и обрел новый рассказ про войну. Старик! Я плакал, пища его, я сморкался одной рукой, шмякал сопли об пол, а другая рука в это время выбивала глаголы и существительные.

Три рассказа, старик, за три дня! Теперь я, как падишах, пью пиво и жру тарань. Я начхал на всех Хемингуэев и разных прочих ричидостян. Теперь я могу ехать на Север. Сегодня я долго думал, кому послать телеграмму, о том, что у меня столько изумительных рассказов. Я сперва хотел в «Огонек», потом — в «Литгазету», потом — в «Знамя». А потом я раздумал, хотя эти рассказы жгут мою душу и требуют немедленного опубликования.

Ах, ах, не те времена, старик! Если бы это были раньшие времена, то в «Новом времени» появилась бы заметка: «Знаменитый писатель Ю. Казаков, который сейчас находится в Коктебеле, закончил четыре новых рассказа. По слухам, право первоиздания он предоставил газете «Правда». Читатели с нетерпением ждут опубликования новых шедевров гениального русского писателя, о котором Толстой сказал, что

он второй Толстой. Соб. корр. Трахман». Анонсы, авансы... Все приятные слова, кстати, кроме «алиментов», начинаются на «А». В Бухаресте полно магазинов, которые называются почему-то «Алиментаре», что приводило наших женщин в восторг.

Да! Знаешь, Витька, мое поведение повергло моих хозяев в уныние и испуг. Я не сказал им, конечно, что я писатель. Они привыкли к отдыхающим. Они привыкли, что нормальные люди встают утром, завтракают и идут на море до обеда, потом они обедают и идут опять на море и т. д. И вдруг появился поц, который не выходит из комнаты совершенно, ложится спать в три часа, встает в семь и издает подозрительно шелкающие звуки. Они потребовали с меня паспорт и залог 10 руб. И сказали, что если б знали, то никогда не сдали бы мне комнату, так как неизвестно, чем я занимаюсь вообще и не вредный ли я для общества человек.

А как тебе понравится такая деталь: «Телята с наслаждением паслись на седых озимых и часто мочились, задирая хвосты и расставляя курчавые в паху ноги. И там, где они мочились, появлялись изумрудные пятна обрызганной молодой ржи». Дело происходит в осенние заморозки. Это я сам придумал, ей-богу!

Я еле пишу тебе это письмо, т. к. устал — это идет нынче седьмая тысяча слов — и поэтому закругляюсь. Я тебя страшно люблю! Напиши мне в Москву, ибо здесь мне делать больше нечего и я скоро уезжаю, только покупаюсь и загорю дня за три-четыре. Целую!

Коктебель, 16 мая 1961 г.

Твой Ю. Казаков.

Большуший привет маме! И еще просьба, если вам напишут из Ялты насчет моей книжки «На полустанке», кот. числится за твоей мамой, то ты ответь, что она отдала ее какой-то женщине с просьбой, чтобы та сдала. (Я эту книжку взял у вас и затаил, короче, спер в Ялтинской библиотеке, т. к. у меня нету.)

14 июня 1979. <Абрамцево>

Дорогой Виктор!

Вот видишь, и дожили мы до твоего 50-летия! Поздравляю тебя, хоть, собственно, поздравлять не с чем особенно,

но что делать, если первый наш юбилей падает не на двадцать лет, а на пятьдесят. Утешимся хотя бы тем, что это первый юбилей, и дай тебе Бог дожить хотя бы до третьего.

Не так давно попалась мне в библиотеке твоя книжка «Соленый лед», я ее прочел разом и должен тебе сказать, что давно не испытывал подобного удовольствия, молодец ты, и очень жалко, таких книжек у тебя мало, жалко особенно, если учесть, что талант во все времена редок.

Ты, видимо, из кино выбрался, а я на старости лет в него втяпался, убил два года и, как водится, оброс «соавторами», ибо, как мне сказали, ничего я в кинематографе не смыслю. Зато они смыслят, и фильм, наверное, выйдет фигурный, как водится, зато съемки будут на Новой Земле, и я заранее предвкушаю наслаждение от вещей издавна мне милых, как то: ото льдов, полыней, тюленей, собак, могилы Баренца (там у меня Русанов с Вьлкой идут вокруг Новой Земли) и прочих северных прелестей. Там и война есть, тихая война, подлодка всплывает в полынье, и немчики высаживаются на берег (им метеобаза нужна для рейдеров), так что и постреляем маленько...

Ну и гольца поедим во всяких его ипостасях и прочие удовольствия. Вот, присоединяйся к нам консультантом, а? В августе, м. б., поедим на «выбор натуры» — присоединяйся, подышишь дней десять солеными льдами, в Арх<ангель>ске, говорят, новую гостиницу отгрохали на уровне мировых стандартов.

Мелькнуло, что у тебя в «Неве» или «Звезде» идет новая порция твоих морских рассказов, прислал бы, а то я тут в лесу, в Москву в кои веки выберусь...

Будь здоров, Витя, пиши больше, от души обнимаю тебя и люблю. Если считать с 57 года, то я тебя вот уже 22 года люблю. Не плачь!

Будешь в Москве, и выберется свободная минутка, приезжай в Абрамцево! Если я затею ремонт, то проколачиваюсь тут все лето. Ехать надо с Ярослав. вок. до станции пл. 55 км, с поезда — налево, ну а тут язык доведет.

14 июня 1979 г.

Твой Ю. Казаков.

21 ноября 1982. Красногорск

Дорогой Виктор!

Лежу я у себя на койке в госпитале, думаю невеселую думу — и вдруг прекрасная девица вкатывает в палату столик на колесиках, столик с книгами и журналами. Предлагает то и это. И вдруг говорит: «Вы писателя Конечного знаете? Вот возьмите новую его повесть в журнале «Звезда»...

Ну, я взял.

А лежу я, брат, товарищ и друг, в Центральном военном госпитале по поводу диабета и отнимания ног. За окном то туман, то дождик, то снег выпадет, то растает — чудесно! Я себя за последние лет шесть так воспитал, что мне всякая погода и всякое время года хороши, одеться только нужно соответственно. Конечно, ноябрь проклянешь — выгони тебя на улицу босого и без штанов, а если потеплее одеться, то счастье и счастье.

Вот только этим я теперь и утешаюсь, сидя возле батареи в кресле и глядя на туман и снег. А вообще-то настроение — хуже некуда. Диабет ведь пожизненная болезнь, а тут еще ноги болят и дергаются в судорогах и немеют, и в весе теряешь, и проч. прелести. Лечат меня тут всяко, аппаратура самая лучшая, заграничная, да толку пока мало, единственно, что больницу совсем не напоминает, а похоже на санаторий, только что в палате не курю, выхожу вон.

Жалко мне бесконечно тебя, да и себя, что не приехал ты ко мне на дачу! Славно бы поработали, очень для этого все было готово: и природа, и тишина в доме, отключенность от всего...

Так вот, прочитал я твоего «Лишнего», прочитал, и взяла меня досада, — что это ты, братец, нехорошо себя повел, начал всенародно плакаться. Ты вот подумай только, мог бы Чехов написать такое? Э? И ордена свои поминать?

Ты не третий и не лишний, а ты первый! И все капитаны и начальники должны себе зады чесать разбитыми бутылками от зависти и преисполняться слезами восторга от сознания, что они с тобой знакомы!

Мне вот один капитан-наставник из Новороссийска прислал письмо по поводу моих морских неграмотностей, а,

кстати, и тебя всячески расхвалил за твою точность и морской профессионализм, не зная, по всей вероятности, что я тебя знаю. Хотел было я тебя порадовать выдержками из этого письма, да потом рассердился, что ты не отвечаешь, махнул рукой и пошел в магазин за «Стрелецкой».

Ну, я понимаю, допекли тебя твои морские собратья, неплохо с тобой поступили, наверное, писали на тебя, куда только можно (м. б., только в ООН не писали!), ну допекли, ну сел бы, написал бы обстоятельное открытое письмо кому-нибудь, растолковал бы, что такое лит. образ и пр. Прочли бы и утерлись бы, и крыть им было бы нечем. А теперь — что? Обида у тебя так и прет из каждого абзаца, обида и обида, а больше ничего, нет простора, нет игры ума, иронии, которые так щедро разбросаны в твоих «Заботах», в других твоих вещах, которые хочется перечитывать, а тут ты до того уязвлен и до того убит обстоятельствами, что оправдываешься направо и налево за что-то, и даже я как-то не понял, в качестве кого ты плывешь на пароходе — корреспондент ты? Третий помощник? Бог весть... И насчет декабристов что-то неубедительно и, прости, восторженно излишне, почти как у Паустовского, над офицерами ломают шпаги, рвут эполеты и рыдают братцы-матросики, ай-яй...

Надо, надо нам с тобой встретиться, поговорить надо, жизнь такая настает, что, во-первых, уже не в молодом задоре, как когда-то, а всерьез можем мы друг друга называть старыми хренами, того и гляди помрем, ну а, во-вторых, время нынче очень уж серьезное и надо бы нам всем, хоть напоследок, нравственно обняться...

Хочется мне после больницы, если выберусь я отсюда подобру-поздорову, махнуть на срок-другой в Переделкино и тихо заняться литературой. Давно уж я не питаю никаких иллюзий насчет воздействия слова на братьев наших меньших, и хочется заниматься литературой ни к чему не обязывающей, — ну, о том, как я выпил, как повторил и что потом воспоследовало, или о том, как, например, прощаешься с женщиной, о людской одинокости, «внезапный мрак или что-нибудь такое...», — кто там разберет, что в жизни главное, важно только хорошо об этом писать. Ну, и счастье, ко-

тогого нам осталось с гулькин нос, оно, м. б., и есть ощущение, что ты пишешь хорошо. Написал страницу или пять, пошел в бар, выпил, покашлял, глаза тебе заволочет слезой... Ну вот, ну вот, и благодари Господа, а большего счастья уж и не будет.

Не приедешь ли в Переделкино в декабре? Или ты к Комарову прикипел? А то бы похаживали друг к другу в гости и хвастались, кто лучше написал.

В горнице моей светло,
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...

Вот такие стихи я готов день и ночь читать. А тут еще и милая родственная мысль: это же он с похмелюги! Похмелюга, братец, внутри пекет, пить охота, пить литрами, вот матушка грустно и молча несет ему воды. Ведро. Холодное из колодезя. И молчит. А что ей говорить. <...>

Так, все-таки я и не пойму, плаваешь ты еще или бросил?

Напиши, Витя!
Остаюсь любящий тебя

21 ноября 1982 г.

Ю. Казаков.

Адрес мой пока: 143420, Мос. обл. Красногорский р-н, п/о Архангельское, 3 ЦКВГ, 10-е отд., 823-я палата. (Длинные у нас адреса!)

Пульс у меня в последнее время 120, давление 180/110 — сегодня утром чуть сознание не потерял, говорят, спазм в мозгах, загрудинная боль схватывает раза два в день...

Так что, на всякий случай, прощай, друг мой, не поминай лихом.

Твой Ю. К.

О. В. Базунову



27 июня 1962. Таруса

Дорогой Олег!

Прости, пожалуйста, за столь поздний ответ, тому две причины: две недели я бродяжил в лесах и потом ждал твоего адреса, я его потерял и просил у Виктора. Адреса я не дождался, поэтому посылаю бандероль Виктору, а он уж передаст.

Начну сразу с недостатков. Основных недостатков — два. Во-первых, совсем почти не показана жизнь лагеря, т. е. людей, населяющих его. Все внимание отдано Борису, немного Инне — остальные прошли мимо меня, не задев души. И мне не жалко с ними расставаться, а нужно, чтобы было жалко.

Во-вторых, на мой взгляд, не нужны здесь теоретические рассуждения. Они были бы необходимы, если бы ты, скажем, писал монографию о Сезанне. А в рассказе, в повести неизмеримо важнее показать самый процесс работы художника, его жизнь вообще. Мне важно, как он пишет, мне надо видеть его, а не читать о технологии и философии искусства. Понимаешь? Вспомни тургеневских певцов — они поют, и ты их слышишь. Что бы было, если б Тургенев стал писать о диафрагме, бельканто, интонировании и т. п.?

Так вот: долой теорию и побольше мяса на Иване, Григории, Инне. И еще: хорошо бы было, если бы Борис не просто бы приехал в Молдавию на практику, а приехал бы туда после какой-нибудь мучительной полосы жизни. Диалектическая линия в характерах всегда должна идти вверх, или вниз, или как угодно. У тебя же она идет ровно. Что произошло с душой Бориса? Он открыл для себя пейзаж Молдавии? Этого мало. Он должен открыть что-то неизмеримо

большее, а это он может сделать, только от чего-то отказавшись в своих прошлых мыслях. Что-то должно в нем разрушиться старое и выстроиться новое.

Впрочем, м. б., я не прав.

В «Холмах» много прелестного — ощущение жара и влаги, облака и земля, гроза, дороги, вода, все это написано вкусно. Люди же тронуты мало, и хотелось бы, чтобы и они были такие, как земля у тебя. И нужно, нужно, чтобы что-нибудь произошло в их жизни, — не только у Бориса, но и у Ивана, у Григория. Григорий стал мягче, прекрасно! Почему же? Кто он и что он? И Иван?

А это легко сделать. Им нужно дать говорить, чтобы они вставали, уходили, приходили, вздыхали, чтобы им снились сны, чтобы у каждого была судьба.

Будь здоров, счастливой тебе работы!

А что Витька? Он не пишет мне. В Ленинграде он?

В начале июля двинусь я снова на Север за второй книжкой своего дневника. Я буду где-то в районе Мурманска и назад поеду через Питер, повидаемся и поговорим.

Таруса, 27 июня 1962 г.

Твой Ю. Казаков.

Н. П. Смирнову

27 марта 1959. <Дубулты>

Дрогой Николай Павлович!

Не откажите в любезности прислать мне адрес В. Д. Пришвиной. Я хочу послать ей книгу с «Арктуром» — она вышла уже, и «Арктур» посвящен памяти М. М. Пришвина.

Как дела с моими рассказами? Понравились ли Вам они? Кстати, хочу сообщить Вам, что «Арктур» только что опубликован и в Чехословакии в журнале «Всемирная литература», № 1. Я рад, что мой бедный слепой пес так далеко забежал. Сейчас я живу в Дубултах и пытаюсь писать нечто вроде повести. Т. к. повестей я не писал еще, то хитрю сам с собой, уверяя себя, что пишу просто большой рассказ.

В этом рассказе речь у меня идет о лесничем, о лесе и прочих лесных делах. Если хотите, могу Вам дать его для «Охотничьих просторов», когда кончу.

В Дубултах работала одна женщина из журнала «Вопросы литературы». Она сказала, что ленинградский молодой критик Нинов пишет для журнала большую статью о Бунине. Т. к. у Вас есть много неизвестных материалов о Бунине, то, м. б., Вы захотите поделиться с этим Ниновым? Он критик более или менее прогрессивный, и, я думаю, о Бунине пишет в тонах самых положительных.

Я разузнаю здесь его адрес и, если Вы согласитесь поделиться с ним чем-нибудь из материалов, свяжу его с Вами.

Напишите мне, что Вы думаете на этот счет.

Весна уже, Н. П.! Скоро, наверно, опять в бега ударимся? Вы в Плёс, конечно, а я хочу побродить теперь по средней полосе. Север мрачноват, и не для меня. Если начну писать о Севере, как чувствую его, то не поздоровится разным хлюстам от литературы, а еще более, пожалуй, мне.

Николай Павлович, а Вы привлекли бы меня к «Охотничьим просторам», а? Серьезно, очень люблю все это и был бы хорошим Вам помощником.

Ну, до свидания! Будьте здоровы и всего Вам доброго!

Жду письма. В Дубултах я пробуду до середины апреля, а потом сразу в Малеевку на семинар молодых рассказчиков.

27 марта 59 г.

Ваш Ю. Казаков.

21 января 1969. Абрамцево

Дорогой Николай Павлович!

Никак не собрался я к Вам ни заехать, ни позвонить, — знаете, в Москве я теперь бываю редко и все обыденкой, и в такой мелкой дурацкой кутерьме, что на хорошего человека, как правило, и времени не остается.

А поговорить бы нам надо!

Все-таки не оставляет меня мысль написать о Бунине. В частности, даже вознамерился я взяться хотя бы за описание виллы Бельведер и как я ее искал в Грассе, как нашел наконец... И как внутрь вошел.

Но не только, конечно, о вилле, но и об И. А. — как он там жил, и про мистраль (где он у него, кстати, описан? — страшно так, ночью — как сидит И. А. Тьма везде, и дует этот мистраль — не в «Жизни Арсеньева» в конце? Или в каком-то маленьком рассказе последних лет? Я читал — забыл, где...), и про то, как ждал он Нобелевской премии, и разное другое.

Страниц 20–30 хочу для зачина написать, да страшно-вато, надо писать об этом «на уровне мировых стандартов», как любят у нас говорить.

Да и многое мне еще не ясно.

Хочется с Вами поговорить.

И о Пришвине еще — вот скоро весна света.

Боюсь Вас звать к себе, не знаю, любите ли Вы в гости ездить.

А здесь вообще хорошо, морозы только вот задавили, как вечер, так 30–35! Но в доме у меня тепло, просторно.

Сын мой уже топчет по дому, радуется жизни. Я сижу днем, смотрю на птиц в окно, на снег, на лес, — а в соседней

комнате (детской) мама баюкает Алешку тем же голосом и теми же словами, как и меня — 40 лет назад! И он тоже засыпает; у меня это осталось — голос матери, дремота от колыбельной, счастье тепла, засыпания, здоровья.

Странно!

Вообще многое из прошлого кажется странным. Вот уже два года прошло со времени моей парижской жизни, и мне самому уж не верится, что говорил я, виделся с М. Шагалом, Б. Зайцевым, Арагоном, перезнакомился с кучей князей и графов — и не потому даже, что они особенные люди, а потому что видеть их, говорить с ними — для нас почти полная невозможность.

А если кому-то выпадает это, то как лотерейный билет.

Как Вы поживаете?

У Вас ведь вышла недавно книжка? Пришлите! А я Вам свою — скоро выйдет, вот-вот сигнал будет. Там есть несколько вещей, которые Вы, м. б., не знаете.

Кстати, если приедете — послушаете у меня записи Б. Зайцева, Адамовича — и всю православную службу, и еще — оперу, написанную по моему рассказу — «Двое в декабре».

А загадочные все-таки судьбы писателей! Вот обо мне со всех сторон пишут диссертации, монографии, дважды выдвигали меня в кандидаты на Нобелевку, переведен я во всем мире, статей обо мне — тысячи (без преувеличения). А как радовался Бунин, если где-то что-то его переводили.

Еще раз говорю, странно все это.

Напишите мне, пожалуйста!

Самый сердечный привет и наилучшие пожелания.

Ваш Ю. Казаков.

Адрес мой: Абрамцево, Московск. обл., Загорского р-на.
Поселок Академикова, дача 43.

Абрамцево, 21 января 1969 г.

А. И. Шеметову



2 апреля 1970. Абрамцево

Дорогой Алексей Иванович!

Знаю твою нелюбовь к письмам и прочей тому подобной ерунде. Но все-таки! Будь благодетелем, отклей от стула свою худую задницу, спустись вниз и отстукай мне телеграмму о дне, когда по тарусским расчетам начнется у вас половодье. Не ледоход, а половодье, понимаешь? И я гряду!

Абрамцево всем хорошо, понимаешь, да вот Оки у нас тут, как на грех, нету.

О своих делах и прочих новостях расскажу при встрече, а пока — до свидания!

Абрамцево, 2 апреля 70 г.

Твой Ю. Казаков.

P. S. Телеграмму, разумеется, следует высылать, когда вода начнет подыматься.

18 апреля 1970. <Абрамцево>

Любезный Шеметов!

Спасибо тебе большое за телеграмму. Был! Был я на разливе, но в Поленове, рвался душой в Тарусу, но катера не ходили, и я только глядел из Бёхова на вас в бинокль и горько плакал.

Я даже выпить с тобой хотел, чего я давно уже не делаю, но — в Тарусе — хотел! Пришлось мне все-таки не пить и, пробывши в Поленове с субботы до среды, убраться восвосяси не солоно хлебавши.

Но разлив-то, разлив какой был! Чай, ты от пивной к пивной на лодке плавал?

Напиши хоть, каково было, если уж мне не судьба была увидеть самому разлив в Тарусе. Надо было б мне ехать через

Калугу, дураку! Но я рассудил, что как только лед пройдет, то и катера пойдут. Они и пошли с понедельника, но какие-то длинные колымаги с целым фонтаном сзади и в Поленове не останавливались...

Не ленись, дружок, напиши, как у тебя дела и вообще. А я к тебе еще приеду.

Обнимаю.

Напиши свой адрес, а то я тебе все посылаю письма на авось, на Курган. Ты же не Ст. Разин!

18 апреля 1970 г.

3 января 1976. <Абрамцево>

Дорогой Алексей Иванович! Против ожидания, я еще не закончил «Вылку», так что мой приезд откладывается, не вздрагивай и не прислушивайся с испугом к каждому стуку. Кроме того, Курскую дорогу закрыли, поезда идут рано утром, все сложно. Приеду попозже.

Очень жаль В. Г. Увидишь А. Штейнберга, передай ему мои соболезнования, хоть он и ушел от нее, но женщина она была замечательная, а такое не забывается.

Напиши мне, пожалуйста. Посмотри на кабинет Аксакова. Желаю, чтобы у тебя был такой же. Бываешь ли ты в Поленове? Приеду – сходим?

Будь здоров, милый, обнимаю.

3 января 76 г.

15 января 1976. <Абрамцево>

Дорогой мой Шеметов!

Рад, что ты жив-здоров. Ул. Горького – это где? На Кургане, где ты когда-то поселился, или ты опять переехал? А писать просто так не собираешься? Я имею в виду не историческое, а просто, как некто пришел к некоей (или ушел) и что из этого получилось.

Эти истор<ические> вещи ведь выматывают автора в смысле сидения по архивам и проч. Занятие интересное, но не продуктивное. Я вот тут сдуру решил откликнуться на просьбу Детгиза и сделать им книжонку о Т. Вылке. Ну

и что? Ездил в Архангельск, сидел в архиве, встречал людей, знавших Вылку, и все это суета. То ли дело написать: «Я из дому вышел, был сильный мороз...» Или: «Хожу на охоту, живется легко!» Вот что-то ты, братец, побрел за Радищевым, а путь у него вон какой! Не только из Петербурга в Москву, но и дальше... Да ладно, дуй, раз взялся.

Слушай, в Тарусе пиво есть? Ведь я приеду, выпить надо? А выпить я не люблю, пиво ж — другой коленкор.

Что не заедешь в Абрамцево?

Насчет затишься в Тарусе — радуйся. Я вот гостям всегда рад, но, понимаешь, когда работаешь, а тут гости — тогда плохо, дом все-таки небольшой, это тебе не Ясная и не Спасское, в которых гости как бы растворялись. И хозяевам глаза не мозолили. И могли жить месяцами.

А что Штейнберг, всё с молодой женой?

И где это твоя ул. Горького? Объясни. А дом Щербаковых стоит? Помнишь, как мы с тобой там откапывались? Эх, время-то было золотое! Будь здоров, дорогой, обнимаю! Приеду, как только закончу Вылку. Где-нибудь в конце января. Ты в это время в Москву не собираешься? И есть ли у тебя телефон, напиши. Я это к тому, что, м. б., ты бы приехал в Москву на такси, встретились бы и обратно вместе, в расходах поучаствую, разумеется.

15 января 76 г.

Твой Ю. Казаков.

А. Нурпеисову



11 мая 1965. <Малеевка>

Дорогой Абе!

Сообщаю тебе новости, которые не очень-то хороши. Дело в том, что в начале апреля мама сломала ногу в Тарусе, и весь апрель у меня, естественно, пропал. Привез я ее в Москву, положил в больницу и каждый день у нее бывал, все ей доставал, покупал и т. д. Работать, конечно, не работал и почти никакими делами не занимался. Потом достал две путевки в Малеевку, привез ее сюда, нога у нее еще в гипсе, ну мы с ней тут и коротаем время. Первые дни выпивал, ибо праздники, а теперь бросил и постепенно вхожу в колею, начинаю отвечать на письма и работать. В Тарусе я с того самого злополучного дня не был, письма от тебя не получал и не знаю, как обстоят дела у тебя.

У меня дела обстоят так. Одна машинистка перепечатала роман, я его сдал Салахяну и второй экземпляр дня два-три назад послал тебе. Письмо это ты получишь раньше романа или одновременно, потому что роман послал я простой бандеролью. Кроме того, все главы о Судр Ахмете и одну главу о Еламане я послал в журнал «Сельская молодежь». Через недельку я поеду в Москву и узнаю, взяли они что-нибудь или нет.

В журнале <...> дела неважны <...>. Ко мне <...> претензий нет, а претензии к тебе: а) ввести еще одного положительного героя (?); б) подробнее, шире показать причины восстания и само восстание. Кроме того, они ждут от Джангильдина поручительства, что роман не выйдет в Алма-Ате раньше, чем у них.

А как следствие всего этого — договора со мной не заключают и аванса не дают ни хрена. А я проелся вконец, на мать ухлопал уйму денег, себе пальто купил, потом две путевки по 150, и придется, видимо, еще две покупать на июнь.

Через недельку поеду в Москву, возьму роман у другой машинистки и сдам его в издательство «Молодая гвардия». С «Молодой гвардией» у нас будет все в порядке

Мама, м. б., на август махнет опять в Алма-Ату, в санаторий, ты ее тогда там устрой, пожалуйста.

Напиши мне, что и как у тебя в Алма-Ате, и еще вот что, т. к. у меня нет денег совсем, то давай поторопи издательство с заключением со мной договора на второй роман и чтобы аванс слали!

Будь здоров, обнимаю, привет большой Ажар, детям и тете.

Адрес мой на это время: Московская обл., Рузский р-н, п/о Малеевка, Дом творчества им. Серафимовича <...>.

Здесь отдыхает Лукашевич. Он советует скорее прислать гарантию, что у вас роман не будет напечатан раньше «Дружбы». Но в «Простор» ты его отдавай, пусть печатают весь и поскорее!

Пиши!

11 мая 1965 г.

9 января 1966. <Москва>

Абе, здравствуй!

Пишу тебе зеленой твоей ручкой, ибо настроение у меня после твоей телеграммы исправилось.

Новости такие.

Получил дня три назад верстку романа из «Молодой гвардии». Они молодцы, ничего не тронули, и впредь давай условимся с тобой считать это издание каноническим и при переизданиях (если таковые нам пошлет алах вместе с Иссой) пользоваться этим изданием. Я уже верстку просмотрел всю, поправил, где можно было, и в понедельник (10/1) сдаю.

В понедельник же будет верстка «Роман-газеты». Я ее трогать не буду, т. к. <...> возиться мне неохота, да и не дадут

мне делать большую правку. Так что я, наверное, и брать ее домой не буду, а прямо подпишу, пусть в «Ром<ан> -газ<ете>» идет журнальный текст.

Теперь. Семенов мне говорил, что Шим не хочет переводить очерк, который ему прислали из «Сельской молодежи». Придется, видно, мне этим делом заняться, если не возражаешь.

И наконец, главное.

Присылай, пожалуйста, поскорее вторую книгу романа, я, не откладывая, займусь ею и, м. б., к апрелю сделаю весь перевод. Не знаешь, напечатала что-нибудь «Сельская жизнь», как они тебе обещали? Я как-то не видал этой газеты и телефон потерял.

А что еще?

Больше ничего.

Да! Завтра займусь алма-атинской версткой, сделаю ее дня в три и вышлю тебе авиапочтой, а ты смотри сам. Я ее пошлю на твой адрес, ты никуда не уедешь? Побудь пока в Алма-Ате, чтобы не было разных неприятных неожиданностей. Я же здесь насыду на «Молодую гвардию», думаю, что к концу января будет уже сигнал.

Привет от Тamarы.

А от меня привет всему дому и всем друзьям. Обнимаю.

9 января 1966 г.

Ю. Казаков.

14 января 1967. <Москва>

Дорогой Абе!

Посылаю тебе вырезку из французской газеты, в которой издательство «Галлимар» — самое крупное и знаменитое издательство Франции — анонсирует наряду с Паустовским и со мной также и тебя. Французы, как видишь, прибавили тебе еще одну букву, а ты теперь — «Нурпеиссов»!

Ты почему-то оставил у меня первый экземпляр первой части, тогда как ты хотел его взять для «Простора». И кроме того, он неполный, обрывается на 92 странице, а последних 30 страниц нет.

Как дела? Удалось ли тебе что-нибудь где-нибудь устроить? И почему не пишешь ничего?

Будь здоров, скоро я тебя призову в Москву, друг любезный, чтобы ты ходил по издательствам и редакциям со своим романом под мышкой. Всего наилучшего.

14 января 1967 г.

Ю. Казаков.

2 февраля 1967. <Москва>

Дорогой Абе!

Вот посылаю тебе первую часть. Тебе нужно будет и дальше перенумеровать страницы после 109 и соответственно переписать главы. Очень грязная рукопись вышла, чертова машинистка, сколько ошибок наляпала.

Только обязательно нужно сделать сноску, что роман целиком будет напечатан в «Дружбе народов».

Я сижу в Москве последние дни. Буду стараться за это время как можно больше сделать тебя. Если даст Бог, через неделю или поболее того уезжаю в Париж. Пока на 15 дней, а там посмотрим. Ибо, пока оформлялся я по одному приглашению, на меня пришло еще одно приглашение, так что, может быть, мне посчастливится пожить в Париже целый месяц. Не сердись, милый, что я оставляю твой роман недоделанным. Вернусь — быстро доделаю. Баруздину я уже сказал. Он не в восторге от моей поездки, т. к. ему главнее роман, но все же и не сердился особенно.

Глава твоя о старухе мне понравилась, я ее перевел с удовольствием. Если бы все главы были такие, то и роман бы пошел быстрее, а то я часто застреваю. Ну ничего, главнее всего все-таки качество, а не быстрота перевода.

Будь здоров, дорогой! Распространяй по Казахстану свой роман. Деньги нам нужны. А как только кончу (в марте), я тебя вызову в Москву, и ты займешься этим же делом здесь. Первую часть я уже сдал на перепечатку. Не сегодня-завтра сдам вторую.

Целую, привет Ажар. Я тебе, м. б., еще напишу.

2 февраля 1967 г.

Юра.

3 июня 1967. <Москва>

Ну, старичок, Еламан твой прикатил в аул, вместе с ним прикатил туда и я, и как-то мне полегче стало, запахло мо-

рем, опять замаячил на горизонте Мурза, пришли Дос и Мунке — а то, признаться, стало мне без них скучно.

А главное, старичок, главное — замаячил впереди конец! Я уж и не верю такому счастью. Завозился я что-то, прямо нужно сказать, завозился. Но, как говорят у нас, сколько вевочке ни виться, а кончику быть.

Вот и отшумел в Москве съезд, отговорили все, отполучали командировочные и суточные, отпили, отъели, подались по домам, выбрали руководящие органы, и я теперь уже не кто-нибудь, а «ревизионист»! Понял? То-то. Приеду вот в Алма-Ату ревизовать вас всех и наводить порядки.

Письмо Шамкенову я написал.

Как там всем вам отдыхается? У нас погода что-то захолодела, северные ветры...

Хочется в Болгарию, там потеплее, но пока ответа нет, да и все равно до конца романа я не стронусь с места. А то опять отложится все бог знает на сколько времени.

Когда попадешь в Гагры, съезди обязательно в Пицунду, погляди, как там идет строительство. И вообрази, как я там прекрасно жил, когда не было там ни одного дома, а только сосны. А на озеро Рицу не ездят, по дороге туда очень часто случаются катастрофы, автобусы кувыркаются в пропасти, очень там опасная дорога. А Рица ничуть не лучше вашего Иссика, когда он еще не выплеснулся.

Пиши мне! Будь здоров, отдыхай и набирайся сил. Привет всем твоим! Кланяются вам также мама и Тамара.

3 июня 1967 г.

6 января 1968. <Москва>

Дорогой Абе!

12-й номер «Дружбы» уже вышел, в понедельник (8 января), наверное, поступит в печать.

Про книгу я ничего не знаю, но, наверное, ее выход не за горами, м. б., в январе и выйдет.

Тебе не мешало бы подумать и о «Роман-газете». Как тебе поступить — приехать ли в Москву для личных переговоров с редакцией «Роман-газеты» или вести эти переговоры из прекрасного далека — решай сам.

Во втором номере «Работницы» пойдет отрывок из романа.

Вот, кажется, и все, что у нас в Москве с тобой делается. Теперь об Алма-Ате.

Обязательно проследи, чтобы «Мытарства» в Алма-Ате печатались по моему первоначальному тексту без всяких сокращений и изменений. На этом я настаиваю.

Второе: «Сумерки» должны перепечатываться с московского издания в «Молодой гвардии» и ни в коем случае не с алма-атинской книги. Это нужно, чтобы текст был идентичен переводу, сделанному мной, а он в «Сумерках» наиболее сохранен в молодогвардейском издательстве.

Я пишу Симашко особо, но ты, пожалуйста, ему напомни, чтобы в корректуре моего сборника были вычеркнуты слова, предположенные мной очерку «В мае в счастливую пору»: «Всего вам доброго и никаких толчков. Ю. Казаков. Таруса. 66 г.» Эта фраза предназначалась журналу «Звезда Востока», и в сборнике она ни к чему.

Как твои дела? Удалось ли тебе уединиться в горах? Работаш ли?

У меня прежние неурядицы с жильем, живу на кухне, и работать, конечно, не приходится.

Да! Изругай ты <...> сценариста, который нарушил все сроки и ничего мне не пишет и не дает вообще о себе знать. Это несколько неуважительно по отношению ко мне.

И пиши вообще почаще, ладно? <...>

6 января 1968 г.

25 апреля 1971. <Москва>

Дорогой Абе!

Каюсь — только теперь начал работать, хотя уже неделю чувствую себя в форме, а задержка вызвана тем, что я внимательно проштудировал твою третью часть, и она меня не убедила и даже смутила. Я говорю о начале, о первой половине. Конец, вернее, вторая половина очень хороша, очень! А в первой меня смутили некоторые вещи, как например:

1. Как белые, имея аэропланы, не знали численности и расположения красных под Аральском? (Во время первой

империалистической войны и гражданской войны авиация в тех частях, где она была, активно использовалась для разведки.)

2. Почему Ознобина допрашивает Федоров — квартирмейстер по должности? Этими делами всегда занимались офицеры разведки и контрразведки, а эти отделы не могли не существовать в штабе такого крупного соединения, как армия Белова.

3. Относится к пункту 2. Почему Белов обращается с просьбой раздобыть «языка» вообще ко всем офицерам, присутствующим в его палатке, тогда как по этому вопросу он должен был говорить именно с разведкой и контрразведкой?

4. Наконец, почему Белов — опытный генерал — начал наступление без артподготовки, не использовал танки и авиацию? (Танки появляются потом, когда уже отбито 2–3 атаки, артиллерия и авиация не участвуют вовсе.) Все это поистине странно и необъяснимо... Я начал уже работать и буду, конечно, переводить все как есть, а пишу тебе это затем, чтобы ты, м. б., потом как-то хоть чуть-чуть поправил дело, ибо вовсе неинтересно будет, если такими же вопросами потом задастся какой-нибудь дотошный критик, понимаешь?

Ну и об отступлении белых в пустыне, и о мыслях Танирберген я уже сказал — очень все хорошо, умно, печально и поэтично! Поздравляю тебя с таким концом. <...>

25 апреля 1971 г.

29 мая 1971. <Абрамцево>

Милый друг!

Винюсь перед тобой — затянул я перевод. Увы мне, увы! Ойбай-ау, как любил говаривать несравненной памяти Судр Ахмет, что делать, дружок, тут не резиденция, отец вывихнул себе спину, мать ничего не может, и приходится ковыряться на огороде мне — весна ждать не будет, и так мы запаздываем с посадками. Но — терпение, терпение!

Страшно рад за тебя, что тебе удалось всюду побывать и повидать любезные твоему сердцу места. Как бы я хотел совершить с тобой подобный вояж!

А теперь просьбы. <...>

Спроси у директора или главреда издательства «Жазушы», не сочтет ли издательство возможным заключить со мной договор на издание трилогии (ведь они будут так или иначе ее издавать в 72 году)? А если они договор заключить могут, то не выплатят ли мне 25 процентов аванса? Грустно признаться, но дом пожирает все деньги. Договорился я, например, об окраске большого дома — знаешь за сколько? За 600 руб. <...>

Очень сожалею, что ты застал меня в мои дурные дни, так мне хотелось с тобой погулять и поговорить о многом. Ну — до следующего раза.

Целую тебя, пиши мне. Поцелуй Ажар. Мама и папа кланяются. Когда поедете в отпуск в Европейскую часть СССР, заезжайте обязательно, я специально для вас баню истоплю.

29 мая 1971 г.

Ю. Казаков. <...>.

Г. А. Горышину



20 августа 1968. <Абрамцево>

Милый Глеб!

Не сердись, что не ответил тебе на твоё милое письмо весной, сто раз собирался, да не собрался, а всему виной то, что дом себе я все-таки купил, а как купил дом, так и погиб: миллион всяких дел, начиная с навоза и кончая шифером.

А тут еще понесла меня нелегкая на Север, да еще на шлюпке по все рекам и озерам, в результате чего я чуть не потонул на Рыбинском вдхр. вкупе со всеми, а кроме того, двадцать дней мерз и мок хуже последнего пса. И если даже мои домашние здесь перемерзли все, то можешь себе представить, что было на Сухоне и Сев. Двине!

Октябрь был, старичок, во всей своей поганой суровости!

А вдобавок ко всему прочему рассыпали у меня набор двух книг в Москве и в Алма-Ате — это после подписания мною пресловутого письма на тот предмет, чтобы я, значит, не заносился и чтоб гордыня меня не обуяла.

Представляешь, какой удар в ж... был мне нанесен! И это после того, как я повыскреб все сусеки, покупая дачу (15 тысяч все-таки!).

Но тут, на зло всем моим врагам, вышел мой перевод Нурпеисова и запустили в производство фильм (по «Тедди») и я снова жив и даже могу тебе сто грамм поставить, а не только чтоб у тебя просить. И машину продавать не пришлось.

А машина у меня молоденькая, всего семь тысяч прошла, да и сказывается, наверное, еще то, что на экспорт делана, ходит как огурчик, и я себе позволяю иногда роскошь дать на ней 130 км, знаешь, рано утром еду в Москву, шоссе от Хотькова отличное, никого нет, тогда упираюсь я в пе-

даль, гну ее выю до полу и гляжу на стрелку, а она, милая, лезет и лезет направо и останавливается возле ста тридцати, а дальше не идет, и так я еду километра два, а потом мне делается неуютно, ибо машина моя все-таки подлетывает, и я перехожу опять на нормальную скорость — 80–90 км. И это, говорят, еще при неотрегулированном зажигании... Какие все-таки у нас дороги фиговые, как разгонишься, так и начинает машину отрывать от земли.

А насчет потопления — вот тебе интересная деталь. Был у нас целый ящик ракет. Ракеты были аварийные. И вот когда стали мы тонуть, наш командор получил превеликое наслаждение, пуляя эти ракеты в черные небеса, а всякие речные корабли продолжали идти своим курсом и вовсе на нас не обращали никакого внимания, так что мы могли вполне залиться к чертям собачьим, а спасения не дождались бы.

Насчет литературы ничего тебе не могу сказать, все в унынии, и даже Вася Аксенов заделался переводчиком с казахского.

Пишешь ли ты чего?

А я крепко надеюсь на осень, на глубокую осень, когда сыро и холодно и повсюду темно, и потому так тепел и светел кажется дом, и так хочется сидеть и что-то свое ковырять, может быть, вовсе и не дурное.

У меня тут белки прыгают, а осенью начну птиц подкармливать. Эта зима, глядишь, что-нибудь и даст мне, потому что, старичок, что есть наше счастье? Рассказ хороший написал, вот и счастье. А все остальное ерунда.

Будь здоров и счастлив.

Захочешь написать, пиши по адресу: п/о Абрамцево, Московск. обл. Загорского р-на, поселок Академиков, дача № 43.

20 августа 68 г.

Ю. Казаков.

4 декабря 1968. Абрамцево

Горыныч, ау, где ты?

Всю осень честно прождал я тебя в Абрамцеве, никуда не рыпаясь. Серьезно, я надеялся на твой приезд, как ты грозился, думал, закатимся мы с тобой в Ростов, в Переславль, в Калязин на Волгу и обозрим, так сказать. Да ты не пожаловал что-то.

Завидую твоим прибалтийским скитаниям. Может, и я махну по весне в Прибалтику через Валдай, Псков, Печоры и т. п. А почему ты ничего не написал про угрей? Неужели не довелось попробовать?

Ты мне хорошее письмо написал, старик, очень ты меня растрогал пороховым запахом и запахом птичьей крови. Этих запахов в этом году я так, увы, и не попробовал.

Ты знаешь, у нас тут довольно много зайца. Я ходил недавно присматривать себе елку к Новому году, так в лесу целые тропы вытоптаны. Слушай, в след. году я отделаю второй свой дом специально для гостей, у меня Гусев приятель, редактор журнала «Охота», он возьмет какого-нибудь гончатника с парой гончих, приезжай и ты. Поживете у меня. Чего, в самом деле, нам по каким-то деревням да по охотхозяйствам скитаться? Славно поохотимся, только бы дожить.

Дом мой, к счастью, теплый. Были у нас морозы до 20 гр. и ничего. <...>

Недавно написал я про Паустовского 15 страниц воспоминаний, очень трудное дело — эти воспоминания, когда все еще живы. Нельзя, понимаешь, по правде писать, надо вить все время. А у старика трудная была жизнь, обдирали его как липку, все это его окружение и семья.

Ты вроде бы завидуешь мне в киргиз-кайсацком смысле, а я вот тебе — в смысле собственного писания. Ты сам для себя пишешь, а я свою кровь вливаю в утомленные жилы Востока. Вот и сейчас сижу над сценарием по роману Нурпеисова и даже зубами скриплю. Хреново это, милый. Я вот только трилогию эту добыю, и все! Ближе потом к переводу не подойду.

Женя Евтушенко однажды скопил на меня свой круглый глаз и спросил: «А ты уверен, что он там четвертую часть не пишет?»

Тебе не попадались в «Новом мире» стихи Ахмадулиной про переделкинскую зиму? Как всегда, прелестны. Среди переделкинских дерев и что-то там еще. Умиляют меня эти «дерев», «стогны» и т. п.

У нас зима хорошо взялась, я уж предвкушаю свои рассказы (после сценария), Новый год, Рождество... У нас тут посе-

лок пуст, три дома только живут — Леонтовичи, еще кто-то и я. Темно, дико, крыши белеют в черноте лесов, иногда чуть слышен перестук электрички. Если б в Троице-Сергиевой лавре звонили, у нас бы слышно было. Ты знаешь, я Алешку крестил, взял, поехал в Загорск и окрестил его в православную веру. Очень все было трогательно, а больше всего возгласы священника и крестных: «ТЬфу! ТЬфу! Изыди, нечистая сила, сатана, сгинь!» И сгинул сатана, а Алешка пальчиком себя по губам и на всю церковь — брлем, брлем, брлем!.. Да-да-да-да-да-да...

Насчет твоей машины я тебе вот что скажу. Хоть она и отечественная, т. е. для отечества сделана, но для заграницы — лучше. Ты вот приезжай на ней летом, я тебя познакомлю тут с одним дядькой, он работает на заводе и тебе твою машину переоборудует. Поставит масляный радиатор. И поставит тропическую помпу и вентилятор — не четырех-, а шестилопастной. Тогда никакого перегрева у тебя не будет. Можешь хоть в Сухуми ехать в июле месяце. Он Жорке Семенову в этом году сделал и еще дополнительные мигалки поставил наверху, так что теперь, когда Жорка поворачивает, то у него все мигает рубиново и оранжево, как на самолетах, идущих на посадку над Переделкином. Красота!

Ты не читал № 8 «Нового мира»? Там должна быть повесть Лихоносова. Интересно, что это за штука? Я тут как-то отстал от журнальной жизни, видел в «Литроссии» что ли, что у тебя в «Звезде» что ли что-то вышло, — не пришлешь почитать? Раньше хорошее заведение было — давать в редакциях журналов авторам бесплатные оттиски их творений. И авторы обильно пользовались этим и рассылали оттиски друзьям. А теперь хочешь свое послать, покупай весь журнал.

В январе, в середине или в конце, мы с Васей Росляковым и, м. б., Васей Аксеновым едем в Алма-Ату и Фрунзе. Поскольку неоднократно ты выражал зависть моим сношениям с киргиз-кайсаками, то вот тебе мое слово: если хочешь, присоединяйся. Я тебя там со всеми сведу, а сосватаешься ты уж сам с кем-нибудь. Будем жить в правительственных санаториях, кушать яблоки апорт и работать. Поедем потом

к Чингиз-хану Айтматову и пропьем его Госпремию, которую получил он совершение зазря — хватило бы ему и Ленинской.

Это, старичок, серьезное предложение, и ты решай. Если решишь ехать, то дней за пять до поездки мы тебе дадим телеграмму, ты с нами съедешься и покатаем все вместе.

Ну, будь здоров, милый, целую и остаюсь твой

Ю. Казаков

Пиши!

Ты оч. хорошо делаешь, что пишешь мне на машинке, а то почерк у тебя дикий.

Абрамцево, 4 декабря 68 г.

15 марта 1969. Абрамцево

Дорогой Глеб!

Я тут совсем было расхворался.

Поздравляю тебя с должностью. Она полезна тебе, все-таки будешь являться в присутствие, а, следовательно, и пить меньше.

Употребляй свою должность на добрые дела. Помогай старикам. На молодых плюнь, они молоды, здоровы и своего добьются. А есть талантливые забытые старики наподобие нашего Шергина — и вот таким надо помочь, вспомнить их, провести творческий вечер, рекомендовать что-то для переиздания, схлопотать путевку в Ялту и т. п.

Как твоя новая книжка? Пришли, если вышла.

Плохо, старина, болеть — полтора мес. у меня был грипп с возвратами, только начну ползать, опять укладывает, — хреново это.

Как Курочкин? Жалко его. В санаторий его надо. Он у меня раз был со страшного похмелья и не хотел показать, что с похмелья, а взгляд был дикий, и руки тряслись, и весь как студень.

Я, наверно, летом проездом буду в Питере, хорошо бы если б ты был. Проездом — это значит, что хочу побывать в Карелии, туда дороги хорошие? Ты машину гляди не продавай. Она 100 тыс. км может служить без кап. ремонта, а это для нашего брата на 10 лет! Я и сам было хотел продать, а по-

том как вспомнил очереди на автобусы да на поезда (летом особенно) да бессонные ночи на всяких вокзалах и автоб. станциях, так меня в дрожь кинуло, все-таки свои колеса — это вещь.

Курочкину при случае поклонись.

Охоту в этом году, наверно, запретят? Жалко, я только настроился — в прошлом году я совсем не охотился.

Вася Аксенов сидит в Алма-Ате, стряпает сценарий по переведенному им же казахск. роману. Мой сценарий приняли. Вот так-то.

Как там у вас зима? Нас тут совсем замучила — морозы до сих пор ночью в 20°! Надоело!

Хочу сморчков!

Хочу учиться на рояле. Играть Шопена.

Куплю летом рояль.

Будь здоров, милый, пиши иногда.

Абрамцево, 15 марта 1969 г.

Ю. Казаков.

8 октября 1971. Абрамцево

Милый Глеб! Рад, что ты подал голос. Сочувствую тебе в твоём новом начинании.

Сказать тебе что-нибудь определенное о технике перевода я не могу, т. к. сколько переводчиков, столько и методов перевода.

Я переписывал Нурпеисова, стараясь все-таки, чтобы это был Нурпеисов, а не Казаков. Подстрочник ни в коей мере не передает букву оригинала, но дух оригинала в подстрочнике все же присутствует, и, уловив этот дух, можно довольно смело работать, не опускаясь, с одной стороны, до примитивизмов подстрочника и, с другой стороны, не выходясь над автором. Что касается длиннот, то, я думаю, такие места можно опускать, договорившись, конечно, с автором.

Если будут попадаться места, не требующие «перевода», т. е. хорошие куски, то их можно оставлять.

Не знаю, как тебе достанется перевод, а мне было тяжело. Халтурить душа не позволяла, и я, в сущности, как бы вновь писал роман, и времени уходило много, как на свой собственный.

В заключение один совет. В смысле денежном переводческая работа весьма неблагодарна. Поэтому (если ты вообще не переводчик по призванию и профессии), нужно переводить такие книги, которые издадутся потом не один раз. Тогда твой донорский подвиг будет хоть компенсирован материально.

Поэтому без договоров и без включения романа в издательские планы — не связывайся.

Во дни своего литературного разгула (в 62 г.) я перевел как-то маленькую повесть якута, т. е. написал ее, и она вышла только в «Дружбе народов» и нигде больше, таким образом, мой подвиг пропал втуне.

Был я в августе на Б<елом> море и справил там довольно грустный юбилей: впервые на Б. море побывал я ровно 15 лет назад. Тогда я был студентом Литинститута и впереди что-то светило. И вот теперь хочу я написать нечто элегическое.

Сижу я в Абрамцеве, хвораю и вот даже пишу тебе лежа. Осень, а не поохотился, душа моя теперь дремлет.

Будь здоров, дорогой, не пропадай, пиши иногда.

Не хочешь ли махнуть на охоту на Арал?

8 октября 1971 г.

Твой Ю. Казаков.

Конецкому, если увидишь, привет.

25 января 1972. <Абрамцево>

Глеб!

Ну? Ты, наконец, погрузился в казахские степи и потому безмолвствуешь и не пишешь ничего мне о мотодоре? А я-то надеялся на тебя и на Питер! Еще бы! Питерский классик, а Питер великий порт, не может, думал я, быть, чтобы не сдали нам в аренду какую-нибудь шхуну.

У нас морозы. Летают сороки. Снег не выдерживает тишины и сыплется с елок и берез. Хочется весны, казашенок, бешбармака. Сегодня варил уху из наваги, присланной мне прямо из Унской губы Белого моря. На банкете в «Берлине» ел аральского копченого леща, и все мне кричали, отворачиваясь от семги: кинь кусочек, ребрышко!

Тем и живы.

Вдруг вот возьму и приеду в Питер. Слушай, очень хочется приехать. Пришли мне вызов, придумай причину — на неделю! Чтобы не тратить свои «кровные и потные» деньги и чтобы иметь основание стать на постой в гостинице.

Будь здоров, дорогой, обнимаю.

25 января 1972 г.

Ю. Казаков.

21 января 1973. <Абрамцево>

Спасибо тебе, милый Глеб, разом за письмо, за «Неву», за приглашение участвовать в твоём журнале.

А странно, что мы одновременно писали о глухариной охоте. И ещё любопытно, что ты замечаешь в скобках, зачем, мол, еще раз описывать глухариную охоту, когда уже столько о ней написано. Я тоже об этом подумал да и не стал о ней писать. Ну цокнул он, лякнул, ну охотник прыгнул, сердце там заколотилось, то, сё, ликующая песнь, трали-вали и прочее — выстрел грянул, глухарь брякнулся оземь, взял я его за роговые лапы.

Одно только в моем опусе меня повергло в ужас: при наборе вышла опечатка: вместо «краснобровый тетерев» — «краснобородый», я, естественно, это дело исправил, но каким-то образом опечатка проскочила, так и осталось «краснобородый»!

А твой рассказ хорош, хоть я и не верю, что ты одну бутылку вермута взял, да и ту не выпил, «забыл», а? Спасибо, что пишешь, все-таки хорошего у нас маловато, так что каждый хороший рассказ ценен вдвойне.

С удовольствием дал бы что-нибудь ради твоей новой должности, но — потерпи. Все, что у меня пишется теперь, продано по московским журналам, а давать тебе огрызки совесть не велит.

А подумать только, какую карьеру ты сделал! Ах, ах, какую карьеру! Вспомнил я, как тебя допустили на семинар 57 года вести протоколы заседаний, а теперь вот ты сам кого хочешь, того и напечатываешь. Зажимай их, сукиных сынов, нещадно.

Кстати, есть у меня один интересный молодой писатель. Я привез из Гагры целую кучу его рассказов, весьма интересных.

Пока я их отдал в «Наш современник», а когда они вернутся оттуда, пришлю тебе, парень талантливый, пора его печатать.

Жил я в Гагре почти до Нового года и жалею теперь, что раньше не наезжал туда осенью, все-таки гагрский ноябрь и декабрь несравнимы с нашими — темными и тоскливыми.

А что же ты не написал мне про Париж? Каково тебя там принимали, кого и что повидал и чувствовал ли ты в свои парижские дни праздник, «кот<орый> всегда с тобой»?

В Абрамцеве крещенские холода, ночью 36, днем 27. А погода, как дай бог летом, десять дней ни облачка, а ночью слепнешь от луны.

Будь здоров, пиши, обнимаю крепко, может, весной, в марте, махнем вместе в Архангельск? Прикинь, сможешь ли? Обнимаю!

21 января 1973 г.

Ю. Казаков.

Будешь в Москве, разыщи Домбровского, почитай, что можно у него взять. Это будет люкс.

14 ноября 1975

Дорогой Глеб!

Ой, как я тебя понимаю, ой понимаю! Еще бы! — после всех-то Парижей, Мадридов, Барселон, Канарских островов, после громадного кабинета с громадной приемной (как пишет Марк) — еще бы, говорю я, — любого потянет за сто верст киселя хлебать. А мне грешному это выходит не в жилу. Да и есть ли там у тебя зайцы? А собаки? А удобства?

Нет, милый, еду я в Орловскую губернию, в имение князя Дмитрия Кантемира. А там ждут меня егеря и свора гончих и уютный коттедж в сосновом лесу со столовой и кухней, где можно готовить зайчиное рагу.

Но ты, небось, уж давно на Ловати, а я собираюсь в последней декаде ноября. Я тебе потом напишу, как там было.

А ты что, в самом деле вознесся? Мне тут попалась заметка о перевыборах в нашем правлении, но ни твое, ни Коцецкого имя не мелькнуло, а я вас двоих только знаю и люблю.

Будь здоров, дорогой, ни пуха, ни пера!

14 ноября 1975 г.

Твой Ю. Казаков.

14 декабря 1975. <Абрамцево>

Ну, Глеб! Как охота, как чернотроп? Я-таки был в Орле, взял трех зайцев, мог больше, да куда? Лосей там до черта, кабаны. Раз чуть в штаны я не наклал: собаки, гоня зайца, струнули кабанов, и вот пять штук с утробным каким-то еканьем протопотали шагах в десяти от меня и, слава аллаху, не оказался я на их пути.

А зайцев и в Абрамцеве полно. Приехал, пока со станции шел, следов видел так много, будто собаки набегали. Только я собрался с ружьишком в лес, как запуржило, заметило, завьюжило, зазимело, и снегу уже по пуп, не очень-то побродишь, а на моих беговых узеньких лыжах по целине не пройдешь и 200 метров.

Пишу тебе, хоть ты ведь, наверное, делегат и — в Москве, на съезде? Я дома не был, не знаю, делегат ли я. Скорее всего, нет, но, даже если б и делегат, не поехал бы на съезд.

Не нравится мне в последнее время ничего, в ЦДЛ год не был, сижу дома, занимаюсь самоусовершенствованием. Читаю Марка, он меня завалил своими повестями и рассказами.

Все-таки напиши, старичок, как там твоя Ловать, как дом родной, хороша ли охота была. Да и вообще что новенького.

Я, м. б., зимой в Питер заверну дня на 2–3. Поеду в Новгород на церкви поглядеть еще разок, ну а от Новгорода до тебя рукой подать.

Приду к тебе на службу просить — чего? Не знаю, что и просить. Все у меня есть, кроме денег. А деньги будут.

Будь здоров, милый, не болей, пиши мне и вообще пиши, т. е. рассказы, очерки, повести.

Обнимаю.

14 декабря 1975 г.

Ю. Казаков.

18 ноября 1977

Дорогой Глебыч!

Прости, что так поздно отвечаю тебе на твое такое хорошее и столь смутившее меня письмо и на твою прекрасную книгу. Я ее всю прочел, и оказалось, что — перечел: все твои вещи я читал, но удовольствия у меня от этого не убыло!

Задержался я с ответом, потому что вскорости ждал свою книжку и хотел, так сказать, отдариться. Сидел я в Абрамцеве, а книжка моя вышла, а редактор мне об этом не сообщил (странный редактор у меня). Одним словом, я ее прохлопал, а когда узнал и послал режиссеру своему телеграмму с просьбой купить для меня, то — куда там! Наконец получил я 2 экз. (переиздание) и совсем загорюнился: вместо 200 тыс. дали мне 100 тыс., а это, как ты знаешь, тысячи три убытку, а потом столько опечаток, сколько не было их у меня во всех моих книжках: барахтались вместо бархатились (про осины), Алешка мой стучит по столу ножкой, а не ложкой, пропуски слов и даже нескольких, так что я в двух местах даже и не понял, об чем речь, вставили мне почему-то медуницу (вместо таволги) и, значит, ее белую кипень! и шапки!

Словом, сплошное неудовольствие.

Но я и доволен отчасти, что удалось протащить «Ни стуку, ни грюку» и «В город», кот<орые> были напечатаны в «Тарусских страницах» в 61 г., страшно раздолбаны и кот<орые> у меня вышвыривали из всех сборников. И почти целый «Нестор и Кир» (он был целый набран, но тут уж, наверное, цензура).

Теперь об охоте. Мне почему-то представилось, что в твоей деревне зайцев много и тетеревов (с чучелами из них). И я рассчитывал на середину ноября, конец откладывая на Орел. А Марк долго не отвечал, и теперь все сваливается на декабрь, значит, чернотропа не будет, будет снег, зайца не увидишь, собак у нас нет... Да еще Марк предлагает Нагибина позвать, и чтоб ты на своей ехал, а я на своей, а еще Роцин тоже на своей — на трех машинах за одним зайцем? Это раньше только пьяные купцы ездили на трех лихачах.

Не знаю, что и сказать! Если снег, то еще и лыжи волочить надо!

Может, тогда не на Ловать, а ближе к Новгороду? Нет! — ближе новгородцы всё, небось, выбили. Словом, подумай, как лучше.

Книжку я все-таки надеюсь достать и тогда тебе пришлю. Будь здоров, пиши!

18 ноября 1977 г.

Твой Ю. Казаков.

Э. Ю. Шиму



27 октября 1965. Дрезден

Дорогой Шим!

Сидел, сидел я возле этих фонтанов, стало мне грустно, купил я открытку (меня на ней почему-то нет, хотя я тут был) и решил поделиться с тобой — чем? — какое горькое и прекрасное пиво в Германии, какие тут леса по холмам, и всякие дома, и коровы одной черно-белой масти, и дороги, и какие огромные желтые, оранжевые, красные и лимонные хризантемы и астры, которые мне тут дарят охапками. И какое солнце все время, и осени совсем нет, порхают бабочки, редко слетит на дорогу желтый лист, хожу в рубашке, второе издание моих рассказов раскупилось, лопатник (порошенек) полон марок. Ich trink Cognac und Polska wodka und Radeberget und Moselwein... Что еще мне надо? Поцеловать тебя, старик!

Dresden, 27 октября 1965 г.

25 ноября 1968. Абрамцево

Дорогой Шим! Каждый раз, когда я еду в Абрамцево, душа моя тоскует от желания повидать тебя. Но каждый раз в Москве столько делишек, что рано не выберешься, а едешь поздно и остается одно — гнать и гнать, чтобы поскорее преодолеть семьдесят километров, отделяющие Москву от Абрамцева.

Сто раз (еще с Семеновым) собирались мы заехать за тобой, чтобы умыкнуть тебя сюда к нам. И лето прошло, и осень, и поэтому теперь остается одно: написать тебе, чтобы как-то вымолить прощение.

Со страхом, старичок, приступал я к зимовке на своей даче. Чай, сам понимаешь, что такое холод на даче. Но вот

уже месяц холодов прошел (причем бывали морозы до двадцати гр.) — и ничего, жить можно. Очень сухой дом у меня, милый Шим. Ура! А знаешь, как определяется сухость дома? По штанам и сигаретам. Влажные штаны и сигареты свидетельствуют о том, что в доме сыро. Когда я две недели жил у Конецкого (еще на канале), я каждое утро снимал со стула тяжелые влажные штаны и раскуривал сырую сигарету. И еще есть один важнейший показатель влажности: окна. Если на окнах нарастает лед, значит, сыро. У меня, старичок, окна чистые и сухие. Вот как. Вот, значит, как.

А как тебе понравилась Германия? Поразились ли ты берлинским развалинам? Видел ли ты целые кварталы разбитых домов? Что это? — все спрашивал я себя. — Нарочно они, что ли не восстанавливают? Был ли ты в Дрездене? Видел ли ты, бродил ли по Лейпцигскому вокзалу? И какие цветы ты оттуда вывез? Вообще, у меня к тебе тыща вопросов, надо бы повидаться, потолковать — но как это сделать? Я тут, по всей видимости, засел крепко. Пищу, понимаешь ли, сценарий по Нурпеисову — это предпоследняя моя работа, когда отдаешь свою литкровь, вернее вливаешь ее в чужое произведение. Еще переведу один роман и баста! Буду потом огребать деньги за переиздания. Но и своего за эту зиму накатаю порядочно, так мне кажется. А давно сам не писал, даже страшно братья. Наверно, разучился к чертям, снова надо набивать руку.

Что у тебя нового? Как тебе работается? Напиши мне. А потом давай сговоримся насчет твоего приезда ко мне. Надо условиться о времени — я буду встречать тебя на станции.

А пока — обнимаю, твой

Ю. Казаков.

А что, ездила Лена куда-нибудь еще в проклятые и гнилые капстраны? Давай напишем по пьесе для нее, а?

Абрамцево, 25 ноября 1968

21 января 1969. Абрамцево

Не можешь ли ты, любезный Шим, объяснить мне следующего явления. Еще в конце ноября устроил я себе кор-

мушку перед окном, прибил ее к дубу, насыпал всякой всячины и стал ждать.

Первыми появились синицы. По две-три штуки. Не больше. Потом общество увеличилось и разнообразилось.

Вот кто прилетал: большие синицы, лазоревки, московки, черноголовки, хохлатые синицы (если верить определителю птиц — редкость), затем поползни, дятлы и, наконец, сойки и сороки.

Дятлы, между прочим, интересно едят. Клюв у него тонкий на конце, зернышко им трудно ухватить, и вот дятлы прилаживались есть боком клюва.

Когда я насыпал семечек, — пространство за окном становилось как бы заштрихованным. Почему-то ни одна птица не могла съесть семечку на кормушке, а, схватив, обязательно летела на ближайшую ветку, там зажимала семечку лапой и расклевывала. Управлялась она с этим делом за несколько секунд и летела опять к кормушке, чтобы схватить новую. А так как птиц бывало порой много, то их непрерывные прилеты и улеты были похожи, как кто-нибудь строчил бы из пулемета трассирующими пулями во все стороны.

Позже всех появились воробьи. Стаями штук под двадцать-тридцать. Они сперва облепили елку возле кормушки сверху до низу, петом слетали на кормушку, клевали и так же непонятно потом улетали все вместе, хотя корм еще оставался.

Но вот странность. После появления воробьев исчезли все остальные птицы. И еще странность: полетав недели две, исчезли и воробьи. И много дней кормушка моя вообще пустовала.

Вот только недели полторы опять появились синицы и поползни.

А воробьев и в помине нет.

Все птицы страшно любят пшено и семечки.

И совсем не любят почему-то льняного семени и еловых и сосновых семян, которые покупал я в Москве — в Зоомагазине и которые все птичники хватали почем зря.

Ты не замерз там на своей даче?

И почему ты молчишь? Не поздравил даже нас с Новым годом. Это даже невежливо.

У меня на Новый год были гости: Т. Самойлова с В. Осиповым и Ю. Домбровский с восточной женой своей Кларой. Перепившись, Домбровский хватал Осипова за горло, шумел, и проч., а я спал.

Отсюда вывод: звать в гости непьющих.

Напиши мне, можно ли уже теперь завозить навоз. Не потеряет ли он своих там разных аммиаков, азотов и прочего добра.

Дай знать о себе, старичок, и не гордись своими немецкими огурцами, они тут не будут расти и в одну прекрасную ночь убегут с твоих грядок в свою теплую Германию.

Будь здоров. С Нурпеисовым я разделался и теперь дышу свободно и принялся за свое.

Привет Лене.

Абрамцево, 21 января 1969 г.

Ю. Казаков.

22 января 1969. <Абрамцево>

Здравствуй, Шим!

Напиши-ка ты мне, сделай милость, по-прежнему ли ты составляешь передачи из Ленинграда «Вести из лесу».

А то у меня рассказец проклюнулся как раз по этой части.

Я теперь радио почти не слушаю и не знаю, живы ли еще эти «Вести» или в Бозе померли.

Куда ты пропал?

Не забудь, ты еще обещал в гости ко мне в январе. А январь уже на исходе.

Обнимаю.

22 января 1969 г.

Ю. Казаков.

13 февраля 1969. Абрамцево

Дорогой Шим!

Спасибо тебе за письмо, и ты, наверное, прав насчет птиц, но — не знаю, не привыкли они, что ли, к моему дому? Все-таки 20 лет стоял он зимами пустой и холодный. Так или иначе, но они у меня не держатся. Сейчас, правда, есть некоторое оживление, а то почти две недели стояла кормушка

безжизненная, полная пшеном, геркулесом, льняным семенем и даже колбасой. Никто не прилетал.

Теперь насчет навоза. Навоз мне нужен подо все: под огород, под деревья и кусты и под цветы.

Я, старичок, хочу на весну взять садовника (месяца на два) из Загорска, пусть он мне организует посадки и т. д. Самому некогда и не умею, а сажать мне надо много, у меня на улицу выходит забор не такой, как у тебя, не сплошной, а решеточкой, и я хочу вдоль забора посадить декорат. кустарник, хотя улица у нас — понятие условное, но все-таки дом мой стоит в низинке и всем проходящим все видно. А ставить сплошной забор — накладно.

Что ж ты не пришел тогда? И где твоя гениальная повесть? Пришли, сделай милость! Я тут с наслаждением прочел на днях повесть Ан. Злобина «Демонтаж» — о том, как валили монумент Сталина в 61 году. Страшно увлекательные подробности и вообще трагическая вещь!

Одолевают меня сойки и сороки, я их в декабре бил, а теперь Алёшка, стрелять неловко, так я открываю форточку и свищу яко Соловей-разбойник.

Напиши о навозе, брать его мне сейчас или рано?

Затеваю ремонт, вернее, не ремонт, а благоустройство, выписываю для этого мастеров из Москвы — здешние пентюхи ни хрена не умеют.

Не знаешь ли ты случаев хорошего специалиста по каминам? У меня запас корней года на 4, на 5 — хочу их пожечь в камине. Seriously, несколько груз. машин пней с корнями, жалко же добра! Надо камин делать.

Я, старичок, не нарадуюсь на Алёшку и тужу об одном только, что раньше не обзавелся этим добром, хоть бы лет 10 назад, сейчас мы бы с ним — ого! <...>

А меня вдруг повело в мемуары (старость, значит) взял я и написал оные под названием «Моя охота». А вообще-то, грустно, как начнешь перебирать юность, не знаю, как у тебя, — у меня это самое печальное время. Хоть брось!

А ты как в воду глядел, когда написал мне насчет воробья. Я и в самом деле пишу сейчас сказочку о воробье. Глупость, конечно, но что делать — писать для ребятешек одно

удовольствие, да и денежно... Мне вот прислали письмо из Диафильма, хотят сделать что-то по моему рассказу «Дом», Тамара привезла мне «Мурзилку» с моим рассказом, а там и твой о мышатах — ерунда, в сущности, а хорошо. Смысл весь в том, что когда мамы нет, то хоть бы поколотила, да была бы дома — это так понятно для маленьких!

Ну, будь здоров, милый, напиши про навоз-то!

У меня в этом году много гладиолусов будет, а «деток» — тыща!..

Славно все-таки в земле копаться.

Напиши.

Ю. Казаков.

Горышин стал председателем секции прозы.

Курочкина хватил инсульт.

Конецкий поставляет оружие арабам и тем гордится. Вот трепу будет в Питере, когда он вернется!

Абрамцево, 13 февраля 1969 г.

5 марта 1969. Абрамцево

А у меня, старичок, весны нет как нет. И вообще, весна нынче странная, ненормальная — месяца полтора солнце, ни грамма снега, мороз по ночам как по заказу — 25–27°... Что такое? И нет у меня ни кресса, ни салата, ни тюльпанов.

Глядел, глядел я на голубое небо, взял и заболел. Болезнь как болезнь — противная, а хуже всего — на голову наслала, головешка была, как полено, и посему две недели я не только рассказами своими не занимался, но и письма путного составить не мог.

Теперь вот стал ползать.

И как-то надоело мне жить в родном краю, хочется за границы, хочется малость посибаритствовать. А то тут просто делать нечего — представь, даже пить бросил, последний раз причащался в Москве в конце января...

Воображаю твои парники и ящики с разной порослью, но не гордись, старый, у тебя ведь стаж-то. А у меня еще году нет.

Зато я покупаю полсотни корней розы-ругозы (так, кажется) — это прекрасное растение, наподобие шиповника, только бутоны как у настоящей розы и зимостойки.

Где купить сирень и жасмин?

В загорском питомнике есть липы — не надо?

Не забудь выделить мне лимонника.

Да ты приехал бы! Чай, нога зажила, что ж не приедешь, поглядел бы на мой дикий лес.

Насчет садовника ты не понял меня — копать и все такое я буду, но мне нужна высшая идея. Мне нужен специалист садовод и цветовод, который поглядел бы на мой участок и набросал бы мне план, что, где и когда сажать и, м. б., помог бы мне достать всякие саженцы и проч.

Читал ли ты Уоррена?

Абрамцево, 5 марта 1969 г.

18 января 1971. <Алма-Ата>

Милый, мудрый Шим! Вспомнил я твой дом в моем изгнании, среди чуждых гор, и стало мне приятно от мысли, что если мне постараться, то и у меня будет когда-нибудь такой же дом, т. е. в смысле ухоженности и красоты земли. Как-то я тут смотрел в громадный телескоп на звезды, а потом вышел вон, но и снаружи не было уютнее — белели вокруг горы и блестели под луной купола обсерваторий, и так мне захотелось в Абрамцево, затопить камин и чтобы весной вылез из земли тюльпан, баню затопить и вообще чего-нибудь простого захотелось, что даже нехорошо как-то стало.

Все-таки молодец ты, что живешь на земле, не на асфальте, хорошо, что и я купил себе домишко и что еще одно усилие, еще одна трата денег на ремонт, а потом десяток лет можно не думать о доме, а только о посадках, о теплицах, о расчистках леса, о деревьях и кустах и вообще — жить. И жалко, что благодать эта пришла мне теперь, а не в 25 лет, когда я впервые начал стремиться к землевладению.

В этом году я — твой частый гость, ученик и проситель — буду кланчить у тебя всякие растения, а ты уж не жалей, ладно?

Кстати, не привезти ли тебе отсюда семян, луковиц или чего-нибудь подобного? Я хочу перед отъездом занять-

ся этим делом, т. е. наберу всего, чего можно, а дома посажу у южной стены и погляжу, что из этого выйдет.

Если у тебя будут просьбы на этот счет — напиши. Что ты пишешь сейчас? Завидую я вам, чертям, что вы свое что-то царапаете, а мне вот надо своей кровью орошать пустыни Казахстана. Но что делать — последний том, верный заработок, верный, следовательно, хлеб, и луковицы, и семена, и ремонты, и налоги, и все остальное. А со своим еще без денег насидишься, знаю я, как писать свое. Зато после Казахстана ни одной нации не подпущу я к себе близко и вновь займусь изучением русского языка.

А камин вышел у меня все-таки великоват, т. е. кубатура самого камина не совсем соответствует сечению дымохода — когда дрова горят дружно, тяга гудит и все в порядке, а когда огонь начинает угасать, то головешкин дым чуть-чуть падает наружу. Его бы переделать, но как вспомню, сколько грязи было в доме, когда делали, то руки опускаются.

А садовника я себе все-таки найму (если только удастся!) хоть на весну и лето, старикана, ибо одному мне не сладить. Очень уж много работы, и не знаю ничего, а тут, как я убедился, нужно практически поглядеть, как и что, и когда нужно делать, и нужно заложить хорошую основу, а тогда уж легче будет, тогда можно самому. Так что твое издевательское отношение к наемному садовнику в данном случае меня не трогает. Если бы только в Загорске в обществе охраны природы нашелся бы какой-нибудь пенсионер, кот. согласился бы через день ко мне ездить!

Приезжай ко мне, милый Шим, париться в бане! Я в этом году отделаю ее так, что художники будут просить разрешения ее рисовать.

Всех тебе благ, поклон Лене. Если смотришь телевизор, то обращай внимание на программу — м. б., скоро пойдет мой телефильм «Голубое и зеленое», режиссер вроде ничего. Молодой. По фамилии Гресь.

Напиши мне. Сядь вечером у камина или ляг на шкуру и напиши что-нибудь мудрое и поучительное.

Целую тебя.

18 января 1971 г.

Ю. Казаков.

10 февраля 1971. <Алма-Ата>

Здорово, драматург! От твоего письма по телу моему прошла дрожь, как от женщины. Еще бы! Навоз, тюльпаны, лаванда... Кстати, ты что, ее в ящиках сеешь? И годится ли ее семя, то есть эти лиловые зернышки, так чудно пахнущие, для посева? А то у меня есть два пакета таких — один из Парижа, другой из Румынии. Я бы сеял. Я, знаешь, как Паустовский, люблю лавандовый запах... <...> Нет, ты молодец и гений, что пишешь пьесы и выращиваешь тюльпаны, я подлизываюсь к тебе, я хнычу и скулю, с вожделием думая о том миге, когда ты будешь выкапывать и дарить мне негодные саженцы, ибо хороших ты не подаришь, не захочешь расставаться с фотографиями из «Цветоводства».

Зато — фу! — каким провинциальным подмосковным снобизмом веет от остальных твоих рассуждений. «Степи... Что ты мне можешь привезти?» А между тем тут яблони — как дубы! — знаменитейший алма-атинский апорт! Ты, небось, таких яблок и не едал. Тут растет все — от винограда до лопухов. А у моего Нурпеисова друг-приятель директор ботанического сада. Этот сад получает семена и саженцы из ста стран мира и во столько же отправляет свои. Я одного только боюсь: как бы не навезти того, что не будет успевать расцвести и вызреть в нашем сопливом климате. А потом семена семенами, а как быть с саженцами? Если мне дадут машину саженцев — как их доставить в Москву? Как ты смотришь на золотой корень? Или — на кедр? Они будут расти у нас?

Одним словом, ты отложи на вечерок свою пьесу, сядь и составь мне реестр, чего бы ты хотел из растительного мира — огородного, садового и лесного? Я с этим списком приступлю к ботаническому саду.

Судя по обратному адресу, ты предоставляешь своей лаванде расти в одиночестве, а сам сидишь в Москве?

Представь, я, наверно, надолго пропал для отечественной лит-ры. Мало того, что я в поте лица тружусь над переводом, мне еще предстоит создать сценарий для двухсерийного фильма по трилогии. Ужас!

К сожалению, не могу похвастать написанными и «завернутыми» рассказами. Только всего и успехов, что фильм, который я делал в Киеве на квартире у одной красивой <...> хохлушки, к которой прямо-таки рвались мужчины и взламывали двери, — фильм этот, как написал режиссер, вышел. И вроде бы очень хороший получился фильм. А конкретнее сказать ничего не могу, ибо не видал. Да еще одна новость — приятная и неприятная вместе. Стал я отныне и вовеки старичок, лауреатом Дантовской итальянской премии. Приглашение приехать на церемонию вручения мне, конечно, не передали. И прошлой осенью такая церемония состоялась, были кардиналы, и министр культуры произносил речь, а вместо меня там был мой дух да еще моя переводчица. Братски обнявшись, дух с переводчицей сидели во дворце XIII века, где когда-то жил Данте одно время... Ну не гнусность ли? Зато я теперь имею диплом и золотую медаль. Вечером я прицепляю ее к пижаме и гляжусь в зеркало. После Ахматовой я второй иностранец, удостоенный премии. Ты — будешь третьим.

Ну ладно, шутки шутками, а я здорово соскучился по нашим местам и жду не дожусь, когда приеду домой. Будет это, скорей всего в конце марта — как раз время земледельцев. Буду уповать на тебя.

Серьезно, напиши, что бы ты хотел иметь, я постараюсь привезти.

А пока кланяюсь, в надежде, что ты не оставишь меня своими милостями.

10 февраля 1971 г.

Ю. Казаков.

15 января 1972. Абрамцево

Милый Шим! Ты, небось, решил, что я свинья — обещал тебя навестить в больнице и пропал? А я совсем наоборот. 20 сентября скрутила меня такая стенокардия, что очухался я и поехал в Малеевку только в середине ноября. А в Малеевке еще того плоше. Форменно загибался по пять раз на дню. Руки-ноги холодели и задыхался, и вкатывали мне разные уколы — до сих пор задница и предплечья чешутся.

И вот, как только мне малость полегчало, тороплюсь поздравить тебя с Новым годом и принести к твоему порогу всяческие благие пожелания.

Что-то, братец, тебя давно не видно и не слышно нигде, и как-то скучно. Мне простительно, я литературу забросил, — а вот ты-то что? Почему я твоих афиш не вижу — ведь ты же пьесы писал? И почему твои книжки мне не попадают? Или я темный и отсталый, и Москва о тебе шумит, а я не слышу?

Что ж, старичок, опять, значит, скоро весна, посевная и все такое, опять мы с тобой будем что-то втыкать в землю — ты методично и планомерно, а я кое-как и поверхностно. Но — все-таки!

Балтер отгрохал себе ранчо за 10 тысяч возле Малеевки. Ранчо его состоит из одной комнаты. Мечтает о переоборудовании чердака под кабинет.

Не порушился ли твой сад этой осенью? У нас кругом столько лесу и садов поломало — прямо как после тунгусского метеорита. За одну ночь столько снега навалило, что я по участку ходить в сапогах не мог, черпал голенищами, и все березки на моей опушке полегли до земли, но, слава Богу, ни одна не сломалась, зато в глубине (как перебило!) сломался пополам здоровенный дуб.

Сижу я пока в Абрамцеве с редкими наездами в Москву, морозы завернули, но дни тихие, ясные, свету прибавилось, с 19 января по Пришвину начинается весна света, в этом только и утешение.

Будь здоров, дорогой, не болей — что у тебя было с кровью? Елене мой поклон.

Абрамцево, 15 января 1972 г.

Ю. Казаков.

И. С. Кузьмичёву

26 января 1981. Абрамцево

Дорогой Игорь Сергеевич!

Ради бога, простите мне столь поздний ответ — много раз собирался писать вам, но каждый раз останавливался: о чем писать? Так много было задумано, такие были грандиозные замыслы — и ничего не осуществилось... Чем похвастаться?

Мне кажется, самым лучшим методом вашей работы, если вы еще не раздумали, будет следующий: вы пишете себе и пишете, исходя, разумеется, из вашего плана, из вашей концепции, а я, если по ходу работы у вас возникнут те или иные вопросы, буду стараться правдиво отвечать на них.

На Западе писали обо мне много, но это все сложно достать и сложно переводить с разных языков. Кроме того, во многих зарубежных статьях присутствует элемент сенсационности, и их всерьез принимать вряд ли стоит.

Где-то у меня есть (только надо искать долго) статья некоего американца, специально присланная мне. Содержания ее я не знаю, разумеется, т. к. не знаю английского, но, кажется, она наукообразна, т. е. там идет какой-то спор с учением Юнга.

Я хотел уезжать в Москву, но, по всей вероятности, буду здесь до весны, так что адресуйте мне сюда. Кажется, вы писали о каком-то «детском» моем рассказе несколько лет назад? Если память мне не изменяет и это действительно вы, — примите, пожалуйста, мою запоздалую благодарность!

В прошлом году на исходе лета В. Конецкий писал мне и собирался приехать, я ему тоже писал, но он вдруг накрепко замолчал, и я не знаю, пустился ли он опять в плавание? Или дома? И как его здоровье? Если увидите его, кланяйтесь, пожалуйста!

Пишите мне, впредь обязуюсь отвечать аккуратно, а если будет охота, то и приезжайте, я все это время на даче, в Москву подамся, если вдруг начнут давать мне квартиру.

Всего доброго!

26 января 1981 г.

Ю. Казаков.

141352, Абрамцево, Моск. обл., пос. Академикова, дача 43.

На всякий случай мой моск. тел. — 241.73.02. Если вам скажут, что я не приезжал, значит, я здесь.

25 февраля 1981. <Абрамцево>

Уважаемый Игорь Сергеевич!

Копался я тут во всяких книжках-журналах, сортируя, что оставить, а чем топить колонку в ванной, и наткнулся на сборник «Писатель и жизнь», изд. Моск. универс. 1978 г. Там есть статья Ал. Михайлова обо мне. Статья как статья, но она, м. б., заинтересует вас в той части, где Михайлов говорит о том, как он мне рассказал зимовку своей семьи на Карском море и что потом из этого получилось у меня в «Долгих криках».

На детство же мое особенно не рассчитывайте. Я как-нибудь вам напишу о нем, но оно весьма и весьма бедно событиями (если не считать войну, да войной кого удивишь?).

Хотя могу я вам при настроении рассказать о двух годах, прожитых мною в Загорске, — я учился там в 3-м и 4-м классах.

Кстати, меня очень просят написать воспоминания о Литинституте, у них готовится сборник к какому-то юбилею, я напишу (если не опоздаю), а копию пришлю вам. Вообще, я теперь удивляюсь и горьки слезы лью — зачем, зачем я кончал этот институт! Мне бы уйти со второго-третьего курса или перейти на заочный! Сколько рассказов осталось ненаписанными, страшно представить! Все-таки каждый день с 9 утра и до 5 дня, а то и задерживали еще из-за всяческих семинаров. Когда же тут писать? А желание было страшное! И все потому, что в голове сидел дурацкий диплом — как же без диплома! Теперь я и не знаю, где у меня этот диплом, как получил, сунул его куда-то, так и в глаза больше не видал.

Всего самого доброго!

25 февраля 1981 г.

Ю. Казаков.

Скажите Вите, пусть все-таки напишет мне. (Кстати, у него, если сохранились, есть много моих писем конца 50-х годов, м. б., вы из них нечто почерпнете.)

В. А. Солоухину



3 декабря 1974. Абрамцево

Милый Володя, шер гранд советик экривент!

Видел я тебя на Гамзатове, хорошо ты держался, вольно, я даже прослезился и вспомнил весну 67 года, Сорбонну...

А что ж в баню-то не приехал?

И где же табак? Пришли, пожалуйста, бандеролью, дочке поручи, пусть пришлет, если ты его уже не сбаврил кому-нибудь. В баню же приезжай — по весне. Зимой я ее не топлю, волынка большая.

Будь здоров, хоть ты и так здоров и молод и в сыновья годишься, но все равно, будь здоров и счастлив.

Привет твоему дому.

Абрамцево, 3 декабря 1974 г.

Ю. Казаков.

21 мая 1975. Абрамцево

Дорогой Володя!

Чувствую я, что тебе, хватившему вдосталь Ялты, подобно Чехову захотелось российской природы. Приезжай, окулись, сподобься. А то, право, обидно, как поглядишь на сплошь иностранные машины с дипломатическими номерами, заполняющие по субботам и воскресеньям наше родное Абрамцево.

Баня моя функционирует, и каменка её жаждет пива.

Ты ведь на машине поедешь? А если на поезде, то ехать с Ярослав. вокзала до ст. 55 км, от станции налево, до дер. Глебово, а из деревни — лесом — к нам. Спросишь, тебе скажут, как идти. Если на машине, то ехать надо так: по Ярослав. шоссе до 62-го километра, затем, тотчас на 62-м, поворачивать на Хотьково. От поворота до хотьковского переезда 7 км.

От переезда всё прямо, т. е. по шоссе, следуя всем его изгибам до Абрамцева (4 км). В Абрамцеве, поднявшись вверх от Вори, едешь ещё 1 км прямо же, пока не доедешь до ворот с будкой и кирпичом наверху. На кирпич не обращай внимания, въезжай в посёлок, поворачивай направо и катись потихоньку, пока не увидишь (на правой же стороне) 43-й номер.

Баня обычно поспевает у меня часам к четырём.

Если не очень тебя затруднит, привези чего-нибудь из еды. Я имею в виду какую-нибудь закуску. Прости, мне неловко об этом говорить, но у нас в магазине, к сожалению, имеется только простой продукт, как то: подсолнечное масло, хлеб, сахар, конфеты, вермишель, кефир и соль.

Приезжай пораньше, погуляем. И привези, пожалуйста, номер «Москвы» с твоей повестью, мне говорили, ты там о Мите написал, а потом вообще я очень люблю тебя читать, привези, не забудь.

Мамаша моя едет в Москву, опустит там это письмо, так что, надеюсь, ты успеешь его получить.

Будь здоров! Небось, в Ялте много написал?

Абрамцево, 21 мая 1975 г.

Ю. Казаков.

29 мая 1975. Абрамцево

Дорогой Володя! Наоборот — это мне надо извиняться за то, что я negliжировал, так сказать, своими обязанностями хозяина. Ничего я тебе не успел показать и ни о чём рассказать, и шашлыка в лесу мы не поджарили, и чаю из самовара не попили, и камин не потопили, и т. д.

Я бы тебе раньше написал и попросил бы прощенья, но с понедельника читал твой «Приговор». Приедешь — поговорим о нём подробнее, а пока скажу только, что некоторые места я перечитывал по два и три раза. А читатель я довольно сумрачный, строгий.

(Вася Росляков рассказывал мне, как, бывало, его сын, человек лет трёх-четырёх, разбив что-нибудь, кричал на отца, зажмурившись от страха: «Не подходи, я стгогий!»)

На эту субботу я тебя не приглашаю, м. б., погода ещё будет нехороша, а вот на следующую, т. е. 7 июня, — милости прошу.

Пива так много не надо, ты его почти не пьёшь, а я один в поле не воин. Или вообще не надо, обойдемся квасом.

Веники будут свежие — дубовые и берёзовые.

Приезжай с ночевкой или вообще на несколько дней, помещу я тебя во флигеле — две комнаты, туалет, водопровод, дам плитку, можешь печку топить. Это, конечно, не карачаровская резиденция, но всё-таки кое-что. Можешь захватить с собой свою работу и тут поработать.

Тут у нас в последние дни заглодало, пришлось затапливать котел, и теперь мы блаженствуем.

Баню я топлю каждую субботу, но ты всё-таки дай знать, ждешь ли тебя 7-го. А я, если наскочу на той неделе в Москву, позвоню тебе.

Ну, всё, кажется. Да, если есть, привези спирту, грамм сто, покажешь мне, как чистить иконы. Хоть бы малюсенькую прочистить.

Будь здоров, обнимаю! Мама тебе кланяется.

29 мая 1975 г.

Ю. Казаков.

Г. В. Семёнову



28 января 1962. Москва»

Старик! — я уезжаю и поэтому пишу тебе.

Ружье у Бродского¹ я видал, он даже дал мне его, чтобы я попробовал, оно прекрасно по форме, но, увы, — никуда не годно по содержанию. Стволы изнутри и снаружи покрыты раковинами. Так что вся надежда теперь на твой «Зимсон». А хорошее слово — «Зимсон» — зимний сон, правда?

Итак, смелей и выше. Хватай свою тётю, держи ее, а я приеду и унесу ружье. Приеду я к середине февраля².

Затем! Точно как и тётю, хватай за горло Кожевникова, те-реби его как стреляную утку. Это я имею в виду мои рассказы.

Бедные мои рассказы! Я, как Пушкин, поднимаюсь сейчас на высшую ступень, а обо мне дурно говорят. До чего дошла наша литература!

По приезде я буду звонить тебе или просто зайду.

Будь здоров, желаю успехов!

28 января 1962 г.³

Ю. Казаков.

¹ Бродский Иосиф Александрович (24.5.1940, Ленинград — 27.1.1996, Нью-Йорк) — поэт, лауреат Нобелевской премии.

Ю. Казаков, узнав, что бедствующий в то время Бродский продает ружье, решил купить это ружье.

² Ружье Казаков приобрел, купив «Зимсон» у овдовевшей тетушки Георгия. С этим ружьем Казаков охотился всю оставшуюся жизнь.

³ Письмо отправлено на адрес журнала «Знамя», в котором Георгий работал редактором 2 месяца по просьбе Кожевникова. Казаков имеет в виду свой рассказ «Нам становится противно», о котором «дурно говорят» критики.

Февраль 1962. Таруса

Милый Георгий Семёнов!

Спешная к тебе просьба. Узнай, ради бога, кто именно занимается сейчас составлением сборника рассказов в «Сов. писателе» за 1961 год. Это и в твоих интересах, ты тоже там тиснешься — один из твоих рассказов, напечатанных в «Знамени», по твоему усмотрению. Понял? Узнай и напиши мне, а именно: имя, отчество, фамилию и адрес составителя. Понял? Действуй!

Как дела? Напиши — что новенького вообще. Я работаю, пишу, брат. Живу. Скоро Ока тронется, буду глядеть.

Новостей нету, рассказы новые есть только. Но они у меня лежат, подлые, ничего им не будет. Места не пролежат. Хреновое это дело — рассказы.

Привет твоему коллеге Уварову.

Будь здоров!

Ю. Казаков.

Адрес мой: Таруса, Калужская область. Почта, до востр.¹

21 апреля 1962. Таруса

Старик! Увы, охоты не вышло. Не то, понимаешь, нынче время, чтобы охотиться. Не та эра. Не та эпоха. Это тебе не девятнадцатый век! Это тебе не Аксаков и не какой-нибудь Толстой.

Все эти дни ходил я в лес, но кроме реактивных самолетов, с ревом проносающихся в верхотуре, ни хрена не видел. С горы стрелял по сойкам и дроздам. Ружье хорошо — то ли ты наклак слишком много порошу в патроны? — но бьет здорово. А дрозды все равно вкусны. Я вообразал, что это вальдшнепы.

Ну и были еще разные приключения. Один раз, возвращаясь в темноте с тяги (которой не было), мы нашли ежей.

¹ Письмо отправлено в конце февраля, а получено в апреле, когда Георгий уже не работал в «Знамени».

В. С. Уваров — редактор в отделе прозы журнала «Знамя». Проработав в журнале два месяца, Георгий понял, что не сможет сам писать, если будет работать в журнале, и ушел, хотя его очень угваривали остаться.

Двух штук. Сейчас они живут у нас на террасе, фырчат, издают звуки, будто густая каша кипит на плите, топочут по полу, перевертывают тазы и кастрюли, пьют молоко, едят хлеб и птичью требуху и днем спят без просыпу. Мы их скоро выпустим опять в лес.

Еще была встреча. Опять мы шли с тяги, которой не было, шли подлеском, такие, знаешь, частые, красные пруты, и вот вдали над этими прутами, в темноте узрел я корягу, очень похожую на лося. Это и был лось. А с ним еще лосиха и лосенок. Ты думаешь, они удрали? А вот хрен! Лось насторчил уши и пошел к нам. Он всхрапывал и был страшно большой. И нам стало как-то неудобно. Пропала, понимаешь, вся интимность. Главное, что ружье было на вальдшнепа заряжено. И пуль не было. И потом еще всякие такие мысли насчет штрафа в 10 тысяч рублей или тюрьмы. За этого-то подлецанахла лося, а? В общем, во мне боролись противоположные чувства, пока мы трусливо обходили проклятых лосей стороной. Это ли не подлость?

Больше приключений не было. Ружье я почистил, смазал и запаковал до осени.

Теперь вот какая к тебе будет просьба. Я тут куда-то засунул твое письмо с адресом Бочарова. Не то я его в Москву свез и там оставил. Я ведь так и не позвонил ему, ружье все мои мозги отбило. Не дается мне этот Бочаров. Будь другом, позвони ему ты, спроси, взял ли он в сборник какой-нибудь мой рассказ. Если взял, то какой? Если не взял, то будет ли вообще брать. Если будет, то пусть берет «Осень в дубовых лесах». А потом напиши мне сюда — хорошо?

Вот и все. Привет Лене и маленькой поэтессе. Пиши мне сюда.

Таруса, 21 апреля 1962 г.

Ю. Казаков.

29 августа 1962

Дорогой Георгий!

Очень хочу я с тобой съездить на охоту. В любое место, хотя я уже остановился почему-то на Валдае. Много мне про него рассказывали. Будь другом — пришли мне телеграмму на мой московский адрес, сможешь ли ты поехать. Поехать можно было бы 5–7 сентября, дней на десять или меньше, или

больше — это будет зависеть от охоты и нашего настроения.

Или звони мне.

В Москве я объявлюсь 2-го в воскресенье, во всяком случае утром в понедельник (10 ч.) я буду дома.

Если не поленишься, то достань журнал «Москва» № 8 и прочти мой рассказ, хоть ты его и знаешь. Это «Адам и Ева».

Будь здоров, обнимаю!

29 августа 1962 г.

Ю. Казаков.

Надо бы взять командировки от к. н. журнала — как думаешь, от какого?

12 марта 1963. Таруса.

Юра, вот задание, в котором заинтересован сам президент.

Необходимо узнать, когда открывается охота в Псковской обл. Т. к. Псковская обл. севернее, чем прочие, то очень может быть, что там открытие охоты отнесут дней на 5 позже.

Далее.

Если еще раз будешь в «Лит. России», то веди речь о командировке не только в Псковскую, но также в Вологодскую и в Архангельскую области. Б. м., просидев недельку в Грязино, мы двинем на север вслед за птицей и, м. б., доберемся до Б<елого> моря — чем черт не шутит. И будем охотиться числа до 10 мая. Там увидим. Но на всякий случай срок командировки взять такой — 20 дней и в три области.

Скажи, привезем весенние заметки.

Доставай пленку для фото и киноаппарата.

Доставай гильзы и порох.

Держи порох сухим. Есть еще порох в пороховницах. Жив курилка! Все как один. Единодушно! Куй патроны, пока горячо. Народ от тебя требует! Обед проходил в дружественной обстановке.

Обед прошел мимо.

Целую.

Таруса. 12 марта 63 г.

Резидент разведки
ССП — Ю. Казаков.

О выполнении задания доложить по телефону — Таруса-165.

Герой моей повести обедает в Питере в ресторане-поплавке.

1 апреля 1963. Таруса

«Старик, на обороте — это одна девочка у меня упражнялась на машинке. Ко мне сюда ездят всякие такие умненькие девочки, а эта еще вдобавок пианистка и два дня услаждала мою нежную душу звуками.

А я еще раз повторяю: ничего нет и неизвестно (между прочим, ты не оценил этого перла. Это в Тарусе однажды было объявление на керосиновой лавке «Керосину нет и неизвестно») — ехали мы сюда, было мокренько, весной пахло, и мысли у нас были весенние, о сапогах, и как отсюда выбираться. А потом опять стукнули морозы, дует злой ветер, весны и в помине нет, грачи, которые уже прилетели, — в полной панике, жрать им нечего, любви тоже никакой, мороз кровь сгущает, мотаются они по ветру, над белой равниной, и тоскливое очарование исходит на мою кровавую душу от их пролетов. И письма от друзей все приходят унылые, зимние. Словом, заморозки.

Но ты не робей, а ты вот что — разведись с женой, детей отдай в детский дом, собаку подари Кочетову¹, доставай гильз и пистонов и думай все время обо мне и о деревне Грызавино (название-то, с ума сойти!), сделай себе соляной раствор, заряди шприц и в предвкушении маринования всяких уток, и глухарей, и тетеревей, и прочей мрази, втыкай пока время от времени шприц себе в задницу и напускай туда соли. Кровь должна быть соленая, это ты знаешь? А у тебя она пресная, судя по твоим унылым письмам.

Я приеду под Пасху. Под светлый праздничек Христова Воскресения. И позвоню тебе тогда, и мы решим, что нам делать. Если с весной затянется, то охоту, наверное, отложат на недельку, ну да нам не к спеху, поедем попозже.

Ружо я вынул и повесил на стенку. И гляжу на него. Такое оно изячное.

¹ Кочетов Всеволод Анисимович (22.1.1912–4.11.1973) — прозаик. С 1961 по 1973 — главный редактор журнала «Октябрь».

Повесть моя пускает соки.

Девочка моя привезла мне гиацинты. Они сейчас стоят передо мной в банке, толстенькие такие и пахнут одновременно бананами, клубникой, сиренью и шампиньонами. У меня на столе весна. И мне охота писать рассказы для детей про весну. И быть каким-нибудь там Пришвиным или Бланкой, и чтобы окружен я был какими-нибудь домовитыми, уютными старушками, чтобы их вокруг меня было штук десять и чтобы они мне носки вязали, кофе варили, спину мне чесали, а когда я напишу свеженький рассказец, чтоб они сиделись возле и я бы читал им, а они бы ахали и какая-нибудь из них бежала бы после этого в магазин за четвертинкой. Хотел бы я быть старосветским помещиком, старик, вот так! Я тут стал читать одного старого писателя (и хорошего) Салова, так у него есть такое место, где охотник жалуется на плохую тягу, всего шесть штук убил, а?

Ну, будь здоров, информируй меня, ради бога, как с охотой и как с гильзами, порохом и прочим.

Привет Лене!

Таруса. 1 апреля 1963 г.

Ю. Казаков.

11 апреля 1963. Таруса

На какой я тебе бумаге пишу, а? Ты погляди на свет. На такой бумаге только президенты пишут, Льву Толстому не снилась такая бумага.

Слушай, старина, что Бог ни делает, все к лучшему. То бы мы поехали в Псков, а теперь так: 10 дней по Вологодчине пошляемся, я сегодня писну письмишко одному знакомому писателю, он там охотился, знает, где лучше.

А потом 10 дней в Архангельской. Слушай, купи дробин 00 или даже картечи, мы там поплывем куда-нибудь к ненцам, на Колгуев остров и будем в тундре гусей бить.

Ты бил гусей в тундре, а? То-то! А тюленей бил? Белых медведей бил? А пока заряжай патроны и мечтай.

Приезжай! Разлив в этом году будет небывалый, и хоть я живу на 20-метровой высоте над рекой, но вода подойдет

к самому дому. Во как! А тяга тут приличная — больше никакой охоты нет, можешь в Москве купить живых уток, тут выпустить и поохотиться. А тяга ничего. В 58 лошадиных сил тяга! Привет Лене. Целую, жду.

Таруса. 11 апреля 1963 г.

Ю. Казаков.

(В марте 63 г. состоялся пленум СП, на котором учинили разнос Евгению Евтушенко за публикацию во Франции его «Автобиографии». Перед этим были статьи в «Правде» и «Известиях», разгромные. По Москве поползли слухи, по нарастающей, о его реакции, о его переживаниях. Казаков предлагает Семенову пригласить Евтушенко на охоту. Позвонили, позвали, помогли купить ружье и отправились на Вологодчину втроем.

В Вологде, где они пробыли один день, было холодно, ветрено и дождливо. Да и приездом их в тройственном числе были немало смущены! Поселились в деревне, в охотничьем домике. О том, как они охотились, написано в рассказе Юрия Казакова «Долгие Крики». Мне же хочется вспомнить один эпизод, которого там нет: «небольшую сказочку про трех медведей». Как-то раз, вернувшись с охоты, видят, что дверь отворена. Входят. Евтушенко: «Ребята, кто взял мои тапочки?» Казаков: «Кто взял мой стакан и выпил всю водку?» Семенов: «Кто лежал... спит на моей кровати?» Поднимается человек, лезет с объятиями, пересыпая свою речь нецензурными выражениями. Обращаясь к ним запанибрата, говорит, что он якобы корреспондент местной газеты, приехал писать о них. «Медведи» набросились на этого «журналиста» и выпроводили вон. Тот пробовал договориться: поздно, мол, куда я пойду, как доеду?! — не помогло. Это приметы того времени, так сказать. — Е. С.)

16 ноября 1964. Алма-Ата

Дорогой Юра! (в скобках замечу, что родные и близкие звали Георгия Юрой, в том числе и Казаков — Е. С.)

Как там в Москве и что нового, интересного такого? Как твоя охота?

Я тут охотился один раз, стрелял раз 15, убил 2 фазанов и пощекотал слегка шакала. Я думал сперва, что лиса (она, т. е. он — зверь — на меня набежал), а у меня в стволах фазанья дробь (№ 6), я не выдержал и шарахнул. А он перекувырнул-

ся и дёру. Фазаны — это сказка. Взлетает так же, как тетерев, с громом, но зато красота! Я потому двух убил, что они взлетают почти всегда сбоку или сзади. Ты бы со своим псом наколол бы столько, что и не донес бы. Там за ними с машин охотятся, из «газиков». Стрелок сидит рядом с шофером, ветровое стекло поднимают и медленно едут по кустам.

Это на берегу Сыр-Дарьи. Рыбы там уйма, сазаны, леци и прочая благодать, только были мы там всего одну ночь и день.

Слушай, если увидишь Жору Садовникова¹, скажи ему, что о долге своем я помню, отдам в январе. Пусть он мне напишет, я, м. б., ему пришлю отсюда, пусть сообщит свой теперешний адрес.

А ты «Москвича» купил?

А по зайцам ездил?

Всё сию за переводом романа, кончу числу к 10 января. Заеду потом в Аральск на недельку и домой. Напиши мне! Привет Леночке, и всем домашним.

Алма-Ата. 16 ноября 1964 г.

Ю. Казаков.

26 января 1965. Алма-Ата

Милый Юра!

Ты не только не опоздал с письмом, но я еще пробуду здесь с месяц. Роман я закончу довольно скоро, да потом приедет мама, мы проживем здесь немного, просто так, ничего не делая, а потом махнём в Аральск, поглядеть на настоящую Азию. А то здесь — как у Хемингуэя. Горы, солнце, ёлки, горная речушка. Пахнет весной, да и мало сказать «пахнет» — просто настоящая весна. Как у нас перед ледоходом. Дроздов много. Дрозды жирные. Есть чёрные — большинство, — но попадаются и серые. Глядя на них, я каждый раз вздрагиваю и хватаюсь за несуществующий приклад ружья. Ел ли ты когда-нибудь жареных дроздов?

¹ Садовников Георгий Михайлович (р. 27.4. 1932) — прозаик, кинодраматург. Повести: «Суета сует», «Продавец приключений», «Спаситель океана» и др. Фильм по его сценарию — «Большая перемена».

Всё бы отлично, да вот с правами у меня дело швах. Тут казахи было ретиво взяли за мои права. Всё было на мази. Т. е. мне был обещан мягкий экзамен в ГАИ и торжественное вручение прав. Но потом вопрос уперся в прописку, и я уж не знаю, что будет. Я ведь документы свои, т. е. медицинскую справку затребовал из Москвы. Там-то хоть я мог сдавать экзамены. А теперь в Москве я и этого лишен. Придется, видимо, по приезду поступать на твои иностранные курсы. Вот беда нам с этими правами.

Если б ты знал, как мне охота домой, в Россию. И поехать на машинке. Слава богу, она у меня в гараже, в тепле и покое. Но я уж не буду таким дураком, как в прошлом году. Весной меня приглашают в Англию. Так вот, я и в Англию не поеду, пока не сдам на права.

Поохотиться — это было бы славно. Да мы еще, м. б., и рыбки половим, съездим. Вообще-то я хочу забиться в Тарусу. Потому что в Москве работать не по мне, а работать очень охота. У меня ведь не окончен северный дневник и повесть. Вот какие дела.

С Нового года я не пью совсем, и неохота. Очень хорошо себя чувствую, лазаю по горам, поглядывая на сорок и дроздов. На охоту я так больше и не ездил. Мне было устроили охоту в заповеднике. Да на мою беду за три дня до меня приехал туда охотиться Пред. Совмина, а там ему что-то мало попало. Он и сказал, что это такое, если даже в заповеднике не поохотишься как следует. Не пускать никого и даже меня в течение года! И охотка моя сорвалась.

Писатели тут живут очень здорово. У всех громадные квартиры. Я бы тут имел не менее четырехкомнатной. И писатели запросто ходят к Первому секретарю ЦК, и вообще в ЦК, и в Верховный совет, и в Совет министров.

Живу я теперь не в доме отдыха, а в санатории. Это тут же, только повыше в горах. Порядки тут зверские. Разные процедуры, режим и прочее. Всё бы ничего, да мешают работе. Только распишешься, заходит сестра: просим на циркулярный душ. Или массаж. Или хвойные ванны. Сбивают,

понимаешь, настроение. Но все-таки работенка двигается и уже конец маячит. Как ни говори, а 15 листов для меня много. Я же рассказчик! А тут сразу такой роман. Я в нем и плаваю, как г. в проруби. Но ничего, казахи довольны, говорят, что перевожу я гениально. А я сам не знаю. Наверяд ли.

Спасибо за адрес Жоры Садовникова — завтра я получаю деньги и сразу же пошлю ему.

Будь здоров, милый, поцелуй Леночку, привет папе и маме! Напиши мне о новостях, а то я тут одичал совсем. Адрес мой такой: Алма-Ата, 20, Санаторий Совета Министров Казахской ССР. Понял? Попробуй-ка ты в Москве устроиться в санаторий в Барвиху. Так-то. Целую. Пиши.

Алма-Ата. 26 января 1965 г.

Р. С. Привет Жене Евтушенко. Вышла ли у него в «Юности» поэма и что говорят о ней в Москве? Обидно будет, если она не придется.

Ю. Казаков.

27 сентября 1965. Друскининкай

Юра! Где ты? М. б., в Крыму? А, м. б., вернулся? Я все это время, т. е. с 1 сентября в Друскининкае. Неделю пробыл на Валдае. Хорошо ловилось по 30–40 штук, причем попадалась плотва по 350 граммов. Не забывай, что у меня есть два варианта насчет охоты — один подо Ржевом и другой — на Рыбинском море. Что новенького в Москве? Напиши, пожалуйста, как поживаешь, как ведет себя машина? Я сюда приехал на «Запорожце». Здорово здесь, но я живу однообразно — работаю. Всего доброго, обнимаю!

Леночке — поцелуй!

Р. С. Хорошая была на тебя пародия в Л. Р.

Здесь ловят грандиозную рыбу в Немане, леща по 5 кг. Был ли ты в Крыму, как хотел?

Я приеду числа 15-го октября.

Литва, 27 сентября 1965 г.

Ю. Казаков.

7 декабря 1968. Абрамцево

Поросята вы эдакие! Адреса-то своего вы мне так и не дали! Склероз вас заел! Не надо пить с Таней Самойловой¹. Не надо быть снобами. (Кстати, чтоб вы знали, сноб — это не человек, который к другим относится с пренебрежением, а сноб — тот, кто водится только со знаменитостями, это в точном первоначальном смысле.)

Итак, долой Самойлову, да здравствует Казаков!

Тут зима. Тут живет Галя. Одна. А? И я один. А?

Шим² написал гениальную пьесу и гениальную повесть. Он в этом уверен.

А я еще не написал бездарного сценария. И я в этом тоже уверен. Я сижу дома в меховых чулках. Ружье мое бьет изумительно. С сорока-пятидесяти шагов кладу сойку или сороку бездвижно. То есть после выстрела они падают как камень, не трепыхнувшись. Потом я их обдираю, даю Ваське, и он воет, бегаёт по всем углам и никак не может спрятаться со своим сокровищем, то есть это ему кажется, что не может.

Купил ли ты гордона, или ирландца, или как его еще там?

Езжу на машине гулять. Она у меня фырчит, зад у нее засыпан снежной изморозью, печка греет. Куплю радио, тогда совсем будет серенада в солнечной долине. Два раза ходил на лыжах. Воспитываю в себе вкус к одиночеству (как Шим). Это нам всем предстоит. И надо заранее готовиться.

Читал ли ты Лихоносова³. Этот глухой пень дает нам всем прос.....ся (Лена, не читай этого слова!). Это Шопен в прозе.

¹ Самойлова Татьяна Евгеньевна (р. 4.5.1934) — знаменитая актриса. Самый известный фильм — «Летят журавли», получивший первый приз на Каннском фестивале.

² Шим Эдуард Юрьевич (23.8.1930–13.3.2006) — прозаик, драматург. В то время был женат на актрисе театра им. Евгения Вахтангова Е. Б. Добронравовой, дочери известного актера МХАТа, и жил в Валентиновке — дачном поселке артистов театра.

³ Лихоносов Виктор Иванович (р. 30. 4. 1936) — прозаик, видимо, речь идет о повести «На улице Широкой», опубликованной в ж. «Новый мир» № 8, 1968 г.

Вот так, а вы там ходите по ЦДЛ, а потом стучите кулаком по столу, действуя на нервы жене и гостям.

А читал ли ты Камю — «Чужой»? Если нет, то не надо, я глянул — Нора Галь по-бабски и пискляво перевела эту загадочную и могучую вещь, я тебе дам в переводе Адамовича.

Пиши мне, хоть ты и бездарен в письмах, как Бунин.

На зайцев я, наверное, не пойду, подсыпало еще снегу, и теперь в лесу не побегаешь, снегу почти по колено.

Лена, у меня давнишняя склонность к полигамии, так что если Семёнов будет еще стучать кулаками, прибегай ко мне, места хватит, будем жить дружно. У Нурпеисова старшая жена называется байбише, младшая — токал. Ты будешь токал, хорошо? (Это место Юрка пусть не читает, а то он зарядит свой боксфлит картечью...)

Чиф¹ все умнеет, и я даже начинаю его стесняться.

15 янв. я уезжаю в Лондон на полтора месяца. Королева, ребята, меня пригласила, ее величество. Лондон это прекрасно, но мой визит к королеве подвергает меня в мерихлюндию — никогда не разговаривал с королевами. Завтра вот надо ехать в ЦК... (Только это между нами.)

Воробы мои, нажравшись пшенки, воображают, что уже весна и начинают драться и яростно чирикать.

Посылаю вам фотографию, ради которой, собственно, я и написал вам все эти глупости. Целую вас и прошу — пишите! Лена, напиши, как ты меня любишь.

Будьте здоровы и Богом хранимы, ребяташки. Остаюсь весь ваш

Абрамцево, 7 декабря 1968 г.

Ю. Казаков.

20 декабря 1968. Абрамцево

Любезный барон!

Зяц трепаться не любит: сказано — сделано!

Это я к тому, что, помнишь, ты неоднократно причмокивал от мысли, что найти бы охотника, который бы держал у

¹ Чиф — собака Ю. Казакова.

себя нашего гончака, а мы бы к нему наезжали по осени, по первому полю.

Так вот, такого охотника я нашел.

Теперь весь вопрос упирается в щенка. Щенок нужен, как сам понимаешь, от наилучших родителей, какие только найдутся в Москве. По всем статьям сейчас наилучшей считается англо-русская гончая. Так что щенка нужно непременно англо-русского. И еще одно: сучку не надо, только кобелька.

Понял, ваше сиятельство?

Так что — действуй! Садись к телефону и звони во все концы. Гусеву не звони, я ему написал — если он найдет нам что-нибудь, мы тогда поглядим, что лучше. Я хочу, понимаешь, чтоб у нас был выбор. Благословляю!

М. быть, лучше взять щенка в госпитомнике?

Ты представляешь, к будущей охоте у нас будет в Абрамцево прекрасный пес! Да мы с ним тут всех зайцев побьем, в Переславль поедем, под Загорск и т. п.

А зайца тут пропасть — сплошные тропы, полно следов, полно следов в самом поселке, у меня на участке следы, я даже побаиваюсь за свои молоденькие яблоньки, хоть в тулупе выходи на ночь сторожить.

Получил ли ты мое письмо с фотографией? Почему молчишь?

Ай, ваше благородие, подумай насчет Нового года! А то ведь я тебя знаю, кончится дело тем, что ты закажешь столик в ЦДЛ, надерешься там, как свинья, и будешь целоваться с Фирсовым¹, вместо того чтобы целоваться со мной и Васей Росляковым².

Барон! Объясни мне, почему, если кухарка выходит замуж за барона, она становится баронессой, а если кучер женится на баронессе, то он так и остается кучером? И дети его — кучерята?

¹ Фирсов Владимир Иванович (р. 26.4.1937) — поэт, учился на одном курсе в Лит. институте с Георгием Семеновым.

² Росляков Василий (1921–1991) — критик, прозаик, фронтовик — друг Казакова.

Ее светлости, Леночке, целую ручки. Даже не целую, а —
цалую!

А тебя, цыганский барон, небрежно чмокаю в прищурен-
ный левый глаз. А, впрочем, честь имею пребыть и проч.

Вашего превосходительства всепокорнейший слуга

Ю. Казаков.

В «Русской старине», которую я сейчас усердно читаю,
есть одно любопытное всеподданнейшее письмо бедного
дворянчика, погрязшего в нищете и обремененного огром-
ным семейством. На сем прошении всемилостивейше начер-
тано: «Пусть терпит».

Пиши мне. Как только застолбишь щенка — телеграфи-
руй, мы с охотником немедленно приедем.

У меня в парке теперь птиц — как у Шима! Сейчас заво-
жу машину и еду за пшеном.

Абрамцево, 20 декабря 1968 г.

28 марта 1971. <Медео>

Милый, милый Юрочка! Из похвальбы Кожевникова
перед 5000 иностранных корреспондентов я узнал, что у те-
бя в «Знамени» скоро выходит повесть. (Речь идет о пове-
сти «К зиме, минуя осень» — Е. С.). Молодец! Один ты блю-
дешь и пасешь отечественную нашу литературу, и мне при-
ятно представлять, как ты пишешь своим ровным почерком
страницу за страницей, а Лена потом перепечатывает, и сна-
чала испытываете удовольствие только вы вдвоем, а потом
при посредстве Кожевникова и мы все.

Зато я вдосталь напился горами, санаторием, казах-
скими героями и героинями и скоро, скоро поеду домой и
опять засяду в Абрамцево и буду прислушиваться и погляды-
вать в окно, не прошуршит ли твой «москвич» слоновой ко-
сти. Но ты, наверное, редко теперь будешь посещать наши
бедные края и нас с Голубковым...¹

¹ Голубков Дмитрий Николаевич (1930–1972) — прозаик, поэт. Сборник стихов «Зов», роман «Милёля», роман о Баратынском «Недуг бытия». Вышел в свет после смерти в 1973 г.

Зима прошла, как сон, и тут уже, как у нас в мае, отошли подснежники, скоро зацветут тюльпаны — жарко, работать не хочется. Хочется пить холодное шампанское и говорить как Евтушенко: прощайте, прощайте, приходите целоваться ко мне на могилку!

Охота весенняя опять накрылась, ружья долой, да здравствуют судаки!

Ты небось думаешь, что я заканчиваю последнюю часть трилогии, и прощай Казахстан и Нурпеисов? Нет, мой милый, эти оба понятия беспредельны и бесконечны, и мы уже вдвоем с режиссером летом засаживаемся за работу над двухсерийным фильмом по трилогии. Так-то вот, это тебе не какой-нибудь грузин, которого ты перевел в мгновенье ока. Это брат, дело фундаментальное.

Сижу я сейчас без копейки, как в 1953–1954 годах, когда еще не печатался, а учился в институте. Не одолжишь ли от щедрот твоих под трилогию? Под фильм? А? Я серьезно — весны мне надо браться за ремонт дома, а деньги начнут валом валить только осенью.

В самом деле, где ты будешь проводить лето? В Абрамцево? Или на колесах? Или, м. б., ты уже купил себе усадьбу где-нибудь?

Напиши мне на Абрамцево, сюда не успеешь, я тут до 31 марта — очень мне будет радостно получить, приехав, письмо от тебя.

Новостей у меня никаких, кроме того, что я Дантовский лауреат и весной-летом поеду в Италию за премией. Ну да это не новость. Все остальное по-старому.

Я не пью, а папахен мой бросил курить, с возрастом, как видишь, мы исправляемся.

Я было хотел остаться здесь насовсем, а дом продать, да теперь как-то раздумался, не знаю, как быть.

Я бы тебе давно написал, да твоего адреса не было под рукой, а в Алма-Ату я не спускался (санаторий в горах), а вот позавчера был и в справочнике твой адрес узнал. И пишу.

Будь счастлив, милый, обнимаю. Лене целую ручку.

28 марта 1971г.

Твой Ю. Казаков.

14 ноября 1972. Гагра

Дорогой Юра!

Идем по вашим стопам, и вот ноябрь, а мы — в Гагре, как и вы два года назад. Погода здесь такая — семьдесят процентов солнечных дней, тридцать — пасмурных.купаемся в море, ездим иногда в разные злачные места. Удовольствие небольшое, но все-таки. Кроме того, пьем чудесный кофе, который теперь готовит во всей Гагре один только кофевар.

Пробудем здесь до декабря, даже если будет плохая погода, потому что у нас в Абрамцеве еще хуже...

О Голубкове знаем. Эта смерть меня просто убила и повергла в транс¹. Не будь тут Тамары, я наревелся бы до чертиков и рыдал бы не переставая. Странно, не был он мне другом, а вот горюю больше даже, чем если бы погиб друг... М. б., потому, что был он мне сосед? И как-то без него для меня Абрамцево осиротело.

Рассказ твой прочел, очень хорошо. За упоминание о писателе Ю. Казакове — спасибо².

Здесь жил Евтушенко, как всегда трагичен и бодр одновременно, написал про меня стих, о том как я его тащу из болота³. Мне становится стыдно, хочется всех вас любить и писать больше и лучше, чтобы оправдать добрые слова обо мне.

Загляни, кстати, в 11-й номер «Нашего современника», авось понравится.

Ну будь здоров, целую, напиши мне в Гагру. Тамара кланяется и посылает вырезку из газеты, кот. она тут читает.

Леночке привет. Не поминай лихом, а я вас люблю.

14.11.72. Гагра.

Ю. К.

¹ Голубков покончил с собой, застрелился. Юрий Казаков написал потом превосходный, очень тонкий рассказ «Во сне ты горько плакал» (1977), где размышляет и об этом событии. Тамара — жена Ю. Казакова.

² Рассказ «Голубой дым»: «В ненастные дни Танечка забиралась с ногами под серое одеяло и, насупившись, читала рассказы Юрия Казакова. Их легко было читать, но так же легко можно было уйти от них и в бездумье парить в музыке, оставшейся в душе...»

³ Стихи Евтушенко «Долгие Крики» — так называлась переправа на Севере, когда они охотились там.

17 декабря 1975. <Абрамцево>

Дорогой Юра!

Не знаешь ли ты адреса или телефона Федота Сучкова? Этот Федот мне весьма нужен, а ты, помнится, с ним общался.

Нынче, т. е. этой осенью, дважды ездил я на охоту — один раз в Новгород, другой (уже за зайцами) в Орёл.

А ты?

Прислал бы свои «Фонари», а то в Москве я не бываю, и журнала достать негде.

Медовуху пресловутую (от которой ты опупел) я пил в Детинце. Впечатления она на меня не произвела. Пить приятно — и только. А ты окосел (в рассказе), наверное, потому, что хватанул кружек пятнадцать, а?

Вообще, Новгород город чудесный (я имею в виду старину), я туда опять поеду весной.

Что нового в лит. кругах? Чем тебя порадовал съезд?

Будь здоров, Лене привет, обнимаю!

17 декабря 1975 г.

Ю. Казаков.

Не забудь, пожалуйста, про Федота! Новый год встречаешь небось в ЦДЛ?

А у нас было происшествие: сгорела дача Славы Грабаря.

18 июня 1976. Дер. Березово

Дорогой Юрочка!

Кланяюсь тебе с берегов Ловати. Привет тебе от щук, судаков, сомов, густеры, леща и проч. Ждут они тебя в гости! Кланяются тебе еще кабаны, медведи, лисы, зайцы, тетерева!

Одно плохо — постоянные дожди. Ловать разлилась, и приятель мой боится ехать дальше на байдарке. Но я его уговорю! И все-таки, видимо, на съезд опоздаю.

Прошу, предупреди там кого надо, что я буду, что поспею к рабочей части съезда, пусть оставят на мое имя мандат и всё прочее.

Везу тебе в подарок гениальную блесну, которую изобрёл и опробовал здесь мой приятель. Он твой поклонник

и собирается развивать твои традиции. Блесну он хочет называть «Семеновка», а я не спору и настаиваю, чтоб он ее назвал «Семеновна» или «Еленка».

Целую тебя.

Сидим в избе Глеба Горышина. А цена ей 300 руб. Не хочешь ли купить такую же поблизости? А то поедем и купим.

Твои «Фонари» мне весьма приглянулись, жаль что ныне развил образ чудака, который ходит в библиотеку, катает барышень на такси, а денег у него нет. Оч. интересный тип. Жалко, мало о нем написал.

Ещё раз привет от твоего поклонника Марка Кострова.

Твой Ю. Казаков.

Привет Леночке.

Дер. Березово, 18 июня 1976 г.

5 мая 1977. <Абрамцево>

Дорогие мои Юрочка и Леночка!

С Новым годом! С новыми литературными успехами!

Как вы и что вы — ничего не знаю, ибо живу в лесу. Знаю только, что ты, Юра, накатал и опубликовал здоровый роман¹. Но так как «Новый мир» не выписываю, то...

Еду скоро в Ленинград, Архангельск, Нарьян-Мар, а потом в Дубулты.

Будьте здоровы, не забывайте. Целую.

5 мая 1977 г.

Ю. Казаков.

14 ноября 1982. <Красногорск>

Дорогой Юра!

Во-первых, большое тебе спасибо за участие в моей госпитализации! Авось, с твоей легкой руки я тут пойду на поправку.

Мне Наташа² сказала твой дачный телефон, но я так и не добился до коммутатора.

¹ Роман «Вольная натаска» опубликован в ж. «Новый мир» №№ 9, 10 за 1976 г.

² *Наташа* — наша дочь, психолог Наталья Лусканова.

Ну, я тут живу, лечусь, собираюсь нечто написать, да всё не с руки — много очень процедур и разных анализов, порою мучительных.

Мою дачу опять грабанули, не знаю, что взяли (я там не был), но зато знаю, что украли мой славный «Зимсон», с которым так много связано, который немало породил рассказов и очерков, произвел немало хороших выстрелов, и у колыбели покупки которого стоял опять же ты — 20 лет назад!

Вот такие грустные дела, словом.

Юрочка, вот у меня к тебе просьбы:

а) тебе позвонит Анатолий (мой двоюродный брат), подскажи ему, где купить эти железные скрепки на угол стекла, и потом, где заказать или опять же купить болты на колеса, которые не отворачиваются? И каким образом достать замок зажигания? Посоветуй, пожалуйста!

б) Пришли мне телефон, и адрес, и имя — отчество врача — зубного протезиста, его бумажка у меня куда-то заделалась, а мне горько надо.

За зайцами не собираешься? М. б., съездишь в то охотхозяйство, где мы с тобой шикарно поохотились в ноябре 63-го, когда убили Кеннеди? Это так близко.

...Ну, Господь с тобой! Слышу, что ты вовсю работаешь и — радуюсь.

Леночке самый нежный привет.

14 ноября 1982 г.

Ю. Казаков.

Мой адрес пока: 143420, Моск. обл., Красногорский р-н, п/о. Архангельское, 3 ЦКВГ, 10-е отд., 823-я палата.

Как тебе нравится название: «Послушай! Не идет ли дождь?»

P. S. Вот черт, перечитал фразу, и вышло, что мы с тобой убили Кеннеди. Что значит давно не брать шашек в руки.

*Подготовка текста, комментарий,
публикация Елены Семёновой*

В. П. Рослякову



20 ноября 1968. Абрамцево

Ты уехал, дорогой кум, и как в воду канул, между тем как я жду писем от тебя. Во-первых, по-родственному, во-вторых, как деревенский житель-провинциал, жаждущий столичных новостей.

У нас тут легла зима не зима, но что-то такое легло — снег во всяком случае есть, у меня за окном кормушка, и прилетают всякие поползни, синицы, хохлатые жаворонки и пр.

Я тужился, тужился и выдал наконец из себя 26 страниц т. н. лирической прозы, которую и отправил в «Вокруг света» (они мне давали командировку). Теперь, скрипя зубами, сижу над нурпеисовским сценарием, четверть которого сделал. К декабрю рассчитаюсь с Нурпеисовым и — вольный казак! «Жизнь и смерть Сергея Петровича», а?

У меня опять было рассыпали набор¹, ты об этом знаешь, тебе звонил Нурпеисов, но я тут ни при чем, ты уж извини нас великодушно, я не знал ничего, вдруг получаю телеграмму — ура! — а потом и письмо, в котором Нурпеисов сообщает, что всё улажено. Но ЦК уже столько раз покушался на мою несчастную особу, что я теперь ничему не верю, пока не увижу книжку изданной.

Топим котел и — представь себе — в доме тепло. Так что я серьезно намереваюсь тут зимовать и жду тебя в гости — вообще в гости, а на Новый год в особенности — с чадами и домочадцами. Будет елка и фейерверк.

¹ Рассыпали набор не только книги Ю.Казакова, но и книги А. Нурпеисова в его переводе — в наказание за то, что писатель подписывал письма в поддержку правозащитников. Об этом же говорится и в письме Г. Горышину от 20. VIII. 1968. — *Сост.*

Посылаю тебе фотографию тебя и Алёшки. Ты вообще завел бы (как Никита¹) на столе большое стекло и подсовывал бы под него фотографии близких тебе существ, чтобы, когда ты садишься за стол, они смотрели на тебя своими чистыми глазами и не позволяли бы тебе лениться и писать дурно.

Что нового — в Союзе и вообще? Ей-богу, кум, напиши, а то как ни хорошо здесь, а все-таки человек — скотина общественная, и ему интересно, что делает не только он сам, но и всё общество.

Как твой перевод? Не раздумал ли ты в январе ехать со мной в Алма-Ату? Пишешь ли ты что-нибудь кроме перевода?

Тамара была в Минске с Алешкой, теперь приехала. Алешка начинает ходить самостоятельно.

Будь здоров, милый, целую и обнимаю, привет сердечный от всех наших всему твоему семейству.

Абрамцево, 20 ноября 1968 г.

Ю. Казаков.

13 декабря 1968. Абрамцево

Я думал, Вася, ты за тутриками в Монголию собрался и порадовался было за тебя. Эка! — подумал я, — Вася-то, Вася наш! После Дрездена да на нашу прародину (мы ведь все татарове!), привезет, думаю, жене шубу на лисьем меху, себе сапоги войлочные, чтобы было в чем на зимнюю рыбалку ездить. А потом слышу — сам повёз монголам дань, собрал с союза ясак и повёз, как какой-нибудь захудалый князек, а не свободный сын просвещенного мира.

Чем же тебя там кормили, любезный? Небось все кониной да бараниной? Скакал ли ты на мохнатых лошадках? Снимался ли на фоне юрт? Пока это письмо дойдет до Москвы, ты, я думаю, уже приедешь, умоешь руки, оботрешь сало с губ, сядешь за стол в своем огромном кабинете, слазив предварительно в потайной свой сейф для вдохновения — и

¹ Николай Ильич Толстой. — *Сост.*

напишешь мне подробный отчёт о поездке (копию пошлешь Косорукову).

Почему-то не судьба нам с тобой попасть в одну группу для совместного вояжа.

Приедешь ли ко мне с Ниной на Новый год? Ты отпиши мне непременно.

Посылаю тебе вырезку из газеты. В идеале было бы неплохо 31-го с утра махнуть отсюда на оз. Плещеево, наловить рыбки и в сумерках вернуться в теплый дом, пахнущий елкой, мандаринами и новогодними приготовлениями...

Слушай, а помнишь ли ты зимний Таллин? Посылает же нам судьба немного счастья в жизни, как подумаешь. За что? Меня это волнует. Не пришлось бы потом расплачиваться.

Это кафе с синим садом и запахом голубых цветочков, а? Эти калориферы, греющие наши бока, музыка, слезы, танцы... А Вышгород, а площадь ратуши в косо летящем снеге, а Медная монета, а наши завтраки в прохладном свете утра в ресторане за белыми скатертями!

«Я жил тогда на улице Лабораториум...»

А даль залива и мы — на корабле, а наша тоска и желание немедленно уплыть куда-то...

Давай не забывать это! Давай разочтемся с Нурпеисовым и Токомбаевым и засядем за свое. Давай напишем «Праздники, которые всегда с нами». Я когда читал эти хемингуэевские записки, я его очень понимал — понимал, как сладко было ему вспоминать свою молодость в Париже, все эти кафе, утра и ночи. Так давай же не лениться!

Очень бы я был счастлив, если бы ты поселился в Абрамцеве, мы бы работали и тем самым подстегивали бы друг друга. Я рад был бы пронести дружбу с тобой до гробовой доски, потому что дружба, помимо любимой семьи, — единственное, что нас греет в этой жизни.

Будь здоров, поцелуй Нине ручку.

Пиши мне почаще.

Абрамцево, 13 декабря 1968 г.

Ю. Казаков.

5 апреля 1970. Абрамцево.

Милый кум и брат мой во Христе!

Итак, зима-злодейка с ее темнотой и гипертонией ушла и дала нам немного отдохнуть перед новыми житейскими бурями. А пока у нас впереди масса достославных праздников! Весна, понимаешь, без конца, без края!

Скоро на Оке ожидается великий разлив. В Тарусе уже идет подготовка к эвакуации населения с берегов в гору. Я уже послал письма в разные концы и жду телеграммы, что разлив начался, тогда я седлаю своего светло-серого и мчусь. Давно не встряхивалась душа моя, и вот решил я ее встряхнуть. М. б., с Федей¹ сделаем вояж на моторке, хотя бы до Алексина.

Ну а потом — Плещеево!

Не забудь, что Пасха у нас в этом году 26 апреля. Можно совместить рыбалку и Пасху в Загорске. Если хочешь, присоединяйся.

Ты работаешь? Я всю зиму понемногу ковырялся, а сейчас даже, как в былые времена, начались у меня приливы вдохновенья, и настроение у меня точно такое, какое было в 1958 году.

У нас тут уже вовсю летают вороны и грачи с ветками во рту. Строят гнезда. И я строю. Ездят ко мне монтажники-высотники на предмет возведения новых зданий. Камин мой пылает. А летом тихо поедем мы с Лихоносовым на Орловщину. Готовь письмо своему приятелю — директору музея. Подари, братец, нам сказку. Ладно?

Ну, вот и всё. Напиши мне. Нине привет, а тебя целую в уста сахарные!

Кем теперь, после того как был профессором, стал Миша? Разлив на Оке будет числа 15–20.

Абрамцево, 5 апреля 1970 г.

Ю. Казаков.

¹ Ф. Д. Поленовым. — *Сост.*

31 июля 1970. Абрамцево

Драгоценный мой кум Вася!

Зачем же занесло тебя к Медведице, когда мог ты жить в Абрамцево, как я предлагал, рыбы тут полно на оз. Озерецком, тишина, покой и святые земли?

А Нерль опять же рядом — отличное шоссе!

А какое «Всенощное бдение» я слушаю! Представь, как привез из Парижа, так ни разу не ставил эту пластинку, руки не доходили. И вот — дошли, и я обалдел — до того хорошо.

Дорогой мой Вася! Дни наши с тобой бегут, всё меньше их у нас впереди, и надо бы нам видеться с тобой почаще, жить подружней. А ты всё дальше и дальше забираешься и все трудней тебя достичь и постичь.

На Валдай одному мне ехать скучно, т. к. я, конечно, не работать туда поеду, а половить рыбки. Весь вопрос упирается в человека, который хочет поехать со мной. Если бы не это обстоятельство, я бы давно махнул бы туда и заехал бы по дороге к тебе.

Семёнов¹ всё ездит на Можайское вдхр., ловить судаков, загорел страшно, здоров и бодр, говорит только о насадках, кругах и т. п.

Еще живет тут Хмелик, ловит в дер. Глебове карасей, коптит их в баке с водой, когда накопятся — жарит в сметане.

После длинных жарких дней пошли грозы, а грибов нет как нет.

Тут как-то забросила меня судьба в Шереметевский аэропорт, сидел я там в кафе, пил кофе с зельтерской и слушал, как объявляют рейсы «Эр Франс» и «Аэрофлота» в Париж, Вену, Геную, Рим... Очень хорошо было мне. Всё думалось, вот сейчас и я полечу. Но не полетел.

Ты там завяль рыбки-то. Подлещики хороши для вяленья, а потом ко мне приедешь, привезешь несколько штук, в баньке попаримся, потом рыбкой побалуемся, пивком... Поговорим культурно.

Хочу поехать в Киев на съемки моего фильма². Поедем, Вася, в Киев! Там на берегу Днепра чудный рыбацкий

¹ Г. В. Семенов. — *Сост.*

² «Голубое и зеленое» (режиссер В. Гресь). — *Сост.*

рынок: червей продают прямо с землей, выползков, жемчужных опарышей в плоских банках из-под сельдей, мотыля рубинового, кашу манную, овес пареный. Там в пузырьках загадочные снадобья. Там Днепр, который чуден. Там в эпизодических ролях такие кадры будут без нас сохнуть и пропадать — кому их оценить? А мы оценим, мы будем пампушки кушать...

Ну, прощай. Бог с тобой.

31 июля 1970 г.

Ю. Казаков.

16 мая 1972. Абрамцево

Брат мой во Христе! Собрат! Очень рад, что рассказы твои вышли и что их прочтет некоторый народ, и капнет на душу этому народу, и в то же время бесконечно грустно, что прошло чуть не полгода с тех самых пор, когда нежно встречали мы с тобой Новый год, ездили в Н. Рузу пить пиво и ты говорил мне, как мы поедем в мае или в июне в Елабугу, на КАМАЗ, — это тогда казалось так далеко, и вот уж почти пять месяцев мы с тобой отмахнули. А между тем смерти сейчас сыплются, как из лукошка, — високосный год! — вот и вчера вечером сообщили, что и Корнейчук... Не спасают от этого чины и звания. Что же нам остается? Нежность, старичок, и любовь, пока мы живы.

Рассказы твои хороши. Первый мне понравился больше, не потому, что он «социальный», а потому, что он больше рассказ, тогда как второй принадлежит к циклу твоих вещей, в которых ты пишешь: я приехал, я наживил червяка, мы заночевали и проч. — все это хоть и здорово, но во всем присутствует автор, действует автор, говорит автор, восхищается, негодует, сожалеет автор, а вот в первом (я имею в виду эти два) автора вроде бы и нет, а есть герой, впервые узнавший, что существует какая-то и другая жизнь, кроме жизни его собственной и его «гавриков».

Итак — ура!

Как твои «хвашисты»? Надеюсь, ты их, гадов, не щадишь, тогда как они, конечно, щадят тебя. (Как-то так выходит, что в подобных твоему, т. е. военных, романах гибнут

персонажи, а главные герои уцелевают — я не иронизирую, помилуй Бог!) Да и то, в самом деле, если бы они тебя не пощадил, ты бы не расправился с этими суками ни тогда, ни теперь.

Вася, а как же Елабуга? Я ездил на Север, теперь пишу северное, долгов литературных у меня громадьё, тому дай, другому дай, поехать было бы прельстительно. Но как же быть-то? Ехать?

Ты дома? Пьешь пиво, «мама» твоя тебя любит и командует тобой, старший сын твой играет на фортепьянах Шопена, ты плачешь, он (т. е. сын) готовится к экзаменам, разговоры о том, поступит или нет, Миша, знающий всё на уровне кандидата, доучивается последние дни, чтобы стать уже совсем профессором, цветы жизни, «Волга» в ремонте, техосмотр грозит, денег нет, хочется снять с себя стрессовое состояние, копченая рыба из Дагестана, хотя какие рыбы в Дагестане или в Осетии, там аулы и кобылы, Кайсын и Расул, на рыбалку бы, Хемингуэй ловил и Шолохов, роман надо писать, поток сознания.

Так ехать или нет? В Елабугу-то? С ударением на последнем слоге? А внутренние рецензии пишешь?

Целую тебя, милый, Ниночке кланяюсь, детей и бабушку твоих люблю нежно, прости за опечатки.

У нас грозы, соловьи, черемуха, баня по субботам и проч. Пишу про Тыко Вылку.

Абрамцево, 16 мая 1972 г.

Ю. Казаков.

1 июня 1972. Абрамцево

Милый кум! Нельзя так разбрасываться, ей-богу! То я получаю от тебя письмо, из которого явствует, что ты отбыл на КАМАЗ, то я вдруг из разговора с Семёновым узнаю, что ты, вместо КАМАЗа, сидишь в ЦДЛ и пьешь пиво даже вплоть до занятия денег в долг, а то вдруг ты уже в больнице.

Но и в больнице ты не ведешь себя, как должно вести каждому доброму человеку. Вместо того, чтобы из операционной проследовать в мертвецкую, ты уже ходишь и даже рассуждаешь о своих спайках и связках.

Спайка у тебя должна быть со мной. На предмет дружбы, рыбалки и литературных разговоров за пивом.

Я хотел было к тебе поехать, навестить тебя, страждущего и тоскующего, но, узнав, что ты ходишь и, значит, спаяк не будет и всё хорошо, предпочел налечь на экзерсис о Тыко Вылке, который нынче поутру и кончил, а это побольше листа, и много пришлось мне нырять в разные книжки для извлечений, так что я завозился и не знаю, хорошо ли сделал роботу. Там посмотрим. Но вот Вылка пишет прелестно. Вот как он пишет:

«1906 год. Один самоед выехал на промысел отыскать медведей, на Карскую сторону. Я со своим братом отправился на Карскую сторону. Пробыли несколько дней, жили, убили оленей. Самоед, который долго не был, приехал. Мы отправились на Пахтусов остров. Ехали четыре дня. Поставили юрту на ночь. Утром проснулся, видел одного медведя. Мы скорее собак запрягли и пошли туда. Мы не нашли: так и ушел.

На горе оленей нет. Собаки голодны. Самим есть нечего, последний кусок мяса съели. Ни чаю нет, ни хлеба. Вернулись домой. По пути убили трех медведей. Я начертил карту. Поехали на Маточкин шар».

На этом воспоминания о 1906 годе кончаются.

Что за поганая все-таки работа — писательство! Вот сижу я на веранде, солнце, птицы, кругом стена зелени, и так охота куда-то пойти, поехать, кого-то встретить, что-то повидать, а — надо сидеть, набивая на заднице мозоли. Ну, что это такое!

А что ты не пишешь, чего тебе резали? Только не пиши ты, ради Господа, ни рассказа, ни повести про больницу. А то наш брат как в больницу попадет, так и пошел валять. Приставкин вон написал о своем инфаркте. Хватит с нас Иванов Ильичей и Раковых корпусов.

Вася, давай махнем куда-нибудь, а? Может быть, этим летом стоит сделать три-четыре коротких вылазки? Чтобы не забиваться даже и в прелестное место надолго, а чтобы побольше урвать разных впечатлений.

Я тебя, дружок, поздравляю, как новорожденного, с выходом на свет Божий. Вот как бы нам научиться каждую свою минуту, прожитую во здравии, ценить по достоинству? А то мы всё спохватываемся в больницах.

Если будешь в скором времени в состоянии сидеть за рулем, м. б., приедешь? Я почти всё время в Абрамцево, только иногда, вот как сегодня, выезжаю на день в Москву. Напиши. Извини за краткое письмецо, тороплюсь на поезд, надо еще бриться, надевать рубаху и т. п.

1 июня 1972 г. Абрамцево.

Ю. Казаков.

9 июля 1972. Абрамцево

Что ж ты, Вася!

Собираешься ехать в Абрамцево, а вместо этого едешь в ЦДЛ и пьешь там пиво, закусывая рыбкай, совсем не с теми людьми, с какими полагается пить романисту. Нехорошо.

В наказание тебя не следовало бы приглашать на лещевую ловлю. Но, добрый человек, я тебя приглашаю. Только как это сделать? Некто живет в запретной зоне, рядом с Москвой, где-то под Барвихой, езды на машине полчаса, ловит по десять-двадцать лещей за зорьку. В Москве он бывает ежедневно, так что я могу с ним в любой день созвониться, поехать к нему и посидеть вечерком, а также и утречком. Но как достать тебя? В какую такую Степановку или Сидоровку ты забрался? Позвони Тамаре, оставь свои координаты. Наш телефон теперь 212-73-90. Перепиши его в книжку.

Викулов мне сказал, что получил от тебя роман. Значит, накатал уже? Молодец. Можаяев похваляется, что ты пошел к нему в ученики и скоро, как и он, бородку себе отрастишь. Я тоже закопошился и запродался на корню в «Наш современник» и аванец у них перехватил, так что, если живы будем, можешь в одиннадцатом номере прочесть мой экзерсис под названием «Долгие Крики» — хоть это название некий поэт у меня похитил и тиснул давным-давно под ним свой стих и даже мне его посвятил, однако я имею в виду другое и смело беру это название обратно.

На всякий случай напиши мне и нарисуй, как к тебе ехать, ты ведь тоже где-то в районе Барвихи-Рублёва? М. б., мы к тебе подкатим и похитим тебя.

Лето-то какое, а? Небывалое лето! Грибов только у нас нет. Так давай же встряхнемся, может, действительно леща поймаем, да завялим, да посидим поговорим об отечественной беллетристике.

Обнимаю и жду седьмого номера «Н<ашего> <современника>».

9 июля 1972 г. Абрамцево.

Ю. Казаков.

1 сентября 1972. Абрамцево

Синьор! Истинно говорю тебе, что пить пиво в больших количествах вредно, хотя бы и немецкое. А теперь перейдем к твоему роману. Прочёл я его. Очень хорошо ты сделал, что написал его. Боюсь, что человечество забывчиво и что, скажем, через сто лет о нашей войне будут думать так же, как мы сейчас думаем о войне Алой и Белой Роз. Уверен, что не будь Толстого, мы бы теперь так же слабо, невнятно представляли бы себе войну 1812 года. Но старик Толстой не дает нам ее забывать, и, покуда жива литература как таковая, русские всегда будут помнить 1812 год — через слово Толстого.

Нашей войне на Толстого не повезло. Но если перейти на близкий нам с тобой язык музыки и вообразить многочисленный хор, скорбно поминающий все смерти и беды, выпавшие на нашу долю, то твой голос прозвучит в этом хоре чисто.

Вторая половина твоего романа понравилась мне меньше. В первой всё тревожней, значительней, загадочней, всё страшнее, неизвестнее. Ты-то ведь знаешь, что у литературы свои законы, часто отличающиеся от законов жизни. Когда вас немного, когда вы таитесь, а враг многочислен — тогда страшно, тогда каждый твой выстрел по врагу, просто какое-то честное действие, просто смелый взгляд на вещи вырастает до размеров грозных. А когда вас много, и газета начинает выходить, и советская власть функционирует, и особые отделы завелись, и там разные пекарни-столярни-токарни-овчарни, то враг стусевывается, уходит, дрожит где-то в отдалении, какие-то несчастные полицаи пьянству-

ют с перепугу, а поезда летят под откосы, и города занимают и целые районы занимают вами, тогда роман делается спокойнее и в то же время перечислительнее, а читательский интерес — падает.

Поэтому, когда твой Славка из всех возможных путей — спрятаться, прилепиться какой-нибудь бабенке, пойти в полицаи и т. п. — выбирает самый честный и опасный путь, я слежу за ним с трепетом, ибо я не знаю, что с ним будет и как обернется дело. А когда Славка начинает писать корреспонденции в газету, я заранее знаю чем всё кончится: партизанский район будет все укрупняться, пока не превратится в армию Ковпака, наносящую грозные удары по тылам противника.

Мы еще с тобой поговорим на эту тему, а пока что, повторяю, очень рад я за тебя, потому что эта книга нужна была тебе, а значит, нужна будет и нам. Ура!

Ну, Сашу можно поздравить? Дай ему Бог, студенчество все-таки золотая пора в жизни каждого, кто был студентом.

А теперь — идея. Вчера кончил я некое готическое сооружение под названием «Долгие Крики», получилось что-то около страниц пятидесяти, писал, писал, не знаю, что получилось, однако дело сделано, а главное, окончен Сев<ерный> дневник. Баста!

И вот предлагаю тебе отдохнуть. Неделю. Десять дней. Берем ружья, удочки, летим в Архангельск, там отдаемся в руки наших собратьев по перу, нас везут на рыбалку, на охоту, мы говорим с народом, любимся друг другом, нравственно обнимаемся и возвращаемся к родным пенатам. Это серьезно, Вася! Будь человеком, не кидай меня в минуту злую, не отравляй отказом мой заслуженный отпуск. Всё лето, в дыму и в жаре я вкалывал, попутно ремонтируя еще свои владения, — это ли не подвиг!

Я приеду в начале след. недели, буду тебе звонить. Возьмем командировки, так что поездка нам ничего не будет стоить. Вася, будь человеком, а?

Привет всему твоему дому, а Сашу и Мишу поздравляю с началом учебы. Как говорится, петушок пропел давно. Целую.

1 сентября 1972 г. Абрамцево.

Ю. Казаков.

1 декабря 1972. Гагра.

Здравствуй, драгоценный мой Вася!

Вот и зима в Гагре. А зима здесь чистая, прозрачная, солнечная и очень похожа на весну. Это море такое, остывшее, и от него поэтому веет весенней свежестью. По вечерам же хозяева бесчисленных здешних садиков сгребают в кучи листья, кору эвкалиптов и зажигают костры, и тогда веет бальзамическим дымком. А закаты зловещи и коротки, а когда свет исчезнет — замечаешь вдруг над горизонтом тончайший, нездешний какой-то, турецкий серп луны.

Самое бы время нам тут с тобой жить и работать — писателей никого нет, ни одна похмельная рожа не заглядывает к тебе и ты ни к кому не заглядываешь. А по вечерам мы бы с тобой вкушали маджарку или изабеллу.

Два дня назад внезапно сорвался и уехал Евтушенко (он собирался зимовать тут), и опять, вот уже который раз, поражал он меня неумной своей энергией, заходил каждое утро и читал свои новые и новые стихи, а кроме работы — еще загорал, влюблялся в девочек, ездил обедать в Сухуми и проч. места, и крутил хула-хуп, и махал гантелями, и бегал по утрам по парапету.

Со мной здесь Тамара и Алешка. А я всё думаю, как вернуться в осиротевшее без Мити Абрамцево, как начну тихо кропать рассказы, их у меня много набралось, и они терпят меня. Слушай приедь ко мне в Абрамцево в январе, попишем, а? На лыжах побегаем... В кафе сходим, в Ашукинскую съездим за пивком, в баньке попаримся. Не хочешь? Митя своим выстрелом и меня подранил. Тем более, что стрелял он патроном, который я ему дал. Пришел раз, дай, говорит, патрончиков... Я и дал. Вот так-то, но это пока тяжело для меня, потом как-нибудь поговорим.

Начавши это письмецо 1 декабря, заканчиваю его 8.12. Живем мы тут, как видишь, не торопясь. Завтра мои уезжают в Москву, а я остаюсь на недельку или поболее того. Погода всё время прекрасная, захаживаем иногда в совершенно пустой и поэтому вдвойне прекрасный ресторан «Гагрипш» (построенный, кстати, в Норвегии, разобранный там и собранный вновь здесь), пьем кофе, а сегодня ходили в горы, довольно высоко, и, представь, твой крестник вел себя молодцом.

За хорошие твои слова о «Долгих Криках» спасибо, за замечания тоже. Значит, ты вместо Коктебеля поехал в Гагру и, насколько я понял, смылся 20 октября? А я тут с 26-го.

Погода дивная, уже дней десять море как стекло, такого моря и летом не увидишь.

Целую тебя, и всем твоим присным поклон и привет. Тамара кланяется.

1 декабря 1972 г. Вечер. Гагра.

Ю. Казаков.

3 мая 1977. Абрамцево

Кум!

Мало того, что по-родственному, но теперь уже в качестве моего творческого начальника ты должен заботиться о моем духовном и материальном благосостоянии.

Почему ничего не пишешь? Почему не информируешь меня о важных событиях и новых свершениях в литературе? В московской прозе — сияющей вершине мировой литературы.

Жду приглашения в твою избу. Жду у своих ворот «Волгу», которая заберет меня во Владимирскую землю.

Будь здоров, Вася, как работалось тебе в Переделкине? Что написал? Я своему режиссеру читал твой рассказ про фольксвагены и тонвагены, он хохотал до слёз.

Напиши серьезно, когда ты собираешься к себе в деревню? Или теперешняя должность тебя не пустит?

Привет Нине и Мише с Сашей.

Обнимаю

Твой Ю. Казаков.

М. б., приедешь сюда на день Победы, с которым, кстати, тебя поздравляю! Давно не виделись... У нас в Воре теперь есть рыба.

3 мая 1977 г. Абрамцево.

Февраль 1978. Абрамцево

Майн либер кум!

Забурел ты что ли? Или письма моего не получил? Почто не напишешь мне-дак? И почему не присылаешь

Н<аш> С<овременник> с твоим рассказом? И как твой роман — понравился ли? (имею в виду редакторов).

Слушай, ты Нине показываешь свои опусы до напечатания? Я раньше страх как любил тыркать всем в нос свои рассказы, а теперь боюсь, берегу свои нервишки: вдруг... Как сказал один поэт не из последних: «Бывало думал: ради мига и год, и два, и жизнь отдам... Цены не знает прощельяга своим приبلудным пятакам. Теперь иные дни настали, лежат морщины возле губ, мои минуты вздоржали, я стал ленив суров и скуп.»

Пишу я теперь нечто очень хорошее, на мой взгляд, и когда напишу особенно удачную страницу, похрюкаю тихо и спрячу, и спрячу.

«Если бы вы собрались помолиться Богу и заехали ко мне, то мы обо всём бы потолковали и почитали». — В 1853 году С. Т. Аксаков писал так из Абрамцева в Москву историку М. П. Погодину — так начинает свое письмо ко мне В. Лихоносов.

Так вот, не соберешься ли ты помолиться Богу?

Семье твоей кланяюсь, а тебя обнимаю нежно.

Один мой герой просыпается темным ноябрьским утром в печали, греет кофе, вздыхает, глядит на запотевшее сумеречно-сивое окошко и думает: «Не уходи от меня, ибо горе близко и помочь мне некому»¹.

Вообще, скажу я тебе, Библия — кладезь глубоких сюжетов, бери чуть ли не любую строку и пиши, так сказать, иллюстрацию.

Ю. Казаков.

Где-то в конце марта Алексей Божий человек, т. е. Алешкины именины, на которых, как крестный отец, ты конечно должен быть. Я тебе потом сообщу о дне.

Февраль 1978 г. Абрамцево.

<Сентябрь 1979 . Москва>

Дорогой Вася!

Видишь, как выходит — оперироваться собирался ты, а вспороли неожиданно меня. Причем все врачи считали меня безнадежным. А я в это время в реаниматорской (по-

¹ См.: Псалом 21,12.

сле операции) скандалил с сестрами и врачами, требуя передышки во вливаниях, а вливали в меня всякую дребедень, и кровь в том числе, по 17–18 часов без перерыва, так что со мной начинались нервные судороги. Одним словом, за 10 дней моего пребывания в реаниматорской на 8 литров моей крови мне влили литров 50 всяких белков и прочего, так что по жилам моим тек, наверное, бульон.

Теперь уж мне разрешили ходить, что мне не очень удаётся, так как (я только что взвесился) потерял я 12 кг веса. Выпишут меня навряд ли скоро, так как плохо заживает нижняя часть шва, разъеденная выделявшимися из поджелудочной железы ферментами. Вообще-то, раза два в реанимат. я подумывал о смерти, и было жалко оставить неотделанным посвященный тебе хулиганский рассказик.

А было у меня: камни в желчном протоке, воспаление поджелудочн. железы и общее полное отравление всего организма, т. к. в течение недели желчь поступала в кровь, и стал я желт, как <неразборчиво>, уже заговаривался, т. е. вместо одного слова говорил другое и забывал, кого как зовут. Т. е., как выражаются ученые люди, пунктирная потеря сознания.

Будущее, милый Вася, меня не веселит: ничего мне нельзя будет — нельзя есть соленого и копченого, нельзя пить пива, не говоря о прочем, нельзя никуда ехать, надо быть всё время в пределах досягаемости «скорой помощи», нельзя копаться в саду и огороде, нельзя поднимать тяжелое и т. д. Одним словом — инвалид. Одна надежда, что Господь не отнял ещё у меня талант и мне удастся еще кое-что написать.

Прочел отрывок из твоего романа и скажу, что если весь роман написал так же, то я тебя поздравляю!

Пожалуйста, поблагодари Нину за предложение перевода меня в лучшую больницу, но мне было бы грешно изменить здешним врачам. Кроме того у меня отдельная палата и женщина, кот. готовит мне еду и ставит клизмы, и всё о'кей.

Обнимаю тебя, милый Вася, Нине и ребятам кланяюсь. М. б., заглянешь? От 4-х до 7. 11-я Парковая улица (Измайлово), б-ца № 57, палата 330.

Твой Ю. Казаков.

18 марта 1981. Абрамцево

Дорогой Вася!

Снег идет, снег идет и всё пускается в полет... Совсем меня тут завалило, но не грустно, а радостно, и даже был один проблеск счастья: показан по ТВ кусочек вечера, посвященного Лескову, и я буквально одно мгновение полюбовался тобой — ты восседал рядом с Феликсом¹, и вид у тебя отменный.

Вася! Купил ли ты «Ниву»?

Вася! Христом Богом прошу тебя и заклинаю: нащелкай на машинке заявление в Литфонд, чтобы мне отсрочили мой долг (500 р.) на год. И подпишись за меня. И при случае отдай там кому надо, ты ведь всех их знаешь. А то я совсем на бобах, а тут еще нам газ проводят и надо платить и платить... А в 82 году я буду богатый: выйдет двухсерийный фильм.

Вася! Приближается весна и, значит, рыбная ловля. Я еще раз получил приглашение — не пугайся, не в Новгород, где тебя обещали «поставить на тропу», чтобы ты пер 7 часов болотами, — нет, в Калинин, в генеральские уголья. Поедем? Уж ежели ты такой жмот и пожалеешь свою «Ниву», я тебя на своей машине туда отвезу, причем поедем по красивейшей дороге, которой почему-то нет в Атласе. Через Дмитров, на Клин, и в Калинин! Поедем дня на два, как — помнишь? — ездили на Плесцево. Как молоды мы были...

А еще я хочу тебя свозить в Калязин, тут недалеко, от Загорска налево, мимо Нерли и вот тебе Волга! Мастера, которые крыли у нас крышу прошлое лето, каждый уик-энд ездили и даже угощали меня вяленой рыбой — не знаю какой, похожа на леща, только поменьше.

Пишу, Вася, отменно. В частности, добиваю рассказ и про тебя. Про твою деревню, ты сам у меня гуляешь под именем Петрович. И эссе про «кепку в сапогах» не забыл, Вася, прости, что так долго.

Обнимаю тебя! Напиши мне. Кланяюсь Нине. Как там Сашка?

¹ Ф. Ф. Кузнецовым.

Пожалуйста, позвони Г. Семёнову, а то я его адреса не знаю, спроси, где он купил противоугонную скобу, а то я был в «Берёзке» — нету.

А вот тебе мой образец подписи для заявления в Литфонд —

18 марта 1981 г. Абрамцево.

Ю. Казаков.

У нас — солнце! Да! Вот тебе совет насчет Дорофеева. Если будешь делать пол или ремонтировать, купи хорошей фанеры, аккуратно, впритык уложи и прибей ее, потом изобретите с Сашкой трафарет или скопируйте у Растрелли, помажьте по трафарету морилкой, чтобы цвет был ореховый, а потом покройте двойным слоем полового лака. И получится, как наборный паркет в Эрмитаже. Лак будет держаться вечно. У нас в ЦДЛ лакируют пол раз в году, а сколько миллионов маститых ног пройдут по нему в год! А тут вас всего четверо, да я пятый (если забреду дня на три).

Целую.

Ю. К.

26 марта 1981. Абрамцево

Дорогой Вася!

Одно утешение тебе могу сказать: каждое утро, и каждый день, и молясь Богу на ночь — уверяй себя, что тебе исполнилось сорок лет. Упрись, и всё! Сорок! И не месяцем больше.

А не побывал я у тебя, чтобы лицезреть твою цветущую физиономию, потому, что почта абрамцевская работает гораздо хуже мелиховской.

В те стародавние времена Чехов мог, сидя в своем Мелихове, писать Суворину и Мизиновой и назначать им свидание на следующий день в «Славянском базаре». А раз назначал, значит, был уверен, что письмо доедет вовремя и свидание состоится. А твое письмо, хоть отправленное чуть не за неделю (я поглядел на штемпель), пришло спустя два дня после твоего тезоименитства.

И электрички теперь ходят медленнее, чем раньше ходили паровички. Я подсчитал: до платформы «55-й км» современная электричка идет 1.10–1.15 минут. Значит 45–47 км в час. А мы, видишь ли, изнемогаем от скоростей, от потока информации и обретаем стрессы.

Я и не знал твоего дня рождения, но будто чувствуя, написал тебе письмо с разными заманчивыми весенне-летними предложениями, получил ли ты его?

И все-таки бесконечно жаль, что не смог я явиться к тебе с копчеными лещами, мы бы тогда отгородились от всех дюжиной бутылок немецкого пива, расстелили бы газетку и мурлыкали бы, не обращая внимания ни на коньяк, ни на всё остальное, — ты только пересмотри Нинины «кандидатские» слайды: какие все были смурные, окоселые и т. п., одни мы с тобой как огурчики!

Ну вот, Вася!

Обнимаю и целую и кланяюсь Нине!


26 марта 1981 год. Абрамцево.

Ю. Казаков.

Мне привезли навоз, так что можешь приехать понюхать и умилишь свое русское сердце.

Ю. К.

*У. А. Казаковой
и Т. М. Судник-Казаковой*



25 марта 1967. Париж

Писать так писать! Вчера написал вам, дорогие мои, а сегодня с утра снова принимаюсь — если застану Солоухина (потому что последние дни он исчез), то отправлю это письмо с ним.

Второй день в Париже уверенная солнечная погода. Завтра Пасха, я пойду слушать мессу, а вчера и сегодня весь Париж кидается вон, тут каникулы, и никто не хочет сидеть дома. И остаюсь я один во всем Париже.

Вчера был вечером в кафе Куполь (Coupole) на Монпарнасе. Это теперь знаменитое кафе, каким была «Ротонда» 40 лет назад. И вчера меня там высвечивали и снимали для телевидения, и за окнами стояла толпа и глазела — небось думали, что я штангист.

Вчерашний вечер я закончил беседой с девушкой, которой 34 года. Итальянка Italia Zucconi. Она окончила Неаполитанский университет, живет в Люксембурге, специально приехала (первый раз в жизни) в Париж, чтобы говорить со мной, пишет про меня диссертацию. У меня все время мысль, что я не заслужил ни интервью, ни диссертаций. Посылаю пока (если опять-таки увижу Солоухина — а сейчас 8 утра) одно интервью в газете Figaro, я ведь не знаю, что и где вышло, мне Лили¹ даёт. Ещё где-то есть, потом привезу.

¹ *Лили Дени (Lily Denis)*, переводчица. В ее переводе во Франции изданы сборники рассказов Ю. Казакова *La belle vie* (1964), *Се Nord maudit* (1967).

Заказал себе два костюма, куплю м.б. магнитофон, а потом разных подарков всем, только смущают меня размеры, тут другие размеры и боюсь будут не в пору.

В общем, я жив-здоров, скучаю по Вам, хочу домой. Целую. Потом напишу, а то всё боюсь, что Солоухин исчезнет и я не застаю его.

Целую.

25 марта 1967 г. Париж.

Юра.

27 марта 1967. Париж

Здравствуйте милые! Вот и еще один день в Париже кончается — тихий, дождливый, слегка туманный день, и наполнен он был грустью для меня. Ездил я сегодня км на 25 от Парижа на русское кладбище Сент-Женевьев, побывал у могилы Бунина, потом прошелся по кладбищу — столько знакомых имён! Березы растут, но почему-то стволы покрыты зеленью — от сырости? Нет — скорей какой-нибудь грибок. Прелестная маленькая церковь, мы вошли туда и поставили четыре свечки — за всех умерших и за нас, которые еще живы...

27 марта 1967 г. Париж.

Юра.

3 апреля 1967. Марсель

Привет из Марсея!

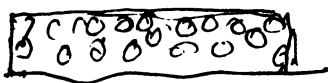
Милые мои, я в Марселе, приехал вчера вечером, но вчера не мог сесть за письмо, очень устал, а теперь вот 15 минут до завтрака, я побрился, помылся, натянул вчера вечером собственноручно выстиранную рубашу и галстук (парижский шик-блеск) и попробую кое-что написать. В Сан-Рафаэле купил я себе большой легкий чемодан, и теперь в нём жалко болтается несессер.

Позавчера мы с Мари Клер выехали из Сан-Рафаэля и взяли курс куда-то в горы и долины, к дому, где проводила ночь Лили (у своих друзей). Ехали, ехали и приехали. Крошечный совсем городок, а на окраине замок. Огромный дом,

огромный парк, семь гектаров виноградников, дом, как музей, комнат не счесть, лестницы, переходы, и проч., круглая башня, наверху которой зубцы, узенькие окошки в этой башне, забранные решетками, внутри, во всех комнатах, полно старых картин, старой мебели, на стенах висит старинное оружие – и всё это куплено за 20 тыс. новых франков, т. е. за 5–7 тыс. по-нашему! Право, зависть и досада грызет меня неустанно.

Позвонивши предварительно Анн Филипп, поехали мы на свидание с ней. Она должна была ждать нас в городке Ramatuelle (Раматюель). Опять крутили и вертели по горным дорогам Прованса, по сторонам была красная (пардон, ровно в 9, как и заказано было вчера, принесли завтрак-пети дежёне), так вот, значит, красная земля виноградников, черные раскоряки лоз, яблони печальных тонов, старинные поместья, и даже баров и бензозаправочных станций нет почти на дорогах.

Приехали мы в этот Раматюель и увидели Анн с ребятами (мальчик ужасно похож на Жерара Филиппа, одет в ковбойскую шляпу и обрезанные выше колен джинсы, девочка мечтает стать балериной). Тут же на площади сели обедать. Площадь в четыре раза меньше площади в Тарусе,



от нее расходятся улицы шириной с «Запорожец». Посередине площади вот такая каменная штука (рисунок), т. е. сложенная

из камней круглая площадка, а посреди неё растёт, в сквозных дырах трехсотлетнее дерево неизвестной породы, а под деревом со своими детишками сидит А<нн> Ф<илипп>, мы так прямо и уперлись в них на своем «Рено» (у нас «Рено» – чудная машина!). Отобедавши, с вином из виноградников А. Ф. (тут все хозяева виноградников сдают урожай кооперативу, а тот уже делает вино), погрузившись на две машины, мы отправились в имение Ж<ерара> Ф<илиппа>. Дом прекрасный, но маленький, по сравнению с замками, в которых я побывал, затопили камин, стали пить опять же соб-

ственное вино, т. е. из собственных виноградников. Очень милая женщина А. Ф., но она была старше Жерара и теперь ей под 50.

От неё мы поехали опять по Провансу, и опять — редкие старые городки, отдельные старые замки, виноградники, брошенные открытыми машины, и парочки, целующиеся и загорающие под дорогой.

Приехали вчера вечером уже в темноте в чудесную гостиницу на отшибе в парке, со старинной мебелью, и в комнатах и везде, как любит писать Паустовский, пахло лавандой. (Кажется, кончается ручка.)

Дописываю письмо новой ручкой, купил за 1 фр. Ездил я уже на остров Иф (где Монте-Кристо), ездил по Марселю, через 20 минут надо ехать в магазин книги, раздавать автографы, давать интервью, а потом в Арль. И завтра же, т. е. 4-го в 4 часа дня — на поезд и в 12 часов ночи мы в Париже, и здравствуй, Монталембер. Здравствуй, грусть этого печального, унылого, пасмурного отеля. 5, 6 и 7-го разные покупки, поездка в Версаль, последние визиты, встречи, а 8-го — здравствуйте, вы все! — и всё, Париж и Франция станут сном.

Ел я позавчера в этой самой гостинице, которая в парке и в которой всё старое, ел я, братцы, лягушек. Очень вкусные! Вообще, поел я тут разных гадостей, они дороги, как правило, зато любопытны: ел мулю (ракушки), эскарго (печеные улитки), ел морских ежей, устриц, креветок, лангуст, омаров, и только вот осьминогов я не стал есть, очень страшны, маленькие такие осьминоги, немного поменьше Чифа.

Сегодня купил Тамаре зонтик. Маме куплю от солнца — в Париже. Не придумаю, что отцу купить и что дяде Феде (часы, которые он просил, стоят дорого).

У меня в теперешнем номере окно во всю стену от полу до потолка, за окном балкон, внизу по-тигриному режут машины, которые как-будто взбесились все и мчатся в смерть, тут же в 20 метрах бухта, яхты, моторки, катера — тысячи, за бухтой на скале собор с фигурой Богоматери — покровительницы Марселя. Собор и фигура вчера были озарены прожек-

торами, и на темном холме, вернее, на скале, были очень эффектно. Иф совсем рядом, виден из моего окна, 10 минут ходу на катере. Монте-Кристо там не сидел, но аббат, вместо которого его выбросили, был, сидел там и Мирабо, и Железная Маска... Страшное место, голые скалы серые, ни кустика, и такие же серые бастионы и черные камеры.

Боюсь, что письмо это придёт позже, чем прилечу я, и как-то не хочется подробно писать, да подробно писать — нужно сидеть целыми днями и вспоминать.

Поэтому целую вас крепко, и теперь уже до скорой встречи.

3 апреля 1967 г. Марсель.

Ваш Юра.

*П. Г. Казакову, У. А. Казаковой,
Т. М. Судник-Казаковой
и А. Ю. Казакову*

2 июля 1968. Углич.

Моторно-парусная шлюпка «Вега»

С приветом к вам ваш сын, муж и отец!

Вот я и в Угличе уже — второй день. Все пошли на корвет, я задержался в гостинице, чтоб написать Вам это письмецо.

Пока все у нас благополучно. Мама, наверное, уже сказала, что вышли мы не в четверг, а в пятницу, в шесть утра, а в субботу, в два часа ночи, миновав с тральщиком 6 шлюзов, были уже в Белом Городке, на Большой Волге. В субботу же, часов в одиннадцать утра, уже самостоятельно, тронулись мы дальше, в три часа дня были уже в Калязине, пообедали там, часов в шесть тронулись дальше и ночевали в прелестной бухте на левом берегу, т. е. ночевали лодка с дежурным, а все остальные спали на сене в сарае, возле которого жалобно плакала весь вечер и ночь до утра какая-то птичка. Деревня называется Заволжье.

На след. день вышли опять в 11, в 3 часа подошли к Угличскому шлюзу, а в 6 часов уже причалили к Угличу под церковь «на крови», т. е. на том месте, где убили царевича Димитрия.

Через час опять отчаливаем — впереди у нас Мышкин на Волге, а еще км через 30–40 — Рыбинское вдхр. К нему, наверное, подойдем завтра, т. е. 3-го июля, и там опять будем проситься на буксир, чтобы миновать водохранилище. Если повезет, мы 3-го ночью или 4-го утром будем в Череповце, а потом в Шексну.

Ты, Тамара, и ты, мама, пишите прежде всего на Вологду. В Тотьму пошлите письмо-телеграмму, в Великий Устюг письма, а дальше, куда я напишу.

Как-то Вы там все? Алёшка наш еще не говорит никакого отчётливого слова? Не ходит, хотя бы на помочах? Отец вас не ругает? Грибы — есть ли? Земляника? Клубника краснеет?

Ну, обнимаю, целую.

2 июля 1968 г. Углич.

Юра.

10 июля 1968. Река Шексна

Пройдя под парусами в Переборы (возле Рыбинска), мы затем на буксире отправились в Пошехонье. Старый город, очень красивый, глухой, а жизни нам в нем было меньше суток.

Выйдя из Пошехонья под парусами, мы при сильном противном ветре сделали км 15 и заночевали в деревне, где в первый раз ели уху из леща и чехони, и жареного судака, и еще засолили, а теперь вялим. А на следующий день мы то ехали на моторе, то гребли, уже по морю от бую к бую. Часов в пять потянул попутный ветер, поставили мы паруса — все три — и побежали. Ветер крепчал. Мы летели, как птица, как какой-нибудь чайный клипер, только скрипели мачты да шипели за бортом гребни волн. Решили идти всю ночь, чтобы к утру прийти в Череповец.

Ветер достиг такой силы, что пришлось нам рубить сначала фок, а затем и грот и идти дальше на одном стакселе. Но и под стакселем бежали мы, как хорошая моторка.

Потом в час ночи шхуна наша села на мель. Бывалин стал пускать ракеты бедствия, ребята мужественно все прыгали за борт и стали толкать шлюпку на глубокое. Завели аварийный стаксель. Я оставался на борту, но все равно вымок до нитки — такие были брызги.

Столкнувшись с мели, мы пошли дальше, часа в три подошли к двум танкерам, стоявшим на якорях, пришвартовались и блаженно стали сушиться и пить горячий чай в салоне.

В Череповце нас хорошо приняли, и вот теперь катер тащит нас по Шексне, кругом красивые берега, сильный

встречный ветер, затопленные березовые рощи, я сижу в носовом кубрике и пишу, ребята спят.

Все мы очень загорели, я весь луплюсь. Здоров, все время в трудах. Моторы наши все ни к черту, 2 мы отправили в Москву, один остался. Если б я знал, что мы два дня простоим в Череповце, я бы в Москву съездил повидать всех вас — это близко, через Вологду, ну да теперь ладно.

Хорошо думается. Я тут порядочно записываю, веду вахтенный журнал.

Целую всех!

Пишите мне в Великий Устюг, а потом уже и в Архангельск.

10 июля 1968 г. Река Шексна, где-то км в 80 от Череповца.

Юра.

13–14 июля 1968. Углич.

Моторно-парусная плюпка «Вега»

Сегодня я вахтенный и, как бывало давным давно на Белом море, сижу у окна, отворенного на верхнюю фрамугу, в заброшенном доме, поглядываю за окно на нашу лодку, которая мреет на реке в свете уже не белой ночи, передо мной керосиновая лампа, керосин потрескивает, наверное, плохой, и только не слышно шума прибоя за окном, да и деревня уже не деревня — 3 двора, а забрались мы довольно далеко — км за 900 от Москвы, если считать по водному пути, осталось нам еще 1100. Но это нереально, т. е. нужно идти быстро — или мы не поспеем к концу месяца. Верно, придется нам заканчивать путь вчетвером, т. к. только четверо могут задержаться до конца августа.

Все последние дни ужасная погода, ветер и обложной дождь, Кубенское озеро — 80 км длины — прошли мы на буксире за танкером при большом волнении, и нужно бы теперь идти дальше, к Тотьме, но все такие вымотанные и всё на нас так мокро, что сегодня и завтра у нас отдых и сушка. Одно пока хорошо: холод, дождь, ветер разогнали комаров, а то мы бы тут с ума сошли. Тут во всех избах спят под пологами из марли, и даже в нашей заброшенной над провалившейся кроватью — рванный марлевый полог.

Все время, пока мы передвигаемся, меня не оставляет мысль совершить когда-нибудь (в след. году) такое путешествие вместе. Так все-таки красивы все места, которые мы проходим, и так в сущности прост и удобен путь, если идти не как мы — на лодке, а на теплоходе в хороших каютах. С остановками. С рыбалкой.

Кирилло-Белозерский монастырь — чудо из чудес! Такой огромный, разбросанный, неожиданный! И так пустынен! Мы, правда, были в будни, но народу почти никого, одни бородатые художники и девочки в брючках, переписывающие иконы Дионисия.

Все тут хорошо, и состояние приличное, т. е. конечно ободран, осыпается и проч. Но нет тех разрушений, которые видны на Соловках.

Много я видел разных древностей, но в Кирилло-Бел. застрял перед древностью так древностью. Святыня! В 1397 году Кирилл и Ферапонт пришли и открыли пещеру и стали жить, а потом Ферапонт ушел дальше, к Белому озеру, а Кирилл остался и в том же 1397 году выстроил себе келейку деревянную, неумело срубил, и вот эта деревянная избушечка цела! Лет двести назад ее накрыли сводом, забрали деревянной решеткой со всех сторон, а она в середине и крест вырублен над дверью в бревнах. А ведь в 1997 году будет 600 лет. 600 лет дереву!

Слышал я, что и в Москве погода плохая. Как-то там наш огород? И вообще, не замерзаете ли вы? Как Тамара — пошла ли работать? И работает ли над диссертацией? Надо бы ей выделить часа 3 в день свободных, работать она может наверху. Слышишь, Симпл? Будь умницей! Жалко будет, если этот месяц у тебя пройдет бездарно. Нашли ли вы молочницу? Или все так и ездит папа за молоком?

Мимо проходят пароходы с зеленым и красным огнями по бортам и с белым на мачте.

Ребята все спят тихо, и никто не храпит, а то мы бы погибли, если бы попался кто-нибудь вроде Васи Рослякова.

Здесь много еще старых буксиров колесных, гудят они чудесно, последний поэтический звук на реке. Они уйдут, и останется только зуденье моторок и тарактенье дизелей, да вой сирен.

Мечтали мы помыться в бане, да тут бани топятся по черному, подумали мы, почесались и не решились — вылезешь еще оттуда, как трубочист.

Я пишу с ошибками — темно, да и глаза слипаются — 12 ночи, а мне еще час сидеть. Все как умерли.

Под крышей у нас вялится рыба. Ждем В. Устюга, чтобы съесть с пивом. Вроде живот у меня подобрался чуть-чуть, а насчет «облика» не знаю, давно не глядел в зеркало. Да и все обросли. Загар, который мы успели схватить на Волге, почти весь сошел. (А то в Череповце спрашивали, не с юга ли мы?). Народ у нас все хороший, едем мирно, ругаемся только, когда заспорим, приставать или нет, а если приставать, то где? А так постепенно притираемся друг к другу, начинаем понемногу рассказывать, кто как живет, пускаться в воспоминания и т. д.

Лампа моя почему-то то тухнет совсем, то опять разгорается, и я никак не пойму, что бы это значило: фитиль длинный, и вывернут хорошо, и керосину много, — так что пишу почти что ошупью. Лазил сейчас на чердак, думал, м. б., иконы валяются — нет ничего. Пыль, хлам. Стоит широкий берестяной туес, в нем высохшие пчелиные соты, в другом углу бак для качания меда, родители были живы, пчел, видно, держали, а теперь померли, сын в Вологде, дом забросил, все рушится, приезжает только рыбу половить. Мы влезли в дом, печку стопили.

Как-то грустно мне, живы в памяти дни, когда я одиноко скитался осенью по Северу, а сейчас — как осень. Но все-таки — июль! Вот солнышко пойдет, веселее станет.

Да, передайте Семёнову, что рыбы здесь — ведро за час налавливают. Удочкой. Мы уже рыбы наелись, что и не тянет.

Значит, дня через 3 будем в Тойме, потом в Устюге, а потом уж вывалим и на Сев. Двину.

Целую вас всех и желаю тихой мирной жизни.

Сейчас пойду будить очередного вахтенного. Где опущу письмо, не знаю. В Кириллове опустил письмецо, которое писал на Шексне, и открытку.

Я здоров, сильный стал, много приходится грести, и вы мне все снится.

Ночь с 13 на 14 июля 1968 г.

Юра.

19–20 июля 1968. Река Сухона

Это письмо я опущу Вам, наверное, в Нюксенице — райцентр еще км в 5 отсюда. А в деревню эту нас загнал и держит здесь дождь, вот уж второй день — и к счастью. Впервые за 3 недели спал я в теплом доме под одеялом, а то все под чужой телогрейкой в сарае, или на земле, или (2 раза) в Доме колхозника на казённой койке.

Только что ходил за грибами. Наелся земляники и принес корзину подберезовиков и подосиновиков. Здесь во всю растет земляника, которой я съел стакана два, — никто ее тут не берет. И цветет ночная фиалка, и в память Тарусы я собрал букетик, и он стоит сейчас передо мной и благоухает... Грибов здесь так много, что лень на них глядеть, и все-таки прекрасен момент, когда увидишь среди темно-зеленых мокрых, как бы лакированных листьев брусники апельсиновый огонек подосиновика, оглянешься — еще и еще...

За окном у меня две бани курятся дымом во все щели, топятся по-черному для нас. А две потому, что нас девять душ, и все не мылись уже 3 недели. Деревушка маленькая стоит на косогоре, дворов пять всего, раскинулись широко, и между ними переплетения поскотин.

Грибы мои уже жарятся и варятся, и дом полон грибным духом, слюнки текут. А у вас — у нас — есть ли уже грибы?

Уже десять дней нас преследует непогода. Некстати она не только нам, но и всем — сейчас тут сенокос, сено гниет. А нам в нашей открытой лодке под мокрым брезентом совсем худо. Но, м.б., просто природа отдает нам свой долг? Ведь тут полтора месяца не было ни капли дождя, Сухона обмелела, и даже большие пассажирские теплоходы перестали ходить.

Это я пишу уже после бани, в которой вода с меня текла черная, так давно я не мылся. Два раза выходил я в предбанник, но все-таки домылся, еле добрел до избы в сладкой истоме, а когда стал бриться, вдруг увидел, что шея у меня совсем тоненькая, вот как похудел! Ура! Но — надолго ли?

Уж пять часов, уж мы пообедали, поели грибов, сейчас чай будем пить (из самовара), и я даю себе слово в этом же году строить баню.

Фирсовы¹ не присылали фотографий?

Купили мы два дня назад в колхозе (через райком) барана за 13 руб. (10 кг), и эти дни у нас баранина, а сегодня вечером последнее баранье пиршество — шашлык, боюсь только, выйдет он жесткий, хоть и молодой барашек.

Вы самовар-то ставите? И было бы хорошо, если бы Тамара сходила в контору и пригласила бы Николая Фёдоровича на чай, и вы поговорили бы, сколько примерно будет стоить вынесение котла на улицу. Т. к. это надо делать в августе. Потом его надо будет еще опрессовывать, опробовать и т. д., и красить трубы, и ремонт в кухне, и еще ремонт домика. Сделаем всё, чтобы спокойно глядеть зиме в глаза. (Я везу ракету на Н<овый>. год.)

Сейчас был разговор о глухарях, и я убил всех своими познаниями. Дождь всё сеет, в лодке полно воды, натекло через брезент, не знаю, как мы завтра поедем. Бррр! Ребята (вторая очередь) купаются в Сухоне после бани, обалдели, никто не мылся в деревне. Все пришли, шум, гам, анекдоты, плохо все таки, когда 9 человек в одной избе, не считая хозяев. Продолжу потом.

19 июля 1968 г. Деревня км в 65 ниже Тотьмы.

20 июля.

Продолжаю утром, скоро отходим, сегодня с семи утра приводили лодку в порядок, отливали воду, расстилали паруса и растерянно взирали на разрушения, сделанные водой. Погода сегодня такая же мрачная, вот только вместо дождя — мельчайшая изморось.

Из Нюксеницы pošлю Вам телеграмму, чтоб вы мне телеграфировали в Устюг последние новости. А потом пишите мне прямо в Архангельск, потому что я не знаю, где мы будем останавливаться по Сев. Двине, а где нет.

Вчера ребята видели двух тетеревов, — вообще, здесь места благоприятные для охоты и рыбалки, как в былые времена в Лузе или в Солге. На Лузу, как я хотел, мы не зайдем, не

¹ Фотографы-художники И.И. Стин и А.В. Фирсов.

*П. Г. Казакову, У. А. Казаковой, Т. М. Судник-Казаковой
и А. Ю. Казакову*

остается времени, очень нас задержали эти непогодные дни, слишком много времени уходило на просушку, на переноску, бывали дни, когда мы трогались в дальнейший путь в 3–4 часа дня вместо 7–8 утра по плану. Маме ехать в Арх<ангель>ск не следует, я там буду день два и домой, много дома дел, а в сентябре (в конце) мы можем прокатиться на машине на юг или в Прибалтику дней на 10 ради отдыха и развлечения.

Опять в избе гомон, что-то стучают на кухне заслонкой, пахнет молоком топленным, веет от окна фиалкой, махорка прет с крыльца — ребята смолят, в путь, в путь!

А мне хочется домой, хочется всех вас приласкать и сказать вам какие-то добрые слова. Хочется на завтрак не консервов из ведра, а цветной капусты со слив. маслом. Хочется сделать дом еще лучше, чтобы приятно было зайти в него, и еще охота поработать.

Ну привет, зовут завтракать, надо идти, а то у наших разбойников аппетиты, дай Бог, очень они мне напоминают эсков из Бутырки (улыбка Будды).

Целую всех, мир вам и благополучие!

Юра.

Вот мы и в Нюксенице, всё в порядке, только сильный встречный ветер с севера, холодно. Нюксеница — прелестный беспорядочный деревянный городок. Чистые деревянные тротуары и грязь посредине на улице.

У меня здоровые мозоли от сидения на банках (так называются скамейки на шлюпке).

Дорогой останавливались и обедались земляникой и черникой. Клубнику ешьте, не берегите до меня, свежая она лучше всего, лучше всяких варений.

Целую!

Ю.

*Т. М. Судник-Казаковой
и А. Ю. Казакову*

18 декабря 1972. Гагра

Миленькие мои!

Когда я попрощался и ушел, ниточка от вас все тянула меня за сердце, и когда я потом сидел у Фимы, ниточка эта все не обрывалась, все давала о себе знать, и я вдруг среди веселых разговоров воображал, как вы проезжаете мимо Адлера, потом мимо Сочи...

Утром я иду пить кофе к суровому грузину, потом назад, мимо часовщика Жоры, перехожу на другую сторону, созерцаю некоторое время заголовки газет в киоске, возвращаюсь назад, мимоходом заглядываю в витрину фруктового магазинчика, ощущаю вкус разгрызаемых орехов, потом приостанавливаюсь у попугая Бори, перехожу по мосту над речкой, иду мимо пустыря автомобильной стоянки — направо почта, — мимо нашего дома, — мимо хинкальных и Павильона, перехожу на другую сторону, дохожу до кондитерской; потом еще дальше, до Детского мира, и рука моя то и дело опускается в поисках руки Алёшки, и сердце каждый раз замирает, когда мимо особенно шумно и быстро пронесится автомашина.

Все мне кажется, что маленькая фигурка ринется через дорогу...

И я, как последний дурак, начинаю заглядывать во все дырки, читать подряд все таблички, на которых написано все одно и то же: «пр<оспект> Руставели».

После вашего отъезда по-настоящему «заосеняло», опять выпал в горах снег, уже прочный, зимний, низкое небо, а на горах разбросаны будто клочки ваты, очень низко — ниже даже, чем мы были с Алёшкой.

Меня переселили на другой же день, теперь я живу в одиночном номере, и под руку мне беспрестанно попадают то Алёшкины ботинки, то его рисунки — выбросить ни того, ни другого я пока не осмелился и, наверное, привезу все это в Москву.

Я хочу тут добить Нурпеисова и вообще «очиститься» — всё мне в голову приходят прекрасные сюжеты, просто грех тратить мозги на что-то другое. В одиночестве, в зиме особенно чисто думается!

Тамара! Только что перечел я какие-то кусочки из своего опуса в «Н<ашем> С<овременнике>», и понял, что всё-таки писатель я не дурной. И вот — не будем валять дурака, — скажу тебе, что мне захотелось еще что-то сделать... <...>

Хочется написать мне об Алёшкиных глазах, когда он был совсем маленьким, хочется порадовать тебя. Да что! Ты самое любимое моё существо, ты даже не женщина для меня, а просто всё. Я хочу, чтобы ты знала об этом. Я хочу быть тебе самым дорогим — а так часто не могу. Прости меня, любимая! Единственным утешением мне служит мысль, что люди так далеки от совершенства!

Целую тебя!

Если буду жив, как каждый день писал Л<ев> Н<иколаевич> — а думать об этом надо — сколько смертей! — и Кирсанов! И Исаак Борисов! — если буду жив, обещаю тебе много творческой радости, не говоря уже о радостях других. Прости за опечатки, пишу на чужой машинке, шрифт незнаком, приходится раздумывать чуть ли не над каждой буквой. Целую и люблю. Буду тебе звонить и телеграфировать, денег не надо.

18 декабря 1972 г. Газра.

Твой Ю.

А. Ю. Казакову

<Зима 1973. Гагра>

Дорогой милый Алёша!

У вас теперь зима, снег и морозы. А я опять живу в Гагре, в доме творчества. У нас тут солнышко и тихое море, а тепло так, что иногда можно ходить без пальто.

В прошлом году мы ходили с тобой и мамой по проспекту Руставели, покупали мандарины и орехи, и ты нюхал разные цветы, которые росли возле дома творчества. И ты забирался по железной лесенке наверх. А потом мы с тобой и мамой забирались на высокую гору.

Мы с тобой давно не виделись, и мне теперь скучно без вас, и опять хочется пойти в кафе, где мы когда-то все вместе покупали пирожные.

Вот когда я приеду домой, я привезу тебе мандаринов и орехов и еще чего-нибудь вкусного.

Не болей, и поменьше балуйся, и слушайся маму.

Напиши мне, как ты живешь и чем занимаешься. А если захочешь, то нарисуй мне что-нибудь.

Целую тебя и крепко обнимаю.

Твой папа.

5 сентября 1975. Абрамцево

Дорогой Алёша!

Я очень, очень рад, что ты уже школьник. И поэтому пишу тебе на самой лучшей бумаге, какая только есть на свете.

Будь, пожалуйста, хорошим мальчиком. Внимательно слушай учительницу и не вставай во время урока.

Знай, что одному быть в школе очень скучно. Постарайся подружиться с каким-нибудь мальчиком, с тем, который тебе очень понравится и которому понравишься ты.

Еще хочу сказать тебе по секрету, что тех детей, которые слишком шалят в классе и не слушаются учительницу, иногда даже исключают из школы. Они так и остаются на всю жизнь неграмотными, ничего не знают и не умеют даже книжку прочесть.

Будь здоров, Алёша, целую тебя!

Твой папа.

Посмотри бумагу на свет. Ты увидишь птицу. Это дятел — самая красивая и полезная птица в лесу.

Напиши мне письмо. Напиши, как живешь и нравится ли тебе учиться в школе.

5 сентября 1975 г. Абрамцево.

27 января 1976. <Абрамцево>

Здравствуй, дорогой Алёша!

Когда ты получишь это письмо, день прибавится уже почти на полтора часа. Значит, теперь уже везде больше света: и в квартирах, и на улицах, и в лесах. И от этого веселее становится жить, потому что — знаешь, что самое главное на земле? Как ты думаешь?

Солнце, свет!

Приезжай, Алёша, опять в Абрамцево. Тебя ждет Щелкунчик, которым ты научился так ловко щелкать орешки. Он лежит в темном ящике, вспоминает тебя и думает: как-то он там ведет себя в школе? Если плохо, то я щелкну и укушу его за палец!

Прямо беда, какой грозный этот Щелкунчик!

И бабочка тебя дожидается в твоей комнате. Полетает, сядет на окно, которое на веранду выходит, и крылышки то распушит, то сложит. Не знаю, спрячется ли она куда-нибудь до твоего приезда или дожется тебя. Если дождется, ты с ней поздоровайся. Она, конечно, тебе не ответит, как Кешка, потому что у нее одни крылышки, а голоса нет, но ты всё равно поздоровайся. Хорошо?

Ну, значит, я жду опять тебя в субботу, приезжай с настоящими лыжами, а я тебя встречу с палками, и ты прямо от станции пойдешь на лыжах.

Скажи маме, чтобы не забыла купить себе кружки на палки, а потом две банки кофе, яичек и взяла бы дёготь для своих лыж.

Сегодня у нас солнечный день. А у тебя какой день был во вторник?

Целую.

27 января 1976 года.

Папа.

9 февраля 1976. Абрамцево

Дорогой Алёша!

Я по тебе уже соскучился, и ты каждую ночь снишься мне во сне. Ты очень много и интересно говоришь со мною во сне.

А тебе что снится? Ты мне расскажешь, когда приедешь, ладно?

Я бы и сам приехал домой в Москву, но меня держит в Абрамцево книжка, которую я сейчас пишу. Но к твоему приезду в субботу я ее закончу. Потом ее напечатают в типографии. А лет через пять ты ее прочтешь. Потому что эта книжка для больших мальчиков.

Отыщи на своем глобусе Новую Землю. Вот на этой земле среди льдов и снега жил хороший человек, о котором теперь я и пишу. А звали его Тыка Вылка. Он был ненец. Он был похож на японца. Японцев ты знаешь. Это такие люди, у которых узенькие глаза.

В Абрамцево были такие сильные морозы, что даже замерз газ, и нельзя было сварить супа.

Но теперь стало тепло, то есть мороз небольшой и хорошо кататься на лыжах.

А теперь у меня к тебе просьба. Возьми маму за руку и поезжай с ней на Преображенский рынок. На рынке купите мне сала грамм 600–700. У меня есть очень вкусная горчица, и мы с тобой будем есть сало с горчицей.

Потом скажи маме, чтобы не забыла купить кружки на свои палки. И новую лыжную куртку.

Ну, Алёша, приезжай в субботу, жду тебя с лыжами, а я выйду встречать вас с палками. Интересно, какого цвета твои новые лыжи?

До свидания, крепко целую.

9 февраля 1976 г. Абрамцево.

Папа.

20 января 1977. Архангельск

Дорогой Алёша!

Неделю пожив в очень красивом городе Ленинграде, я переехал в другой город, стоящий на огромной замерзшей реке. Тут очень холодно, мороз в 40 градусов, и если бы ты жил и учился бы здесь, то тебя бы не пускали в школу, потому что школьникам младших классов в сильные морозы выходить из дому запрещено.

Я скоро поеду в лес, в гости к лесникам, и мне там покажут диких оленей, кабанов и разных других зверей. Тебе бы было очень интересно увидеть их не в зоопарке, в клетках, а живущими свободно, в лесу.

Был ли ты в Абрамцеве, закончил ли строительство большой модели? Воображаю, как далеко и высоко она полетит, когда ты ее сделаешь!

А я все пишу рассказ про тебя. Про то время, когда ты был совсем маленьким. Надеюсь, что тебе будет интересно его прочесть, когда ты подрастешь.

Ещё я хожу по музеям, в которых выставлены старинные пушки и ружья, модели пароходов и первых самолетов.

По реке, взламывая лед, прошел вчера большой ледокол, а за ним шли три парохода. Уходили они в Белое море.

Все дни светит солнце, только оно из-за мороза красное. День на севере гораздо короче, чем у нас в Москве, поэтому рассветает тут позже, а темнеет рано.

Ну, будь здоров, милый Алёша, целую тебя, веди себя умненько!

20 января 1977 года, город Архангельск. Твой папа.

22 января 1977. Архангельск

Дорогой Алёша!

Я очень рад, что мой Слонёнок снова побывал в зоопарке и познакомился с дядюшкой Павианом. Я только пожалел, что ты так мало написал, всего одну фразу. Если мы все друг с другом будем обмениваться одной фразой, то на земле наступит молчание и холод.

В Архангельске очень красиво, жаль, что ты этого не видишь! Очень сильный мороз, все прохожие надели шубы и валенки, попрятали носы в шарфы, виднеются только глаза, а шарфы, платки и шапки у всех белые и пушистые от инея. Солнце днём не белое, а красное, и город кажется розовым. Из всех труб идут столбы дыма, прямо вверх, до неба. Автомшины окружены облаками пара. Я хотел сегодня уехать на Белое море, сначала на автобусе, а потом по ледяному морю на «Буране» (это такой снежный вездеход), чтобы посмотреть, как рыбаки ловят из-под льда рыбу. А ловят они очень вкусную рыбу: навагу, камбалу, сига, треску, зубатку. «Посмотрю, — думаю, — а потом куплю у рыбаков свежей рыбки, привезу в Архангельск и буду варить уху и жарить, потому что это вовсе не такая рыба, которую мы покупаем в магазине, а в сто раз вкуснее!»

И вот из-за мороза мы не поехали, и я тебе ничего не могу сказать о том, как ловят рыбу и с каким аппетитом ее едят.

Мама мне написала, что 30 января вы собираетесь ехать в Абрамцево. Это очень хорошо, и я вдвойне рад, потому что 30-го утром и я приеду из Архангельска на Ярославский вокзал. Поезд мой приходит, кажется, в девять часов утра. Если бы мама узнала точно, когда приходит из Архангельска утренний поезд, и если бы вы встали пораньше, чтобы этот поезд встретить, то мы бы в Абрамцево и поехали вместе. Я тебе привезу такой пряник, какого ты никогда не ел в жизни! Никогда! Потому что эти пряники делают художники только здесь, в Архангельске, и их выставляют даже в музее.

Ну, Алёша, будь здоров, не заболей гриппом! А главное, знаешь что? Главное, никогда не говори глупостей! Старайся всегда прежде хорошо подумать, а потом уже что-нибудь сказать.

Целую тебя, милый Слоненок!

Город Архангельск, 22 января 1977 года. Твой папа.

Рассказ про тебя я уже дописываю! Постараюсь написать его на пять.

Ю. Казаков.

26 февраля 1977. Дубулты

Дорогой Алёша!

Писатель Антон Павлович Чехов, рассказ которого «Каштанка» ты уже или читал, или будешь читать, побывал на острове Цейлон и привез оттуда двух мангустов. Он писал потом другу: «Каких милых зверей привез я с собой из Индии! Это мангусты, величиною со средних лет котенка, очень веселые и шустрые звери. Качества их: отвага, любопытство и привязанность к человеку. Они выходят на бой с гремучей змеей и не боятся. Что же касается любопытства, то в комнате нет ни одного узелка и свёртка, которого бы они не развернули. Встречаясь с кем-нибудь, они прежде всего лезут посмотреть в карманы: что там? Когда остаются одни в комнате, начинают плакать, так сильно они скучают без людей».

Я это выписал, думая, что тебе будет интересно узнать еще одно качество твоего любимого зверька. Если, конечно, ты его не разлюбил уже.

Живу я теперь на берегу Рижского залива Балтийского моря. Здесь течет река с очень смешным названием: Лиелупе. Вообще, здесь не говорят по-русски, а говорят по-латышски. И названия дачных станций не такие, как у нас: Ашукинская, Калистово, а такие: Буддури, Майори, Дубулты, Яундубулты, Кемери... А слово «столовая» по-латышски звучит так: «едница». А парикмахерская называется «фризетава».

По берегу моря растет только сосновый лес. Ни берез, ни осин, не елей тут нет, одни сосны. Море у берегов замерзло, сплошная снежная равнина, и только на горизонте виднеется голубая полоса — там море свободно ото льда.

Очень красивые дома, таких красивых домов у нас больше нигде нет. Много белок, и они совсем ручные, как у нас в Сокольниках.

Скоро я поеду в Ригу слушать органной концерт. Тогда я тебе напишу про Ригу. А ты мне напиши, какая погода в Москве и как ты учишься.

Перед тобой стоят три задачи: не болтать глупостей, хорошо учиться и слушаться маму. Запомнишь? Исполнишь? Напиши мне.

Целую.

26 февраля 1977 года. Дубулты.

Папа.

Юрий Казаков

31 июля 1977. Абрамцево

Дорогой Алёша!

Как ты живёшь? Я всё ждал от тебя письма, которое ты мне обещал, но ты, наверное, забыл.

У нас в Абрамцево очень жарко. Редиска твоя давно выросла, и мы ее съели. Очень вкусно было! Теперь уже появились кабачки и огурцы. Очень жалко, что ничего этого тебе нельзя попробовать.

Автомашину мою починили, и я теперь катаюсь на ней.

Последние дни над нами летают почему-то только АН-2.

Начали подкапывать картошку. Но твою картошку не трогаем, приедешь, сам выкопаешь.

Научился ли ты на Нарочи плавать? И пишешь ли изложения? Вот я написал изложение про тебя, оно напечатано в журнале. Но ты прочтешь его лет через десять, наверно.

Напиши мне, Алёша, как ты живёшь и чем занимаешься. Буду ждать твоего письма.

А пока будь здоров, целую тебя крепко и скучаю!

31 июля 1977 г. Абрамцево. Твой папа Ю. Казаков

12 апреля 1980. Абрамцево

Дорогой Алёша!

Вот, наконец, мне попало подробное описание, как построить змея.

Внимательно почитай и попробуй сделать всё, как указано.

Листочки эти не потеряй. Если с первого раза не получится – в Абрамцево сделаем еще. И запустим под облака!

Целую.

Папа.

Только учись хорошо и не огорчай маму!

12 апреля 1980 г. Абрамцево.

*Вспоминая
Юрия Казакова*



Письмо К. Г. Паустовского Ю. П. Казакову



5 февраля 1958. Таруса

5 февраля 1958 года

Таруса

Юра, дорогой! Не сердитесь на меня (хотя бы в глубине души) за то, что я Вам не отвечал. Это никак не касается моего отношения к Вам. Вы, может быть, догадываетесь или знаете от Галки («Ах, эта Галка!»), что я очень люблю Вас как писателя и, читая Ваши рассказы, бываю растроган до слез. И не по стариковской слезливости (ее у меня нет совершенно), а потому что я счастлив за нашу литературу, за наш народ, за то, что есть люди, которые сохраняют и умножат, все то прекрасное, что создано нашими предками, — от Пушкина до Бунина. Велик Бог земли Русской!

Не отвечал я Вам из-за отвратительной болезни, привязавшейся ко мне: из-за астмы. Сейчас легче, а то я задыхался, как рыба на песке, и мне было трудно и думать, и писать, и говорить. Если к лету я оправлюсь и врачи пустят, то я бы с наслаждением поехал бы с Вами в Приозерный район. Меня страшно тянет на Север. Если мне разрешат ехать, то, очевидно, возьму с собой Галку, меня одного из-за болезни не пустят. Напишите мне обо всем, не смущайтесь моим молчанием. Будьте спокойны, работайте, живите счастливо.

Ваш К. Паустовский.

P. S. Посылаю рекомендацию.

Письма Г. В. Адамовича
Ю. П. Казакову



23 мая 1967. Париж

23 мая 1967

Paris 8 7, rue Frédéric Bastiat

Дорогой Юрий Павлович,

искренне благодарю Вас за письмо. Я был очень рад встрече и знакомству с Вами, но жалею, что мы виделись с Вами, в сущности, мало, да и то «на людях». А разговор настоящий бывает только с глазу на глаз, и притом скорей вечером, чем утром или днем.

Не знаю почему, но давно знаю, что это так! Вот, на днях у меня был Евтушенко, а потом мы с ним пошли обедать (или по-московски, кажется, ужинать). И было это совсем не то, — гораздо лучше, гораздо приятнее и интереснее, — чем сидеть в компании, даже небольшой, и вести «умные», литературные беседы. Ну, Вы это, конечно, сами знаете, значит, нечего Вам и объяснять.

Спасибо за добрый отзыв о моей книге «Одиночество и свобода» и за обещание прислать роман Ю. Домбровского. Для меня это — новое имя, насколько помню, я ничего его не читал. Но прочту книгу со вниманием, т. к. верю Вашему суждению о ней. Боюсь только, что книга затеряется в пути, если пошлете Вы ее не заказным. К сожалению, это не раз уже бывало.

Сборник «Чистилище» у меня действительно был, но это дрянная книга, в которой, м. б., три-четыре стихотворения, — честное слово не больше! — не совсем мне противных. Летом должен выйти другой мой сборник, совсем ма-

ленький, но куда я включил стихи за всю жизнь, из тех, которые именно «не совсем мне противны». Я Вам его пришлю, а «Чистилище», пожалуйста, не читайте.

До свидания, Юрий Павлович. Крепко жму руку. Шлю лучшие пожелания и завидую Вам, что Вы проведете лето на Оке. Искренне Ваш,

Г. Адамович.

5 августа 1967. Ницца

4, avenue Emilia chez M-me Heyligers 06 Nice

Дорогой Юрий Павлович,

хотя и с большим опозданием, хочу поблагодарить Вас за «Хранителя древностей». Насколько помню, я писал Вам только о том, что получил ее.

Книга действительно замечательная, и Вы правы – талантливость автора чувствуется на каждой странице. При том не только литературная талантливость, а общая, трудно определяемая одним словом.

Я написал о книге небольшую статью, которая должна появиться в газете на будущей неделе. Вы просили меня вообще присылать газетные вырезки, но я знаю, что они не всегда доходят. На днях вышел сборник моих стихов, а в ближайšie недели выйдет и сборник статей и заметок на литературные и другие темы. Я послал бы обе книги и вам, и Домбровскому – но куда? Ваш адрес я впрочем знаю, и если Вы подтвердите согласие получить книги, пошлю их Вам домой. А Домбровскому – не знаю куда.

Я сейчас в Ницце, думаю – до 10 сентября. Написать мне можно и сюда, можно и в Париж (7, rue Fréd. Bastiat, Paris 8), т.к. мне всё пересылают.

Надеюсь, Вы хорошо отдыхаете на Оке и от души желаю Вам «творческих успехов» (кавычки потому, что не выношу подобных выражений и никогда с ними не свыкнушь! Но желание – искреннее).

5 августа, 1967

Ваш Г. Адамович.

22 января 1968. <Ницца>

Дорогой Юрий Павлович,

Спасибо за пожелания к Новому году и за память. Очень был рад получить от Вас несколько слов, в особенности с обещанием «написать большое спасибо» (впрочем, с оговоркой «когданибудь»!).

Как живете, не собираетесь ли побывать во Франции?

На днях я получил книгу В. Лихоносова с очень милой надписью и письмом. Я еще не все в ней прочел, но то, что прочел, прельстило меня своей внутренней правдивостью и тем, что Вы в предисловии назвали «восторженной печалью». Он, конечно, и Ваш последователь, по Вашей линии, и у него есть, что есть у Вас и у тех писателей, которых Вы назвали, пожалуй кроме Чехова. У Чехова — не совсем то, м. б., по условиям иного времени. Мне трудно было бы в двух словах это «то» выразить: какой-то «восторженно-печальный» и вместе с тем радостный вздох, освобождение от теорий, от выдумок, чувство, что в жизни, во всех ее таинственных повседневных мелочах есть нечто, от теорий ускользящее и перед чем они бессильны. Ну, Вы всё понимаете сами и не мне Вам что-либо разъяснять.

Но не находите ли Вы, что у Лихоносова несколько «областной» язык, вероятно сибирский? Даже в письме его есть слова, меня удивившие, хотя и понятные. Я ему отвечу в Краснодар, т. к. он пишет, что в Москве пробудет только до конца января. Если увидите его, передайте, пожалуйста, искренний привет. Вы во второй раз уже рекомендуете мне писателей, которых читаешь, не тратя времени попусту.

А свои две книги, вышедшие этой осенью, я Вам послал — не помню точно, с «оказией» ли или по почте. Но на почту надежды мало, в чем мне уже пришлось убедиться.

Сейчас я в Ницце. Как Онегину, — но не иносказательно, а дословно, — «вреден север для меня». В Париже был холод, а здесь солнце и весна. Думаю пробыть здесь до конца февраля. Но мой парижский адрес действителен всегда, где бы я ни был.

Крепко жму руку.

22 января 1968

Ваш Г. Адамович.

Г. В. Адамович

20 января 1969. Ницца

4, avenue Emilia chez M-me Heyligers 06 Nice

Дорогой Юрий Павлович.

Спасибо, что вспомнили и написали. Очень был рад. В свою очередь, хоть и с большим опозданием, шлю Вам лучшие пожелания к Новому году. Судя по Вашему письму и по тому, что Вы теперь домовладелец и собираетесь провести зиму в своем Абрамцеве, едва ли Вы вскоре будете в Париже. А жаль! Мне искренне бы хотелось Вас видеть. На днях видел французское издание Вашего «Полустанка» (La petite gare). Рассказ в книге, именно так и называющийся, — мой любимый. Как бывает изредка в настоящей, не выдуманной литературе: на трех страничках все сказано, больше дословного содержания, и нечего добавить. Кстати, я на днях прочел совсем маленький посмертный¹ рассказ Толстого «Алёша Горшок», и подумал то же самое. Помните Вы его? Я или забыл, или даже не знал.

А что Женя²? Как ему живется? Очень давно ничего о нем не слышал.

Крепко жму руку. Еще спасибо за память.

Ваш Г. Адамович.

Я в Ницце приблизительно до 20 февраля. Мой парижский адрес действителен тоже, и вообще всегда, где бы я ни был.

20 января 1969

¹ Рассказ был опубликован в 1911 году. — *Сост.*

² Е.А. Евтушенко.

Стихотворения
Е. А. Евтушенко, посвященные
Ю. П. Казакову

Долгие Крики

Ю. Казакову

Дремлет избушка на том берегу.
Лошадь белеет на темном лугу.
Криком кричу и стреляю, стреляю,
А разбудить никого не могу.

Хоть бы им выстрелы ветер донес,
Хоть бы услышал какой-нибудь пес!
Спят как убитые... «Долгие Крики» —
так называется перевоз.

Голос мой в залах гремел, как набат,
Площади тряс его мощный раскат,
А дотянутся до этой избушки
И пробудить ее — он слабоват.

И для крестьян, что, устало дыша,
Спят, словно пашут, спят не спеша,
Так же не слышен мой голос, как будто
Шелесты сосен и шум камыша.

Что ж ты, оратор, что ж ты, пророк?
Ты растерялся, промок и продрог.
Кончились пули. Сорван твой голос.
Дождь заливает твой костерок.

Но, посверкивая очками,
как в могилу по грудь зарыт,
Юра-Юрочка

вдруг отчаянно
мне о Чехове говорит:
«Ненаписанного мне жалко...
Женька,

помнишь рассказ «Тоска» —
там, где пряничная лошадка
ночью слушает мужика?
Страшно, Женька,

что, стиснув насмерть,
написать нам трясина не даст
ни стихов,

ни рассказов наших —
их никто не напишет за нас.

Глупо сгинуть ни зѧшто,

ни прѧшто.

Так давай мы не сгинем!

Ну!

Руку, Женька!

От имени прозы
я тебя

на себя

потяну!»

Что восторженная оценка
рифм

и прочих словесных красот?

Я для друга не Евг. Евтушенко —
тот, кого он в трясине спасет.

Засопела трясина,

взбурлила,

но меня отпустила,

сопя,

и от имени русской лиры

прозу

я потянул

на себя.

Стихотворение
А. А. Вознесенского, посвященное
Ю. П. Казакову



Охота на зайца

Друзю Юре

Травят зайца. Несутся суки.
Травля! Травля! Сквозь лай и гам.
И оранжевые кожанки
Апельсинами по снегам.

Травим зайца. Опохмелившись,
Я, завгар, оппонент милиции,
Лица в валенках, в хроме лица,
Брат Букашкина с пацаном —

Газанем!

Газик, чудо индустриализации,
Наворачивает цепя.
Трали-вали! Мы травим зайца.
Только, может, травим себя?

Полыхают снега нарядные,
Сапоги на мне и тужурка,
Что же пляшет прицел мой, Юрка?

Юрка, в этом что-то неладное,
Если в ужасе по снегам
Скачет крови
живой стакан!

Так кричат в последний и в первый.
Это жизнь, удаляясь, пела,
Вылетая, как из силка,
В небосклоны и облака.

Это длилось мгновение,
Мы окаменели,
как в остановившемся кинокадре.
Сапог бегущего завгара так и не коснулся
земли.

Четыре черные дробинки, не долетев, вонзились
в воздух. Он взглянул на нас. И — или это
нам показалось — над горизонтальными мышцами
бегуна, над запекшимися шерстинками
шеи блеснуло лицо.

Глаза были раскосы и широко расставлены, как
на фресках Дионисия.

Он взглянул изумленно и разгневанно.

Он парил.

Как бы слился с криком.

Он повис...

С искаженным и светлым ликом,
Как у ангелов и певиц.

Длинноногий лесной архангел...

Плыл туман золотой к лесам.

«Охмуряет», — стрелявший схаркнул.

И беззвучно плакал пацан.

Возвращались в ночную пору.

Ветер рожу драл, как наждак.

Как багровые светофоры

Наши лица неслись во мрак.

Юрий Трифонов
ПРОНЗИТЕЛЬНОСТЬ
ТАЛАНТА



Милый Юрий Павлович! Неужто? Впрочем, с тобой все невероятно: сейчас не верится, что пятьдесят, а в пору когда ты возник, не верилось, что нет тридцати...

Ты ведь как-то сразу, без разгона, без подготовки обнаружился мастером, сразу стали читать, полюбили. И сразу — прочно, навсегда. Только редкий и мощный талант вырубает так стремительно, так естественно и легко себе место на книжной полке истинных мастеров, где, надо сказать, тесновато. Много в нашей литературе писано, громадный хор голосит, и выделиться в этом хоре — хотя единой нотой — высочайшая трудность. Иные кладут на сей подвиг жизнь, другие так и пропадают беззвучно, потонув во вселенском гуле, но голос Юрия Казакова был услышан мгновенно.

Помню, Константин Георгиевич Паустовский говорил: «Есть один молодой пронзительного таланта».

Потом нашумел провинциальный сборник, где было три блестящих рассказа: «Запах хлеба», «В город» и «Ни стуку, ни грюку». Знакомый поэт выразился так: «Три рассказа Казакова — как три ножа». Что же в них было? Какая новизна? Из какой стали делались ножи? Да в том-то и дело, что новизны никакой, а стальным был лишь стиль, ничего более. Стиль сверкал, как клинок. Темы рассказов бесконечно знакомы: память об умершей матери, болезнь жены, глухота и тупость близких, и надо всем, во всем — великое очарование живой жизни.

Вслед за первым сборником «На полустанке» последовали другие: «По дороге», «Легкая жизнь», «Голубое и зеленое», «Двое в декабре», книга странствий «Северный дневник». Эта последняя книга дает, разумеется, богатую информацию читателю, ибо рассказывает о местах экзотических, поэтичных, таинственных, о русском Севере, где не всякий бывал. Но главная сила Казакова не в путевой занимательности, не в рассказе об интересном, а в плетении самой ткани прозы, сотворении художественного. Сейчас много и дельно хвалят писателей так называемой деревенской темы, имена их общеизвестны, но вывод из потока статей таков, будто хвалимые авторы выступили на этой ниве зачинателями, а мне сдается, что некоторые мотивы, разработанные Шукшиным и Беловым, впервые прозвучали в ранних рассказах Казакова. Помните девяностолетнюю старуху Марфу, помните Нестора и Кира? Помните мутноглазых парней, грубых и сильных, но в чем-то трагически слабых, достойных жалости?

Казакова нельзя назвать ни городским, ни деревенским, ни бытописателем, ни детским, ни анималистом, ни автором книг о природе, ни путешественником, хотя он и то, и другое, и третье. Как всякий настоящий художник, он пишет обо всем, что окружает его, о чем он помнит, о чем догадывается — о многообразии жизни. Критики, которые пишут о Казакове, неизменно втягивают в свои статьи книги Бунина, и это понятно: Казаков близок Бунину, он его ученик, мастер бунинской школы, продолжатель, но не подражатель. О, нет! Близость к Бунину — в стилистике, во фразе, в умении живописать, но наполнение казаковских рассказов иное. Они наполнены воздухом нашего бытия. Вряд ли их перепутаешь с рассказами десятых и даже двадцатых-тридцатых годов. На них есть знак времени. Не менее Бунина, мне кажется, Казакову близки Платонов и Паустовский, американцы Хемингуэй и Сетон-Томпсон. Да мало ли кто! Всех нас омывают многие дожди, и каждый дождь приносит свою радиацию.

Но привязанность к Бунину, как первая любовь, неистребима. Помню, как давно, еще в те времена, когда мы мерились силой и ломали друг другу руки за столиком кофейного зала — не помню, кто побеждал, но, помню, меня

удивляло, насколько ты, милый Юра, здоров, — однажды говорили о Бунине, о Чехове. Возник спор, крик. Я в запальчивости сказал какую-то глупость, и вдруг ты всерьез, совсем трезво и грозно объявил: «Еще слово о Бунине, и будем с тобой драться!» Драться с тобой мне не хотелось. И Бунина я любил не меньше, чем ты. Тут дело не в Бунине, а в том, что литературу надо любить вот так — страстно, гневно, лично, до слез, до кулаков.

Отвечая на анкету «Вопросов литературы», Казаков написал: «Мне кажется, что каждый писатель, имеющий смелость причислить себя к настоящей литературе, занят всю жизнь одним и тем же кругом проблем. Счастье и его природа, страдания и преодоление их, нравственный долг перед народом, любовь, осмысление самого себя, отношение к труду, живучесть грязных инстинктов — вот некоторые из проблем, которые меня занимают. Эти же проблемы, по-разному поставленные, я постоянно встречаю в произведениях всех наших наиболее талантливых прозаиков и поэтов».

Обнимаю тебя, Юрий Павлович! Радуюсь тому, что ты трудишься, что ты рядом, пускай не в Москве, а в Абрамцеве, это недалеко, когда-нибудь можно и повидаться, плачу и рыдаю, когда встречаю вдруг твою прозу, светящуюся, фосфоресцирующую.

1977

Михаил Роцин
СТУДЕНТЫ
ПЯТИДЕСЯТЫХ



Думаю, не ошибусь, если скажу, что писатель Юрий Казаков стал сегодня классиком русской советской литературы. Написав немного, уйдя из жизни рано и как-то рано почти вообще перестав писать, болея, перемучась самыми высокими и самыми мелкими муками жития, изменяясь к концу и внешне, он (и его авторитет писателя) крепили и крепили с каждым годом и теперь вот стали обретать уже оттенок бронзы. А ведь кажется, еще вчера были мы молоды, учились вместе в Литинституте, писали первые свои рассказы, и вчерашний джазист Казаков впервые открывал для себя Бунина, Платонова, Хемингуэя. Удивительно вдруг осознать это: как на твоих глазах сменяются одна другою эпохи, и уходящая уже принадлежит истории, а вчерашний твой товарищ, покидая « плен времени », ступает прямо в вечность.

Я снял с полки старые книжки Юры с дарственными его надписями и так остро ощутил: жив писатель, жив и всегда будет жив, и, в сущности, его физическая смерть ничто перед этой жизнью. В конце концов, читателю-то и всегда все равно, жив ты или уже умер, стар или молод, а вот есть твоя книга, берут за душу слова, слышен голос, и душа человеческая бьется на белой странице, радуется и плачет, трогая собою другие души, — это и есть бессмертие — о нем, кстати, всегда мучительно и много размышлял Казаков.

На нашу долю досталось вот какое время: мы поступали в институт и встретились все вместе в 1953-м, а заканчивали в 1958-м, — теперь уже нетрудно вычислить значение этого пятилетия для всей нашей истории. Буквально мы вошли

в институтские двери с одними понятиями, а вышли с другими. То есть я имею в виду прежде всего наши отношения с современной литературой, с теми ошибочными и не имевшими к истинной литературе требованиями, которых тогда более чем хватало и которым многие литераторы, к сожалению, вынуждены были следовать, выдавая черное за белое. Но в восемнадцать, и в двадцать, и в двадцать пять лет, как было тогда Казакову, мы все, конечно, все-таки уже знали, где правда и где кривда и чего хочется нам самим.

Наши «новые» понятия о том, какую литература должна быть, ввергали нас в литературную борьбу, которая шла тогда, и мы, молодые, чаще всего терпели в ней поражение со значительно превосходящими силами противника. Что происходило тогда? Если сузить проблему до узкопрофессиональной, то можно сказать просто: наверху и в почете зачастую оказывались писатели, которые писали из рук вон плохо, кое-как, которым что газетное, что книжное слово было одно, которые сочиняли ходульных, глупых героев, всех на одну колодку. О слове, о поэзии, об оригинальности, а уж не дай бог какой странности и речи не шло. Мы же, школьники и студенты пятидесятых, оказались уже достаточно образованны, начитанны, ранний опыт (опыт военного детства и отрочества) тоже имел немалое значение в нашей оценке мира, а свои литературные требования мы сверяли по Чехову, Толстому и даже по полузапрещенному Достоевскому, — произошел возврат к классике, к Пушкину, к Гоголю, открылась опять западная литература, и в частности тот же Хемингуэй, Ремарк, Жюль Ренар.

Шла одна из первых «подписок» на Роллана, и «Жан-Кристоф» сводил нас с ума тоже. Была, наконец, эра итальянского кино, и я думаю, что ничто другое не оказало на наше поколение столь сильного влияния, как итальянский неореализм, где жизнь была увидена и показана ясно, жестко, до последней степени правдиво, но с такой пронзительной любовью к человеку, ко всем «малым сим», униженным и оскорбленным, бедным и обездоленным, но добрым и чистым сердцем, что, бывало, после каждого сеанса выходишь заплаканный, а душа кипит жаждой справедливости. О, это была великая наука, и я знаю, помню, как много значило это и для писателя Казакова, коренного москвича, арбатского

парня, который жил в коммуналке, возле Вахтанговского театра, в доме, где зоомагазин, как раз напротив «Юного зрителя».

Мы все обожали Паустовского, потому что он был мастер и стилист, лирик и поэт, а не ортодокс и чинуша, сочинитель «производственных» романов, которые еще кое-как терпели читатели, но профессионалы уж никак воспринимать не могли. Писателю начинающему, молодому, как бы самобытен ни был его талант, все равно приходится с чего-то начинать, кого-то отбирать для себя, выбирать в герои, в учителя, в поводыри на первых шагах. Думаю, что и сам Константин Георгиевич Паустовский не подозревал, как много было у него в ту пору учеников и поклонников, сколь многим светило его доброе имя честного писателя. Нынче, когда все так смелы и правдивы, о Паустовском если и вспомнят, то снисходительно, — что ж, у каждого времени свой счет. Но не надо быть и Иванами, родства не помнящими: было время, когда Паустовский оставался почти один, и тяга к нему Казакова легко объяснима. Думаю, и Константин Георгиевич не случайно из всех выделил Казакова «для себя» особенно, учуял его силу, его уже заявившуюся индивидуальность. Между прочим, в молодые годы Юрий Казаков в большей степени, чем позже, казался неуклюжим и грубым, он сильно заикался и мучился этим, часто можно было слышать от него суждения (не говоря уж о выражениях) тоже грубые и циничные, и мало кто поверил бы, видя его и общаясь с ним, что это и есть автор «нежных, дымчатых рассказов», как назвал его когда-то Евтушенко.

Когда-нибудь я расскажу, если успею, поподробнее о тех наших и последующих годах товарищества, встречах, «случаях» и суждениях — но теперь только об одном: о том, какая в этом человеке сохранилась поразительная чувствительность, тонкость и точность ощущений, настроений, нежность и хрустальный звон. Какое одиночество и потребность в единомыслии и единоверовании. Какая тяга к скитальничеству и городская культурная потребность в прикосновении к земле, к укладу, к корню, к пространству. В сущности случайно, литературно, Пришвиным ориентированный на Север (а другие в месяцы своей преддипломной практики подались кто на юг, кто в Сибирь, в Азию и на Даль-

ний Восток), Казаков навсегда заболел Севером, — там его поразило и потрясло все: природа, люди, жизнь, столь далекая от бодрой газетной передовицы, дикость и красота, первобытность схватки рыбака и рыбы, охотника и зверя, человека и моря, человека и леса. Еще более поразило профессиональное писательское ухо первобытное, единое в своей утилитарности и поэзии слово, тоже далекое от затертой информативной речи. И как ни хороша бывает, и точна, и богата московская речь тоже, которую Казаков, естественно, знал и любил, но ведь писателю всегда хочется чего-то особого и нового, открытия, и я представляю, как он радовался, и бормотал, и бурчал, обсмаковывая и обкатывая во рту, словно сладость, каждое новенькое словцо или речение, — одно дело у Даля прочесть, другое — услышать от мужа или старухи на ветру и дожде при деле, конкретно в потоке, под крики чаек.

Помню, он принес начало заметок о Севере в «Знамя», где я сидел тогда литредактором в отделе очерка, и мы долго искали с ним название, и все привычное никак не подходило для этой простой, безыскусной на первый взгляд, а на самом деле очень изысканно выстроенной прозы, которую мы по старинке все именуем очерком, дневником, Бог знает чем, вместо того чтобы (если уж по-старинному) назвать прямо поэмой.

Но самое главное — там была горькая и щемящая правда об этих русских землях, когда-то полных жизни, а со временем оскудевших и брошенных. И думаю, никакая природа, никакое слово никогда так не поражают сердце такого писателя, каким был Юрий Казаков, как зрелище народной беды, оскудения, вымороченности (пусть и узкоместного значения, пусть и одной только деревни) и дикости нравов, жестокости, алкогольной дебильности и прочего в таком духе.

Отсюда — и так называемая очерковость, а лучше сказать, документальность, невозможность ничего сочинять и приспособливать: передай по возможности точно, как оно есть, не выдумывай, и без тебя хватает выдуманного, а вот так, как увидел, как поразило — так и написать: как в письме, как в дневнике. И что сам чувствовал в ту минуту — вот и все, и больше ничего. И так он писал, и так стал Юрием Казаковым, и память о себе он выстрадал и заслужил.

Николай Тарасов
ЮРИЙ КАЗАКОВ
У МЕНЯ ДОМА



Журналистская профессия свела меня в разные годы с двумя молодыми людьми, имена которых сейчас широко известны. Весной 1949 года в редакцию «Советского спорта», где я тогда заведовал литературным отделом, вошел пятнадцатилетний Евгений Евтушенко и принес мне первые стихи. А ранней весной 1953 года мне, редактору иностранного отдела той же спортивной газеты, показал свой первый рассказ 25-летний Юрий Казаков.

Евтушенко мы напечатали сразу. И первый гонорар он получал по метрическому свидетельству (паспорта у него еще не было). Рассказ Казакова был явно подражательным (кажется, Твену) и почему-то из американской жизни. Рекомендовать для печати я его не мог.

Позднее, уже издав две книги рассказов и получив широкое признание, Казаков писал мне из Тарусы:

«Когда-то вы мне здорово помогли – в период «Советского спорта», – вы меня ругали, а я на ус мотал. Я все-таки толковый был ваш ученик...»

В последние годы с Казаковым мы почти не встречались.

И вот я жду его телефонного звонка в Агентстве печати Новости.

– Николай Александрович, я внизу.

– Подождите меня в вестибюле...

Мы садимся в маленькую светло-серую машину писателя и едем ко мне домой.

По дороге молчим. Я не знаю, с чего начать разговор, и чувствую какую-то странную профессиональную разоруженность.

Дома, стряхивая пепел с догорающих сигарет, мы несколько минут молча оглядываем друг друга. Никогда до этого дня не помышлял я о том, чтобы взять у Казакова интервью. Может быть, поэтому наша нынешняя встреча разворачивалась, как в замедленной съемке.

Казаков встал, прошелся по комнате, остановился у рисунка Пикассо, привезенного мною лет десять назад из Парижа, и стал почему-то рассказывать мне содержание своего нового, еще не написанного рассказа.

Я слушал его рассеянно и старался припомнить, какого цвета был лыжный костюм, в котором он впервые пришел в редакцию. Кажется, темно-коричневый. А может быть, тёмно-синий. Впрочем, других расцветок у нас тогда не было.

Сейчас передо мной стоял широкоплечий человек в свободном, хорошо сшитом костюме. За стеклами очков — серо-голубые внимательные глаза. Крупный нос, четко очерченные губы. Говоря, он слегка заикается и энергично помогает себе рукой. Выражение лица часто меняется. Вот он мрачен, вот улыбается, вот смотрит с легкой грустью не то участия, не то недоумения. Вот, ускоряя темп рассказа, говорит, слегка растягивая слова и уже почти не заикаясь. Его живая и образная речь удивительно далека по ритмике и стилю от живой и образной речи Казакова-писателя. Временами передо мной как бы герой аксёновских повестей.

— Там будут люди, всякое такое, пейзаж, ночи белые, разговоры, размышления. А дальше идет эта штука, и жена от него уходит... Вот такие дела...

Казаков только сегодня утром додумал конец своего нового рассказа и очень хочет быстрее добраться до письменного стола. Мне приятно видеть его у себя дома, но я понимаю, что затея с интервью торчит у него поперек горла, тоже тороплюсь и вместо обычных в таких случаях вопросов сворачиваю на дорогу далеких воспоминаний.

...Маленький оркестр маленького кинотеатра. Люди ждут очередного сеанса, а в глубине эстрады молодой человек в очках играет на контрабасе. (В годы нашего знакомства

и первых встреч литература и журналистика были для Казакова «хобби», а джаз — профессией: он окончил музыкальное училище по классу контрабаса.)

...Свежий номер «Советского спорта». Очерк о тяжелоатлете Трофиме Ломакине. Подпись — Ю. Казаков.

...Двери Литературного института на Тверском бульваре. В широких, как паруса, штанах, с тяжелыми портфелями стоят два студента — Юра и Женя. Их судьбы встретились. Но один уже известный поэт, а другому только через пять лет предстоит взять у него рекомендацию в Союз писателей.

Начало для Казакова было и трудным, и счастливым.

Не имея ни одной книги, только по журнальным рассказам (не считая двух пьес из репертуарного сборника для самодеятельности) Казаков в 1959 году вопреки всем правилам был принят в Союз. Рекомендовали его Замошкин (учитель по Литературному институту), Паустовский, Вера Павлова, Евтушенко.

Казакову не сидится дома. Он почти все время в пути. Больше всего его влечет к себе суровая северная природа. Берега Карского моря. Просторы Белого, река Печора. Мурманск... Люди Севера, их труд, быт, сила и мужество, жесткость и доброта.

«Северный дневник», уже полюбившийся читателям, продолжается. Казаков мечтает этой зимой засесть за его окончание.

Путевые заметки дают писателю возможность закрепить в слове те впечатления, которые еще не могут стать основой рассказа или повести, но уже сами по себе интересны, а порой и значительны. Картины природы, зарисовки человеческих характеров соседствуют в «Северном дневнике» с экономическими выкладками, справочными сведениями и чисто этнографическими подробностями.

Рассветы и закаты, дороги и полустанки...

Казаков почти не был в Москве с октября прошлого года. Зимой он жил Алма-Ате, где был занят новым для себя делом: переводил с казахского роман Абдиджила Нурпеисова.

Кто такой Нурпеисов? Это молодой казахский прозаик. На русский язык его до сих пор не переводили. Первооткрывателем стал Казаков. Он перевел часть задуманной писате-

лем трилогии — роман «Сумерки», действие которого развёртывается на берегу Аральского моря в последние предреволюционные годы.

Казаков полагает, что книга будет иметь успех. Его мнение разделяет и первая читательница русского перевода француженка Лили Дени. Она приезжала этим летом в Москву с театром «Ателье», встретила с Казаковым как давняя его переводчица, прочла роман Нурпеисова и увезла копию рукописи в Париж. Так что, едва заговорив по-русски, Нурпеисов уже «овладевает» французским языком.

Зачем понадобилась эта работа Казакову? Для чего пошел он на то, чтобы почти на полгода отложить задуманное и окунуться в темные глубины чужого повествования?

Думаю, что виной всему собственная повесть. Вот уже несколько лет не дает она ему покоя. Кажется, всё ясно: сюжет, характеры, название...

Казаков, видимо, не только мне рассказывал ее содержание. Ночь сорок первого года, бомбежка Москвы, и тринадцатилетний мальчик на крыше сотрясаемого взрывами дома. А потом другая ночь — через двадцать пять лет, на борту черноморского лайнера. И атомный сон, пугающий полным исчезновением всего, что так открыто и празднично поразило воображение героя. Море, любимая женщина, музыка... Все этому грозит атомная гибель. И он проклинает жестокий и продажный мир капитала — министров, ученых и генералов, которые злобно и методично готовят уничтожающую войну, предали все идеалы жизни и работают только на смерть.

«Две ночи»... А за многие месяцы труда пройдено чуть больше половины дистанции.

Перевод романа должен был отвлечь и помочь. Все-таки двенадцать печатных листов, где события и судьбы рассказываются в неторопливом и обстоятельном движении — от главы к главе.

У Казакова пока есть три большие книги — «На полустанке», «По дороге», «Голубое и зелёное». Любопытно, как росли тиражи: первая — тридцать тысяч, третья — сто тысяч. В издательстве «Советская Россия» готовится к печати его четвертый сборник — «Запах хлеба».

Теперь он заканчивает и повесть. «Две ночи» будут готовы, думает Казаков, месяца через два-три.

— Тогда опять «Дневник» и возвращение к рассказу. Этот жанр мне ближе всего, — говорит Казаков, — большие вещи не по моему характеру...

Вот уже много лет Юрий Казаков — член редколлегии журнала «Молодая гвардия». Ему часто приходится читать рукописи молодых литераторов. Это не всегда легкая и, скажем прямо, не всегда интересная работа. Но как приятно открытие нового, еще никому не известного таланта.

— Рукопись из Крыма. Рассказы. Виктор Лихонос. Долго не читаю. Лежат на очереди. А начал — и не могу оторваться: до чего здорово! Написал ему письмо. Три его рассказа дал в «Новый мир». Обязательно прочтите, очень способный человек. Кто он? Учитель русского языка и литературы. Ему 28 лет. Живет сейчас в Краснодаре. О чем рассказы? О жизни. Мужчины, женщины... Рекой пахнет. Пароход идет. Хорошо...

Я спрашиваю Казакова, какие имена кажутся ему наиболее значительными в нашей сегодняшней литературе. Он уклоняется от ответа.

— Много, очень много. Вот о Лихоносове напишите, его почти не знают. А вообще имен много. Даже боюсь называть, вдруг кого-нибудь забуду...

В разных странах у Казакова есть почитатели и друзья. Особенно их много в Чехословакии, где он дважды побывал за последние годы. В разговоре со мной Казаков тепло вспоминает своих переводчиц Яну Кадлецову, Лиду Дашкову, свою однофамилицу Казакову и многих других чехословацких писателей, журналистов, художников, с которыми встречался в Праге.

Не все знают, что Казаков еще член редколлегии популярного детского журнала «Мурзилка». Рассказы для детей занимают особое место в его творчестве. Голос писателя становится мягче, задушевнее. Фраза освобождается от сложных причастных оборотов и, не теряя свойственной казаковскому стилю емкости и широты, приобретает легкость, прозрачность.

— Какая-то другая проза, — говорит Казаков. — Нужно быть предельно простым, ясным...

Сейчас готовятся к печати два новых детских сборника рассказов Казакова. Один для младшего возраста, другой —

для старшего. В последний вошли такие рассказы, как, например, «Арктур — гончий пес», принесший писателю известность в самом начале его творческого пути.

Перу Юрия Казакова принадлежит не более сорока рассказов. Но он переведен на многие другие языки. Его книги изданы в Чехословакии и Польше, в Венгрии и Болгарии, Франции и Англии, Дании и Швеции, Японии и США... О нем написаны сотни статей.

У нас Казакову долго приписывали влияние Бунина и Чехова. В Америке его сравнивают с Колдуэллом, в Скандинавии — с Гамсуном. Критики всегда ищут знакомую полку. По старым дореволюционным журналам мы знаем, что Бунину страшили Чеховым, а Чехова, когда он написал «Степь», корили за подражание Тургеневу. Словом, во все времена на новое глядели сквозь старые очки.

— Ко мне не приплюсовывали, кажется, только трех имен — Толстого, Бальзака и Достоевского, — смеется Казаков. — А уж Буниным и Чеховым просто заели...

Если же говорить серьезно, то русской литературе, может быть, больше, чем какой-либо другой, свойственна преемственность и в хорошем смысле традиционность. В период ученичества Казаков был больше похож на своих учителей. Но с самого начала звучал его собственный голос, который и привлёк к нему внимание читателей.

...Наш разговор подходит к концу. Мы прощаемся до новой встречи. Маленькая светло-серая машина Казакова вырывается из переулка у Кировских ворот, а я возвращаюсь домой и долго думаю об этом дорогом мне человеке.

Мне хочется еще раз послушать его голос, и я раскрываю одно из его писем с дороги:

«...Тут весна и мне даже грустно — так быстро время бежит. Вот был снег, вот ледоход, вот тяга, вот уже березы в зеленом тумане, через неделю сады зацветут, там лето, там осень, зима... А ты все пишешь, пишешь... Выйдет книжка, все про один рассказ только и толкуют. В первой про «Арктур», теперь вот про «Трали-вали» — вроде и не написал ничего. А рассказ «В тумане», например, никто и не примечает, а я трясся, когда его писал, таким важным, потаенным и глубоким он мне казался...»

Елена Тарасова
**ОН КАЗАЛСЯ ТОГДА
ПО-НАСТОЯЩЕМУ
СЧАСТЛИВЫМ**



ЮРИЙ КАЗАКОВ: НАЧАЛО ПУТИ

Шел май пятьдесят третьего. Москва журчала ручьями, звенела трамваями и ребячьим щебетом на бульварах. А на Кузнецком¹, где я работала, было хмуро. К нам в комнату солнечные лучи попадали лишь отраженными витриной стоявшего на противоположной стороне улицы магазина. И, помнится, я всегда ждала, когда эти долгожданные лучи заиграют разноцветьем в стекле стоявшего на моем столе графина. Наконец первый солнечный зайчик запрыгал по лежащей передо мной рукописи, и в этот момент незнакомый голос, слегка заикаясь, произнес: «Мне бы отдел литературы».

Я обернулась. В дверях стоял высокий, широкоплечий человек в темном спортивном костюме. Пригласила его войти. Он присел на краешек стула и сквозь поблескивающие стекла очков огляделся. В комнате кроме моего стояло еще три стола, за которыми, естественно, сидели люди. Остановив внимательный взгляд на каждом из присутствующих, точнее, каждой, так как за столами сидели женщины, он, обернувшись ко мне и все так же заикаясь, спросил, нельзя ли нам поговорить где-нибудь наедине.

Немного удивившись, я тут же вывела своего необычного посетителя в холл, где в углу громоздился довольно не-

¹ Е.П. Тарасова, жена Н.А. Тарасова, заведовала отделом литературы в редакции журнала «Советская женщина».

лепый серый диван. На него я обычно усаживала не только авторов, с которыми сложились дружеские, доверительные отношения, но и тех, кому предстояло отказать в публикации. Мы сели.

— Юрий Казаков, — представился мой новый автор. Был он как-то не по-мужски белолиц, с легким, нежным румянцем на щеках и пронизательным взглядом серых глаз, увеличенных толстыми стеклами очков. И при этом была в нем явно проглядывающая доверчивость, добродушная, слегка насмешливая грубоватость.

Он протянул мне рукопись рассказа, который попросил, если возможно, тут же прочитать. И я почему-то согласилась, хотя в принципе не любила знакомиться с рукописями при авторах. Когда автор сидел рядом, мне все написанное всегда казалось намного лучше, чем было на самом деле. Перечитывая через некоторое время, уже в одиночестве, то, что совсем недавно казалось вполне пристойным, не уставала удивляться неадекватности своего первого впечатления.

Но отступить было поздно. Я взяла рукопись. Казаков сразу поднялся. «Пойду покурю», — сказал он.

Рассказ оказался посвященным жизни американских, а может, английских спортсменов. И был явно подражателен. Не помню уж, кому подражал автор, кажется, все же Твену, а может, и Джеку Лондону, но подражал удивительно талантливо. Сымитировать манеру и стиль хорошего писателя бездарности не дано. Возможно, в этом первом рассказе Казакова были сюжетные и языковые неточности, но для меня это уже не имело значения. Я понимала, чувствовала, что передо мной по-настоящему талантливый человек, у которого еще не поставлен собственный голос, не найдена своя манера исполнения, и потому он до поры лишь подражает тем, кто давно состоялся.

Что-то в этом роде я говорила автору, советуя все же писать по-своему о том, что его окружает, что ему хорошо известно.

Юра слушал, не перебивая, хотя чувствовалось: он не очень согласен с тем, что рассказ невозможно напечатать.

— Ну, я, конечно, понимаю, у вас журнал специфический, женский, — сказал он и застенчиво, нет, скорее, неуверенно, улыбнувшись, добавил, что у него есть мечта проехать — хорошо бы на лодках, как бы выдохнул он, по рекам Скандинавских стран.

— За чем же дело стало? — пошутила я.

— А вы, ваш журнал то есть, не могли бы послать меня в командировку в Швецию или Норвегию? — ошарашил он меня вопросом.

Естественно, командировки такого рода я, при всем желании, не могла предложить. Мы, сотрудники журнала, в то время, спустя всего два с лишним месяца после смерти Сталина, не ездили за рубеж. Даже если бы Казаков тогда уже был тем Казаковым, каким он стал спустя несколько лет, я всё равно не смогла бы отправить его в турне по Скандинавии...

Так мы и расстались ни с чем: я — не получив нужного мне рассказа, а он — желанной командировки.

Прощаясь, я попросила Юру, если у него появятся рассказы о нашей сегодняшней жизни, непременно занести в редакцию. Он кивнул и крепко пожал мне руку, наверняка не рассчитывая на скорую встречу.

Но встретились мы, правда, неожиданно для обоих, уже через несколько дней, и, как ни странно, у меня дома.

Оказалось, Юра принес тот самый рассказ, который читала я, в редакцию газеты «Советский спорт», где работал мой муж — Николай Александрович Тарасов.

Коля, как и я, прочитал рассказ, поговорил с автором, который сразу заинтересовал его, и пообещал ему, в отличие от меня, командировку, разумеется, не по Швеции и Норвегии, а по нашим российским северным рекам. Надо ли говорить, что Юра был в восторге. Он тут же оформил командировку, получил деньги и снова вернулся к ошастливившему его человеку, сел рядом и просидел до конца рабочего дня. Собравшись домой, Тарасов, по-видимому, не до конца насытившись общением с приглянувшимся автором, пригласил его к нам.

Так мы снова встретились с Казаковым. Увидев меня в качестве хозяйки дома, он чуть не рухнул от неожиданности.

— Это надо же, — говорил он позже, когда мы уже сидели за столом и Юра успел пропустить рюмочку-другую, — два разных человека, работающих в разных редакциях, одинаково отнеслись к моему рассказу и, главное, дали, не сговариваясь, сходные советы на будущее... Ну, старичок, — добавил он, обращаясь к мужу, — тебе (единственный раз Юра называл Колю на «ты») повезло, но мне вроде не меньше...

В тот вечер Юра рассказал, что родился в Москве. Учился в музыкальном училище по классу контрабаса и до сих пор играет в небольшом оркестрике районного кинотеатра. Говорил, что хотя и любит музыку, все больше и неудержимее тянет его литература. И потому так важна для него именно эта командировка.

Вернувшись с Севера и отписавшись, Юра стал частенько захаживать в «Советский спорт». Сидел, порой часами дожидаясь, пока Николай Александрович закончит свои дела. А в те дни, когда Тарасов не дежурил в типографии, они с Юрой выходили на шумную площадь Дзержинского, по Кировской добирались к Бульварному кольцу и бродили до полуночи, разговаривая о литературе, но чаще шли к нам, благо мы жили почти рядом с редакцией.

Перед тем как привезти Юру домой, Коля обычно звонил, просил меня убрать из бара, который у нас никогда не пустовал, все имеющиеся там бутылки, кроме одной, — его, вообще-то принимавшего спиртное только за компанию, очень огорчало, что Юра любил выпить, а начав, уже не мог остановиться.

Вскоре после путевых заметок в «Советском спорте» появился очерк Казакова о каком-то известном мастере спорта (меня спорт никогда не интересовал, и потому даже тех спортсменов, имена которых были на слуху, я не запоминала). Начал печататься он и в других изданиях, а осенью поступил в Литературный институт имени Горького.

Первые рассказы молодого прозаика, и в особенности «Арктур — гончий пёс», сразу обратили на себя внимание и читателей и критиков. А в 1959 году, спустя год после окон-

чания Литинститута, Казаков выпустил свою первую книгу — «На полустанке». Затем один за другим появляются сборники «По дороге», «Лёгкая жизнь», «Голубое и зеленое», «Запах хлеба».

Талант его крепнет от книги к книге. В рассказах привлекает всё. И прекрасный язык, и психологическая точность в обрисовке характеров и поступков героев. А как он чувствовал, понимал и писал природу!

Нет, совсем не случайно с первых шагов молодого писателя на него обратил внимание Константин Георгиевич Паустовский.

Юра, бывая у нас, с восторгом рассказывал о своих поездках в Тарусу, встречах с Паустовским. Однажды вспомнил, как Константин Георгиевич, рассказывая ему о встрече с чехословацкими писателями, говорил, что рекомендовал им его рассказы для перевода. «Да вас давно пора переводить», — твердил он Юре, и тот с гордостью повторял слова Мастера.

Но даже в самые лучшие годы, когда облако славы, казалось, прочно окутало Казакова, случались и наветы, и гонения. По-видимому, оттого, что на меня все клеветнические, предвзятые публикации, которые ничего кроме огорчения и неприятия не вызывали, не производили впечатления, я старалась их не замечать, вроде их не существовало. И все же статья, появившаяся в каком-то архангельском издании, была настолько возмутительной, что я выписала из нее, кстати, не самый «зубодробительный» абзац. Статья называлась «Тени прошлого».

«На наш взгляд, — утверждал ее автор (имени которого, я, к сожалению, не запомнила), — выход в свет книги рассказов Ю. Казакова, грубо искажающих нашу действительность, облик наших современников — строителей коммунизма, — ошибка Архангельского издательства...»

Но я отвлеклась.

По просьбе Тарасова, который из «Советского спорта» перешел в Агентство Печати Новости, Юра написал прекрасный очерк о Константине Георгиевиче.

Заканчивал он его словами: «...Как повезло нашей литературе, что есть в ней такой писатель, как Паустовский».

Думаю, что и без такого писателя, как Юрий Казаков, русская литература была бы намного беднее.

Совсем недавно перечитала некоторые рассказы Юры и снова мысленно вернулась в те далекие времена, когда они рождались.

Юра не только делился с нами своими творческими замыслами, но и дарил все свои книги. А однажды прибежал с сообщением, что где-то, кажется в Доме литераторов, а может, и в другом каком-то творческом доме, организуется выставка, посвященная его творчеству, и для нее необходимы и все вышедшие книги, а он, как назло, все раздарил. «Полное собрание, — пошутил он, — хранится только у вас... Но я обещаю, едва закроется выставка, все до одной книжки принести обратно», — заверил он, уходя. Но так и не принес... И только не так давно, встретившись в Литературном музее, уже на вечере памяти Юры, с его женой Тamarой, я рассказала ей, как собственными руками отдала на выставку все подаренные нам книги Казакова. Она, естественно, не смогла восполнить всего, но несколько книг все же принесла, к сожалению, уже без авторских посвящений, которые потеряны навсегда. Вот тогда-то я и сумела перечитать свои самые любимые рассказы.

Тамара сводила меня и на Ваганьковское кладбище, на могилу Юры. Там нет ни гранитного, ни мраморного надгробия. Скромный холм, засаженный цветами, венчает темный деревянный крест, похожий на те, что ставят на могилах поморов, которых так чтил и любил Юра. Крест сработал и поставил друг Юры Фёдор Поленов — хранитель музея своего знаменитого деда, художника Василия Поленова.

Впрочем, не буду опережать события.

Итак, после нескольких книг рассказов Юрий Казаков получил, как я уже говорила, широкое признание. Стал много путешествовать и по нашей стране, и за ее пределами. Наконец-то сбылась мечта о дальних странствиях, никогда не оставлявшая его.

За известность надо платить. В том числе личным временем. Мы это понимали и потому не сетовали, что Юра стал реже заглядывать к нам. И все же он иногда появлялся.

Особенно хорошо запомнился мне вечер, когда он шел вскоре после возвращения из Франции. Он казался тогда по-настоящему счастливым. И было от чего. Мало того, что он бродил по Парижу, его улицам и бульварам, ему удалось повидаться и поговорить с друзьями Ивана Алексеевича Бунина — своего давнего кумира.

— Теперь, — сказал он, — надо махнуть на Орловщину. В места, где начиналась жизнь Арсеньева...

Сверкая глазами, очками, лысиной, возникшей смолоду, он, стараясь смешком смягчить нескромность того, что собирался произнести, сказал, что во Франции читают и знают только его, Казакова, Паустовского да еще Трифонова...

В тот вечер он был в ударе — говорил интересно, увлекательно и, как ни странно, почти не заикаясь, может, потому, что каждое слово сопровождал энергичным взмахом руки.

Наша дочка, в ту пору ей было немногим более десяти лет, спала — так во всяком случае думала я — за ширмой в той же комнате, где разговаривали мы. Когда Юра ушел, я заглянула за ширму. Маринка сидела на постели, напряженно прислушиваясь к тому, что происходит в доме.

— Ты почему не спишь? — с притворной строгостью спросила я.

— Очень интересно! — шепнула она, блестя глазами.

А в день, когда девушке исполнилось шестнадцать, Юра пришел к нам вместе с Женей Евтушенко. К сожалению, нас они не застали: мы в это время с дочкой и ее друзьями сидели в ресторане Дома журналистов. По возвращении обнаружили в столовой шестнадцать букетов, которыми наша няня заняла все имевшиеся в доме емкости. Цветы притащили Женя и Юра, считавшие себя учениками мужа.

Хорошо помню и другой вечер. Юра пришел к нам на Кировскую довольно поздно и, против обыкновения, отказался от еды и питья. Был он как-то торжественно сосредоточен. Сообщил, что решил жениться. «Баба — во! — говорил он, поднимая большой палец. — Между прочим, специалист по славянским языкам. Ученая — жуть! Я завтра хочу привести ее к вам».

И на другой день действительно привел. Тамара в ту пору была белокурой, застенчивой и тоненькой, как тростин-

ка, девушкой с мелодичным приятным голосом. Увидев ее, мы с Колей переглянулись и, вспомнив Юрино «баба — во!», с трудом удержались от смеха.

На свадьбе Казакова мы не были, но когда молодые обосновались в однокомнатной квартире на Бескудниковском бульваре, были приглашены в гости. Молодая хозяйка была мила и естественна, а Юра как-то непривычно тих. Жаловался, что денег мало, а расходы возросли...

Спустя год, а может, и два, Юра с гордостью сообщил, что собирается стать отцом. И как-то ночью — было что-то около двенадцати — нас поднял телефонный звонок. Коля взял трубку. Оказалось, Юра отвез жену в родильный дом и хочет получить от меня какие-то советы. Захлебываясь от радости и заикаясь больше обычного, он буквально забросал меня вопросами: сколько должно длиться предродовое время (чего я, естественно, не знала), когда может появиться малыш, что для него надо купить, что отвезти Тамаре в больницу, стоит ли уже теперь приобретать детское питание и игрушки? И еще множество других, похожих на эти вопросов задал мне. И в каждом чувствовалась его полная беспомощность перед задачами и загадками, которые заставляла решать жизнь.

Вскоре он позвонил снова и сообщил, что у него родился сын, Алёша, и он весь в хлопотах.

А потом, помнится, звонила ему я, просила стать членом жюри, которое должно было подвести итоги конкурса на короткий рассказ, проведенного журналом, в котором я тогда работала.

Возглавить жюри я попросила Юру Трифонова. В числе членов кроме Казакова был Николай Семёнович Евдокимов и еще несколько прозаиков и критиков.

— Ну что ж, — сказал Юра, — я согласен, — и, помолчав, спросил: — А платить-то будете?

— Непременно, — ответила я, — и даже аккордно.

Через несколько дней я отправила ему около десятка рассказов, показавшихся мне наиболее интересными. Кстати, среди них был и рассказ московского телевизионного инженера Александра Родина. Этот добрый, трепетный рассказ о цыпленке Казакова буквально привел в восторг. Он

требовал для него первой премии. Это был дебют Родина, который лишь спустя много лет дождался, что его приняли в Союз писателей. Но это так, к слову.

Не помню, когда мы с мужем узнали, что Юра подрядился переводить казахского писателя Нурпеисова, помню только, как мы оба огорчились. Ведь это означало, что писатель Казаков сам довольно длительное время не сможет написать ни строки. Почему он решил переключиться на переводческую работу? Об этом можно только догадываться. Как-то он рассказал нам содержание задуманной им повести, которая, кажется, должна была называться «Две ночи».

...Ночь сорок первого года. Бомбежка. Тринадцатилетний московский мальчик замер на крыше дрожащего от взрывов дома. Проходит двадцать пять лет. И вот другая ночь. Борт черноморского лайнера. Атомный сон, во время которого было все, что своей праздничной красотой поразило героя, — море, любимая женщина, музыка... Всей этой красоте грозит гибель. И герой проклинает тех, кто готовит уничтожающую войну...

Сначала писалось легко, а потом работа застопорилась. Не это ли заставило его уехать в Алма-Ату и погрузиться в роман Нурпеисова или что-нибудь иное? Кто может знать, что происходит в душе художника? Во всяком случае, Юра уехал. Потом трилогия «Кровь и пот» Нурпеисова в переводе Ю. Казакова не раз издавалась в Алма-Ате и в Москве.

По-видимому, переводы значительно поправили финансовые дела Юры. Во всяком случае, появившись у нас после длительного перерыва, он стал поговаривать о собственном доме. Вообще-то, он, выросший в московской коммуналке с прижимистой, как мне казалось, матерью (отец в 1933 году был арестован), терпеть не мог бедности и в глубине души всегда мечтал о своем доме, своей земле. Земля и литература. Две глубокие привязанности. Впрочем, литература, пожалуй, менее надежна. В какой-то момент может подвести — перестанут издавать, или вдруг станет трудно писать... Земля же — ежели она твоя — никуда не денется, как, впрочем, и дом. Смотришь на них и чувствуешь себя увереннее. Что-то в этом роде говорил нам Юра, собираясь строить или покупать дом.

Когда уже он поселился в Абрамцево в Академическом поселке в собственном доме, не раз очень настойчиво звал в гости: «У меня и банька есть. Захватите пивка и приезжайте!»

Однажды мы все же собрались. Приехали в Абрамцево, не без труда нашли дамбу, которая вела к Юриному поселку, нашли и поселок, а вот самого дома отыскать не удалось. На беду еще пошел дождь, холодный и по-осеннему затяжной, мы продрогли и вернулись домой.

Пожалуй, с той поры мы и не виделись с Юрой. Встретили, не помню уже в каком журнале, его прекрасный рассказ «Во сне ты горько плакал». Читала его, представляя не только семейный деревянный дом, о котором всегда мечтал Юра, его самого и маленького Алёшу, но еще одного человека, которого тоже хорошо знала, — поэта и писателя Дмитрия Голубкова.

Когда-то очень давно, прочитав в верстке его рассказ «Мой спутник», пригласила Диму к себе в редакцию. В ту пору он казался вполне благополучным человеком. Много писал, был трепетно влюблен в своего сына (ему, кстати, и посвящен рассказ «Мой спутник»), воспитанием которого истово занимался. Был Голубков очень интеллигентен, образован, начитан. По-настоящему любил музыку, живопись, архитектуру. И в отличие от Казакова, рвавшегося в Сибирь, стремился повидать Среднюю Азию. По командировке, которую я ему как-то дала, он побывал в Ташкенте, Самарканде, Бухаре. Приехал переполненный впечатлениями и написал для журнала прекрасный очерк об увиденном. После публикации в нашем журнале нескольких рассказов и этого очерка стал часто заглядывать в редакцию. От года к году он становился все печальнее. Что-то у него было неблагополучно дома. Как я поняла из всех его недосказанностей, они были не очень совместимы с женой. Огорчало его, мучительно огорчало и отдаление сына. Об этом он говорил впрямую. Как-то, незадолго до своей трагической кончины, он зашел ко мне. Был очень печален, исповедален. Тогда-то он и рассказал о сыне и одиночестве. Но я не поняла, насколько это все серьезно...

Юру, как и меня, потрясло самоубийство Голубкова. Они ведь были не только друзьями, но и соседями. Дима тоже жил в Абрамцево. Потрясение Казакова было, по-видимому, трагичнее моего, так как именно он подарил Голубкову патрон, «с помощью» которого тот ушел из жизни... Об этом, не называя имени Голубкова, Юра с искренней болью поведал в рассказе «Во сне ты горько плакал». В нем такая глубокая нежность, такое тонкое понимание детской души, сочувствие маленькому человеку, живущему в атмосфере бесконечных ограничений, что я искренне порадовалась за Тамару и Алёшу. Им, подумалось, не приходится биться в закрытые двери тупого непонимания, которое, увы, так часто портит жизнь людям. И корила себя за то, что, столько лет зная Юру, самого главного в нем — нежности, умения услышать движение души близкого человека и глубоко запрятанной тоски — не разглядела... < ... >

Потом в периодике вновь появлялись путевые очерки Казакова, и мы переставали тревожиться за него, тем более что в это время у нас самих неприятностей хватало. А весной семьдесят шестого не стало моего мужа. В эти безысходные дни, которые вообще-то длятся и поныне, пришло письмо от Юры.

«Дорогая Елена Павловна! — писал он. — Хочу вам сказать и не могу, не умею сказать, как поразила меня смерть Николая Александровича! Если есть и было в моей жизни всего несколько человек, к которым я постоянно испытывал чувство самой нежной любви, то Николай Александрович — первый из них, самый давний, еще с времен «Советского спорта».

Как саднило сердце от мысли, что не успел я приехать проститься, побыть подле Вас, потому что слишком поздно получил известие о смерти и дне похорон — наша деревенская почта нерасторопна, — зато я всю жизнь теперь буду вспоминать только живого, умного, обаятельного Николая Александровича.

Все мы осиротели, — а вы и Марина горше, безысходнее любого из нас, и нет утешения даже в Боге в наш нерелигиозный век, но если остается после каждого человека некое

дуновение, некий звук, образ среди людей, временно оставшихся жить, то Николай Александрович будет приходить к нам, не оставляя нас, куда мы сами живы...

Очень хочу побывать у Вас, если позволите, повспоминать о многом, теперь уже невозвратном.

Душевно преданный

Ю. Казаков».

Каюсь, ответила не сразу — не было сил. А когда написала в Абрамцево, Юра, как я позже узнала, сам был не совсем здоров. А потом и вовсе слег.

А теперь уж нет и Юры...

Кончила эти свои сумбурные заметки и очень захотелось вернуться к тем дням, когда Коля и Юра были живы, полные надежд и творческих планов. Именно тогда, когда у Юры литературные дела шли хорошо, Коля по заказу АПН написал о нем. Я была свидетельницей рождения этого материала, о чем и хочу рассказать, заканчивая свои воспоминания о Юрии Павловиче Казакове.

Как я уже говорила, муж мой, журналист и поэт Николай Тарасов, после долголетней работы в «Советском спорте» пришел в качестве главного редактора «Союзной информации» в Агентство печати Новости. Именно для этой редакции Юра и написал уже упоминавшийся мною очерк о Паустовском. А через какое-то время, когда Юра стал достаточно известным писателем, Тарасов сам решил написать о нем. Очерк назывался «Юрий Казаков у меня дома».

Отчетливо помню, как однажды, отворив дверь, увидела на пороге Колю и Юру. Оба выглядели не совсем обычно — скованно и смущенно, что ли. Предложила им пообедать. Отказались. Прошли в нашу большую, веерообразную комнату, о которой Саша Межиров как-то сказал: «И комнат таких уже больше никогда не будет». Я пошла за ними. Встала у окна.

— Понимаешь, — сказал непривычно официально Коля, — мы зашли по делу. Мне надо взять у Юры интервью.

— Что-что? — рассмеялась я.

— Ты напрасно смеешься. Это задание АПН. И к тому же срочное.

Во время этого своеобразного «интервью» Коля почти не задавал вопросов — ну, может, три, от силы четыре. Юра в основном говорил сам.

Поначалу они, правда, повспоминали о былом, потом Юра попытался рассказать о своем новом рассказе.

— Там будут люди, всякое такое, пейзаж, ночи белые, разговоры, размышления. А дальше идет эта шутка, и жена от него уходит... Вот такие дела...

Я слушала, думая о том, насколько устная речь Юры даже отдаленно не похожа ни по стилю, ни по ритмике на речь Казакова-писателя. Настолько в книгах каждое слово было выверено, стояло на своем, единственном, предназначенном только для него месте, настолько в разговоре он был небрежен, хотя язык его всегда был живым, образным, но как-то совсем по-другому. И ругнуться он мог запросто, особенно когда выпьет. При мне он, правда, держался изо всех сил, но я знала за ним любовь к сильным, так называемым исконно-народным словечкам.

Коля сидел за журнальным столиком, Юра ходил по комнате и что-то все время говорил. Коля, как мне казалось, слушал его не очень внимательно. Было такое впечатление, что он выстраивает какой-то свой сюжет на тему Казакова. Изредка он все же что-то спрашивал. Кажется, уточнял названия сборников, сюжет романа Нурпеисова и еще интересовался, что он делает как член редколлегии молодежного журнала...

Наконец оба одновременно взглянули на часы, посетовали по поводу того, как быстро бежит время, и Коля пошел проводить Юру.

А ночью присел к письменному столу и замер, обхватив голову руками.

Утром, когда я собралась на работу, Коля прочитал мне свой очерк под названием «Юрий Казаков у меня дома», который вскоре появился в Вестнике АПН (Агентство печати Новости).

Георгий Семенов

ПАМЯТИ ДРУГА



Имя Юрия Казакова, может быть, и не у всех на слуху, кто-то, может быть, впервые откроет для себя замечательного писателя, почувствует завораживающую красоту его слова, таинственное очарование рассказов. Можно только позавидовать читателю, который еще не знает его рассказов, у которого впереди чудесные часы наслаждения.

Впрочем, Юрий Казаков такой писатель, к прозе которого хочется возвращаться — рассказы его обладают редкой способностью раскрываться всякий раз с новой, еще неизведанной стороны. Воспоминания о прочитанных его рассказах странным образом волнуют. Невольно думаешь, что ты чего-то недопонял, что-то важное ускользнуло из сознания. Но ощущение красоты, какое сохранилось в сердце, тянет тебя вновь и вновь к этим уже прочитанным страницам... Ты открываешь книгу и, вспоминая сюжет того или иного рассказа, с непостижимым интересом и даже любопытством зачитываешься опять этими удивительными произведениями, забывая, что тебе уже все известно.

Как это удавалось Юрию Казакову — навсегда останется тайной. Литературное творчество тем и отличается от творчества в других областях человеческой деятельности, что мастер не в силах передать секрет мастерства своим ученикам, не может научить других писателей талантливому письму. Порой он и сам не знает, как это все у него получается, почему слова в предложении расставлены так, а не эдак, какая сила владела им во время работы над рассказом...

По всей вероятности, эта сила называется — талант.

Русскому писателю нелегко найти свой путь и свое место в литературе, во всяком случае, труднее, чем кому бы то

ни было. Стоит ему заявить о себе, как тут же находятся истинные знатоки литературы и с глубокой мыслью на челе заявляют, что имярек работает в традициях Чехова или Бунина, Толстого или Достоевского, Тургенева или Гоголя. И плетется современный русский писатель в хвосте бесконечной вереницы ВЕЛИКИХ, привыкая к своему порядковому номеру. То ли было бы, если бы величайшая русская культура не накопила своих богатств?! Сколько бы гениев ходило сейчас по земле русской! Но — мы избалованы судьбой! Мы так богаты талантами, что нам ничего не стоит отмахнуться, поморщиться, скорчить кислую мину, прочтя великолепный рассказ или роман своего соотечественника, и легко отдать предпочтение сомнительной экзотике.

Очень близким, понятным писателем был для меня Юрий Казаков. Все в его рассказах казалось мне необыкновенным: и густота письма и новые возможности русского языка, и поразительная мелодичность. Помню, еще в Литинституте, где Казаков учился на два курса старше меня, он уже славился своей прозой. Когда в «Знамени» (1961 г.) были опубликованы первые мои рассказы¹, я встретил его на Тверском бульваре и, набравшись смелости, спросил, не читал ли он их. Узнав мою фамилию, «мэтр» обрадовался и похвалил меня, наговорив мне кучу приятных слов о моих рассказах, пригласил меня поехать с ним на Валдай на охоту. Приглашение поехать с ним на охоту было для меня испытанием и праздником одновременно. С тех пор и началась наша дружба. Хотя, замечу, что писательская дружба — это особое явление: в ней непременно присутствует дух состязательности, соперничества. Всю жизнь эту дружбу хранил, хотя обстоятельства порой и разводили нас.

Имя молодого писателя Юрия Казакова, выпустившего тогда одну или две книги рассказов, приобрело для меня магическую силу, я же был совсем еще зелененький, никому, кроме него, не известный, начинающий прозаик, опубликовавший несколько рассказов в журнале «Знамя».

Сколько прожито, пережито с ним, пройдено охотничьих троп, сколько воспоминаний связано с этим удивительным человеком и превосходным писателем!

¹ Рассказы: «Тростниковые заводы», «Непутевый», «Барабан», «Галахов», «Сорок четыре ночи».

Юра был жадным человеком. Но не в том житейском, плохом смысле этого слова, а в более высоком и благородном — он был жаден в познании жизни, в изучении характеров людей, в восприятии всего яркого и необычного, что встречалось на его пути.

Был когда-то солнечный, очень ветренный день, и по Валдайскому озеру шли иссиня-черные волны с белыми гребешками. На рейсовом катере мы плыли с ним к далекому и незнакомому берегу, рассчитывая хорошо поохотиться в диковатых тогда, глухих лесах Валдая.

Надо бы рассказать об этой чудесной поездке, о дождях, о рейсовом катере посреди озера Валдай, о наших ночевках в избах, о запахе ворвани, которой были густо смазаны сапоги Юрия Казакова.

Мы весело разговаривали с молодым капитаном, стоя с ним на продуваемой палубе, шутили, смеялись, расспрашивали об озере...

И вдруг заметили, как от берега отчалила лодочка и направилась наперерез катеру. Двое в лодке что-то кричат, машут руками, стреляют в воздух из охотничьих ружей, чтобы остановить рейсовый катер. Похоже, что случилось несчастье и требуется немедленная помощь. Пассажиры столпились на борту, качаются вместе с катером в ожидании дурной вести. Капитан застопорил машину.

Сизые волны, зеркально отражая солнечный блеск, бьют о мятый борт пассажирского катера. Дым солярки щекочет ноздри. Валдайское озеро ходит ходуном под бортами остановившегося катера. Он сильно раскачивается на волнах, разворачиваемый ветром. А лодочка тем временем, буравя волны, делает разворот и уже колыбится возле борта.

Ожидаем услышать самое худшее, но все оказывается до смешного просто и даже глупо. Заросшие щетиной охотники скалят желтые зубы: «Ребята, — кричит один из них, — выручайте! Сигареты промокли! Курить нечего! Погибаем!» И смех, и упреки — все летит в сторону лодочки, скачущей на волнах, капитан и тот улыбается, достает помятую пачку сигарет, и она кувыркается вместе с нашими по ветру, счастливо попадая в руки измучившихся курильщиков, живущих на зеленом, солнечном берегу своих утех.

Все это так понравилось Казакову, что он, ярый курильщик, тоже отдал свои сигареты охотникам, а когда катер, загудев машиной, задрожал и стал разворачиваться на курс, Юра подступил ко мне с безумоватой улыбкой и чуть ли не с угрозой прокричал, перекрывая гул ветра и мотора:

«Мое! Это все мое! Я буду об этом писать! Это мое!»

Сколько раз я слышал от него это предупреждение! Видит Бог, я и не пытался писать о том, что он брал по праву себе. Это было — ЕГО.

Удивительное принятие меня в Союз писателей, т. е. когда я был на Валдае с Юрием Казаковым, меня и приняли. Я даже заявления не писал, сделала это Лена, я даже рекомендаций не собирал, а сделала это тоже Лена, взяв в «Знамени». У кого? У Вадима Кожевникова, у Людмилы Скорино и Ал. Кременского¹, который случайно был там. Так что приехал в Москву уже членом Союза писателей, как если бы меня приняла туда Лена.

Казаков очень обрадовался этому, сожалел лишь о том, что не он дал мне рекомендацию. Он всегда радовался всякой удаче собрата по перу, писал нежные письма, говорил какие-то добрые слова, рассматривая как какое-то чудо появление нового талантливого рассказа. Многие ли сохранили эту способность радоваться успеху другого? А вот Юра Казаков родился еще и для этой радости, которая всегда была, есть и будет внутренним движителем литературы, когда слово мастера звучит не просто словом одобрения, а трубой, зовущей к объединению талантов во имя отечественной литературы, к жертвенности и самоотречению во имя СЛОВА.

¹ *Кожевников Вадим Михайлович* (9.4.1909–20.10.1984) — прозаик. Главный редактор журнала «Знамя» в течение 37 лет.

Скорино Людмила Ивановна (1908–1999) — критик, зам главного редактора журнала «Знамя».

Кременской Александр Александрович (1908–1981) — прозаик, сборники рассказов и повестей: «Облака и звезды», «Голова медузы», «Черные пески».

Он много лет потратил на то, чтобы перевести на русский язык трилогию Нурпеисова¹, казахского писателя, имя которого благодаря Казакову известно у нас и за рубежом.

Это очень большой и благородный труд. Ведь надо понять, что он делал это, жертвуя замыслами своих новых сочинений, которые так и остались, может быть, неосуществленными.

Правильно ли он поступил, взявшись за перевод? Кто может ответить на этот вопрос, кроме Юрия Казакова. А уж если он сделал это — значит, так ему было нужно, так ему подсказало время.

Так случилось, что в Тарусе я никогда не бывал, хотя гостил неподалеку, у Бориса Можаяева, в Дракине². Там, где Протва впадает в Оку. Он сказал, что я сижу на той лавке, где недавно сидел Солженицын. (А у нас рыжики, водка... И такая радость от ощущения причастности к великому делу, общему делу.)

Ощущения приближающегося гения русской литературы...

А когда «Матренин двор»³ — Господи! Так ведь я же знал, я же ночевал в таких домах, я же мог бы! Ан нет, не смог. Не то, что написать не смог бы, — это простительно. А вот не смог так увидеть, как увидел все Солженицын, открывший мне глаза на мир и душевную крепость русской крестьянки.

А как ждали «Ивана Денисовича»⁴! Только об этом и говорили.

Казаков в дружеском блаженстве предупредил, что он де успел укрепиться в литературе, а, мол, всем вам крышка теперь. Он к тому времени сумел уже прочесть повесть.

¹ *Нурпеисов Абдижамил* (р. 22.10.1924) — прозаик. Трилогия «Кровь и поэт» (1961–1970) — перевод Ю. Казакова.

² *Можаяев Борис Андреевич* (1.6.1923 – 2.3.1996) — прозаик, публицист. Повесть «Живой», роман «Мужики и бабы» (1-я часть — 1976, 2-я — 1987), роман «Изгой» — незавершен.

Дракино — деревня, в которой Можаяев купил дом.

³ «*Матренин двор*» — рассказ, опубликован в журнале «Новый мир» №1, 1963 г.

⁴ «*Один день Ивана Денисовича*» — «Новый мир» №11, 1962 г.

С Юрой Казаковым мы в ту пору, когда он жил в Тарусе, только-только начинали свою дружбу, если можно так сказать. Сразу же после первой публикации в «Знамени» Казаков легко ввел меня в круг своих друзей. Но виделись мы в ту пору редко. Это уж потом, когда он купил в Абрамцеве¹ дом, мы с ним жили бок о бок, мы снимали там дачу в течение двадцати пяти лет. Первое время он никак не мог привыкнуть к лесной абрамцевской глуши, тосковал, по-моему, по окским просторам, говорил, что там глаз не натывается на зеленую стену.

Дом в Абрамцеве стоит в еловом, темном лесу. Я иногда думаю, что именно этот дом и погубил его. Может быть, если бы он жил в Тарусе, жизнь его сложилась бы иначе. Таруса для него была некоей прародиной...

А для меня Таруса так и осталась таинственной страной.

Снова сняли дачу в Абрамцеве у Абрикосовых²...

Год 1981. Будет он когда-нибудь таким далеким, что и подумать страшно.

К Юре Казакову пришел. Заглянул в окошко, а он, как обычно, сидит на стуле перед стулом, на котором папиросы, спички и граненый маленький мутный стаканчик, что-то еще (окурки в камин бросает, потом, говорит, сожгу), а уж за стулом — телевизор включен. Смотрит самозабвенно, с детской восхищенной полуулыбкой, зачарованно...

— Юро-о! — кричу ему, потому что он плохо слышит.

— Ооо! — Заходи, Юрочка. Ну чего ты тут стоишь, заходи!

Рассказывает, как ему зубы, протезы делали, как зубной врач ацетоном сжег десны. «Пройдет, говорит. А я не могу! У меня сопли из носа, слезы из глаз и, по-моему, даже из ушей пошли... У-ухх! Да! Тут я вчера смотрел фильм, пятую серию: «Место встречи изменить нельзя». На Высоцкого смотрел.

¹ Абрамцево — Ярославская ж. д., поселок академиков, в котором Ю. Казаков купил дом.

² У детей академика в области медицины Абрикосова Ал. Ив. Сын Ал. Ал. Абрикосов — ныне лауреат Нобелевской премии. Дочь Мария Ал. — спортивная медицина.

Какой он прекрасный! Знаешь, там кадры есть, видно, что Володя давно не пил, лицо чистое, тонкое, все мешки исчезли. Глаза пушистые, добрые... Был бы я женщиной, — говорит он со слезой, и рот его судорожно кривится, ползет, дрожит. — Я бы, Юра, бросился к нему на грудь... А потом другие кадры, — смеется громко сквозь слезы и громко говорит. — Другие кадры... Ну, морда! Опухший, мрачный. Режиссер с ним намучился. Снимать надо, а его нет, пьет... Во, тля, человек какой был. А когда умер, сколько народу пришло. Вот телевидение нам показывало... Лев Лещенко¹ и прочие — все пели, а Володе не дали. Но Москва им отомстила, все перекрыто, весь центр был перекрыт... А знаешь, Юра, я, лет, наверное... восемь уже прошло, дядьку хоронил на Ваганьковском. Зашел на могилу Есенина, а там вокруг могилы все забито осколками бутылок. Не дай Бог такой славы! Приходят те, которые «Москву кабацкую» читали, пьют, а потом бутылки колотят. Не дай Бог! Да, старичок, вот такие дела».

Смотрю, поднимает с пола алюминиевый ковшик, который я сразу не заметил, и наливает оттуда в стаканчик темное какое-то вино. Выпивает с жадным отвращением, блещит мокрой, окровавленной как будто губой.

«Э-эх, — говорит. — Знаешь, я тут пошел по твоим стопам. Не пил. Но боли — жуткие. Все болит. Во рту, в глотке, в животе сухо. Говорю маме, мол, когда пил, все было в порядке, ничего не болело, а тут такая боль».

Зачем он из ковшика пил, а вернее, наливал в стаканчик из ковшика, я так и не понял. Может быть, обманывает себя, не может уж видеть бутылку. А из ковшика вроде бы и не вино, вроде бы и не пьет.

Опять потом расплакался, когда о Васе Белове² вспомнил.

«Такой он весь провинциальный, вот такусенький, а глаза... Глаза, как голубые брызги, брызжут такой острой голубизной... У, тля! У него рассказ есть, как развелся один с женой, а жена ему не дает встречаться с дочкой...»

¹ Лев Лещенко — популярный эстрадный певец.

² Белов Василий Иванович (р. 23.10.1932) — прозаик. Повесть «Привычное дело», «Плотничьи рассказы», «Воспитание по доктору Споку» и мн. др.

Плачет и никак не может остановиться. Я ему говорю, что я тоже плакал, когда читал этот рассказ, и даже письмо Васе написал.

«Во! — говорит Казаков. — Гениальный рассказ, — и показывает большой палец. — Ну посиди немножечко, — кричит он мне, когда я собрался было уходить. — Юра, посиди, не обижай! У меня несчастье на несчастье... Посиди со мной».

И я еще долго сидел с ним, о многом мы говорили. Точнее, он говорил!

Девять вечера. После жаркого дня вдруг похолодало, и небо было голубенькое, нежное, а на нем прозрачные розовые облачка и среди облачков серебристая, белая луна, как жемчужная. И все это над темно-зелеными вершинами елей.

Люблю людей страстно влюбленных в жизнь, тоскующих в четырех стенах своего жилища и жаждущих при всяком удобном случае вырваться из дома, уехать, как это делал, например, Казаков, на Север. В тот благодатный для него край, откуда он никогда не возвращался без рассказов или, точнее сказать, без новых сюжетов.

Архангельск, Белое море, острова — земля и море нашего Севера оказывали самое благотворное влияние на Юру, как будто он всякий раз уезжал к себе на родину, хотя родился и вырос в Москве. Но если говорить о его писательской судьбе, то Север и в самом деле был его истинной родиной, прикосновение к которой рождало в нем художника, очень зоркого и требовательного к себе, чувствующего малейшую фальшь и понимающего настоящую красоту, будь то красота человека или пейзажа.

Север питал его душу всеми соками жизни, словно душа его обитала где-то возле Белого моря, оставив брэнное тело в суеде большого города. Может быть, это кажущееся раздвоение, а вернее, таинственное какое-то разъятие души и тела даны были ему для того, чтобы в минуты слияния высекалась в нем искра вдохновения?

Как я понимаю, он часто писал именно по горячему следу. То есть принимался за работу, не давая остынуть впечатлениям, вдохновившим его на счастливый труд.

Как-то однажды мы с ним и с Евгением Евтушенко охотились в Вологодской области и заночевали в избе, где жили старик со старухой, такие древние и немощные, что, глядя на них, трудно было удержаться от жалости и сострадания. Когда мы вернулись в Москву, Юра тут же принялся писать рассказ об этих стариках. Я бы, наверное, не узнал об этом, пока рассказ не появился бы в печати, потому что Казаков не любил рассказывать о том, что он пишет. Но он сам позвонил мне как-то вечером и попросил встретиться с ним.

Просит срочно прийти в Дом литераторов, а я отнекиваюсь, как могу, потому что занят чем-то, да и настроения нет никакого выходить из дома. А он чуть ли не умоляет, слезно просит прийти по очень важному делу. Устоять нет никакой возможности, и я иду на встречу. Прихожу, а он сидит, как говорится, в кругу друзей, на меня никакого внимания, будто увидел меня случайно и, поздоровавшись, опять продолжает веселый застольный треп. И обида, и злость! Спрашиваю, зачем звал... А он заговорщически: сейчас, мол, подожди немного, закажи себе сто грамм и подожди... Ни денег у меня на это, ни желания — сижу кипячу в себе злость на него и едва удерживаюсь, чтоб не встать со стула. А он, словно бы вспомнив обо мне, отвлекается и спрашивает с затаенной надеждой, с нежностью в голосе: не помню ли я, что сказала старуха про своего старика, когда тот забрался на печь, какое она слово при этом сказала...

Мы недавно вернулись с охоты, или, точнее, они с Евгением Евтушенко вернулись недавно, а я в ту пору безденежный, как цыган, уехав от них из Вологды, вернулся уже давно, но, к его радости, помнил это слово. Старуха сказала тогда: «В него влазит — он кричит ночью». Это «влазит» и забыл Юра, остановив работу над рассказом. Радость его была настолько велика, что он тут же распрощался со всеми и убежал домой работать.

Это тоже было — ЕГО. Он не смог, не смел заменить забытое слово, смутный звук которого беспокоил его, и мучился, вспоминая, и не было для него важнее заботы, чем услышать это местное словечко, без которого ни сна ему, ни покоя, будто потерял он что-то очень и очень дорогое, без чего ему и жизнь не в жизнь.

А мне от этого тоже радость, как если бы выручил друга в тяжелую минуту, накормил голодного хлебом, насытил случайно оставшимся в памяти словом и сделал его счастливым.

Всего-то навсего слово! А оно ему в тот жизненный миг было, наверно, дороже хлеба, ибо несло в себе дух беспокойной ночи, когда мы, тогда еще молодые и сильные, остановились на короткий весенний ночлег в избе старика и старухи.

Рассказ был опубликован, но никто из критиков так и не обратил внимания на это маленькое и нелепое словечко, потеря которого была горем для писателя, и которое вместе с другими словами составило воздушное пространство рассказа.

Почему же не любит критик писательским словом, живой тканью художественной прозы? Не радуется вместе с чутким писателем красоте жизни?

Помнится, в «Северном дневнике» есть у него сцена забоя коровы. Будто кистью фламандского живописца написана эта картина, равной которой, пожалуй, и нет в нашей литературе. Но гений Казакова подсказал ему каким-то таинственным образом, что и этого мало, что надо еще написать рядом с освеженной коровой молоденького теленка, жующего свежую травку и не чующего страшной беды, которая ждет его впереди.

Не похожи ли и мы с вами на этих милых телят, когда спокойно слушаем на писательских пленумах и съездах доклады и речи, в которых, увы, давно уже нет имени Юрия Казакова?

Стыдно!

Осмелюсь вспомнить и поведать людям о радости Юрия Казакова, который не одному мне, наверное, доверительно признавался в том, какое наслаждение он испытывает, работая над собственными своими рассказами.

Есть у него маленький шедевр — «Осень в дубовых лесах». Рассказ этот еще не был закончен, но Казаков уже светился торжеством победы, ибо ему удалась главная поэтическая сценка, без которой, как он безошибочно чувствовал это, не было бы ни осени, ни дубовых листьев над Окой.

Младенчески чисто светились его усталые, голубо-серые глаза, когда он, сняв очки, говорил мне о своей удаче. Он рас-

сказал о ночной тьме, о некошеном берегу Оки, и о том, как в этой тьме идет к реке за водой герой рассказа. В руках у него пустое ведро и он слышит, как о стенки ведра постукивают головки невидимых во тьме поздних цветов...

Радость Юры была всегда в таких случаях так искренна, что он никого никогда не подавлял этой своей наивно хвастливой мальчишеской радостью, потому что она была пронизана уверенностью, что всякий, в ком жива душа, не может не радоваться вместе с ним его художественной удаче.

Он понимал, что написать эту сцену мог только он один среди множества пишущих. Вместе с ним понимали это и его близкие друзья, которым он рассказывал о своей удаче, и радовались вместе с ним, хотя и не знали еще, о чем рассказ. Но сочная, душистая, таинственная эта сцена, написанная рукой мастера, и без того говорила о том, что рассказ и в самом деле будет гениальным, как об этом, не смущаясь, заявлял всегда сам автор. И не ошиблись — рассказ получился таковым и ему суждена долгая и счастливая жизнь в сердцах и душах читателей.

Одна лишь наша критика не сумела тогда почувствовать всей красоты осенней ночи над Окой, не смогла ответить радостью на радость художника, не заметила, не обратила никакого внимания, обошла стороной эту поэтическую сценку — осталась глуха к художественным особенностям рассказа. Критика тогда говорила о рассказах Юрия Казакова примерно так же, как если бы, говоря о Кельнском соборе, она объясняла его функциональное назначение, но ни словом не обмолвилась об архитектуре знаменитого собора.

Русский рассказ — это нечто отличающееся от западных рассказов. Это маленькое музыкальное произведение, звуками которого являются слова, фразы, периоды.

Самым музыкальным писателем из всех, которые сейчас пишут, я считаю Ю. Казакова.

За несколько дней до кончины написал он письмо, в котором не было и намек на страдания или тоску. Он вспоминал о наших охотах, просил совета по поводу своего автомобиля, у которого вышел из строя замок зажигания, писал, что никак не может сесть за работу. Но одна строка резанула по сердцу не Казаковской какой-то ранимостью. Он спраши-

вал: «Как тебе название: «Послушай, не идет ли дождь?» Название ненаписанного рассказа, которое, увы, прозвучало в моей душе звоном погребального колокола.

Яркий след крупнейшего писателя можно, наверное, сравнить с небесным следом кометы, пролетевшей над миром людей и восхитившей очевидцев.

Странное чувство испытываю я, написав про комету и про ее небесный след, словно бы вижу брезгливо прищуренный взгляд Казакова, читающего эти строчки, и слышу его насмешливый голос, осуждающий меня за чрезмерно красивый образ, которым я соблазнился. Красивая его проза всем своим строем, стилем отторгала ложную, выпретенную красоту, являя собой образцы русского литературного языка, ставшие в ряд с образцами прозы Чехова и Бунина. Но вот тут у меня возникает, увы, тоже довольно странное, давно живущее во мне, идущее издалека сомнение, о котором я когда-то говорил Юре в минуты откровенных споров. Мне кажется порой, что академизм его стиля явился одним из сдерживающих начал, которое заставляло его бросить неоконченный рассказ. Он заковал себя в этот стиль и, с поднятым забралом глядя на окружающую реальность, не мог иной раз вырваться на свободу и сказать о всех болях, которыми переполнена была растрепанная, не укладывающаяся в какие-либо стили, пестрая, лоскутная наша жизнь. У него, к сожалению, как это ни странно звучит, не было плохих рассказов, не было явных неудач, провалов.

А эти провалы и неудачи не могли бы, на мой взгляд, выбить его из истинно прекрасного седла, в котором он рыцарски гордо восседал. «Я не умею, старичок, писать плохие рассказы», — сказал он мне однажды на мой совет написать плохо.

В споре нашем, однажды возникшем, вышел победителем Юрий Казаков, доказав всей своей жизнью, что возможен и плодотворен и тот путь, которым он шел.

Был он гением, с первых своих строк почувствовавшим, что жизненные впечатления делятся на две громадные категории, одна из которых подвластна его таланту, а другая — нет. То есть он заранее знал, предчувствовал, что из тех жизненных явлений и событий, окружавших его, принадлежит

ему, а что проходит мимо. «Это мое, — как бы говорил он в восторженном изумлении. — А это — нет».

Дени Дидро, в своем эссе о гении, в прирожденной избирательности этой усматривал гениальность художника.

Думаю, что это не просто эстетика, не просто психологический портрет гения — в этой особенности заключена высокая нравственность художника: не братья за чужое, хотя, может быть, и очень заманчивое, великое по сути своей дело.

Скольким же из нас, ныне здравствующим и ушедшим в небытие, не хватало этой малой малости! — братья за свое дело и не зариться на чужое.

Никакие советы, пожелания, а то и требования ретивых критиков не способны «улучшить» истинный талант. Все это, как горох об стену, отскакивает от художника, только мешая ему и раздражая своей трескотней.

Хотя, надо сказать, что Юра Казаков, насколько я знаю, никогда не таил зла на редактора, отвергнувшего его рассказ. Ни слова упрека не бросал он тому, кто из редакторского своего кресла протягивал ему возвращаемую рукопись.

Самый тяжелый момент жизни он переносил с величайшим достоинством, сохраняя честь художника, ибо был абсолютно уверен в непреходящей эстетической ценности своего произведения. Но как трудно, больно до слез, принимать отвергнутую по конъюнктурным соображениям рукопись, над которой ты исстрадался душою, правя чуть ли не каждое слово, сомневаясь над уместностью запятой или точки!

Он очень трудно и медленно писал в последние годы, но каждая строка его рассказов, оставленных нам, наполнена пронзительным предчувствием выстраданного и пропитанного слезами счастья.

Это особенность всех его рассказов, среди которых не было ни одного плохо написанного. Эта особенность, проникавшая в сердца благодарных читателей, заставляла некоторых критиков стыдливо молчать о его сочинениях или вспоминать при имени Юрия Казакова великих писателей прошлого, потому что талант его никак не укладывается в схематичное представление этих критиков о художественной литературе.

Виктор Лихоносов

ВОЛШЕБНЫЕ ДНИ



ПИСЬМА

В феврале 1984 года я приехал в Москву, поселился в гостинице и по обыкновению тотчас же стал звонить друзьям и знакомым. В записной книжке моей было много телефонных номеров, но с кем бы я ни разговаривал, никого, как прежде, не потревожил вопросом: «А Казаков в Москве или в Абрамцеве? Давно его не видели?»

Нигде уже не было моего друга Юрия Павловича.

После смерти писателя сиротливо перечитываешь его произведения. Чуть ли не под каждой строкой большого мастера ищешь осадок его бытия, которое кончилось навсегда. Летом с чувством утраты, с сознанием того, что и эти листочки уже не новости, а своего рода реликвии, перебирал я его письма: на конвертах казаковской рукой начертаны мои адреса и моя фамилия. Да неужели я уж никогда не получу от него ни строки?! Никогда. Время нашей единственной человеческой связи прошло.

Письма Ю. П. Казакова забирают меня назад, в молодость, и мне там чего-то безумно жаль. От налетающих воспоминаний я не могу читать все подряд — тяжело! Больше всего, наверное, жаль мне самого времени. Нету чудес, но вдруг захочется снова проснуться в селении под Анапой неизвестным учителем, побеспокоиться втихомолку о трех рассказах, отосланных мною на суд любимого писателя; снова бы караулить почтальоншу с толстой сумкой (в ней кипа писем, а мне опять нету?), гадать, сомневаться, наконец, позабыть обо всем и... однажды... увидеть на столе... конверт с обратным адресом: «Ю. Казаков, Таруса, до востребования». Что там?

«... Не сердитесь за такой, запоздалый ответ, дело в том, что я сейчас обретаюсь в Тарусе, в Москве бываю раз в месяц, и мне не могли вручить ваши рассказы.

Рассказы я прочитал, и они мне понравились...

Рассказы ваши я попробую протолкнуть в «Молодую гвардию», хотя поручиться за успех дела трудновато. Рассказы не из легких для журналов — вы понимаете.

Но если с печатанием и не выйдет ничего, тужить вам особенно не надо, главное, что пишете вы хорошо, а печататься будете немного раньше, немного позже, но будете (если, конечно, будете писать так же хорошо и много).

Вообще же предсказывать вам что-нибудь я не берусь, да и трудно это всегда и как-то совестно: что я — пророк? Одно положение верно во всех случаях: если автор талантлив и трудолюбив, значит, будет писателем. Трудолюбие в писательстве вещь не менее важная, чем талант. Сколько писателей мелькнуло и пропало, напечатав две-три вещи.

Мой вам совет, и этот совет вы постарайтесь запомнить и исполнять. Когда вас на первых порах не будут печатать, да и не только на первых, а и потом (если будете писать острые вещи), то никогда не злитесь, не давайте взять над собой верх раздражению, злобе, зависти. Никогда напряженно не ждите результатов из той или иной редакции. Постарайтесь даже забывать, что вы сдали рассказ и ждете ответа. И если вы выработаете в себе эти качества, очень много здоровья, нервов себе сбережете. А эти самые нервы вам еще пригодятся. Вот и все. Будьте здоровы, желаю вам больших успехов. Как только в журнале определится отношение к вашим рассказам, я вам напишу. Таруса. 8 фев. 63».

Я перечитывал первое письмо Казакова бесконечно, радовался, мечтал и пугался: писания мои не обругали, даже одобрили, а я еще ничего не умею! Меня вроде бы уже приравняли к строю литераторов, а я еще не знаю, как расчитаться на «раз, два, три». Но, желая быть призванным на вечную службу, я в ответе изо всех сил старался не отстать от Казакова в певучести и складности фраз. Помню ощущение глубокой неловкости, в которой я цепенел всякую минуту, когда воображал, что мой листок писатель держит перед собой где-то в Тарусе. Закон благотворной внутренней правды,

слияния таинственного толчка чувства и упавшего на бумагу слова я открыл уже потом. Кончики нервов чутко предупреждают нас о вскочившей в строку фальши, о желании казаться, а не быть, об угождении «пустошным речам» и прочем. На первых порах понятия не имеешь об искрах свободы и забывчивости в творчестве; в голове одно: я пишу, я должен ставить слова как-то не так... Но и позже, уже поднаторев, поймав прелесть простого «ангельского языка», то и дело сбиваешься... на литературу. С такими, наверное, вывертами и писал я тогда ответы Казакову.

Как бы то ни было, Юрий Павлович выбирал из моих писем нечто жизненное, моей судьбы касающееся, и тотчас откликался. Удивительное сочувствие мастера спустилось ко мне ни за что, ни про что — как манна небесная. Он меня мимоходом, как бы в примечаниях, заранее оберегал от всякой кривизны.

«...Вообще же я бы вам порекомендовал сейчас попробовать свои силы на крепких радостных рассказах. Я думаю, что радость — такая же сторона жизни, как и несчастье, ее, может быть, меньше, но она есть, и можно очень честно писать об этом. Она, т. е. радость, очень сейчас подмочена во мнении думающего читателя, и как-то даже мы стесняемся иной раз писать оптимистические вещи, но оптимизм иной раз у нас спекулятивен, фанфаронен, а я говорю о другом оптимизме, вытекающем из естественной необходимости счастья и бодрости во всем живом... 13 апр. 63, Таруса...»

Теперь мне хотелось встретиться с ним. В отпуск я поехал в Москву. В редакции журнала «Молодая гвардия» меня разочаровали: Казаков появился на денек и опять уехал в Тарусу. Я осмелился потревожить его там.

Все воспоминания о том, как Куприн с половины пути в Ясную Поляну повернул назад, как Чехов, готовясь к встрече с Толстым, долго выбирал галстук, не выдуманы. Начинающие писатели тоже боятся мастеров, не великих, но известных. Я целый вечер кружил у бревенчатого дома, в котором Казаков снимал комнату. И с каким-то спасительным чувством отложил свой визит до утра. Вот он написал мне о счастье. С юности, разумеется, беспокоился я о том, чтобы моя судьба сложилась посчастливей; я каждый месяц этого счастья ждал, я в счастье верил, а начитавшись биографий великих худож-

ников Возрождения, согласился, что счастье творческого человека в страдании за искусство. В молодости, пока мы никому не нужны и ничем еще себя не проявили, множество чванливых особей постоянно как бы вопрошает: а ты кто такой? И нам часто кажется, что мы в этом мире самые последние; никому нет дела до нашего таинственного чудесного шума в душе. Благие наши порывы вдруг перемальваются в жуткое самоуничужение, которое все застит; паренек или девушка перестают замечать многообразие жизни. Поражены бываем мы и томительной печалью собственного природного несовершенства, а скорее всего, незнанием своих дремлющих сил. Где-то наверху золотая среда, «невянущие дубравы» искусства, туда нас влечет, но есть ли смысл идти? Там ли тебе место?

Добрые люди могут тебя приблизить, а потом что? Не что похожее переживал тогда я, плутая по тарусским горушкам в поисках дома, в котором, может, и сочинил свой прекрасный рассказ «Адам и Ева» Ю. Казаков. Меня сковывают какие-то цепи. Я вроде недостоин даже того, чтобы постучаться в калитку К. Г. Паустовского и спросить у него о Казакове. Это здесь, наверное, составлялся сборник «Тарусские станицы»? Там и «Кирилловны» М. Цветаевой, и стихи Н. Заболоцкого, и очерк Паустовского «Иван Бунин», и... мой Ю. Казаков с тремя рассказами. Постояв у забора в позе странника, я, честное слово, ушел виноватым. Куда я рвусь?! Но именно в ту пору, в такие часы и минуты, когда они все, известные и простые, были для меня «мужами искусными», когда я за одно то, чтобы послушать мастера, готов был отдать все отпускное время, — именно тогда мне посылалось счастье. Может, потому мне и жаль сейчас того убежавшего времени. В страдании и растешь.

Рядом с Тарусой (вниз по Оке) стояла усадьба художника В. Д. Поленова. Полдень: уже и в жилых покоях Поленова побродил, а у Казакова не был даже в ограде. Катер доставил меня в Тарусу. Наконец-то Казаков приехал из леса на мотоцикле. Почему он не похож? По рассказам, в нем должно быть что-то есенинское. Но он добродушно-грубоватый, рослый, тяжелый, как штангист. Он был молод, еще не женат, в той первой славе, которая никогда уже так не звенит. Все, кажется, украшалось приличием этой славы: и лысина, и даже заикание. Меня же и кудри не украшали. Казаков щедро выручал

меня: много говорил, все как-то между прочим вставляя в истории имена известных писателей. Он месяц назад путешествовал по Северу с Е. Евтушенко, тогда гремевшим, и с Г. Семеновым. Я сказал Юрию Павловичу, как искал его, подходил к дому К. Г. Паустовского; испугала бумажка на заборе: «Константен Георгиевич болен и никого не принимает».

— Это жена защищает его. От поклонников. Старик в Москве. Мы были у него недавно с Евтушенко.

Опять как-то между прочим сказал: были, сидели, Паустовский их провожал. К 100-летию А. П. Чехова Паустовский поместил в «Литературной газете» коротенькие «Заметки на папиросной коробочке» — я их выучил наизубок! Я из-за Паустовского ссорился с другом детства. «Может, это и хорошо, — сказал мне нынче в Коктебеле писатель-москвич, с институтской скамьи видевший и слышавший «всех великих» и тогда уже судивший их весьма строго. — Детская святость перед искусством умчалась от меня рано. Я ко всему привык. Таруса, кхм! Я жил в Тарусе еще летом 1956 (!) года. Паустовский, закутанный в одеяло, ворчал что-то и ничего не проронил, такого, чтобы запомнилось. А ты прошел через преувеличения, идеализм. Наверное, это хорошо, что было».

В тот день я много интересного услышал от Казакова. История создания рассказа «Адам и Ева» была мне наукой. Как все, оказывается, интимно! Можно ждать приезда женщины и от тоски написать шедевр «Осень в дубовых лесах»; сходить на охоту с друзьями — и другой шедевр: что-то о себе и о нас. Осенью 1962 года по пути из Одессы на пароходе «Петр Великий» прочитал я в «Огоньке» рассказ «Плачу и рыдаю», вышел на боковую палубу, постоял, глядя на горизонт, и пробормотал слова героя рассказа: «Плачу и рыдаю, когда есть жизнь...» Какой он, этот Казаков?

Чудеса: сижу с ним в Тарусе, он несет из кладовки тарелку огурцов собственного засола и предлагает мне: «Угощайтесь...» Еще не понимаю, что здесь начинается наша дружба. Через несколько дней мы опять встретимся в Доме литераторов в Москве. «Знакомьтесь, — представлял он меня братьям-писателям, — скоро прочитаете его рассказы...»

Дома я ждал от него известий.

«...Дела у нас с вами пока грустные. Молодогвардейцы так и не решились взять ваши рассказы. Я забрал их отсюда

(пока первые три) и тут же отдал в «Новый мир». Там, во всяком случае, будет скорый ответ. Даже если и отказ, то скорый... Как вы поживаете? Есть ли что-нибудь новенького? Я бы не хотел, чтобы разные оттяжки и задержки с первыми рассказами охладили в вас желание работать. О первых рассказах забудьте и пишите каждый новый, будто предыдущих не было... Сент. 63, Москва...»

Если бы Казаков не отнес рассказы в «Новый мир», — часто думал я и думаю теперь, — иначе бы сложилась моя судьба и, возможно, я вообще не стал бы писателем. Мне очень повезло! — вот что я повторяю все двадцать лет.

Пока же я выпускал под Анапой школьную стенгазету.

«...Как ваши рассказы? Выйдут они не скоро, если даже и примут, да это не беда, лишь бы взяли. Много ли написали нового? Я, когда начинал, много писал и быстро. Мог за день настроичить рассказ в авторский лист. А теперь вот как-то туго идет. Сюжетов мало. Да и те даже как-то и не сюжеты вообще. У нас, русских, вообще с сюжетами никуда. Нет у нас сюжетов, а больше так — «жизнь», это у лучших, у плохих же ничего нет... 18 ноября, Москва...»

Именно в эти дни мой рассказ «Брянские» был уже набран в 11-й номер «Нового мира», и меня редакция просила в телеграмме «не прыгать до потолка» — мало ли что бывает: стоит вещь и вдруг выпадет.

Я между тем писал новое и всеми замыслами делился с Казаковым.

«...Меня немножко насторожила ваша «Чалдонка»: я не люблю сибиряков-писателей. А вы сибиряк. Смотрите, как бы вас не подмял материал. Он в Сибири всегда экзотичен и всегда портит писателей, они начинают писать смачно цветисто, щеголевато, но это плохая смачность и щеголеватость, и очень они как-то похожи друг на друга, очень *местны сибирски*. А вы должны быть русским писателем. А Русь — у нас, в Европе (я о литературе говорю). Вспомните Шишкова и прочих, вы поймете, что я имею в виду. Нет у них, вернее, в их материале, чего-то такого обыкновенного, что есть у нас, они экзотичнее, а экзотика в литературе хоть и хороша, но она *не главное*. Так что я насторожился, когда узнал о «Чалдонке», да еще большая вещь! Впрочем, возможно, вы совсем другое хотите писать, и я тут стреляю мимо.

На первых порах вы все-таки посылайте мне свои вещи. Потом уж, когда оперитесь совсем, тогда никому не показывайте, а сначала — всегда полезно. Я, например, страсть как любил потчевать своими творениями, а потом уж поостыл... 28 дек. 63. Москва».

«...То, что вам теперь надо быть осторожней, как вы пишете, это ничего и даже к лучшему. Быть осторожней, как я понимаю, это не курить и не пить... поверьте — это прекрасно, не курить и не пить. Писателю нужна чистая голова и хорошее здоровье... 7 мая 64, Москва».

Осенью 1964 года еще два моих рассказа появились в журнале «Новый мир».

«Витя, погодите вы, ради господа, отречься от своих старых рассказов. М. б., ничего лучшего не напишете. Это не в укор вашему будущему. А просто я думаю, что человек должен любить себя прошлого, потому что, кто его знает, что там будет впереди. Я суверен. Каждый ваш рассказ написан «изо всех сил», в охотку, с удовольствием, если не с наслаждением, все они — история вашей жизни, вы потом это поймете, в них бродят разные ваши настроения, ваши поездки, ваша печаль и радость. Зачем же так морщиться на них! Тем более, что рассказы ваши вовсе не достойны, чтобы на них морщиться, скорее наоборот. Или это у вас уже кокетство?»

Нехорошо, Витя! Все мы как-то изломаны, издерганы, нервны, все мы хотим чего-то эдакого, и всё нам и то не то, и это не то.

Не читайте вы, пожалуйста, этих критиков, берущихся рассуждать о современном стиле, о традициях и т. п. Вы знаете, я часто вспоминаю слова Достоевского из его «Дневника». Он там однажды как-то подумал о критике и вдруг понял, что критика (к тому времени, когда он писал это) вот уже сорок лет повторяла одно и то же, что, мол, у нас литературы нет, что нет светочей (маяков — по-теперешнему), нет эпохальных произведений и т. д. и т. п. И тут же Достоевский вспомнил, что во все это время, когда критики служили отходную нашей литературе, был Пушкин, потом Лермонтов, Гоголь, Гончаров, Тургенев, начался блестяще Толстой, — не говоря уже о второстепенных, но все-таки блестящих поэтах, таких как Фет, Баратынский, и не говоря, конечно, о самом Достоевском!

То, что вам грустно, и, м. б., порой безысходно, это дело другое, это может происходить черт знает отчего. М. б., болезнь века, что ли, я не знаю. Но истоком этой грусти никак не должны служить ваши рассказы. И судьба у вас легкая (я имею в виду писательство) — если б вы знали, сколько сотен, тысяч и тысяч писателей пишут по много лет, и о них никто не скажет доброго слова, их не печатают, хотя многие из них пишут, так сказать, не хуже других.

Очень бы хотел я с вами встретиться, да не судьба, видно. Я не приеду в Москву раньше 15 января. Мой переводной роман меня засосал... 2 дек. 64, Алма-Ата...»

Было ему в том году, когда он сидел в горах над переводом романа А. Нурпеисова, тридцать семь лет. Он всюду ездил, и я, прикованный к учительской кафедре, ему страшно завидовал.

В молодой литературе в те годы звучала «исповедальная проза». Подвергаясь искушению, как бы стыдясь перед шумными именами взяться за нечто мне родное, с детской зыбки привитое, я тоже кинулся описывать неприкаянного героя, растворяясь целиком в его чувствах. Самые жестокие замечания я выслушал в том же «Новом мире», но и Ю. Казаков не стал скрывать своих строгих суждений.

«...А твой герой не только не определялся еще как человек (это-то и есть суть повести), но неясен мне и как работник. Кто он? Учитель? Или поэт? Или кто? Мне ясно только, что он что-то окончил, никуда не попал, у матери побывал и там не выжил, опять приехал и проч. и проч. Чтобы презирать кого-то, т. е. чтобы иметь право презирать, надо самому что-то делать... 20 фев. 66, Москва...»

Я обидчиво призадумался и принялся вещь разрывать, выбрасывать чужеродные куски и крепче брать за руку героя. Следы прежнего легкомыслия стереть полностью не удалось, но все же... Спасибо за правду, а то бы полетел совсем не туда. Через год я написал сразу две повести: «На долгую память» и «Люблю тебя светло». Но я по-прежнему нуждался в дружеской поддержке, в общении. Не было случая, чтобы я позабыл в столице о Казакове. Частенько в первый же день приезда шел в Дом литераторов и заставал его там. Такси! — и к нему к Бескудниково. Уже я его не боялся, и он в разговоре (как и в письмах) обходился со мной как с млад-

шим братишкой. Но дистанцию соблюдал я сам. Похоже, что я каждую минуту помнил о его первом письме и потому смотрел на него не снизу вверх, а просто благодарно. С этой благодарностью к добрым наставникам мы обязаны жить до конца. Иные примеры мне не нравятся.

Казиков побывал в Париже, повидался с друзьями И. А. Бунина и на даче в Абрамцево рассказывал мне обо всех разговорах. В ту ночь мы наметили с ним «махнуть куда-нибудь на Орловщину, туда, где «в первобытном, чистом состоянии души» начиналась «жизнь Арсеньева». И все у нас потом не получалось с поездкой.

«Жалко, опять мы с тобой не попали на Орловщину, жалко. Но такова судьба... 2 июля 68, Углич...»

Должен повиниться в скобках: мы не попали на Орловщину и в следующие десять лет.

«...знаешь, я о Бунине хочу написать, то есть пока о его доме, о вилле Бельведер, умиляет меня старик, как он работал в день, когда не дали ему Нобелевской премии, сидел и работал, а?.. 4 дек. 68, Абрамцево...».

О Бунине он не написал, а кому бы и писать, как не ему, — он был им так просквожен, любил о нем рассуждать, восхищался писателем, который никогда ничего не имел, кроме книг, и был, по собственному признанию, «как птица всю жизнь».

«Писателю нужен дом или что-нибудь в этом роде. И очаг, знаешь, такой вообще очаг, чтобы порядок был и чтобы весь дом был подчинен работе этого писателя. Тогда хорошо...»

Он, кажется, мстил судьбе за то, что в детстве у него не было на Арбате даже двора, и потому он так вцепился в огороженный абрамцевский лес, в усадьбу свою, жил там месяцами и приглашал всех к себе: «У меня даже в баньке, старичок, можно писать «Войну и мир»».

«...У каждого есть дом, детство, юность. И вот поэтому, мне кажется, повесть твоя, касаясь, может быть, самых сокровенных дней в жизни человека, любя эти дни и тоскуя о них, — должна быть близка каждому читателю...» — писал он 20 февраля 69 года о моей повести «На долгую память».

Некоторые знаменитые писатели письма свои сочиняют. Обращаясь к друзьям, посторонним лицам, они всякую

минуту помнят, что когда-нибудь, после них, письма соберет комиссия по литературному наследию и предложит для публикации. Отчего эти письма лишены непосредственности, отделаны и полны нарочитых высказываний. Высказывания Ю. Казакова — это все тот же дружеский разговор, это нечаянное мнение, не рассчитанное на то, чтобы его знали все. Нет там претензий на величавость и мессианство; там откровенность художника и все.

«...Когда я гулял по Малеевке, мне все время попадалась на глаза вывеска со словами Тургенева: «Нет ничего сильнее и бессильнее слова». Так вот, я глядел на нее и думал о втором качестве слова, о его бессилии. Слово сильно, когда ты крикнешь: бей! А если ты слабым голосом скажешь: любите друг друга?! Сколько мы этих слов говорили! И что же? Говорить слова — скажешь ты и скажу я. Правильно, милый, и мы, а не мы, так еще кто-то будет говорить, пока останутся на земле хоть двое... 12 янв. 70 г. Абрамцево...»

«...Я как-то пришел к окончательному выводу, что в сей юдоли если и есть счастье, так это работа. Я имею в виду талантливую работу, то есть ощущение, что то, что ты сделал, — хорошо. Пусть тебя даже не печатают. Пусть не замечают, но когда ты кончаешь и ставишь точку, на душе легко и мир прекрасен... 3 окт. 70, Абрамцево...»

ПОЕДЕМ К СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ!

После сна, медленно, по минутам привыкая к светлеющему миру, робко возвращая то, от чего отрешился за ночь, усаживаюсь я со стаканом чая за стол и гляжу на окна высокой школы, где пишет сейчас что-то в тетрадку моя шестиклассница Настя. Гляжу на тростниково-тонкие кубанские тополя и повторяю последнюю строку в рассказе Бунина «Мистраль»: «Еще одно мое утро на земле». Вдруг издалека, из пятнадцатилетней давности, слышу голос Ю. Казакова:

— Ты знаешь, как я написал рассказ «Плачу и рыдаю»?

Мы сидели на его даче в Абрамцево — с той стороны дома, где веранда возвышалась над огородом, полдня покрытым тенью усадебного леса. Уже что-то сверкало в таинственной траве, с каждой минутой усадьба и окрестности становились темнее, древнее, и в баньке, казалось, поселился кто-то

сказочно-страшный. На московской земле прервался на миг небесный свет, и душа сразу сближалась с теми, кто проживал тут в раздолье и двести, и триста, и шестьсот лет назад. А где-то, может, неподалеку, стихало сейчас у кого-нибудь дыхание, кто-то вскрикнул, заплакал; мы же на веранде, возгревая в себе разные чувства, уповали в забывчивости на долгоденствие. Вечер, лес, ничто не болит, и мы радуемся. Казаков, наскучавшийся без гостей, стал вспоминать лучшие свои деньки и писательское счастье. Он очень любил порасуждать вслух о простых чудесах бытия, никогда не теряя в нем свою персону. Счастливые мгновения слетались к нему как пчелы на пахучий цветок; едва начинал он рассказывать, все постное делалось вкусным, и самозабвенность обычной вроде бы речи пленяла завистью к тому, чем он жил, что видел и чувствовал. Я сидел подле него какой-то даже пристыженный, словно напрочь лишенный тех талантливых удовольствий, которые достались моему грубоватому собрату. Секрет же был в том, что он жадно любил все свое, со скупостью складывал в свою шкатулку, а потом по-барски разбрасывал перед всеми.

— Домбровский меня вдохновил. У него гениальная память, ты заметил? Мы как-то напарились в бане, вышли. И была ночь, звезды, Домбровский возьми и вспомни: «Кая житейская сладость пребывает печали непричастна?» Кая ли слава стоит на земле непреложна?.. Где есть мирское пристрастие? Где есть злато и серебро? Вся персть, вся пепел, вся сень...» Это откуда? Что ж ты, понимаешь, такой темный у нас? Пишешь, печатаешься в «Новом мире» (меня вот Твардовский прогнал), а ни бубу, святых отцов не читал. Я тоже не читал тогда, а Домбровский, тот что-нибудь и в журнале «Наука и религия» найдет. Ну вот, я ему говорю: «Ты спиши мне, старичок, я сделаю из этого шедевр». Иоанн Дамаскин! Гениально: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть...» У меня ухо хоть и как у тебя и моего Чифа, но как не услышать такое: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижу во гробе лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту, безобразну и безславу, не имущую вида...» Я устами героя в рассказе «смерть» переправил на «жизнь». Так. Плачу и рыдаю — два слова, и рассказ в голове. Учись, старичок, а то, понимаешь, написал про брянских и думаешь — все? Не уезжай,

поживи у меня, оставайся! Съездим в Лавру, и, глядишь, рассказик какой задумаешь. Там жива еще дочь Розанова, и у нее есть письма отцовские... Читал «Опавшие листья»? Подойдем к раке Сергия Радонежского... Оставайся...

Но я отказывался. Теперь жалею. Московские окрестности с усадьбами XIX века, церквами, обитанием каких-то многознающих интеллигентов, благовоспитанных, из тонкой косточки, горячили мое воображение — ведь я из крестьянской среды, мне надо обтесаться, послушать замечательные речи, налиться культурой, и полезно было почаще обретаться здесь, у кого-то пожить, но все было некогда, некогда, я виновато уплетался домой.

— Сергию Радонежскому поклонимся... Ты читал про него?

— А где я прочту?

— Не уезжай.

Почему не дано нам о чем-нибудь пожалеть загодя?!

Как всплывут вечера в Абрамцеве, прогулки вдоль Яснушки, парижские книги на казаковской этажерке, заправленный в машинку листочек с началом воспоминаний о поездке в Париж, посиделки у Ю. О. Домбровского (стилист Казаков крыл известного В. М-ва за вживание политики в каждый абзац), появление Ф. Д. Поленова, грустный вид Юрия Павловича после операции — в «предбаннике» Дома литераторов, его ответ какому-то нахалу: «А ты думаешь, что я уже ничего не напишу?» — как вспомню это и другое, полусонно уже мерцающее, то беру старый «Огонек», который покупал в Ялте, и повторяю слова Иоанна Дамаскина в рассказе «Плачу и рыдаю». И сам я тогда плачу и рыдаю: отчего же я в те годы столько упустил? Звездой с небес упала ко мне прекрасная минута, и я скоренько распустился в довольстве, не побоялся, что большие друзья мои тоже не вечны, жил без программы, выбрасывал дни, недели, месяцы на препирательства с местными писателями, на тоску и самоуничтожение и ничего-ничего не успел, даже на письма отвечать не приучился, и кому, каким людям?!

Теперь я не с такой охотой езжу в Москву. Что-то слиняло в литературных кругах, и утратила очарование когда-то загадочная для нас, провинциалов, московская среда. Все меньше там коренных москвичей, а прибывшие с окраин

Руси начинающие таланты быстро раскусили, в каком углу лежит жирное, не стали столичными, но раннее свое естество запачкали. Ехал всегда к кому-то, а теперь? В шесть утра сразу легче дышалось, когда звонил с вокзала и слышал в трубке: «Ты где? Ну дак чего: давай к нам!» Казакову, если он скрывался у себя в Абрамцеве, я посылал записку. «Дорогой Витя! — отвечал он тотчас. — Приезжай, разумеется. Привет Ю. Д. Если он захочет, приезжайте вместе, только захватите пошамать чего-нибудь московского, а то в здешнем магазине пусто. Привет».

— Я тут один, не с кем выпить, поговорить... Заночуешь у меня, потолкуем, и считаешь, есть кто-то для тебя скоромное. «Дар» Набокова читал? Сижу, как святой Сергий после пострижения, один в своей церковке, только не молюсь, а он молился, «с уст псалмы не сходили», и ни одной просфорки за неделю не скушал. Недалеко отсюда было именице Радонеж, за Хотьковом. Съездим. Поздоровался с матерью?

— И поговорили.

Мать его Устинья Андреевна гордилась, конечно, талантом и известностью сына, а все-таки, как любая мать, больше пеклась о его благополучии и здоровье и в старании порою перебирала, ссорилась, указывала, командовала сыном, желая, чтобы все было по ее понятиям. Зачем матерям вселенская слава детей, когда нет того, ради чего и затеяна жизнь,— счастья простого? Маленькие ее подслеповатые глаза за очками томилась, кажется, целыми днями печалью, и в ту дальнюю комнату, где у сына за машинкой и книгами была какая-то оторванная, придуманная жизнь, не входила, как будто и не вставала от плиты, а так и горюнилась. Держала его на месте эта дача, держали старые родители. Вчера у Б. Зайцева в жизнеописании Сергия Радонежского я вычитал — отец отговаривает отрока Варфоломея уходить в скит: «Мы стали стары, немощны; послужить нам некому. Только послужи нам немного, пока Бог возьмет нас отсюда». Это узда вечная, это долги детей.

— Покупай дачу в Абрамцеве, будем чаще встречаться, болтать о разном... Умер один академик, вдова продает дачу, и недорого, рядом со мной, будешь ходить ко мне с пивком, рыбкой, купи, старичок, а? Моя стоит тринадцать тыщ! Перевезешь свою Ольгу, напишешь роман, получишь тыщ двадцать и мне займешь, а то на уголь денег нет...

Все же почему он месяцами один? Однообразие впечатлений нас губит. Надо вырваться из самого себя, а как же вырвешься, если все время один? Нужны уколы посторонней среды, иначе сохнешься в воспоминаниях, пусть и в любимых. В книгах будет перегоняться венозная кровь. Поститься в анахоретстве Казакову стало вредно, замыслы его иссякли, но он жил и жил, прикованный к своей дачной скале. Возвращая мне книгу В. Н. Муромцевой-Буниной, он ничего не сказал, будет ли писать, нет об Иване Алексеевиче. Тогда я попросил его начертать «что-нибудь историческое» на последней стороне корочки, обернутой плотной белой бумагой. Он, сердясь, написал: «Хотел я эту книгу зачитать, но совестно... 1967–1971. Ю. Казаков». Теперь эта надпись как грустный аккорд несбывшейся симфонии.

— А я, знаешь, давно мечтаю написать о еде. Ты не смейся, очень интересно можно написать. Ты как — разбираешься в этом? Мы с Евтушенко ели семгу на Севере. Ночь наступает, вода светится, отойдешь, так захочется, чтобы тебя кто-нибудь полюбил, а тут уже и уха готова! Все, старичок, жизнь.

— Много обедов, да мало обетов, — пошутил я пословицей.

Сегодня, 8 августа, в день его рождения, когда набежало бы ему шестьдесят годочков, я прилетел бы к нему в Москву. Но дача в Абрамцеве пуста. Ездил я глядеть на сиротливые комнаты в Константинове, в Тригорское, в Ясную Поляну. То углы классиков, они жили давно. Но каково видеть одичавшие комнаты друга?! Ведь там и мои часы жизни тикали, там где-то в пылинках воздуха повисли наши голоса — неужели все пропадает? А на пленку я Юрия Павловича не записывал.

— Недавно я болел и перечитал всего Тургенева. Хорошо писали в старину! Все сейчас ругают его: не моден, устарел. А я, знаешь, читал на одном дыхании. Вкусное слово. О красоте формы у нас забыли, сочли, что ли, ее ненужной; рассказы, романы натыканы проблемами. А у Ивана Сергеевича каждая страница изящна.

И нет его разговоров о Париже.

— Париж! Как раньше было просто. Чехов пишет: «А вы когда в Париж?» Спроси меня так. На какие шиши я по-

еду, и сколько надо мне хлопотать? Мне в Италии премию имени Данте присудили, а как забрать медаль? Кто-то за меня решил, что мне приятнее получить ее в посольстве в Москве, а не в Риме. А при Чехове ездили в Париж, в Рим, как в какую-нибудь Калугу. Кстати, Зайцев оттуда, из калужских мест. Он тебе прислал повесть о Жуковском? Жуковский оттуда же: из Белёва. Поезжай-ка ты, братец, в Париж, знаешь когда? Ну осенью. Я тебя пускаю. И Зайцев, и Адамович тебя примут. И покормят: «Господа, прошу к столу!» Посидишь в квартире Бунина. Думаю, я сидел на том стуле, на котором Иван Алексеевич писал «Жизнь Арсеньева».

Его надо бы посылать за границу на несколько месяцев, он бы привозил после встреч с русскими людьми не презрение и жеманную политически хитроватую жалость, как это водилось у журналистов и некоторых писателей, а добросовестные впечатления о жизни наших соотечественников, десятилетиями сберегавших в чужой земле и русское чистое слово, и картины, и душу. Не те ездили за границу на казенные денюжки, не те. Как в первый же раз устремилась душа Казакова искать во Франции русские следы! Всю ночь я слушал его и любил за это. И был он как ребенок. Наверное, напрогнозировал себе заранее, что больше уж ему тех благословенных уголков не видать. Теперь, когда забурлил по нашим журналам поток эмигрантской литературы, из небытия отчалили к нам имена русских зарубежных писателей и в Ленинград из Парижа перебралась последняя «жемчужина в терновом венке русской эмиграции» Ирина Одоевцева, все труднее будет ахать и удивляться. Да и поздновато это случилось. Наше поколение перегорело, а кольнет ли молодежь историческая горечь — как гадать? Но в 1968 году посидеть в Париже с теми русскими, которые жили еще при Александре III, путешествовали на старый Афон, хоронили А. П. Чехова, — с чем это сравнить? Разве что с детским чувством при чтении учебника по родной истории. И все это, я думаю, пережил Казаков, художник впечатлительный, с воображением.

— Зуров, душеприказчик Бунина, дал мне подержать Нобелевскую папку Ивана Алексеевича. Умри от зависти, я держал папку, в которой золотом написано: «Иван Алексеевич Бунин, при Нобель...»

И был он еще в ту ночь забавен, хвастлив, богат душой, вреден в мелочах.

— Вообще я в Париже попал в неловкое положение. Зайцев, Зуров — писатели, а я через каждые пять минут накидываюсь на них с вопросами о Бунине. Зуров написал роман «Зимний дворец». Сердился: «Да знаете, вот и какой-то Бабореко мне пишет из Москвы. Почему я должен ему отвечать, где они все были раньше? У меня у самого много работы». Ну, тут я разозлился: как можно меня сравнивать с Бабореко? И мы поругались немножко, а потом встретились в одном доме на обеде, и меня поразило: «Господа, к столу». И приятно: как когда-то в России. Они живут по-старому, и Зайцев пишет с ятем и ером. А чтобы ты представлял, как они говорят, я тебе прокручу запись.

...Пропали письма П. Л. Вячеславова ко мне, я их ссужал Казакову на время — там были строки о смерти В. Н. Муромцевой-Буниной.

Пропало, верно, и письмо К. Паустовского от 21 октября 1966 года, из которого я выписал две строчки: «Юра, я скоро умру, поклонись от меня Тарусе и особенно тому месту, где была осень в дубовых лесах».

Я ожидал, что после Парижа вскроет Казаков в своем творчестве новый пласт.

Но «автор нежных дымчатых рассказов» надолго замолчал.

Нет его имени в журналах, не палит он из ручки статьями, ухмыляется, наверное, придуманным дискуссиям, всего один раз дал интервью. Конечно, — никто не может знать сущего о мастере, потому что его самоотречение такая же тайна, как и творчество. Однако молчание Казакова словно подыгрывало критикам, чернившим его прозу в первые годы. Они обвиняли его в подражании бунинскому стилю и мотивам, то есть прилепляли его рассказам вторичность, а между тем публика, когда читала его, ни разу не покосилась мыслью: на кого он похож, каким богам молится? Все-таки не Бунин, не Чехов, не Гамсун писал это, а Юрий Казаков, наш современник. Он стал предтечей, первым звонким аккордом в будущей симфонии расцветающей русской прозы после войны. Он был так свеж, его хотелось перечитывать, а некоторые абзацы помнить наизусть. Высокая тональность, чистота и серебристый свет русского языка, шелест «осени в дубовых лесах», любовь и одиночество, знакомая всем в молодости тоска по счастью —

все было в его рассказах, и как после наслаждения читать чьи-то деревянные романы, кучами валявшиеся в магазинах? Ветерок эстетики проник в литературу с Казаковым. Потом зазеркалили другие замечательные писатели — со своей земляной народностью, правдой, дождевой тяжестью, серьезные и утренне-трезвые, и коим часом даже подумывалось, что в рассказах Казакова жизнь российская слишком легка, но... но все никак нельзя было оторваться от «Адама и Евы», «Плачу и рыдаю», «Запаха хлеба...», нельзя было забыть и самого себя во дни первых чтений, заглушить эту скрипичную мелодию...

И все же — почему замолчал, сам выбрал себе распятие? Так бы и крикнул: да оглянись, Юра! да разолись на себя, посмотри же, что у нас творится! мякиной завалили гнездо литературы! Несчетные журналисты-международники отобрали у нас половину читателей, прижились на веточках художественной литературы как бабочки-листовертки. Какой-то актер расписывает свои дни по минутам, скачет по Москве с утра до ночи (радио, телевидение, кино съемка, преподавание, спектакль), а перед сном еще «непрерывно читает последние новинки», еще и статью пишет, выбалтывается в интервью, то есть сует себя во все дыры, ибо убедился, что соваться везде — значит процветать. Какие-то провинциальные писаки изо дня в день отстругивают своими рубанками обязательное количество строк, затем, словно на дежурство, шествуют с рецензией на «кирпич» в отделение Союза писателей, выверяют расположение сил противника (у них там всегда как на фронте), слушают новости из издательства (чью рукопись зарезали, кого грозят назначить в редакцию), в газетах сладостно ищут намеки на подкручивание гаек, потом в Бюро пропаганды литературы набирают пук путевок для выступлений в селе, едут на целую неделю кормиться и заглядывать в физиономии начальства, потом опять садятся на стул с мягкой подстилкой и обогащают словесность похвальной дружеской рецензией. А тут... такая затяжная апатия: поздно писатель ложится, поздно встает, и мысли все о том, что литература сейчас не нужна и писать не хочется. И древняя мудрость еще нежнее ласкает кислое настроение: «Глаз сразу объемлет великий сонм звезд, но если захочет кто объяснить подробно, что такое денница, что такое вечерняя звезда и что такое каждая звезда порознь, то

потребуется ему много слов. Видишь ты звезды, Творца же не видишь... Познай свою немощь...» А вот и князь П. А. Вяземский помогает столетним своим пессимизмом: «Все, что нынче читается с жадностью, разве это литература в прежнем смысле слова?» Вот уже Вяземский смотрит будто в наши годы: «Ныне очарования нет. Времена чародеев минули. Сила и владычество вымысла и художественности отжили свой век. Ремесленники слова этому радуются и празднуют падение идеальных предшественников. Капища опустели, говорят они: теперь на нашей улице праздник. Спросим: многие ли ныне пишут потому, что в груди их волнуются и роятся образы, созвучия, которые невольно и победительно просятся в формы, в картину, в жизнь искусства, в отвлеченное, но живое воссоздание мира, жизни духовной и вместе с тем жизни действительной? Кто пишет для того, что ему в силу воли и закона природы необходимо и сладостно разрешиться от бремени, таящегося и зреющего в груди его?»

Говорят, уход писателя из жизни озарен высшей неслучайностью, уступает место другим, более необходимым своему времени. Может, потому и умер Казаков-художник, что красота, нежная музыка искусства уже не властвуют над людьми?

Летом 1985 года возвращался я с женой и дочкой из Троице-Сергиевой лавры. Мы там походили по двору, у стены Патриаршего дворца я снял Настю на фоне изображения святых, но к серебряной раке, где шестьсот лет пребывают мощи старца Сергия, мы не пробились. Размягченный кротостью лиц, думая о великом множестве людей, оставивших нас навсегда, решил я упросить друзей завезти меня на дачу Казакова. Мы спускаемся вниз, въезжаем в высокую аллею, раньше времени поворачиваем, блуждаем.

Кто нынче «обитает в жилище твоём»?

Ездили мы отсюда с Ольгой на полдня в Мураново, и там, у шкафов со старыми журналами, я мечтал почитать когда-нибудь письма Ивана Аксакова (именно почему-то Ивана) и журился, что живу далеко от библиотек, в которых есть все, что печаталось о России, что нужно мне для души. Судорогой сводило чувство от вида личных вещей Е. А. Баратынского и Ф. И. Тютчева: чернильниц, мундштуков, последнего гусяного пера, свеч, не заживавшихся после смерти Федора Ивано-

веча. Хозяев нет! Так же через минуту увижу я бесприютную баньку Казакова, веранду, письменный стол. Скорьбь человеческая! Все мы протекаем в землю аки вода. Вспомнил я тот час поэта Митю Голубкова, тихого, с острым носом, сидевшего в сумерках на веранде и рассуждавшего о Баратынском (он писал о нем книгу «Недуг бытия»), — это о Мите пишет Казаков в рассказе «Во сне ты горько плакал». Не до утра, как в Мураново, закрыты двери комнат, не музей здесь, а покинутая дача, на которую приедут в какое-нибудь воскресенье Тамара Михайловна и Алеша, уже у калитки вздрагивая в какой раз: все кончено, они одни. Тот же Митя Голубков читал тогда Баратынского на память, и нынче некоторые строки звенят над абрамцевским лесом еще грустней:

Не славь, обманутый Орфей,
Мне Элизейские селенья:
Элизий в памяти моей
И не кропим водой забвенья.
В нем мир цветущей старины
Умерших тени населяют,
Привычки жизни сохраняют
И чувств ее не лишены.
Там жив ты, Дельвиг! там за чашей
Еще со мною шутишь ты,
Поешь веселье дружбы нашей
И сердца юные мечты.

Все, чем я жил здесь тогда день-другой, мне хочется передать Настеньке, но она еще маленькая, ей не понять, чем драгоценна книга Б. Зайцева «Преподобный Сергей Радонежский» и почему я с трепетом брал на ночь в комнату, где стояла кровать Алеши, парижскую книгу Г. Адамовича и выписывал оттуда строчки о Бунине. Казаков тоже не спал, напевал что-то в другой комнате в постели, вставал, беспокоился, не скучно ли мне с книжкой, которую ему подписал в Париже сам автор, потом готовил на кухне кофе и приносил в чашечке и глаголил не уставая: «Брось ты переписывать! Поезжай лучше, и Адамович подарит тебе «Комментарии», а Зайцев о Чехове — ну еще раз, если почта затеряла! Только поезжай в Париж скорее, а то их не будет — Зайцев

с 1881 года, подумай, с 1881-го, год, когда убили Александра II, туда уже сами ангелы, старичок, не проникнут. То, как пишут, «от века тайна сокровенна». Страшно подумать! Ну, читай».

«Классический период литературы— выписывал я у Г. Адамовича, чтобы напитаться живой росой, — великий русский XIX век: сколько в этих словах еще не вполне раскрытого значения, не вполне понятого содержания! Бунин сложился, вырос, окреп в веке двадцатом, но весь еще был связан с тем, что одушевляло прошлое. Оттого, бывая у него, глядя на него, слушая его, хотелось наглядеться, послушаться: было чувство, что это последний луч какого-то чудного и ясного русского дня».

Сколько бы еще лет мог я навещать Юрия Павловича, и были бы мы всё старше и старше, и что-нибудь неожиданное все равно написал он, может, о смоленских предках своих, которые с бессилием смотрят с фотографии (оттуда, из старой России), а может, еще что-то об Абрамцеве или о Лавре, — как теперь угадать? «Оставайся, поедем к Сергию Радонежскому...» Да мы-то едем из Лавры, а где ты, Юрий Павлович? в каких селениях? пухом ли покрыла тебя земля в той узенькой-узенькой щели, куда мы тебя опустили (бок о бок с тремя детскими могилками)? Может, потому и сподобился лечь в окружении детей, что гимнами детям и закончил свою литературу?

В Абрамцеве все как и раньше. Тишина и зеленый полог словно скрывают само время, и к ночи вовсе сливаешься чувством с аксаковской Русью. Теперь эта усадьба досталась Алеше. В тоске по Алеше и написаны последние рассказы. Все так понятно. Сижу в Пересыпи, оторвусь от машинки, зайду в огород. Брожу по буйной заросли и чувствую, что мне чего-то не хватает. Больше было радости месяц назад. Стрекозы вздрагивают и сверкают крылышками, чуть шевельнется зернистый укроп. Уже август. Под айвою лежит молодой пес Барон. Два щенка, Туман и Жулька, возят мордочками в чашке. Пospела алыча, взобрались на смородину улитки. А-ах, Настеньки нету в ограде! Только что, три недели назад, она здесь была, а сейчас едет в сухумском вагоне в Сочи. Тоскливо.

Казаков много раз говорил мне, что тоскует по Алеше.

Дом № 43. Под горку идем к крыльцу, разгребая руками траву на аллее. Никого нет?

...И в солнечном свете вижу боком стоящего высокого белесого мальчика. Кажется, что смотрю я на картину Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Так похож мальчик по осанке и скорбно опущенной голове. Но это, конечно, не отрок Варфоломей (будущий Сергей Радонежский), а вчерашний десятиклассник Алеша Казаков, герой отцовских рассказов «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал»... Нет, я не подгоняю детали ради какого-то литературного замысла. Так было.

«Был ли у тебя отец? Ты мать любишь, это почти во всех твоих вещах присутствует, а отца как-то нет... Но почти всегда сын ближе отцу, даже в старых барских писаниях, когда отцы мало бывали с детьми, передавая их разным дядькам и гувернерам, все равно эти барчонки, вырастая, с особой мужской любовью вспоминали потом отцов своих. Вспомни хотя бы Бунина или «Дар» Набокова... (19 авг. 1969, Абрамцево)».

Август – октябрь 1987

Федор Поленов

ПОЛОВОДЬЕ

Весна — везде весна, половодье на Оке, залитые луга, снег в оврагах, пустыньность — не было еще на реке ни дебаркадеров, ни бакенов — простор, кипы белых облаков, опрокинутые в воде дымки от костров, возле которых смолились лодки — все это сразу и навсегда взяло меня в плен. Михаил Пришвин очень верно заметил как-то, что Ока — самая русская река из всех русских рек.

Юрий Казаков

Дымки от костров на берегу реки и терпкий запах вара знаменуют начало пришвинской «весны воды» — смолятся лодки. Ледоход пока еще в разгаре, и стаи белых льдин величавым ходом минуют поленовский плес Оки, то и дело перемежаясь сплошным, мелко битым льдом. Каждый день прибывает вода, вот-вот выйдет на заливные луга. Макушками залитых кустов обозначен сейчас летний, «настоящий» берег, берег меженного уровня воды.

На разросшихся старых ивах тихими вечерами славят весну скворцы, на затопленных луговых низинах кормятся стаи перелетных уток.

С детства лучшим, интереснейшим событием всего годового календаря было окское половодье. Ранним утром, когда корочкой молодого прозрачного льда отмечен ночной уровень прибывшей воды, отправлялись мы с отцом поднимать верши. Лодка привязана к одному из состарившихся вя-

зов у подножия бугра. Прогредев цепью, отец отталкивает лодку и неспешными ударами весел гонит ее поперек течения, к залитым половодьем тарусским лугам. Издавна носит это место название Конюшенского и славится во всей округе необыкновенными урожаями сочных трав в середине лета. Проплываем мимо разросшейся ивы у излучины речки Скнижки. Каждый год отмечает отец на стволе этой ивы уровень самой высокой воды. Если внимательно приглядеться, можно и сейчас найти отцовские отметки. Получается что-то вроде летописи половодий за несколько десятилетий. Доплываем до Конюшенского, оно под водой, и только узкой полоской еще не залитого берега Скнижки пролегла граница луга. Здесь, привязанные к кустам одной мочальной веревкой из липового лыка, лежат шесть верш. Отец поднимает вершу за вершей, и в каждой шелестит, трепещется рыба. Обратно возвращаемся с уловом — все дно лодки покрыто серебром вздрагивающей плотвы. Главная рыба в это время года — плотва. Скользкие коричневые налимы, полосатые окуни, пестрые щуки тоже заходят в верши, но основная рыба — плотва.

Хороши теплые вечерние зори на Оке в разгар половодья. Над водной гладью висит молодой месяц, из бледно-серебряного он постепенно становится золотым. Скрип уключин, всплески весел — и дробятся, качаются на легкой волне его золотые осколки. В густеющих сумерках что-то шепчется и хлопает, подрагивают пригнутые течением ивовые прутья, а река победно несет толщу вешней воды и затопляет, затопляет прибрежный лес.

Ширь водного простора легла от подножия поленовского бугра до самой Тарусы на горизонте. Волнует и манит этот простор ранним апрельским утром, и, кажется, нет ему конца и края.

Высокая вода в апреле — радостное утро года. Особенно памятно мне одно из таких половодий — весной 1958 года. Лодка-плоскодонка, заваленная рюкзаками, две канистры с бензином и полуторасильный подвесной мотор — таково было наше снаряжение. И был напор мощного течения разлившейся реки, который предстояло перебороть нашему слабо-

му моторчику. И было желание увидеть как можно больше, пройти на своем утлом суденышке по весенней Оке и ее притокам как можно дальше. Нас было четверо — писатель Казаков, поэт Коринец, художник Перченков и я, единогласно выбранный капитаном за мое мореходное прошлое. Конечно, лодка наша была перегружена сверх всякой меры. Ниже Алексина, при выходе из тихой заводи, чуть не произошла катастрофа. За мысом, ограничившим заводь, стремительная струя течения ударила в борт, я круто переложил руль, но лодка успела черпнуть бортом несколько ведер мутной воды. Одно неосторожное движение — и мы начали бы тонуть. Спас положение нерастерявшийся Казаков, во всю силу своих богатырских легких приказавший всем не двигаться, пока я выравнивал плохо слушавшуюся руля перегруженную лодку и ставил ее против течения.

Это всегда увлекательно и заманчиво — с чувством первооткрывателя подходить по воде к незнакомым местам. И совсем не важно, на каком судне: на боевом корабле под военно-морским флагом, на парусной яхте или на такой вот плоскодонке, еле вместившей четверых. Был бы след кильватерной струи за кормой, резал бы воду форштевень, и разворачивались, приближаясь, новые берега... Много раз мне доводилось испытывать это чувство. На соленой и на пресной воде. В финских и шведских шхерах, у песчаных кос Южной Балтики, на просторах Средней Волги и у туманных сопок дальневосточного края земли. Здесь, на хорошо знакомых окских плесах, измененных до неузнаваемости полой водой, я испытывал то же чувство.

В первый день нам удалось, миновав Тарусу и Велегож, добраться до Егнышевки. Палатки у нас не было, решено было ночевать у бакенщиков. Первые дни погода была к нам неласкова. Взлохмаченная резким западным ветром Ока, налетающая косыми шквалами снежная крупа пополам с дождем, водяные брызги, от которых некуда деться.

Ветра капитану завили усы,
Лежит на штурвале рука,
На мощном запястье застыли часы,
Под ними бушует Ока, —

меланхолично мурлыкал нахохлившийся под брезентовым плащом Юра Коринец. Пасмурным ледяным вечером добрались мы наконец до сторожки бакенщика на егнышевском плесе. А потом, под вечер каждого дня, наметив место очередного ночлега, причаливали к берегу, выгружали все свое имущество, вытаскивали лодку и разводили около нее костер. Начинался вечер, незабываемый вечер у костра под шорохи весенней ночи с всплесками и бормотаньем невидимой реки, с поэзией Блока, Цветаевой — Коринец мог бесконечно читать их стихи. Тогда на Оке выше Алексина бакены еще не были электрифицированы. Мы помогали бакенщикам развозить на моторе по вечерам и ставить на бакены белые и красные фонари с заранее запрошенными керосиновыми лампами, а по утрам снимали их.

Бакенщики были разные. Были солидные и степенные отцы семейств, досконально знавшие Оку и безошибочно предсказывающие по местным приметам погоду на завтра. Была молодежь, совсем недавно, после демобилизации из армии, осевшая на берегу. Был некий, пивший запоем Колька-Ножик, у которого прошлой осенью, переходя реку по молодому льду, утонула жена. У Колькиной избушки был свален грудой кирпич — на печку. Хозяин в тяжелом хмелю упрашивал нас сложить ему печь, упирая на то, что заплатит нам пятьдесят рублей. Этот самый Колька-Ножик и стал главным персонажем написанного вскоре рассказа Казакова «Трали-вали».

Маленькому мотору трудно было тащить против течения нашу лодку — двигались мы медленно. Медленно проплывали мимо нас деревни — каждая по-своему примечательна. В Ладыжине жил Константин Бальмонт. В его лирике воспеты окские просторы. Соседняя Антоновка — место жизни и работы Алексея Толстого, приезжавшего сюда с фронта первой мировой войны. Карово — бывшее имение опального генерала Кара, разбитого Пугачевым. Старая колокольня села Карово видна с реки над прибрежным лесом только во время высокой воды. Дело в том, что Кар построил свою усадьбу подальше от реки, опасаясь нападения разбойников с воды. Любутское (в древности — город Любутск) основано бежавшим сюда после Куликовской битвы князем

Олегом Рязанским, изменившим Дмитрию Донскому. А Буньрево было известно во всей округе просто-напросто тем, что некогда здешний старичок священник прикармливал окских стерлядей и очень добычливо ловил их на удочку.

Широкий, наполовину залитый луг с пашней за старинной деревней Фетиньино. Луг постепенно переходит во взгорье. Левый берег кручами навис над рекой. И неперемнная принадлежность берегов верхней Оки — величественное славянское городище с остатками земляного вала и рва. Оно поражает своими размерами. Так и остался в памяти жаркий весенний полдень, кувыркающиеся над лугом в своем неровном полете красавцы чибисы, их тоскливо-жалобный стон, колокольня за лесом и мудрое в своем вечном покое городище, веками стерегущее реку. «Завтра будем в Калуге, ребята!»

Лишь на пятый день добрались мы до Калуги. Она встретила нас ярким солнечным полднем, полным безветрием, мутными ручьями талой воды, старинными колокольнями и редким по красоте архитектурным ансамблем старого городского центра на крутом левобережье.

Калуга, весенняя Калуга над апрельским разливом Оки... Когда мы подходили к ней на своем утлом суденышке, почему-то во всю ширь половодья плыли густые хлопья желтой пены. Сейчас Калуга в моем сознании связана с размахом современного строительства, с новыми растущими кварталами, со стремительным телом направленной в небо ракеты напротив нового здания Музея космонавтики. Калуга весны 1958 года была не такой, от нее больше веяло стариной. Казаков, всегда увлекавшийся русскими романсами, тотчас отыскал нотный магазин. Дальнейшие вечера у костров над половодьем проходили под его задушевное пение. Не было гитары. Но и отсутствие аккомпанемента не смущало Казакова. И странное дело, он переставал заикаться. Я знал, откуда дефект его речи. В одну из ночей конца лета 1941 года он едва не был сброшен с крыши своего арбатского дома ударом взрывной волны.

Спасла его печная труба, о которую он ударился. Заикание — память той ночи, когда в Театр Вахтангова на Арбате угодила немецкая авиабомба. Я помню искалеченное и разру-

шенное взрывом здание Театра Вахтангова, еще более памятен мне соседний дом, в котором жил Казаков, и памятен не только увлекательным миром размещенного в нем зоомагазина. Перед этим домом в один из морозных декабрьских вечеров довоенной поры я встретил замечательного человека, художника и подвижника музейного дела Петра Ивановича Нерадовского, и память об этой встрече пролегла через всю жизнь. Через много лет вспомнил о ней и больной, умирающий Нерадовский, когда я зашел навестить его перед смертью. Проходя мимо дома с зоомагазином на Арбате, всегда с благодарным чувством вспоминаю о Нерадовском. На доме висит мемориальная доска, посвященная жившему в нем Сергею Иванову, одному из учеников Поленова. Одновременно со своим учителем С. Иванов поселился в девяностых годах прошлого века на Оке, в деревне Марфино, выше Тарусы. Игра судьбы — Казаков несколько лет подряд жил в Поленове и в ивановском Марфине. Может быть, со временем на этом доме будет висеть доска, посвященная писателю Казакову, но в ту весну он был лишь скромным студентом Литературного института, написавшим уже, впрочем, чудесный рассказ «Голубое и зеленое». С музыкальным образованием у него ничего не получилось. Возможно, виновата в этом памятная ночь, едва не ставшая для него роковой, не знаю... Он пел «Не искушай меня без нужды», «Гори, гори, моя звезда», «Вечерний звон», «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной» и многое другое, столь же прекрасное... Ночь, костер, сонные вздохи половодья. Поблескивает своими металлическими деталями снятый с лодки наш верный мотор, свалены в кучу рюкзаки, потрескивают сучья в костре, и Казаков поет...

Выше Калуги по правому берегу тянутся деревни, с незапамятных времен объединенные общим названием «Калужская Гамаюнщина». Начинается Гамаюнщина с большого села Ромоданово. Голые прутья ивняка над водой, перелетные утиные стаи, игра солнечных бликов на реке, ровный гул тянувшего одну ноту нашего мотора — час, другой, третьей... За один дневной переход мы добрались от Ромоданова до устья Угры и вошли в нее. Мы хотели дойти до деревни Дворцы —

места знаменитого «Угорского стояния», знаменующего конец татаро-монгольского ига. Но туда мы не успели: время нашего похода истекло. Село Плетневка на пологом берегу Угры, гостеприимный дом местного старожила Петра Алексеевича Каледина стали концом нашего шестидневного путешествия. На крыльце этого дома мы коротали вечер. Сгустились синие апрельские сумерки. Старик Каледин рассказывал о верховьях Угры, начиная каждую фразу словами «значит, таким образом». Он настоятельно рекомендовал нам дойти до речки с немного таинственным названием Суходрев, богатой рыбой. «Значит, таким образом — перемет ставишь — на каждом крючке язь сидит, либо голавль. А уж что налимов по осени — так и возятся под берегом!» Здесь же, на крыльце, решено было завтра идти в обратный путь. Этот вечер совпал с кульминацией вешнего паводка: наутро вода начала спадать.

Путь от Плетневки до Поленова вниз по течению мы прошли за полтора дня. Приложенное к силе мотора быстрое течение несло нас со скоростью, от которой захватывало дух. Мелькали знакомые деревни и плесы. То же половодье, те же стаи перелетных птиц, те же холмы и перелески над Окой, та же великая притягательная сила обновленной земли, те же сторожки бакенщиков над разливом. Начинало вечереть, когда я заглушил честно поработавший мотор на поленовском плесе. Лодка ткнулась в берег. В золоте наступающего заката пели падающие в Оку ручьи, и в чаще музейного парка начинали копиться ранние сумерки. В этот час над просеками и вырубками смешанного леса за речкой Скнижкой начинают тянуть долгоносые вальдшнепы.

Загорелые, пропахшие дымом костров, впервые за неделю попав в настоящее домашнее тепло и уют дома над Окой, вспоминали мы свое путешествие, перебирая его день за днем. Горела настольная керосиновая лампа, потрескивали дрова в камине, который затопил мой отец, в полумраке тонули углы комнаты, а со стен ее смотрели на нас такие знакомые этюды Коровина, Поленова, Левитана...

Можно много рассказывать о той весне, о том, как бродили мы по весенней Тарусе, о доме Паустовского на кру-

том обрыве над говорливой речкой Тарусской, о тех приметах весны, которые так живы и осязаемы в рассказах Юрия Казакова. Предыдущей осенью был редкостный урожай желудей. Теперь они лопались, разбухшие от весенней влаги, и выбрасывали сочную стрелку корня. На голом и пустом в то время участке перед домом Паустовского мы посадили несколько желудей. Сажали мы их и в парке поленовского музея, ежедневно следили за их развитием, пока не проклюнется из земли и не развернет резной лист крошечный красный прутик юного дубового стебля. Память той весны — подрастающие и крепнувшие дубки вдоль подножия поленовского бугра. Начало их роста — та весна, когда в затоне над разлившейся речкой Нарой, под древней стеной серпуховского Владычного монастыря познакомился я с Юрием Казаковым. Вместе слушали мы голоса пробуждающегося весеннего леса, радовались простору разлившейся реки, вместе проходили ее плесы, притягательная сила которых так велика в пору высокой воды, в пору окского раннего половодья!

Абдижамил Нурпеисов О МОЕМ ДРУГЕ...

Когда я думаю о Казакове, мне всегда вспоминается самый тяжелый год моей жизни. Это было вскоре после окончания Литературного института, стояла осень, слякотная, капризная, все время моросил дождь. В один из таких, по-осеннему сырых дней, помню, я пришел в издательство. В то время оно размещалось в небольшом саманном домике неподалеку от базара. Во всем доме была одна-единственная большая комната, где находилась вся редакция. Когда бы вы туда ни зашли, там всегда возле редакторских столиков кто-нибудь да стоял, тихо, шепотом, разговаривал, шелестели бумаги, скрипели перья. На этот раз у двери, прижимаясь к косяку, сидел Алексей Братин, писатель, журналист, читал журнал, кажется «Москву», кажется, то был девятый номер. По натуре мягкий и учтивый, он в тот раз был настолько увлечен чтением, что не сразу заметил меня, а заметив, на мое приветствие лишь кивнул. Я поинтересовался, что он читает? Оказалось, какой-то рассказ, «Арктур — гончий пес», какого-то неизвестного Ю. Казакова.

С тех пор много воды утекло. Много произошло больших событий и перемен в мире и в нашей жизни, и если в пятидесятых годах мое поколение было молодо, едва успело выпустить по одной книжке, то сейчас мы поотмечали уж свои шестидесятилетия, а кое-кто, не дойдя и до этого рубежа человеческой жизни, обрел вечный покой. Ушел из жизни и Юрий Павлович Казаков. Долгие годы общался я с ним и был почитателем его таланта. Его преждевременная кончина явилась для меня особенно болезненным уда-

ром, поскольку ему, как переводчику, я обязан блистательным вторым рождением моих книг, которым отдал много лет труда.

Да, с тех пор прошло много времени.

Нет силы, могущей возвратить ушедшую в небытие нашу жизнь, но память о ней при надобности можно всегда оживить и воскресить. Обращаясь к далекому теперь времени молодости нашей, вот и я сижу, напрягая память и оживляя день за днем минувшее, стараюсь восстановить то первое прикосновение к творческому духу Казакова.

«Арктур – гончий пес» потряс меня. Помню, это было какое-то редко выпадающее на долю современного читателя чудесное мгновенье. Так вошел в мою жизнь Юрий Казаков. Стал я поспешно наводить о нем справки, оказалось, что мало кто его знает. Никто, например, не знал, есть ли у него вообще, кроме «Арктура», еще что-нибудь. Но потом через нашего литконсультанта в Москве все-таки раздобыл о нем скудные сведения, вроде того, что он молодой, что заканчивает Литинститут, живет в Москве. Через того же литконсультанта я обратился к Юрию Казакову с просьбой перевести мой роман, в душе не особенно надеясь на положительный ответ. В том году преследовали меня одни неудачи, было действительно трудно. Только что кончил институт. Была семья, но не было крыши над головой. Не было денег. Не приступал к задуманной еще в стенах института новой книге. Помимо всего прочего, было и еще одно, осложнявшее жизнь обстоятельство. Из Москвы приехал ко мне довольно крупный писатель переводить мою книгу, которая стояла в плане «Воениздата» и нашего издательства. Уже он сделал перевод, перевод его был одобрен издательством. Однако мне он не нравился, и я его отверг, нажив репутацию человека зазнавшегося и капризного. И как раз в это время попался мне рассказ «Арктур – гончий пес». У меня вещь по объему большая, а Казаков писал небольшие рассказы, тем не менее мне казалось, что роднит нас интонационная близость. И тогда же я твердо решил, что, если согласится Юрий Казаков, отдам только ему, в противном случае не буду вовсе переводиться. Сказав о своем решении жене

и друзьям, трепетно ждал теперь письма от Казакова. Прибывшая наконец весточка с его согласием была для меня настоящим праздником. Итак, с конца 1957 года ждал Казакова, и наконец ровно через семь лет, к моей горячей радости, он приехал в Алма-Ату. За это время он стал признанным писателем. Сам довольно часто писал, и о нем часто и охотно писали, и стали появляться у него всюду поклонники и подражатели. Как бы ни была богата и разнообразна талантами русская литература, но кто из нас не понимал тогда особой свежести, самобытности и удивительной неповторимости творчества молодого Казакова. После памятного захлестнувшего нас периода лакировки действительности мы не могли не испытывать глубокой благодарности молодому писателю за его столь искренние и поэтические рассказы.

Мне не приходилось быть свидетелем рождения его рассказов. И он никогда не раскрывал мне особо тайны их появления, вернее, того, что служило ему первоначальным толчком. Но, как почитатель его пристрастный и постоянный, интуитивно, скорее, догадывался я, что не событие какое-то, не реальное происшествие и не какой-нибудь подмеченный оригинальный человеческий характер служили первоосновой для этих удивительных рассказов, нет — скорее поэтический заряд, внутренний лирический настрой, интонация и ритм души самого автора. Он должен был работать, как Бунин, по признанию своему, всегда мучившийся найти прежде всего звук, мелодию рассказа, тональность, настраивал себя заранее на лирический лад, чтобы острым и чутким слухом уловить звук, и этот звук предопределял в дальнейшем весь поэтический настрой будущего произведения, а остальные компоненты, скажем, сюжет, фабула, композиция, отыскивались им по ходу самой работы.

Настойчиво обращаясь во всех рассказах к чувствам и мыслям своих современников, Юрий Казаков в немалой степени способствовал возрождению великой традиции русской лирической прозы во всем ее былом великолепии. Он в этом благородном деле много сделал, и казаковская лирическая проза, подобно некой оранжерейной редкости, стала изумительным украшением советской литературы шести-

десятих годов. Он принадлежал к тем немногим писателям, что помечены редкой честностью, искренностью таланта, честностью и искренностью человеческой натуры. Неразрывная слитность этих столь редких качеств выделяла среди сверстников и без того самобытную и крупную его фигуру. Читатель обретал как-то отодвинутую за годы лакировки на задний план неподдельную, возрастающую радость от встречи с открытым, честным, художественным словом, которое могло творить чудо не простого приобщения к человеческой жизни, но и одухотворения, преображения ее.

И вот он приехал к нам сложившимся писателем, с именем, со славой. А я был провинциальным автором и, понятно, робел. В этом человеке, писавшем тончайшую прозу, все, начиная с роговых очков с толстыми стеклами, оказалось крупным и неожиданно внушительным: огромный, лысеющий череп, сильный рот с надменно оттопыренной нижней губой, крупный нос с горбинкой. И характер у него оказался крутым и резким. Я чувствовал, что нелегко будет сладить с ним, ведь предстояла нам совместная работа, где придется не только обсуждать и обговаривать, но и отстаивать свою точку зрения, не всегда соглашаться с его замечаниями, особенно, как потом это и случалось, когда он после прочтения подстрочника усмотрел в моем тексте в диалогах героев аляповатости, как он выражался. Терпеть не мог он фальши, неточности, самой малой, ничтожной, злился, например, когда какой-нибудь мой рыбак или пастух говорил умно и красноречиво. Приписывал он все это незрелости моего писательства. Со своей стороны я старался объяснить своему несговорчивому переводчику, что-де в силу сложившихся объективных исторических обстоятельств всякий кочевник, независимо от социального положения, все свои природные способности, какими был наделен при рождении, в полной мере вкладывал в искусство речи, оттачивал его всю жизнь. Ибо человеческое достоинство степняков не всегда и не везде оценивалось по богатству, по знатности рода, племени, но больше по искусству красноречия, и потому, видно, до недавнего времени устная народная поэзия процветала у нас наряду с профессиональной письменной литературой и

юриспруденцией, в патриархально-родовой степи заменяя словопрения биев-ораторов. От частной ссоры до тяжбы между родами — все решалось в публичных состязаниях этих же биев, где верх брала искусная, блестящая речь, находчивость и гибкость ума. И поныне в степи сохраняется культ красноречия, и поныне гостя принимают и провожают не по одежке, а по уму, по умению говорить, и в силу этого степняка, когда он в пути, когда он разъезжает из аула в аул, кормит в основном его язык. Я говорил обо всем этом, Казаков курил, слушал внимательно, не обнаруживая, однако, своего отношения. Молча выходили на улицу, молча шли по берегу горной речушки, мне казалось, что он забыл о том, что я говорил перед этим так взволнованно, начинал раскуривать вторую или третью папиросу, и, когда я, наконец, терял всякую надежду услышать что-либо и хотел было напомнить ему, он, слегка заикаясь, говорил, сам: «Е-если да-же заведе-но было у вас та-ак, как ты го-вори-и-ишь... но ты после выхо-да своей к-кни-иги на русском я-языке, не-е мо-жешь подойти к ка-каждому русскому чи-та-та-телю и объяснить. Поэтому, диалоги простых людей, н-ну... ск-ажем, рыбаков, пастухов, упростим, оставив красноречие только ба-ям и м-мур-зам».

Так и порешили. Я был уверен, что он прежде не занимался переводом, а это сложное искусство, имеющее своеобразную специфику, тем более в случае с казахским языком, который относится к иной структурной системе. Я уже заметил его нелюбовь, невосприимчивость вообще к замечаниям и поэтому в деликатной форме начал говорить, ссылаясь предварительно на поговорку: «Если будете в начале требовательнее друг к другу, то в конце — согласнее».

Юрий Павлович редко смотрел на собеседника, но, казалось, достаточно его короткого взгляда сквозь толстые стекла роговых очков, чтобы увидеть тебя насквозь. Он понял мое опасение и успокаивающе сказал: «Старик, не беспокойся. Все будет хорошо. Я не новичок в этом деле. Переводил повесть якутского писателя». Я живо поинтересовался, хотел посмотреть его перевод, но Казаков наморщился, недовольно буркнул: «По-моему, она нигде не печаталась, я не получил за нее гонорара».

Над переводом второй книги трилогии Юрий Павлович работал в Переделкине, по его просьбе я находился рядом с ним. Он жил в коттедже, а я — в основном корпусе. Дней десять он не работал, не любил он, по его же словам, вообще работать, тем более переводить, искал любого повода, чтоб увильнуть: то мешали ему какие-то там «прохиндеи», разные «хмыри», то начало моей книги не нравилось, оно казалось ему мрачным, безысходным. Однажды после ужина мы вышли прогуляться на улицу, шли рядом, под ногами скрипел только что выпавший снег, и он снова заговорил о книге, бурча вод нос: «Конечно, жизнь была тогда тяжелая, но и в трудной жизни бывают свои радости и праздники». Он, наверное, говорил об этом уже в десятый раз. Я устал слушать одно и то же. «Слушай, Юра, — сказал я, — вспомни свои рассказы и повести, разве они такие уж светлые?»

Замечание мое ему не понравилось, он сразу подтвердил лицом, злые искорки засветились за стеклами очков: «Как хочешь... мое дело переводить, отвечать придется тебе самому», — и он повернулся, пошел к себе в коттедж. Я после долго ходил один и, помню, в тот день не сразу заснул. А когда проснулся, было в комнате еще темно, вспомнил сразу замечание Казакова, которое столько дней занозой сидело в душе. Лежа в постели, думал, мучился, чувствуя свое бессилие что-либо выправить в разонравившейся книге. Не знаю, сколько минуло времени, но вдруг пришла в голову какая-то шальная фраза, затем последовала вторая, вслед за второй — третья... Для начала вроде ничего... Я вскочил, сел за стол, быстро занес на бумагу все эти три фразы, откуда-то всплывшие, ощущая в душе своей какое-то смутное озарение... С тех пор прошло шестнадцать лет. Когда я думаю о том случае сейчас, мне кажется, что писал я словно под чью-то диктовку, два или три часа подряд, все еще не зная, что будет дальше и чем это кончится. Работал два дня, не выходя на улицу, пока не закончил одну большую главу, которую назвал для себя «Луч света в темном царстве». В самом деле получилась светлая, лирическая сцена. По приезде в Алма-Ату быстро заказал подстрочник, отправил Казакову по почте. 2 февраля 1967 года он написал мне в письме: «Глава твоя о старухе мне понравилась, я ее перевел с удовольствием».

Работа с Юрием Казаковым была для меня серьезной школой. Смеею сказать, что я сам люблю работать над словом, убежден, что облик слова определяет облик самого произведения. Но, признаться, кропотливая работа над словом Юрия Казакова меня всегда восхищала. Прежде чем написать это воспоминание, я три дня читал огромную кипу писем Казакова тех лет. И за эти три дня я не только заново пережил невозвратную далекую и милую пору нашей молодости, полную светлых надежд и мечтаний, но и по-новому поразился беззаветному отношению Юрия Павловича к творчеству. Он мог бесконечно работать над словом. Первая книга трилогии «Кровь и пот» в его переводе вышла в начале отрывками в газетах и в журнале «Простор», а потом полностью в «Дружбе народов», в «Роман-газете», в издательствах «Молодая гвардия» и «Жазушы». Просматривая письма Казакова, я убедился в том, что он, оказывается, во всех этих изданиях читал корректуру и что-то обязательно исправлял, находил какие-то огрехи, ошибки, злился, ругался и бушевал из-за халатности и безответственности корректоров, редакторов. 5 октября 1965 года пишет: «В «Просторе» я нашел много огрехов, и мне даже стыдно стало. Я очень тужил, что не дали мне на корректуру верстки, это никуда не годится. Телеграфируй немедленно, чтобы мне выслали верстку из «Дружбы». В следующем письме, от 21 ноября, жалуется: «...мне нужно вовремя сверять текст по оригиналу... Ты знаешь, я халтуры не люблю, так там и скажи, в издательстве». И заодно с редакторами и корректорами мне тоже попадало, и в основном за мои неуместные попытки что-то исправить в его тексте. «Скажи, пожалуйста, — возмущался он 10 января 1966 года, — зачем тебе понадобилось трогать текст и вместо хороших и точных слов вставлять неточные? Разве для того только, чтобы я тут корпел над алма-атинской версткой и без конца исправлял и приводил все снова в божеский вид?.. Ты обращаешься к моей помощи потому, что не знаешь русского языка. Если бы ты его знал, как я, ты бы не стал обращаться к помощи переводчика, а переводил бы сам, не правда ли? Ты можешь сколько угодно переписывать и изменять казахский текст, но русский текст ты не должен трогать — мало того! — ты

должен препятствовать этому в том случае, если вздумает править какой-нибудь редактор. Я тебе напоминаю наш разговор прошлой зимой... Не ссорься со мной, ибо это не в твоих интересах. А писать плохо, писать кое-как даже переводы — не в моих интересах».

Совместная работа сближала нас, давая возможность узнавать друг друга с разных сторон. Как все истинные степняки, я люблю живой огонь, люблю погреться у очага. Юрий Павлович знал и понимал эту мою слабость, не поддающуюся ни современному быту, ни достижениям цивилизованной жизни. Приезжал я иногда к нему на дачу в Абрамцево, зимой или осенью. И бывало как-то приятно и тепло на душе, когда этот, вроде независимый, никогда и ни к кому не снисходивший, человек начинал вдруг проявлять неподдельную чуткость к моим прихотям, таскал наколотых дров из сеней и кричал Тамаре или Устинье Андреевне: «Топи камин, подавай нам чаю у огня».

Начиная с конца шестидесятых годов, я страдал от старой своей болезни, часто попадал в больницу. Просматривая сейчас письма Юрия Павловича тех лет, я был взволнован его нежными строками, полными дружеских забот и внимания: «Лежание в больнице, — писал он 2 апреля 1970 года, — как правило, порождает всякие мрачные мысли и мнительности... Не хандри, старик, не кликай смерть, она и так, стерва, у нас с тобой не за горами, не искушай судьбу. Поправляйся скорее и приезжай, дабы я мог тебя облобызать. В моих чувствах к тебе можешь не сомневаться».

Через три года, 14 июля, он писал: «Получил твое письмо — очень грустно, что ты находишься в такой прострации. Все-таки несчастный мы парод, писатели, нет нам дома жизни, сколько комнат ни займей и сколько дач ни построй. Один, значит, выход: время от времени удирать от семьи и в тиши и одиночестве работать... Так что давай-ка подумай серьезно о себе, дело идет не к молодости, творческие силы убывают...»

В этих старых письмах снова воскресает для меня нежная, поразительно распахнутая к человеку душа моего ушедшего друга и переводчика. Перечитывая снова обращенные ко мне много лет тому назад слова, я заново ощущаю тонкую,

почти детскую восприимчивость и артистизм этого взрослого, сильного мужчины и с болью думаю, что эта драгоценная особенность его натуры тоже, видимо, как-то сказалась на том, что жизнь его вышла не совсем складной.

Я знал и другого Казакова. Древняя мудрость требует говорить об умерших хорошо или уж вообще не говорить. Да, я думал и думаю о своем друге и любимом писателе с благодарностью и нежностью, но в то же время осознаю, что нам куда важнее показать его таким, каким был он на самом деле в жизни, а не наводить на его посмертный лик глянec. Ни я, ни кто-либо другой из его друзей не станут сегодня утверждать, что он был ангелом. В его характере и поступках встречалась невероятная противоречивость, к которой поначалу так трудно было привыкнуть. В нем, как ни в ком другом, могла уживаться чрезмерная доброта рядом с непостижимым уму капризом, мгновенно переходящим в грубость. Мог широко, без оглядки одарить и осыпать тебя любовью, заботой и вниманием, но мог иногда до невыносимости бывать мелочным и неуживчивым. Любя его как человека в целом — то доброго, заботливого, восхищаясь его уникальным талантом, такого вот Казакова я не понимал, а случалось, и не любил откровенно.

Как я уже говорил, работа с Юрием Казаковым была для меня школой. Когда дело касалось творчества, для него не было ничего мелочного и второстепенного. Он ни в коем случае сам не допускал и никому не позволял неточности, приблизительности, любая фальшь или искажение текста могли его легко вывести из равновесия. Однажды был такой случай: после завтрака по обыкновению я пошел к себе, а он в коттедж работать над переводом. Я только сел за стол, чтобы внести кое-какие исправления в свой текст по его замечанию, как он прибежал ко мне. Вид у него был заполошный, возбужденный. Сильно заикаясь, он выпалил: «С-слушай, т-там, у тебя в те-кс-те нашел крупную ошибку. У тебя там написано: «Из трубы вываливается густой дым». А ты знаешь, зимой, в морозный день дым бывает жидкий и светлый». Признаться, я этого не знал.

Анатолий Друзенко

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...



С КАЗАКОВЫМ НА «ВЕГЕ»

«А ты знаешь, — говорил Руслан, меланхолично глядя на кружку с пивом, — смертельный был тогда момент на Рыбинке, когда мы фок рубили».

Так начинается, наверное, не самый лучший, но мною и друзьями по команде особо читаемый рассказ Юрия Казакова «Ночь на Веге». Он написал его в конце 68-го, сразу после нашего похода...

А нынче у него сплошные круглые даты.

70 лет со дня рождения.

15 — после смерти.

На похоронах никто из веговцев, кажется, не был. По разным причинам (я в тот год досиживал корреспондентский срок в Варшаве).

Позднее, в редкие встречи команды, с непременно, скромным по закуске и обильным в выпивке застольем, с вечным, до крика, спором — кто тогда перепутал буи и кто не удержал стаксель? — на бестолковых этих посиделках заходил, бывало, разговор, что хорошо бы выбраться к Казаку (так мы звали его на «Веге»), но тем все и кончалось: свинтусы порядочные, мы разбегались по сторонам. Каждый — в сторону своей жизни. И так — до следующего раза.

Однажды, в начале прошлой зимы, наконец, сподобились. Шумно, с не очень уместным весельем, вывалились из подъезда, нырнули на пару остановок в метро, переполошили трамвай и оказались на Ваганьковском.

Кто-то пошел в контору — узнать про могилу. Уже в сумерках двинулись по аллеям. Нашли сороковой участок, но сколько ни бродили меж крестов и памятников, сколько ни приглядывались, сгребая снег с надгробий, найти не смогли.

И вот вторая попытка: снова едем на кладбище (вместе с Русланом, с тем самым, по рассказу, любителем пива).

...Есть фотография: команда «Веги» на привале. Редкий солнечный денек. На погоду, хоть и была самая середка лета, нам не повезло. Она в ту пору, как написал Юра, «переломилась по всей России, пошли холода, дожди нас залили окончательно, и июль стал октябрем». А тут вдруг выпала дефицитная минутка тепла и света, и команда, причалив к берегу баркас, устроила пир. Казаков на фотографии вдали. Сидит, чуть отвернувшись, наедине с собой и кашей. Он вообще очень серьезно относился к еде (говорят, такое бывает с теми, кто недоедал в детстве), только трапезы в походе — каша с тушенкой да чай со сгущенкой — были скромны-скромнехоньки.

Уговорили Казакова пойти с нами Леша (командор) и Руслан. Зачем? Чтоб был «особо важной персоной или, как сейчас говорят, VIPом? Или чтоб потом «отразил»? Не знаю. Так или иначе, но Алексей с Русланом настигли знаменитого — тогда — писателя в Абрамцево. Писатель поначалу отнекивался, но в конце концов, как мне кажется, его сама идея «уговорила» — на простом баркасе, с самодельным парусным вооружением и хиловатым мотором, с командой не профессионалов, а сугубых любителей, выйти из Москвы и добраться — своим ходом, по воде — аж до Архангельска...

А может, страннику пришла пора очередного отхода?

Короче, теплым июньским вечером Юрий Павлович прибыл в Химки, на борт нашей диковинной посуды, и стал никаким не VIPом, а рядовым членом экипажа, делавшим всё, как все. Если требовалось, садился за весла, мок на вахте, прыгал в воду, когда надо было подтолкнуть заартачившуюся «Вегу», отправлялся на стоянках, если посылали, за съестным, разжигал, с удовольствием, костер, принимал — положенное — на привалах (хотя в этом у каждого была своя мера и охота).

Привалы Казаков обожал:

«Вечером — так отдаленно от иных миров, на берегу какого-то безымянного залива, возле разбросанных по темному косоугру темных спящих изб, под выступившими звездами, — вечером жарко трещал наш костер, и он был, как солнце, для нас, а мы — восемь человек, как планеты, вокруг него».

Подогретые изнутри планеты были говорливы. К нашим байкам Казаков прислушивался одновременно и с интересом, и со скепсисом. Иногда, в особом настроении, солировал сам.

Его рассказы у костра и отдаленно не напоминали то, что он писал. Слегка заикаясь, он говорил короткими фразами. Сюжет в каждой истории выстраивался мастерски. Масса иронии и самоиронии. В финале ставилась не точка — восклицательный знак. Иногда — вопросительный.

Помню его рассказ о том, как после известного разноса, учиненного Хрущевым представителям советской интеллигенции, два молодых, но уже известных деятеля литературы — поэт и прозаик сбежали из Москвы, никого не предупредив, на Кубенское озеро. Знакомый егерь забросил их на островок, оставил минимум припасов (и ноль выпивки) и сказал, что заберет обратно недели через две. То ли рыбалка не пошла, то ли погода подкачала, только скоро им островное бытие надоело. А выбраться — никакой возможности. Вдруг — что такое? Вертолет летит. И к ним садится. Выбегает парень с магнитофоном. Корреспондент АПН. Оказывается, западные горе-пропагандисты раструбили по всему миру, что из Москвы исчезли два молодых талантливых литератора, и не исключено, что их... и так далее. Прилетели за срочным интервью: мол, клевета, отдыхают, ловят рыбу. Прозаик интересуется: а куда вертолет дальше полетит? Отвечают, в Архангельск. Договорились так: интервью дают и садятся в вертолет. В городе, не переодевшись, сразу в ресторан. Швейцар не пускает. А за дверью, в ритме медленного фокстрота, оркестр наяряивает «Хотят ли русские войны?», и видны через туманное стекло качающиеся тени. «Отец! — возмущается поэт. — Вот ты нас не пускаешь, а сло-

ва этой песни я написал!» Отец не верит. Но тут шли в ресторан студенты — узнали, уговорили.

— Женьку, конечно, узнали, — закончил байку Казаков.

Швейцара он потом вспомнил в рассказе «Отход» — «в нашем ресторане, в нашем Архангельске, с бесценным дядей Васей внизу, у входа». И о песне тоже написал, но совсем по-другому: «И звучат в нас и вне нас гул, бормотанье, дружба, любовь, и музыка ликует, уравнивает своей стройностью хаос — «Хотят ли русские войны?» — «Нет, нет, русские хотят танцевать перед тем, как уйти в море!» — и все танцуют, одни мы сидим...»

В походе я не раз обращал внимание на то, как необычно, отрешенно смотрит Казаков на окружающий мир, если мир этот — река, берега, лес, церкви, избы... Кстати, он сам заметил, что писатель «сидит, смотрит куда-нибудь за окно или на стену, ничего не видит, а видит только бесконечный ряд дней и страниц». И на «Веге» он мог подолгу, где-нибудь в укромном месте, среди рюкзаков и спальных мешков, сидеть и, повернув голову, молча, прищурившись, смотреть, смотреть, смотреть...

Из писем Казакова с борта «Веги» — домой:

«Хорошо думается. Я тут порядочно записываю, веду вахтенный журнал... Как-то вы там все? Алешка еще не говорит никакого отчетливого слова? Не ходит хотя бы на помочах?»

Сыну не было еще и года. Ему, Алеше, он посвятит... нет, точнее, о нем, о детской душе, о жизни и смерти напишет в одном из последних, пронзительном до слез рассказе «Во сне ты горько плакал».

...Как-то на одной из стоянок командор послал нас с Юрой за нехитрым провиантом: хлеб, сахар, чай, соль, яйца... С брезентовым мешком мы отправились в магазин, нашли его сразу, прямо на набережной. Отоварились. Возле магазинчика стояла будка, похожая на веранду. Там продавали газеты. Я купил «Известия». Мы присели на скамейку. Я по привычке начал смотреть последнюю страницу (спортивные новости). Молчавший Казаков скосил глаз в сторону газеты, потом вдруг пригнулся и потянул к себе, да так сильно, что я тут же отпустил газету. Он взглянул в самый угол поло-

сы, что-то прочитал и, побледнев, резко поднялся и пошел вдоль набережной с нелепо повисшей в руке газетой.

Ждали мы его в тот день долго. Пришел он за полночь и, ни слова не говоря, полез в спальный мешок.

Уже позже я узнал, что в том номере «Известий» в траурной рамке было сообщение о кончине Паустовского.

Все стало понятным: ушел учитель, а ученик узнал об этом в дороге.

Еще в 58-м году учитель написал ученику: «Я не могу без слез читать Ваши рассказы. И не по стариковской слезливости (ее у меня нет совершенно), а потому, что счастлив за наш народ, за нашу литературу, за то, что есть люди, способные сохранить и умножить все то великое, что досталось нам от предков наших — от Пушкина до Бунина. Велик Бог земли Русской!»

После похода мы больше не виделись (так получилось), хотя одно время жили рядом, в Бескудникове. У меня навсегда осталось к нему особое чувство, какое испытываешь к тому, с кем побывал на самом краешке, за которым — конец всему.

А как было дело, это он в рассказе описал — «Ночь на «Веге». Там все точно: и насчет перепутанных буюв, и о срубленном фокке, и про упущенный стаксель. В общем, «смертельный был тогда момент на Рыбинке...».

РАЗГОВОР НА ВАГАНЬКОВСКОМ

И во второй раз все повторилось. Снова бродили мы с Русланом по сороковому участку и в конце концов поняли, что так — наобум — могилу не отыскать.

В Союзе писателей дали последний адрес Казаковых. Отбил телеграмму с просьбой позвонить в редакцию. Вечером приносят послание телеграфиста: ваша телеграмма не доставлена, дом не имеет такой квартиры. Мистика какая-то!

В конце концов нашелся главный телефон — вдовы писателя Тамары Михайловны (оказывается, у них просто изменился номер дома).

Встречаемся с Тamarой Михайловной на кладбище, на ступеньках храма Воскресения. Пришел и близкий друг Юры — Анатолий Фирсов, фотохудожник.

...Сказать, что могила скромна — мало, наверное. А может, и в самый раз. Но то, что она казаковская — несомненно. Холмик, обложенный дерном. Никакого гранита, мрамора, даже цемента. Деревянный, дубовый, крест. Такие ставились на деревенских погостах, особенно северных. По морский, крест — домиком. По металлу, похоже на латунь, мелкая, изящная резьба. Крест установили стараниями Федора Дмитриевича Поленова (говорят такой же стоит и на могиле великого художника — Василия Дмитриевича).

На перекрестье — иконка. «Две уже отвинчивали, — замечает Фирсов, — а эта держится».

Укладываем цветы. Зажигаем свечку. Молчим...

Не помню, кто начал разговор. Кажется, я сказал, что тому, кто захочет вот так же, как мы, прийти к Казакову, не удастся этого сделать: в конторе не знают никакого указателя.

— И слава Богу! — встрепенулась Тамара Михайловна. — А то будут толпы ходить. Как к Высоцкому или Миронову.

— Не будут, Тамара Михайловна, — возразил Фирсов. — У Юры не тот почитатель. Не такой массовый. Он действительно придет один и помолчит.

— Не надо... Это же место упокоения.

Уходя, мы прошли мимо могилы Окуджавы. Она — в «VIРовском» ряду. Слева — композитор и певец Мигуля, справа — многолетний директор Дворца спорта в Лужниках Синилкина...

Как раз в эти дни в интервью «МК» вдова Булата Шалвовича Ольга Владимировна огорчением говорила: «Вначале, когда меня привели и показали это место, оно показалось мне очень уединенным, тихим. На могилу Булата (конечно, не к нему одному) от трех вокзалов возят экскурсии. Какое тут уединение? Какая тишина? И попал Окуджава после смерти в «номенклатуру»: аллея, где расположена его могила, — не для простых людей. И мне туда даже приходиться трудно: все на виду. Ни подойти, ни постоять...»

«Чтобы помнили...» — это совсем не про экскурсии в автобусах от трех вокзалов.

МЭР ТЕРЯЕТ ЧУВСТВО МЕРЫ?

Тридцать пять лет — из отпущенных пятидесяти пяти — Казаков прожил на Арбате. Он как-то писал: «Вы, наверное, не раз видели мой дом на Арбате, где «Зоомагазин»... Я понял, что Арбат — это как бы особый город, даже население иное...» И сказал однажды в интервью: «Господи, как я люблю Арбат!»

И можно понять комиссию по наследию писателя (Георгий Семенов, Евгений Евтушенко, Виктор Лихоносов, Глеб Горышин), которая еще в 1985 году предложила установить мемориальную доску на этом доме, по адресу — Арбат, 30. Идею поддержал секретариат Союза писателей, однако в наступившие перестроечно-реформенные времена было не до того, «чтобы помнили».

В начале нынешнего года, в преддверии 70-летия со дня рождения писателя, Ф. Д. Поленов обращается к префекту Центрального округа А. И. Музыкантскому, возобновляя от имени литературной и художественной общественности ходатайство о мемориальной доске. Резолюция префекта благоприятна, хотя формулировочка, конечно, та еще: «Прошу рассмотреть и дать предложения в соответствии с предложениями общественности».

Затем приходит ответ от начальника управления, контролирующего охрану и использование памятников в Москве, В. А. Булочникова. Тоже вроде приветствует инициативу, но отсылает письмо в комитет по культуре правительства Москвы: там решают насчет мемориальных досок.

Вот что ответили Поленову из культурного комитета:

«Сообщаем Вам, что в связи с перегрузкой фасадов многих зданий в Москве мемориальными досками компетентные организации Правительства Москвы подготовили рекомендации о нецелесообразности дальнейшего использования этой формы увековечения памяти, которые получили поддержку у руководства города. Предлагаем Вам обратиться в заинтересованные писательские организации для принятия решения о другой форме увековечения памяти известного писателя».

Типичный бюрократический футбол. А речь — о писателе, которого школьные хрестоматии ставят в один ряд с Тургеневым, Чеховым. Буниным, Пришвиным...

Оставляю за скобками стилистику сочинения, подписанного первым заместителем председателя комитета по культуре А. И. Лазаревым. Вдумаемся в суть. Где логика? Доску предлагают установить на конкретном доме, а в ответ — о перегрузке московских фасадов. Что за «компетентные организации» подготовили столь странные рекомендации? Что значит «нецелесообразность дальнейшего использования»? Что, в столице уже никому и никогда мемориальной доски не установят? Табу, что ли? И какая же замечательная убежденность в том, что предложения верны, раз «получили поддержку руководства города». А мнение общественности — это что? Пустой звук?

Говорил я с сотрудником комитета по культуре Еленой Михайловной Катеевой, готовящей письмо. Спросил, кстати, читала ли Казакова. «Да, конечно, хотя не скажу, что хорошо знаю, много писал о Москве (не читала: Казаков не о Москве писал), известный писатель». А по существу дела подтвердила: да, такова общая установка. Против установки мемориальных досок. Причина: слишком много желающих. И добавила: мол, возникают проблемы и с эстетической точки зрения, о чем сигналы имеются.

Возмущенный беспамятством власти, Евтушенко публикует 2 июля в «ЛГ» открытое письмо Ельцину, Черномырдину, другим руководителям и совершенно справедливо негодует: «Какие культурные люди! Их не волнует перегрузка фасадов Москвы и ее улиц рекламами казино, иностранного нижнего белья, табака, спиртных напитков, сомнительными скульптурами, но вот имена, представляющие гордость нашей отечественной литературы, это для них лишняя забота».

Реакции — никакой.

Говорят, в Москве вообще стало крайне сложно установить мемориальную доску. Намекают также, что идет это от мэра, который якобы заявил, что столицу не нужно превращать в колумбарий. Не знаю... Чтобы Лужков, умеющий не только строить, но и понимающий, что значит история и духовность, чтобы он к такому нелепому заключению пришел, — как-то не верится...

Но ведь по каждому случаю до мэра не достучаться. В каждом случае чиновники решают. От-ка-зять!

...Затертые слова: муки творчества. Написал ли кто о них точнее Казакова?

«Писатель должен быть мужествен... потому что жизнь его тяжела. Когда он один на один с чистым листом бумаги, против него решительно все. Против него миллионы написанных ранее книг — просто страшно подумать! — и мысли о том, зачем же еще писать, когда про все это уже было. Против него головная боль и неуверенность в себе в разные дни, и разные люди, которые в эту минуту звонят к нему или приходят, и всякие заботы, хлопоты, дела, как будто важные, хотя нет для него в тот час дела важнее того, которое ему предстоит. Против него солнце, когда тянет выйти из дому, вообще поехать куда-нибудь, что-то такое повидать, испытать какое-то счастье. И дождь против него, когда на душе тяжело, пасмурно и не хочется работать».

Не все это, Юра, не все. Еще против него всегда были и остаются серость и тупоумие всяческого начальства от культуры, всех этих неистребимых функционеров, идеологических роботов, цензоров, чинуш...

И жить не давали, и увековечить память, помянуть — достойно, всем миром — не дают.

Вячеслав Мешков
«ПОСЛУШАЙ!
НЕ ИДЕТ ЛИ ДОЖДЬ?»



10 ЛЕТ НАЗАД, КОГДА БЫЛ ЖИВ
ЮРИЙ КАЗАКОВ
(1927–1982)

«Ах, как не люблю я этой темноты, этих ранних сумерек, поздних рассветов и серых дней! Вся увядоша, яко трава, вся потребишася... Понимаешь ты, о чем я говорю?»

– Понимаешь! – тотчас откликнулся ты.

– Эх, малыш, ничего-то ты не понимаешь... Давно ли было лето, давно ли всю ночь зеленовато горела заря, а солнце вставало чуть ли не в три утра? И лето, казалось, будет длиться вечно, а оно все убывало, убывало... Оно прошло, как мгновение, как один удар сердца... А теперь вот и земля черна, и все умерло, и свет ушел, и как же хочется взмолиться: не уходи от меня, ибо горе близко и помочь мне некому!»

Такой разговор ведет Юрий Казаков с маленьким сыном в одном из своих поздних рассказов. Я держу в руках книгу и слышу его голос – негромкий, низкий, неторопливый... Да, это не «лирический герой», а сам Юрий Павлович – без всяких литературных условностей, весь целиком, раскрытый, зримый – такой, каким я имел счастье и боль знать его в Нюбре его жизни.

И. А. Бунин (перед писательским талантом которого Казаков преклонялся до конца дней) однажды заметил: «Первобытно подвержен русский человек природным влияниям».

С этим замечанием, брошенным в «Жизни Арсеньева» как бы вскользь, не только нельзя не согласиться, но, веро-

ятно, можно и объяснить его. Немного стран на земле, где столь резко контрасты между зимним холодом и зноем лета, между тьмой ноября и лазурным светом апреля. И если широту русской души давно уже связывают с беспредельностью российских просторов, то, возможно, континентальность климата в течение многих веков обусловила «странную» подверженность русского человека, с одной стороны, безудержной радости, а с другой — крайней, невыразимой тоске.

Об этом я вновь подумал, когда из «прощального слова» Георгия Семенова узнал о том, что Казаков за несколько дней до смерти упомянул в письме о рассказе, очевидно, так и не написанном: «Послушай! Не идет ли дождь?». И мне почудилось, что я вновь услышал голос Юрия Павловича и даже запомнил интонацию, с которой он произнес этот вопрос — с паузой перед словом «дождь». Для Казакова такой вопрос если и не равнялся вопросу жизни и смерти, то во всяком случае значил неизмеримо больше, чем обычная житейская справка о погоде.

Мне кажется, что единство с природой есть свойство художника, кем бы он ни был — пахарем или живописцем, плотником или писателем. Причем слово «природа», конечно, нужно понимать в широком смысле. Должно быть ощущение себя в пространстве и времени частицей мироздания; необходимо чувствовать свое умирание с каждым опавшим листком и воскрешение — с первой песней зяблика; наконец, надо переживать, как собственные радость и печаль, — радость и печаль своего народа. Все это присуще было писателю Юрию Казакову.

О Казакове-художнике еще будет написано много. Пока же мне, как начинающему автору, вероятно, следовало бы сказать об отношении этого мастера к молодым... Но как раз об этом много говорить не приходится.

Юрий Казаков был противником того, чтобы молодые давали свои рукописи на отзыв «маститым». «Пусть ходят по редакциям: волка ноги кормят», — говорил он, ссылаясь прежде всего на собственный опыт. Это не было простым

самоустранением, это была его сознательная, активная позиция. Он не сомневался в действенности такого метода, который напоминал известный мудрый способ обучения плаванию: бросят посреди реки, выплыл — хорошо, не выплыл — значит, не пловец! (Впрочем, сравнение это хромает оттого, что в литературу никто никого не бросает.)

Когда я впервые повез Юрию Павловичу свою рукопись, я еще не знал о такой его установке, иначе б не решился. А теперь думаю, как невысказанно мне повезло, что писатель прочел мою первую рукопись, затем вторую, третью, а потом сам иногда спрашивал: «Вы привезли что-нибудь свое?»

...Этюды о природе он читал при мне, сидя в своем вытертом кресле у окна, в котором темнел хвойный лес. Читал он внимательно, неторопливо, искуривая одну за другой папиросы, изредка прихлебывая из стеклянной кружки чай с размятой клюквой. Замечания он делал по ходу — негромко, в доверительном тоне:

— Никогда не пишите «жизнь» с большой буквы! Оттого, что вы напишете с маленькой, величие этого понятия не убавится.

— Противопоставление природы «суетности» большого города давно уже стало штампом. Но главное — оно неправильно: и в городе идет сложная, полная драматизма, настоящая жизнь.

— «Так крепок запах прелой листвы, что щекочет в ноздрах, и голова тяжела, как с похмелья...» Похмелье, мой милый, — гораздо более скверное чувство! Оно совсем не вяжется с запахом прелой листвы.

— «Кончилось лето, но белая бабочка...» Нет, вы все-таки подражаете Пришвину! Видите ли, Пришвин — замечательный писатель, я его очень люблю, но он... — Казаков наморщил лоб, подыскивая слово, — он не указчик в литературе!

Я не пытался возражать, а больше слушал. Изредка он скупно похваливал.

Без сомнения, его замечания были для меня интересны и поучительны. И все же на свои первые рукописи я смотрел прежде всего как на повод для разговора, в котором надеялся услышать ответы на волнующие меня вопросы. Я сбли-

зился с Казаковым в ту сложную для каждого человека пору поздней юности, когда пресловутый розовый флер сильно выцветает, но когда еще нет зрелой позиции, помогающей противостоять — скажем так — «стихии жизни».

— Так в чем же, в чем же искать опору, Юрий Павлович?! — спросил я в одной из бесед.

Он ответил, не задумываясь, как всегда — спокойно:

— Вот об этом и пишите!

Я бессилён выразить чувство, которое испытал, услышав эти слова. Много было бесед и в Абрамцеве, и в коммунальной квартире на Арбате — и не только о литературе, — ни одна из встреч не забудется. Но за эти слова я, очевидно, до конца своих дней буду ощущать себя перед ним в неоплатном долгу.

Было у Юрия Казакова под Абрамцевом любимое место, каким для Паустовского, например, был Ильинский омут.

На пологом холме, на опушке, под ветвями дубов и берез цветут ромашки, иван-да-марья, кукушкины слезки. Рядом поле — овсяное или клеверное в разные годы. Поле небольшое, словно лесное озерко с вырезными берегами. В летний полдень воздух над ним звенит, дрожит, разливется, как песня жаворонка. За полем — зеленые кроны лип над прудом, чуть левее — крыши маленькой деревеньки. А за ней, над ольховой низиной, в которой струится Яснушка, простираются голубые лесные дали — холмистый, ручьи-стый край, древнерусская радонежская земля.

— Вот вы приезжаете всегда поздно, — укорил меня как-то Юрий Павлович. — Только поговорили и — надо прощаться. Приехали бы с утра, а лучше — с ночевкой. Мы с вами погуляли бы по окрестностям. Здесь недалеко есть удивительное место!..

Я сказал, что знаю это место, бываю там. Набрел на него случайно и узнал по описанию в рассказе «Во сне ты горько плакал».

— Да, это то самое место, — кивнул Юрий Павлович. — Я думаю, хорошо бы там поставить дом художнику или писателю. Чтобы он смотрел в окно и делал бы свои картины или рассказы такими же законченными, цельными, как этот вид.

Однажды мы собрались было туда вместе. Казаков позвонил мне субботним октябрьским утром и предложил поехать с ним в Абрамцево. Нужно было помочь немного по хозяйству. «А завтра пойдем погуляем», — добавил он.

Приехав, мы пилили и рубили дрова, потом говорили до поздней ночи... К утру Юрий Павлович почувствовал себя плохо. В последние годы он много болел; одни лишь названия его недугов были страшны. («Нет, не зря в древнеславянском «живот» означало «жизнь»! — приговаривал он.) И теперь мне понятно, что постоянное спокойствие его было спокойствием очень больного и очень умного человека.

— Извините, пожалуйста, Слава, но у нас не получится сегодня прогулка. Вы поезжайте домой, а маме позвоните, что я задержусь в Абрамцево дня на два.

Я стал говорить, что не смогу уехать, иначе получится, что я его брошу...

— Ну что вы! Это не в первый раз, я все могу делать сам. Я сейчас буду возиться с разными склянками, и мне было бы неудобно делать это при вас. Прошу вас, поезжайте!

С тяжелым чувством я собрался. Как я ни отговаривал его, он проводил меня почти до Яснушки. На лесной тропинке мы попрощались.

Я уходил медленно, оборачиваясь. Он еще долго стоял на тропинке — в стареньком пальто, в резиновых сапогах, в кепке, в очках — печальный, добрый, больной... Потом в последний раз помахал рукой и побрел к дому.

Я шел через мрачный, оголенный лес, едва сдерживая слезы. И не помню, как очутился на том месте. Знакомый пейзаж поблек и казался безжизненным. Лишь три вороны лениво пролетели над щетиной стерни. Слух различил только шорох их крыльев. И такая стояла холодная сырость, такая промозглость, что я с каким-то содроганием ощутил тепло своего тела.

Впереди оставалось тринадцать месяцев. Были и еще встречи, звонки... Но мне кажется, что именно в тот день мы простились с ним навсегда.

Есть представление, что Казаков, дескать, не сознавал всей меры своего таланта. Это не так!

Он вспомнил, как начинал ходить по редакциям:

— Придешь, спросишь: «Ну как?» — «Юрочка, рассказ — во! Но, понимаешь, грустный! Вот если бы концовочку изменить...» Я говорил: «Не надо! Это вы своих авторов будете учить»... Забирал рассказ и уходил. Потом все эти рассказы были напечатаны и в журналах, и в сборниках, и никто не говорил, что они плохие.

Честолюбие его было высшего сорта. Он считал, что вещь должна быть сделана так, чтобы не стыдно было потом сказать: «Это написал я». И более того — чтобы можно было сказать: «Пусть другие попробуют написать, как я!» Однажды я спросил его: «А зачем вы пишете?»

«А мне нравится, — ответил он. — Так столяру нравится работать с деревом, а гончару — с глиной. И как столяр радуется сделанной им изящной вещи, так и я радуюсь удачно написанной странице».

А «хвастовство»... Оно проявлялось забавно, совсем по-детски. Например, читая однажды мою рукопись, в которой — дождь, он вдруг оживился: «А я тут такое описание дождя сделал! Во! Но я вам не покажу!» (Я подумал сейчас: а не были то наброски рассказа, о котором он упоминал перед смертью: «Послушай! Не идет ли дождь?»..)

Как-то Юрий Павлович задумчиво и грустно сказал, что многие из наших маститых мечтают написать один такой рассказ, как «Легкое дыхание»...

Но сам Казаков верил, что подобно Бунину он заслужил право сказать о себе в последние свои дни: «Думаю, что я был хороший писатель».

И подобно Бунину умер он в черную ноябрьскую ночь. Видно, не случайно он, боготворивший свет, тепло, краски, запахи, звуки («Плачу и рыдаю, егда помышляю жизнь!»), так страшился холодных, безмолвных ноябрьских ночей.

«А были у него ночи страшные, когда не спалось, и все казалось: лезет кто-то в дом, дышит холодом, замораживает. А ведь это смерть лезла!»

Нет, не могу читать!.. И отвожу глаза от расплывающихся строчек, и вновь вспоминаю его облик и его слова: «Вот

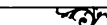
«Послушай! Не идет ли дождь?»

об этом и пишете!» И начинаю понимать, что сам он всегда именно об этом и писал.

«Впрочем... не обращай внимания, это мне просто то-скиво бывает такими ночами. А на самом деле, малыш, все на земле прекрасно – и ноябрь тоже! Ноябрь – как человек, который спит. Что ж, что темно, холодно и мертво, – это просто кажется, а на самом деле все живет».

Декабрь 1982

Дмитрий Шеваров
ВНЕЗАПНАЯ
БОЖЕСТВЕННОСТЬ
СЛОВА



Бытие в основе таинственно и не хочет, чтобы тайны его обнажались словом. Очень тонка та поверхность жизни, о которой праведно и дозволено говорить.

о. Павел Флоренский

Это бывает редко даже у гениев... — эта внезапная божественность слова.

Юрий Казаков

Недавно в Москве наконец-то открыли мемориальную доску на арбатском доме, где жил Юрий Павлович Казаков. Понадобилась четверть века на то, чтобы отдать писателю эту скромную дань памяти.

Столице долго было не до подлинной культуры. Но как раз в эти лихорадочные годы стало очевидно: Юрия Казакова будут помнить и любить независимо от того, увековечат его в бронзе или нет. Именно он, Юрий Казаков, умерший на закате брежневской эпохи, открывается теперь как самый современный писатель, самый чуткий к тому, что происходит с нами. Его прозой и сегодня выговаривается Россия, та притихшая и измученная страна, до которой нет дела «элитам».

Лавина смутного времени с ее поспешными приговорами и переоценками не совладала с Казаковым. И это кажется невероятным. Ведь лавина-то наткнулась не на скальную породу эпических романов, а всего лишь на несколько небольших рассказов, похожих на письма другу.

И вот сегодня Казакова вновь издадут, им зачитываются; его биографию пытаются разобрать по эпизодам литературные критики нового поколения, пытаются понять происхождение мастера, оставшегося в нашей литературе фигурой одинокой и таинственной.

Что ж, оглянемся на судьбу Юрия Казакова.

Родился в Москве 8 августа 1927 года. И мать, и отец — родом со Смоленщины. Павел Гаврилович — слесарь, Устинья Андреевна — работница завода Бадаева, потом санитарка в больнице. С 1942 года — на инвалидности по зрению.

Отца арестовали, когда Юре было всего шесть лет. Вернулся Павел Гаврилович в Москву после лагерей и ссылки только в середине 50-х.

В 1941-м тринадцатилетний мальчишка помогал взрослым тушить зажигалки на крыше своего дома. В одну из ночей бомба упала совсем неподалеку на здание Вахтанговского театра. Юра был контужен взрывной волной и с тех пор заикался.

И после войны семья жила очень бедно. Устинья Андреевна ездила в Подмоскowie менять спички и дрожжи на продукты. Юра подрабатывал, где только можно.

В 1951 году он окончил Гнесинское училище по классу контрабаса и долго не мог найти себе постоянную работу. Играл то в оркестре Вахтанговского театра, то даже в оркестре Большого театра, но эпизодически, а когда дело доходило до оформления, его не брали из-за анкеты.

В 1953 году поступил в Литературный институт. На втором курсе решил отнести свои опыты в редакцию «Советского спорта». Эти первые рассказы были о свирепых нравах американского спорта.

Мечтал о путешествиях. Копил деньги на охотничье ружье. Влюблялся в тоненьких московских девушек.

И вот этот студент, очкарик, с головой увлеченный джазом, вдруг пишет рассказы «Тихое утро», «На полустанке» (1954). Через год появляется «Ночь», потом — «Некрасивая» и «На охоте» (1956). С этих рассказов пошла в рост деревенская проза, вскоре ставшая самым мощным явлением в русской литературе XX века.

Но в эту же пору Казаков пишет «Голубое и зеленое» — дивный рассказ о первой любви. И там никакой деревни, там московский мальчик и московская девочка, и столица, увиденная их глазами, с желтыми фонарями, Большим театром, липами, цветущими на Тверском бульваре, и уютными вечерними окнами — белыми и розовыми, голубыми и зелеными. Москва, которой нам уже никогда не увидеть. «Музыки больше не слышно оттуда...»

Этот рассказ — как распахнутое в мае окно. С ним обрела свой язык, свою интонационную свободу лирическая городская проза.

Но пока читатели передают из рук в руки «Голубое и зеленое», Казаков пишет «Никишкины тайны» и «Маньку» — и это опять другой, новый Казаков. Тут поморы, карбасы, льдины, холодное Белое море, а за морем — Соловки... Скольких своих ровесников Казаков позвал тогда на Север! А они не догадывались, что свои первые северные рассказы Казаков писал по воспоминаниям о своих поездках к только что освобожденному из лагеря отцу.

5 февраля 1958 года Константин Георгиевич Паустовский потрясённо пишет своему недавнему студенту Юрию Казакову: «Я не могу без слез читать Ваши рассказы. И не по стариковской слезливости (ее у меня нет совершенно), а потому, что счастлив за наш народ, за нашу литературу, за то, что есть люди, способные сохранить и умножить все то, что досталось нам от предков наших — от Пушкина до Бунина. Велик Бог земли Русской!»

У всех, кто открывал для себя Казакова в конце 50-х, потрясение смешивалось с недоумением: и откуда он взялся? Как этот парень посмел не заметить соцреализма? Почему он пишет так, будто на свете есть только Пушкин, Тургенев, Чехов, Бунин...

В начале шестидесятых книги Бунина вернулись в СССР и тут же критики решили, что корни Казакова именно там, у Ивана. На молодого писателя посыпались упреки в эпигонстве. В ответ Казаков не отрекался от своей любви к Бунину, но пытался объяснить, что свои первые рассказы о деревне написал, когда ни строчки Бунина еще не читал и даже фамилии классика ни от кого не слышал.

В Казакове чудесным образом примирились те разорванные ткани русской жизни и русской литературы, которые считались несовместимыми и сами яростно отстаивали эту несовместимость. Деревня и город. Белые и красные. Советские романтики и православные стоики. Физики и лирики...

Юрий Казаков стал *русским советским христианским* писателем. Ни одно из этих определений невозможно отбросить. Путь Казакова от русской классики к христианскому пониманию божественного происхождения слова лежал через советскую эпоху. Кому-то эта эпоха помешала понять свои истоки и услышать гул крови, а Казакову помогла.

Он с нищего, полусиротского своего детства чувствовал всю ранимость народной жизни и потому не торопился кусать и жалить «режим». Он не призывал скорее валить то, что диссидентствующим его приятелям казалось отжившим и мертвым. Думаю, он понимал, что, сражаясь с сухостоем, можно в азарте повредить ствол или перерубить корни.

В 1960 году Юрий Казаков записывает в дневнике: «В младенчестве слушал я рассказы матери о своей родине, о Смоленщине, и чем взрослее становился, тем ярче, законченнее представлял все обычаи, язык своих дедов... А в первый раз попал я на землю отцов своих в 1947 году, мальчишкой совсем, и всё еще было разбито и сожжено, Ржев и Вязьма зарастали травой, и люди жили в землянках. Приехал я в ту степную равнинную полосу, которая лежит на востоке Смоленщины, в Сычёвском районе, и как только пошел первый раз полем в деревню матери своей, увидел холмики братских могил, забрел на кладбище с разобранной, разбитой стеной, вдохнул полевой ромашковый, сенной, клевер-

ный дух — меня затрясло, комок стал у меня в горле, и теперь те поля и перелески, те облака и небо, те широкие пыльные дороги — моя родина...»

Сейчас-то мы чувствуем, как много исконно русского ушло вместе с советским. Это признают даже православные батюшки, у которых меньше всего поводов для ностальгии по жизни при социализме. Задним умом мы по-прежнему крепки.

Вопрос же о глубинных истоках казаковской прозы так и остался в 60-х годах без ответа. Казаков же не торопился с исповедью. Он и сам мучился тайной творчества, пытаясь понять: откуда ему вручен этот дар? Откуда приходит музыка слова?

Не находя поначалу никакого рационального объяснения, он с детским изумлением признается в одном из ранних писем: «Я иногда рассматриваю слова своего рассказа и не верю, что это я его написал...»

Из письма Юрия Казакова Тамаре Жирмунской: «...Вчера придумал, а сегодня начал писать новый рассказ. Рассказ о Пасхе, о пасхальной ночи, о благовесте, о любви, о весне, о добре и вечной жизни — и да поможет мне Господь Бог! Я так рад теперь — главное, чтобы не растерялось то, что вчера подкатило и так ясно встало и вообразилось, что у меня аж мурашки по коже пошли. Какая удача: и мой старый дом с его запахом пыли аравийских пустынь от черепицы — всё пойдет в рассказ и так естественно... А свечи, а крестный ход, а пение, а крик: «Христос Воскрес!» А Ока внизу, а запах дыма от листьев, которые жгут в парке возле дома...»

В конце своей недолгой жизни, отвечая на вопрос, когда, в какой момент он почувствовал себя писателем, Казаков не называет каких-то дат. Он говорит о куда более серьезных вещах: «В жизни каждого человека есть момент, когда он серьезно *начинает быть*». И, чуть помедлив, добавляет: «У меня это случилось на берегу Белого моря...»

Вот это пробуждение к подлинному бытию и есть главный сюжет всего написанного Казаковым. Каждый, кто еще в юности открыл для себя Казакова, помнит, какой взрыв весенних сил заложен в его «тихих дымчатых рассказах»!

Мне так остро помнится то мгновенье, когда в Ташкенте, в полковой библиотеке я нашел казаковский том «Поедемте в Лопшеньгу». Я прижал эту книжку к сердцу и не расставался с ней два месяца, пока нас не отправили обратно на Север. Среди пряной азиатской осени, пахнущей дынями и сухим виноградным листом, рассказы Казакова были как письма с родины.

После стрельб в пустыне или строевых занятий на раскалённом плацу, я жадно читал о поморах и карбасах, про письмоноску Маньку и непутевого бакенщика Егора с его «трали-вали», про резкий и горький запах холодной картофельной ботвы. Мне то виделся милый сеющий дождик, серенькое небо, вологодская наша речка благородного такого оттенка — как старое серебро. А то слышался утренний скрип половиц в родном доме, шелест по подоконнику первого, еще сырого, снега...

Когда читаешь Юрия Казакова, то не только глазами по строчкам бежишь, но и слушаешь, как слушают попутчика в поезде: то помалкиваешь, то поддакиваешь или плечамижимаешь. Каждое слово, попадая к Казакову, получает такую устремленность к читателю, к собеседнику, что нельзя не отозваться, не аукнуться на голос писателя.

Пишу сейчас, охваченный воспоминанием, иногда поглядывая на толстую папку скопившихся у меня журнальных и газетных вырезок о Казакове. И вот понимаю, что вряд ли скажу что-то новое о Юрии Павловиче. Мало о каком писателе написано столько проникновенного, глубокого и вдумчивого. И это в наши-то времена! когда русскую литературу и осмеивали, и хоронили, и просто не издавали.

Вот сразу попались на глаза строчки из статьи Анатолия Друзенко (прекрасного журналиста, прозаика и благородного человека, недавно, увы, ушедшего): «Я люблю перечитывать его рассказы. Просто так. Открываю книгу наугад и читаю. Точнее даже, слушаю: как Чайковского или Рахманинова... Будь моя воля, я бы каждый урок литературы начинал с чтения рассказов Казакова. Его непременно должны слышать наши внуки... Иначе они будут думать, что

русский язык — это то, что они слышат сегодня на улице или с экрана телевизора...»

И тут нельзя не вспомнить, что раньше всех литературных критиков невероятную звукопись прозы Казакова оценили два человека, никогда критикой не занимавшиеся. Это профессор Владимир Владимирович Хоменко, преподаватель Юрия Павловича в Гнесинском училище (он говорил: «Когда я читаю Казакова, я слышу музыку»). И звукоархивист Лев Алексеевич Шилов — он подружился с Казаковым еще в 1959 году во время поездки редакции «Литературной газеты» по Сибири.

В начале 60-х недавний студент-филолог Лев Шилов начал собирать фонотеку с голосами писателей и поэтов. Он долго уговаривал Казакова прочитать на магнитофон несколько рассказов. Тот упорно отнекивался, ссылаясь на свое заикание, но в конце концов сдался перед аргументами своего товарища, подвижничеству которого он всей душой сочувствовал.

В январе 1967 года Лев Шилов (тогда уже руководитель отдела звукозаписи Государственного литературного музея) с тяжелым катушечным магнитофоном приезжает к Юрию Казакову в Переделкино.

Казаков выбрал для записи «Двое в декабре» и «Отход». «Здесь нет почти диалогов, прямой речи, — объясняет он Шиллову. — А я не умею эту прямую речь изображать, не дано мне этого делать. Я в этом смысле слабак...»

Шилов успокаивает: «Если запнешься — не останавливайся, а мы потом все послушаем и эти места перечитаешь...» Он ставит перед Казаковым микрофон, нажимает на кнопку записи и уходит во двор — чтобы ничем не отвлекать, не смущать и без того смущенного Юрия Павловича.

Как хорошо, что Казаков не умел ничего «изображать». Он просто рассказывает вполголоса, а ты сразу все видишь и все чувствуешь.

«Двое в декабре» — классический рассказ о любви. А вот «Отход» — это рассказ-репортаж, который мог быть написан только в 60-х годах. Своей музыкальной виртуозностью и многоголосием он напоминает песни-репортажи Юрия Визбора. Но, как всегда у Казакова, внешний строй рассказа — не самое главное.

А предыстория «Отхода» такова. Архангельск, лето 1964 года, Казаков вместе с Евгением Евтушенко (названным в рассказе просто Женей) собирается в море на зверобойной шхуне «Моряна». Маршрут шхуны — от Архангельска к Новой Земле, потом проливом Югорский Шар в Карское море. Последний вечер на берегу, в ресторане гостиницы молодые писатели братаются с командой шхуны, все уже сильно под хмельком, все вещают одновременно, перебивая друг друга.

Только Казаков мог услышать в этом нелепом, скачущем разговоре подвыпивших мужиков пронзительную мелодию прощания и написать рассказ о том, как отходит, откальвается одно время и наступает другое — жесткое, деловое. Время, которому не до слез. (Впрочем, когда у нас, какой власти было дело до наших слез — кто вспомнит?..)

Женя знаменитый, гениальный, в заграничном галстуке. Всем приятно, что такой человек рядом и запросто разливает всем шампанское, и можно крикнуть ему с другого конца стола: «Женя, стихи дай списать...» И очень даже здорово услышать от него: «А вот мы с Юрой скоро в Америку поедem, к Стейнбеку в гости, поедem Юра?» (При публикации «Отхода» упоминание об авторе «Гроздьев гнева» Джоне Стейнбеке цензура выкинет — он тогда оказался не ко двору.) Только вот Юра качает своей большой лысой головой, и можно подумать, что он не хочет в Америку. Что-то он Жене говорит, а что — не разобрать...

Потом, когда вышел рассказ, ребята-зверобои могли бы прочитать, что ответил Казаков своему другу-поэту: «...Париж, Нью-Йорк... джинфиз и стриптиз... аэропорты-автопортреты... Не в этом наш исток, и гул крови не в этом, а вот поедem-ка на Канин Нос и проснемся однажды... в старой избе среди всхрапывающих рыбаков. Натянем мы сапоги и брезентовые штаны, напьем шапки-ушанки. Мы выйдем на рассвете...»

Услышал ли кто тогда Казакова, вчитался ли? Казаков почувствовал что-то обманное и зловещее в пьяных ресторанных восторгах. В этой романтике побега в тайгу, на полюс, в море, в горы, в Америку — куда угодно, лишь бы убежать от самого себя.

Казаков с печалью отходит в сторону, еще сам, возможно, не вполне понимая, отчего ему так не по себе среди этих мужественных, сильных и симпатичных людей. «... Чем веселее было вокруг, тем грустнее было нам, хоть это и глупо грустить, когда кругом... все зовет к бездумности...»

Стяжание божественного слова, конечность земного, бесконечность небесного... Поверхность жизни Казакова и раньше мало интересовала, но после «Отхода», с конца 60-х, он начал свое мучительное восхождение к вечному, к тому, что после долгого молчания он выразит в последних своих вещах — «Свечечка» (1974) и «Во сне ты горько плакал» (1977). И это были уже не рассказы, а исповедничество. Подняться выше этого, оставаясь на земле, нельзя.

В «Свечечке» автор и его маленький сынишка выходят из дома в кромешную темноту двора и идут к роднику, к речке Яснушке. «Я оглянулся: сквозь голые деревья только один наш дом светил окнами в непроглядной тьме...»

То, как Юрий Казаков описывает возвращение домой, к освещенным окнам! — пронзительно до озноба, до того, что самому хочется бежать куда-то по бесснежной темной земле, только бы к свету, к людям.

Трудно найти в русской литературе другой рассказ, где слово бы так ощутимо рассеивало тьму.

Письмо Татьяны предо мною,
Его я свято берегу.
Читаю с тайною тоскою
И начитаться не могу.
Кто ей внушал и эту нежность...

Пушкинские строки точнее любых критических статей говорят о главном в прозе Юрия Казакова. Все его рассказы — *внушение нежности*, напоминание о хрупкости бытия и тихое прошение. Но не к властям, а к Богу: «Господи, помилуй...»

Вдова писателя Тамара Михайловна так вспоминает одну из встреч Юрия Павловича с читателями. В мае 1967 года его пригласили сотрудники Физического института Академии наук. Зал был полон, многие стояли вдоль стен, присутствовали нобелевские лауреаты академики Прохоров и Басов.

Ему был задан такой вопрос: «У физиков есть критерий истины: если теория подтверждается экспериментом, значит, она верна. А каким критерием руководствуетесь вы в своей работе?» Юрий Павлович страшно волновался, но тут ответил уверенно и спокойно: «Если я знаю, что могу предстать перед Господом и сказать: «Господи, это я написал...» — значит, написано хорошо». Сразу раздались аплодисменты, сначала аплодировали сидя, потом весь зал встал. Все радостно переглядывались, будто услышали что-то долгожданное...

Последние свои рассказы Казаков опубликовал в середине 1970-х годов, когда до трагического разлома большой страны было еще далеко. Тем сейчас поразительнее слышать в каждой казаковской строчке нашу теперешнюю боль и тревогу, нашу растерянность и отчаяние, наше упование и наши слезы. «Время нынче очень уж серьезное, и надо бы нам всем, хоть напоследок, нравственно обняться...»

Душа художника — сейсмограф. Такое чувство, что Казаков пишет о благополучных 70-х, оглядываясь туда вместе с нами: «Ну а тогда все мы были живы, и, как я сказал уже, стоял в зените долгий-долгий день...» И твое сердце тут же благодарно откликается, ведь в этих долгих-долгих днях, где все живы, осталось твое детство, и там всегда лето. А свет нынешнего дня так скуден, так зыбок, и что будет завтра — одному Богу известно, а потому *нравственно обняться* — это не то, что было в 70-х, это не разговоры на кухне о прекрасном. Сегодня это — *память смертная*. Это молитва друг за друга людей, прижатых к краю обрыва. Неверное движение одного — и все погибнут...

В конце прошлого года в Абрамцеве сожгли деревянный дом Казаковых. Последнее земное пристанище писателя, четверть века сберегавшееся вдовой и сыном писателя в надежде, что когда-нибудь государство поможет устроить здесь музей, — оно сгорело в одночасье быстрее, чем восковая свеча.

Сгорел дом, который Казаков считал живым существом. Так он о нем писал и в письмах, и в своих последних рассказах — как о близком человеке. В дом к Юрию Павловичу приходили и приезжали поэты, странники, философы, ученые, старцы из недалекой отсюда Троице-Сергиевой лавры. Сю-

да стремились приехать друзья и читатели Казакова — только чтобы постоять на крыльце, подышать воздухом этого места.

А того, кто никогда не был в Абрамцеве, таинственно согревала мысль, что где-то на радонежской святой земле стоит этот дощатый милый дом. Кстати, все четверть века, прошедшие с ухода Юрия Павловича, он никогда не пустовал. Тут всегда находили приют писатели, художники, ретавраторы, просто добрые и небогатые люди, у которых не было ни дач, ни возможности поехать на море.

Лет восемь назад и я гостил в Абрамцеве у Тамары Михайловны. В городе асфальт плавился от июльской жары, а в старом доме у елового леса стены хранили спасительную тень. Было огромным наслаждением просто бродить по уютным комнатам, скрипеть прохладными половицами, благоговейно касаться сутулого шкафа, кресла с гнутыми подлокотниками, потускневшей глади письменного стола — того самого, за которым работал Юрий Павлович.

В старом серванте тускло мерцали чашки и среди них та самая, из «Свечечки»: «...И в буфете звякнет любимая тобой прежде чашка, и часы особенно звонко пробьют счастливый миг...»

А за окном, во дворе, среди высокого цветущего иванчая, бегали мои дочки, а с ними Ванечка и Женя — дети иконописца Володи Демидова, который тоже в то время гостил в Абрамцеве.

Солнце ранним утром проливалось столь щедро, что, казалось: дом сияет от радости, распахнув все ставни и это от него самого идет солнечный свет...

Гибель абрамцевского дома Казакова — еще один образ того, как хрупка и уязвима Россия. Она вовсе не каменный рыцарский замок, а деревянный дом, в котором беззаботно распахнуты все двери.

Вспоминаю одну фотографию Казакова. Там он сидит у костра — большой, в охотничьих сапогах, немного угрюмый, немного усталый, но, наверное, счастливый. И мне вновь, как в юности, становится почему-то стыдно, что я не охотник и не очень люблю бродить по осеннему сырому лесу, и не был в Лопшеньге и на Соловках.

Хороший рассказ надо пережить, надо куда-то ехать за ним, мокнуть под дождем на причале или на заброшенной деревянной платформе в ожидании дизеля; надо терпеть пьяную болтовню случайных попутчиков и тягостное молчание проводников, тесноту случайного ночлега, хлюпанье в ботинках...

А потом надо терпеть бесцельность, пустоту, ощущение того, что ничего, зачем ты ехал, не нашел. Только потом — вот счастье! — вдруг задрожит эта мелодия, которую потом просто назовут «рассказ», но только ты знаешь, что это на самом деле.

И почему-то самому не хочется перечитывать опубликованное. Хорошо, когда пишешь. Это единственно стоящие минуты. Но они отпускаются скупой мерой. И чем ты опытнее и чем сильнее ждешь вдохновения, тем скупее становится тот, кто отпускает такие минуты.

Когда Казаков умер, мне было двадцать лет. Я не успел с ним повидаться. Но оттого, что жизнь проходит в сопровождении его рассказов, откуда-то приходят сны и воспоминания о нем.

И я думаю о Юрии Павловиче не только, когда беру в руки его книги, и не только когда иду по Старому Арбату. Острее всего я почему-то вспоминаю о нем, когда выхожу рано утром из поезда на привокзальной площади в Вологде. Представляю, как он приезжал сюда в такой же ранний час и ёжился от прохлады, радовался дремотной тишине, палисадникам с георгинами и малиной, деревянным тротуарам и речной свежести. И после Москвы эта привокзальная площадь казалась вовсе не площадью, а большим двором, куда сейчас выйдут женщины с тазиками свежевывстиранного белья, выбегут дети, выкатится из сарая мопед, позовет на утреннюю гимнастику бодрое радио...

Как много всего в мире может напоминать об одном человеке.

Комментарии



НЕЗАВЕРШЕННОЕ

«Две ночи» — набросок повести (варианты названия: «Разлучение душ», «Возраст Иисуса Христа»). Впервые опубликован в сборнике «Две ночи. Проза. Заметки. Наброски» (М.: Современник, 1986), большую часть которого составили публикации из архива Ю. Казакова.

«Зависть» — впервые опубликовано в журнале «Простор», 1965, № 1 (Алма-Ата).

«Пропать» — впервые опубликовано в сборнике «Две ночи». М., 1986.

Наброски рассказов — впервые опубликованы в сборнике «Две ночи». М., 1986.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

«Мне всё помнится...» — впервые опубликовано в журнале «Сельская молодежь», 1963, № 2.

«В первый раз попал я в Печоры...» — впервые опубликовано в сборнике «Две ночи». М., 1986.

«И всё это два какие-то дни...» — впервые опубликовано в сборнике «Две ночи». М., 1986.

«Закарпатская проблема» — впервые опубликовано в журнале «Турист», 1966, № 7.

«Румынские впечатления» — впервые опубликовано в журнале *Secolul 20* (Румыния), 1969, № 8. Обратный перевод с румынского (Т. Н. Свешниковой) печатается по сборнику «Две ночи». М., 1986.

«Четыре времени года (Ода Архангельску)» — впервые опубликовано в сборнике «Две ночи» (журнальный вариант: «Турист», 1967, № 3).

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

«Северный волшебник слова» — впервые опубликовано в газете «Литература и жизнь», 1959, 10. VI.

«Вдохновенный певец природы» — впервые опубликовано в журнале «Крестьянка», 1959, № 5.

«Щедрость души» — впервые опубликовано в «Литературной газете», 1959, 14. VII.

«Добрый талант» — впервые опубликовано в «Литературной газете», 1960, 3. III.

«Песнь человеку и природе» — впервые опубликовано в журнале «Крестьянка», 1961, № 4.

«Памяти Хемингуэя» — впервые опубликовано в газете «Московский литератор», 1961, 22. VII.

«Почему нам не нравится критика» — впервые опубликовано в журнале «Звезда», 1990, № 1.

Ответы на анкету журнала «Вопросы литературы» — впервые напечатано в «Вопросах литературы», 1962, № 9.

«О Лермонтове» — впервые опубликовано в «Вопросах литературы», 1964, № 10.

«Звон брегета» — рассказ впервые опубликован в сборнике «По дороге». М.: Советский писатель, 1961.

Предисловие к роману А. Нурпеисова «Сумерки» — впервые напечатано в книге: Нурпеисов А. Сумерки. М., 1966.

«Несколько слов о В. Лихоносове» — впервые опубликовано в книге: В. Лихоносов. Голоса в тишине. М., 1967.

«Рассказчик Олег Кибитов» — впервые опубликовано в книге: Кибитов О. Большие белые птицы. Горький, 1973.

«О Владимире Солоухине» — впервые опубликовано в сборнике «Две ночи». М., 1986.

Выступление в сборнике «Писатели высказывают свое отношение к войне во Вьетнаме» — издан в 1967 г. в Лондоне.

«Не довольно ли?» — впервые опубликовано в «Литературной газете», 1967, 27. XII.

«О Бунине» — впервые опубликовано в книге: Литературное наследство. М.: Наука, 1973, т. 84, кн. 2.

«Беседа с Б. К. Зайцевым в Париже» — впервые опубликовано в журнале «Новый мир», 1990, № 7.

«Вилла Бельведер» — впервые опубликовано в сборнике «Две ночи». М., 1986.

«Поедемте в Лопшеньгу» — впервые опубликовано в сборнике «Воспоминания о Константине Паустовском». М., 1975.

«Ф. Поленов и его рассказы» — впервые опубликовано в книге: Поленов Ф. Долина Любосны. Тула, 1968.

«Опыт, наблюдение, тон» — впервые опубликовано в журнале «Вопросы литературы», 1968, № 9.

«Вот и опять Север...» — впервые опубликовано в «Литературной газете», 1973, 4. VII.

«Единственно родное слово...» — впервые опубликовано в «Литературной газете», 1979, 21. XI.

«Для чего литература и для чего я сам?» — впервые опубликовано в журнале «Вопросы литературы», 1979, № 2.

ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ

Автобиография — впервые опубликовано в сборнике «Две ночи». М., 1986.

«Господин редактор, благодарю Вас...» — впервые опубликовано в сборнике «Две ночи». М., 1986.

Из дневника 1949–1953 годов — впервые опубликовано в сборнике «Две ночи». М., 1986.

Дневник пребывания в г. Ростове-Ярославском и окрестностях (июль 1956) — впервые опубликовано в сборнике «Две ночи». М., 1986.

Путевой беломорский дневник 1958 года — впервые опубликован в журнале «Звезда», 1995, № 12.

Из дневников 1959–1966 годов — впервые опубликовано в сборнике «Две ночи». М., 1986.

Вахтенный журнал шлюпки «Вега» — публикуемые фрагменты впервые напечатаны в газете «Известия», 1998, 4. VII (в статье А. Друзенко «В парусах есть что-то от птицы» (о неизвестном «Вахтенном журнале», который вел писатель Юрий Казаков).

Фенологический дневник. Абрамцево (1972) — впервые опубликовано в сборнике «Две ночи». М., 1986.

«Из записной книжки 1981 года» — впервые опубликовано в сборнике «Две ночи». М., 1986.

ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА

К. Г. Паустовскому — печатаются по публикации: журнал «Литературное обозрение», 1986, № 8.

Н. И. Замошкину — печатаются впервые, по подлиннику: РГАЛИ, ф. 2569. Н. И. Замошкин, оп. 1, е. х. 179.

В. Ф. Пановой — печатаются по публикации: журнал «Звезда», 1990, № 1.

Ф. И. Панфёрову — публикуются впервые, по подлиннику: РГАЛИ, ф. 1128, оп. 2, е. х. 205.

Л. В. Никулину — печатаются по публикации: журнал «Звезда», 1990, № 1.

Ю. А. Файту — публикуется впервые по подлиннику из семейного архива Ю. А. Файта.

Т. А. Жирмунской — печатаются по публикации: журнал «Литературное обозрение», 1986, № 8.

В. В. Конечкому — печатаются по публикации: журнал «Нева», 1986, № 4.

О. В. Базунову — печатаются по публикации: журнал «Звезда», 1990, № 4.

Н. П. Смирнову — печатаются по публикации: альманах «Охотничьи просторы», книга первая (15), 1998.

А. И. Шеметову — печатаются по публикации: журнал «Нева», 1998, № 6.

А. Нурпеисову — печатаются по публикации: журнал «Дружба народов», 1986, № 2.

Г. А. Горышину — печатаются по публикациям: журнал «Звезда», 1990, № 1; Г. А. Горышин. Жребий. Л., 1987.

Э. Ю. Шиму — печатаются по публикации: журнал «Звезда», 1990, № 1.

И. С. Кузьмичёву — печатаются по публикации: журнал «Звезда», 1990, № 1.

В. А. Солоухину — публикуются впервые по подлинникам из семейного архива.

Г. В. Семёнову — печатаются по публикации: журнал «Континент», 2008, № 135. Письма от 17.12.1975 и от

18.6.1976 публикуются впервые по подлинникам из семейного архива.

В. П. Рослякову — публикуются впервые по подлинникам из семейного архива Росляковых.

У. А. Казаковой и Т. М. Судник-Казаковой — публикуются впервые по подлинникам из семейного архива.

П. Г. Казакову, У. А. Казаковой, Т. М. Судник-Казаковой и А. Ю. Казакову — публикуются впервые по подлинникам из семейного архива.

Т. М. Судник-Казаковой и А. Ю. Казакову — публикуются впервые по подлинникам из семейного архива.

А. Ю. Казакову — письма от 27.1.1976, 20.1.1977, 26.2.1977 впервые опубликованы в журнале «Новая игрушечка», 1995, № 7. Остальные письма публикуются впервые по подлинникам из семейного архива.

ВСПОМИНАЯ ЮРИЯ КАЗАКОВА

Письмо К. Г. Паустовского Ю. П. Казакову — публикуется по подлиннику из семейного архива Ю. Казакова.

Письма Г. В. Адамовича Ю. П. Казакову — публикуются по подлинникам из семейного архива Ю. Казакова.

Евгений Евтушенко. Долгие Крики. — печатается по книге: Евг. Евтушенко. Катер связи. М., 1966.

Евгений Евтушенко. Баллада о дружбе прозы и поэзии. — печатается по книге: Евг. Евтушенко. Избранные произведения в двух томах. Том второй. М., 1975.

Андрей Вознесенский. Охота на зайца — печатается по книге: Андрей Вознесенский. Антимирры (Избранная лирика). М., 1964.

Юрий Трифонов. Пронзительность таланта — печатается по сборнику: Юрий Трифонов. «Как слово наше отзовется...» М., 1985.

Михаил Рошин. Студенты пятидесятых — печатается по книге: М.Рошин. Полоса. Повести, рассказы, статьи. М., 1997.

Николай Тарасов. Юрий Казаков у меня дома — опубликовано в Вестнике Агентства печати Новости, 1965, 19.XI, № 274 (1203).

Елена Тарасова. Он казался тогда по-настоящему счастливым. Юрий Казаков: начало пути — опубликовано в журнале «Наш современник», 1997, № 8.

Георгий Семёнов. Памяти друга — впервые опубликовано в журнале «Континент», 2008, №135.

Виктор Лихоносов. Волшебные дни — печатается по книге: Виктор Лихоносов. Записи перед сном. М., 1993.

Федор Поленов. Половодье — печатается по книге: Федор Поленов. Хранители родников. Рассказы, очерки, зарисовки, воспоминания. Тула: «Поленово», 2004.

Абдигамил Нурпеисов. О моем друге... — опубликовано в журнале «Дружба народов». 1986, №2.

Анатолий Друзенко. Чтобы помнили... — опубликовано в газете «Известия», 27.XI.1997.

Вячеслав Мешков. «Послушай! Не идет ли дождь?» — опубликовано в «Книжном обозрении», 27.XI.1997.

Дмитрий Шеваров. Внезапная божественность слова — опубликовано в книге: Юрий Казаков. Долгие Крики. Иркутск, 2008.

Содержание



Александр Панфилов. «Написать рассказ о мальчике...» V

НЕЗАВЕРШЕННОЕ

Две ночи	2
Зависть	25
Пропасть	46

Наброски рассказов

Вечерний звон	55
Ангел небесный	56
Молодой инженер-химик Саша Скачков	57
Нет, бывает все-таки счастье... ..	59
Девятый круг	61
Навсегда-навсегда	62
Смерть, где жало твое?	63
Старый дом	66
Чиф	71

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Мне всё помнится... ..	74
В первый раз попал я в Печоры... ..	88
«И всё это два какие-то дни...»	93
Закарпатская проблема	96
Румынские впечатления	107
Четыре времени года	110

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

Северный волшебник слова	122
Вдохновенный певец природы	125
Щедрость души	128
Добрый талант	130

Песнь человеку и природе	134
Памяти Хемингуэя	137
Почему нам не нравится критика	140
Ответы на анкету журнала «Вопросы литературы»	144
О Лермонтове	147
Звон брегета	151
Предисловие к роману А. Нурпеисова «Сумерки»	161
Несколько слов о В. Лихоносове	164
Рассказчик Олег Кибитов	168
О Владимире Солоухине	172
Из английского сборника «Писатели высказывают свое отношение к войне во Вьетнаме»	177
Не довольно ли?	179
О Бунине	183
Беседа с Б. К. Зайцевым в Париже	184
Вилла Бельведер	198
Поедьте в Лопшеньгу	203
Ф. Поленов и его рассказы	217
Опыт, наблюдение, тон	220
«Вот и опять Север...»	224
«Единственно родное слово»	227
Для чего литература и для чего я сам?	234

ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ

Автобиография	256
Господин редактор, благодарю Вас... ..	258
Из дневника 1949–1953 годов	261
Дневник пребывания в г. Ростове-Ярославском и окрестностях. Июль 1956 г.	273
Путевой беломорский дневник 1958 года	282
Из дневников 1959–1966 годов	307
Вахтенный журнал шлюпки «Вега»	312
Фенологический дневник. Абрамцево, 1972	321
Из записной книжки 1981 года	325

ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА

К. Г. Паустовскому	328
Н. И. Замошкину	351
В. Ф. Пановой	356
Ф. И. Панфёрову	365
Л. В. Никулину	366

Ю. А. Файту	368
Т. А. Жирмунской	369
В. В. Конецкому	388
О. В. Базунову	397
Н. П. Смирнову	399
А. И. Шеметову	402
А. Нурпеисову	405
Г. А. Горышину	413
Э. Ю. Шиму	424
И. С. Кузьмичёву	435
В. А. Солоухину	437
Г. В. Семёнову	440
В. П. Рослякову	459
У. А. Казаковой и Т. М. Судник-Казаковой	477
П. Г. Казакову, У. А. Казаковой, Т. М. Судник-Казаковой и А. Ю. Казакову	482
Т. М. Судник-Казаковой и А. Ю. Казакову	490
А. Ю. Казакову	492

ВСПОМИНАЯ ЮРИЯ КАЗАКОВА

Письмо К. Г. Паустовского Ю. П. Казакову	500
Письма Г. В. Адамовича Ю. П. Казакову	501
Стихотворения Е. А. Евтушенко, посвященные Ю. П. Казакову	
Долгие крики	505
Баллада о дружбе прозы и поэзии	506
Стихотворение А. А. Вознесенского, посвященное Ю. П. Казакову	
Охота на зайца	510
<i>Юрий Трифонов.</i> Пронзительность таланта	513
<i>Михаил Рошин.</i> Студенты пятидесятых	516
<i>Николай Тарасов.</i> Юрий Казаков у меня дома	520
<i>Елена Тарасова.</i> Он казался тогда по-настоящему счастливым	526
<i>Георгий Семёнов.</i> Памяти друга	539
<i>Виктор Лихоносов.</i> Волшебные дни	552
<i>Федор Поленов.</i> Половодье	573
<i>Абдижамил Нурпеисов.</i> О моем друге... ..	581
<i>Анатолий Друзенко.</i> Чтобы помнили... ..	590
<i>Вячеслав Мешков.</i> «Послушай! Не идет ли дождь?»	599
<i>Дмитрий Шеваров.</i> Внезапная божественность слова	606
Комментарии	618

Русский Миръ классики

Казаков Юрий Павлович

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН

Собрание сочинений в трех томах
Том третий

Генеральный директор *В. Е. Волков*

Главный редактор *А. Т. Волобуев*

Редактор *Н. М. Гугляр*

Художник *С. Ю. Губин*

Технический редактор *Е. П. Полякова*

Вёрстка *И. Л. Маринич, Т. С. Завойко*

Корректор *Л. Ф. Коломийцева*

Сдано в набор 10.05.2010. Подписано в печать 29.11.2010.
Формат 84×108^{1/32}. Бумага офсетная. Гарнитура «NewBaskerville».
Печать офсетная. Печ. л. 20. Тираж 2000 экз. Заказ №14224.

ЛР № 071422 от 07.04.1997

Издательство «Русский Миръ»

125252, Москва, ул. Зорге, 9А, стр. 2

Отпечатано в ОАО «Московские учебники
и Картолитография»
125252, Москва, ул. Зорге, 15

ISBN 978-5-89577-120-4



9 785895 771204

ИЗДАТЕЛЬСТВО



**Книги по истории и культуре Государства Российского,
русская художественная и детская литература,
педагогические и справочные издания**

Книжные серии издательства:

- «Большая Московская Библиотека»
- «Русский Мир в лицах»
- «Русский Мир классики»
- «Семейные хроники»
- «Зарубежная Россия»
- «О слово русское, родное»
- «Русский Мир прозы»
- «Литературная премия Александра Солженицына»
- «Pro patria: Историко-политологическая библиотека»
- «Русская провинция»
- «Русский Мир — детям»
- Энциклопедические словари



За справками и по вопросам приобретения этих книг
обращаться в издательство «Русский Мир»:

Москва, ул. Зорге, 9А, стр. 2

Тел.: 984-71-67

e-mail: russkij-mir@narod.ru

www.russkij-mir.narod.ru

РУССКИЙ МІРЬ В ЛИЦАХ

**В серии «Русский Мирь в лицах»
вышли из печати книги:**

Великий князь ВЛАДИМИР МОНОМАХ

Великий князь АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

Царь ИВАН IV ГРОЗНЫЙ

Михаил Васильевич ЛОМОНОСОВ

Александр Васильевич СУВОРОВ

Император НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

Александр Сергеевич ПУШКИН

Алексей Степанович ХОМЯКОВ

Пётр Яковлевич ЧААДАЕВ

Фёдор Иванович ТЮТЧЕВ

Михаил Дмитриевич СКОБЕЛЕВ

Алексей Фёдорович ЛОСЕВ

Василий Андреевич ЖУКОВСКИЙ

**ЗА СПРАВКАМИ И ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ
КНИГ ЭТОЙ СЕРИИ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ
В ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКИЙ МІРЬ» ПО ТЕЛЕФОНУ:
984-71-67**

E-mail: Russkij-Mir@narod.ru



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА



Газета основана в 1830 году при участии А. С. ПУШКИНА
Издание возобновлено в 1929 году при поддержке М. ГОРЬКОГО

ЛУЧШАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДУМАЮЩИХ ЛЮДЕЙ

ТОЛЬКО В «ЛГ» ВЫ УЗНАЕТЕ:

Над чем работают лучшие современные писатели, поэты, драматурги

О чем размышляют и спорят герои их новых произведений

Как формируется внутренняя и внешняя политика государства

О тесной взаимосвязи реформ и содержимого нашего кошелька

Где состоялись самые заметные явления в искусстве и культуре

Какие новые книги «заслуживают» того, чтобы их купили

О секретах «лаборатории смеха» в знаменитом «Клубе 12 стульев»

«Литературная газета» — единственное периодическое издание, где встречаются все направления отечественной общественной, социально-экономической, художественной и духовной мысли.

Подписной индекс — 50067

Справки по телефону 8(499) 788 05 79

www.lgz.ru



В предлагаемое издательством
«Русский миръ»
трёхтомное Собрание сочинений
талантливого русского писателя
второй половины XX века,
продолжателя творческих традиций
И.Бунина, М.Пришвина, К.Паустовского

ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА
КАЗАКОВА
(1927-1982)

вошли следующие произведения:

«Голубое и зелёное»,
«Во сне ты горько плакал...»,
«Странник»,
«На острове»,
«Запах хлеба»,
«Плачу и рыдаю...»,
цикл «Северный дневник»,
детские рассказы,
«Литературные заметки»,
«Дневниковые записи»,
«Путевые заметки»,
избранные письма автора,
воспоминания и др.

